РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

Якубович Илья Сергеевич

Статус лувийского языка в многонациональной Анатолии бронзового века: опыт социолингвистической реконструкции

10.02.20 — Сравнительно-историческое, типологическое
и сопоставительное языкознание

Диссертация на соискание ученой степени
доктора филологических наук

Москва — 2015

Оглавление

Введение 4

0.1 Общая информация о лувийском языке 4

0.2 Предмет исследования 6

0.3 Цели и задачи исследования 7

0.4 Актуальность работы 8

0.5 Новизна работы 9

0.7 Методология исследования 12

0.8 Базовые допущения 13

0.9 Структура исследования 22

0.10 Теоретическая и практическая значимость 23

0.11 Апробация положений работы 24

Глава 1. Лувийские диалекты **26**

1.1 Вводные замечания 26

1.2 Филологическая классификация 30

1.3 Винительный падеж множественного числа общего рода 40

1.4 Расширенные генитивы на -assa и -assi 54

1.5 Конструкции с посессором во множественном числе 62

1.6 Имперфектив -zza- и глагол со значением ‘делать’ 73

1.7 Другие диалектные изоглоссы 83

1.8 Филогенетические соображения 90

Глава 2. Лувийцы в Западной Анатолии? **98**

2.1 Вводные замечания 98

2.2 История Арцавы с птичьего полета 103

2.3 Арцава как полиэтничное общество 112

2.4 Языковые контакты между Арцавой и Хаттусой 123

2.5 Исторические свидетельства в пользу присутствия лувийцев в Арцаве? 136

2.6 Этническая принадлежность троянцев 148

2.7 Ликийцы в Западной Анатолии 163
2.8 Языковые контакты между лувийцами и греками 177
2.9 Историческое резюме 198
Глава 3. Доисторические контакты между хеттами и лувийцами 204
3.1 Вводные замечания 204
3.2 Развитие возвратных местоимений в лувийском языке 206
3.3 Ситуация в палайском и лидийском 218
3.4 Развитие возвратных местоимений в хеттском 229
3.5 Грамматическое заимствование: когда и почему? 246
Глава 4. Сосуществование хеттского и лувийского языков в период до 1350 г. до н. э. 259
4.1 Вводные замечания 259
4.2 Лувийцы в староассирийских источниках 260
4.3 Передача хеттского языка в Хаттусе 277
4.4 Лувийский суперстрат в древнехеттском языке 281
4.5 Локализация Лувии 293
4.6 Лувийцы в Древнем царстве 306
4.7 Статус лувийского языка в раннем Новом царстве 320
4.8 Статус лувийского языка в Киццувадне 334
4.9 Изобретение анатолийских иероглифов 351
4.10 Историческое резюме 368
Глава 5. Лувийский язык в империи Хаттусы 373
5.2 Фонетические инновации в новохеттском языке 379
5.2.1 Лексическая диффузия i > e 380
5.2.2 Отсутствие звукового перехода *e* > *i* 387
5.2.3 Образование носового гласного 391
5.2.4 Был ли новохеттский вымирающим языком? 394
5.2.5 Фонетическая гиперкоррекция в новохеттском языке 401
5.3 Морфосинтаксические инновации в новохеттском языке 411
5.3.1 Диффузия *i*-мутации 411

5.3.2. Слияние номинатива и аккузатива во множественном числе 416
5.3.3 Изменения в личных местоимениях 425
5.3.4 Им.-вин. мн. *-as* в новохеттском языке? 431
5.3.5 Новохеттская редупликация клитик 439
5.4 Лексическая интерференция с лувийским языком 452
5.4.1 Функция глоссового клина 453
5.4.2 Глоссовый клин и редактирование текстов 465
5.4.3 Глоссовый клин и жанровое варьирование 477
5.4.4 Прагматика чередования кодов 488
Заключение **507**
Литература 515

Введение

0.1 Общая информация о лувийском языке

Анатолийские языки составляют группу индоевропейской языковой семьи, которая отделилась раньше других от индоевропейского праязыка. В связи с этим ряд исследователей употребляют термин «индохеттский праязык» для общего предка анатолийского и позднеиндоевропейского праязыков. Единственным анатолийским языком, известным из памятников как II тыс., так и I тыс. до н. э., а также в двух системах письма — клинописной и иероглифической, является лувийский. Хеттский и палайский языки зафиксированы в клинописных текстах II тыс. до н. э., а ликийский, лидийский, карийский, сидетский и писидийский языки — в алфавитной передаче I тыс. до н. э. Все эти языки были распространены на территории древней Малой Азии.

Ряд языков, употреблявшихся на той же территории во II тыс. до н. э., не принадлежат к анатолийской группе. В дополнение к хеттским, лувийским и палайским текстам, в архивах хеттской столицы Хаттусы найдены клинописные тексты на двух неиндоевропейских языках Анатолии — хаттском и хурритском, а также на двух языках месопотамской письменной культуры — шумерском и аккадском. Сосуществование на письме языков разных семей характерно и для Малой Азии I тыс. до н. э., однако данный период лишь частично освещается в настоящей диссертации (в основном в контексте контактов между лувийцами и греками).

Настоящее диссертационное исследование концентрируется на интерпретации данных, связанных с лувийским языком. Наиболее адекватным и доступным грамматическим очерком лувийского языка является на сегодняшний день [Melchert 2003]. Подавляющее большинство известных лувийских текстов в клинописной передаче изданы в транслитерации (но без перевода) в работе [Starke 1985]. [Melchert 1993] представляет собой словарь к данному корпусу текстов. Большинство

длинных лувийских иероглифических надписей, относящихся к империи Хаттусы, издано в работе [Hawkins 1995], а [Hawkins 2000] являлся полным (на момент издания) корпусом лувийских иероглифических надписей, созданных после падения империи Хаттусы. К сожалению, не существует современного словаря лувийских текстов в иероглифической передаче. Данный пробел отчасти компенсируется электронным глоссарием, генерируемым на веб-странице Аннотированного корпуса лувийских текстов (ACLT) по адресу http://web-corpora.net/LuwianCorpus/search.

Некоторые аспекты этнической истории Анатолии II тыс. до н. э. представляются бесспорными. Самообозначение хеттского языка как неситского (ср. хеттские наречия *nisili*, *nāsili*, *nesumnili* ‘на неситском языке’) связано с древним топонимом Неса, который был идентифицирован с поселением Кюльтепе, неподалеку от Кайсери, в Центральной Анатолии[1]. Этот город, известный в хеттских и аккадских источниках как Канеш, был важным торговым центром в XX–XVIII вв. до н. э., служа крупной торговой факторией (*kārum*) для ассирийских купцов[2]. Большинство анатолийских имен, сохраненных в записях ассирийских колонистов, которые были раскопаны в Канеше, похоже, являются хеттскими [Garelli 1963: 133–152]. Анитта, правитель Канеша/Несы, успешно одолел коалицию вражеских князей и установил свое господство над большей частью Центральной Анатолии. Хаттский город Хаттуса, разрушенный Аниттой, был позже восстановлен и заново заселен, играя роль нового административного и культового центра. Хеттский (неситский) был основным официальным языком государства, созданного вокруг Хаттусы, политическая история

[1] Обозначения *Kaneš* и *Nesa* не только указывают на один и тот же город, но также связаны этимологически. По-видимому, форма *Nesa* развилась из **Knesa* в диалекте, в котором происходило упрощение начальных консонантных кластеров. Соответственно, транслитерация *Kanes* или *Knes* была бы с фонетической точки зрения более точной, но она могла бы сделать рассматриваемый город неузнаваемым для ассириологов. С другой стороны, традиционная транслитерация *Kanesh* может ввести в заблуждение исследователей Малой Азии периода бронзового века, поскольку графическая последовательность <sh> обычно соответствует консонантному кластеру /sx/ в транслитерации анатолийских топонимов, как в случае *Washaniya* или *Purushanda*. Транслитерация *Kaneš*, принятая в данной работе, представляет собой необходимый компромисс между этими двумя крайностями. История изучения этнической принадлежности населения Канеша обсуждается в работе [Alp 1997].

[2] Здесь и далее все даты даются в соответствии со средней хронологией.

которой в период между XVII и XIII вв. до н. э. хорошо известна из письменных источников. В настоящей работе используются термины Древнее царство (XVII–XV вв.), раннее Новое царство (первая половина XIV в.) и империя Хаттусы (вторая половина XIV в. — начало XII в.), приблизительные аналоги которых, *Old Kingdom*, *Early New Kingdom* и *Hittite Empire*, можно найти в монографии [Bryce 2005][3].

В то же время имеются многочисленные нерешенные вопросы в этнической истории Анатолии периода бронзового века; для ответов на эти вопросы требуется палеосоциолингвистическое исследование. Один из таких вопросов, явившийся стимулом для данной работы, касается истории лувийских языковых сообществ. Хеттские законы содержат небольшое количество ссылок на страну под названием Лувия, не сопровождаемые географической идентификацией этого региона, в то время как группа других текстов вводит отрывки, которые, по-видимому, произносились *luwili* ‘на лувийском языке’, хотя не все они действительно записаны по-лувийски. Этим исчерпывается доступная историческая информация о Лувии и лувийском языке.

0.2 Предмет исследования

Основной предмет данного исследования — это социолингвистическая интерпретация контактно-обусловленных изменений в лувийском языке и его диалектах, а также в языках, подвергшихся его влиянию. Данная процедура является обратной по отношению к предмету большинства работ, посвященных языковым контактам в современном мире. Социолингвист, изучающий «живые» языки, как правило, заранее владеет информацией

[3] В настоящей диссертации избегаются термины «Хеттское царство», «империя хеттов» и т. д. Вместо этого употребляются термины «царство Хаттусы», «империя Хаттусы» и т. д. Основной причиной подобного подхода к терминологии является презумпция многонационального характера политического образования, традиционно именуемого империей хеттов. В качестве параллели здесь можно упомянуть многонациональную Римскую империю. Подробнее о влиянии терминологии на трактовку этнической истории древней Анатолии см. [Mouton et al. 2013: 1–3].

относительно лингвистической ситуации в соответствующих сообществах и изучает влияние экстралингвистических параметров на языковое варьирование. В случае палеосоциолингвистического исследования часто приходится работать с корпусом текстов, испытавших контактное влияние, не имея прямого доступа к исторической информации о природе соответствующих контактов. Использование типологических данных позволяет, однако, описать механизмы языковых контактов, исходя из их результатов, а затем реконструировать контактные стимулы, которые могли каузировать описанные механизмы. Диссертация открывает новое научное направление — палеосоциолингвистику.

В то же время особенностью материала, интерпретируемого в настоящей диссертации, является наличие ограниченной исторической информации, которую можно сопоставить с результатами лингвистического анализа. Речь идет в первую очередь об упоминании лувийцев и лувийского языка в хеттских текстах, а также об упоминании других народов, контактировавших с лувийцами, в исторических источниках (разделы 2.5, 2.8, 4.5 и т. д.). Кроме того, имеющиеся в нашем распоряжении лингвистические данные не ограничиваются набором контактно-обусловленных изменений в лувийском и других языках. Дополнительную социолингвистическую информацию можно почерпнуть, например, из этимологического анализа локализуемых имен собственных (разделы 2.3, 4.2) или из изучения акрофонической деривации анатолийских иероглифических силлабограмм (раздел 4.9). Поэтому дополнительным предметом настоящего исследования является гармонизация социолингвистических гипотез, полученных из различных источников.

0.3 Цели и задачи исследования

Целью исследования является обоснование возможности комплексной реконструкции языковой ситуации в отдельном регионе на основании

анализа контактных феноменов в языках с ограниченным корпусом текстов. Иными словами, речь идет о доказательстве полезности палеосоциолингвистики как самостоятельной дисциплины.

Основной задачей исследования является уточнение ареала распространения и основных функций лувийского языка в бронзовом веке. Дополнительной задачей исследования являлось уточнение ареала распространения и функций языков, контактировавших с лувийским в указанный период. В ряде разделов работы также рассматривается лингвистическая ситуация в Анатолии раннего железного века в той мере, в которой она позволяет прояснить факты более раннего периода.

0.4 Актуальность работы

Хотя Малая Азия в период бронзового века едва ли является очевидным приоритетом для палеосоциолингвистического анализа, причины этого кроются, скорее, в социологических, чем в лингвистических факторах. Клинописные языки редко преподаются на лингвистических факультетах, а империя Хаттусы привлекает меньше общественного внимания, чем Древний Египет или Римская империя. Но с чисто языковой точки зрения Древняя Анатолия является весьма благоприятным регионом для палеосоциолингвистического исследования. Клинописные таблички, обнаруженные в дворцовых архивах Хаттусы, содержат тексты на семи различных языках: хеттском, аккадском, шумерском, хаттском, хурритском, лувийском и палайском (восьмой язык, митаннийский арийский, засвидетельствован в виде заимствований в хеттских текстах). В дополнение к этому, данные таблички содержат многочисленные примеры структурной интерференции, лексических заимствований, смешения и переключения кодов[4]. Они также содержат определенное количество исторической

[4] Следуя практике учебника [Беликов, Крысин 2015: 27–32], я использую термин «смешение кодов» (= англ. *code mixing*) для феномена, который также именуется *intrasentential code-switching* ‘внутрисентенциальное переключение кодов’ в некоторых англоязычных работах. Термин «чередование кодов» используется в

информации, касающейся разнообразных этнических групп, которая может привлекаться для контроля социолингвистических выводов.

Выбор лувийского языка в качестве основного объекта исследования определяется в том числе и значительным прогрессом в описании этого языка в течение последних нескольких лет. Несмотря на то что первые лувийские тексты были введены в научный обиход в двадцатые годы прошлого века, изучение проблем, связанных с лувийцами, оставалось на всем протяжении века на периферии хеттологии. Ситуация резко изменилась в новом тысячелетии. Работы, посвященные лувийскому языку и лувийским текстам, теперь занимают почти такое же место в анатолистике, как и собственно хеттологические исследования. В частности, следует отметить появление первого учебника лувийского языка [Payne 2010], энциклопедической монографии, посвященной лувийцам [Melchert 2003] и очерка лувийской грамматики на русском языке [Якубович 2013a][5]. Тем не менее вопросы, связанные с локализацией лувийских языковых сообществ и определением функций лувийского языка, до сих пор остаются дискуссионными.

0.5 Новизна работы

В первую очередь, следует указать на методологически инновационный характер представленной диссертации. Хотя ученые и раньше обращались к теме социолингвистики древних языков (см., напр., [Wright 1982], [Janse, Adams, Swain 2003], [Bádenas de la Peña et al. 2004],

---

настоящей диссертации в качестве гиперонима для переключения и смешения кодов. Я оперирую следующими базовыми подтипами чередования кодов: ситуационное переключение кодов, метафорическое переключение кодов, некомпетентное смешение кодов и прагматически обусловленное смешение кодов. См. [Winford 2003: 116], где представлена попытка определить различие между ситуационным и метафорическим переключением кодов в устной речи, а также [Winford 2003: 108], где обсуждается некомпетентное смешение кодов. Прагматически обусловленное смешение кодов заключается в употреблении функционально мотивированных иноязычных вкраплений в ситуации полного двуязычия. Этот механизм будет подробнее рассмотрен в п. 5.4.4 в связи с социолингвистической ситуацией в империи Хаттусы.

[5] Единственная русскоязычная монография, посвященная грамматике лувийского языка ([Дунаевская 1969]), к сожалению, устарела.

[Adams 2013], [Mullen 2013]), настоящая работа является, по моему мнению, первым опытом в области палеосоциолингвистики как самостоятельной научной дисциплины. Впервые применение методологии обратного социолингвистического анализа приводит к нетривиальным историческим выводам, что делает его полезным для широкого круга специалистов, чьи интересы лежат за пределами лингвистики.

Представленная диссертация также открывает новую перспективу на реконструкцию лингвистической ситуации в древней Анатолии. Хотя лувийцы должны были иметь не меньшее значение для истории Анатолии в период бронзового века, нежели хетты, лишь несколько исследователей пытались систематически различать эти две этнические группы. Чаще всего лувийцы упоминаются в связи с определенными географическими и политическими объединениями, будь то юго-восточное анатолийское княжество Киццувадна или гомеровская Троя. Это должно объясняться отчасти тем, что специалисты по хеттам обычно являются историками и филологами, а не социолингвистами. С другой стороны, характер первичных источников вносит дополнительные сложности в палеосоциолингвистическое исследование этого региона. Прежде чем подходить к проблемам языковых контактов в древней Анатолии, необходимо было определиться с синхронной структурой лувийского языка. Значительные успехи, сделанные в этой области в последние 30 лет, связаны с работами Дж. Д. Хокинса, Х. К. Мелчерта, А. Морпурго-Дэвис и Ф. Штарке, а также с работами других исследователей.

Новизна исторических выводов диссертации выявляется в сравнении с авторитетной работой [Bryce 2003], чьи выводы опираются в основном на критику письменных источников и претендуют на статус последнего слова в истории лувийцев. Брайс предложил сценарий экспансии лувийского языкового сообщества на юго-восток. Он предположил, что в XVII в. до н. э. “языковые сообщества лувийцев занимали обширные территории в западной половине Анатолии” (стр. 28). К середине II тыс. до н. э. “группы лувийцев

распространились на юг и восток, заняв значительную часть южной Анатолии, от области (классической) Ликии на западе до (классической) Памфилии, Писидии, Исаврии, Ликаонии и, наконец, Киликии на востоке" (стр. 31). Брайс осторожно заключает, что такие миграции могли являться продолжением общеанатолийского движения на юго-восток, с Балкан в Малую Азию (стр. 40). Данный сценарий существенно отличается от реконструкции, предложенной в диссертации, согласно которой локальная лувийская прародина располагалась в центральной части Малой Азии, а присутствие лувийцев на эгейском побережье было достаточно ограниченным.

Оставляя на некоторое время в стороне лингвистические соображения, представляется, что этот сценарий маловероятен с чисто исторической точки зрения. Археологические свидетельства говорят, скорее, в пользу культурной преемственности в анатолийском регионе от раннего к среднему бронзовому веку [Melchert 2003a: 25, см. там же библиографию]. Ожидается, что этнические группы, совершившие обширные миграции, должны поддаваться археологической идентификации. Однако на данный момент не существует такой вещи, как общепризнанная лувийская археология, поскольку "локальные археологические традиции западного прибрежного региона, а также эгейско-восточноанатолийской контактной зоны, всецело отличны от традиций Центральной Анатолии" [Taracha 2006: 148, см. там же библиографию]. Если принять, что миграция лувийцев на восток произошла после образования царства с центром в Хаттусе, то мы сталкиваемся с дополнительной проблемой того, как объяснить полное молчание хеттских источников об этом событии. Сценарий мирной экспансии, которому содействовало бы экономическое превосходство лувийцев, остается неубедительным, пока не выявлены специфические экономические преимущества лувийских групп. Политическая раздробленность Малой Азии, которой характеризуется период до XVII в. до н. э., и социальное превосходство хеттов в последующий период затрудняют сценарий резкого

языкового сдвига от хеттского к лувийскому в Центральной Анатолии, не сопровождавшегося демографической мобильностью.

Брайс эксплицитно признает недостатки своего метода, поясняя, что “мы не можем с какой-либо степенью уверенности установить четкое различие между лувийскими и нелувийскими ареалами где-либо в Анатолии” (стр. 34). Подобная констатация является, с моей точки зрения, справедливой по отношению к работе [Bryce 2003], но чрезмерно пессимистичной как общая оценка проблемы. На деле можно с переменной степенью уверенности говорить о статусе лувийского языка в различные эпохи и в разных регионах Анатолии, но для достижения объективных суждений по данному вопросу следует привлечь научные ресурсы социолингвистики. Это и осуществляется в представленной на защиту диссертации[6].

0.7 Методология исследования

В представленной на защиту диссертации задействованы все основные исследовательские методы, применяемые в социолингвистике, исторической и контактной лингвистике. Применение статистических методов позволяет установить корреляцию между лингвистическими и экстралингвистическими переменными (например, при анализе употребления глоссового клина в текстах различных жанров, раздел 5.4.3). Сравнительно-исторический метод играет ключевую роль при установлении различия между контактно-обусловленными процессами, с одной стороны, и генетическими изоглоссами, а также случайными совпадениями, с другой (например, в Главе 3). Типологический метод особенно важен для обратного социолингвистического анализа, поскольку он позволяет установить соотношение между механизмом и мотивацией языковых контактов, с одной

[6] Я благодарен Т. Брайсу за внимательное отношение к монографии [Yakubovich 2010a], которая легла в основу данной диссертации. Хотя, не будучи лингвистом, Брайс не считает возможным оценивать мои выводы по существу, он регулярно реферирует их в своих недавних публикациях наряду со своими более ранними заключениями, предоставляя квалифицированному читателю сделать самостоятельный выбор между предложенными гипотезами. См., напр., [Bryce 2014: 131].

стороны, и их формальным выражением, с другой стороны (см. Заключение). Комбинаторный метод корпусного анализа не эксплицируется в настоящем исследовании, однако его применение стоит почти за всеми авторскими переводами лувийских текстов[7].

Поскольку настоящее исследование имеет дело с языковым материалом, зафиксированным исключительно в письменной форме, для его успешного завершения часто требовалось применение филологического метода. Этот метод оказался особенно важным для дифференциации явлений языковой интерференции, отражающих компетенцию авторов текстов, и вторичных контактных явлений, привнесенных в источники их переписчиками (например, в разделах 1.3, 5.4.2). Комбинаторный метод дает важные результаты при этимологическом анализе корпусов имен собственных (2.5, 4.2), а источниковедческая критика остается важным методологическим приемом при гармонизации исторических и лингвистических данных (например, при обсуждении «троянской проблемы» в разделах 2.5–6). Примером сочетания филологического и источниковедческого анализа является обсуждение упоминания страны Лувия в Хеттских законах (2.4).

0.8 Базовые допущения

Здесь уместно выразить мою позицию по поводу ряда дискуссионных проблем анатолистики, вынося их за рамки основной части диссертационного исследования. Не претендуя на то, что мои замечания смогут убедить сторонников иной точки зрения, привожу их для прояснения логической структуры последующей аргументации.

[7] О лувийском языке как объекте продолжающейся дешифровки и о важности комбинаторных методов, основанных на всеобъемлющем корпусном анализе см. [Бородай, Якубович 2014]. Аннотированный корпус лувийских тестов подготовлен рабочей группой под руководством автора настоящей диссертации и доступен в сети Интернет по адресу http://web-corpora.net/LuwianCorpus/search.

На сегодня большинство лингвистов рассматривают анатолийскую группу языков как наиболее ранний отпрыск индоевропейской семьи[8]. Я эксплицитно подчеркиваю этот факт, используя термин «индохеттский» для общего языкового предка анатолийских и индоевропейских языков, но этот терминологический выбор не имеет прямых последствий для выводов моей работы. Природа моего исследовательского проекта позволяет занимать агностическую позицию в отношении места и времени разделения между индоевропейскими и анатолийскими языками, а также по поводу направления миграции анатолийских языков в Малую Азию (или индоевропейских миграций из Малой Азии). Представляется, однако, необходимым исходить из отсутствия преемственности между этими событиями и лувийскими миграциями через Малую Азию, которые должны были произойти значительно позже.

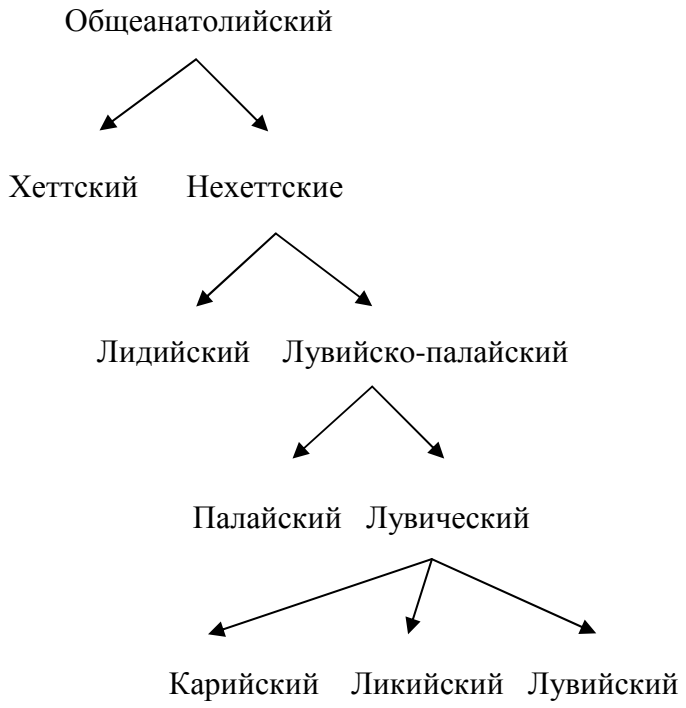
В дальнейшем я буду оперировать моделью генетического членения анатолийских языков, которая схематически представлена ниже. Ключевые морфологические инновации, характеризующие каждый узловой пункт на предполагаемом древе, перечислены в нисходящем порядке. Классификация имеет многочисленные сходства с той, что дана в работе [Oettinger 1978]. Для строгого доказательства данной конкретной конфигурации требуется отдельная и более детальная дискуссия, но, как представляется, она близка к *consensus majorum* и принимается здесь как рабочий инструмент без дальнейших обсуждений[9].

---

[8] См., напр., [Jasanoff 2003: 20, сноска 41]. Как можно понять из этой дискуссии, консенсус по поводу сущности индохеттской гипотезы не влечет автоматического принятия термина «индохеттский», который некоторые лингвисты находят непривлекательным с эстетической точки зрения. Я принимаю этот традиционный термин, потому что он подходит для преодоления терминологической двусмысленности между разными стадиями развития праиндоевропейского языка, хотя и признаю, что термин «индоанатолийский язык» был бы более удачным. Следует отметить, что индохеттская гипотеза сегодня принимается не только сторонниками, но и противниками анатолийской прародины «индохеттов», напр. [Chang et al. 2015: 195; Anthony, Ringe 2015: 201]. В качестве примера того, как сравнение между отдельными анатолийскими языками может привести к модификации индохеттской реконструкции, можно упомянуть соответствие хетт. *s* ~ лув. *t/d*, ведущее к восстановлению индохеттской фонемы **θ* [Иванов 2009: 3–5].

[9] Иванов [Ivanov 2001] пытается показать, что анатолийская группа языков должна рассматриваться как языковой союз, а не генетическая семья. Действительно, некоторые языковые особенности, которые традиционно понимаются как общеанатолийские инновации, могут быть реинтерпретированы в качестве вторичных контактных феноменов (ср. Главу 3, где приводится один из таких случаев). Имеются, однако,

Рисунок 1. Членение анатолийской группы языков



1) Окончание 1 ед. презенса *-wi* (вместо **-mi*): инновация, которая может быть реконструирована для нехеттских языков.

2) Обобщение в 1 ед. претерита окончания *-ha* (за счет **-om*): инновация, которая может быть реконструирована для лувического и палайского.

3) Окончание **-nsi* в им. мн. (вместо **-es*): инновация, которая может быть реконструирована для лувического.

Из приведенной выше диаграммы вытекает необходимость постулировать несколько промежуточных стадий между праанатолийским и общелувийским состоянием. С другой стороны, большое количество генетически не связанных слов в базовом лексиконе лувийского и хеттского языков также побуждают отнести время их разделения глубоко в анатолийскую предысторию. Список из 13 дивергентных лексем, все из которых относятся к стословнику Сводеша, приведен в Таблице 1 (список основан преимущественно на работе [Ivanov 2001]). Среди приведенных в таблице форм нет очевидных заимствований. Учитывая, что на данный

некоторые нетривиальные общеанатолийские инновации, чья связь с внешними контактами едва ли может быть доказана; напр., появление *ū* в **amū* ‘я’ по аналогии с **tū* ‘ты’, энклитизация указательного местоимения **o- > a-* или слияние префикса *pe-* с глагольным корнем **ai* ‘давать’ (возражения Клукхорста [Kloekhorst 2006] против реальности этой фузии, как представляется, основаны на его нежелании принимать праиндоевропейскую фонему **a*). Отсюда не следует, что подобные инновации не могли распространиться посредством диффузии в континууме уже разделенных диалектов, но данный тезис не поддается проверке. Согласно сравнительному методу, эта общая инновация должна рассматриваться как генетически унаследованная, пока не показан ее вторичный характер.

момент идентифицировано лишь около половины лувийского стословника, можно предположить посредством экстраполяции, что общее число лексических дивергенций в списке могло составлять около 25. Таким образом, мы имеем дело с показателем родства, который ниже, чем для славянских языков (не более 20 лексических дивергенций между любыми двумя языками)[10]. Распад праславянского на отдельные диалекты обычно относят к середине I тыс. н. э., руководствуясь историческими соображениями. Если принять ту же скорость лексических замен для анатолийских языков, то необходимо предполагать, что хеттский и лувийский отделились друг от друга по меньшей мере за 1500 лет до исторической фиксации обоих языков, то есть примерно в 3000 г. до н. э.

Таблица 1. Расхождения в базовом лексиконе между хеттским и лувийским

Значение	Хеттский	Лувийский	Значение	Хеттский	Лувийский
‘все’	*humant-*	*puna*(*da*/*i*)- *tanim(a/i)-*	‘длинный’	*dalugi-*	*ārray(a)-*
			‘человек’	*pesna-*	*zid(i)-*
‘большой’	*salli-*	*ura-*	‘дорога’	*palsa-*	*harwa-*
‘жечь’	*warnu-*	*kinu-* (?)	‘говорить’	*mema-*	*assa*(*za*)-
‘умирать’	*ak(k)-*	*wal-*	‘видеть’	*au(s)-*	*manā-*
‘голова’	*harsar/n-*	*harmah(i)-*	‘стоять’	*ar-* (мед.)	*tā-*
‘знать’	*sakk-*	*un(a)i-*	‘вода’	*watar/weten-*	*wār*

Таким образом, степень расхождения между хеттским и лувийским языками, по-видимому, близка к той, что отмечаются в случае польского и русского, или, возможно, итальянского и испанского языков. Засвидетельствованные диалекты лувийского, напротив, не демонстрируют каких-либо систематических различий в базовом лексиконе (глагол ‘делать’, который обсуждается в разделе 1.6, не входит в стословник). Было бы невозможно объяснить столь большое сходство, если принять, что

[10] Относительно корреляции между количеством схождений в базисной лексике и характером языкового родства см. [Бурлак, Старостин 2005: 19–20].

расселение носителей лувийского языка по всей Анатолии произошло уже в III тыс. до н. э. В отсутствие централизованного государства, которое могло бы способствовать унификации языка, диалекты, скажем, Табала и Киццувадны стали бы взаимно непонятными в течение одной тысячи лет. Нет иного выбора, кроме как признать, что миграции различных групп лувийцев должны быть синхронизированы с периодом староассирийской торговли в Анатолии, если и не с Древним царством (ср. [Bryce 2003: 31]). Если так, то бесполезно искать преемственность между миграциями праанатолийцев в Малую Азию и последующей лувийской экспансией, подобно тому как немецкая политика *Drang nach Osten* («Натиска на Восток») в начале II тыс. н. э. ни в коей мере не продолжает миграции германских племен в западном направлении, происходившие за тысячу лет до этого. В целом отсутствует необходимость в том, чтобы предполагать, что направление миграций отдельных групп лувийцев продолжает какую-либо заранее заложенную модель, что ясно иллюстрируется вышеприведенной германской параллелью.

Другое положение, заслуживающее комментариев, касается таксономического статуса лувийского языка. Группа исследователей (А. Морпурго-Дэвис, Т. Брайс, И. Хайнал) используют термин «лувийские языки» для группы, включающей «клинописный лувийский», «иероглифический лувийский», ликийский А, ликийский Б (милийский), а сейчас еще и карийский. Признание того, что лувийская языковая семья состоит из нескольких отдельных языков, позволило бы отнести миграции лувийцев к более отдаленному прошлому. С другой стороны, Мелчерт [Melchert 2003b: 175–176] утверждает, что аборигенные языки Ликии, известные по местным письменным памятникам, являются близкими родственниками лувийского языка, но не его прямыми потомками. Это приводит его к тому, чтобы постулировать существование лувической семьи, представляющей собой более высокий таксономический элемент, чем лувийский диалектный континуум, и включающей в себя лувийский язык и

его близких родственников, фиксируемых в I тыс. до н. э. [ibid.: 177, сноска 7]. Если так, то более поздние лувийские миграции или языковой сдвиг должны рассматриваться отдельно от более ранних лувических миграций или языкового сдвига[11]. Вероятные археологические корреляты распространения лувического праязыка по юго-западной части Малой Азии в 2500–2200 до н. э. прослеживаются в работе [Bachuber 2013], хотя сам автор и не пытается различать между терминами «лувийский» и «лувический».

По моему мнению, вполне возможно, что лувические языки все еще составляли совокупность взаимопонятных диалектов в конце бронзового века. Тем не менее все случаи появления термина *luwili* в хеттских текстах, сопровождаемых нехеттскими цитатами, отсылают, похоже, к лувийскому ядру этой группы диалектов. Следовательно, отсутствуют положительные свидетельства того, что языковые предшественники ликийцев и карийцев мыслились как члены лувийских языковых сообществ во II тыс. до н. э.[12]. На самом деле полное отсутствие текстов бронзового века, написанных на праликийском или пракарийском, заставляет предполагать несоразмерный престиж этих диалектов и лувийского языка, по крайней мере с точки зрения элит империи Хаттусы[13]. Следовательно, методологическое разграничение между понятиями «лувийский» и «лувический», предложенное Мелчертом, является не только значимым с формальной точки зрения, но и оправданным с социолингвистических позиций. В отсутствие свидетельств в пользу противоположной точки зрения, представляется разумным признать, что все

[11] В то же время необходимо признать, что не всегда возможно провести разграничение между лувийскими и лувическими формами. Так, в работе [Houwink ten Cate 1965: 113–187] проводится детальный обзор ликийских и киликийских личных имен, зафиксированных в эллинистический период, с целью показать их «лувийский» характер. Используя терминологию, принятую в данной книге, автору удалось лишь показать, что обитатели Южной Анатолии принадлежали к группам лувического населения. Это разграничение, однако, затруднительно подтвердить, опираясь только на материалы ономастики, поскольку ключевые морфосинтаксические инновации, ясно характеризующие лувийский язык, не отражены в личных именах.

[12] Хеттские источники часто упоминают людей *Lukka*, которые, как будет показано ниже в разделе 2.7, являются возможными предками классических ликийцев. Также в источниках упоминаются земли *Lukka*, заселенные этими людьми. Большинство исследователей согласны с тем, что хеттские географические обозначение *Lukka* и *Luviya* применялись в отношении различных территорий.

[13] Ср. дискуссию в разделах 2.4 и 4.8, где я обращаюсь к передаче ритуалов Арцавы и Киццувадны. Ритуалы Киццувадны, выполнявшиеся на лувийском языке, были частично записаны на языке оригинала, в то время как ритуалы Арцавы, которые, вероятно, исполнялись на одном из лувических диалектов, всегда записывались по-хеттски.

лувические отрывки, записанные клинописью, являются также лувийскими в узком смысле слова, даже если они не включают эксплицитного маркера *luwili*. Относительно высокий престиж лувийского в Хаттусе обеспечил сохранность этих текстов в придворных архивах[14].

Наконец, ответственный исследователь, занимающийся изучением истории лувийского языкового сообщества, должен иметь свою позицию по поводу такой дискуссионной темы, как греческие топонимы на -(ι)νθο- и -(α)σσο-, для которых предполагалось лувическое происхождение[15]. Реконструкция лувического субстрата в континентальной Греции сдвинула бы «центр тяжести» лувического ареала далеко на запад, что, в свою очередь, добавило бы правдоподобности сценарию лувийских миграций, предложенному в работе [Bryce 2003]. По моему мнению, наличие общего субстрата в Анатолии и на Балканах — эта гипотеза была впервые разработана в работе [Kretschmer 1896] — остается правдоподобным. В частности, вполне вероятно, что греч. λαβύρινθος ‘резиденция критских царей, лабиринт’ и карийский топоним Λάβραυνδα (Лабраинда), засвидетельствованный в греческой передаче, а также греческое обозначение горы Παρνασ(σ)ός (Парнас) и анатолийское обозначение города *Parnassa*, зафиксированное в клинописи, в конечном счете, содержат одни и те же морфемы. Впрочем, это может говорить как в пользу существования анатолийского субстрата в Греции, так и в пользу существования греческого субстрата в Малой Азии в период бронзового века. Для того чтобы доказать, что эта группа топонимов имеет лувийское или анатолийское

[14] На практике это социолингвистическое допущение релевантно в основном для утверждения о лувийском характере истанувского диалекта, поскольку пассажи на истанувском лувийском никогда не вводятся с помощью наречия *luwili*.

[15] Впервые на «лувийском» характере топонимов на *-anda* и *-assus* настаивал Форрер [Forrer 1921: 23]. Еще Кречмер [Kretschmer 1896: 293 и далее; 401–409] сравнивал суффиксы -νθο- и -σσο- топонимов континентальной Греции и Эгейских островов с анатолийскими аналогами -νδα- и -σσο-, хотя он предполагал неиндоевропейское происхождение субстрата, общего для Греции и Анатолии. Позднее Кречмер модифицировал свою позицию в соответствии с идеями Форрера. Среди последующих сторонников взглядов Кречмера можно выделить Л. Палмера, который непреклонно отстаивал точку зрения о лувийских миграциях в Анатолию через континентальную Грецию, которые предшествовали приходу греков (см., напр., [Palmer 1965: 321–356] и [Palmer 1980: 10–16]). Взгляды Кречмера критикуются в работе [Kammenhuber 1969: 144].

происхождение, необходимо продемонстрировать преобладание исконных лувийских или анатолийских морфем внутри этой группы.

Ни об одном из греческих топонимов на -(ι)νθο- и -(α)σσο-, засвидетельствованных за пределами Анатолии, нельзя с уверенностью сказать, что он содержит унаследованный индохеттский корень. В качестве деривационной базы для греч. Παρνασ(σ)ός часто приводится лув. *parna-* ‘дом’, но этот корень не имеет надежных когнатов за пределами Анатолии (ср. [HEG: 569–571]). В противоположность этому, большая доля топонимов на *-anda* и *-assa*, зафиксированных в клинописных источниках, должна, по-видимому, восходить к анатолийским корням [Laroche 1961]. Это, однако, мало что говорит о происхождении соответствующих суффиксов, поскольку они оба были синхронно продуктивны в Анатолии в период бронзового века. Так, город Милавата, который, похоже, представляет собой раннее обозначение Милета, имел альтернативную запись в хеттских источниках как *Millaw-anda* [del Monte, Tischler 1978: 268]. Когда царь Хаттусы Муваталли II основал в южной части империи новую столицу, он дал ей имя *Tarhunt-assa* в честь бога грома Тархунта. Следовательно, вполне возможно, что все топонимы на *-anda* и *-assa*, имеющие анатолийскую этимологию, точно так же представляют вторичные образования[16], а их аналоги неясного происхождения, такие как *Purushanda* и *Nenassa*, отражают предшествующий пласт[17].

Что касается рассматриваемых суффиксов, то для меня представляются убедительными аргументы в пользу их неиндохеттского происхождения, которые даны в работе [de Hoz 2004]. Консонантизм суффикса -(ι)νθο-, по-видимому, является более архаичным, чем консонантизм его анатолийского

[16] С типологической точки зрения эту ситуацию можно сравнить с распространением топонимического суффикса *-stan* в Центральной Азии. Хотя эта морфема, в конечном счете, восходит к праиранскому **stāna-* ‘место’, только два территориальных обозначения, содержащих этот суффикс (Афганистан и Таджикистан) характеризуются преобладанием иранского населения, и только в первом случае наличествует иранская этимология для корня. В противоположность этому, четыре территориальных образования, названных по той же модели (Казахстан, Киргизстан, Туркменистан и Узбекистан), характеризуются преобладанием тюркского населения, и их обозначения основаны на тюркских этнонимах.

[17] Впрочем, см. недавнюю работу [Иванов 2014], в которой предлагается сегментация *Purus-handa*, а первая часть этого топонима генетически связывается с названием племени пруссов.

аналога *-(a)nda*, поскольку /t^h/ может быть легко реинтерпретировано как /t/ ~ /d/ в анатолийских языках, не имеющих фонологичной аспирации, в то время как обратное изменение в греческом было бы немотивированным. Наличие серии (глухих) придыхательных в догреческом субстрате независимо подтверждается потерей придыхания в греческом языке у звуков, являющихся с этимологической точки зрения звонкими придыхательными. Что касается греческого суффикса -(α)σσο-, то де Ос [de Hoz 2004: 46–47] обращает внимание на существование когната -(η)ττο- в аттическом диалекте (примеры приведены уже у [Kretschmer 1896: 405]). Диалектная вариация между -σσ- и -ττ- в унаследованном пласте греческого лексикона обычно указывает на этимологический кластер *-*kj*- или *-*tj*-, который затем развился в аффрикату /ts/ или во что-то сходное с ней. Ни субстратный суффикс *-*nt^{h}o*-, ни субстратный суффикс *-*tso*- не имеют надежного соответствия в индохеттской языковой семье. Рефлексы этих суффиксов в балканской топонимии не были хорошо интегрированы в морфологическую систему греческого языка и, таким образом, остались непродуктивными. В Малой Азии рефлексы этих морфем были реинтерпретированы соответственно как дериваты адъективного суффикса *-ant* и посессивного маркера *-assa*, что и обеспечило их непрерывную продуктивность [ср. Miller 2014: 19][18].

Основываясь на этом анализе, приходится сделать вывод о том, что пласт анатолийских топонимов ограничен территорией Малой Азии и что отсутствуют положительные свидетельства в пользу существования анатолийского субстрата в Европе[19]. Следовательно, можно заключить, что

[18] О реконструкции лувийского окончания генитива *-assa*, родственного ликийскому *-ehe*, см. раздел 1.4.

[19] Беглого упоминания заслуживают попытки читать эгейские надписи с помощью лувийского языка. Некоторые сторонники лувийской колонизации Крита через Западную Анатолию произвели специфичные расшифровки документов, записанных линейным письмом А, а также Фестского диска; эти дешифровки не были признаны в среде самих этих исследователей, а также остальным научным сообществом (из недавних попыток см., напр., [Marangozis 2003] и [Woudhuizen 2006]). При обращении к проблеме гипотетического лувийского субстрата в Эгейском бассейне сталкиваешься с широким набором вторичной литературы: сюда входят как труды исследователей с серьезным подготовкой в области классической филологии и анатолистики, так и работы эллинистов, не очень хорошо знакомых с лувийским языком, а также монографии и заметки любителей из обеих областей. Не следует игнорировать тот факт, что люди, исследующие предысторию греческого языка, занимающиеся дешифровкой древних надписей Средиземноморья или изучающие миграции «народов моря», формируют более разнородную и обширную группу, чем те, кто занимается исследованием языков Древней Анатолии самих по себе.

разделение анатолийской и (как следствие) лувической языковой группы с наибольшей вероятностью происходило внутри Анатолии.

0.9 Структура исследования

Каждая глава диссертации посвящена реконструкции истории лувийского языкового сообщества, но их методология не является везде одинаковой. Глава 1 организована как корпусное исследование по диалектной географии. Объект исследования ограничен лувийскими диалектами в узком смысле, которые противопоставляются лувическим диалектам. Положительные заключения этой главы связаны с реконструкцией лувийской диалектной филиации. Обсуждение лувических диалектов, которые должны (или не должны) реконструироваться для бронзового века, составляет основную проблему Главы 2. Поскольку корпус языковых данных ограничен в этом случае небольшим количеством личных имен, большее внимание уделяется исследованию исторических источников. В результате предлагается сценарий этнолингвистической истории Западной Анатолии, который оптимальным образом соотносится с доступными источниками. Наиболее значимые выводы этой главы, однако, являются негативными. Предпринята попытка показать, что большинство гипотез, касающихся присутствия лувийцев в Эгейском бассейне и развиваемых во вторичной литературе, либо являются плохо обоснованными с эмпирической точки зрения, либо опираются на широкое понимание термина «лувийский» (в смысле «лувический»).

В Главах 3–5 рассматриваются языковые контакты между хеттами и лувийцами. В Главе 3 дается лингвистическое доказательство доисторических структурных контактов между этими двумя языками через сравнительный и исторический анализ анатолийских возвратных местоимений. Структура Главы 4, которая сосредоточена на исторических контактах между хеттами и лувийцами в период до образования империи

Хаттусы, является более эклектичной. Здесь приходится оперировать крайне разнородными свидетельствами, историческими и лингвистическими, и иногда прибегать к неизбежным спекуляциям, чтобы собрать эту мозаику в отчетливую картину. К значимым нелингвистическим выводам этой главы относятся новые теории о лувийской прародине и происхождении анатолийского иероглифического письма. Глава 5 охватывает период ок. 150 лет, в течение которого существовала империя Хаттусы. В этот период можно одновременно наблюдать контактно-обусловленные изменения в фонологии, морфосинтаксисе и лексике хеттских текстов. Поэтому данная глава может рассматриваться как автономный очерк по контактной лингвистике, где разнообразные типы дескриптивных данных проверяются на соответствие друг другу. Заключение диссертации подводит итоги дискуссии, помещая эмпирические результаты исследования в контекст общей теории языковых контактов.

0.10 Теоретическая и практическая значимость

Теоретическая значимость диссертации для социолингвистов и исторических лингвистов, чьи основные научные интересы лежат за пределами анатолийского языкознания, состоит в апробации методологии обратной социолингвистической реконструкции. Предложенная методология может быть в дальнейшем применена к анализу сосуществования языков в других древних обществах. Например, с ее помощью можно попытаться ответить на вопрос о статусе праармянского языка в государстве Урарту, о распределении функций между различными языками и диалектами на Шелковом Пути или уточнить динамику расширения сферы употребления санскрита в средневековой Индии. Отвлекаясь от конкретных примеров, следует указать также на то, что введение проблем, связанных с вымершими языками, в научный обиход социолингвистики может оказать существенное

влияние на повышение роли изучения этих языков в современном языкознании в целом.

Практическая значимость настоящей диссертации с точки зрения хеттологов и специалистов по Древней Анатолии представляется достаточно очевидной. Предложенная модель социолингвистической реконструкции позволяет восстановить этническую историю региона в тот период, когда она не может быть реконструирована традиционными историческими методами. Побочным результатом исследования явилось уточнение чтений ряда анатолийских иероглифов, новые этимологии топонимов и личных имен, а также реконструкция эволюции клитических местоимений во всех основных анатолийских языках. Выводы данной диссертации могут быть использованы как в курсах по истории Малой Азии, так и в преподавании отдельных древних языков данного региона.

0.11 Апробация положений работы

Предварительные результаты диссертационного исследования были представлены на следующих научных форумах: коллоквиум «Хетты, греки и их соседи по Древней Анатолии» (Атланта, сентябрь 2004 г.), 17 ежегодная калифорнийская конференция по индоевропеистике (Лос-Анджелес, ноябрь 2005 г.), ежегодная конференция Американского лингвистического общества (Анахейм, январь 2007 г.), 217 ежегодная сессия Американского общества востоковедов (Сан-Антонио, март 2007 г.), коллоквиум «Чередование, конкуренция и эволюция падежных систем» (Париж, апрель 2007 г.), 53 международный конгресс ассириологов (Москва, июль 2007 г.), Рабочая встреча Indogermanische Gesellschaft (Марбург, сентябрь 2007 г.), 19 ежегодная калифорнийская конференция по индоевропеистике (Лос-Анджелес, ноябрь 2007 г.), 218 ежегодная сессия Американского общества востоковедов (Чикаго, март 2007 г.), 7 международный конгресс хеттологов (Чорум, июль 2008 г.), Чтения памяти И. М. Тронского (Санкт-Петербург,

июнь 2009 г.). Кроме того, по теме диссертации были прочитаны приглашенные доклады в Школе востоковедения и африканистики (*SOAS*) Лондонского университета (декабрь 2005 г.), в *École Pratique des Hautes Études* (Париж, июнь 2006 г.), в Мичиганском университете (Энн Арбор, октябрь 2006 г.), на греко-латинском факультете Лондонского университета (март 2007 г.), в Калифорнийском университете (Беркли и Лос-Анджелес, январь 2009 г.). Основные результаты диссертации отражены в англоязычной монографии [Yakubovich 2010a], хотя по сравнению с последней текст диссертации существенно изменен и дополнен с учетом реакции научного сообщества и прогресса, достигнутого в области лувийских исследований за последние пять лет. В частности, учтены результаты первой международной конференции, посвященной лувийцам, состоявшейся в Рединге (Великобритания) в июле 2011 г., а также рецензий на монографию, принадлежащих Н. Эттингеру [*Kratylos* 56: 187–93], Д. Пети [*Journal of Language Contact* 4: 141–151], Д. Хокинсу [*Kadmos* 52/1: 1–18] и А. Теффетеллер [*Journal of the American Oriental Society* 131/3: 456–459].

Глава 1. Лувийские диалекты

1.1 Вводные замечания

Прежде чем искать прародину лувийцев или обсуждать их миграции, необходимо рассмотреть проблемы, связанные с географией лувийских диалектов. Сопоставление лувийских диалектов и анализ их архаизмов и инноваций может привести к важным результатам на самых разных уровнях. С одной стороны, число диалектных инноваций может способствовать появлению идеи о времени, которое протекло между распадом реконструируемого «общелувийского» состояния и действительной фиксацией отдельных диалектов. С другой стороны, специфические диалектные конфигурации могут предоставить ответы на вопрос о наиболее вероятных направлениях миграции лувийцев по Анатолии. Достаточно взять один пример из близлежащего региона: общие инновации, разделяемые аркадским и кипрскими диалектами древнегреческого языка, но отсутствующие в дорических диалектах, на которых говорят в обширных регионах между двумя предыдущими, позволяют идентифицировать аркадский и кипрский диалекты с потомками диалектного континуума, располагавшегося в Южной Греции в период бронзового века, и считать, что дорийские племена пришли на эту землю позднее.

Трудности, с которыми приходится сталкиваться при чтении и понимании лувийских текстов, долгое время препятствовали лингвистической дискуссии о диалектных различиях внутри лувийского языка. Первые попытки дешифровки анатолийских иероглифов были сделаны в конце XIX в., когда еще мало было известно об анатолийских языках, и обозначение «иероглифический хеттский», придуманное в этот период, являлось не более чем правдоподобной исторической догадкой. Тем не менее данный термин продолжал использоваться также и после того, как

было надежно установлено различие между хеттским и лувийским языками и определены специфические изоглоссы, связующие клинописный лувийский и «иероглифический хеттский». Одна из причин, сыгравших свою роль в долгой сохранности этого неверного термина, заключалась в неправильной фонетической идентификации отдельных анатолийских иероглифических знаков, что способствовало гиперболизации различий между лувийскими текстами, записанными клинописью, и иероглифическими надписями. Показательно, что Эммануэль Ларош, сделавший множество попыток доказать тесную связь между клинописным лувийским и языком анатолийских иероглифов [Laroche 1958; 1960a; 1967], выбрал название *Les hiéroglyphes hittites* для своего каталога анатолийских иероглифов [Laroche 1960b][20]. Даже Пьеро Мериджи, предложивший еще в 1934 г. термин *hierohlyphisch-Luwisch*, все же вернулся в своей работе, опубликованной в 1960-е гг., к традиционному обозначению *hieroglyphisch-hethitisch* (см. особенно [Meriggi 1962: 1 и сноска 1]).

Неясности, которые препятствовали чтению лувийских иероглифических надписей, иногда затрудняли также и изучение клинописных материалов. Так, Боссерт [Bossert 1944] сомневался, должны ли слова иностранного происхождения, маркированные глоссовым клином (*Glossenkeil*) в хеттских текстах имперского периода, относиться к лувийскому или «иероглифическому хеттскому», и, будучи неспособен ответить на этот вопрос, отнес их к отдельному языку (*Glossenkeilsprache*). Если принять допущение, что иероглифический лувийский и клинописный лувийский являются, по сути, одним языком, то существование *Glossenkeilsprache*, очевидно, теряет свой *raison d'être*. Отдельные несовпадения между словами, помеченными глоссовым клином в хеттских текстах, лексемами, встречающимися во фрагментах на клинописном

[20] В защиту Лароша можно сказать, что заглавие его работы не относилось напрямую к языку, записанному анатолийскими иероглифами, но, скорее, передавало идею "иероглифов, использовавшихся в Хеттской империи и постхеттских княжествах". Тем не менее необходимо понимать, что работа [Laroche 1960b], которая все еще остается полезным справочным пособием, оказала огромное влияние на распространение неверного термина «иероглифический хеттский».

лувийском, и лексиконом лувийских иероглифических надписей, должны объясняться, скорее, жанровым особенностями соответствующих текстов, а не их диалектной принадлежностью. То же самое справедливо и в отношении лексики «Песен Истанувы», чей предположительно светский характер резко отличает их от клинописных лувийских заклинаний.

Ситуация изменилась с появлением новых чтений нескольких иероглифических знаков, предложенных независимо Г. Нойманном и Дж. Д. Хокинсом в соавторстве с А. Морпурго-Дэвис [Hawkins et al. 1974]. С помощью улучшенной системы транслитерации удалось преодолеть наиболее существенные различия между клинописным лувийским и языком анатолийских иероглифов. После того как новое прочтение встретило общее одобрение среди специалистов, термин «иероглифический хеттский», или просто «иероглифический», стал постепенно заменяться на «иероглифический лувийский»[21]. Тем не менее многие лингвисты продолжали отстаивать тезис о том, что «клинописный лувийский» и «иероглифический лувийский» являются отдельными языками. Такая позиция, в частности, отражена в русскоязычном очерке анатолийских языков [Королев 1976] и в недавней работе, принадлежащей одному из создателей «новых чтений» [Morpurgo-Davies 2011].

Предшествующие замечания должны способствовать пониманию того, почему вплоть до недавнего времени серьезное обсуждение диалектного членения лувийского языка оставалось затруднительным. Первая попытка подобного рассмотрения может быть найдена у Мелчерта [Melchert 2003b: 171–175], где дается список морфосинтаксических изменений, важных для классификации диалектов. Мелчерт обоснованно возражает против подхода Штарке [Starke 1997a: 458a] и Каррубы [Carruba 1998], согласно которому диалектными различиями внутри лувийского можно попросту пренебречь. Он также делает важное наблюдение, что диалект форм, помеченных

[21] Надо отметить, что термин «иероглифический хеттский» задержался в русскоязычной традиции несколько дольше, чем на Западе, что можно проиллюстрировать его последовательным употреблением в монографии [Иванов 2007], хотя последняя и отражает в полной мере знакомство автора с «новыми чтениями».

глоссовым клином, характеризуется особенностями, которые объединяют его скорее с диалектом иероглифических надписей, чем с диалектом клинописных текстов из Киццувадны. Развитие этого наблюдения составляет один из основных мотивов данной главы. Однако ограниченность синхронного по сути исследования не позволила Мелчерту остановиться на конкретных изоглоссах или сделать из своих наблюдений полноценные выводы, важные для лувийской диалектологии. Ниже я рассчитываю довести обе эти задачи до логического конца.

Для целей данного обсуждения я оставлю за рамками рассмотрения материалы ономастики и топонимики, ограничившись текстами и лексическими материалами, известными из собственно анатолийских текстов. Я полагаю, что последние следует разделить на две основные группы: источники бронзового века, которые предшествуют распаду империи Хаттусы, и источники железного века, созданные в так называемых постхеттских княжествах[22]. Я считаю, что это противопоставление является с методологической точки зрения более надежным, чем априорное разделение на диалект клинописного лувийского и диалект иероглифического лувийского, в котором смешивается проблема языков и систем письма. В то время как все лувийские тексты железного века написаны с помощью иероглифов, лувийский язык бронзового века должен изучаться на основе как клинописных, так и иероглифических источников.

Прежде чем приступить к обсуждению лингвистических вопросов, необходимо конкретизировать географическое распределение лувийских материалов, которые должны подвергнуться анализу. Эта проблема рассмотрена в разделе 1.2. Разделы 1.3–1.7 посвящены анализу лингвистических изоглосс, которые коррелируют с классификацией

[22] Термин «постхеттские княжества» представляет из себя попытку передачи английского *Neo-Hittite States*. Английский термин подчеркивает тот факт, что Хатти и сходные термины использовались как экзонимы постхеттских княжеств [Yakubovich 2011: 537]. Тем не менее, коль скоро в данной работе не используется термин «хеттское царство», термин «новохеттские государства», являющийся буквальным переводом *Neo-Hittite States*, также выглядел бы неуместно. Термин «постхеттские княжества» используется здесь за неимением лучшего в значении «княжества, возникшие на территории империи Хаттусы после вымирания хеттского языка».

лувийских текстов, предложенной на исторических и филологических основаниях. Я не ставлю перед собой цели описать все известные инновации отдельных лувийских диалектов, сосредоточившись лишь на тех, которые актуальны (или считались таковыми) для разделения на диалектные группы[23]. Исключая один пример, рассмотренный в разделе 1.3, я воздержусь от обсуждения фонетических инноваций, произошедших в лувийском языке, поскольку последние наблюдаются в основном в текстах железного века. Вместо этого я сосредоточусь на морфосинтаксических инновациях. В центре моего рассмотрения находятся лингвистические отношения между диалектами Хаттусы и Киццувадны, относящимися к бронзовому веку, а также диалектное происхождение позднелувийского языка. В разделе 1.8 резюмируются выводы, полученные при сопоставлении историко-филологической и лингвистической классификаций лувийских материалов.

1.2 Филологическая классификация

Материалы лувийского языка периода бронзового века, имеющиеся в нашем распоряжении, характеризуются широким географическим распределением. Представленная ниже классификация основывается на исторических и филологических соображениях, и в нее не включен анализ структурных диалектных изоглосс, который будет дан в этой главе позднее. Поскольку релевантная историческая и филологическая информация очень часто отсутствует, данная классификация не претендует на то, чтобы быть исчерпывающей.

Лувийские заклинания в Ритуале Царпии (CTH 757) должны были быть записаны на диалекте Киццувадны, то есть той территории, которая указана в качестве места происхождения исполнителя этого ритуала [Starke 1985: 50].

[23] Так, я не буду рассматривать, например, инновативный 1 ед. прош. /-xan/, который использовался вместо более раннего /-xa/ [Melchert 2003b: 192], поскольку свидетельства об этом окончании ограничены поздними текстами, и, следовательно, его нельзя использовать в качестве изоглоссы, определявшей лувийскую диалектную зону в период бронзового века.

Хотя у нас отсутствует точная информация об этнической принадлежности заклинательницы Куваталлы и «старухи» (^{MUNUS}ŠU.GI) Силаллухи (CTH 759–762), историки религий также соотносят ритуалы, связанные с этими женщинами, с группой Киццувадны, поскольку в них имеется примесь хурритских элементов[24]. В текстах, приписываемых Куваталле и Силаллухи, упоминаются несколько хурритских/сирийских божеств, таких как Хебат (KUB 9.6 ii 6), Савоска (KUB 35.82 7) и Нинатта (KUB 35.71 iii 3). С другой стороны, имя Силаллухи упоминается в Ритуале Аммихатны в хурритском контексте [Haas-Wilhelm 1974: 6]. Ритуал Пуриянни (CTH 758) может быть связан с тем же регионом, поскольку группа лувийских словосочетаний, встречающихся в данном тексте, находят почти идентичные соответствия в ритуалах, приписываемых Куваталле/Силаллухи (ср. (20) vs. (22) ниже). Стоит отметить, что заклинания Пуриянни и Куваталлы/Силаллухи содержат прозрачное западносемитское заимствование *halāl(i)-* ‘чистый’, которое, судя по всему, не встречается в хеттских и лувийских текстах за пределами Киццувадны.

Лувийские заклинания, созданные в Киццувадне, составляют примерно половину доступного корпуса лувийских текстов периода бронзового века, но степень их понимания неравномерна. Несколько квазидвуязычных пассажей обогащают наше знание лувийского ритуального лексикона, в то время как значение многих других слов могут быть с определенной вероятностью экстраполированы из хеттского. Для понимания и перевода отдельных предложений и пассажей можно обратиться к работам [Laroche 1959] и [Starke 1990], а краткое филологическое описание ритуалов из этой группы содержится в работе [Bawanypeck 2013: 166–168]. С хронологической точки зрения данная группа, по-видимому, является относительно

[24] Наряду с термином ‘старуха’, который распространен в англоязычной хеттологической традиции и является буквальным переводом шумерограммы ^{MUNUS}ŠU.GI, стандартно использующейся для обозначения заклинательниц в хеттских текстах, можно также упомянуть перевод ‘умелая женщина’, подсказанный мне Ричардом Билом и отражающий расхожее представление о магических способностях, часто появляющихся у женщин в постменструальный период. Заметим, что хеттским эквивалентом шумерографического профессионального обозначения ^{MUNUS}ŠU.GI является *hasawas* ‘повитуха’, и в нем не акцентируется пожилой возраст исполнительницы ритуала.

однородной, отражая практику начала XIV в. до н. э. (ср. социолингвистическое рассмотрение этих текстов в разделе 4.8).

Принято считать, что хеттские/лувийские тексты из районов за пределами Киццувадны в целом характеризуются меньшим хурритским влиянием [Singer 1981: 124]. Краткий филологический обзор текстов с лувизмами из Нижней страны см. у [Bawanypeck 2013: 169–170]. В частности, вариант лувийского языка, на котором говорили в Нижней стране, возможно, отражен в коротких заклинаниях, включенных в Ритуал Туннавии (CTH 409). Хотя «старуха» Туннавия практиковала в Хаттусе, имя связывает ее со священной горой Тунна и одноименным городом (известен как Тинна в эллинистический период), расположенными в Нижней стране [Hutter 2003: 248; ср. Yakubovich 2013a: 102 и сноска 58]. Мелчерт [Melchert 2013a: 168] подчеркивает, что лексемы *tappas-* ‘небо’ и *tiyamm(i)-* ‘земля’, встречающиеся в Ритуале Туннавии, обнаруживают явное сходство с диалектом Киццувадны. Тем не менее Миллер [Miller 2004: 255–258] убедительно показывает, что CTH 409 должен отделяться от ритуальной традиции Киццувадны. Лувийские формы, разбросанные по текстам, относящимся к культу Хувассанны (CTH 690–694), также могут отражать диалект Нижней страны, поскольку почитание этой богини было связано с городом Хубисна (эллинистическая Кибистра) в Центральной Анатолии [del Monte, Tischler 1978: 117, 439]. Это, конечно, крайне бедный корпус, даже с учетом вероятности того, что некоторые лувийские заклинания, чье происхождение не может быть с точностью определено, также относятся к Нижней стране.

Наше знание лувийских диалектов, на которых говорили в районе Хаттусы, опирается на источники двух типов. С одной стороны, имеется большой корпус лексем, соответствующий тому, что было неудачно обозначено как *Glossenkeilsprache*. Как я намереваюсь показать на чисто филологических основаниях в разделе 5.4.2, лувийские вкрапления, инкорпорированные в дискурс, приписываемый царю Хаттусы и

высокопоставленным лицам имперского периода, вряд ли представляют собой результат посредничества лувийских писцов и поэтому должны рассматриваться как исходящие от авторов соответствующих текстов. С другой стороны, в нашем распоряжении имеются пространные иероглифические надписи последних царей Хаттусы. Хотя расположение некоторых из них (например, алтарей EMİRGAZİ) отдалено от Хаттусы, я полагаю весьма вероятным, что их авторство действительно принадлежит царю или царской администрации. О широко распространенном хеттско-лувийском двуязычии в Хаттусе в имперский период см. [van den Hout 2006] и Главу 5 данной диссертации.

В некоторых случаях невозможно определить с опорой на исторические соображения, отражает ли определенный текст тот вариант лувийского языка, на котором говорили в Хаттусе или в Нижней стране. Это, в частности, актуально для хеттских ритуалов, записанных древним и средним пошибом и содержащих чередующиеся лувийские и палайские фрагменты (CTH 752, [Starke 1985: 39–42]). То же самое можно сказать и о сценарии праздника CTH 665, который отражает хеттский государственный культ, но содержит лувийские пассажи [Starke 1985: 270–294]. Люди-*asusala*, играющие, очевидно, ключевую роль в этом тексте, замещаются в его поздней версии соответствующим лувийским профессиональным обозначением *asusat(t)alla-*[25]. По всей вероятности, в ритуальной практике древнехеттского периода использовались традиции Лувии и Палы, которые упоминаются в хеттских законах как отдельные регионы или вассальные царства, находящиеся в тот период под властью Хаттусы. Поскольку точные границы Лувии и Палы неизвестны[26], можно только сказать в связи с этим,

[25] О лувийском происхождении суффикса *-atalla-* см. [Melchert 2005: 456]. Согласно Хокинсу [Hawkins 2000, II: 480a], позднелувийский инфинитив **azzusatallaīna* ‘ехать верхом на лошади’ (ВОНÇА § 10), вероятно, не является когнатом этого слова, поскольку ничего из действий должностных лиц *asusatalla-*, относящихся к культу, не говорит об их связи с лошадьми.

[26] Относительно вероятной локализации Лувии см. раздел [4.5]. Последняя работа, частично посвященная локализации Палы, — это диссертация [Шелестин 2014], где обсуждение данного вопроса со ссылками на более раннюю литературу можно найти на стр. 127–133.

что соответствующие лувийские заклинания должны были происходить из центральной части Анатолии (см. раздел 4.5)[27].

Имея дело с лувийскими текстами периода бронзового века, происходящими из центральной части хеттского государства, важно помнить, что время их написания сопоставимо со временем написания хеттских текстов, обнаруженных в Хаттусе. Самые ранние из рассматриваемых клинописных отрывков отражают ритуальную практику XV в. до н. э., в то время как основная часть иероглифических надписей бронзового века была создана во второй половине XIII в. до н. э. Поскольку известно, что хеттский язык подвергался значительной эволюции в течение рассматриваемого периода, было бы методологической ошибкой исключать аналогичную возможность для лувийского языка. Следовательно, диалектные инновации, установленные на основе материалов XIII в. до н. э., могут отсутствовать в более ранних лувийских текстах, даже если они были подготовлены в районе Хаттусы. В дальнейшем я буду использовать термин «имперский лувийский» для диалекта, известного по текстам из Хаттусы, начиная с конца XIV в. до н. э.

Самая западная территория, которая может быть связана с сохранившимися фрагментами текстов на лувийском языке, — это бассейн реки Сангарий. Группа текстов, посвященных культовым практикам города Истанува и содержащих лувийские поэтические отрывки (CTH 771–772), предписывает жертвоприношения для (обожествленной) реки Сахирия [del Monte, Tischler 1978: 152]. Нам известно из других источников, что река Сахирия была расположена где-то между Хаттусой и Арцавой [del Monte, Tischler 1978: 545]. Идентификация этого гидронима с рекой Сангарий эллинистических источников и современной рекой Сакарья представляется

[27] Хуттер [Hutter 2003: 250–251] предполагает, что лувийские фрагменты CTH 665 происходят из Киццувадны, даже если сам ритуал был записан и, возможно, оформлен в Хаттусе. По моему мнению, для такого утверждения нет оснований. По-видимому, Хуттер основывает это утверждение на отсутствии языковых различий между лувийским языком CTH 665 и лувийским языком ритуалов Киццувадны, но этот аргумент будет убедительным, только если удастся показать, что в отрывке CTH 665 представлены структурные инновации ритуалов Киццувадны. Как будет показано ниже, это, скорее всего, не так.

заманчивой [ср. Bawanypeck 2013: 168]. Единственной проблемой, касающейся этой гипотезы, является упоминание вслед за рекой Сахирия божества *hurlas* ^{d}*Inar* ‘Инар хурритов’ в одном из хеттских пассажей, относящихся к культу Истанувы [Starke 1985: 322]. Однако общая структура истанувского пантеона, по-видимому, не имеет признаков хурритского влияния [Haas 1994: 582–583]. Поскольку «Инар хурритов», вероятно, не является автохтонным теонимом, а, скорее, представляет собой результат синкретизма, привнесенного извне, я склоняюсь к тому, чтобы отвергнуть точку зрения, согласно которой это обозначение божества является свидетельством хурритского влияния на религию Истанувы[28].

«Песни Истанувы», которые должны исполняться в промежутках между ритуальными действиями, не известны в полном виде. В сценарии ритуала сохранены лишь их начальные строки, которых достаточно для распознавания песен теми, кто был хорошо знаком с местным репертуаром. Установление особенностей истанувской речи с опорой на эти свидетельства подобно изучению диалектов Теннесси с помощью коробки для компакт-дисков, на которой написаны названия отдельных песен в стиле кантри. Именно поэтому в данной диссертации я воздерживаюсь от систематического сопоставления этих западных диалектов с имперским лувийским или с диалектом Киццувадны. Тем не менее это большой корпус в сравнении с тем, что можно собрать из еще более западных регионов Анатолии, и он действительно позволяет определить местный диалект (или диалекты) как специфически лувийский. Для полноты следует также упомянуть «Песни Лаллупии», которые сохранены в том же виде, что и «Песни Истанувы», но в меньшем количестве (CTH 773). Тексты CTH 771–

[28] Независимым, хотя и вспомогательным, аргументом в пользу присутствия лувийцев в долине реки Сакария являются примеры контактов между лувийским и фригийским языками. Возможные лексические заимствования из лувийского языка во фригийский разбираются в работе [Gorbachov 2008: 100–107]. К этому можно добавить весьма нетривиальное соответствие между лувийской и фригийской формулами проклятия [Lubotsky 1998: 420]. Последний известный мне русскоязычный обзор контактных явлений между двумя языками содержится в работе [Баюн 2007].

772 и CTH 773 содержат архаическую (?) форму *pāyu* ‘пусть дает’, неизвестную в остальных лувийских диалектах [Melchert 1993: 163].

Наконец, имеются лувийские тексты периода бронзового века, содержащие противоречащие друг другу указания на собственное происхождение. Например, это касается мифа об игнорируемых божествах и выполнявшегося параллельно ритуала (CTH 764, [Starke 1985: 236–241]). Хотя упоминание хурритского бога Нубадига встречается в KUB 35.108 iv 13, анализ всего текста не говорит в пользу глубокого хурритского влияния. Самые важные божественные персонажи в тексте — это Камрусепа и ее сын, божество-покровитель города Тауриса. Следует отметить, что Камрусепа, вероятно, изначально относилась к пантеону Канеша [Klinger 1996: 157], в то время как город Тауриса был расположен в районе Циппаланды, в центральной части царства Хаттусы [Haas 1994: 816]. Существование хеттских редакций этого мифа, содержащих лувийские слова в качестве окказиональных вкраплений, свидетельствует в пользу его постепенной адаптации писцами из Хаттусы.

С другой стороны, многочисленные лувийские фрагменты не содержат никаких исторических ключей для построения гипотез об их происхождении. К этой группе, в частности, принадлежат многие лувийские магические заклинания, помеченные как CTH 765 и 767. Их анонимный характер препятствует просопографическому анализу, а специфические параллели с текстами известного происхождения отсутствуют. По моему мнению, многие заклинания этой группы могут иметь фольклорный характер, откуда следует, что они могли использоваться одновременно в различных частях лувийской ойкумены. Здесь мы также сталкиваемся с непрерывным переводом текстов с лувийского на хеттский, сопровождаемым некомпетентным смешением кодов (ср. обсуждение в разделе 5.4.4).

Гораздо легче осуществить географическую локализацию позднелувийских текстов периода железного века. Учитывая, что большинство важнейших иероглифических надписей были найдены *in situ* и

в них часто упоминается имя и титул местного должностного лица, обычно можно принять, что в них отражены писцовые практики, распространенные на территории, где они и были обнаружены. Это, конечно, не равносильно доказательству того, что разговорным языком на данной территории был лувийский, поскольку язык монументальных текстов обычно отражает акролект двуязычных сообществ. Тем не менее распределение этих надписей позволяет сформировать общее представление о том, где лувийский продолжал использоваться в качестве официального[29].

Политическая география постхеттских княжеств хорошо описана в монографии [Bryce 2012], а карта, на которой отмечено местонахождение лувийских иероглифических надписей, дается в работе [Hawkins 2003: 142]. Как и ожидалось, наблюдается значительное пересечение между территориями, откуда предположительно произошли тексты бронзового и тексты железного веков. Территория исторической Киццувадны соответствовала государствам железного века Куе (Хиява) и Гургум, в то время как княжество железного века Табал располагалось на исторической территории Нижней страны. Из области в изгибе реки Галис (совр. Кызылырмак), где в бронзовом веке была расположена хеттская столица, дошло меньшее количество лувийских иероглифических текстов, что, вероятно, связано с наличием устойчивого фригийского компонента среди населения в течение этого периода. Однако необходимо упомянуть плохо сохранившиеся надписи ÇALAPVERDİ 1 и 2 [Hawkins 2000, II: 498] и остракон ALİŞAR, в котором явно зафиксировано туземное имя *Hattusamuwa* [Hawkins 2000, II: 568]. В бассейне реки Сангарий не найдено ни одной иероглифической надписи, но следует помнить, что эта территория составляла центральную часть Фригийского царства, и, следовательно, более древнее лувийское население было изгнано или ассимилировано. То же

[29] Это общее наблюдение может быть подкреплено путем сравнения крупных надписей с письмами из Ассура, подготовленными или продиктованными лувийскими купцами. Письма из Ассура, сильно отличающиеся по своему жанру и исполнению от остального лувийского иероглифического корпуса, также характеризуются определенными грамматическими и/или орфографическими особенностями.

самое с некоторыми поправками справедливо и для Западной Анатолии, где лувийские языковые элементы, особенно личные имена, могут быть почерпнуты только из лидийских надписей рассматриваемого периода[30].

Напротив, в начале железного века территория, характеризующаяся широким распространением лувийской грамотности, расширилась на юго-востоке. Большое количество лувийских иероглифических текстов восходят к постхеттским государствам, которые располагались в долинах реки Оронт и среднего течения Евфрата. Поскольку мелкие постхеттские княжества возникли в Северной Сирии после распада Каркемиша, который являлся исторически хеттской вассальной территорией, правители этих мелких княжеств могли продолжать использовать анатолийские иероглифы по ассоциации со славным прошлым империи Хаттусы. Необходимо обратить внимание на замечание Брайса [Bryce 2003: 125] о том, что “обнаружение иероглифической надписи на определенной территории само по себе не является неоспоримым свидетельством того, что данная территория была заселена лувийцами”[31].

И все же имеется аргумент в пользу того, что лувийский язык играл на территории Сирии в раннем железном веке более значительную роль, чем просто язык традиции. Хотя княжеские монументальные надписи составляют основную часть лувийского корпуса в данный период, также доступна группа текстов, подготовленных частными лицами и/или для частных целей, такие как буллы и надписи на могильных плитах[32]. Личные имена, встречающиеся в этих надписях, являются преимущественно лувийскими, или, по крайней

---

[30] Возможно также, что некоторые территории, на которых сохранилась иероглифическая письменная традиция, подверглись частичному языковому сдвигу. Это, в частности, вероятно для постхеттского княжества Мелид, чьи элиты продолжали носить анатолийские имена и устанавливать анатолийские иероглифические памятники, но значительная часть населения которого, согласно мнению Дьяконова, являлась носителями праармянского языка [Дьяконов 1983: 172].

[31] Впрочем, необходимо отметить, что Брайс делает довольно произвольные выводы из этой максимы. Так, он подвергает сомнению проникновение лувийского языка в центральную часть империи Хаттусы, даже несмотря на то, что оно независимо подтверждается грамматической и лексической интерференцией между новохеттским и лувийским языками. При этом Брайс без колебаний утверждает, что западноанатолийское княжество Мира было лувоязычным, хотя в пользу такой гипотезы имеется куда меньше языковых свидетельств.

[32] Ср., напр., погребальные надписи TİLSEVET, KARKAMIŠ A18b, KARKAMIŠ A5a, KARKAMIŠ A5b, а также буллы, использовавшиеся для подсчета овец (HAMA фраг. 7–10). Все эти документы опубликованы в издании [Hawkins 2000].

мере, анатолийскими, в то время как хурритские ономастические элементы ограничены несколькими династическими именами (ср. KARKAMIŠ A7, [Hawkins 2000, I: 129]). Это распределение контрастирует с социолингвистической ситуацией конца бронзового века, когда хурритские элементы широко использовались по всей Северной Сирии, хурритские формы, помеченные глоссовым клином, обильно встречались в местных клинописных текстах, а употребление хеттского и лувийского языков, по-видимому, было ограничено официальной сферой[33]. Следует также учесть замечания Зингера [Singer 2005: 439–440] относительно увеличения числа захоронений (вместо кремации) в начале железного века на территории Сирии, что может быть показателем анатолийских миграций в данную зону.

Из этого, конечно, не следует, что лувийский оставался единственным языком, на котором говорили в Северной Сирии: для раннего железного века (как и для позднего бронзового века) имеется множество свидетельств присутствия в этом регионе семитов. Но, учитывая отсутствие хеттских памятников железного века, ничто не мешает предположить, что лувийский оставался единственным *анатолийским* языком, распространенным на территории постхеттских княжеств. Поэтому имеющиеся в нашем распоряжении данные совместимы с моделью домино, согласно которой вытеснение определенных групп лувийского населения из Центральной Анатолии в конечном счете стимулировало миграцию других групп лувийского населения в Сирию. При этом нет оснований считать, что какая-либо из этих групп продолжала идентифицировать себя в качестве лувийцев, поскольку когнаты лексемы *luwili* также не встречаются в текстах железного века. Развивая гипотезу [Aro 2010: 2–3], можно высказать предположение, что носители лувийского языка в данный период стали воспринимать себя как основные наследники многонациональной империи Хаттусы.

---

[33] Распределение личных имен в Эмаре в конце бронзового века задокументировано в работе [Pruszinsky 2003]. Автор делает вывод о том, что анатолийские личные имена в документах из Эмара тесно связаны с должностными лицами из Каркемиша и центра империи Хаттусы, тогда как хурритские личные имена, которые встречаются примерно в три раза чаще, отражают, по-видимому, существование автохтонного хурритского населения на данной территории.

1.3 Винительный падеж множественного числа общего рода

В дальнейшем я планирую рассмотреть языковые изоглоссы, которые могут частично подкрепить предложенную классификацию лувийских текстов в соответствии с их происхождением. Первое изменение, которое будет рассмотрено, является морфосинтаксической инновацией, отделяющей имперский лувийский и лувийский диалект железного века (позднелувийский) от лувийского диалекта Киццувадны.

Лувические языки унаследовали праанатолийское окончание *-*ms* > *-*ns* в винительном падеже множественного числа общего рода. Ключевой морфологической инновацией лувической подгруппы является аналогическое образование им. мн. общ. *-*nsi* вместо исконного им. мн. общ. *-*es*, сохранившегося в хеттском[34]. Другая инновация, характеризующая только лувийский язык, заключается в образовании окончания дат. мн. *-*ans*, которое, похоже, представляет собой результат контаминации между старым дат. мн. на *-*as* и окончанием им. мн. общ.[35]. В процессе эволюции лувийского языка во всех трех окончаниях произошла эпентеза, и они стали произноситься как [-nts], [-ntsi], [-ants][36]. В клинописной орфографии они записывались графическими сочетаниями -*Vn-za* и -*Vn-zi*. Этот этап напрямую отражен в кратком описании грамматики клинописного лувийского, подготовленном Ларошем [Laroche 1959: 137].

---

[34] По поводу общелувийской датировки этого процесса см. [Melchert 2003b: 176, сноска 6, см. там же библиографию]. К сожалению, происхождение расширения -*i* в им. мн. общ. остается неясным.

[35] В качестве альтернативы можно было бы предположить, что в лувийском языке функция исконного окончания вин. мн. общ. *-*ns* распространилась на дат. мн., а затем тематическое окончание дат. мн. *-*ans* распространилось на остальные формы дат. мн. в связи с необходимостью устранить неоднозначность между окончаниями вин. мн. общ. и дат. мн. Ни одно из двух объяснений не является безупречным с лингвистической точки зрения, но существование окончания *-*as* в пралувическом языке подтверждается ликийскими свидетельствами [Starke 1990: 44–45]. Стоит отметить, что окочание дат. мн. -*e* постулируется сейчас не только для ликийского, но и для милийского языка (напр., дат. мн. *xbade* [Melchert 2004a: 135]).

[36] Далее ситуация усложнилась спорадической синкопой [ija] > [i:] в лувийском языке [Melchert 2003b: 183], которая часто порождает формы дат. мн., заканчивающиеся на -*inza*.

Новое прочтение лувийских иероглифических знаков *376 и *377 позволило исследователям увидеть, что окончания множественного числа на *-Vn-zi* и *-Vn-za* клинописного лувийского находят свои прямые соответствия в окончаниях *-V-zi* и *-V-za* иероглифического лувийского. Поскольку *-n*, располагавшийся в конце слога, не отражен в анатолийском иероглифическом письме, формальное соответствие между двумя парами является безупречным. Однако их функциональное распределение различно. Лувийские формы мн. ч. на *-zi*, как известно из иероглифических надписей I тыс. до н. э., функционируют как субъекты и объекты общего рода, в то время как формы мн. ч. на *-za* в надписях того же периода неизменно функционируют как непрямые объекты[37]. Это важное разграничение, отмеченное уже в работе [Hawkins et al. 1974: 169, сноска 100], может быть резюмировано в следующей таблице:

Таблица 2. Падежные окончания мн. ч. в лувийских диалектах

	«клинописный лувийский»	«иероглифический лувийский»
им. мн. общ.	-nzi	-nzi ↓
вин. мн. общ.	-nz(a)	-nzi
дат. мн.	-(a)nz(a)	-(a)nz(a)

Контраст между стандартными формами вин. мн. общ. в лувийских диалектах бронзового и железного веков можно проиллюстрировать следующими примерами (искомые окончания выделены жирным шрифтом):

(1) KUB 9.31 ii 22–24, CTH 757.B (NS), Starke 1985: 53
^{d}An-na-ru-um-mi-en-zi aš-ha-nu-wa-an-ta ku-in-zi wa-aš-ša-an-ta-ri
^{d}Lu-u-la-hi**-in-za-**aš-tar hu-u-up-pa-r**a-za** ku-in-zi hi-iš-hi-ya-an-ti
‘Боги Аннарумми, носящие окровавленные (одеяния), повязывающие перевязи (варваров) лулаххи’.

[37] Эти случаи должны отделяться от именных форм им.-вин. ед. ср., снабженных расширением /-sa/, который выглядит как *-za* после /-n/ и /-l/ [Melchert 2003b: 186–187, см. там же библиографию].

(2) KARKAMIŠ A15b, §15, Hawkins 2000, I: 131.
POST+ra/i-**zi**-pa-wa/i-tú |FRATER.*LA*-**zi-i** MAGNUS+ra/i-nu-ha
‘И я возвеличил его младших братьев’.

Поскольку из сравнительного материала следует, что исконной функцией *-za* было маркирование вин. мн. общ., распределение лувийских окончаний, зафиксированное в надписях железного века, должно считаться инновацией. Однако само по себе не ясно, является ли это инновативной особенностью лувийского языка в целом, или определенного лувийского диалекта. В первом случае мы имеем дело с чисто хронологической дистрибуцией, которая бесполезна для установления диалектных изоглосс, во втором же случае можно попытаться локализовать тот диалект лувийского языка бронзового века, который имел специфическое влияние на развитие языка более позднего периода.

Мелчерт [Melchert 2003b: 173] высказывался в пользу второго решения. Он обратил внимание на лувийское заклинание в одном из ритуалов Кицццувадны (приписывается Куваталле), две копии которого содержат систематические грамматические ошибки. Оригинальный текст заклинания предположительно содержал длинную цепочку вин. мн. общ. на *-nz(a)*. В его более поздних копиях, которые, вероятно, были выполнены в Хаттусе, обнаруживаются непоследовательные замены этих форм на формы с окончанием *-nzi*[38]. Важно, что оба переписчика открыли цепочку аккузативов с помощью инновативных форм, которые, вероятно, отражали их собственные идиолекты, но затем осознали свою ошибку и стали использовать стандартное окончание *-nz(a)*[39]. Согласно осторожному

[38] Возможно, трудности интерпретации данной клаузы переписчиками связаны еще и с тем, что в ней используется неканонический порядок слов с местоименной репризой вин. мн. общ. *=as*. Подробнее о лувийских конструкциях подобного типа см. [Сидельцев 2012].

[39] Потенциально сходный пример — это фраза DINGIR.MEŠ-*in-zi pu-u-na-ti-in-za* ‘все боги’ из KUB 35.107 iii 7. Штарке [Starke 1985: 238] допускает, что это фраза с субъектом, он рассматривает *pu-u-na-ti-in-za* как описку писца вместо ожидаемого **pu-u-na-ti-in-zi*. По моему мнению, более вероятно, что настоящая ошибка должна была произойти в первом элементе именной группы, поэтому я предполагаю, что DINGIR.MEŠ-*in-zi* может представлять модификацию исконного вин. ед. *DINGIR.MEŠ-*in-za*. Однако фрагментарность контекста делает невозможным подтверждение моей гипотезы.

предположению Мелчерта, нерешительность писцов должна быть связана в данном случае с грамматическим несоответствием между лувийскими диалектами Киццувадны и Центральной Анатолии.

(3) KUB 35.45 ii 18–21, CTH 760.II.2.A (MS), Starke 1985: 152
x-x EN-ya ti-wa!-a-˹li˺-ya pí-˹ya˺-aš ^{LU}KÚR.MEŠ-i**n-z[i]**
kat-ta-˹wa˺-at-na-al-li-i**n-za** ú-ut-na-aš-ši-i**n-za** hi-iš-hi-ša-aš-ši-i[**n-]za**
ta-pa-ru-wa-aš-ši-˹i**n˺-za** ta-a-ta-ri-ya-am-ma-na-aš-ši-i**n-za**
hi-i-ru-t[a-aš-]ši-i**n-za** EN.MEŠ-a**n-za**
KUB 35.48 ii 11-14, CTH 760 II.2.B (NS), Starke 1985: 155
[EN-y]a ti-wa-li-ya pi-ya-aš ^{LU}KÚR-i**n-zi** [kat-ta-wa-at-na-a]l-li-i**n-zi**
ú-ut-na-aš-ši-in-zi hi-iš-hi-ša-aš-ši-**zi** [ta-pa-ru-w]a-aš-ši-i**n-za**
ta-ta-˹ri˺-ya-am-ma-aš-ši-i**n-za** [hi-ru-ta-a]š-ši-i**n-za** EN.MEŠ-a**n-za**
‘O …, солнцеподобный повелитель, выдай их, врагов, хозяев мести,
заговоров, пут, манипуляций, заклятий, и проклятий!’

Ван ден Хаут [van den Hout 2006: 236] привел четыре дополнительных примера из клинописных текстов, в которых лувийские формы на *-nzi* функционируют, с большой долей вероятности, как формы вин. мн. общ. Во всех этих случаях мы имеем дело с лувийскими вкраплениями (гостевыми формами), включенными в хеттские тексты[40]. Примеры (4) и (5) относятся к ритуальным текстам, которые, вероятно, происходят из Киццувадны и Арцавы соответственно; пример (6) взят из обращения к оракулу, скорее всего, записанного в Хаттусе; пример (7) относится к хеттской адаптации эпоса об Атрахасисе. Единственная особенность, объединяющая все эти примеры, заключается в отсутствии лувийского контекста для проблемных форм. Каково бы ни было происхождение соответствующих фрагментов, во всех случаях переписчику, очевидно, было легче модифицировать падежную морфологию лувийских существительных, приспособив ее к современной

[40] Здесь и далее термин «гостевая форма» / «гостевое слово» употребляется для обозначения форм гостевого языка в ситуации смешения кодов. Термины «матричный язык» и «гостевой язык» используются для перевода английских терминов *matrix language* и *embedded language* в соответствии с практикой, принятой, напр., в работе [Исаева 2013].

разговорной норме, если при этом остальная часть фрагмента не позволяла ему исправлять грамматику. В этих случаях, однако, вмешательство, произведенное писцами, не может быть доказано напрямую, поскольку отсутствуют параллельные контексты с лувийскими формами на *-nz(a)*.

(4) KBo 11.2 i 8–10, CTH 703.1.A (MH[?]/NS), Lebrun 1996: 40
IGI-zi UD-at n=asta ^{LU}HAL 1 UDU kuenzi nu=kan ^{UZU}Ì.UDU arha dāi
nu=za LUGAL-us SISKUR ***ha-la-li-en-zi*** iyazzi[41]
‘Первый день: заклинатель забивает одну овцу и забирает овечий жир, царь совершает **чистые** ритуалы’[42].

(5) KUB 54.65 ii 10–11, CTH 757.E (NS), Bawanypeck 2005a: 142
nu ^{d}Iyarrin 3-*ŠÚ* ekuz[zi] *ŠA* ^{d}Iyarri DINGIR.MEŠ ***Mar-wa-a-in-z*[*i*** x-*ŠÚ* ekuzzi]
‘(Он) трижды пьет Ярри [и пьет x раз] (богов) **Марваи** (из свиты) Ярри’.

(6) IBoT 2.129 obv. 22–24, CTH 574 (NS), cf. Taggar-Cohen 2006: 286
^{d}UTU-*ŠI*=ya=kan kuwapi ŠÀ.BI É DINGIR-*LIM* uizzi nu *IŠTU* ˹É˺.GAL-*L*[*IM*] EZEN$_4$ ***še-hi-el-li-in-zi*** peskir kinun=ma=as karsanui[r]
‘Также, когда Мое Солнце входит в храм, они устраивали чистые праздники за счет дворца, а теперь перестали’.

(7) KUB 8.63 iv 12–13, CTH 347.1 (NS), Polvani 2003: 534
nu kiss[an iya[?]] ˹***hu-ta-nu-en-zi*** dā
‘[Сделай] так: возьми *hudanu*-’.

В следующем случае ошибка переписчика может быть продемонстрирована с помощью чисто филологических средств. Примеры

[41] Здесь и далее выделенные курсивом слова и фразы в слоговой (подробной) транслитерации используются для записи инкорпорированных отрывков, выражающих чередование кодов.
[42] Это следует также сопоставить с KUB 24.5 obv. 29 (+) KBo 9.13 obv. 19 *lukkatti=ma* LUGAL-*us* SISKUR […]*inzi* DÙ-*zi* ‘На заре царь совершает … жертвоприношения (?)’. К сожалению, лувийская форма вин. мн. общ. в лакуне не может быть восстановлена с уверенностью. Восстановление [*ha-la-le-e?-i*]*n-zi*, предложенное в работе [Kümmel 1967: 10], требует, как представляется, больше места, чем реально доступно.

(8) и (9), которые взяты из двух копий того же обряда, связанного с рождением, являются идентичными во всем, кроме последней глагольной формы, которая замещена условным обозначением KI.MIN ‘ditto’ в (9). Тем не менее предшествующий контекст недвусмысленно показывает, что *kistanunun* ‘я жег’ представляет собой антецедент для KI.MIN в (9). В примере (9) мы сталкиваемся с вин. мн. общ. на *-nz(a)*, который ожидается на основе клинописных лувийских текстов, в то время как в (8) он замещается окончанием вин. мн. общ. *-nzi*, характерным для иероглифического лувийского, но также встречающимся в примерах (3–7). Предположение об ошибке, стимулированной интерференцией с лувийским диалектом писца, представляется единственным вероятным решением. Стоит отметить, что в этом случае мы также имеем дело с лувийскими заимствованиями, включенными в хеттские клаузы.

(8) KUB 17.15 ii 6–9, CTH 767.2.C (NS), Starke 1985: 232
[n=asta anda hu-u-i]š-te-i**n-zi** [ša-pár-ta-ra-an-zi] kistanunun [n=asta and]a tah-ha-ra-a**n-zi** [ma-al-wa-ra-a**n-z]i** kistanunun
‘Я погасил крики рожениц[?] (и) [*sapartara*-], я погасил *tahhara*- (и) [*malwara*-]’.

(9) KUB 35.145 ii 14–15, CTH 767.2.A (NS), Starke 1985: 230
[n=asta anda h]u-u-iš-ti-i**n-za** ša-pár-ta-ra-a**n-za** KI.MIN n=asta anda [tah-ha-ra-an-za] ma-al-wa-ra-a**n-za** KI.MIN
‘Крики рожениц[?] (и) *sapartara*-s, аналогично, [*tahhara*-] (и) *malwara*-, аналогично’.

Таким образом, смешение форм им. мн. общ. и вин. мн. общ. может быть отмечено уже в XIII в. до н. э. в лувийском диалекте Хаттусы. Инновативные аккузативные формы на *-nzi* в примерах (3) и (8), безусловно, появились в результате вмешательства переписчиков, и такое же заключение вполне вероятно для примеров (4) и (5). Идентичная форма в примере (6),

вероятно, характеризовала речь гадателя, в то время как в примере (7), скорее всего, она отражает лувийский идиолект переводчика. Также существуют ограниченные свидетельства того, что показатель вин. мн. общ. *-nz(a)* продолжал использоваться в лувийских гостевых словах в новохеттских текстах. Так, пример (6) может быть противопоставлен примеру (10), который также взят из протокола гаданий. Датировки, предлагавшиеся для этого текста, варьируются от правления Мурсили II до правления Хаттусили III, но никто не сомневается, что этот документ является оригинальной новохеттской композицией.

(10) KUB 5.6 ii 46, CTH 570 (NH), Archi 1979: 88

nu=kan $^{\text{MUNUS.MEŠ}}$***dam-ma-ra-an-za*** *INA* $^{\text{URU}}$*ZITHARA* parā neanzi

‘(Женщин) ***dammara-*** отправляют в (город) Цитхара’.

Представленные выше материалы допускают две различных интерпретации. Либо лувийский диалект, на котором говорили в районе Хаттусы, характеризовался синхронной вариативностью между вин. мн. общ. на. *-inzi* и *-inza*, либо лувийские заимствования в оригинальных новохеттских композициях отражают две конкурирующие диалектные нормы. К сожалению, выбор между двумя этими альтернативами не может быть сделан на основе анализа лувийских иероглифических надписей периода бронзового века. Знак *376 (<zi> в позднем лувийском) имел значение <za>/<zi> в этот период, и, следовательно, окончания множественного числа номинатива, аккузатива и датива выглядели идентичными на письме, вне зависимости от того, имело ли место смешение между ними на фонетическом уровне. Следующий пример, взятый из текста, созданного вскоре после падения империи Хаттусы, иллюстрирует те последствия, которые имеет для синтаксического анализа это фонетически двусмысленное употребление. Сочетание URBS+*MI-zi/a* может интерпретироваться либо как независимая локативная фраза ‘в городах’, либо как вершинное имя в аккузативе ‘в

городах’, согласованных с зависимыми притяжательными формами *a-mi-zi/a* DOMUS-*zi/a* ‘принадлежащие моему дом(ен)у’.

(11) KARAHÖYÜK §13, Hawkins 2000, I: 290
a-wa/i || a-mi-zi/a DOMUS-zi/a |URBS+*MI*-zi/a (DEUS)TONITRUS POCULUM.PES.*67 PRAE DARE
‘Мои дома в городах я передал города богу грома страны POCULUM’ (или ‘Я передал города моего дом(ен)а богу грома страны POCULUM’).

И все же имеется аргумент, который склоняет чашу весов в пользу первого сценария. Смешение окончаний им. и вин. мн. общ. является преобладающей тенденцией в новохеттском языке и представляет собой регулярный феномен в поздний период развития новохеттского языка. Точный механизм этого процесса будет рассмотрен в Главе 5, сейчас же для наших целей достаточно представить его в форме таблицы. Первый класс позднеовохеттских именных и адъективных форм включал в себя основы на *-u-* и *-nt-*, а также вопросительное/относительное местоимение *kui-*, при этом большинство других основ принадлежали ко второму классу. Основы на *-i-*, не характеризующиеся аблаутом, составляют промежуточный случай: окончания им.-вин. мн. общ. *-es*, *-is* и даже *-as*, по-видимому, используются случайным образом внутри этой группы в оригинальных новохеттских текстах.

Таблица 3. Развитие падежных окончаний мн. ч. в хеттском языке

	Древнехеттский	Новохеттский (класс I)	Новохеттский (класс II)
им. мн. общ.	-es	-es ↓	-us
вин. мн. общ.	-us	-es	-us ↑
дат. мн.	-as	-as	-as

Фонетически немотивированные смешения между функционально идентичными окончаниями в новохеттском и имперском лувийском не могут быть случайностью и должны обсуждаться в контексте структурных контактов между этими двумя языками. Лувийская инновация представляет собой функциональное расширение определенной морфемы в определенном направлении, в то время как параллельная инновация в хеттском предполагает их расширение в противоположных направлениях с одинаковым результатом. Очевидно, изменение второго типа в большей степени похоже на результат контакта, и, следовательно, лувийский язык является инициатором этого смешения, как это уже было показано в работе [Rieken 2006a: 275].

Существует также более определенный аргумент, который подталкивает к тому же заключению. Он следует из анализа таблички KBo 39.8, написанной классическим среднехеттским пошибом, которая является копией Ритуала Мастигги, направленного против семейных раздоров. В этой табличке встречается смешение им. мн. общ. и вин. мн. общ., относящееся ко времени, когда эта инновация отсутствовала в стандартном хеттском[43]. Данное смешение, в частности, полностью отсутствует в ряде более поздних текстов, описывающих тот же ритуал (ср. пример (12)). Другой необычной особенностью этой таблички является то, что ее писец (или писец ее оригинала) был носителем лувийского языка, выучившим хеттский в качестве второго языка. Хеттское обозначение сосуда *isnura-* встречается здесь как им. ед. *iš-nu-u-ri-iš* и вин. ед. *iš-nu-u-ri-in*, тем самым недвусмысленно выдавая интерференцию с лувийской моделью *i*-мутации[44].

[43] Ритуалы, собранные в работе [Kassian 2000], могут рассматриваться в качестве образцовых примеров текстов, записанных среднехеттским пошибом. В этих ритуалах систематически сохраняется функциональный контраст между окончаниями *-es* и *-us*. Самые ранние хеттские тексты, в которых традиционно прослеживается смешение между *-es* и *-us*, — это письма из Машата; они являются переходными от среднехеттского к новохеттскому языку (ср. ниже раздел 4.7 и особенно 5.3.2).

[44] О переносе *i*-мутации как о показательной особенности, которая свидетельствует о плохом усвоении лувийцами хеттского языка, см. ниже 5.3.1.

Эта особенность также ограничена обсуждаемой редакцией Ритуала Мастигги (ср. пример (13))[45].

(12) KBo 39.8 ii 47–49, CTH 404.1.I.A (MH/MS), Miller 2004: 76
nu kūs=a *BEL* SÍSKUR idā[lauēs] hurta**us** *QATAMMA* lē uw[an]zi
KBo 2.3 ii 1–2, CTH 404 1.II.A (MH/NS), Miller 2004: 76
nu kūs EN.MEŠ SISKUR idālauēs ˹hurd˺āēs *QATAMMA* lē uw[an]zi
‘Таким же образом, пусть злые проклятия не увидят этих заказчиков ритуала’.

(13) KBo 39.8 iii 22, CTH 404.1.I.A (MH/MS), Miller 2004: 86
EGIR-anda=ma IM-as isnūr**in** iyazzi
KBo 2.3 ii 30, CTH 404 1.II.A (MH/NS), Miller 2004: 86
[nu] EGIR-anda IM-[as ^{D}]^{UG}isnur**an** iy[az]i
‘Затем (она) делает глиняный (сосуд) *isnura***-’**.

Сидельцев [Sidel'tsev 2002: 182] первым показал нестандартные особенности KBo 39.8; он предлагает интерпретировать их как результат “влияния разговорного языка”. Миллер [Miller 2004: 215, сноска 339] уточняет, что мы имеем дело с влиянием другого языка. Есть соблазн предположить общий источник для двух необычных особенностей текста KBo 39.8, отмеченных выше. Если интерпретировать их как результат лингвистического контакта с лувийским, это будет равносильно тому, чтобы сказать, что писец KBo 39.8 был носителем лувийского языка, который усвоил хеттский в качестве второго языка[46]. Очевидно, его лувийский диалект, повлиявший на грамматику этой таблички, характеризовался не

[45] См. [Miller 2004: 241], где устанавливается происхождение манускрипта CTH 404.1, а также [ibid.: 168, 170], где дается описание конкурирующих хеттских форм существительных *hurtai-* ‘проклятие’ и *isnura-* ‘(вид сосуда)’, встречающихся в Ритуале Мастигги.

[46] Примечательно, что особенности текста KBo 39.8 не разделяются параллельными версиями того же текста, некоторые из которых явно являются более поздними. Так, KBo 39.8 ii 48 *hu-ur-ta-uš* (им. мн.) соответствует KBo 2.3 ii 1 *˹hur-da˺-a-e-eš* (им. ед.). Основа *isnuri-* из KBo 39.8 соответствует основе *isnura-* из KBo 2.3 (зафиксированы только формы им. и вин.).

только *i*-мутацией, но также ранним смешением между им. мн. общ. и вин. мн. общ.[47].

Другой очень странной особенностью, характеризующей текст CTH 404.1, является форма *ti-wa-ri-ya* (KBo 39.8 iv 17), которая используется в качестве эпитета для понятия ‘растение бога солнца’ (^{d}UTU-*as welku*). Эта форма едва ли может быть отделена от божественного эпитета *ti-wa-(a)-li-ya-* ‘небесный’, который встречается как в хеттских, так и в лувийских текстах, но, похоже, исконно является лувийским [Melchert 1993: 229][48]. Развитие **l* > *r* характерно, однако, для позднелувийских текстов [Rieken, Yakubovich 2010: 216]. Раннее свидетельство того же самого изменения в табличке, датируемой XV в. до н. э., демонстрирует еще одну изоглоссу между лувийским идиолектом, который повлиял на язык CTH 404.1, и позднелувийским языком. В связи с этим встает вопрос о варианте лувийского языка периода бронзового века, который представлен этим идиолектом.

Вряд ли можно принять, что этот идиолект относится к Мастигге, исполнительнице ритуала из Киццувадны, поскольку формы им. мн. общ. и вин. мн. общ., как правило, различаются в лувийских заклинаниях, вставленных в ритуалы Киццувадны. Однако вполне вероятно, что писец из Хаттусы, создавший KBo 39.8 или его оригинал, не основывал свои записи на лувийском оригинале, но просто описывал Ритуал Мастигги, который был

---

[47] Ср. также возможное неправильное использование инструменталиса в функции разделения в KBo 39.8 ii 24 [Melchert 1977: 302–303]. Для выражения этой функции на протяжении истории хеттского языка использовался аблатив, но аблатив и инструменталис являются с формальной точки зрения идентичными в лувийском языке, так что это могло бы считаться примером другой ошибки, допущенной носителем лувийского языка. Тем не менее предполагаемый неправильный инструменталис также представлен в параллельной версии KBo 2.3 i 37 и, следовательно, должен рассматриваться отдельно.

[48] Я должен отвергнуть предположение, высказанное в работах [Popko 1984] и [Starke 1990: 147], что *tiwariya* выводится напрямую из имени бога солнца *Tiwad*. Вариант ***tiwadiya* не засвидетельствован, в то время как вариант *tiwaliya* может использоваться в качестве эпитета Иштар и бога грома. По всей видимости, эта лексема выводится из лувийского корня *tiw-* < и.-е. **dy(e)w-* ‘дневное небо’, к которому была присоединена группа продуктивных суффиксов *-al-iya-* (ср. лув. *huitw-al-iya-* ‘принадлежащий живым’ [Melchert 1993: 84]). Попытка [Patri 2009] реконструировать *tiwadiya* > *tiwaliya* в тексте бронзового века вводит новый уникальный звуковой переход и не согласуется с фонетическим описанием лувийского «ротацизма», предложенным в работе [Rieken, Yakubovich 2010].

знаком ему из общих представлений[49]. Согласно моей гипотезе, этот писец был носителем лувийского диалекта, на котором говорили в районе Хаттусы[50]. Мы увидели, что замена *-nz(a)* на *-nzi* в вин. мн. общ. засвидетельствована в нескольких случаях в имперском лувийском. Хотя переход *l* > *r* и не находит параллельных примеров в этом диалекте, можно было бы утверждать, что он являлся отрицательно оцениваемым разговорным маркером, обычно не отражавшимся в орфографии бронзового века. Это не должно никого удивлять, учитывая тот факт, что и орфография периода железного века также отражает данный переход достаточно непоследовательно[51].

Таким образом, удается показать, что лингвистическая интерференция с лувийским могла способствовать смешению между им. мн. общ. и вин. мн. общ. в хеттском языке уже в начале XIV в. до н. э. В данный период это был спорадический феномен, ограниченный недостаточно хорошо усвоенными вариациями хеттского языка, но век спустя это стало грамматической нормой. Если лувийский диалект Хаттусы и окружающей территории был в авангарде этого процесса, необходимо принять, что смешение падежей было обобщено там даже раньше, чем в хеттском языке. Это явно отделило бы его от лувийского диалекта Киццувадны, в котором в XIV в. до н. э. сохранилась архаическая парадигма. Это также свидетельствовало бы против хаттусского происхождения клинописных лувийского заклинаний, в которых систематически используются формы аккузатива на *-nza*. К сожалению, недвусмысленные формы вин. мн. общ., похоже, не встречаются в архаических лувийских отрывках, интегрированных в CTH 572 и

---

[49] См раздел 4.8 и работу [Miller 2004: 530], где дан анализ ряда ритуалов Киццувадны как литературных произведений, имеющих скорее предписательное, чем дескриптивное значение и лишь слабо связанных с действительным поведением исполнителей ритуала, для которых они предназначались.

[50] Последнее предположение, конечно, не может быть убедительно доказано. Нельзя априори исключить гипотезу, что компилятор или переписчик текста CTH 404.1, чей хеттский идиолект отражен в CTH 39.8, родился и вырос вдали от Хаттусы, а затем мигрировал туда во взрослом возрасте. На основе этого можно было бы предположить, что смешение падежей восходит к диалекту лувийского языка, который мы не способны идентифицировать в настоящее время, и что оно проникло в хаттусский лувийский через столетие или позднее. Однако в пользу столь запутанного сценария нет положительных свидетельств, и, в соответствии с принципом бритвы Оккама, он должен быть отсечен.

[51] О фонетической интерпретации данного перехода см. [Rieken, Yakubovich 2010].

CTH 665, — следовательно, невозможно установить *terminus post quem* для этой морфологической инновации.

Хотя (10) представляет единственный известный мне пример, в котором вин. мн. общ. на *-nza* появляется в тексте, достоверно принадлежащем имперскому периоду, все же есть некоторые основания для предположения, что рассматриваемое смешение падежей не могло произойти в некоторых лувоязычных регионах в XIII в. до н. э. Нельзя, разумеется, быть уверенным в том, отражает ли вин. мн. общ. *dammaranza* диалект писца KUB 5.6 или должностного лица, выполнявшего ритуальные обязанности, но стоит предполагать, что, по крайней мере, один из них не был рожден в Хаттусе. Гипотеза, что писец умышленно использовал архаическую форму в качестве стилистической фигуры, также возможна, но менее вероятна с учетом жанра нашего текста.

Как и следовало ожидать, наши данные о формах вин. мн. общ., встречающихся в диалекте Истанувы, являются ограниченными. С одной стороны, словосочетание с вероятным вин. мн. общ. *tarhuntassi**nza*** […-]*wi**nza*** ‘?-ы Тархунта’, похоже, зависит от глагольной формы 3 ед. прош. *daitta*, значение которой в KUB 25.37 ii 33–34 неизвестно. С другой стороны, пример (14) может свидетельствовать в пользу вин. мн. общ. на *-nzi*. Этот отрывок, составляющий начальные строки песни, не поддается полному синтаксическому анализу, поскольку значение и функция слов *lammaur* и *alinan* остаются спорными, но ясно, что единственная финитная глагольная форма здесь — это 3 ед. наст. мед. *haltittari* ‘он зовет’. Форма мн. общ. DINGIR.MEŠ-*zi* ‘боги’ не может быть субъектом предиката в единственном числе, и, следовательно, если не считать DINGIR.MEŠ-*zi* вокативом, необходимо анализировать эту форму как объект глагола *haltittari*. Если признать, что предложенный анализ обоих примеров является верным, то нужно либо попытаться реконструировать синхронное варьирование между диалектами «Песен Истанувы», либо принять в расчет возможность неточной передачи текста в (14), отражающей интерференцию лувийского диалекта

Хаттусы. Но число неясностей здесь столь высоко, что *non liquet*, по-видимому, является наиболее честной позицией, которую можно занять. Ср. иной анализ в работе [Watkins 1995: 150].

(14) KBo 4.11 rev. 47–49, CTH 772.1 (NS), Starke 1985: 341
tap-pa-ši-tar ta-pa-la tap-pa-ši-tar ta-pa!-la la-am-ma-úr ti-ti-ʳyaʾ-a-la
a-li-na-an hal-ti-it-ta-ri DINGIR.MEŠ-zi

Смешение падежей, рассмотренное в этом разделе, было диалектным феноменом в лувийском языке периода бронзового века, но оно получило распространение в I тыс. до н. э. В анатолийских иероглифических надписях, где проводится различие между *376 <zi> и *377 <za>, первый знак последовательно используется как окончание существительных им.-вин. мн. общ., а второй знак — как окончание существительных дат. мн. Среди большого количества позднелувийских надписей, происходящих из бывшей Киццувадны, ни одна не демонстрирует модель интерференции, которая позволяла бы предположить сохранность на этой территории более старой нормы в разговорном языке. Еще более показательным является пример писем из Ассура, группы текстов, чей жанр заставляет считать, что они едва ли отклоняются от разговорной нормы[52].

(15) ASSUR b, §9, Hawkins 2000, II: 534
|a-wa/i |2-**zi-i** || |sa-na-wa/i-i-**zi** (“*481”)wa/i+ra/i-mu-ta-li-**zi**
|PUGNUS-ri+i-´
‘Подбери двух добрых охотничьих[?] псов[?]’.

Такие примеры, как (15), свидетельствуют против гипотезы, что лувийские литературные нормы Центральной Анатолии наложились в этом

[52] Внутренняя ссылка в одном из писем Ассура (ASSUR a, §6) позволяет предполагать связь с Каркемишем, который, возможно, уже вошел в Новоассирийскую империю ко времени подготовки писем. Во всяком случае, менее вероятно, что лувийский купец, торгующий в Ассуре, пришел бы из области вокруг Хаттусы, поскольку та находилась за пределами сферы ассирийского влияния.

случае на разговорный язык Киликии и Северной Сирии (например, как стандартный вавилонский наложился на ассирийские диалекты). По-видимому, имеющимся у нас материалам лучше всего соответствует анализ в контексте теории волн. Смешение между им. мн. общ. и вин. мн. общ. возникло в районе Хаттусы в период бронзового века, а затем постепенно распространилось на всю лувоязычную территорию. Данная концепция, разумеется, не исключает возможность того, что распространение данного синкретизма было связано с определенными социальными сообществами, включавшими писцов. Однако нужно все равно принять, что это было особенностью разговорного языка внутри данных сообществ. Остается исследовать вопрос о существовании других диалектных изоглосс, распространение которых происходило по той же модели.

1.4 Расширенные генитивы на *-assa* и *-assi*

Обычно считается, что клинописный лувийский диалект утратил родительный падеж, начав использовать в данной роли притяжательные прилагательные на *-assa/i-* [Melchert 2003b: 171]. Хотя иероглифический лувийский также характеризуется обильным использованием притяжательных прилагательных, он содержит при этом два отдельных генитивных маркера °*a-sa* и °*a-si*[53]. Обобщение посессивных прилагательных в лувийских клинописных текстах обычно рассматривается как диалектная инновация, так как другие лувические языки в этих позициях характеризуются аутентичными формами род. ед., которые не согласуются по падежу с соответствующими главными существительными.

Анализу лувических генитивов посвящена статья [Melchert 2012a]. Автор приходит к заключению, что анатолийские языки сохранили не только индохеттское окончание родительного падежа **-os* > хетт. *-as*, но и

[53] Фраза **a-mi-sa* NEPOS-*sa* INF[ANS] ‘сын моего внука’ в EMİRGAZİ, §4 является единственным известным мне примером родительного падежа в иероглифических текстах бронзового века. Все другие примеры относятся к памятникам железного века.

тематическое окончание *-*e/oso*, а также, возможно, *-*osyo*. Мелчерт считает, что ликийское окончание родительного падежа -*Vhe/-Vh* (ср. TL 2.2 *Murazahe: tideimi* ‘сын M.’ vs. TL 122 *Tutinimeh: tideimi* ‘сын T.’) отражает более раннее *-*e/oso* и что такое же происхождение следует предполагать для милийского окончания -*ese* в слове *Kuprllese* (ср. [Melchert 2004a: 97]). Кроме того, он высказывает гипотезу, что появление лувийского генитивного окончания °*a-si* и карийского генитивного окончания -*ś* может быть связано с нерегулярной апокопой в более раннем -*osyo*.

Я в высшей степени поддерживаю общую проблематику статьи Мелчерта, поскольку он пытается дать историческое объяснение ряду форм, которые обычно объявляются инновациями без достаточных оснований (ср. [Hajnal 2000: 177–178] и отчасти [Schürr 2010a]). При этом приятно отметить, что многие результаты работы Мелчерта прямо опираются на выводы, представленные в моей монографии [Yakubovich 2010: 38–45]. В особенности это касается лувийских генитивов на -*assa* и -*assi*, зафиксированных в клинописной передаче. Ниже я намереваюсь привести контексты употребления этих образований, поскольку их существование имеет серьезные последствия для лувийской диалектологии.

Можно начать анализ с рассмотрения лувийского иностранного слова, включенного в хеттский контекст. Пример, приведенный ниже, взят из новохеттского руководства для неких высших должностных лиц, которое, по всей вероятности, было составлено в Хаттусе. Исправление на им.-вин. ед. ср. *mar-ša-aš-ša-<an>* в примере (21), предложенное Мелчертом [Melchert 1993: 140], несомненно, сделано *ad hoc*. Хотя синтаксис этого фрагмента совместим с интерпретацией *marsassa mēhur* в качестве словосочетания во множественном числе ‘времена напастей’, все же им.-вин. мн. ср. *mēhur* оказывается синтаксически необъяснимым в контексте параллельной фразы в единственном числе *apeniessuwan mēhur ⸢kuwayamman=za* ‘столь ужасное время’ в строке ii 12 того же самого текста [Stefanini 1965: 40].

(21) KBo 4.14 ii 57–59, CTH 123 (NH/LNS), Stefanini 1965: 42
nasma=kan LUGAL-us tūwali KASKAL-si arha paizzi nasm=at GIM-an asān imma ≒***mar-ša-aš-ša*** mēhur
‘… Или (когда) царь отправляется в долгий поход, или когда в самом деле наступает время **напасти**…’.

Возвращаясь к лувийскому текстовому материалу, можно отметить, что формы родительного падежа встречаются по крайней мере четыре раза в лувийских отрывках, включенных в Ритуал Пуриянни (CTH 758). Как показано в разделе 1.3, этот ритуал происходит из Киццувадны, и, следовательно, отрывки, цитируемые ниже, должны также отражать специфику лувийского диалекта Киццувадны.

(22) KUB 35.54 ii 14, 758.1.C (MS), Starke 1985: 66
[…] **im-ra-aš-ša** ^{d}IŠKUR-aš-ša-an-za […]
‘…**степного** бога грома’.

(23) KUB 35.54 ii 35–36, 758.1.C (MS), Starke 1985: 67
a-ta im-ra-**aš-ša** ^{d}IŠKUR-u[n-t]i pa-ri ta-ra-a-u-i-it-[t]a
‘(Он) передал их **степному** богу грома’.

(24) KUB 35.54 iii 2–5, CTH 758.1.C (MS), Starke 1985: 68
hal-li-iš-ša ˹pa˺-ra-at-ta-a[n-za]
pu-wa-ti-il-za [n]a-nu-un-tar-ri-š[a]
ir-hu-u-wa-**aš-ša** pa-˹ri˺-it-tar-u-wa-a-**aš-š**[**a**] [54]
u-˹la˺-an-ta-al-li-ya-an hu-it-y[a-li-ya-an]
‘… боль (и) нечистота, прошлая и настоящая
принадлежащая *ir(hu)wa-* (и) *parittarwa-*, мертвым и живым’.

(25) KUB 35.54 iii 6–8, 758.1.C (MS), Starke 1985: 68
a-ta a-ap-pa za-aš-ta-an-za DINGIR.MEŠ-an-za pár-ra-an ni-iš <a-ú-i-ti>

[54] Восстановление *parittaruwass*[*an*] с формальной точки зрения также допустимо.

im-ma-ra-**aš-ša** ^{d}IŠKUR-aš-ša-˹an˺-za hal-li-iš-ša

‘Пусть опять к этим богам не придет она, боль **степного** бога грома’.

Формы родительного падежа на *-assa* в Ритуале Пуриянни, как представляется, ограничены теми контекстами, где иначе можно было бы ожидать притяжательные прилагательные на *-assan* (вин. ед. ср. и дат. ед.). В частности, для оригинальной версии предложений (22) и (25) можно было бы также реконструировать **immarassan Tarhuntassan-za halis-sa*. Возможно, использование расширения *-sa/-za* представляло собой последнее средство для выражения синтаксической зависимости в двойной посессивной конструкции ‘боль степного бога грома’. Конструкция с двумя притяжательными прилагательными **immarassan-za Tarhuntassan-za halis-sa*, вероятно, имела нормальную интерпретацию ‘боль бога грома (и) степи’.

Тесная связь между формами на *-assa* и *-assan* подтверждается параллелизмом между примером (23) и дативной посессивной конструкцией KUB 35.54 ii 37 *im-ma-*[*r*]*a-aš-ša-an* ^{d}IŠKUR-*ti*, встречающейся в соседнем абзаце того же текста. Это может быть также подтверждено анализом параллельных версий ритуала Киццувадны CTH 760.II, приписываемого Куваталле. В большинстве рукописей этого текста демонстрируется предпочтение посессивных прилагательных, таких как вин. ед. ср. *kursas-san* и **tuliyassan* в примере (27). В противоположность этому, версия CTH 760 II.1.A содержит генитивные формы **kuwarsassa* и *tuliyassa* (26).

(26) KBo 29.55 iii 1–5 + KUB 35.43 iii 28–32, CTH 760 II.1.A (Pre-NH/NS), см. тж. Starke 1985: 147

l[a-la-i-]du-ut-ta ta-˹pa-a-ru˺ ta-ta-ri-ya-am-ma-an hi-˹i˺[-ru-ú-u]n

e-ir-hu-u-wa-˹al˺-li-ya-an pa-ri-it-tar-wa-al-li-ya-an wa-a[l-l]i-ya-an

hu-u-i-it-wa-li-ya-an pu-u-wa-ti-i-il pa-ri-ya-na-al-la<-an> ^{LÚ}˹lu-la˺-hi-ya-an

ha-ap-pí-ri-ya-an ku-wa-a[r-š]a-**aš-ša**<<-aš-ša>> tu-ú-li-ya-**aš-ša**

‘(Он) забрал у него манипуляцию, заклятие (и) проклятие,

(принадлежащее) *ir(hu)wa-* (и) *parittarwa-*, мертвым (и) живым, прошлое

(и) будущее, (принадлежащее) лулаххи (и) хабиру, отряду (и) сходке’.

(27) KUB 35.45 ii 1–4, CTH 760 II.2.B (Pre-NH/NS), Starke 1985: 151
˹hi-iˀ-ru-ú-un pu-ú-wa-<ti>-il pa-ri-ya-na-al-la-an AMA-ya-an
ta-a-ti-ya-an ŠEŠ-ya-an NIN-ya-an ARAD-ya-an GEMÉ-ya-an
LÚlu-u-la-hi-ya-an LÚha-pí-ri-ya-an kur-ša-**aš-ša-an** tu-ú-li-ya-**<aš-ša>-an**
‘проклятие прошлое (и) будущее, матери (и) отца, брата (и) сестры,
раба (и) рабыни, лулаххи (и) хабиру, отряда (и) сходки’.

Последний пример генитива на *-assa*, встречающегося в позиции, где ожидалось бы *-assan*, относится к отрывочному заклинанию неясного происхождения. Окончание *-assa* появляется здесь в упрощенной записи *(C)a-ša*. Мелчерт [Melchert 1993: 177] рассматривает форму *Pirwa(s)sa* как им.-вин. мн. ср. притяжательного прилагательного *Pirwass(a/i)-* ‘относящийся к Пирве’, но следующее за ним существительное в единственном числе *hantawadahi-sa* ‘царство’ заставляет поставить под сомнение подобный анализ[55]. Конечно, есть вероятность того, что *Pirwasa* согласуется с предшествующим существительным во множественном числе, которое утеряно в лакуне, но зависимое личное имя обычно предшествует синтаксически главному в лувийских посессивных конструкциях (Bauer 2014: 240).

(28) KUB 35.123 iv[?] 7, CTH 768.2 (LNS), Starke 1985: 251
[….d**P]í-ir-wa-ša** ha-an-ta-ˀwaˀ-da-hi!-ša
‘… царскую власть **Пирвы**’.

В пользу анализа Мелчерта [Melchert 1993], согласно которому род. ед. *-assa* в ритуалах Киццувадны представляет собой сокращение более раннего

[55] Штарке [Starke 1990: 47] пытается преодолеть эту сложность путем приписывания множественного числа именному окончанию *-sa* в *hantawadahi-sa*. Подобный грамматический анализ *-sa* в *halis-sa* позволяет ему интерпретировать *immarassa* в примере (25) как вин. мн. общ. посессивного прилагательного. Однако анализ Штарке, касающийся именных расширителей *-sa*/*-za*, был справедливо отвергнут другими исследователями (ср. обсуждение в разделе 1.5).

*-*assan*, говорит отсутствие чередования между род. *-assa* и другими словоизменительными формами притяжательных прилагательных. Я намереваюсь показать в разделе 5.2.3, что назализация [an] > [ã] /_C/# является вероятной факультативной особенностью разговорного лувийского языка, которая ответственна за часто встречающуюся утрату <an> в середине слова. Однако не ясно, почему орфографические варианты, отражающие формацию с назализованным гласным в конечной позиции, настолько сосредоточены в категории посессивных прилагательных. Единственный случай, где Мелчерт [Melchert 1993] восстанавливает конечный графический <an> в другой лексеме, — это *pa-ri-ya-na-al-la*<*-an*> в примере (26)[56].

Я считаю, что пропуск конечного графического <an> был распространен только в тех случаях, когда неправильные с точки зрения орфографии формы могли получить новую грамматическую интерпретацию, которая имела бы смысл в общем контексте фрагмента. Притяжательные прилагательные на *-assan* подвергались модификации, поскольку они могли быть реинтерпретированы как генитивы на *-assa*. Согласно моей гипотезе, генитивы на *-assa* отсутствовали в исконном лувийском диалекте ритуалов Киццувадны, но были позже введены туда переписчиками из Хаттусы. Иначе говоря, вторичные формы вин. ед. на *-assa* в пассажах, написанных на лувийском языке Киццувадны, имеют то же объяснение, что и вторичные формы вин. мн. общ. на *-nzi* в примерах (3) и (9). Фонетическое развитие [an] > [ā], возможно, увеличивало вероятность ошибок при написании, но само по себе оно едва ли ответственно за возникновение род. *-assa*[57].

При обращении к материалам позднелувийского легко увидеть, что генитивы, записанные как *-(C)a-sa* в иероглифической орфографии, представляют собой возможное соответствие окончанию *-assa*,

---

[56] Стоит отметить также противоположный пример KUB 9.6 i 30–31: [*ku-wa-ar-š*]*a-*ʳ*aš*ʾ*-ša*<<*-an*>> *tu-úli-ya-aš-ša-*<<*a*[*n*]>>, где, согласно Фортсону [Fortson 2004: 170], знаки <an> на конце притяжательных прилагательных подлежат снятию при эмендации.

[57] Иначе у Мелчерта [Melchert 2012a: 284], который считает формы на *-assa* рефлексами более раннего *-*ossod*. С моей точки зрения, маловероятен сценарий, при котором формы им.-вин. ед. ср. на *-*od* были бы утрачены у всех прилагательных, кроме притяжательных, а пример (23) прямо противоречит предложенной Мелчертом реконструкции.

зафиксированному в клинописных текстах. Но в этом случае также возможно альтернативное прочтение *-as*. Мелчерт [Melchert 1993] перечисляет формы родительного падежа *hantiyassas*, *hirudas*, ≈*kulanas*, *tarmatnas*, ≈*tarpattas* и ∽*warwalanas*, которые встречаются в хеттских контекстах. Очевидно, все эти формы произведены от лувийских существительных, но снабжены при этом окончанием генитива на *-as*. Хотя вполне возможно, что некоторые из этих существительных представляют собой (частично) ассимилированные лувийские заимствования в хеттский язык, нельзя исключить того, что другие формы являются лувийскими гостевыми словами с исконным окончанием *-as*. Согласно последней возможности, отмеченной уже в работе [van den Hout 2006: 236, сноска 107], некоторые из иероглифических генитивов на *-(C)a-sa* могут иметь конечный гласный в качестве чисто графического элемента, соответствуя фонетическому /-as/, а написания подобных генитивов с конечным *plene* крайне малочисленны [Bauer 2014: 142]. Однако генитивы на *-ehe* и *-ese*, зафиксированные, соответственно, в ликийском и милийском и являющиеся прекрасным внешним аналогом этой недавно открытой формы на *-assa*, оставляют возможность, что по крайней мере в некоторых окончаниях на *-(C)a-sa* конечный гласный должен был существовать на самом деле.

Сложнее обнаружить формы бронзового века, которые предшествовали позднелувийским формам на °*a-si*. В лувийском диалекте Киццувадны они, по-видимому, отсутствовали. Большинство форм на *-assi*, засвидетельствованных в хеттских клинописных текстах, могут быть рассмотрены как усеченные («аккадографические») написания посессивных прилагательных. Это справедливо для большого числа теонимов, таких как ^{d}U *pihassassi*, [A.]ŠÀ ≈*lalattassi* (KUB 8.75 iv 52) и NINDA.GUR$_4$.RA *hawiyassi* (KBo 21.42 i 11), стоящих в косвенных падежах. Наиболее вероятными претендентами на то, чтобы считаться исконными формами на *-assi*, являются *kulimmassi=wa* и […-]*nissi=pa=ku=wa*, которые появляются в двух соседних строках (iii 9 и iii 10) крайне отрывочного текста KUB 35.79

(MS). Гипотеза, что этот текст не был создан в Киццувадне, является весьма вероятной на независимых основаниях[58]. К этому следует добавить форму в песни из Лаллупии KUB 25.37 iii 33 *ma-aš-ša-ni-ya-aš-ši wa-al-z*[*a-me-en*], которая чередуется с KUB 35.37 i 14: [*ma-aš-ša-ni-y*]*a-aš-ši-in wa-al-za-me-en*. Последняя форма KUB 35.70 ii 5: вин. [*ma-a-y*]*a*[*-aš-*]*ši* EME-*in* ‘злословие толпы’ встречается в заклинании из Киццувадны, и она чередуется, например, с KBo 13.262 8: им. [*ma-ay-*]*a-aš-ši-iš* [EME-*iš*] в другом заклинании. Ошибки в написании, сделанные переписчиками из Хаттусы и стимулированные структурой их родных диалектов, являются объяснением последних двух случаев.

Эти клинописные примеры, разумеется, слишком малочисленны, чтобы строго доказать фонологическую реконструкцию /-assi/ в противовес /-asi/, предполагавшейся ранее Мелчертом [Melchert 2003b: 187]. Тем не менее дополнительным свидетельством в пользу /-assi/ является его связь с праиндоевропейским тематическим окончанием генитива *-*osyo*. Такие примеры, как лув. *is(sa)ra/i-* < и.-е. **g’esr* ‘рука’ или лув. *immara/i-* < анатол. **g’emro-* ‘степь’, заставляют предполагать, что правило, согласно которому хеттское /s/ и /m/ геминируются в качестве первых членов гетеросиллабических консонантных кластеров, может быть распространено и на лувийский язык[59]. Если так, то ожидалось бы, что этимологическая последовательность /-osjo/ даст */-assija/ и затем, после апокопы, */-assi/. Таким образом, этимологические соображения говорят, скорее, в пользу моей

[58] Фрагмент KUB 35.79 iii 13 содержит последовательность […-]*u-na*, которая, по-видимому, должна рассматриваться как суффикс инфинитива. Лувийские инфинитивы на *-una* обильно представлены в хеттских текстах в качестве гостевых слов и часто встречаются в позднелувийском языке, но при этом ни разу — в лувийских отрывках, включенных в ритуалы Киццувадны. Две других вероятных формы инфинитива, встречающихся в лувийских заклинаниях, — это KBo 7.68 ii 5 *a-du-na* и VBoT 60 obv. 12 *kar-šu-na*, но оба этих фрагмента, предположительно, также отражают лувийский диалект Хаттусы. Должно быть, инфинитивы на *-una* существовали в пралувийском языке, поскольку существительное *i-ú-na-hi-ša* ‘подвижность’, зафиксированное в лувийском языке Киццувадны, явно образовано от инифинитива *iuna* ‘идти’, известного в позднелувийском языке. Однако в лувийском диалекте Киццувадны использование самих этих инфинитивов, по-видимому, было ограниченным либо вообще не имело места. К сожалению, на данный момент нет возможности определить, какая конструкция заместила инфинитивные группы в лувийском языке Киццувадны. Отсюда следует, что мой аргумент подтверждается сейчас только чисто статистическими соображениями и поэтому остается гипотетическим.

[59] См. [Melchert 1994: 150–152], где дается формулировка данного правила для хеттского языка. Лув. *tahusiya-* ‘молчать’ не является контрпримером для этого правила, поскольку глагольный суффикс *-*ya-* в лувийском, по-видимому, обобщил алломорф /iya/.

фонологической реконструкции, чем против таковой[60]. Согласно альтернативной интерпретации Мелчерта, формы на /-assi/ могут представлять результат фонетического развития *-*osyo*# > *-*osyə* > *-*osyi* > *-*ossi* [Melchert 2012a: 283].

Если принять скудные клинописные свидетельства родительного падежа на *-assi* в качестве достоверных, то мы приходим к новой параллели между позднелувийским языком и диалектом бронзового века, характерным для писцов из Хаттусы. Если принять, что иероглифическое окончание °*a-sa* может отражать *-assa*, то между этими двумя диалектами обнаруживается дополнительная изоглосса. В обоих случаях мы имеем дело с общими синтаксическими архаизмами, и, следовательно, эти изоглоссы имели меньше значения, чем замещение вин. мн. общ. *-nz(a)* на *-nzi*. Но диалектологи редко настаивают на строгом применении кладистической методологии из-за общепризнанно важной роли диффузии внутри континуума взаимопонятных диалектов. Таким образом, должно быть уделено надлежащее внимание также и фонетическим (не кладистическим) изоглоссам, рассмотренным в данном разделе.

1.5 Конструкции с посессором во множественном числе

Индохеттское окончание род. мн. *-*ōm* сохранилось в праанатолийском. Его отражениями являются древнехетт. род. мн. *-an*, лик. род. мн. *-ẽ* и лидийское окончание *-αv*, сочетающее функции род. мн. и дат. мн. Начиная со среднехеттского периода, отмечается распространение функций окончания род. ед. *-as* на род. мн. Идентичное распространение маркера посессора в единственном числе на множественные посессоры

[60] Дополнительный аргумент в пользу реконструции гемината /ss/ в *-assi* предложен в работе [Yakubovich 2008b: 193–196]. Представляется, что генитивы на *-assa* и *-assi* являются единственным правдоподобным источником для образования лувийского посессивного суффикса *-ass(i)-*, где гемината засвидетельствована надежным образом. Несмотря на то что в работе [Melchert 2012a] предлагается отличный от моего сценарий историко-фонетического развития суффикса *-ass(i)-*, там также принимается его опосредованная связь с индоевропейским генитивом на *-*osyo*.

может быть обнаружено в позднелувийском языке[61]. Так, с формальной точки зрения именные группы ‘устои бога/богов’ и ‘повелением бога/богов’ в примерах, которые цитируются ниже, являются синтаксически неоднозначными. Только последующее упоминание группы богов в (29) и ссылка на Кубабу и бога луны из Харрана во фрагменте (30) склоняет чашу весов в пользу интерпретации соответствующих конструкций в духе политеизма.

(29) ANCOZ 7, §4, Hawkins 2000, II: 356
|za-zi-i-pa-wa/i URBS-ni-i-zi-´ || **DEUS-na-si-i** DOMUS.PONERE?-ti-zi |za-a-zi-ha u+x?-pari-ia-zi kwa/i-i-sa i-mara/i$^{+ra/i}$-sa-na (DEUS)CERVUS$_2$-ia á-lá/í (DEUS)AVIS (DEUS)SOL-ti (DEUS)i-ku+ra/i (DEUS)ta-sà-ku *ARHA* |CAPERE-i
‘Эти города, устои[?] **богов**, и эти …, (если) кто-нибудь у степного бога грома, Алы-Кубабы, бога солнца, Икуры и Таску заберет…’

(30) GELB, §1, Hawkins 2000, II: 569
...] **DEUS-ní-sa-ti-i** LEP[US ...
‘…]повелением **богов**[…’

Имеются причины полагать, что смешение между маркерами единичных и множественных посессоров в именной группе представляет собой общелувийский феномен. Идиома *māyass(i)- lāl(i)-* ‘злословие толп’ в ритуалах Киццувадны выглядит в номинативе как *ma-a-ya-aš-ši-iš* EME-*iš*, а в аккузативе *ma-a-ya-aš-ši-in* EME-*in*. Разумеется, эти формы могли бы также значить **‘злословие толпы’, но появление данной идиомы с существительным в творительном падеже, как ниже в примере (31), доказывает ее верную грамматическую интерпретацию.

[61] В качестве противоположного примера аналогического выравнивания можно упомянуть ситуацию в кипрском диалекте древнегреческого языка, где наряду с обычной формой род. ед. на *-о* встречается также расширенная форма на *-о-пе*. Наиболее простым объяснением для последней формы является распространение показателя род. мн. [Egetmeyer 2010: 390–392].

К этому необходимо добавить сложный случай KUB 35.89 13 GEŠTUG.HI.A-*ša* GIG-*za* ‘болезнь ушей’, чередующегося с ^{UZU}GEŠTUG-*za* GIG-*za* в параллельном фрагменте KUB 35.88 iii 16. Если принять, что в обоих случаях базовой основой со ‘значением ухо’ является *tummant-*, то придется иметь дело с чередованием форм *tummantassa* и *tummantassanza* (так у [Starke 1990: 47]). Но вопреки мнению Штарке, *tummantassanza* должно рассматриваться как определение для существительного в единственном числе GIG-*za*, т. е. ‘ушная болезнь’. Следовательно, единственная возможность адекватно интерпретировать *tummantassa* — это признать его в качестве еще одного примера генитива на *-assa*, который в данном случае обозначает парного посессора (‘ушей’). Неясно, какой из двух вариантов более архаичен, но если GEŠTUG.HI.A-*ša* является эмендацией, то она может отражать консервативный диалект переписчика из Богазкея[62].

Тем не менее Мелчерт [Melchert 2000: 173–179] успешно продемонстрировал, что некоторые лувийские тексты периода бронзового века содержат инновативные посессивные прилагательные, эксплицитно маркирующие множественное число посессора. Показатель множественного числа *-anz-* вставляется между посессивным суффиксом *-assa-* и флексией. Однако это прилагательное, по-видимому, использовалось только с основным существительным в дативе/локативе или аблативе/инструменталисе, как в примерах (31–33). Во многих ситуациях интерпретация множественности посессоров сама по себе не следует из контекста, но нет ни одного случая, когда ей препятствовал бы общий смысл фрагмента. Ниже дается краткая выборка форм на *-assanza-*, за полным списком которых следует обратиться к работе [Melchert 2000].

[62] Еще одним вероятным примером синкретической формы родительного падежа в тексте железного века является *á-pa-sa-ti* в CEKKE §6b [ср. Hawkins 2000, I: 145]. Наиболее вероятным переводом для данной клаузы является ‘(Камани и Састури) купили город Камана у канапцев с их согласия(?)’, где местоимение «их» имеет в качестве антецедента канапцев. Тем не менее нельзя абсолютно исключить интерпретацию ‘…с его согласия(?)’, где антецедентом является сам город Камана. Таким образом, данный пример не может использоваться в настоящем разделе в качестве решающего аргумента.

(31) KUB 32.9 rev. 8–11, CTH 761.2 (MS), Starke 1985: 90
pa [ha-la-a-l]i-iš a-aš-du ma-a[l-ha-aš-ša-aš-ši-iš EN-aš]
ma-a-aš-ša-na-an-za pár-ra-a[n a]d-du-wa-la-ti EM[E-ti ad-]du-wa-la-ti
i-iš-š[a-ra-ti] **ta-pa-ru-wa-aš-ša-an-za-t[i d]a-a-ta-ri-ya-am-n[a-aš-ša-a]n-za-ti hi-ru-ta-aš-ša-a[n-za-ti] ma-a-ʿyaʾ-aš-ša-an-za-ti** ʿEME-tiʾ
‘Пусть очистится заказчик ритуала перед богами от злого языка, от злой руки, от (полного) **манипуляций, заклятий и проклятий** злословия **толп**’.

(32) KUB 9.6 iii 12–14, CTH 759.2 (LNS), Starke 1985: 115
ku-iš-tar **ma-al-ha-aš-ša-aš-ša-an-za-an** EN-ya a-ad-du-wa-la a-an-ni-ti
a-an DINGIR.MEŠ-in-zi a-ah-ha na-a-ta-at-ta ta-ta-ar-ha-an-du
‘Кто бы не причинил зло заказчику **ритуала** (*pl. tantum*), пусть боги сломают его (как) тростинку’.

(33) KUB 35.78 i 7–8, CTH 767.1 (NS), Starke 1985: 134
[x$^{?}$-x$^{?}$ **ma-al-]ha-aš-ša-aš-ša-an-za-an-za** EN-an-z[a īkkun]attas 1$^{!}$ UDU sipanti
‘[?] жертвует одну овцу, приготовленную для заклания, ради заказчика **ритуала** (*pl. tantum*)’.

Вероятно, анализ Мелчерта может быть продвинут на один шаг вперед. Тот же вариант лувийского, в котором устранена неоднозначность между прилагательными в косвенных падежах, также, возможно, ввел факультативный маркер род. мн. *-assanz(a)*. Сосуществование нескольких стратегий формирования посессивных именных групп не должно удивлять нас после того, как была обсуждена синхронная вариативность между обычными притяжательными прилагательными и родительным падежом на *-assa*. Однако количество примеров, иллюстрирующих новую категорию, недостаточно для того, чтобы получить положительное заключение о ее существовании. Четыре известных мне случая, которые наводят на размышления, характеризуются наличием главного существительного в

номинативе[?], аккузативе, дативе/локативе и аблативе/инструменталисе соответственно[63].

(34) KUB 35.103 rev. 8–9, CTH 766 (MS), Starke 1985: 222
hu-iš-ti-in-zi ˹wa˺[!]-ya-am-ma-na **ú-li-ip-na-aš-ša-an-za**
‘… крики роженицы, завывания **волков**…’.

(35) KUB 32.8 iii 16–17, CTH 762.3 (NS), Starke 1985: 118–119
iš-ša-ra-<aš-ša>-an-za-pa-ti-it-ta **pa-a-ta-aš-ša-an-za** ta-am-mu-u-ga la-a-at-ta
‘(Он[?]) взял ногти **рук и ног**’.

(36) KUB 35.45 ii 7–10, 760 II.2.A (NS), Starke 1985: 151–152
˹a˺-an-ta-pa-˹at-ta˺ a-ar-la-nu-wa-at-ta **SÍSKUR-aš-ša-an-za** ˹EN˺-ya hu-i-it-wa-la-hi-<ta>-ti a-an-na-ru-um-ma-hi-<ta>ti MU.KAM.HI.A GÍD.DA EGIR.UD-*MI*-HI.A-ti DINGIR.MEŠ-aš-ša-za-ti
wa-aš-ša-ra-hi-ta-ti hu-i-tum-ma-na-hi-ta-ti
‘(Он) заменил их заказчику **ритуала** жизнью, силой, долгими годами, будущими днями, милостью богов и энергией’.

(37) KUB 35.43 iii 6–8, CTH 760.II.1.A (NS), Starke 1985: 145–146
[na-a-ú-wa-te-ya-t]a har-ma-ha-ti mu-u-wa-i na-a-˹ú˺[-wa-te-ya-ta
a-la-la-at-ta-t]i KI.MIN na-a-ú-wa-te-ya-ta [ma-an-na-hu-un-na-ti K]I.MIN
na-a-ú-wa-te-ya-ta **t]a-a-u-wa-a-aš-ša-an-za** ti-ti-t[a-a-ti KI.MIN]
‘(Он) не владеет головой, (он) не владеет [*alalatta*-], (он) не владеет [*mannahu(wa)nna*-], (он) не владеет ресницами **глаз**.

Штарке [Starke 1990: 47] рассматривает формы на *-assanza* в примерах (34) и (35) как посессивные прилагательные во множественном числе, используя их в качестве аргументов в пользу того, что лувийский расширитель *-sa*/*-za* относится к окончанию множественного числа. Хотя материалы имперского лувийского, представленные в работе [van den Hout

[63] Поскольку необходимо принять, что *hwistinzi* в примере (8) является вин. мн., отражающим диалект переписчика из Богазкея, аналогичное объяснение остается возможным с формальной точки зрения и в (34). Фрагментарность контекста не позволяет сказать большего.

1984], и материалы периода железного века, проанализированные в труде [Hawkins et al. 1974: 173–176], недвусмысленно говорят в пользу связи *-sa*/*-za* с единственным числом в соответствующих вариантах лувийского языка[64], все же обманчивые контрпримеры, приведенные у Штарке, ранее просто-напросто игнорировались. Альтернативный анализ этих форм без принятия специального окончания род. мн. заключается в том, чтобы понимать их как регулярные формы им.-вин. мн. ср. на *-a-* от посессивных прилагательных на *-assanz(a)-*. Это предполагало бы, что выражение множественности посессора не было ограничено основами косвенных падежей, но, как мы увидим ниже, для этого исключения имеется простое морфонологическое объяснение.

Традиционная интерпретация примеров (36) и (37) опирается на ошибки писцов. Штарке [Starke 1985] реконструировал SÍSKUR-*aš-ša-an*<<-*za*>> в примере (36), а Мелчерт [Melchert 2000: 174] предположил эмендацию SÍSKUR-*aš-ša-an-za*<-*an*>, приводя пример (32) в качестве подтверждения. Штарке [Starke 1985] исправляет (37) на *ta-a-u-wa-aš-ša-an-za*<<-*ti*>>, приводя в качестве подтверждения вариант KUB 35.43 ii 14 *da-a-u-wa-aš-˹ša-an˺-za-ti ti-ti-ta-a-ti*. И в самом деле, хаттусские переписчики могли проявить небрежность в отношении особых форм лувийского языка Киццувадны, которые они, вероятно, не понимали. Принимая это во внимание, необходимо привести дополнительные свидетельства, чтобы решить, подтверждается ли предположение о существовании инновативного род. мн. в лувийском языке Киццувадны. Лишь открытие новых текстов сможет пролить свет на эту проблему.

Важный дистрибуционный факт, имеющий отношение к (гипотетическому) окончанию род. мн. на *-assanz(a)* и к близким адъективным формам, заключается в том, что они, по-видимому, не встречаются за пределами лувийского языка Киццувадны. Большинство примеров, процитированных выше, относятся к текстам, которые могут быть

[64] Последнее комплексное исследование лувийского именного расширителя *-sa*/*-za* также подтверждает его связь с ед. ср. [Jasanoff 2010].

связаны с областью Киццувадны на независимых основаниях. Отсутствие этих инновативных форм в хаттусском и истанувском лувийском теоретически может объясняться случайностью, однако более показательным является их отсутствие в большом корпусе позднелувийских текстов. С учетом изоглосс между хаттусским лувийским и позднелувийским, которые были рассмотрены выше, я предполагаю, что формы на *-assanz*(-) никогда не существовали в Центральной Анатолии.

Это географическое распределение будет играть большую роль в моем анализе происхождения суффикса *-assanz*(-). Мелчерт [Melchert 2000: 178–179], без сомнения, был прав, когда рассмотрел его как сочетание посессивного маркера *-assa-* и элемента *-nz-*, взятого из окончаний общего рода множественного числа. Но ему не удалось объяснить порядок этих двух элементов. Если принять, что суффикс *-nz-* был переосмыслен как индифферентный к падежу маркер множественности, то ожидалось бы, что посессивный суффикс *-assa-* будет присоединен к новой основе множественного числа, а не вставлен между корнем и суффиксом, маркирующим множественное число. Именно так произошло, например, в истории ликийского языка, где дат. мн. *ebtte* ‘им’ был переразложен как основа косвенных падежей мн. ч., на базе которой затем было сформировано новое притяжательное местоимение *ebttehi-* ‘их’. В целом, последовательность морфем ОСНОВА+ЧИСЛО+ПАДЕЖ является типологически распространенной в агглютинативных языках, в то время как последовательность ОСНОВА+ПАДЕЖ+ЧИСЛО (*massan(a)-ass(a)-anz(a)-*) встречается очень редко и должна иметь историческое объяснение[65]. Проблематичный характер последовательности *-assanz*, вероятно, привел Мелчерта к неверной ссылке на эту форму как на ***-anzassa-*; данная ошибка

[65] Это утверждение является парафразой 39-й универсалии из работы [Greenberg 1963]. Самое известное исключение из данного обобщения, конечно, — индохеттское окончание вин. мн. **-ms* > **-ns*, обычно реконструируемое как сочетание окончания вин. ед. **-m* и маркера множественного числа **-s* [Meier-Brügger 2000: 185; Fortson 2004: 106]. Однако в этом случае можно предположить, что **-s* является продолжением старой частицы, которая располагалась на правой границе имени. Аналогичное объяснение неприемлемо в обсуждаемом здесь случае, поскольку *-(a)nz* было распространено по парадигме множественного числа посредством переразложения, а не в результате грамматикализации.

была повторена Фортсоном [Fortson 2004: 169 (первое издание)], видимо, по той же причине[66].

Я полагаю, что новый посессивный суффикс *-nz-*, разрешающий неоднозначность между единственным и множественным посессором, был чисто механически присоединен к старому посессивному суффиксу *-assa-*, который нейтрализовывал показатель числа у посессора. Типологически сходное дублирование грамматических показателей может быть обнаружено в английском *child-re-n* или *you-r-s*, не говоря уже о распространенных неправильных формах вроде *sang-ed* или *wrote-d*. Однако верно, что становление таких форм в качестве нормативных происходит обычно вследствие утери старым аффиксом продуктивности. Можно избежать этой проблемы, если принять, что лувийские посессивные формы на *-nz*(-) были введены теми, кто усваивал лувийский в качестве второго языка и поэтому видел в сочетании морфем вроде *massanassa-* вторичные основы[67]. Поскольку на территории Киццувадны проживало смешанное хурритское и лувийское население, представляется, что родным языком этих людей был хурритский.

Это, разумеется, не освобождает меня от необходимости объяснения того, каким образом *-nz*(-) мог получить значение посессивного маркера множественного числа. Ответ может быть дан на основе анализа хурритских посессивных конструкций. Хорошо известной особенностью грамматической системы хурритского языка является согласование падежей в именной группе между главным и подчиненным существительными, что порождает формы «двойного падежа» вроде *i-ni-pa-a-i* в примере (38), где согласовательный падеж следует за генитивом. Однако морфонологические изменения на границах морфем могли в определенных позициях

[66] Данное обстоятельство, вероятно, также несет ответственность за традиционную интерпретацию *-anzadi* в качестве инстр. мн, согласно которой *-anz-* в *massan-ass-anz-adi* и т. д. маркировало множественное число самого прилагательного, а не его посессора. Мелчерт [Melchert 2000] с помощью филологических средств хорошо показал ошибочный характер такого анализа, но со структурной точки зрения он действительно является более простым, поскольку дает ожидаемую последовательность ЧИСЛО+ПАДЕЖ на конце адъективной формы.

[67] Форма *iš-ša-ra-an-za-ti* в примере (35) теоретически может рассматриваться не как ошибка писца, а как сочетание посессивного маркера мн. ч. *-anza-* с чистым корнем. Но этому предположению суждено оставаться спекуляцией, пока оно делается на основе единственного примера.

«поглощать» окончание генитива *-ve*, вплоть до полной потери фонетической репрезентации последнего. Именно это и произошло в примере (39) и в сходных случаях, когда главное существительное в инструменталисе управляет зависимым существительным во множественном числе. Согласный *v* подвергался прогрессивной ассимиляции рядом с предшествующим сибилянтом, в то время как *e* исчезал в результате сандхи с последующим гласным [Giorgieri 2000: 188]. В результате окончание зависимого существительного состояло из маркера множественного числа *-(a)ž-*, за которым следовал маркер инструменталиса *-āe* на поверхностном уровне. Полным эквивалентом этой последовательности в лувийском языке было *-anz-adi*, как в примере (31).

(38) KUB 29.8 iii 39, CTH 777.2.A (MS), Haas 1984: 97

i-ni-pa-a-i ha-a-ša-ra-a-i

eni=v(e)=āe hāž=ar(i)=āe

god=GEN=INSTR anoint=SUFF=INSTR

‘С божественным елеем’.

(39) KUB 29.8 iii 7–9, CTH 777.2.A (MS), Haas 1984: 94[68]

da-a-du-ga-ra-a-i DINGIR.MEŠ-na-ša-a-[(e tar-šu-wa-na-ša-a-e)]

tad=ugar(i)=āe en(i)=n(a)=až=(ve)=āe taržuwan(i)=n(a)=až=(ve)=āe

love=RECIPR=INSTR god=RLT.PL=PL=GEN=INSTR god=RLT.PL=PL=GEN=INSTR

‘Со взаимной любовью богов и людей’.

Джорджери [Giorgieri 2000: 217] не обнаружил случаев, когда последовательность *-až-āe* использовалась бы для маркирования множественного числа существительного в инструменталисе, а не его посессора. Этот пробел не является чем-то случайным, учитывая, что маркер *=āe*, по-видимому, выполняет роль адвербиального суффикса, а не падежного окончания, и потому несовместим с обычным показателем множественности [Giorgieri 2000: 218, см. там же библиографию]. Таким

[68] Восстановлено в соответствии с KUB 29.8 iii 16–18.

образом, последовательность DINGIR.MEŠ-*na-ša-e* является неудачным кандидатом для передачи значения ‘с богами’ в дополнение к значению ‘с тем, кто относится к богам’. Разумеется, это распределение подобно тому, что обнаруживается в случае с лувийским диалектом Киццувадны, где *massanassa-nz-adi* переводится как ‘с тем, что относится к богам’ [Melchert 2003b: 188], но **massan-adi* означало бы ‘с богами / посредством богов’ без учета числа.

Таким образом, я считаю, что лувийские формы на *-assa-nz-adi* (самое частотное окончание, маркирующее мн. ч. посессора) представляли собой прямую кальку с хурритских форм на *-až-āe*, восходящих к существовавшим до этого посессивным основам. Говоря языком контактной лингвистики, можно сказать, что здесь мы имеем дело со случаем морфосинтаксического наложения (*imposition*) хурритского языка на лувийский. Чаще всего подобные эффекты интерференции проявляются в ситуации языкового сдвига. Ни хурриты, ни лувийцы обычно не рассматриваются как автохтонное население Киццувадны, но если мой анализ верен, то ожидалось бы, что хурриты прибыли в этот регион раньше, а затем постепенно перешли к языку новоприбывших лувийцев. Этот сценарий хорошо соответствует тому, что известно о ситуации в Юго-Восточной Анатолии в период железного века — в это время здесь уже не обнаруживается следов хурритского языка, за исключением реликтовых личных имен. По-видимому, лувийский вышел победителем в соревновании между двумя языками.

После того как *-nz-* получило значение посессивного инфикса мн. ч., начался процесс его аналогического распространения по парадигме, и в итоге оно встречается перед окончаниями дат. ед. и дат. мн. Мелчерт [Melchert 2000: 178–179] предположил, что его дальнейшее распространение на посессивные прилагательные в номинативе и аккузативе сдерживалось фонотактическими ограничениями. Консонантный инфикс *-nz-*, очевидно, был несовместим с окончаниями, начинавшимися с согласного, поскольку их сочетание породило бы недопустимые консонантные кластеры (***-nz-n*,

**-*nz-nzi* и т. д.). Однако это объяснение нельзя применить к род. мн. на *-assanza*, которое могло быть построено по аналогии *-assadi*/*-assa* = *assanzadi*/*X*. Если именно этот механизм был ответственен за возникновение род. мн. в лувийском диалекте Киццувадны, тогда конечное *-a* должно было обладать там фонетической реальностью. Если принять, что формы на *-assanza* в примерах (34) и (35) включают окончание им.-вин. мн. ср. *-a*, то оно таким же образом должно было оказаться приемлемым в контексте объяснения Мелчерта.

Если моя гипотеза верна, то она дает прямое доказательство того, что лувийские заклинания, вставленные в хеттские очистительные ритуалы, написаны на диалекте Киццувадны. Мы уже видели в разделе 1.2, что ритуалы Царпии, Пуриянни и Куваталлы/Силаллухи отражают культурную среду Киццувадны, но только открытие структурных инноваций, которые дополняют их специфический стиль, подтверждает гипотезу о том, что мы имеем дело с отдельным диалектом. Теперь можно использовать фактор присутствия контактно-обусловленных форм на *–assanz-* в качестве теста для определения того, какие иные лувийские тексты были написаны на диалекте Киццувадны. Так, мы получаем диалектную атрибуцию текста KUB 35.102+103 (CTH 766): кроме *ú-li-ip-na-aš-ša-an-za*, приведенного в примере (34), можно упомянуть дат. мн. ^{d}EN.ZU-*an-za-an-za* (ii 11). Это нетривиальный результат, поскольку содержание данного текста, по-видимому, не дает указаний на место его происхождения[69].

[69] Анализ KUB 35.90 ^{d}UTU-*ša-an-za-a*[*n*] менее понятен. В связи с тем, что синтаксическая позиция этой формы не может быть определена из-за фрагментарности контекста, невозможно исключить, что мы имеем здесь дело с сочетанием ^{d}UTU-*sanz=an*. Следовательно, любые заключения о диалекте KUB 35.90 являются преждевременными.

1.6 Имперфектив *-zza-* и глагол со значением ‘делать’

Позднелувийские иероглифические надписи железного века содержат большое количество глагольных форм, снабженных словообразовательным суффиксом *-(z)za-*. С формальной точки зрения, этот суффикс является безупречным когнатом хеттского маркера имперфективности *-ske-* < и.-е. **-sk’e-* [Melchert 1987: 198–201 и везде]. Семантическое соответствие между двумя суффиксами является более нетривиальным. В то время как хетт. *-ske-* может рассматриваться как синхронный маркер аспекта [Hoffner, Melchert 2002], лув. *-(z)za-* уже находилось в процессе лексикализации. Несмотря на то что синхронная оппозиция между “CRUS”-*i* (= *ta-i*) и *tazza-ttu* в примере (40) передает, по-видимому, аспектуальное различие, ничто не говорит в пользу имперфективного характера широко используемого лувийского глагола *assazza-* ‘говорить’ (42). Насколько можно судить, он полностью заместил более краткий эквивалент *assa-*, чьи возможные примеры ограничены лувийским языком бронзового века [Melchert 1993: 34]. Как бы то ни было, этимологическое соответствие между хетт. *-ske-* и лув. *-(z)za-* не может подвергаться сомнению.

(40) KARATEPE 1, §74–75 (Hu.), Hawkins 2000, II: 58
POST-na-wa/i *ARHA*?! **(“CRUS<”>)ta-za-tu** |ara/i-zi OMNIS-MI-zi
(OCULUS)á-za-ti-wa/i-tà-sa |á-lá/í-ma-za (DEUS)LUNA+*MI*-sa-wa/i
(DEUS)SOL-ha kwa/i-ri+i á-la/i-ma-za “CRUS”-i
‘Отныне пусть имя Ацативады **продолжает стоять** во все времена,
как стоит имя Солнца и Луны’[70].

[70] Новая транслитерация <la/i> и <lá/í> для знаков, которые ранее интерпретировались как <ta$_4$> и <ta$_5$>, предложена в работе [Rieken, Yakubovich 2010].

(41) KARKAMIŠ A 6, §25, Hawkins 2000, II: 125
za-sa-pa-wa/i (MENSA.SOLIUM)á-sa-sa **(CRUS+CRUS)ni-za-ia**
|kwa/i-a-ti kwa/i-ti-i-ha REX-ti |PRAE-na
‘Если это сиденье перейдет к какому-нибудь князю…’

(42) KARATEPE 1, §67–68 (Hu.), Hawkins 2000, II: 57
|a-wa/i za-ri+i |**á-sa$_5$-za-ia** wa/i+ra/i-la-ia-wa/i “PORTA”-la-na i-zi-i-wa/i
‘Или здесь **заявит**: “Я присвою эти ворота” ’.

Существуют также и лувийские глагольные формы периода бронзового века, снабженные тем же суффиксом, но исследователи, рассматривавшие их ранее, упустили из виду то, что они, по-видимому, ограничены лувийским диалектом Хаттусы. Самым надежным примером является (43), где маркер *-zza-*, вероятно, используется в инхоативном значении. Этот отрывок относится к молитве, приписываемой Мурсили II. Другой релевантный пример — это 3 ед. наст. *hal-wa-at-na-az-za-i*, который зафиксирован в плохо сохранившемся контексте KUB 36.89 obv. 38 хеттского ритуала в честь бога грома из Нерика (параллельное место KUB 36.88 obv. 11 содержит [*hal-wa-a*]*t-na-zai*). Значение этого глагола является дискуссионным. Штарке [Starke 1990: 475–477] собрал список лувийских когнатов и предпочел традиционный перевод ‘раздражаться’. Мелчерт [Melchert 1993: 50] предложил другой перевод — ‘возбуждаться’, который, по моему мнению, лучше соответствует семантике доступных когнатов. Какое бы решение ни предпочесть, инхоативная интерпретация *-(z)za-* является наиболее правдоподобной. Вопрос о том, имеем ли мы здесь дело с лувийским гостевым словом или с устоявшимся заимствованием, точно так же не может быть разрешен в данный момент. Но лувийское происхождение этого глагола достоверно, и не только из-за рассмотренного суффикса, но и в связи с отсутствием ассимиляции в консонантном кластере *-tn-*.

(43) KUB 14.8 obv. 23–24, CTH 378.II (NH), Lebrun 1980: 205
ABU=YA=m[a] ˹***kap-pí˺-la-az-za-at-ta*** n=as *INA* ^{KUR}*MIZRI* pait
‘Мой отец **разгневался** и пошел (войной) на Египет’.

Отсутствие имперфективов с суффиксом *-(z)za-* в отрывках на истанувском лувийском может быть случайностью. Тяжелее считать это совпадением в случае лувийского языка Киццувадны. Лувийские вкрапления в ритуалы Киццувадны характеризуются наличием по крайней мере трех надежных имперфективов на *-(s)sa-*: *halalanussa-* ‘очищать’, *ippadarrissa-* ‘присваивать’ и *sahhanissa* ‘порабощать’. Итеративы с суффиксом *-(s)sa-* являются общелувийской и даже общеанатолийской особенностью [Melchert 1987: 200], но в позднелувийских текстах они приблизительно равны по частотности имперфективам на *-(z)za-* и иногда чередуются с ними (напр., LIS-*lazza-* vs. LIS-*(sa)lassa-* [Hawkins et al. 1974: 184]). К тому же позднелувийская основа *assazza-* ‘говорить, высказывать’, как представляется, имеет соответствие в *assa-* в лувийском диалекте Киццувадны [Melchert 1993: 34]. Эти материалы заставляют предполагать, по крайней мере, что продуктивность суффикса *-z(z)a-* в лувийском диалекте Киццувадны было ограниченным.

Другая важная изоглосса, связующая имперский лувийский и позднелувийский языки, вытекает из анализа синонимичных лувийских глаголов *ā(ya)-* и *izzi(ya)-*. Основное значение обоих глаголов — ‘делать’. Когда их сопровождает возвратная клитика, они получают идиоматичное значение ‘исполнять (ритуал), почитать’. Эти же две основы, присоединяя окончания медиопассива (которые в остальных случаях являются редкими в позднелувийском языке), получают значение ‘становиться’[71]. Все эти базовые значения характерны и для хетт. *iē-* > *iya-*, которое является надежно установленным когнатом лув. *ā*(*ya*)- [Melchert 1984b: 159–161]. Тесное и

[71] Все значения, кроме **āya-* ‘становиться’, иллюстрируются примерами ниже в этом разделе. Что касается значения **āya-* (мед.) ‘становиться’, см., напр., KUB 35.54 ii 41–45.

нетривиальное сходство семантических полей *ā*(*ya*)- и *izzi*(*ya*)- говорит о том, что их значения, вероятно, подверглись конвергентному развитию.

Прежде чем рассматривать отношения между этими двумя корнями, необходимо объяснить происхождение конкурирующих основ *ā*- и *āya*- в лувийском. Мелчерт [Melchert 1984b: 160] предложил сложный сценарий, согласно которому соответствующая основа *āya*- возникла в результате контаминации унаследованных форм 3 ед. *ādi* vs. 3 мн. **yanti*. Я считаю, что его историческое объяснение является маловероятным, поскольку варианты *ā*- и *āya*- встречаются в одной и той же иероглифической надписи SULTANHAN, без какой-либо морфологической дистрибуции в первом случае. Я бы, скорее, предположил существование синхронного различия между перфективной/точечной основой *ā*- и имперфективной/итеративной основой *āya*-. Таким образом, предложение (44), скорее всего, отсылает не к одному урожаю винограда, а к сезонному урожаю, тогда как в (45) мы имеем дело с единичным актом реставрации. Эти две лексемы формально могут быть выведены из пралувической корневой основы **yā*- и редуплицированной основы **yayā*-, соответственно. Хотя интервокальное *-*y*-, вероятно, исчезло в лувийском в соответствии с фонетическим правилом, в ряде случаев оно сохранилось на морфологических границах [Rieken 2005/2006]. Функциональные основания для его сохранения (или восстановления) в данном случае очевидны: если оно будет опущено, то формальное различие между двумя основами просто исчезнет.

(44) SULTANHAN, §§23–25, Hawkins 1995: 466
|a-wa/i |wa/i-ia-ni-i-sa |PUGNUS-ri+i-ti-i |tara/i-sa-zi-pa-wa/i |ia+ra/i-ti-i
|a-wa/i |MILLE ti-wa/i-ta-li-na |**á-ia-ti-i**
‘Лоза поднимется, протянет ветви и **произведет** 1000[?] *tiwadali*-мер (вина)’.

(45) SULTANHAN, §45, Hawkins 1995: 467
|a-wa/i-tà |**á-pi-i** |sa$_5$+ra/i-wa/i-ti-wa/i+ra/i-sá |**á-tà**
|wa/i-su-*SARMA*-ma-sa-a-ri+i |wa/i+ra/i-ia-ri+i
|sa-na-wa/i-sa-tara/i-ri+i-ha
‘А Сарравативада **восстановил** его, с помощью и благоволением Васусармы’.

Таким образом, хотя основы *ā-* и *āya-*, по-видимому, выполняли различные функции, они явно связаны генетически. В противоположность этому, прямая генетическая связь между *ā(ya)-* и *izzi(ya)-* представляется неочевидной. Ближайшим когнатом лув. *ā(ya)-* и хетт. *iē-* за пределами анатолийских языков является тох. А *ya-/ypa-* ‘делать, выполнять’ [Adams 1987: 176]. Поскольку анатолийские и тохарские языки являются двумя изолятами внутри индохеттской семьи, для которых не могут быть характерны общие инновации, то следует признать, что ‘делать, выполнять’ было исконным значением лув. *ā(ya)-*. Вопрос о том, принадлежит ли вед. *yātú-* ‘демон’ и авест. *yātu-* ‘заклинатель’ к тому же корню, следует считать дискуссионным. В качестве типологической параллели такому семантическому переходу следует упомянуть др.-норв. *gørningar* ‘деяния, акты; магические действия, колдовство’, производное от *gørva* ‘делать, выполнять’; вед. *kr̥tyā-* ‘дело, акт; магия, колдовство’ и особенно русск. *чары*, *чаро-дей*, производные от и.-е. **k^{w}er* > вед. *kar* ‘делать, выполнять’. В то же время альтернативная этимология для вед. *yātú-* и авест. *yātu-* предлагается в работе [Sommer 2014]. Автор связывает эти существительные с и.-е. корнем **H$_{\text{i}}$ieh$_1$* ‘бросать, посылать’, указывая на вед. *īti-* ‘беда, чума’ как дополнительное производное от того же корня. Согласно интерпретации Зоммера, индоиранские демоны и заклинатели получили сходные обозначения по своей прототипической функции, заключающейся в насылании на людей различных напастей.

Совсем иной является история лув. *izzi(ya)-*. Все внутрилувийские когнаты этого глагола, такие как /itsijatar-/ ‘ритуал’ (MARAŞ 14, §7), /itsijana-/ ‘ритуал’ (IZGIN 2, § 9) и /itsista-/ ‘почитать’ (напр., KARKAMIŠ A1a, § 35), способствуют предположению о том, что его первичным значением было ‘почитать’. К тому же Рикен [Rieken 2007] удачно сопоставила корень этого глагола с и.-е. **yag’*, от которого произошло вед. *yájate* ‘он почитает, приносит жертву’ и греч. ἄζομαι ‘я испытываю священный трепет, благоговею’. С другой стороны, тот факт, что глагол *izzi(ya)-* ленирует окончание (3 ед. *izzidi*), говорит против его реконструкции как основы на **-ye/o-* от корня **yag’*, поскольку все глаголы, восходящие к таким основам, его не ленируют. Единственный другой лувийский глагол, внешне напоминающий глаголы на **-ye/o-*, но принадлежащий к *di-*спряжению — это *anni(ya)-* ‘оказать, причинить’. В работе [Yakubovich 2010b] я обосновал происхождение этого глагола из сочетания с превербом **anni ā-* и его связь с лув. CUM-*ni a-* ‘причинять’, известным из иероглифических текстов. Следуя той же логике, можно проанализировать *izzi(ya)-* как результат стяжения **izziya ā-* ‘почтительно сделать’. При этом наречие *izziya* представляет собой рефлекс и.-е. **yag’* ‘почитать’, а *ā-* — уже обсуждавшийся корень со значением ‘делать’[72].

Из предложенной этимологии следует, что *izzi(ya)-* мог представлять собой «вежливый» эквивалент *ā(ya)-*, первоначально характерный для акролекта. Независимый аргумент в пользу данной гипотезы дают дистрибуционнные соображения. В лувийском языке Киццувадны зафиксирована только форма *ā(ya)-* (ср. [Melchert 1993: 3–4]), в то время как княжеские иероглифические надписи имперского периода, которые

[72] Этимологическая связь между глаголами *ā-* и *izzi(ya)-* уже предлагалась авторами «новых чтений», по мнению которых, аффрикатный элемент в *izzi(ya)-* “мог бы рассматриваться в качестве эквивалента элементу *-šš-* в хетт. *-ešša-*” [Hawkins et al. 1974: 187]. Это предположение высказывалось в то время, когда данные авторы придерживались неверной гипотезы о том, что лувийский суффикс *-(z)za-* является непосредственным когнатом хетт. *-ssa-* [Hawkins et al. 1974: 184–186]. Опровержение данной фонологической гипотезы в работе [Melchert 1987] автоматически ставит под сомнение и ее этимологические следствия. Дополнительное преимущество этимологии, предлагаемой в настоящей диссертации, состоит в одновременном учете сходства значений *ā-* и *izzi(ya)-* и несомненной этимологической связи *izzi(ya)-* с лексемами ритуальной семантики.

предположительно отражают лувийский диалект Хаттусы, свидетельствуют о конкуренции между *ā(ya)-* и *izzi(ya)-* (ср. (46) vs. (47)).

(46) SÜDBURG, §18, Hawkins 1995: 22
zi/a+a-ti DEUS.*202 *a-pa-ti ANNUS **i(a)-zi/a**
‘Здесь я **сделал** “Божественный Туннель” в том (самом) году’.

(47) EMİRGAZİ §27, Hawkins 1995: 88
kwa/i-i(a)-sa-pa-wa/i REX zi/a-i(a) STELE **PUGNUS-*MI*-na á**
‘Какой бы царь ни **укрепил** эти стелы…’

Независимое свидетельство в пользу существования основы *izzi(ya)-* в ее производном значении в имперском лувийском представлено формой *izziyattari* ‘появляется’, зафиксированной в каталожной записи архива табличек из Богазкея (48). Поскольку окончание 3 ед. наст. мед. *-ttari* относится одновременно к хеттской и лувийской глагольным парадигмам и поскольку писцы, использовавшие клинопись, никогда не употребляли глоссовые клинья в каталожных записях, то невозможно узнать, представляет ли эта форма гостевое слово[73] или заимствование (отсутствие ожидаемой лениции *-tt-* является маргинальным аргументом в пользу второго решения). Какой бы вариант ни оказался верным, эта форма, очевидно, не может отделяться от *izziya-* (мед.) ‘становиться’ в позднелувийском языке (49).

(48) VBoT 133 obv. 7 CTH 276.12 (NH), cf. Dardano 2006: 80[74]
mā]n GIDIM kuedani ***iz-zi-at-ta-ri*** x[
‘Если перед кем-нибудь **появится** привидение…’

[73] Гостевое слово может быть определено как словоформа, корень и флексия которой восходят к языку, отличающемуся от языка контекста. Формально гостевые слова отличаются от освоенных заимствований, снабженных флексией основного языка. См. социолингвистическую интерпретацию лувийских гостевых слов в хеттских текстах в разделе 5.4.4.

[74] Дардано [Dardano 2006] следует Каррубе [Carruba 1974], исправляя *iz-zi-at-ta-ri* на GIŠ.<HUR>*-zi-at-ta-ri* ‘дает знак’. Она не понимает, что «новые чтения», открывшее существование лувийского глагола *iz(z)i(ya)-*, сделали интерпретацию Каррубы излишней еще 30 лет назад.

(49) KARKAMIŠ A2+3, §24, Hawkins 2000, I: 110.
*a-wa/i-sa |DEUS-na-za |CAPUT-tá-za-ha |*366-na-na
|(DEUS) TONITRUS-tá-ti-i |(LOQUI)ta-tara/i-ia-mi-sa **i-zi-ia-ru**
‘Пусть он будет **(досл.: станет)** проклят Тархунтом среди богов и людей’.

Позднелувийские памятники железного века представляют многочисленные свидетельства стилистического или социолингвистического распределения между синонимичными глаголами *ā-/āya-* и *izzi(ya)-*. Ни один позднелувийский памятник не содержит чередований между этими глаголами. Ни один из семи вхождений *ā-/āya-*, перечисленных у Хокинса [Hawkins 2000, I: 469], не относится к надписям, исходящим из дворцовых канцелярий. Это статистически значимый результат, учитывая, что княжеские надписи — самый распространенный жанр в корпусе позднелувийских текстов. Еще показательнее случаи, когда оба глагола используются в одинаковом идиоматическом значении. Так, CUM-*na izzī-* (50) в надписи Ацативады, правителя Куэ, чередуется с CUM-*ni ā-*, влагаемым в уста Сарративады, слуги Васусармы (51), со значением ‘оказать’. Значение глагола *izzī-* ‘почтить (с помощью ритуала)’ в плохо сохранившемся тексте, написанном на каменном льве и упоминающем “правителя страны” Каркемиш (52), соответствует семантике глагола *ā-*, использующегося в том же переносном значении в граффити частного лица (53).

(50) KARATEPE 1, §15, Hawkins 2000, I: 50
|á-mi-há-wa/i |DOMINUS-ní-i |(NEPOS)ha-su-´ |OMNIS-*MI*-ma
||(BONUS)sa-na-wa/i-ia |CUM-na **i-zi-i-há**
‘И я **делал** всяческое добро для семьи моего господина’.

(51) SULTANHAN, §13, Hawkins 2000, II: 466
|hwa/i-pa-wa/i |sa$_5$+ra/i-wa/i-ti-wa/i+ra/i-ia-´ |wa/i-su-*SARMA*-ma-sa SERVUS-lá/í-i |TONITRUS-hu-za-sa |za-a-zi |wa/i+ra/i-ia-zi-´ |CUM-ni |**á-tà-´**
‘Истинно Тархунт **оказал** это содействие Сарравативаде, слуге Васусармы’.

(52) KARKAMIŠ A16a, §3, Hawkins 2000, I: 190
...]x kwa/i[?]-na-´ kwa/i[?]-na-´ || |DEUS-ni-i-na |**i-zi-i-ti**
‘…какого-бы[?] бога (он) не **почитал**…’

(53) HISARCIK 1, §2, Hawkins 2000, II: 483
a-wa/i-mi |MONS-ti-na |ha+ra/i-ha+ra/i-na 9||-ta (GAZELLA)i+ra/i-wa/i-ti-i |**á-ha**
‘Я **почтил** гору Хархара девять раз[?] горными козлами’.

И все же *izzi(ya)-* со временем явно становился более частотным. Так, в поздних письмах из Ассура, исходящих от лувийских купцов, этот глагол используется вместо ожидаемого *ā-/āya-* (54). Здесь мы имеем дело с классической моделью «изменения сверху», то есть с распространением языкового варианта, связанного с более высоким социальным статусом. С функциональной точки зрения *izzi(ya)-* играл роль «рака-отшельника», то есть лексемы, захватившей семантическую нишу, до этого принадлежавшую более лаконичной и, следовательно, менее заметной основе **ā(ya)-*[75]. Я предположил бы, что по тому же механизму распространялся и глагольный суффикс *-(z)za-* в позднелувийском языке. Мы уже видели, что его фиксация в текстах бронзового века, по-видимому, ограничена хаттусским диалектом,

[75] Понятие «рака-отшельника» (*hermit crab*) было введено в работе [Heath 1998] в связи с ситуацией, когда “грамматический аффикс, подвергающийся фонетической эрозии, иногда внезапно замещается легко доступной лексической основой, вместе с которой он разделяет один или несколько фонологических сегментов”. Обсуждаемая здесь ситуация отличается от этого прототипического случая в двух отношениях. Во-первых, предмет замещения является не грамматическим аффиксом, а глагольной основой. Во-вторых, замещение не является внезапным, а проходит, подобно каждому изменению сверху, через стадию социолингвистического варьирования.

в то время как позднелувийские надписи характеризуются большим количеством форм на *-(z)za-*. Существование анатолийских и индоевропейских когнатов гарантирует архаичный характер суффикса *-(z)za-*, но это не исключает возможности его отмирания или устаревания в определенных диалектах лувийского языка бронзового века. Должно быть, его сохранение в письменном койне позднелувийского языка отражает влияние престижного хаттусского диалекта. Пример (55) дает независимую иллюстрацию его наличия в корпусе писем из Ассура.

(54) ASSUR b, §4, Hawkins 2000, II: 534
|u-nu-^{i}-pa-wa/i-mu |1-ti-na |za-na |(“LOQUI”)ma-ra+a-ti-na |CUM-ni
|**i-zi-ia-´**
‘**Выполни** мне сейчас, во-первых, эту просьбу’.

(55) ASSUR e, §1, Hawkins 2000, II: 535
|**á-sa$_5$-za** [|]pi-ha-mi |hara/i-na-wa/i-za-sa-wa/i (“LOQUI”-´)ha-ri+i-ti
‘**Скажи** Пихами, (так) говорит Харранавица’.

Итак, анализ двух на первый взгляд независимых инноваций привел нас к следующим выводам. Инновация в лувийском диалекте Киццувадны заключалась в элиминации (этимологически) итеративного суффикса *-zza-*, в то время как инновация имперского лувийского заключалась в постепенном лексическом замещении глагола *ā(ya)-* его синонимом *izzi(ya)-*. Как удалось показать, эти две диалектные изоглоссы похожи тем, что объясняются механизмом «изменения сверху». Так или иначе, дескриптивный материал, приведенный в обоих случаях, предоставляет дополнительные факты о связи между имперским лувийским и позднелувийским диалектами, отделяя их от лувийского диалекта Киццувадны.

1.7 Другие диалектные изоглоссы

Предшествующий анализ касался в первую очередь диалектных инноваций внутри лувийского языка, которые выявляются либо в клинописных текстах, либо в сочетании клинописных и иероглифических источников. Ниже последует краткий обзор морфосинтаксических изменений, которые могут быть исследованы только на основе лувийских иероглифических надписей. Как и прежде, я ограничусь инновациями, которые либо выявляются уже в текстах бронзового века, либо были отнесены к бронзовому веку отдельными исследователями.

Вариант, который выражает идеальное соответствие с распределением лувийских систем письма, — это наличие vs. отсутствие начального *pā=* в клаузе. В лувийских клинописных текстах употребление этой частицы во многом перекрывается с использованием *a=*, хотя, в отличие от последней, *pā=* может встречаться изолированно и без клитик, присоединяемых к ней по закону Ваккернагеля [Melchert 2003b: 209, ср. пример (31)]. Помимо лувийского языка Киццувадны, эта частица встречается также в архаических фрагментах праздников, отражающих хеттский государственный культ (KUB 35.133 iv 8), и в «Песнях из Истанувы» (напр., KUB 35.39 iv 14, 16). Напротив, она не встречается ни в иероглифических текстах бронзового века, ни в иероглифических текстах железного века. Все кажущиеся примеры клитических групп, начинающихся с графического *pa-* в надписях железного века (напр., KARKAMIŠ A1a §35, KARKAMIŠ A3 §21, ALEPPO 2 §14 и т. д.), могут быть интерпретированы как группы, начинающиеся с *appa=* ‘затем’ или форм указательного местоимения *apa-*, записанных с применением графического приема, известного как «начальное *a* на конце» (*initial-a-final*) [Hawkins 2003: 159–161].

Мелчерт [Melchert 1993: 161] описывает *pā=* как алломорф контрастивного/противительного союза *=pa*, который обильно представлен в лувийском языке бронзового века и позднелувийском языке в качестве

ваккернагелевской клитики. На основе этого может сложиться впечатление, что связь =*pa* с начальной позицией в клаузе представляла собой инновацию лувийских «клинописных» диалектов. Однако я не вижу причин рассматривать *pā*= и =*pa* в качестве двух синхронных вариантов одной морфемы. Сам Мелчерт [Melchert 2003b: 208–209] имплицитно отказывается от своего более раннего анализа, когда подчеркивает функциональные различия между двумя частицами. Если даже они и связаны исторически, реконструкция двух разных ступеней аблаута *=*pe* vs. **pó*= в работе [Melchert 1994: 243–244] заставляет предполагать, что они различались уже в индохеттском праязыке. Таким образом, необходимо рассматривать *pā*= в качестве лингвистического архаизма, который был отброшен в области Хаттусы к XIII в. до н. э. Обобщение клитики *a*= за счет *pā*= в начале предложения в имперском лувийском может рассматриваться вместе с распространением *nu*= в среднехеттском и новохеттском вместо более ранних клитик *ta*= и *su*= (то же у [Rieken 2006a: 280]).

Другой широко распространенной особенностью раннего лувийского языка является использование сентенциальной частицы =*tar*, которая в некоторых случаях эквивалентна хеттскому =*san* [Melchert 2003b: 210]. Эта частица, которая будет подробно рассмотрена в разделе 2.8, появляется в текстах от Киццувадны до Истанувы, чем гарантируется ее общелувийский статус. Однако она не засвидетельствована в большом корпусе позднелувийских надписей, где ее функции часто перенимает =*ta* (напр., KARKAMIŠ A1a §35, ALEPPO 2 §16 и т. д.). Отсутствие этой частицы в меньшем корпусе лувийских иероглифических надписей имперского периода теоретически может быть случайным, но сравнение с поздненовохеттским языком показывает, что это не так. Хеттская частица =*san* вышла из употребления во второй половине XIII в. до н. э., в то время как =*kan* распространилась на все клаузы, требующие использования сентенциальной

частицы[76]. Прямого доказательства того, что этот процесс был инициирован аналогичным изменением в лувийском или *vice versa*, не существует, но все же большое число контактно-стимулированных изменений в поздненовохеттском языке делает гипотезу о параллельной и независимой эволюции менее вероятной (ср. [Rieken 2006a: 280]).

Мелчерт [Melchert 2000: 179–182] реконструировал подсистему лувийских клитических местоимений мн. ч. ‘они, их’ периода бронзового века, которая оказывается очень похожей на ту, что использовалась в некоторых среднехеттских и новохеттских текстах (см. ниже Таблицу 4). В данной реконструкции имплицитно принято диалектное единообразие клитических систем, поскольку все надежные фиксации вин. мн. общ. на =*as* известны из диалекта Киццувадны. Однако хеттская система предположительно калькирует дистрибуцию имперского лувийского диалекта, давая тем самым хорошее подтверждение общелувийскому статусу форм, рассмотренных Мелчертом.

Таблица 4. Анафорические клитики мн. ч. в лувийском и новохеттском

	Лувийский		Хеттский	
	общ. р.	ср. р.	общ. р.	ср. р.
им.	=ada	=ada	=ad	=ad
вин.	=as	=ada	=as	=ad

Инновация позднелувийского языка заключалась в замещении =*as* с помощью =*ada* в вин. мн. общ. (ср. [Melchert 2003b: 172]). Однако необходимы доказательства того, что это тривиальное выравнивание по аналогии происходило уже в XIII в. до н. э. Хокинс [Hawkins 1995: 97] предположил, что объектное местоимение =*ada* в EMİRGAZİ, §20 имеет своим антецедентом существительное общего рода мн. ч. *414.OVIS-*zi/a*, явно обозначающее жертвенных овец. Хотя надпись EMİRGAZİ все еще

[76] Нет ни одного случая появления других сентенциальных частиц, кроме =*kan*, в текстах, которые исключительно на исторических основаниях могут быть отнесены к эпохе последнего царя Хаттусы Суппилулиямы II (Т. ван ден Хаут, личн. сообщ.).

плохо понятна, мне кажется не менее вероятным то, что антецедентом здесь выступало STELA ‘стела’ (ср.)[77].

(56) EMİRGAZİ §19–20, cf. Hawkins 1995: 88
ma-pa-wa/i *414.OVIS-zi/a kwa/i-tá-zi/a STELE ma-lu-wa/i CRUS
*a-wa/i-**tá** ma-na *ARHA* kwa/i-i(a)-sa-ha CAPUT+SCALPRUM
‘Для которых стел *414-овцы как приношение установлены,[?]
Если кто-нибудь **их** повалит[?]...’

Если принять представленный ниже перевод, то не остается прямых аргументов в пользу аналогического расширения функций =*ada* в имперском лувийском. Однако косвенным свидетельством в пользу данного процесса являются случаи употребления =*ad* вместо ожидаемого вин. мн. общ. =*as* в рукописях Ритуала Мастигги KBo 39.8 i 49 и KBo 2.3 i 33 [Rieken 2014: 168–169]. Обнаружение дополнительных примеров подобной замены может склонить чашу весов в пользу реконструкции аналогической замены вин. мн. общ. =*as* на =*ada* уже в лувийском диалекте Хаттусы[78].

Ударные формы местоимений 1 мн. и 2 мн. л. в бронзовом веке — это, соответственно, лув. *anza(s)* и *unza(s)*. Не до конца ясно, как распределялись формы с конечным *-s* и без него, но доступные свидетельства совместимы с гипотезой, что формы с *-s* — это им. и вин, а формы без *-s* — это формы косвенных падежей[79]. Как представляется, фиксация этих форм не ограничена какой-либо диалектной зоной. Так, вин. *u(n)zas* появляется в заклинании на лувийском диалекте Киццувадны из Ритуала Царпии (KUB 9.31 ii 32), дат. *anza* встречается несколько раз в ритуале KUB 35.133,

[77] Как сообщил мне Т. ван де Хаут, Д. Хокинс, работая над блоками EMIRGAZİ, независимо пришел к сходным заключениям, касающимся интерпретации примера (56).
[78] В работе [Yakubovich 2009a: 8–9] я предположил, что последовательность *ti-sa-a* в SÜDBURG §7 может интерпретироваться как клитический комплекс **a-ti-sa*, соответствующий фонологическому /a=di(y)=as/, где *a* является соединительным словом в начале клаузы, *di* — возвратной частицей, а *as* — энклитическим местоимением в вин. мн. общ. Если эта интерпретация верна, то она противоречит гипотезе о полной замене вин. мн. общ. =*as* на =*ada* в «имперском лувийском».
[79] Местоимение *anzas* ‘мы’, вероятно, используется в функции номинатива в KUB 35.133 iv 13, где в следующей строке засвидетельствовано 1 мн. *huyunni*. К сожалению, контекст является фрагментарным, так что мою интерпретацию следует считать предварительной. См. ниже примеры на другие падежи.

отражающем хеттский государственный культ, а косв. *unza*, вероятно, включен в последовательность *u-un-za-pí-ya-an-mi*, зафиксированной в одной из «Песен Истанувы» (KUB 35.142 iv(!) 6–7), которая может интерпретироваться как *unza piyan=mi* ‘(Это) дается мне тобой’ (с выносом аргумента в фокусе на левую периферию)[80].

Следующие позднелувийские формы тех же местоимений (в традиционной интерпретации) присутствуют в иероглифических текстах: им. *u-zu*$^{?}$*-sa* (KARKAMIŠ A6 §22), им.$^{?}$ *a-zu*$^{?}$*-za* (ASSUR a, §3; e, §§4, 8), им.$^{?}$ *a-zu*$^{?}$ *-´-za* (ASSUR f, §3), им.$^{?}$ *á-zu*$^{?}$*-za* (ASSUR d, §4), им.$^{?}$ *u-zu*$^{?}$*-za* (ASSUR c, §4; ASSUR e, §§6, 16, 17), твор. *u-za-ri+i* (ASSUR a, §4), твор. *u-za+ra/i*$^{-i}$ (ASSUR a, §9)[81]. Кроме того, засвидетельствованы притяжательные местоимения *a-zi-* ‘наш’ (напр., ASSUR f, §9) и *u-zi-* ‘ваш’ (напр., ASSUR e, §7), а также возможный датив посессивного прилагательного *á-zu*$^{?}$*-sa*$_{7}$*-na* ‘нашему’ (TOPADA, §26). Номинативная интерпретация форм, встречающихся в так называемых *hatura*-клаузах из писем Ассура, является дискуссионной — согласно другой точке зрения, их предлагается интерпретировать как дативы.

Мелчерт [Melchert 1994: 278–279] выводит форму 1 мн. /antsunts/ прямо из праанатолийского **n̥s-m̥s*, принимая развитие **m̥* > **um* > **un* в хеттском. Катц [Katz 1998: 143] предполагает, что *-u-* в /untsunts/ является когнатом праиндоевропейского суффикса **-we-*, присоединявшегося к основе местоимения 2 мн. *us-* в косвенных падежах. Недостаток обоих решений заключается в том, что в них позднелувийский язык непосредственно сопоставляется с индохеттским праязыком, минуя при этом стадию лувийского языка бронзового века. Мы уже видели, что распределение основ

[80] Аккузатив *anza* может быть скрыт в имени военачальника Арцавы *Anzapahaddu* [Bryce 2003: 57, 62], если последнее анализировать как «пусть (он) защитит нас» или в похожем ключе. Однако в следующей главе я буду защищать точку зрения, согласно которой диалект Арцавы не должен рассматриваться как лувийский в узком смысле.

[81] Формы личных местоимений в инструменталисе из позднелувийского языка упомянуты в работе [Melchert 2003b: 189]. Хокинс [Hawkins 2000, II: 542a] предполагает, что *u-za-ri+i* и другие формы местоимений в инструменталисе из писем Ассура восходят к посессивным местоимениям. Однако подобная интерпретация невозможна, поскольку ни одна из этих форм не сопровождается в явном виде главным существительным. Исходя из контекста, адвербиальная интерпретация указанных форм (‘у вас’) является предпочтительной.

anza(-) и *unza(-)* в лувийском языке II тыс. до н. э. является общим для всех диалектов, и, следовательно, распространение *и*-основ среди позднелувийских местоимений во множественном числе (если оно действительно имело место) должно представлять собой инновацию.

Можно было бы предположить, что форма датива /unts-unts/, редуплицированный вариант /unts/ ‘вам’, была переразложена как /untsu-nts/ в какой-то момент в конце II тыс. до н. э. или начале I тыс. до н. э. Это переразложение способствововало созданию по аналогии /antsu-nts/ ‘нам’ и распространение *и*-вокализма в номинативе /untsu-s/ вместо изначального /untsa-s/. Более интенсивное аналогическое выравнивание, зафиксированное в письмах Ассура, где использовался разговорный вариант лувийского, могло бы породить распространение старых форм датива /antsu-nts/ и /untsu-nts/ на номинатив. Новое посессивное прилагательное /antsu-ss(i)-/ также могло быть создано на базе вторичной основы /antsu-/, в то время как синонимичное /antsi-/ представляет собой более архаичное образование, которое должно выводиться из раннего /antz-ija-/. Однако этот сценарий выглядит чрезмерно сложным. Я бы предложил более простое решение, которое базируется на новых чтениях рассматриваемых форм.

Фонетическое значение знака <zu$^{?}$> (*432) выводится из печатей бронзового века, найденных в Хаттусе, Угарите и Эмаре [Hawkins 2005b: 298a], но оно является недостоверным в случае с надписями железного века. Фактически все лувийские слова, для которых должно постулироваться этимологическое /tsu-/ (напр., **zuwan(i)-* ‘собака’, **azu(wa)-* ‘лошадь’ и **zurni* ‘рога’), записаны с использованием знака *448, имеющего общепринятую транслитерацию <zú> или <sù> [Melchert 2012b: 210][82]. Маранцци [Marazzi

[82] Мелчерт [loc. cit.] предложил значение <zú> для знака *448, отметив, что ни одно из слов, записанных с помощью данного иероглифа, не говорит с однозначностью в пользу прочтения <sù>. Хокинсу [Hawkins 2000, I: 35–36] эти аргументы не показались убедительными, и он привел две формы, которые, по его мнению, подтверждают чтение <sù>. Я считаю, что Хокинс потерпел неудачу в своих попытках привести убедительный довод против тезиса Мелчерта. Согласно Мелчерту, значение <sú> для знака, имеющего форму рога (*108), не должно выводиться из *zurni* ‘рога’, но, скорее, может быть извлечено из *suwa-* ‘наполнять’, отсылая к концепту рога изобилия (ср. KARATEPE 1, §36 (Hu.) (CORNU+RA/I)*su-ra/i-sá* ‘изобилие’). Я также следую работе [Younger 2014], в которой убедительно доказывается, что фраза *zú+ra/i-wa/i-ni-ti* (URBS) SCRIBA-*li-ya-ti*, встречающаяся в перечне систем письма, которым обучился Яр(и)ри,

1990] упоминает сценарий, согласно которому, *432 мог развить вторичное чтение <za_x> в позднелувийском языке. Хорошей параллелью к такому сценарию является анатолийский иероглиф *445, который имеет только значение <lu> в бронзовом веке, но должен транслитерироваться как <la/i/u> в надписях железного века. Поскольку все позднелувийские формы, содержащие *432, кроме рассмотренных выше, с этимологической точки зрения неясны, фактически ничего не мешает принять <za_x> в качестве регулярного значения этого знака в I тыс. до н. э.

Разумеется, значение <za_x> остается несколько спекулятивным, до тех пор пока оно не подтверждено прямыми комбинаторными свидетельствами из надписей железного века. Но принятие «новых чтений» существенно упрощает морфологический анализ. Оно влечет за собой реинтерпретацию всех местоименных форм мн. ч. из писем Ассура как производных от основы /antsa-/ и /untsa-/. С учетом этого предположения, грамматическая инновация позднелувийского языка заключалась лишь в создании новых форм косвенных падежей с помощью стандартных окончаний *-anz(a)* и *-adi*. Поскольку известно, что лувийские клитики бронзового века *=(m)mas* ‘вам, им’ были переделаны в /=mmants/ в железном веке [Melchert 2003b: 172], отсутствуют морфологические преграды для принятия новых дативных форм 1 мн. /antsants/ и 2 мн. /untsants/. Возможное распространение дативных форм на номинатив в позднелувийском языке писем Ассура также не представляется проблематичным, поскольку соответствующие местоимения ед. ч. *amū* и *tū* также не характеризуются формальным разграничением между номинативом и дативом. Таким образом, устраняется необходимость конструировать загадочные формы **/antsunts/ и **/untsunts/ для пралувийского, праанатолийского и праиндохеттского.

правитель Каркемиша, отсылает к «тирскому», то есть финикийскому, а не урартскому письму. Финикийским обозначением Тира было *Ṣūr* (букв. “Скала”), и, следовательно, производная лувийская основа прилагательного должна была быть /tsurawann(i)-/. Таким образом, она не имеет ничего общего с *su+ra/i-za-* (URBS), обозначением Урарту, засвидетельствованным в другой надписи Яр(и)ри. На самом деле, для лувийского правителя было бы странно гордиться знанием урартского письма, ведь оно было, по сути, идентично неоассирийскому письму, на знание которого он также претендовал. С учетом того, что ни один из доводов в пользу уравнивания фонетических значений <su>/<sú> и “<sù>”, предложенных Хокинсом, не является убедительным, для знака *448 должно быть принято новое слоговое значение <zú>.

1.8 Филогенетические соображения

Проведенный мною анализ диалектного варьирования внутри лувийского языка не подтверждает традиционное разделение лувийского на «клинописный» и «иероглифический» диалекты. Вместо этого я предлагаю трехчастное разделение на лувийский диалект Киццувадны, имперский лувийский (бронзовый век) и позднелувийский диалект. Языковые данные совместимы с предположением о том, что позднелувийский диалект железного века является прямым потомком имперского лувийского. И напротив, лувийский диалект Киццувадны и имперский лувийский должны пониматься скорее как родственные диалекты, каждый из которых обладает собственными архаизмами и инновациями. Эти наблюдения резюмированы ниже на Рисунке 2.

Самые прозрачные инновации имперского лувийского, перенесенные в позднелувийский диалект, заключаются в распространении окончания им. мн. общ. *-nzi* на вин. мн. общ. (1.3) и постепенном замещении глагола *āya-* ‘делать, выполнять; почитать; становиться, являться’ глаголом *izzi(ya)-* (1.6). К этому необходимо добавить постепенный фонологический переход *l* > *r*, поддержанный одним примером из хаттусской адаптации Ритуала Мастигги и большим числом примеров из текстов железного века. Вероятным архаизмом, следы которого могут быть также обнаружены в имперском лувийском, является сохранение окончаний генитива *-assa* и *-assi* (1.4) и имперфективного суффикса *-zza-* (1.6).

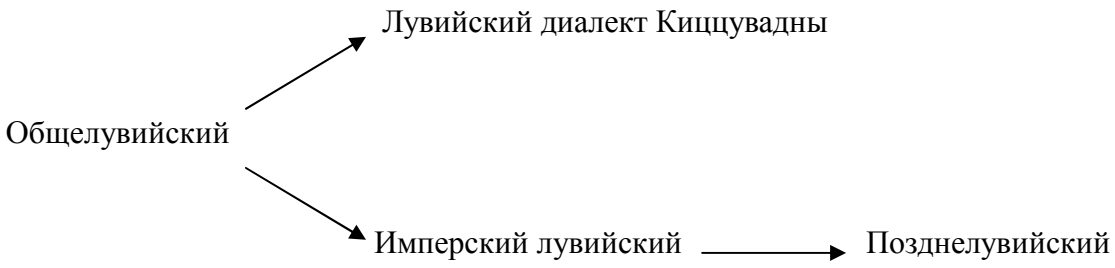
В каждом из шести случаев, рассмотренных выше, реконструкция морфосинтаксических особенностей имперского лувийского диалекта подкрепляется анализом клинописных текстов, найденных в Хаттусе. Только в случае *izzi(ya)-* она напрямую подтверждается материалом, представляемым иероглифическими надписями последних царей Хаттусы, в то время как в трех других случаях необходимо использовать материалы

позднелувийского языка для сравнительного анализа. Этим подчеркивается важность клинописных источников для понимания имперского лувийского; отсюда также следует необходимость отказаться от понятия «иероглифический лувийский» как от обозначения диалекта.

Устранение союза *pā=*, появляющегося в начальной позиции, и сентенциальной частицы *=tar* представляет собой «негативную» инновацию имперского лувийского (1.7). Обе инновации не могут быть отделены от аналогичных морфосинтаксических процессов, происходивших в хеттском языке, но в данном случае сложно установить причину и следствие. Эти синтаксические изменения могут быть показаны только через анализ лувийских иероглифических надписей, поскольку отсутствуют связные клинописные тексты, о которых можно было бы с уверенностью сказать, что они дают представление об имперском лувийском.

Единственной нетривиальной инновацией лувийского языка Киццувадны является образование особых посессивных прилагательных, маркирующих множественное число посессора (и, возможно, создание нового окончания род. мн.). Я предположил, что эта конструкция должна пониматься как калька с хурритского (1.5). «Негативной» инновацией диалекта Киццувадны является исчезновение генитивных форм в связи с распространением посессивных прилагательных (1.4), а также, вероятно, исчезновение исконного имперфективного маркера *-zza-* в конкуренции с синонимичным показателем *-ssa-* (1.6).

Рисунок 2. Диалектное членение лувийского языка



Некоторые лувийские клинописные тексты не содержат инновации лувийского диалекта Киццувадны. Среди удачных примеров можно отметить лувийские отрывки, включенные в старохеттские ритуалы, а также «Песни Истанувы». С чисто формальной точки зрения это не является диалектологическим аргументом, имеющим полную доказательную силу, поскольку мне неизвестны притяжательные прилагательные в соответствующих текстах, в которых ожидался бы суффикс множественности посессора. Это единственный грамматический контекст, в котором лувийский диалект Киццувадны демонстрирует «позитивную» инновацию. Однако в разделе 1.5 мы убедились, что данная инновация отсутствует в позднелувийском языке, поэтому можно спроецировать ее отсутствие и на имперский лувийский. Мое объяснение того, как произошла эта инновация, опиралось на предположение о языковом сдвиге от хурритского к лувийскому. Учитывая, что социолингвистические условия, которые могли бы стимулировать такой сдвиг, едва ли существовали в западной части Анатолии, отсутствие форм на *-assanza(-)* в «Песнях из Истанувы» не должно быть случайным. Отсюда следует, что лувийские клинописные тексты в целом не характеризуются общими инновациями, так что понятие «клинописного лувийского» также не соответствует никакому лингвистическому таксономическому компоненту.

Нет сомнения в том, что понятия «клинописный лувийский» и «иероглифический лувийский» будут по-прежнему использоваться по отношению к корпусам языковых материалов, записанных с помощью определенной графической системы. От таких обозначений нет никакого вреда, если они используются с пониманием того, что их статус соответствует, например, «алфавитному угаритскому». Учитывая, что клинописная и иероглифическая системы отображают лувийскую фонологию по-разному, иногда полезно для целей фонологической реконструкции делать обобщения в отношении группы текстов, записанных определенным письмом. С другой стороны, использование подобных концептов в

диалектологических рассуждениях является, по моему мнению, контрпродуктивным. Один и тот же человек, царь Тудхалия IV, вероятно, ответственен как за иероглифический текст YALBURT, так и за многочисленные лувизмы, вставленные в клинописное руководство CTH 123.

Альтернативная терминология, принятая в данном разделе, требует кратких социолингвистических замечаний. Филогенетическое древо, на котором имперский лувийский и лувийский диалект Киццувадны характеризуются как два основных ответвления от реконструируемого общелувийского языка, очевидно, представляет собой упрощение. Здесь хотелось бы отобразить ряд других лувийских диалектов, которые я не могу рассмотреть в отдельности с такой же детализацией, поскольку в письменных источниках они засвидетельствованы скудно или вовсе не засвидетельствованы (некоторые из них обсуждались вкратце в разделе 1.2). Кроме того, различия между отдельными лувийскими диалектами были явно не такими большими, чтобы мешать взаимному пониманию их носителей. Роль конвергенции в континууме взаимопонятных форм речи так же важна, как и роль дивергенции, что и является причиной того, что волновые диаграммы распространены больше, чем филогенетические деревья в диалектологических исследованиях. Соответственно, я вижу в имперском лувийском и лувийском диалекте Киццувадны не результат бифуркации, а, скорее, формы койне, образованные в соответствующих политических образованиях. Эта точка зрения находит подтверждение в том факте, что наиболее ранние лувийские тексты, связанные с исконной территорией царства Хаттусы (имеются в виду лувийские вкрапления в CTH 665 и CTH 752), еще не характеризуются какими-либо особенностями имперского лувийского.

Группа лувийских отрывков, которые едва ли отражают какую-либо форму койне, — это «Песни Истанувы» и «Песни Лаллупии». Поэтические тексты по природе противятся стандартизации, и диалектические особенности могут даже увеличивать их эстетическую ценность. С другой

стороны, нет гарантии того, что отдельные лувийские песни, исполнявшиеся в ритуалах Истанувы и Лаллупии, принадлежат к одному и тому же исконному диалекту. Именно поэтому опасно делать обобщения по поводу места этих фрагментов на карте лувийских диалектов, опираясь на изоглоссы, извлеченные из их отдельных строк. Однако данный корпус можно использовать как точку отсчета для доказательства или опровержения общелувийского статуса определенных грамматических особенностей[83].

Рассмотренные материалы содержат мало информации о социальной стратификации лувийского языка. Обсуждение, до какой степени писцы манипулировали грамматикой записываемых ими лувийских форм, должно быть отложено до лучших времен. Здесь достаточно сказать, что вне зависимости от того, приписать ли грамматические особенности доступных нам лувийских форм, отрывков и текстов их авторам или писцам, мы все равно будем иметь дело преимущественно с диалектами элит. Даже письма из Ассура являются лишь частичным исключением из этого правила. Хотя некоторые разговорные формы, используемые авторами, отклоняются от нормы современных им текстов, все же купцы, занятые международной торговлей, едва ли могут рассматриваться как простой народ.

Это соображение приобретает особую важность при рассмотрении исторических отношений между имперским лувийским и позднелувийским диалектами. Большинство иероглифических надписей железного века происходят из регионов, которые исторически принадлежали к княжеству Киццувадны или располагались к юго-востоку от него. Тем не менее с лингвистической точки зрения у них есть общие инновации с лувийским языком бронзового века, относящиеся к основной части империи Хаттусы, а не с лувийским языком бронзового века из Киццувадны. Для объяснения данной ситуации нет необходимости апеллировать к массовым миграциям

[83] Отсюда не следует, что отдельные лувийские поэтические строчки, вставленные в CTH 771–773, лишены каких-либо грамматических особенностей. См. раздел 3.2, где описываются нестандартные способы использования местоименных клитик в этом корпусе текстов; а также [Melchert 2003b: 174–175], где обсуждается морфологический архаизм в KUB 35.135.

населения, произошедшим вследствие разрушения империи Хаттусы (даже если этот фактор и сыграл определенную роль). Скорее, можно предположить, что лувийский диалект Хаттусы был приоритетным диалектом также и для хеттской провинциальной бюрократии.

Имеются независимые филологические основания считать, что большая часть хеттской администрации в столице в XIII в. до н. э. состояла из носителей лувийского языка (как мы это увидим в Главе 5). Когда эти люди получали должность губернатора, чиновника или писца в провинциальных лувоязычных центрах империи Хаттусы, местные подчиненные могли также рассматривать их как образец для подражания. Соответственно, диалектные особенности их речи могли получать позитивную оценку, и другие носители лувийского могли имитировать эти черты. Таким образом, социальные связи провинциальных элит, вероятно, создавали механизм для диффузии диалектных особенностей, связанных с имперским лувийским, еще до падения империи Хаттусы. Бегство хеттских элит после мирного оставления Хаттусы в начале XIII в. до н. э. могло затем ускорить эту тенденцию, особенно если оно сопровождалось их переселением в бывшие юго-восточные провинции империи.

Социолингвистическая дистрибуция синонимичных глаголов *ā(ya)-* и *izzi(ya)-* ‘делать, выполнять; почитать’ в позднелувийском языке, рассмотренная в разделе 1.6, свидетельствует о том, что аналогичный процесс по-прежнему имел место в период железного века. Правители небольших постхеттских государств следовали традициям империи Хаттусы, а некоторые из них были прямыми потомками ее царской династии. Естественнее всего предположить преемственность письменной традиции между двором Хаттусы и постхеттскими придворными администрациями, несмотря на явное прекращение письменной передачи хеттских текстов, которое, предположительно, было обусловлено вымиранием хеттского

языка[84]. Эти факторы помогают понять, почему языковые особенности, характеризующие имперский лувийский, начали получать распространение в официальном дискурсе новохеттских правителей. В противоположность этому, частные лица из Киццувадны или Нижней страны продолжали какое-то время использовать *ā-/āya-* ‘делать, выполнять’, как это они и делали в бронзовом веке. Однако появление формы *izzi(ya)-* в письмах из Ассура выдает постепенный рост влияния стандартного диалекта[85].

Наконец, необходимо упомянуть о языковой дистанции между постулируемыми койне Хаттусы и Киццувадны. Существование лишь малого числа релевантных морфосинтаксических изоглосс, определяющих каждый из диалектов, несовместимо с идеей их независимого развития на протяжении нескольких столетий. Но еще большее значение имеет контактно-стимулированная природа большинства морфосинтаксических инноваций, предполагаемых для имперского лувийского и лувийского диалекта Киццувадны. Лишь новое окончание вин. мн. общ. *-nzi* в имперском лувийском и исчезновение имперфективов на *-zza-* в диалекте Киццувадны являются диалектными инновациями, для которых невозможно объяснение через языковой контакт. Общеизвестно, что языковые изменения в двуязычной или многоязычной среде могут происходить быстрее, чем среди монолингв[86]. Таким образом, лувоязычная часть Центральной и Восточной

---

[84] Наиболее впечатляющее свидетельство преемственности иероглифической письменной традиции в Анатолии железного века — это архаичный стиль и графический инвентарь ряда позднелувийских надписей, таких как TOPADA и особенно KARKAMIŠ A 21. В частности, стоит отметить возрождение знака *376, используемого в значении <za> в дополнение к <zi>, которое явно вызывает в памяти писцовые практики бронзового века.

[85] Классическим исследованием «изменения сверху» является работа [Labov 1966], в которой рассматривается распространение произношения [r] на конце слога как престижной диалектной переменной в Нью-Йорке после Второй мировой войны. Престиж произношения, при котором [r] в данной позиции не звучит, в Нью-Йорке XIX в. обусловливался сходной чертой британского «обретенного произношения» и диалекта Новой Англии. Растущая независимость американской культуры от Великобритании, а также возрастающее влияние национальных СМИ в XX в. повысили престиж «стандартного американского» варианта. Можно предположить, что присоединение Киццувадны к империи Хаттусы таким же образом создало благоприятные условия для позитивной оценки диалектных особенностей, связанных с имперским лувийским.

[86] В данном случае я не делаю различия между ситуацией языкового сдвига, ведущей к несовершенному овладению вторым языком, и ситуацией поддержания языка в двуязычном окружении, которая ведет к несовершенному усвоению родного языка. Первый сценарий может предполагаться для Киццувадны, а второй сценарий, по моему мнению, был более вероятен для хаттусских носителей лувийского языка. Однако оба сценария могли стимулировать изменения в языке соответствующих регионов.

Анатолии представляется относительно гомогенной языковой средой в тот период, когда новые койне в ситуации многоязычия, которая была, по-видимому, характерна как для Хаттусы, так и для Киццувадны, еще не сформировались.

Глава 2. Лувийцы в Западной Анатолии?

2.1 Вводные замечания

По сравнению с присутствием лувийцев в Центральной Анатолии, которое подтверждается рядом источников, рассмотренных в предыдущей главе, существование лувийских языковых сообществ в западной части Малой Азии — существенно менее тривиальная гипотеза. Возможное лувийское проникновение не имело продолжительного влияния на историю этого региона. Ни один из позднелувийских текстов железного века не был найден *in situ* на эгейском побережье Малой Азии. После периода Темных веков здесь с середины I тыс. до н. э. стали появляться лидийские и карийские надписи. Таким образом, сторонникам западной прародины лувийцев, а также сторонникам лувийских миграций на запад приходится опираться почти исключительно на источники бронзового века. Тем не менее точка зрения, согласно которой определенные группы лувийцев присутствовали в Западной Анатолии, пользуется почти единодушной поддержкой среди исследователей, чьи позиции разнятся лишь в социолингвистической интерпретации данной гипотезы. Так, Брайс [Bryce 2003: 31] полагает, что “значительное число лувийских поселений в Западной Анатолии было, по-видимому, основано или восстановлено после разрушения самими лувийцами, например Апаса, предшественник классического Эфеса, Бейджесултан и, возможно, Троя VI”. С другой стороны, Хуттер [Hutter 2003: 265–270] отмечает наличие нелувийских элементов в западной части Малой Азии и возражает против спекуляций об этнической принадлежности троянцев. Скептицизм относительно культурной гомогенности западной Анатолии в бронзовом веке прослеживается также в ряде археологических публикаций [Mac Sweeney 2010: 8, см. там же библиографию].

В ряде недавних лингвистических работ можно отметить тревожную тенденцию, заключающуюся в применении априорного подхода к данной проблеме. Показательным здесь является смелое утверждение, сделанное в самом начале работы Бекеса [Beekes 2003a]: “Мнение, что западная часть Малой Азии была в значительной мере — если не полностью — лувийской, является общепринятым”. На следующей странице той же работы встречается аналогичное утверждение: “В целом ученые признают, что территория лидийцев (классического периода) была исконно лувоязычной”. Бекес один раз ссылается на Мелчерта [Melchert 2003a: 22] для подтверждения своего тезиса, хотя тон утверждения Мелчерта совершенно иной: “Косвенные свидетельства говорят в пользу того, что классическая Лидия была лувоязычной… хотя свидетельства в пользу возможного лувийского субстрата в лидийском остаются фрагментарными”. Другим примером той же тенденции является установка Хегеманна [Högemann 2003: 9], который мимоходом заявляет: “Троя, как мы можем сегодня сказать, принадлежала к области распространения лувийского языка”, после чего использует это необоснованное утверждение в качестве базиса для дальнейших заключений.

Социолингвистические причины для сложившейся ситуации многообразны. С одной стороны, лувийское языковое доминирование в Западной Анатолии было и остается аксиомой для тех, кто доказывает существование лувийского субстрата в древнегреческом языке. Хотя последняя гипотеза имеет сейчас сомнительную репутацию, все же ее основные допущения оставили устойчивый след в коллективной памяти научного сообщества. С другой стороны, некоторые индоевропеисты ищут лувийскую прародину в Западной Анатолии, поскольку это соответствует их представлениям о направлении индоевропейских миграций в Малую Азию. Еще одна группа исследователей, занимающаяся культурными контактами между Грецией и Анатолией во II тыс. до н. э., но не желающая связывать их с посредничеством отдаленных хеттов, обращается, за неимением лучшего, к

лувийцам как носителям родственного языка. Как следствие, филологические аргументы, говорящие в пользу лувийского присутствия в Эгейском бассейне в конце II тыс. до н. э., часто принимаются без критической оценки. Мне не известны исследования, в которых эти аргументы анализировались бы во всей их полноте.

Академический климат, описанный в предыдущем абзаце, оказал влияние на содержание данной главы. В дополнение к анализу положительных свидетельств, имеющих отношение к статусу лувийского языка в Западной Анатолии, данная глава включает в себя опровержение неубедительных аргументов, преувеличивающих степень лувийского присутствия в этом регионе. Для сохранения компактности и внутренней последовательности я ограничусь анализом публикаций, принадлежащих исследователям с надлежащей подготовкой в области анатолийских языков. Чтобы подчеркнуть то, что действительно известно о рассматриваемом регионе, я уделю больше, чем обычно, внимания обзору первичных исторических источников.

Прежде чем перейти к сути вопроса, требуется сделать краткие замечания, касающиеся методологии. Во-первых, когда рассматривается статус лувийского языка в Западной Анатолии, необходимо различать понятия социального/культурного доминирования и языкового доминирования. В контексте древних обществ языковой код, доминирующий на социальном или культурном уровне, часто выступал главным посредником для письменных текстов, тогда как один из способов определить код, доминирующий на языковом уровне, — это выявить модели интерференции, встречающиеся в тех же текстах. Предлагаемый в Главе 5 анализ ассиметричного билингвизма в империи Хаттусы служит примером этого подхода. Поскольку письменные материалы, исходящие (несомненно или с большой долей вероятности) из Западной Анатолии периода бронзового века, очень ограничены в количестве и объеме, анализ их субстратно-стимулированных особенностей может быть менее

плодотворным. Следовательно, эти источники более полезны для определения языка (языков), доминирующего в культуре данного региона, чем для анализа местных наречий.

Второе методологическое замечание касается различия между лувийским и лувическим, проведенного в работе [Melchert 2003b: 177, сноска 7]. Если проявить осторожность и не считать карийский язык диалектом лувийского, то предполагаемый диалектный предок карийского, на котором, вероятно, говорили в юго-западной части Малой Азии в позднем бронзовом веке, также не может называться лувийским. Отсюда, в свою очередь, следует, что, имея дело с изолированными лувическими формами, происходящими из западной части Малой Азии, нельзя априорно считать их лувийскими, поскольку они могут также оказаться пракарийскими, праликийскими или даже принадлежать к лувическому диалекту, который нигде более не засвидетельствован. Только последовательный анализ специфических инноваций, свойственных различным лувическим языкам, может представить положительные основания для более точной атрибуции соответствующих форм.

При отсутствии положительных аргументов принцип бритвы Оккама должен оставаться последним средством в оценке социо- и этнолингвистических сценариев. Это означает, например, что следует избегать постулирования таких контактов, которые подтверждаются лингвистическими, но не историческими свидетельствами, если при этом те же лингвистические данные могут быть соотнесены с альтернативными историческими фактами, что привело бы к реконструкции других сценариев контакта. В частности, лувийские заимствования в лидийском не должны связываться с доисторическими лувийскими миграциями, если их можно объяснить в контексте хеттского владычества над Западной Анатолией. Принцип бритвы Оккама должен также побуждать к минимизации маршрутов миграций. Так, пока не появились лингвистические и археологические свидетельства в пользу лидийских миграций, проще

принять, что носители лидийского языка жили в том же регионе и во II тыс. до н. э., и на тысячелетие позже. Поскольку часть княжества Арцава-Мира, относящегося к бронзовому веку и располагавшегося к югу от реки Меандр, обозначается как карийская в классический период, то гипотеза, согласно которому правящие лувические элиты Арцавы имели карийское происхождение, должна иметь приоритет перед идеей о том, что эти элиты были новоприбывшими из центральной части Анатолии.

Данная глава имеет следующую структуру. Раздел 2.2 посвящен политической истории княжества Арцава, являющегося, согласно современному хеттологическому дискурсу, основным претендентом на статус лувийского государственного образования в Западной Анатолии. Личные имена из Арцавы рассматриваются в разделе 2.3, где показана их совместимость с альтернативной гипотезой, в соответствии с которой родным языком аристократии Арцавы был язык, сходный с пракарийским, а часть населения говорила на пралидийском. Статус хеттского и лувийского как официальных языков Западной Анатолии в период хеттского владычества рассматривается в разделе 2.4. Раздел 2.5 посвящен критике неубедительных исторических и филологических аргументов в пользу лувийского языкового доминирования в Арцаве, в то время как в разделе 2.6 представлена аналогичная критика, касающаяся княжества Вилусы/Илиона. В разделе 2.7 обсуждается спорная проблема «троянских ликийцев» и предлагается ее предварительное решение, не требующее отождествления гомеровских ликийцев с лувийцами из клинописных источников. В разделе 2.8 поставлена задача определить природу и вероятные географические точки контактов между лувийским и греческим языками. В заключительном разделе 2.9 представлена реконструкция этно- и социолингвистической ситуации в Западной Анатолии, сформированная на основе проведенного анализа.

2.2 История Арцавы с птичьего полета

Хеттские источники обозначают центральную часть Западной Анатолии как регион Арцава (в ранних источниках также засвидетельствован вариант *Arzawiya-*)[87]. Локализация этой территории именно в Западной Анатолии, являющаяся общепринятой со времен [Garstang, Gurney 1959], подтверждается рядом идентификаций между топонимами, расположенными в этом регионе или поблизости, засвидетельствованными, с одной стороны, в хеттской, а с другой — в классической передаче. Так, Апаса, являвшаяся столицей Арцавы в XIV в. до н. э., по-видимому, соответствует классическому Эфесу, в то время как соседний город Миллаванда (Милавата) идентифицируется с Милетом [Eeaston et al. 2002: 97–98; Niemeier 2008: 307–309]. Расшифровка наскальной надписи KARABEL, которая найдена в Западной Анатолии и в которой упомянуто княжество Мира, занимавшее, как было показано, примерно ту же территорию, что и более раннее княжество Арцава, представила надежное подтверждение западного расположения Арцавы [Hawkins 1998]. Территория, располагавшаяся на другой стороне моря от Арцавы, известна как царство Аххиява. В дальнейшем я принимаю ее отождествление с микенской цивилизацией, которое детально аргументируется в работе [Hawkins 1998: 30–31][88]. Подобная идентификация Аххиявы, впрочем, достаточно единодушно принимается российскими учеными как минимум со времени выхода статьи [Гиндин 1991]. Подробную

---

[87] Свежий обзор политической истории Арцавы дан в работе [Bryce 2003: 44–73], хотя более подробный анализ может быть найден у [Heinhold-Krahmer 1977]. К сожалению, С. Хайнхольд-Крамер писала свою монографию во времена, когда еще отсутствовал консенсус по поводу процедуры палеографической датировки хеттских текстов. В результате этого некоторые ее предположения, касающиеся хронологии, сейчас уже не актуальны. Более общее описание истории Западной Анатолии в период бронзового века может быть найдено в работе [Niemeier 2008: 310–327].

[88] Существенно, что сравнение с греч. Ἀχαιοί ‘ахейцы’ предполагает, что Аххиява должна была восприниматься как этническое, а не только географическое обозначение и, как следствие, проецироваться на различные регионы с преобладанием греческого населения. Примером подобной проекции является анатолийский топоним Хиява — подверженная аферезе форма Аххиявы, которая будет рассмотрена в разделе 2.8. Вопреки Хайналю [Hajnal 2003: 40–42], можно сказать, что этот топоним ровно настолько же не мешает нам ассоциировать Аххияву с микенской Грецией, насколько топоним Новая Англия не мешает дислоцировать Англию в Европе. О том, до какой степени значимость Малой Азии для греков периода бронзового века отражена в микенских текстах, см. [Nikoloudis 2008].

информацию о моих личных взглядах на «проблему Аххиявы» можно найти в работе [Yakubovich 2013b].

Арцава несколько раз упоминается в хеттских текстах времен Древнего царства в качестве цели военных походов Хаттусы. Согласно анналам Хаттусили I (CTH 4), грабительский поход на Арцаву, предпринятый этим царем, произошел незадолго до хурритского вторжения и восстаний в центре его царства [de Martino 2003: 36–38]. Разнообразные описания похода на Арцаву того же царя или его сына Мурсили I (CTH 13) слишком фрагментарны, чтобы составить полное представление о деталях, но очевидно, что война с хурритами положила конец и этому предприятию [de Martino 2003: 138–140].

Эпизод из так называемых Дворцовых хроник (CTH 9) касается наказания некоего Нунну из города Хурма, который присвоил золото и серебро, якобы найденное им в Арцаве [Dardano 1997: 32–35]. Брайс [Bryce 2003: 47] и ряд других исследователей интерпретирует этот эпизод как указывающий на сбор дани, что предполагает вассальный статус Арцавы (или ее части) по отношению к Древнему царству. Однако в равной мере возможно, что Нунну был предводителем еще одного военного похода. Также возможно промежуточное решение: то, что цари Хаттусы представляли себе как сбор дани, могло видеться жителям Арцавы чистым грабежом. Каково бы ни было решение этой частной проблемы, исследователи согласны в том, что Хаттусе не удалось установить стабильный контроль над западной частью Анатолии в период Древнего царства. Тем не менее доступные источники не упоминают местных предводителей, которые были бы способны возглавить эффективное сопротивление против агрессии с востока. По всей видимости, термин Арцава использовался в этот период скорее как широкое географическое обозначение, чем как название государственного образования.

Арцава впервые появляется на исторической сцене в качестве объединенного государства в XV в. до н. э. Фрагментарные *res gestae*

Арнуванды I (CTH 143) описывают поход на Арцаву, предпринятый этим царем вместе с тестем и соправителем Тудхалией I[89]. Эта экспедиция привела к свержению Купантакрунтии, “человека Арцавы”, которому, однако, удалось уйти с поля боя живым [Carruba 1977: 166–168][90]. Хотя Арнуванда в своих анналах не называет врага из Арцавы князем, причины этого, вероятно, имели пропагандистский характер.

Сочинение, приписываемое Арнуванде I и известное как «Обвинение Маддуватты» (CTH 147), может описывать более ранний эпизод, касающийся того же врага и “отца Моего Солнца” Тудхалии I. В этом документе упоминается нападение, совершенное без приказа из Хаттусы ненадежным вассалом Маддуваттой на Купантакрунтию, “человека Арцавы”[91]. В битве Маддуватта потерпел серьезное поражение, и ему пришлось бежать сломя голову, в то время как Купантакрунтия завладел его дворцом и имуществом. Только вмешательство Тудхалии I, пославшего своего военачальника Писени против “человека Арцавы”, восстановило статус кво [Beckman 1999: 156]. В более поздний период Маддуватта поддержал Купантакрунтию и даже предложил ему жениться на своей дочери, сообщив Арнуванде I, что эта брачная авантюра представляла собой уловку, чтобы выманить Купантакрунию за пределы его страны и убить его [Beckman 1999: 157].

---

[89] В этой работе будут последовательно использоваться имена Тудхалия I и Тудхалия II в отношении царей, которые иногда скептически обозначаются как Тудхалия I/II и Тудхалия II/III. Хотя возможно, что Тудхалия, известный как главный виночерпий Цуццу, князя Канеша, является далеким предком царей Хаттусы, отсутствуют свидетельства того, что он действительно где-либо правил, так что присвоение ему порядкового номера было бы неточностью (ср. обсуждение в разделе 4.3). Я следую аргументации Миллера [Miller 2004: 7–9], который склоняется в пользу вероятного короткого правления Тудхалии TUR (или III), сына Тудхалии II и брата Суппилулиумы I. Это позволяет сохранить традиционное наименование Тудхалия IV для правителя империи Хаттусы, жившего в XIII в. до н. э.

[90] В текстах отсутствует подтверждение тезиса Брайса [Bryce 2003: 62] о том, что Купантакрунтия был захвачен в плен, но в дальнейшем отпущен. Поход Тудхалии I против Арцавы также упомянут в его анналах [Carruba 1977: 156–158], но соответствующий контекст, к сожалению, плохо сохранился.

[91] Этот персонаж также часто упоминается в хеттологической литературе как Купанта-Курунта. Стоит отметить, однако, что формой основы его имени является *Kupanta-*^{d}LAMMA-*ya* [Goetze 1927: 172]. О том, что Крунтия является возможным хеттским чтением шумерограммы ^{d}LAMMA, см. [Hawkins 2005b: 290]. Следует сказать, что аккадографическое написание первого слога имени Крунтия как *ku-ru-* является не более чем графической конвенцией, соответствующей фонологическим /kr-/ или /k^{w}r-/. Рунтия — вариант того же теонима, зафиксированный в железном веке, — проще всего объяснить упрощением консонантного кластера. Имя арцавского принца, которое ранее в литературе передавалось как Пияма-Курунта, также приводится в данной работе как Пиямакрунтия.

Новый царь Хаттусы, по-видимому, поддержал этот план[92]. Из двух дополняющих друг друга описаний ясно, что Купантакрунтия установил контроль над значительной частью Западной Анатолии и мог представлять серьезную угрозу для западных границ царства Хаттусы.

Оборотная сторона таблички с «Обвинением Маддуватты», где продолжают перечисляться его проступки, содержит следующее лаконичное утверждение: “Маддуватта нарушил (свою) клятву, данную отцу Моего Величества, и присвоил себе целую страну Арцаву” [Goetze 1927: 24; Beckman 1999: 158]. Следует ли отсюда заключить, что Маддуватта устранил Купантакрунтию и объявил себя новым правителем Арцавы? Или переход власти был осуществлен мирным путем? Какими бы ни были ответы на эти вопросы, Маддуватта завершил собирание земель, которые, вероятно, превысили владения Купантакрунтии. Некоторое время он играл двойную игру с Хаттусой, заверяя Арнуванду I в своей преданности, но при этом продолжал расширять размеры своего владения, иногда за счет других вассалов Хаттусы. Из окончания сохранившейся части CTH 147 мы узнаем, что сфера его интересов, в конечном счете, стала включать Аласию, идентифицируемую с Кипром [Bryce 2005: 135–136].

Реконструкция дальнейших событий зависит от того, как понимать жанр «Обвинения Маддуватты», от которого сохранилась только первая табличка. Маловероятно, что официальное лицо из Хаттусы постаралось каталогизировать предательские действия вассала только как справочное руководство для его будущего морального совершенствования. По моему мнению, подготовка этого документа сигнализировала о явной размолвке между Хаттусой и Маддуваттой. Из описания, сделанного Мурсили II и касавшегося более поздней кампании против Уххацити, правителя Арцавы, известно, что объявление войны этой стране сопровождалось отправкой письма, перечисляющего проступки Уххацити [Goetze 1933b: 46]. Возможно, текст CTH 147 служил для тех же целей.

---

[92] Брайс [Bryce 2003: 52] ошибочно приписывает это Тудхалии I.

К сожалению, неизвестно, имел ли предполагаемый поход Хаттусы против Маддуватты какой-либо успех. То, что в более поздних хеттских документах не упоминается имя Маддуватты, как и то, что текст CTH 147 явно не был скопирован в имперский период, может свидетельствовать об отсутствии у царей Хаттусы причин хвастаться этим конфликтом. С другой стороны, позже в этом разделе будет показано, что имя Купантакрунтии вновь появляется в связи с Западной Анатолией во время правления Тудхалии II. Прямых доказательств того, что это имя принадлежало тому же князю Арцавы, который обсуждался выше, или даже его родственнику, — нет. Но если это так, то потомки Маддуватты, должно быть, не смогли удержать трон в этом западноанатолийском княжестве[93].

Мощь Арцавы достигла наивысшей точки в начале XIV в. до н. э. В это время египетский фараон Аменхотеп III вступил в контакт с Тархунтараду, правителем Арцавы, и просил руку его дочери. Эта просьба оказалась сюрпризом для Тархунтараду, и он потребовал ее письменного подтверждения. Письмо и ответ на него со стороны египетского фараона сохранились в архивах Амарны (CTH 151 и CTH 152). Основным изданием обоих документов остается [Rost 1956], а их последний комментированный перевод можно найти в работе [Hawkins 2009]. В частности, проблемы связаны с клаузой *nu haddusass=a* KUR-*e igait* (букв. ‘также/даже страна Хаттусы заморожена’). Штарке [Starke 1981] видел в этом метафорическое описание мирной ситуации в Хаттусе, в то время как многие другие исследователи интерпретировали данный пассаж противоположным образом (ср., напр., [Bryce 2003: 56, там же библиография]: ‘страна Хаттусы парализована’).

[93] Теоретически также возможна альтернативная интерпретация текста CTH 147. Т. Брайс делает следующие замечания в своем электронном письме, отправленном мне в июле 2007 г.: “Представляется, что «Обвинение» подготовлено, чтобы переманить Маддуватту указанием на те выгоды, которые он в прошлом извлек благодаря поддержке со стороны хеттов, а также указанием на крайнюю сдержанность Арнуванды и его «отца» Тудхалии, продемонстрированную ими в ответ на серьезные провокации. Подход такого типа предвосхищает ряд вассальных договоров. Это стандартный прием хеттской дипломатии”. Стоит отметить, однако, что колофон к CTH 147 не называет этот текст договором, но просто определяет его как “первую табличку, посвященную проступкам Маддуватты” [Beckman 1999: 160].

Если верна вторая интерпретация, то это, вероятно, является косвенным свидетельством многократных нападений на страну Хаттусы, которые имели место в период правления Тудхалии II и привели (ко всему прочему) к разрушению столицы. Неудачи, обрушившиеся на Хаттусу в этот период, были суммированы более ста лет спустя в декрете Хаттусили III (CTH 88), обстоятельно приведенном в работе [Bryce 2005: 146]. Если следовать этому относительно позднему источнику, то “арцавский враг” принял участие в грабеже земель Хаттусы, и “сделал Тувануву и Уду своими границами”. Учитывая, что Туванува идентифицируется с классической Тианой [del Monte, Tischler 1978: 447], следовательно, она была расположена в восточной части Нижней страны, и представляется, что расширение Арцавы распространялось на всю западную часть Центральной Анатолии.

Тудхалия II и его сын Суппилулиума I постепенно вернули потерянные территории. Тем не менее Арцава оставалась грозным противником всю первую половину XIV в. В *res gestae* Суппилулиумы I (CTH 40) упоминается разгром армии Хаттусы под предводительством Химуили, осуществленный неким Анцапаххаддой, принцем или военачальником Арцавы [Güterbock 1956b: 80]. Очевидной причиной этого конфликта явилось другое нападение арцавских групп, которое привело к массовой депортации подданных Хаттусы на запад. Войско Хаттусы, в свою очередь, использовало Нижнюю страну как опорный пункт для собственных успешных рейдов на запад Анатолии (ср. [Houwink ten Cate 1966]), но тогда окончательной победы над западным врагом добиться еще не удалось.

Кампания Хаттусы против Арцавы, в ходе которой регион был подчинен, имела место в 3-й и 4-й годы правления Мурсили II. Кампания описана в анналах этого царя (CTH 61). Отказ Уххацити, правителя Арцавы, выдать беглецов из Хаттусы вызвал вторжение в Западную Анатолию, которое Мурсили II возглавил лично. Больному Уххацити пришлось бежать из Арцавы, вскоре после чего он скончался, а Мурсили II организовал на завоеванной территории вассальное княжество Мира (ср. [Goetze 1933b:

72])[94]. В том же походе Мурсили II упрочил вассальный статус страны реки Сеха, другого прибрежного княжества в Западной Анатолии [Goete 1933b: 66–72]. Княжество Хапалла, не выходившее к эгейскому побережью, также приобрело вассальный статус.

Для дальнейшей дискуссии существенно, что конец независимости Западной Анатолии не сопровождался значительными династическими переменами в данном регионе. Анналы Мурсили II дают информацию о том, что прошлому князю Манаба-Тархунта было позволено сохранить трон страны реки Сеха, но лишь после того, как он раскаялся в своих прошлых проступках и убедил царя Хаттусы в своей будущей преданности[95]. Более того, из договора Алаксанду (CTH 76) известно, что Масхуилува, которого Мурсили II поставил во главе Миры, имел кровную связь с княжеской династией Арцавы [Beckman 1999: 90]. Также известно, что Масхуилува прибыл в Хаттусу в качестве беженца, имевшего важное значение, — раз уж ему было предложено жениться на дочери Суппилулиумы I [Goetze 1933b: 72]. Вне зависимости от того, был ли Масхуилува братом Уххацити, как это предположил Штарке [Starke 1997a], или его более дальним родственником, все же ясно, что его сделали князем в попытке умиротворить местное население.

Тем не менее княжество Арцава перестало существовать под таким именем, поскольку правители Хаттусы, вероятно, видели в нем стимулятор националистических чувств. Впредь это имя вновь стало лишь географическим. Упоминание земель Арцавы (KUR.KUR.MEŠ ^{URU}*ARZAWA*) в начале XIII в. до н. э. в договоре Алаксанду (CTH 76), по-видимому, иллюстрирует новую функцию данного топонима. В договоре упоминаются “четыре князя земель Арцавы”, из чьих имен следует, что они правили в

[94] Анналы Мурсили II называют Масхуилуву “князем Миры” еще в период до падения Уххацити [Goetze 1933b: 38]. Если это не анахронизм, то можно предположить, что Масхуилуву изначально поставили правителем небольшого пограничного княжества, границы которого были затем расширены с включением центральной части княжества Арцава.

[95] Встречающийся *hapax legomenon* ^{m}*Ma-an-pa-* ^{d}LAMMA [Laroche 1966, #742] является, вероятно, ошибкой писца вместо ^{m}*Ma-na-pa-*^{d}U, как предполагает [Bryce 2003: 36, сноска 12].

Мире-Кувалии, стране реки Сеха, Хапалле и Вилусе [Beckman 1999: 90; ср. Bryce 2003: 35–36]. Это соответствует всем западноанатолийским территориям, которые контролировались хеттами на момент заключения договора.

Политическая история Миры и страны реки Сеха в лоне империи Хаттусы была отмечена несколькими восстаниями против имперского господства. Хотя нет прямых данных о происхождении отдельных повстанцев, таких как *Piyamaradu*, E.GAL.PAP и ^{d}U-*naradu*, естественнее всего предположить, что они принадлежат к княжеским семьям Арцавы и страны реки Сеха. Подобно тому как Хаттуса использовала притязание Масхуилувы на трон Арцавы для продвижения собственного владычества в регионе, так и правители Аххиявы, соперничавшие с Хаттусой за контроль над Западной Анатолией, могли опираться на амбиции местных князей для достижения собственных целей. Известно, что после того, как Мурсили II завоевал Арцаву, по крайней мере один из сыновей Уххацити попытался найти прибежище в Аххияве [Goetze 1933b: 66, 221][96]. Штарке [Starke 1997a: 453], следуя работе [Mellaart 1986], предположил, что Пиямараду, являвшийся наиболее известным западноанатолийским повстанцем и открыто использовавший территорию Аххиявы как опорный пункт для своих операций, был сыном Пиямакрунтии и, следовательно, претендентом на престол Арцавы. На самом деле маловероятно, что микенцы рискнули бы пойти на полноценный конфликт с Хаттусой, поддержав Пиямараду, если бы они не верили в легитимность его притязаний или, по крайней мере, в его дееспособность в Западной Анатолии. Текст, известный как «Провинности страны реки Сеха» (CTH 211.4), по-видимому, упоминает надежды другого повстанца, ^{d}U-*naradu*, на получение поддержки из Аххиявы [Güterbock 1992: 240–241; Bryce 2005: 304].

[96] Согласно реконструкции Гетце, царь Аххиявы со временем передал Пиямакрунтию хеттам, но соответствующий контекст является отрывочным, и по нему сложно делать определенные заключения. Даже если это действительно произошло, нет оснований считать, что Пиямакрунтия был выдан вместе со всеми членами своей семьи.

Несмотря на все восстания, Мира и страна реки Сеха продолжали управляться теми же династиями вплоть до конца XIII в. до н. э. Недавно расшифрованная надпись KARABEL содержит упоминание трех поколений правителей Миры XIII в. до н. э. [Hawkins 1998]. Вышеупомянутый текст CTH 211.4, который, вероятно, должен быть приписан Тудхалии IV, заканчивается восстановлением династии *Muwa*-UR.MAH в стране реки Сеха.

Письменная история обоих регионов подходит к концу примерно В то же время когда и письменная история империи Хаттусы. Арцава, которая здесь должна пониматься как географическая, а не как политическая сущность, появляется рядом с Хаттусой в надписи Рамзеса III, в списке земель, разоренных народами моря [Bryce 2005: 333]. Имеется, однако, один документ, который, похоже, свидетельствует о том, что одно из западноанатолийских государств добилось примерного равноправия с Хаттусой в последние годы ее существования. Фрагментарное письмо KBo 18.18 (CTH 186.4), написанное царем Хаттусы и адресованное некоему Пархуитте, чьи звания утеряны в лакуне, касается положения дел в Вилусе/Трое[97]. Пространная приветственная формула из этого письма принадлежит к тому типу, который был принят в корреспонденции между правителями равного ранга. Согласно Штайнеру [Steiner 1998: 173], лувоидное имя Пархуитта, принадлежащее адресату этого письма, почти точно препятствует его идентификации с царем Аххиявы, но неясно, какой другой член клуба «великих правителей» мог обладать серьезной заинтересованностью в западноанатолийских делах. Таким образом, представляется разумным последовать Хокинсу [Hawkins 1998: 20–21] и предположить, что один из западноанатолийских правителей, вероятно правитель Миры, начал рассматриваться последним правителем (правителями) ослабленной империи Хаттусы как равный по статусу.

---

[97] Имя ^{m}*Pár-hu-it-ta* может быть также прочитано как ^{m}*Maš-hu-it-ta*, но первое чтение является более правдоподобным, поскольку *pa+ra/i-hwa/i-ra/i-sa*$_8$ (PORSUK §8), по-видимому, представляет собой поздний вариант того же имени.

2.3 Арцава как полиэтничное общество

В дальнейшем следует рассмотреть корпус личных имен, появляющихся в хеттских клинописных источниках и связанных с княжеством Арцавы, а также его преемником, вассальным княжеством Мира, и страной реки Сеха. Включение последнего политического образования обосновано его вероятным расположением на западном берегу Малой Азии, в районе княжества Мира. Поскольку расположение Хапаллы остается неизвестным, и она в любом случае располагалась дальше на восток, можно пренебречь в анализе немногочисленными династическими именами, связанными с этим княжеством. Личные имена, относящиеся к Вилусе, чей этнолингвистический состав, возможно, был совсем иным, будут рассматриваться в разделе 2.6[98].

Таблица 5: Просопография Арцавы

Имя	Положение	Типичное упоминание
Alantalli (1)	Военачальник Арцавы	KUB 14.4 i 8, KUB 14.6 8
Alantalli (2)	Князь Миры	Bo 86/299 iv 36
Anzapahhaddu	Военачальник Арцавы	KUB 14.4 i 7, 25
Alli	Заклинательница из Арцавы	KUB 30.65 ii 9
Adda(y)a (^{m}Ad-da-a)	Заклинатель из Арцавы	Bo 3483, Otten 1973b: 82
É.GAL.PAP	Западноанатолийский повстанец	KBo 4.7 iii 6–8

[98] Включение некоторых имен в представленную ниже таблицу основано на исторической интерпретации. В частности, я считаю (см. предыдущий раздел), что упомянутые в связи с Мирой и страной реки Сеха повстанцы не были иностранцами, а, скорее, принадлежали к правящим кланам соответствующих княжеств. Кроме того, я принимаю западноанатолийское происхождение имен Мапили и Цувахалати, которые были назначены ответственными за выполнение очистительных ритуалов для Масхуилувы, князя Миры. Напротив, я не включаю в этот список Маддуватту, поскольку княжество, в котором он родился, могло располагаться и на южном берегу Малой Азии.

Kupanta-^{d}LAMMA (1)	Князь Арцавы	KUB 14.1 i 45-46
Kupanta-^{d}LAMMA (2)	Князь Миры	KBo 4.3 i 12–15
Maddunani	Заклинатель из Арцавы	KUB 7.54 i 1
Mapili	Заклинательница из Арцавы	KUB 5.6 iii 22
Mashuiluwa	Князь Миры	KBo 3.4 iii 23
Manapa-^{d}U	Князь страны реки Сеха	KBo 3.4 iii 21
Masturi	Князь страны реки Сеха	KUB 23.1 ii 16
Muwa-UR.MAH	Отец князя страны реки Сеха	KUB 14.15 iv 19
NÍG.GA.GUŠKIN	Заклинательница из Арцавы	KBo 31.6 iii 14
Paskuwatti	Заклинательница из Арцавы	KUB 9.27 i 1
Piyama-^{d}LAMMA	Сын князя Арцавы	KBo 3.4 ii 21–23
Piyamaradu	Западноанатолийский повстанец	KUB14.3 i 51 et passim
Pipiriya	Посол князя Миры	KUB 23.87 16
Tapalazunauli	Сын князя Арцавы	KBo 3.4 ii 54, 67, 71
Targasnawa	Князь Миры	Hawkins, Morpurgo-Davies 1998
Tarhundaradu	Князь Арцавы	VBoT 1 i 2
^{d}U-naradu	Западноанатолийский повстанец	KUB 23.12 8
[^{d}I]M-tapaddu	Заклинатель из Арцавы	516/z, Otten 1973b: 82
Uhha-LÚ	Князь Арцавы	KBo 3.4 ii 19
Uhhamuwa	Заклинатель из Арцавы	HT 1 ii 17
Ura-^{d}U	Брат князя страны реки Сеха	KUB 19.49 i 2–4
Zapalli	Военачальник Арцавы	KUB 14.4 i 9, KUB 14.6 8
Zuwahallati	Заклинательница из Арцавы	KUB 5.6 iii 22

Модели имянаречения в Анатолии периода бронзового века никогда не были объектом отдельного исследования, что, вероятно, связано с ограниченностью доступного материала. Однако данная задача получила актуальность после предварительной публикации письма, обнаруженного в архивах Ортакея [Süel 2001]. Письмо, исходящее от некоего вассала Уххамувы и адресованное царю Хаттусы, содержит секретный отчет о съезде правителей в городе Хаппурия. Упомянуты следующие имена: Купантакрунтия, Тархуннараду, трое сыновей Купантакрунтии, обозначенные как Мастури, Пиямараду и Купантацалма, а также некие Уххаварану и Хуллияцалману. Приведенные в письме топонимы не оставляют сомнений в том, что описанные события происходили в Западной Анатолии [Süel 2001: 672].

Легко увидеть, что большинство имен, встречающихся в документе, сходны (полностью или частично) с приведенными в Таблице 5. Однако это сходство чаще всего не способствует просопографическим идентификациям. Большинство текстов, найденных в Ортакее, были написаны в царствование Тудхалии II [Süel 1998]. По моему мнению, это автоматически исключает возможность идентификации Пиямарады и Мастури с историческими фигурами, которые действовали в XIII в. до н. э.[99]. Случаи Купантакрунтии и Тархуннараду менее тривиальны. Теоретически можно представить, что правление Купантакрунтии I, правителя Арцавы, было столь долгим, что покрыло правление как Тудхалии I, так и Тудхалии II. Это предполагало бы, что завоевание Маддуваттой Арцавы либо произошло лишь в воображении правителей Хаттусы, либо являлось кратким историческим эпизодом. С другой стороны, документ из Ортакея не содержит каких-либо указаний на положение Купантакрунтии, при этом единственным правителем Арцавы, о котором известно, что он был современником Тудхалии II, является

[99] Представленная в работе [Süel 2001] попытка отождествить Пиямараду, упомянутого в письме из архивов Ортакея, с западноанатолийским повстанцем, действовавшим в начале XIII в. до н. э., представляется абсолютно *ad hoc*. Язык «Письма о Тавагалаве» (CTH 181), наиболее важного документа, где упоминается Пиямараду, очевидно, является новохеттским. О его исторической датировке см. [Bryce 2003: 76–77, сноска 57, см. там же библиографию].

Тархунтараду. Может ли написание *Tarhunnaradu*, встречающееся в этом документе, представлять собой хеттскую адаптацию княжеского имени? Так или иначе, следует, по-видимому, признать, что Тархуннараду не был одним из сыновей Купантакрунтии, поскольку сыновья упомянуты в том же письме отдельно[100].

Таким образом, невозможно сказать, содержит ли опубликованное письмо из Ортакея упоминание одного или двух правителей Арцавы. Возможно, ни одно из этих имен не принадлежит князю. Учитывая степень нашей нынешней информированности, нельзя даже утверждать, что какое-либо из упомянутых имен принадлежит члену княжеской семьи Арцавы и что именно по этой причине данные имена не представлены в Таблице 5. Остается лишь надеяться, что систематическая публикация текстов из Ортакея постепенно внесет дополнительную ясность в эту проблему. Однако имеются достаточные основания считать, что рассматриваемые сейчас имена отражают западноанатолийскую культурную среду.

Как имена из Таблицы 5, так и имена, упомянутые в документе из Ортакея, не оставляют сомнений в том, что правящие элиты Арцавы принадлежали к анатолийскому культурному окружению. Элементы вроде *atta-* ‘отец’, *muwa-* ‘сила’, *piya-* ‘давать’, *tapala-* ‘?’, *targasna-* ‘осел’, *ura-* ‘великий’ хорошо засвидетельствованы в хаттусской ономастике, и все из них (за исключением первого, синхронно хеттского) являются лувическими[101]. Варианты *Tarhunda-* и ^{d}U-*na-* отражают *Tarhunt(a)-* и *Tarhun(n)a-*, соответственно лувийские и хеттские имена для бога грома. Дополнение ^{d}LAMMA-*ya*, иногда встречающееся в форме основы «первого» Купанты ^{d}LAMMA, свидетельствует о том, что эта шумерограмма обозначает

[100] Хокинс указывает на конференционное сообщение Сюель, согласно которому дополнительные документы из Ортакея говорят в пользу просопографической идентичности Тархуннарады и Тархунтарады [Hawkins 2013b: 15].

[101] Даже в первом случае имеется возможность того, что основа **atta-* ‘отец’ существовала в пралувическом и могла использоваться как базис для личных имен, в то время как лув. *tad(i)-* является лексической инновацией. С другой стороны, это имя могло относиться к пралидийскому субстрату, чье существование отстаивается ниже на независимых основаниях. Хотя засвидетельствованное лидийское существительное общего рода для слова ‘отец’ — это *taada-*, лидийские имена, зафиксированные в греческой передаче и содержащие элемент **atta-*, весьма многочисленны [Zgusta 1964, §119]. Наиболее показательным примером его сохранности в Западной Анатолии является эллинистическая династия Атталидов из Пергама.

лувийского бога-защитника Крунтию, как это показано выше. Написание É.GAL.PAP-*ma* в KUB 6.41 iii 48 подтверждает идентификацию между шумерограммой PAP и лув. *zalma-* ‘щит, защита’ [Melchert 1988b: 241–243]. Ряд суффиксальных элементов, такие как *-alli* и *-ili*, также находят явные параллели в лувийском [Melchert 2003b: 195]. Частотность лувических элементов в ономастике из Арцавы была отмечена уже в работе [Laroche 1959: 10], и это заключение в полной мере прошло проверку временем.

Многие исследователи, включая автора данной работы, интерпретировали анализ Лароша как несомненное свидетельство **лувийского** присутствия в княжестве Арцавы (ср. [Yakubovich 2008a: 130]). Однако априори неясно, являются ли рассмотренные выше лувические языковые элементы лувийскими в узком смысле или они отражают западноанатолийский язык, например пракарийский. Можно скептически отметить, что вопрос в целом является проблематичным, поскольку нет достаточной информации о карийском языке, чтобы утверждать, что он отделился от лувийского уже в ранний период. Тем не менее ниже я попытаюсь показать, что одна или две морфемы, содержащиеся в ономастическом материале из Арцавы, могут демонстрировать специфические изоглоссы с карийским, а не лувийским. Ларош, не доживший до окончательной расшифровки карийского языка, конечно, не был способен рассмотреть эту проблему. Но сейчас, когда известно, что карийский является лувическим языком, на котором говорили на территории, включавшей южную часть исторического княжества Арцава, бремя доказательства лежит уже на тех, кто отстаивает идею о вторичном проникновении лувийских имен в Западную Анатолию, вместо того чтобы принять преемственность более ранней лувической традиции.

Но прежде чем приступить к сравнительно-историческому анализу, мне кажется уместным сконцентрироваться на различиях между личными именами, которые были популярны среди правящих элит Хаттусы и Арцавы. Можно задать напрашивающийся вопрос, отражают ли они особенности

местного диалекта (диалектов) — или только местную моду. В ряде случаев первая гипотеза выглядит более предпочтительной. Так, согласно моей гипотезе, принятой в [Melchert 2013b], элемент *uhha-*, представленный в именах *Uhha*-LÚ и *Uhha-muwa*, по-видимому, является вариантом *huhha-* ‘дед’ с потерей начального «ларингала». Арцавское княжеское имя *Uhha*-LÚ, которое, вероятно, отражает *Uhha-ziti*, может быть сопоставлено с прозрачным именем *Huhha-ziti*, зафиксированным в среднехеттском документе по передаче земельного участка KBo 5.7 [Laroche 1966: §385][102]. Хотя вариант **Huhha-muwa* не засвидетельствован напрямую, *Uhha-muwa* может быть рассмотрено как имя с благоприятной семантикой ‘имеющий силу деда’. Оно относилось к исполнителю ритуала из Арцавы, а также к автору письма из Ортакея. Из контекста письма с высокой долей вероятности следует, что этим лицом был правитель вассального княжества, расположенного на западной периферии княжества Хаттусы. Третий известный нам Уххамува — это прорицатель XIII в., упомянутый в обращениях к оракулу. Происхождение этого человека остается неясным, но важность прорицательства в западноанатолийской религии совместима с гипотезой о его происхождении из Арцавы или окрестных регионов. Хотя второй компонент имени *Uhha-waranu* является темным с этимологической точки зрения, появление этого имени в письме из Ортакея также позволяет связать его с западной частью Малой Азии[103].

Ван ден Хаут [van den Hout 2003] высказал убедительные семантические соображения против интерпретации имени *Maddunāni* как лувийского композита ‘брат вина’. Вместо этого он предположил, что данное имя может быть связано с западноанатолийским топонимом *Maddun(n)as(s)a* и что оно содержит общий элемент *Madd-un-*, который соответствует Μῃον-

[102] *Uhhaziti* также является именем принца из Хаттусы, выступавшего свидетелем договора Улми-Тешуба [Laroche 1966, §1412.2; van den Hout 1995: 48]. В этом случае мы, вероятно, имеем дело с заимствованием западноанатолийского личного имени в период после присоединения Арцавы.

[103] О роли гадания в арцавских ритуалах см. [Hutter 2003: 236–237; Bawanypeck 2005a: 298–302]. Сравните также имя Мастуриянду, другого предсказателя, жившего в XIII в. до н. э. [Laroche 1966, § 784; van den Hout 1995: 259], которое содержит ономастический элемент Мастури, известный только из Западной Анатолии.

/Μαιον- < **mai-won-*, служащему деривационным базисом для греческого обозначения Меонии. Эта этимология опирается на раннюю датировку предполагаемого перехода **y* > *d* в истории лидийского языка, но имеются и независимые свидетельства в пользу подобного вывода (ср. ниже раздел 2.5). Если принять гипотезу ван ден Хаута, имя *Maddunāni* является исконным этническим именем «меонийский»[104] и отражает фонетический переход *y* > *d*, не отмеченный в истории лувийского языка.

Другая группа личных имен позволяет увидеть внутреннюю вариацию между основами *pa-* и *pahh(a)-* ‘защищать’ в диалекте (диалектах) Арцавы. Личное имя [^{d}I]M-*tapaddu* = **Tarhunta-paddu* ‘Пусть Тархунт защитит (его)’ должно быть сопоставлено с *Anza-pahhaddu* ‘Пусть (он) защитит нас’[105]. Имена подобной структуры находят близкие параллели в лувийском: ср., напр., ^{d}U-*manaddu* ‘Пусть бог грома увидит (его)’ [Laroche 1981: §1279a][106]. Мелчерт [Melchert 1993: 162] уже предполагал, что 3 ед. имп. *paddu*, встречающийся в «Песнях Истанувы», может иметь значение ‘пусть он защитит’, но контекст не был достаточно понятен, чтобы делать определенные семантические выводы. Представленный анализ западноанатолийских личных имен позволяет конкретизировать этот глагольный корень, который, по-видимому, не засвидетельствован в лувийских диалектах Центральной и Восточной Анатолии.

---

[104] Менее правдоподобной представляется связь между именем *Madduwatta* и топонимическим элементом, рассмотренным в данном разделе. CTH 147 сообщает, что некий Аттар(ис)сия, человек из Аххии, вытеснил Маддуватту из его исконного княжества [Beckman 1999: 154]. В конце сохранившейся части «Обвинения Маддуватты», Аттар(ис)сия упоминается в связи с нападениями на Кипр [Beckman 1999: 160]. Если не принимать, что Аттар(ис)сия правил над всем микенским миром, то представляется предпочтительным локализовать его политическое влияние где-то в Южной Анатолии — возможно, в Карии или Памфилии. Из этого следовало бы, что родина Маддуватты была также расположена в южной части Малой Азии, и это противоречит идее о его связях с классической Меонией.

[105] Элемент *anza* ‘наш’ может быть обнаружен также в анатолийском имени *Anz-unniya* [Laroche 1966, §94], которое предположительно значит ‘Веди нас!’.

[106] Сравните также позднелувийские имена *Astu-alamanza* ‘Да будет (у него) имя’ (KELEKLI, §2) или *Aza-tiwada* ‘Бог солнца, люби (его)’ (KARATEPE 1, §1). Однако в этих случаях можно предполагать, что предикативная структура лувийских личных имен обусловлена недавними контактами лувийцев с носителями западносемитских языков в Сирии. Подобное объяснение, очевидно, невозможно в случае с западноанатолийскими личными именами, и, следовательно, необходимо реконструировать общелувийскую модель личных имен, содержащую финитные глагольные формы. Что касается семантики ^{d}U-*manaddu*, то можно сравнить арцавское имя *Man-apa*-^{d}U, которое Мелчерт (в личн. сообщ.) объясняет как ‘Тархунт, наблюдай за ним’. Согласно более поздней интерпретации Мелчерта, *Mana-pa*-^{d}U означает ‘Посмотри-ка, Тархунт!’ (Melchert 2013b: 45).

Другая группа личных имен из Арцавы, которая должна рассматриваться совместно, включает *Tarhunn-aradu*, *Tarhunt-aradu* и *Piyam-aradu*. Поскольку анатолийские слова периода бронзового века не могли начинаться с *r-*, в качестве второго компонента необходимо выделять *-aradu*[107]. Все имена, содержащие этот элемент, связаны с западной частью Малой Азии. Мелчерт (apud [Adiego 2007: 333], а также личн. сообщ.) предположил, что лувич. *aradu-* обозначает ‘приверженец’, и оно выводится из **arada-* ‘религиозное сообщество (vel sim.)’, которое, в свою очередь, является дериватом **ara-* ‘товарищ, коллега’ (ср. хетт. *ara-* ‘id.’, см. тж. анализ морфологии в работе [Melchert 1998b: 368–372]). Имена *Tarhunt-aradu* и *Piyam-aradu* тогда могли бы обозначать ‘приверженец Тархунта’ и ‘дарованный приверженец’ соответственно.

Специфические языковые характеристики, отраженные в западноанатолийских личных именах, должны объясняться речевыми нормами местного населения. Можно показать, что эти особенности имеют параллели в лидийском и карийском — в языках, на которых говорили вдоль эгейского побережья Малой Азии в начале железного века. Одна из фонологических особенностей лидийского языка заключается в утрате начального «ларингала» («ларингалов»), отраженного как *h-* в хеттском и лувийском [Melchert 1994: 361]. Развитие **huhha-* > **uhha-*, которое постулируется для диалекта Арцавы, характеризуется ровно тем же процессом[108]. Ситуация с рефлексами интервокальных «ларингалов» в лидийском языке является более сложной. Мелчерт [Melcher 2004b: 143] полагает, что лидийский абстрактный суффикс *-oka-* следует выводить из

[107] Этим опровергается предложенное Хаксли [Huxley 1961: 20–21] сопоставление последней морфемы имен Пиямараду и Тархунтараду и первой морфемы имени легендарного критского царя Радаманта.

[108] Хотя фонетическая реализация анатолийских «ларингалов» не будет подробно обсуждаться в настоящей диссертации, следет отметить, что я предпочитаю рассматривать начальное *h-* в хеттском и лувийском как велярную или увулярную фрикативную фонему /x-/ или /χ-/. Если это верно, то лидийское развитие может быть охарактеризовано как прогрессирующая лениция /χ/ > /h/ > Ø (vel sim.). Первая стадия этой лениции находит точную параллель, например, в истории курдских языков. Широко распространенный альтернативный анализ, согласно которому принимается существование одной или двух фарингальных фонем в праанатолийском, также совместим с предлагаемыми выводами.

и.-е. *-eh_2V-[109]. Сохранение интервокального *-h-* в *uhha-* и *Anza-pahhaddu* соответствовало бы гипотезе Мелчерта. Однако фонетический закон, сочетающий полную потерю фрикативного звука в начальной позиции и его полное сохранение в интервокальной позиции, едва ли может быть сочтен фонетически естественным. Вероятно, в диалекте, который был предком лидийского языка, интервокальные «ларингалы» начали исчезать в более позднюю эпоху, чем их соответствия в начале слова, и именно этим объясняется засвидетельствованный переход *pahhaddu* > *paddu* ‘пусть он защищает’[110].

Западноанатолийский ономастический элемент *-aradu* был рассмотрен в работе [Schürr 2002]. Автор пришел к заключению, что карийское личное имя *msn-ord-* содержит рефлекс *-aradu* в качестве второго компонента, и приводит многочисленные параллели в пользу развития *a* > *o* в истории карийского языка[111]. Кроме того, элемент *-arada* составляет вторую часть карийского топонима Μασανωραδα, известного в эллинистической передаче. Впрочем, Адиего правдоподобно интерпретирует *msn-ord-* ‘масанорадец’ не как личное имя, а как указание на происхождение из города Масанорады [Adiego 2010: 165]. Шюрр [ibid.: сноска 14] также сравнивает первый компонент карийского имени Κβονδιασσις с первым компонентом имен периода бронзового века *Kupanta-kruntiya* и *Kupanta-zalma* (иначе у [Adiego 2007: 334]).

Косвенное подтверждение высокого статуса пракарийского языка в Западной Анатолии обнаруживается в результате анализа карийских заимствований в лидийской ономастике. Имя Κανδαύλης (Кандавл), которое,

---

[109] Однако стоит отметить скептицизм Рафаэля Жерара [Gérard 2005: 71, сноска 437] в связи с этой идеей; также ср. [Gérard 2005: 90] по поводу деривации лидийского окончания род. мн. *-eh_2-om* > *-ãv*.

[110] С другой стороны, формы *pahhaddu* и *paddu* могут рассматриваться как диалектные результаты более раннего /pax-tu/ (при вторичном контакте). Проблематично считать, что формы *paddu* и *pahhaddu* являются различными с морфологической точки зрения (напр., 3 ед. vs. 3 мн.). Пример других анатолийских языков показывает, что утрата «ларингалов» обычно обобщалась по всей парадигме.

[111] Конечно, развитие *a* > *o* в карийском не являлось безусловным. Поскольку результат этого перехода обычно записывается как ω в греческой передаче карийских личных имен, я склоняюсь к тому, что он был ограничен карийским долгим *a*. Это относится как к случаю первичного *ā*, отражающего праанатолийскую долготу, так и к вторичному *ā*, образованному в результате продления в ударной позиции [см. также у Adiego 2007: 258]. Однако эта проблема требует дополнительного анализа.

согласно Геродоту (I.7), принадлежало последнему лидийскому правителю династии Гераклидов, было реинтерпретировано как заимствованный титул, который восходит, в конечном счете, к лув. *hantawat(i)-* ‘царь’ [ср. Szemerényi 1969: 980–981][112]. Однако гипотеза о прямом заимствовании из лувийского требует признания фонетического перехода *t* > *l*, который не засвидетельствован в заимствованиях в лидийский[113]. Реконструкция, произведенная в работе [Adiego 2007: 10, 364, 372] и выводящая карийское имя kδou- из **hantawa-* ‘царь’, открывает новую возможность, согласно которой лид. Κανδαύλης является адъективным дериватом этого имени. Имя Γύγης (Гиг) — предполагаемого убийцы Кандавла и первого царя династии Мермнадов — было соотнесено с лув. *huhha-* ‘дед’ и охарактеризовано как отражающее «нелидийскую» фортицию начального *h-*. Адиего [Adiego 2007: 384–384, см. там же библиографию] предположил, что имя Гиг имеет непосредственно карийское происхождение, при этом он ссылался на карийское личное имя *quq* ~ греч. Γυγος и карийское личное имя *dquq* ~ греч. Ιδαγυγος. Отражение начального «ларингала» как звонкого взрывного /g/ в этой группе имен, как представляется, ограничено карийским и лидийским, в то время как родственным ликийским именем является Κουγας [Zgusta 1964: §717].

Конечно, нет доказательств, что данное ономастическое заимствование из карийского в лидийский восходит к бронзовому веку. Более того, имеется веский аргумент против такого сценария, поскольку родственный элемент в именах из Арцавы передавался как *uhha-*. Но не следует исключать

---

[112] Следуя доводам Семереньи [Szemerényi, loc. cit.], я отвергаю традиционный перевод Κανδαύλης как ‘Собакодав’ [Gusmani 1964: 274, см. там же библиографию], который основан, скорее, на произвольной интерпретации строки Ἑρμῆ κυνάγχα Μῃονιστὶ Κανδαῦλα (Hipponax 4). Вокатив Κανδαῦλα в этой строке не должен являться «меонийским» переводом κυνάγχα, поскольку Кандавл мог просто быть упомянут как «меонийский» эквивалент Гермеса.

[113] О спорадическом чередовании *t* ~ *l* в унаследованной лидийской лексике см. [Yakubovich 2005/2006: 86–87].

возможность того, что языковые контакты между карийским и лидийским продолжались в течение длительного периода времени[114].

Объяснение лидийских и карийских элементов в арцавских личных именах не должно быть единообразным. В случае со контактно-стимулированной псилозой в *uhha-* и, возможно, в случае со схожим интервокальным процессом в случае *pa-* мы, скорее, имеем дело с фонетической адаптацией в ходе несовершенного усвоения лувического языка Арцавы носителями лидийского[115]. *Maddunāni* может являться и исконным лидийским именем, но анализ этого изолированного примера не ведет к далеко идущим заключениям об остальной части корпуса[116]. В противоположность этому, имена на *-aradu-*, похоже, содержат элемент, родственный карийским сегментам *-ord-*/-ωραδα. Разумеется, это не доказывает, что данные имена являются исконно карийскими, но, как минимум, можно говорить об изоглоссе между лувическим языком Арцавы в бронзовом веке и карийским языком в железном веке[117].

Таким образом, проведенный выше предварительный анализ хорошо соотносится с этнолингвистической гипотезой, сформулированной в работе [Schürr 2002: 171]: “В районе Арцавы пра-(лико)-карийский уже тогда должен был стать туземным языком, хотя, вероятно, и не единственным. Также приходит на ум лидийский, сильно отличающийся от южноанатолийских языков, а далее на восток, возможно, лувийский”. Строго говоря, эта гипотеза не может быть доказана на нынешнем уровне наших

---

114 Плутарх упоминает присутствие карийцев в Лидии в качестве союзников Гига [Pedley 1972: 7]. О карийских фрагментарных надписях, обнаруженных в Сардах, см. [Adiego 2007: 27–29]. Относительно династических и других связей между Карией и Лидией в период правления Мермнадов см. также [Herda 2013: 458].

115 В принципе, нельзя исключать, что носители лувического и лидийского языков, жившие в Арцаве, унаследовали эту особенность из общего доиндоевропейского субстрата. Однако это предположение произвольно, до тех пор пока отсутствуют независимые свидетельства в пользу существования подобного субстрата.

116 Наиболее вероятным кандидатом на лидийское имя, восходящее к зафиксированному арцавскому прототипу, является *Sabλa-*, возможно, связанное с *Zapalli* в Таблице 5 [Gusmani 1964: 189]. К сожалению, анатолийская этимология этого лидийского имени остается неясной.

117 Если, как предположил Мелчерт, имя *Man-apa-*^{d}U действительно содержит указательное местоимение *apa-*, то мы здесь имеем дело с анатолийским архаизмом, который был утерян в карийском языке, где, по-видимому, обобщилось указательное местоимение *s(n)-* ближнего дейксиса [Adiego 2007: 319–320]. Однако не вполне ясно, имела ли место эта инновация уже в конце бронзового века.

знаний, но она является более экономной, чем доступные альтернативные теории. Лувические личные имена из Западной Анатолии периода бронзового века не дают каких-либо аргументов в пользу лувийских миграций на запад[118].

2.4 Языковые контакты между Арцавой и Хаттусой

Выводы, сделанные в предыдущем разделе, могут оставить впечатление, что западная часть Малой Азии испытала лишь незначительное влияние с востока в конце бронзового века. Дальнейший анализ лидийских личных имен и теонимов, имеющих достоверное или вероятное иностранное происхождение, подталкивает к коррекции этой точки зрения. Список имен в Таблице 6 не претендует на полноту, а, скорее, представляет собой подборку лидийских имен с самыми надежными паралеллями в лувийских источниках. За сопоставлениями более широкого плана, имеющими разную степень надежности, можно обратиться, например, к работе [Carruba 1959: 401–403].

Таблица 6: Лидийские имена лувийского происхождения

Лидийское имя	Источник	Лувийский когнат	Этимология
PN Tiwda-	Gusmani 1964: 220	DN Tiwada-	Carruba 1959: 403
PN Walwe-	Gusmani 1964: 52	walwa- ‘лев’	Carruba 1959: 403[119]
PN Katowa-	Gusmani 1964: 146	PN ka-tú-wa/i-	Carruba 1959: 402
DN Śãnta-	Gusmani 1982: 94	DN Santa	Gusmani 1982: 94
DN Kufaw-	Gusmani 1982: 68	DN ku-AVIS-pa-pa-	Gusmani 1982: 68
DN Mariwda-	Gusmani 1964: 163	DN marwaya- (мн.)	Melchert 2002: 242

[118] Вместе с тем, мне хотелось бы подчеркнуть свой отказ от радикальной позиции, отстаиваемой в монографии [Yakubovich 2010a], согласно которой лувическое население Арцавы было полностью или по преимуществу пракарийским. Отдельные изоглоссы между арцавскими и карийским ономастическими элементами не дают оснований для столь далеко идущих выводов.

[119] О значении и этимологии лув. *walwa-* см. [Lehrman 1978]. Выводы Каррубы в данном случае были ограничены формальным сопоставлением между лидийскими и лувийскими ономастическими элементами. Лид. *walwe-*, вероятно, производно от посессивного прилагательного **walwaya-* ‘львиный’.

Если опираться на фонологические и семантические соображения, то большинство форм из Таблицы 6 могут быть идентифицированы как лувические заимствования. Основы *walwa-* < *walkuwa-* и *marwaya-* < **markuwaya-* характеризуются специфическим лувическим развитием лабиовелярных после плавных[120]. Если лид. *ciw* < **diw-* ‘бог’ является унаследованной лексемой, то дериват *Tiwda-* от того же анатолийского корня предполагает, что это имя было заимствовано. Поскольку бог Санта тесно связан с божествами Марвая в лувийском тексте KULULU 2, а также в лидийской погребальной надписи 4a, наиболее простая гипотеза — это заимствование обоих теонимов как группы. Поскольку Кубаба исконно является сирийской богиней, она не может быть частью унаследованного анатолийского пантеона. Список лувических заимствований может быть расширен, если рассмотреть лидийские имена, зафиксированные в греческой передаче. Так, в работе [Carruba 1959: 402] лидийское личное имя Οὐρπαλος справедливо сравнивается с лувийским именем *Warpalawa*, которое также зафиксировано в форме *Urballā* в ассирийских источниках [Hawkins 2000, II: 432].

Ни одна из приведенных выше лексем не имеет надежных карийских параллелей. В некоторых случаях это, безусловно, является следствием случайных пробелов в доступной информации о карийской ономастике, но даже если релевантные карийские имена будут идентифицированы в будущем, вопрос о том, имеем ли мы дело с общелувическим наследием или недавними лувийскими заимствованиями, останется открытым. Второе объяснение является предпочтительным по крайней мере в случае с Кубабой, сирийской богиней, которая едва ли вошла в западноанатолийский пантеон ранее второй половины II тыс. до н. э. [ср. Hutter 2003: 272–273].

---

[120] По крайней мере, в случае лув. *walwa-* ~ и.-е. **wl̥k*^{w}*o-* ‘волк’ в праанатолийском необходимо реконструировать глухой лабиовелярный. О происхождении лувийского теонима *marwaya-*, букв. ‘темный’, см. [Melchert 1993: 142]. В этом слове также вполне правдоподобна реконструкция анат. *-*k*^{w}-. Хотя глухие лабиовелярные обычно сохраняются в лувийском, сравнение этих двух примеров позволяет осторожно предположить, что их произношение упростилось в лувийских консонантных кластерах после плавных.

Наличие хеттских заимствований в западноанатолийской ономастике предоставляет дополнительный довод в пользу второй альтернативы. Так, западноанатолийское мужское имя ^{d}U-*naradu*, упомянутое в предыдущем разделе, представляет собой «хеттизированный» вариант западноанатолийского имени *Tarhundaradu*, зафиксированного несколькими столетиями ранее. Согласно Геродоту (1.7), греки называли лидийского царя Кандавла Μυρσίλος, и один из способов интерпретировать это утверждение заключается в том, чтобы принять, что это было царское имя правителя, чей титул был **hantawa*- ‘царь’[121]. В этом случае мы, вероятно, имеем дело с прозрачной адаптацией династического имени Мурсили [ср. Zgusta 1964: § 995][122]. Эта гипотеза находит частичную поддержку в факте существования лидийского имени Μυταλις [ср. Zgusta 1964: § 997]. Несмотря на то что его прототип Муваттали имеет, в конечном счете, лувийское происхождение, все же за популярность этого имени в Анатолии железного века отвечает, в первую очередь, Муваттали II, царь Хаттусы[123]. Лидийское обозначение правителя, приведенное у Гесихия как λαίλας, было проанализировано как отражение хеттского *lahhiyala*- ‘воин’ [Gusmani 1964: 275, см. там же библиографию][124]. Наконец, имя легендарного мизийского царя Τηλεφος (Телеф), который, как считается, жил во времена троянской войны, сопоставимо с определенными натяжками с династическим именем *Telibinu*, имеющим хаттское происхождение [Gindin 1999: 248, см. там же библиографию].

---

[121] Ср. описание Николая Дамасского (F. 47), согласно которому последнего царя из династии Гераклидов звали Адиаттом или Садиаттом [Pedley 1972: 16]. С другой стороны, можно предположить, что Μυρσίλος отражает лидийское отчество, образованное от Μύρσος; последний, согласно Геродоту (1.7), был отцом Кандавла. В рамках первой интерпретации Геродот выдумал имя Μύρσος на основе Μυρσίλος, которое он истолковал как отчество. Стоит отметить, что большинство лидийских имен, засвидетельствованных в том же отрывке из Геродота, по-видимому, являются фиктивными.

[122] То же имя Μυρσίλος носили два известных лесбосских грека: тиран Митилен, с которым боролся поэт Алкей, и историк. Однако в этом случае мы, по-видимому, имеем дело с вариантом хорошо известного греческого имени Μυρτίλος.

[123] Ср. карийское (легендарное) имя Μότυλος [Zgusta 1964, §976]. Относительно родственных личных имен, засвидетельствованных в Восточной Анатолии периода железного века, см. [Laroche 1966, §837].

[124] Лид. λαίλας вряд ли является когнатом хетт. *lahhiyala*-, поскольку регулярный посессивный суффикс в ликийском не **-*la*-, а -*l(i)*-.

Если принять предложенные выше этимологии имен и титулов, они, по-видимому, представляют собой культурные заимствования. Контакты, ответственные за проникновение хеттских форм в эгейский регион, должны быть связаны с культурным и политическим владычеством Хаттусы над Западной Анатолией в конце бронзового века. Однако в предыдущих разделах мы видели, что империя Хаттусы была многоязычной, и носители лувийского языка, вероятно, составляли большинство среди ее подданных, по крайней мере, в центральной ее части. Поэтому можно поставить вопрос, не могут ли вероятные лувийские заимствования в лидийский объясняться ссылкой на контакты с империей Хаттусы. Для ответа на этот вопрос необходимо более подробно проанализировать письменную традицию Арцавы как свидетельство о социолингвистическом статусе местных элит.

Этот анализ уместно начать с рассмотрения арцавского письма VBoT 2. Его автор, князь Тархунтараду, правил до того, как Мурсили II завоевал Арцаву, но документ, тем не менее, написан на хеттском. Для того чтобы лучше понять язык этого документа, полезно сопоставить его с несовершенно усвоенным хеттским языком из письма VBoT 1, которое Тархунтараду отправил египетский фараон. Штарке [Starke 1981] справедливо указал на то, что нестандартные характеристики этого текста отражают языковую интерференцию с древнеегипетским языком. В противоположность этому, текст VBoT 2 не демонстрирует каких-нибудь явных особенностей, которые могли бы быть объяснены через языковые контакты. Хеттский язык этого документа является вполне идиоматичным, а в некоторых случаях даже разговорным. В качестве примера можно упомянуть риторический вопрос, приведенный ниже:

(57) VboT 2 7–9, CTH 152 (MH/MS), Rost 1956: 329

nu mān handān ammel DUMU.MUNUS-*YA* sanhiskisi nu=tta *UL* imma pihhi pihhi=tta

‘Если ты серьезно просишь мою дочь, разве я ее не отдам? Конечно, отдам’.

Мелчерт [Melchert 1985: 185] использует этот пример в качестве демонстрационного образца, иллюстрирующего эмфатическое значение фокусной частицы *imma*. Употребление риторических вопросов и эмфатических частиц обычно исключено в официальных документах, подготовленных в соответствии с заданными шаблонами. Так мы приходим к неизбежному заключению, что кто-то из арцавского дворца, будь то князь Тархунтараду или (что более вероятно) его писец, свободно владел хеттским языком. К сожалению, этот изолированный текст не позволяет сказать, до какой степени знание хеттского было распространено среди арцавских элит. Выбор хеттского в качестве языка дипломатической переписки между Арцавой и Египтом можно объяснить и с чисто политической точки зрения, если принять, что египетские писцы не смогли бы прочитать письмо, написанное на местном диалекте, а арцавские писцы в тот период не владели в достаточной мере аккадским языком. Это объяснение оставляет возможность того, что местный лувический диалект использовался при арцавском дворе для всех прочих целей, кроме дипломатической переписки.

Для дальнейшего исследования статуса хеттского языка в Арцаве необходимо обратиться к арцавским ритуалам, сохраненным в царских архивах Хаттусы. В представленной ниже таблице перечислены все тексты, чье авторство эксплицитно приписывается арцавским исполнителям ритуалов[125]. Все эти персонажи уже были включены в Таблицу 5[126]. Конечно, имеется некоторая двусмысленность, касающаяся того, подразумевает ли обозначение ‘мужчина/женщина из Арцавы’ политическое образование, известное под этим именем, или Западную Анатолию в широком географическом смысле. Однако первая интерпретация представляется более

[125] Ср. более либеральный подход в работах [Hutter 2003] и [Bawanypeck 2005b], чьи авторы классифицируют ряд религиозных текстов как арцавские ритуалы, основываясь на их функциональном и композиционном подобии тем, которые перечислены в Таблице 6. Хотя их атрибуция вполне правдоподобна, все же здесь принимается более узкий подход, для того чтобы установить абсолютно надежную точку отсчета для дальнейшей дискуссии. Стоит отметить, однако, что включение текстов, рассмотренных в вышеупомянутых источниках как арцавские ритуалы, ни в коей мере не повлияло бы на выводы данного раздела.

[126] Редакции, приведенные ниже в правой колонке таблицы, дают общее представление о содержании соответствующих текстов. За подробным обзором вторичной литературы следует обратиться к конкордансу хеттских текстов, которые указаны там под соответствующими номерами CTH.

предпочтительной. Заклинатель Ашелла идентифицируется как человек из Хапаллы в KUB 9.32 obv. 1, хотя Хапалла, как обычно считается, составляет часть ‘великой Арцавы’. Это только один пример общей тенденции к идентификации исполнителей ритуалов с помощью указания на их родные города или государства, а не на более абстрактные географические регионы.

Таблица 7: Заклинатели из Арцавы и приписываемые им сочинения

Имя	Текст	Издание
[f]Alli	CTH 402	Jakob-Rost 1972
[m]Adda	Bo 3483, не опубликован (CTH 470.164)	упомянут в Otten 1973b: 82
[m]Maddunani	CTH 425.A	Bawanypeck 2005a: 126–136
[f]NÍG.GA.GUŠKIN	Описание в каталоге KBo 31.6 iii 11–15	Dardano 2006: 182
[f]Paskuwatti	CTH 406	García Trabazo 2002: 447–465
[[m]Tapalazu]nauli	CTH 424	Souček 1963
[m]Tarhuntapaddu	516/z, не опубликован	упомянут в Otten 1973b: 82
[m]Uhhamuwa	CTH 410	García Trabazo 2002: 467–475

Нарративная структура арцавских ритуалов подобна структуре других текстов, составленных анатолийскими заклинателями (или от их лица). Тексты, предписывающие последовательность выполнения ритуальных действий, чередуются с заклинаниями, которые должны произноситься в должное время по мере исполнения ритуала. Ряд божеств, появляющихся в этих текстах, имеют явные лувийские корни. Кроме божеств-*marwaya*, появляющихся в (2), необходимо упомянуть божество-покровителя *uliliyassi*, играющего ключевую роль в Ритуале Паскуватти против импотенции или гомосексуальных наклонностей[127]. Этот теоним должен пониматься как заимствованное лувическое посессивное прилагательное ‘луговой’. Вероятное хеттское воплощение того же божества, *ŠA labarna uliliyas* [d]LAMMA ‘луговое божество-покровитель Лабарны’ засвидетельствовано в

[127] Последний опыт интерпретации данного ритуала представлен в работе [Miller 2010a].

другом тексте [van Gessel 1998, II: 695]. Прилагательное *hulliti-*, указывающее на разновидность хлеба в KUB 7.54 i 6 (CTH 425.A), вероятно, произведено от имени богини *Hulla* с помощью лувического суффикса [Starke 1990: 187].

Важный факт, касающийся данного корпуса текстов, заключается в том, что, в отличие от ритуалов из Киццувадны, они не содержат иноязычных вкраплений. Единственная лексема в данном корпусе, отмеченная с помощью глоссового клина, — это *padumma-* ‘ножка (кровати)’; она не может являться лувийским иностранным словом, поскольку содержит хеттский словообразовательный суффикс *-umna-* > *-umma-* и употребляется с хеттским окончанием аблатива (ср. CHD, P: 247). Лувические формы (58) и (59) обозначают божество и ритуал соответственно и потому могут рассматриваться как технические неосвоенные заимствования. Это наблюдение может иметь мало значения, пока мы имеем дело с повествовательными частями ритуалов из Арцавы, но абсолютно устойчивое использование хеттского языка в многочисленных заклинаниях резко контрастирует с обилием лувийских пассажей, внедренных в ритуалы Киццувадны и отражающих ситуативное переключение кода на местный диалект. В целом обсуждаемое умеренное использование иностранных элементов напоминает хеттские тексты, подготовленные в центральной части империи Хаттусы.

(58) KUB 24.11 ii 7–8, CTH 402.C (MH/NS), Jakob-Rost 1972: 34
nu p[(attesni tapusza)] 1 NINDA.SIG *ANA* ^{d}**Mar-wa-ya-an-za** parsiya[128]
‘Она преломляет один тонкий хлеб для богов **Марвая** рядом с ямой’.

(59) KUB 7.54 i 2–4, CTH 425.1.A (LNH), Bawanypeck 2005a: 128
mān=kan ŠÀ KARAŠ.HI.A ÚŠ-an kisari UN.MEŠ-tar ANŠE.KUR.RA.HI.A GUD.HI.A KALAG.GA-za akkiskittari nu SÍSKUR **mu-u-ra-an-za** iyanzi

[128] Восстановлено согласно KUB 24.9 ii 26.

‘Если в армии на людей нападает мор, кони и быки массово мрут, совершают ритуал ***mura***-’.

Интерпретация этих фактов зависит от истории передачи арцавских ритуалов, для которой могут быть реконструированы два различных сценария. С одной стороны, можно предположить, что ритуалы были изначально записаны арцавскими писцами, а затем скопированы для царских архивов Хаттусы после присоединения Арцавы. Этот сценарий подобен тому, что был предложен Миллером [Miller 2004] для определенных ритуалов Киццувадны. С другой стороны, можно предположить, что некоторые арцавские исполнители ритуалов практиковали во дворце Хаттусы или, по крайней мере, посещали его, что позволило хеттским писцам зафиксировать их традицию. Этот альтернативный сценарий подобен тому, что реконструируется в случае со служительницей Куваталлой. Хотя эта исполнительница ритуала имела сильные связи с Киццувадной (как это можно заключить из многочисленных заклинаний на лувийском диалекте Киццувадны, включенных в ее ритуалы), она также упоминается как получатель земельного участка KBo 5.7 (CTH 223), предоставленного Арнувандой и Асмунигал [Starke 1985: 79, см. там же библиографию][129].

Отсутствие внутренних ссылок на «арцавские таблички» в религиозных произведениях, найденных в Хаттусе, говорит в пользу второго сценария. Первый сценарий особенно маловероятен в случае с Алли, чей ритуал против черной магии (CTH 402) доступен в нескольких копиях, написанных среднехеттским пошибом. Если эти таблички были записаны в независимом княжестве Арцава, то необходимо принять, что их физически перенесли в Хаттусу после присоединения Западной Анатолии. Тем не менее, поскольку пошиб арцавского письма подобен тому, что обнаруживается в

[129] Третья логическая возможность, а именно сбор арцавских ритуалов как результат полевой работы, проведенной хеттскими писцами в Западной Анатолии после ее присоединения, с исторической точки зрения представляется неправдоподобной. Миллер [Miller 2004] и Кристиансен [Christiansen 2006] показали, что основной механизм создания новых ритуалов в имперский период заключался в творческой адаптации уже существовавших письменных текстов, а не в сборе устного фольклора.

современных ему хеттских текстах, найденных в Хаттусе, нельзя использовать палеографические соображения, чтобы полностью исключить эту альтернативу. Поэтому остается рассмотреть следствия каждой из этих двух возможностей для прояснения статуса хеттского языка в Западной Анатолии.

Если предположить, что арцавские ритуалы были записаны на местном уровне, то это подталкивает к заключению, что хеттский язык был главным (если не единственным) письменным языком в данном княжестве. Ритуальные документы представляют собой полную противоположность дипломатическим письмам, поскольку этот жанр ориентирован на внутреннее потребление. К тому же необходимо принять во внимание, что хеттские писцы, работавшие при арцавском дворе, были полностью компетентны в своем ремесле. А вот какие-либо заключения о языке, на котором обычно исполнялись соответствующие религиозные церемонии, сделать невозможно. Если использование местных диалектов в арцавских канцеляриях систематически исключалось, то все заклинания могли быть последовательно переведены на хеттский язык в момент их записи.

Если кто-то предпочитает думать, вслед за мной, что та же группа ритуальных документов отражает традицию заклинателей, пришедшую в Хаттусу с запада, то, очевидно, на основе этого нельзя добиться новых результатов, касающихся статуса письма в Западной Анатолии, но зато можно узнать много важного о лингвистических установках местных исполнителей ритуалов. Известно, что хаттусские писцы не имели предубеждений против чередования кодов внутри предложения, поскольку они честно записывали лувийские и хурритские вкрапления, содержащиеся в ритуалах из Сирии и Киццувадны. Таким образом, придется сделать вывод, что арцавские заклинатели практиковали на хеттском, по крайней мере во время работы в Хаттусе. Было ли это следствием того, что они не придавали ритуального значения языку своей религиозной практики и просто хотели приспособиться к предпочтениям заказчиков? Или это было, скорее,

отражением высокого статуса хеттского языка в их родной стране? В любом случае необходимо заключить, что выбор языка для рецитации заклинаний не имел какой-либо метафорической значимости. Идея, согласно которой к местным божествам следует обращаться на местных языках, очевидно, имела слабую поддержку в Западной Анатолии.

Вариация второго подхода представлена в работе [Melchert 2013a]. Согласно Мелчерту, арцавские ритуалы не записывались в Хаттусе со слов исполнителей, обозначенных в соответствующих колофонах, а отражали лишь общее знакомство хаттусских интеллектуалов с магической традицией княжества Арцава. Мелчерт подчеркивает контраст между передачей ритуальной традиции Истанувы, сопровождаемой цитированием «Песен Истанувы» без перевода, и скудостью лувийских элементов в рассматриваемом корпусе. Действительно, если исходить из того, что язык Арцавы воспринимался хеттами как лувийский, объяснение Мелчерта, пожалуй, является наиболее экономным. Однако, если принять точку зрения, отстаиваемую в настоящей диссертации, согласно которой лувический диалект Арцавы выносился в Хаттусе за рамки собственно лувийских диалектов и воспринимался как языковой код с более низким статусом, контраст между передачей ритуалов из Арцавы и Истанувы получает социолингвистическое объяснение. Оно имеет преимущество перед гипотезой Мелчерта, подразумевающей, что фактически целая арцавская традиция, отличавшаяся ярко выраженными региональными особенностями, была сфабрикована.

Как тогда следует объяснять примеры (58) и (59)? Если модель использования слов иностранного происхождения в арцавских ритуалах является проекцией ситуации в Хаттусе, то возможная гипотеза заключается в том, чтобы видеть в *mar-wa-ya-an-za* и *mu-u-ra-an-za* специфические лувийские образования. Либо арцавские писцы, либо арцавские исполнители ритуалов при дворе Хаттусы, либо хеттские писцы, ответственные за компиляцию арцавских ритуалов, воспроизводили обычную хаттусскую

модель вкрапления лувийских слов в хеттский контекст. Формальное соображение, доказывающее возможность данного сценария, — это специфическое лувийское расширение для прямых падежей ед. ср. *-za* в *mu-u-ra-an-za* и окончание дат. мн. *-anz(a)* в *mar-wa-ya-an-za*. Карийская ситуация на данный момент слишком сложна для оценки, но ликийские языки, во всяком случае, не характеризуются ни одной из этих инноваций[130].

Другой аргумент, говорящий в пользу использования лувийского языка в этой части Малой Азии, заключается в существовании местных иероглифических текстов. Подавляющее их большинство состоят из личных имен и идеограмм, что препятствует точной идентификации языка, на котором они написаны. В частности, имя, прочитанное как *ku-pa-i(a)* в надписи LATMOS (=SURATKAYA) и сопровождающееся титулом MAGNUS.REX.INFANS, было интерпретировано как сокращенный вариант Купантакрунтии, вассального князя Миры [Peschlow-Bindokat 2002]. Впрочем, Орешко, осуществивший коллацию соответствующего граффити, читает данное имя как *ku-*324-ia*. Таргасната, князь Миры, инициировал создание надписи KARABEL [Hawlins 1998]. К этому необходимо также добавить диграфическую печать «Таркондемоса», которая, как теперь известно, также принадлежала Таргаснаве, князю Миры [Hawkins, Morpurgo-Davies 1998]. В надписи SIPYLOS (=AKPINAR) 1 упоминается некий Куваланамува; это имя также принадлежало одному из принцев Хаттусы во времена Мурсили II и писцу надписей HANYERİ и İMAMKULU [ср. Bossert 1954: 144–147]. В надписи SIPYLOS (=AKPINAR) 2 содержится имя дворцового служителя (евнуха) Цувани [Oreshko 2013a: 368–371][131].

---

[130] Мелчерт [Melchert 2010)] с осторожностью предполагает существование расширения им.-вин. ср. ед. *-s* и окончания дат. мн. *-οτ* в карийских алфавитных надписях. Если эта идентификация будет подтверждена, то она окажется совместимой с интерпретацией *marwayanza* и *mūranza* как форм пракарийского происхождения.

[131] Для полноты можно также упомянуть имитацию? анатолийской иероглифической печати, обнаруженную в Метрополисе [Schachner, Meriç 2000], и подлинную иероглифическую печать, найденную в районе Эскишехира [Darga, Starke 2003]. Я благодарен Ж. Шимону за то, что он обратил мое внимание на эти находки. Черепок ÇİVRİL, найденный в районе Бейджесултана, содержит титул SCRIBA ‘писец’ и фрагментарное личное имя [Oreshko 2013: 371–373].

Впрочем, в последнее время появились и свидетельства использования анатолийских иероглифов в эгейском регионе для передачи менее стереотипных текстов. Самым весомым из них, пожалуй, является опубликованная в 2011 г. фрагментарная стела KARAKUYU-TORBALI, несомненно содержащая формулу проклятия [Oreshko 2013a: 373–386]. Кроме того, предпринятая Орешко коллация граффити SURATKAYA позволила ему высказать предположение о том, что одно из них содержит последовательность силлабограмм ⌜*á*⌝-[*w*]*a/i-ma p*[*u*]-*pa*-[*t*]*á* вслед за именем и титулом «княжеского сына» Лаххи [Oreshko 2013a: 353]. Даже если чтение отдельных символов из этой цепочки будет уточнено, кажется маловероятным, что она содержит дополнительные личные имена. Интерпретация самого Орешко ‘я пишущий’ (vel sim.) предполагает, что текст следует читать по-лувийски. Если допустить вероятность подобного чтения, следует определиться с его импликациями для интерпретации лингвистической ситуации на территории Арцавы.

Ни одна из рассмотренных выше иероглифических надписей не содержит отсылок ко времени до завоевания Арцавы Мурсили II. Следовательно, выбор системы письма должен отражать, в первую очередь, политическое владычество Хаттусы над княжеством Миры. Если правители Миры пытались имитировать традиции двора Хаттусы, то для них было естественно следовать модели эпиграфического переключения кодов, которая было хорошо знакомо хаттусским писцам. Клинопись использовалась преимущественно для письма на глиняных табличках, в то время как иероглифы вырезались на камне. Если автор текста SIPYLOS (=AKPINAR) 1 был идентифицирован верно, то мы имеем хороший пример хеттского официального лица, чье граффити могло стать образцом для местных правителей. В разделе 4.9 будет отстаиваться точка зрения, согласно которой анатолийское иероглифическое письмо возникло в Центральной Анатолии, в хеттской и лувийской двуязычной среде. Тем не менее твердая связь между анатолийскими иероглифами и лувийским языком была

установлена в последние десятилетия существования империи Хаттусы[132]. Вполне вероятно, что писцы в западной части Малой Азии также переняли эту позднюю имперскую традицию.

Резюмируя сказанное, есть соблазн экстраполировать двуязычие Хаттусы имперского периода на среду западноанатолийских эрудитов. Разумеется, нет способа оценить число носителей хеттского и лувийского языков, служивших при арцавском дворе и позднее при дворах Миры и страны реки Сеха. Однако даже малое число влиятельных чиновников является достаточным для того, чтобы инициировать заимствования хеттских и лувийских личных имен и титулов в местные диалекты, поскольку лексические заимствования из культурно доминирующего языка не требуют интенсивного языкового контакта[133]. Преобладание лувийских, а не хеттских имен, заимствованных в Западной Анатолии, коррелирует с предлагаемой ниже реконструкцией ассиметричного двуязычия в империи Хаттусы и преобладанием лувийских элементов в центральноанатолийской ономастике.

Посредничество хеттских и лувийских писцов при дворе Арцавы и государств-преемников может являться одной из причин того, почему многие засвидетельствованные имена местных князей и высших чиновников имеют такой лувийский вид. Возможно, в тех случаях, когда местные лувические морфемы, формирующие соответствующие имена, проявляли незначительные фонетические отличия от их лувийских когнатов, местные писцы пытались унифицировать их в соответствии с хетто-лувийской литературной нормой. Тот же процесс, вероятно, проводился далее в хеттской канцелярии, где хеттские формы могли иногда предпочитать лувийским когнатам. Может ли эта тенденция объяснить тот факт, что теофорное имя повстанца из страны реки Сеха было записано как ^{d}U-*naradu*

[132] Иероглифические подписи к рельефам богов в комплексе YAZILIKAYA, где большинство фонетически записанных теонимов, по-видимому, являются хурритскими, должны рассматриваться как особый феномен [ср. Hawkins 2003: 141]. В этом случае использование хурритского языка, должно быть, имело идеологическое значение, и было предписано самим Тудхалией IVв рамках его религиозной реформы.

[133] См., например, анализ русских заимствований в юго-западном помо, представленный в работе [Thomason 2001: 72–73]. Эти заимствования происходили в контексте присутствия сотни русских колонистов на севере Калифорнии в течение около 30 лет в начале XIX в. Были заимствованы следующие обозначения: ‘кошка’, ‘ложка’, ‘мешок’, ‘пшеница’, ‘горчица’, ‘молоко’, ‘кофе’, ‘чай’, ‘посуда’, ‘яблоко’, ‘носки’, ‘письмо’.

= **Tarhuna-radu* в хеттском источнике, то есть с помощью написания, которое вызывает ассоциации со специфическим хеттским именем бога грома?

Рассмотренные в этом разделе материалы заставляют отказаться от поиска лувийского субстрата в лидийском языке. Вместо этого можно констатировать, что имеются ограниченные свидетельства в пользу хетто-лувийского суперстрата в лидийском, которые могут быть объяснены через культурное и политическое доминирование империи Хаттусы над западной частью Малой Азии. Этот пласт заимствований должен принципиально отделяться от других пластов лувических заимствований в лидийском, некоторые из которых, возможно, были переняты в I тыс. до н. э. из карийского языка, в то время как другие могут восходить к лувическому диалекту элит Арцавы. К сожалению, установить точную лексическую дистрибуцию между лувийским, пракарийским и «арцавским» суперстратом в лидийском языке может оказаться невыполнимой задачей, поскольку эти вероятные языки-доноры должны были быть очень близки друг к другу во II тыс. до н. э.

2.5 Исторические свидетельства в пользу присутствия лувийцев в Арцаве?

Пришло время сопоставить приведенные выше лингвистические заключения с историческими и филологическими аргументами, приводимыми в пользу присутствия значительного лувийского населения в Западной Анатолии. Чаще всего говорится о появлении Арцавы в поздней версии Хеттских законов. Географическое имя, соответствующее, по-видимому, Арцаве в поздней редакции Законов — это Лувия, анатолийский регион, от которого произведено название лувийского языка.

(60) KBo 6.2.i.36–37, CTH 291.1.a.A (OS), cf. Hoffner 1997: 29–30
[takku LÚ.U_{19}].LU-an LÚ-n=a=ku MU[NUS-n=a=ku ^{URU}Hattusaz kuiski ^{LU} ^{URU}Luīs tā]yizzi n=an *ANA* ^{KUR} Luwi[ya p]ēhutezzi
‘[Если какой-нибудь лувиец] похитит свободного, мужчину или женщину, [из страны Хаттусы], и уведет его/ее в Лувию…’

(61) KBo 6.3 i 45–46, CTH 291.1.b.A (OH/NS), cf. Hoffner 1997: 30
˹takku LÚ.U_{19}.LU-an LÚ-ann=a=ku˺ MUNUS-n=a=ku ^{URU}Hattusaz kuis[ki] $^{LÚ\ URU}$Luwiy˹as tāyizzi n=an˺ *ANA* $^{KUR\ URU}$*ARZAWA* pēhutezzi
‘Если какой-нибудь лувиец похитит свободного, мужчину или женщину, из страны Хаттусы, и уведет его/ее в Арцаву…’

Чередование между (60) и (61) привело группу исследователей к заключению о том, что Лувия и Арцава обозначали одно и то же образование уже во времена первой компиляции Законов. Так, Хоффнер [Hoffner 1997: 171] придерживается взгляда о том, что Лувия/Арцава имела такие политические связи с Древним царством, что законодательные акты Хаттусы распространялись на ее граждан. Однако свидетельства в пользу равнозначности топонимов Лувия и Арцава в период Древнего царства отсутствуют. Несмотря на то что версия Хеттских законов на древнехеттском пошибе изображает Лувию как страну, находящуюся под юрисдикцией Хаттусы, Арцава появляется в анналах первых царей Хаттусы как цель их грабительских походов (что отмечено в разделе 2.2).

Представляется, что замещение Лувии Арцавой в KBo 6.3 может отражать политическое состояние в период копирования этого манускрипта. Данной позиции придерживался Итамар Зингер, который напомнил мне в личном сообщении о вероятности арцавского контроля над Нижней страной в начале XIV в. до н. э., когда западный противник Хаттусы «сделал Тувануву (классическую Тиану) и Уду (классическую Гиду) своей границей» (KBo 6.28 obv. 8–9 согласно [Bryce 2003: 56]). Однако я выступаю против

общепринятой идентификации между Лувией и Арцавой даже для этого периода, поскольку этот подход не позволяет объяснить, почему оригинальный термин Лувия сохраняется в оставшейся части KBo 6.3 (i 11, 53, 59) и замещается Арцавой только в рассмотренном выше проблематичном контексте. Скорее всего, мы имеем дело с попыткой толкования термина Лувия отдельным писцом в тот период, когда этот термин уже вышел из употребления. Увидев, что незнакомый термин Лувия встречается в древнехеттском оригинале достаточно часто, писец отказался от дальнейшей его модификации [ср. Yakubovich 2013a: 113][134].

Процесс модификации хеттских документов в целях политической целесообразности может быть далее проиллюстрирован следующими дополнительными примерами:

(62) KUB 24.4 + 30.12 obv. 16–17, CTH 376.C (MS), Lebrun 1980: 161
nu kuriwanas KUR.KUR-*TIM* kue arahzanda / Hurlas KUR-e ^{KUR} ^{URU}*KIZZUWATNI* ^{KUR} ^{URU}*ARZAUWA* nu hūmanza sullē[t]
‘Непокорные страны, которые вокруг, — Страна хурритов, Киццувадна и Арцава, — каждая обнаглела’.

(63) KUB 24.3 ii 26–28 CTH 376.A (NS), Lebrun 1980: 161
nu kuriwana[s KUR.KUR-*TIM* kue] arahzanda$^{!}$ ^{KUR} ^{URU}*MITTANNI* ^{KUR} ^{URU}[*ARZAUWA*] nu hūmanza sullēt
‘Непокорные страны, которые вокруг, — Митанни и Арцава — каждая обнаглела’.

(64) KUB 24.4 + 30.12 obv. 21–22, CTH 376.C (MS), Lebrun 1980: 161
[n]u=ssan hinkan kūrur kāstan *ANA* ^{KUR} ^{URU}*MITTANNI* [*ANA*] ^{KUR} ^{URU}*KIZZUWATNI Ù ANA* KUR ^{URU}*ARZAUWA* tarnatten.
‘Выпустите мор, войну (и) голод на Митанни, Киццувадну и Арцаву’!

[134] В настоящей диссертации я принимаю критику Хокинса [Hawkins 2013a: 32–35], высказанную в адрес моей гипотезы о замещении топонима Лувия топонимом Арцава для исправления двусмысленности, возникшей в результате более ранней писцовой ошибки персеверации (замещения ^{URU}*Luwiyas* на ^{URU}*Luwiyaz* в обсуждаемом параграфе Хеттских законов). Соответствующие рассуждения в монографии [Yakubovich 2010a: 108–109] следует признать необоснованными.

(65) KUB 24.3 ii 32–34 CTH 376.A (NS), Lebrun 1980: 161
nu=ssan hinkan kurur gastan idālun tapassan *ANA* $^{KUR\ URU}$*MITTANNI Ù ANA* ^{URU}*ARZAUWA* tarnatten.
‘Выпустите мор, войну, голод и злую эпидемию на Митанни и Арцаву’!

Предложения (62) и (64) взяты из среднехеттской версии молитвы в честь богини солнца города Аринны, в то время как предложения (63) и (65) извлечены из адаптации той же молитвы, приписываемой Мурсили II. Известно, что царство Митанни занимало значительную часть хурритских земель, и, следовательно, те авторы, которые придерживаются взгляда о том, что обозначения Лувия и Арцава указывают на одну географическую область, могли бы использовать замещение *Hurlas* KUR-*e* в (62) на $^{KUR\ URU}$*MITTANNI* в (63) как типологическую параллель. Однако стоит отметить, что $^{KUR\ URU}$*MITTANNI* появляется уже в пассаже (64), записанном среднехеттским пошибом, так что в этом случае процесс редактирования, как и ожидалось, привел к унификации географической терминологии. В противоположность этому, устранение $^{KUR\ URU}$*KIZZUWATNI*, зафиксированного в (65) и реконструируемого для (63), должно быть, имело политическую мотивировку. Ко времени создания первой версии молитвы княжество Киццувадны, возможно, было вассалом Митанни, а в период, прошедший между компиляцией первой и второй версии, произошла его полная интеграция в империю Хаттусы. В этих условиях упоминание Киццувадны среди противников Хаттусы было бы политически неверным утверждением, и поэтому новый редактор молитвы убрал Киццувадну из списка.

Можно согласиться, что молитва как жанр сильнее подвержена редакционным вариациям, чем свод законов. Тем не менее имеется достаточное число случаев, когда версия Хеттских законов, относящаяся к XIV в. до н. э., демонстрирует подлинные инновации в сравнении с

предшествующей версией древнехеттского периода. Так, KBo 6.2 ii 6 содержит условие: “Если пастух [возьмет] свободную женщину (в жены), она станет рабыней на три года”. Соответствующий отрывок KBo 6.3 ii 25–26 характеризуется другим условием: “Если надсмотрщик или пастух сбежит со свободной женщиной, не уплатив за нее калым, она станет рабыней на три года” [Hoffner 1997: 43]. Причина изменения становится понятной, если рассмотреть предшествующую клаузу KBo 6.3 ii 23–24, охраняющую социальный статус законной жены в смешанном браке и не имеющую аналога в KBo 6.2 [Hoffner 1997: 42]. Если древний редактор текста KBo 6.3 был уполномочен изменить букву и дух законов в тех случаях, где их изначальный смысл был вполне понятен, то нельзя исключать возможность его интерференции, нацеленной на прояснение темного слова[135].

В разделе 4.5 мы увидим, что древнехеттская версия Законов совместима с идентификацией Лувии с Нижней страной более поздних источников. Выше я попытался показать, что версия Законов, относящаяся к XIV в. до н. э., не противоречит этой идентификации. Будет разумным признать, что писец KBo 6.3 был осведомлен о политических связях между Арцавой и Нижней страной, существовавших в его время. Однако было бы неоправданно расширять эту связь на все случаи появления *Arzawa*/*Arzawiya* в хеттских текстах или заявлять, что она должна отражать этническое родство между двумя странами. Арцава была географическим обозначением в широком смысле и обозначением политического образования в узком смысле. В отсутствие ссылки на «язык Арцавы» в доступных источниках нет оснований полагать, что это обозначение было когда-либо связано с определенным языковым сообществом[136].

---

[135] Ср. далее так называемую параллельную версию Хеттских законов (KBo 6.4), содержащую существенные инновации почти в каждой юридической клаузе и снабженную отдельным переводом [Hoffner 1997]. Редакция этого новохеттского текста должна быть отнесена к более позднему времени, чем редакция текста KBo 6.3.

[136] Гипотеза о вторичном характере ассоциации между Арцавой и Лувией, возникшей в тот момент, когда название Лувия уже вышло из активного употребления, была впервые сформулирована в работе [Yakubovich 2008a] и развита в монографии [Yakubovich 2010a]. С тех пор она продолжает оставаться предметом оживленных научных споров. Среди работ, поддержавших данную интерпретацию, можно отметить [Durnford 2013: 49] и [Hawkins 2013b: 4–5].

Недавняя попытка обнаружить обозначение Лувии в египетской передаче, будь она успешной, могла бы иметь влияние на вероятную локализацию этого региона. Два египтолога, Х. Сурозян и Р. Штадельман, как они утверждают, обнаружили этот топоним во фрагменте на камне, который изначально относился к подиуму огромной статуи Аменхотепа III («Колоссы Мемнона»). Этот подиум содержал перечень иностранных земель, которые якобы признавали свое подчиненное положение по отношению к египетскому фараону. Вероятнее всего, Аменхотеп III мог знать о существовании Лувии, если этот регион имел доступ к морю. К сожалению, фотография данного фрагмента, включенная в [Sourouzian, Stadelmann 2005], по-видимому, ставит под сомнение смелые выводы этой предварительной публикации. Рассматриваемый топоним, записанный квазисиллабической транслитерацией, известной как «групповое письмо» и обычно использовавшейся в египетских текстах для передачи иностранных слов, может быть транслитерирован как *ra-ʾa$_2$-wa-na* в системе [Hoch 1994]. Хотя сочетание <ra> могло окказионально использоваться со значением <ru$_x$>, нет свидетельств того, что значение <ʾu$_x$> когда-либо приписывалось <ʾa$_2$> [Hoch 1994: 506, 509]. Таким образом, невозможно согласиться с утверждением, что эта форма “читается *r/lawana* или *r/luwana* и может представлять из себя первую форму записи все еще загадочного народа лувийцев” [Sourouzian, Stadelmann 2005: 82]. Только первое из двух чтений представляется вероятным, и, учитывая, что происхождения расширителя *-na* остается неясным в рамках предложенной гипотезы, требуется очень богатое воображение, чтобы полагать, что эта форма имеет что-либо общее с Лувией[137].

Еще одна новая попытка обнаружить обозначение Лувии в микенских источниках также не представляется убедительной. Видмер [Widmer 2006] интерпретировал микен. *ru-wa-ni-yo* (KN X 7706+8108) как этноним, производный от **Luwano-* ‘Лувия’. Контекст фрагментарной Кносской

[137] Я благодарен Джанет Джонсон (Чикаго) за ее консультацию по чтению этой египетской формы.

таблички не способствует этому заключению, всецело опирающемуся на сравнение с мнимым **r/luwana* из [Sourouzian, Stadelmann 2005]. Если признать, что идентификация египетского *ra-ʾa₂-wa-na* с Лувией является безосновательной, то гипотеза Видмера также должна быть отвергнута. В чисто формальном плане большего внимания заслуживает сопоставление Видмером микен. *ru-wa-ni-yo* с хеттским географическим обозначением ^{URU}*LU-WA-NA*^{KI}, которое относится к городу, расположенному на границе царства Хаттусы и Киццувадны [del Monte, Tischler 1978: 252]. Однако географическая и культурная дистанция между микенским Критом и Центральной Анатолией делает эту последнюю идентификацию также недостоверной. Значение и этимология микен. *ru-wa-ni-yo* остаются неясными.

Другая линия аргументации в пользу лувийского присутствия в Западной Анатолии связана с историей Лидийского царства, которое располагалось в том же регионе в железном веке. Лидийский язык относится к анатолийской семье, но при этом не характеризуется типичными инновациями лувической подгруппы. Следовательно, сторонники языкового доминирования лувийцев в западной части Малой Азии в период бронзового века должны предполагать лидийские миграции в конце II тыс. до н. э. или начале I тыс. до н. э. На данный момент нет ни одного исторического описания подобных миграций, а археологические аргументы в их поддержку, по-видимому, также отсутствуют. Тем не менее в поддержку данной гипотезы были представлены филологические аргументы.

Наиболее цитируемый из этих аргументов связан с новой популярной этимологией географического обозначения Лидии [Beekes 2003a; Gérard 2004; Widmer 2004]. Жерар и Видмер утверждают, а Бекес предполагает, что исконное обозначение страны было **lūda*, в то время как Лидия может рассматриваться как адаптация этого обозначения в греческом окружении, подобно тому как Ликия представляет собой адаптированную форму анатолийского топонима периода бронзового века *Lukka*. Все три автора

опираются на лидийский фонетический закон *y* > *d* / {V, #}_ V [Melchert 1994: 364, см. там же библиографию], что позволяет им реконструировать **lūda* < **lūya-* (Жерар) или **lūda* < **luwida-* < **luwiya-* (Бекес) для истории лидийского (Видмер допускает обе возможности). Единственное различие между двумя производными формами касается относительной хронологии консонантной фортиции и синкопы. Авторы идентифицируют реконструированную праформу **lūya-* (Жерар) или **luwiya* (Бекес) с топонимом *Lu(wi)ya*, зафиксированным в Хеттских законах.

Ван ден Хаут [van den Hout 2003] и Мелчерт [Melchert 2008a] представили независимые аргументы в пользу ранней датировки фонетического перехода *y* > *d*. Ван ден Хаут предположил, что конечная стадия этого перехода отражена в западноанатолийском топониме *Maddun(n)-as(s)a*, а также в западноанатолийских личных именах *Mad(d)un-āni* и (менее вероятно) *Maddu-watta*, все из которых засвидетельствованы в хеттских источниках. Форма того же корня без фонетического перехода, возможно, сохранилась в греческой передаче как Μηον-/Μαιον-, из чего выводится обозначение страны Меония. Мелчерт объяснил микен. *mo-ri-wo-do* ‘свинец’ [Казанскене, Казанский 1986: 66] и греч. μόλυβδος ‘свинец’ как заимствования из лид. **marwiya-* > **marwida-* > **mariwda-* (vel sim.) ‘черный (металл)’. Имеющие ключевое значение промежуточные стадии не засвидетельствованы в обоих случаях, и, следовательно, ни одна из двух этимологий не является полностью убедительной, но фонетически они совместимы друг с другом. Если принять их как рабочие гипотезы, то это бы означало, что переход *y* > *d* должен был произойти ранее, чем в конце бронзового века, поэтому заимствование географического обозначения *Lu(vi)ya* в лидийский должно быть отнесено к еще более ранней эпохе. Подобное заключение также следует из того факта, что топоним Лувия вышел из употребления после древнехеттского периода.

В противоположность этому, топоним Лидия или его когнат, по-видимому, не встречаются в исторических источниках, датируемых ранее

VII в. до н. э. В Илиаде лидийцы не упоминаются, хотя карийцы упоминаются там дважды, меонийцы — 3, мизийцы — 5, пеонийцы — 7, пафлагонийцы — 4, фракийцы — 17 раз, ликийцы — 49 раз [Гиндин, Цымбурский 1996: 229–230]. Геродот (7.74) и Страбон (напр., 13.1.8) открыто говорят о том, что лидийцы ранее назывались меонийцами [Beekes 2003b: 15–16]. Появление обозначения Лидии совпадает по времени с политическими событиями, которые привели к власти династию Мермнадов в этом регионе. Надписи Ашурбанипала упоминают союз, заключенный этим ассирийским царем VII в. до н. э. с *Gu(g)gu*, царем *Luddi*, который может быть надежно идентифицирован с Гигом, царем лидийцев [Pedley 1972: 82–83, см. там же библиографию]. Случаи употребления топонима Лидия в греческих источниках отмечаются начиная с Алкея и Сафо в конце VII в. до н. э. [Beekes 2003b: 48][138].

Другой примечательный факт, касающийся этого топонима, заключается в том, что он полностью отсутствует в местных лидийских надписях, что контрастирует с несколькими свидетельствами: *śfard(V)-* ‘сардиец’ и *śfardẽt-* ‘сардийский’ [Gusmani 1964: 202–203]. Отсутствие свидетельств не означает свидетельство отсутствия, и в этом случае нельзя исключить возможности того, что обозначение Лидии лишь по воле случая не появляется в лидийских текстах. Тем не менее имеющиеся в нашем распоряжении данные вызывают образ определенной этнической или социальной группы **luda-*, которая заняла властные позиции в Сардах вместе с династией Мермнадов и название которой было впоследствии реинтерпретировано в иностранном окружении как более общий этноним *luddu-*/Λύδοι[139]. В любом случае промежуток в тысячу лет между фиксациями

[138] В библейском описании упоминается *lwd* как один из сыновей Шема (Бытие 10.22). Однако, как хорошо известно, окончательная редакция Перечня народов в Книге Бытия 10 не могла быть завершена ранее 650 г. до н. э., поскольку в ней упоминаются *gmr* ‘киммерийцы’ и *’šknz* (неправильная запись вместо **’škwz*) ‘скифы’ — две этнические группы, которые вторглись на территорию Ближнего Востока в разные периоды VII в. до н. э.

[139] Данный сценарий совместим с традиционным сопоставлением между *luddu-*/Λύδοι, лат. *līber* ‘свободный’, греч. ἐλεύθερος ‘свободный’, др.-верх.-нем. *liut* ‘люди’ [ср. Gérard 2004: 129–130]. Главная проблема этой этимологии заключается в отсутствии внутрианатолийских сравнительных материалов.

Лувии и Лидии, в сочетании с доказуемым архаичным характером первого термина и инновативным характером второго, ставит под сомнение важность этого сопоставления для реконструкции этнолингвистической ситуации II тыс. до н. э. [140].

Другой филологический аргумент в поддержку лидийских миграций из Северо-Западной Анатолии был развит в работе [Beekes 2003b: 13–15]. Бекес считает, что ранняя лидийская история передана в замаскированном виде как история мизийцев, которые были северными соседями лидийцев в классический период. Страбон (12.8.3) обсуждает древнее предание, согласно которой мизийцы имели лидийское происхождение, и приписывает этот взгляд Ксанфу Лидийскому и Менекрату Элейскому. Он добавляет, что мизийский язык представляет собой смесь лидийского и фригийского, и помещает прародину мизийцев в область вокруг горы Олимп на северо-западе Анатолии. Последующие мизийские миграции к истоку реки Кайкос связаны, согласно Страбону, с фригийским вторжением в Малую Азию.

Ряд ономастических сопоставлений, рассматриваемых в работе [Beekes 2003b], придают частичную поддержку связи между мизийским и лидийским языками. Так, Δάσκυλος (Дасцил), имя отца Гига, согласно Геродоту (1.8) и Николаю Дамасскому (90), сравнивалось с топонимом Δασκύλειον (Даскилеон), который несколько раз встречается на северо-западе Малой Азии и может также отражать дофригийский пласт топонимики. Фригийская надпись, найденная в Даскилеоне, на южном береге Мраморного моря, упоминает человека по имени Манес [Beekes 2003b: 19]. Идентичное имя обнаруживается в нескольких лидийских надписях [Gusmani 1964: 163][141]. Эти и другие факты подтолкнули Нойманна [Neumann 1999] к тому, чтобы заключить, что “также к северу от Лидии, в Мизии и далее, пожалуй, в

[140] Коль скоро фонетические соответствия между *Lu(wi)ya* и **lūda* являются регулярными, это лингвистическое сопоставление невозможно отвергнуть на формальном основании. Можно предположить, например, что группа лувийцев, депортированных из Лувии и поселенных в центре Арцавы, сохранила свою этническую, но не языковую, идентичность и впоследствии добилась высокого положения. Но не менее правдоподобной выглядит и гипотеза о случайном сходстве двух топонимов, поддержанная в рецензии [Hawkins 2013b].

[141] Однако стоит отметить, что имя Манес также засвидетельствовано в карийской передаче [Adiego 2007: 381].

Троаде господствовал лидийский или близкородственный ему анатолийский диалект вплоть до вторжения фригийцев и других этнических групп, проникших с Балкан". Пока знание мизийского языка ограничено горстью личных имен, зафиксированных в греческой передаче, эта гипотеза не может считаться доказанной, но свидетельству Страбона, вероятно, все же следует отдать предпочтение за неимением доказательств противного.

К тому же имеется аргумент в пользу того, что мизийцы обладали влиянием в регионе, где позднее было образовано Лидийское царство. Яр(и)ри, лувийский правитель Каркемиша, перечисляет *mu-sá-za* (мизийцев), *mu-sá-ka-za* (мушек/фригийцев) и *su+ra/i-za* (жителей Табала[?]) в качестве анатолийских народов, среди которых прославлено его имя [Hawkins 2000, I: 124; Simon 2012]. Если принять, что он перечислил основные анатолийские державы в направлении с запада на восток, то Мизия представляется крупнейшим западноанатолийским политическим образованием того времени. Имеется соблазн отождествить правителей этого государства с династией «Гераклидов», правившей в Сардах в течение 505 лет, пока, согласно Геродоту (1.7), к власти не пришли Мермнады. Переворот Мермнадов, возможно, привел к власти в Сардах лидийцев, хотя Страбон (13.4.5) утверждает, что группы людей, называвших себя мизийцами, продолжали заселять окрестности этого города вплоть до римской эпохи.

В противоположность этому, нет абсолютно никаких оснований считать, что, когда Страбон упоминает миграции мизийцев (12.8.3), он в действительности подразумевает ранние этнические передвижения лидийцев. С логической точки зрения возможно в равной мере и то, что две родственные этнические группы, «пралидийцы» и «прамизийцы», изначально заселяли территории по соседству с западной и северо-западной частями Малой Азии соответственно. События начала железного века поставили мизийцев под владычество фригийцев и поселили их в той части территории, которая исконно была заселена «пралидийцами». Тем не менее греческие историки и географы последовательно различают эти две

этнические группы, в то время как традиция, представленная у Страбона (12.8.3), не идет дальше утверждения об общем происхождении этих двух народов в далекой древности, и даже это дается в виде анекдота, который не одобряется самим Страбоном[142]. Греческие авторы, признающие, что имя лидийцев является инновацией, утверждают, что ранее они назывались меонийцами, как это делает и Страбон в 13.1.8 и 13.4.5. Уже упоминалось, что и меонийцы, и мизийцы появляются в «Илиаде», без ссылок на то, что их имена обозначают одну и ту же этническую группу.

Аргумент в пользу миграций меонийцев к югу также не выдерживает критики. Бекес [Beekes 2003b: 10–13] попытался вернуться к старому сопоставлению Меонии со страной бронзового века под названием *Mā(s)sa* (о ее написании см. [del Monte, Tischler 1978: 265–265]). Он предлагает рассматривать *Mā-(s)sa* как топоним на *-ssa*, подобный, например, *Tarhuntassa*, а также ссылается на [Starke 1997a], где говорится о расположении этой страны на северо-западе Анатолии. Однако ни одно из этих утверждений не является в полной мере обоснованным. Сравнение между *Mā-(s)sa* и */Mā-jones/* покоится на сходстве начальных двухфонемных сочетаний, при этом детали морфологической деривации греческой формы остаются неясными. Вариант *Māsa* встречается значительно чаще, чем *Māssa*, и следовательно, он вряд ли может рассматриваться как упрощенное написание последнего. Если уж отстаивать гипотезу о связи данного топонима с меонийцами, то правдоподобней выглядела бы деривация последних из прилагательного **masa-wann(i)-* [Hawkins 2013b: 10]. Впрочем, последняя интерпретация, как отмечает и сам Хокинс, является чисто спекулятивной, опираясь на неподтвержденное выпадение **s*. Точная идентификация расположения страны Маса также остается предметом

[142] Ссылаясь на этноним *mu-sá-za* в упомянутой выше надписи Яр(и)ри, Штарке [Starke 1997b: 384] утверждает, что “идентификация *Musazza-* с лидийским языком, чье туземное лидийское наименование, впрочем, все еще неизвестно, выглядит весьма правдоподобным”. Однако *Mu-sá-za* является не названием языка, а, скорее, обозначением народа, известного в греческих источниках как мизийцы. Генетическая идентификация их языка — это в любом случае отдельная проблема.

дебатов, при этом равное число аргументов говорят в пользу северо-западной и юго-западной частей Малой Азии [Hawkins 1998: 29–30].

Бекес [Beekes 2003b: 10] в эксплицитном виде выразил мотивацию своих рассуждений, написав: “В последние годы установилось мнение, что на западе Малой Азии в хеттское время говорили на лувийском языке… Конечно, в связи с этим встает вопрос о том, где находились носители лидийского языка”. В трех последних разделах я попытался показать неубедительность аргументов в пользу лингвистического доминирования лувийцев в Западной Анатолии. Если признать, что исходное допущение Бекеса не поддерживается эмпирическими свидетельствами, то больше нет необходимости искать ответ на поставленный им вопрос.

2.6 Этническая принадлежность троянцев

Аргументы в пользу присутствия лувийцев на эгейском побережье никогда не получили бы такой известности, если бы не проблема «языка троянцев». К. Уоткинс и Ф. Штарке особенно выделяются среди тех исследователей, кто в последние десятилетия попытался установить языковые и культурные связи между лувоязычным миром и Северо-Западной Анатолией. Их попытки разожгли интерес к лувийцам со стороны филологов-классиков, который начал было затухать после того, как теория Леонарда Палмера о лувийском субстрате в континентальной Греции была отвергнута. За это Уоткинс и Штарке заслуживают благодарности со стороны других анатолистов, вне зависимости от того, следует ли согласиться с их заключениями.

В то же время необходимо признать, что дискуссии вокруг этнической принадлежности троянцев покоятся на еще менее устойчивом фундаменте, чем дебаты об этническом составе княжества Арцава. В последнем случае можно по крайней мере опереться на небольшой, но цельный корпус местных личных имен и на ряд текстов, которые предположительно

происходят из этого региона. В случае с Северо-Западной Анатолией наши источники ограничены тремя личными именами, тремя теонимами и двумя топонимами, зафиксированными в клинописных источниках бронзового века. Можно обратить внимание на то, что ни один из этих восьми элементов не является в явном виде лувийским или даже лувическим, и большинство из них не поддаются языковой идентификации. Оставшаяся часть информации дополняется греческим поэтическим описанием Троянской войны, чья окончательная редакция, вероятно, относится к периоду, который моложе лежащих в основе нарратива событий на добрых пять веков. Наконец, продолжающиеся раскопки Трои бронзового века до сих пор не дали ни одной монументальной надписи, а эпиграфические источники из Трои ограничиваются одной иероглифической печатью, причем ее владелец не может быть идентифицирован с какой-либо известной исторической фигурой.

В этом разделе я намерен представить обзор основных аргументов, выдвигавшихся за или против обширного присутствия лувийцев в северо-западной части Малой Азии. Этот обзор уместно начать с краткого исторического обзора рассматриваемой территории по анатолийским источникам бронзового века. Я принимаю без дальнейших обсуждений гипотезу, согласно которой топоним *Wilusa*/*Ulusa*/*Wilusiya*, зафиксированный в клинописных текстах, обозначает тот же город (и окружающую область), что и топоним классического периода Ἴλιος, а также то, что два обозначения в конечном счете являются когнатами[143]. В работе [Hajnal 2003: 28–32] рассматривается лингвистический аспект этого сопоставления, в то время как за анализом географической аргументации следует обратиться к работе [Easton et al. 2002: 98–101]. Нужно отметить, что большинство исследователей сейчас поддерживают это отождествление, а несогласные с

[143] Свидетельства об этом топониме см. у [del Monte, Tischler 1978: 484]. Вариант *Wilusiya* ограничен среднехеттскими анналами и является архаическим образованием, сравнимым с *Arzawiya* vs. более позднее *Arzawa*.

ним, как правило, не предлагают альтернативой идентификации для топонима *Wilusa* [ср. Steiner 2007 и Gander 2010][144].

В самом раннем упоминании Вилусы в хеттских исторических источниках она связывается с *Taruisa* — топонимом, который часто сравнивается с классической Троей [ср. del Monte, Tischler 1978: 408]. В анналах Тудхалии I (CTH 142) упоминаются ^{KUR} ^{URU}*WILUŠIYA* и ^{KUR} ^{URU}*TARWIŠA* как два заключительных топонима в списке западноанатолийских земель, составлявших так называемую коалицию Ассувы, разгромленную царем Хаттусы [Carruba 1977: 158]. По моему мнению, следует считать, что эти две территории были соседскими, но не идентичными. Это функциональное различие не имеет аналога в «Илиаде», где Ἴλιος и Τροίη обычно обозначают город и прилегающую территорию соответственно [Güterbock 1986: 40]. В работе [Hajnal 2003: 43] делается правдоподобный вывод о том, что в гомеровском эпосе сохранены обозначения двух соседних топонимов, но сведены воедино их референты [ср. Miller 2014: 13]. Другое вероятное появление топонима *Taruisa* связано с чашей ANKARA [Hawkins 1997, 2005a]. Этот артефакт, имеющий неясное происхождение и датировку, содержит упоминание похода некоего Тудхалии против страны *Tara/i-wa/i-za/i*[145].

Напротив, топоним *Wilusa* появляется в большем числе документов, из которых лучше всех сохранен и датирован вассальный договор, заключенный между Муваттали II, царем Хаттусы, и Алаксанду, князем Вилусы (CTH 76,

---

[144] Примером недавней работы, пронизанной скепсисом по поводу отождествления Илиона и Вилусы, является монография [Gander 2010]. Автор приходит к выводу о том, что земли Маса, Каркиса и Вилуса должны располагаться где-то неподалеку от Лукки-Ликии, считая их точное отождествление проблематичным (стр. 181).

[145] Гипотеза Хокинса, согласно которой надпись ANKARA является древнейшим лувийским иероглифическим текстом, относящимся к началу XIV в. до н. э., не нашла поддержки исследователей. В работе [Yakubovich 2008c: 14–16] я отстаиваю идею, что датировка надписи ANKARA должна отличаться от времени создания чаши. Это позволяет согласовать орфографию текста ANKARA, характерную для XIII в. или более позднего периода, с явным упоминанием в этом тексте похода Тудхалии I на Т(а)руису в начале XIV в. до н. э. Стоит, однако, отметить, что отождествление иероглифического **Tarwiza* и клинописного *Taruisa* не может рассматриваться как полностью достоверное. Большинство недавних исследователей текста ANKARA склоняются к ее датировке XII в. или еще более поздним периодом и отделяют упоминаемого в нем Тудхалию от Тудхалии I [Simon 2009, Freu 2010–2011, Орешко 2012, Giusfredi 2013]. Особняком стоит гипотеза Дернфорда, который, как и я, разделяет время создания чаши и нанесения на нее надписи, допуская тем самым отсылку в надписи к экспедиции Тудхалии I против Тарвисы, пусть и понимаемой как полулегендарное событие [Durnford 2010].

недавно переведен в работе [Beckman 1999: 87–93]). В исторической преамбуле к этому тексту содержится утверждение о якобы подчиненном положении Вилусы по отношению к Хаттусе в древнехеттский период. Достоверность этой информации весьма сомнительна, потому что в той же преамбуле (если она верно реконструирована) заявляется, что Вилуса в прошлом всегда была в мирных отношениях с Хаттусой, что явно опровергается документом CTH 142. С другой стороны, имя царя Куккунни, чьи дружеские отношения с Суппилулиумой I упоминаются в тексте договора для подтверждения длительного мирного сосуществования между Хаттусой и Вилусой, вероятно, является аутентичной деталью. К сожалению, последующая часть преамбулы, которая могла содержать повествование о (вторичном) покорении Вилусы хеттами, почти полностью утеряна. По всей вероятности, то, что князьям Вилусы пришлось принять вассальный статус, стало результатом западных кампаний Мурсили II.

Ранний период правления Муваттали II отмечен хеттским походом в Северо-Западную Анатолию. Очевидно, он был предпринят по просьбе Алаксанду, чтобы помочь тому в борьбе с противниками. В дополнение к имеющемуся в договоре Алаксанду фрагментарному описанию похода, о нем также известно из письма, посланного князем страны реки Сеха Манаба-Тархунта в Хаттусу (CTH 191). Манаба-Тархунта информирует своего адресата, что хеттская армия прошла через его территорию по направлению к Вилусе, а затем упоминает о своей болезни, которая, предположительно, является причиной его неучастия в этом походе [Houwink ten Cate 1985: 38]. Данный текст представляет ключевые аргументы в пользу идентификации Вилусы с Троей как территории, лежащей за страной реки Сеха, но он бесполезен в плане определения противника Хаттусы. Отрывок из «Письма о Тавагалаве» (CTH 181) может навести на мысли по данному поводу. Пытаясь убедить царя Аххиявы прекратить поддержку повстанца Пиямараду, царь Хаттусы призывает его подумать о следующем: “Царь страны Хаттусы и я враждовали из-за города Вилуса, но он убедил [меня относительно этой

проблемы], поэтому мы помирились, и вражда нам заказана" [Cohen 2002: 126–127].

Большинство исследователей сейчас придерживаются мнения о том, что автором данного письма был Хаттусили III [Bryce 2005: 290, там же ссылки]. Таким образом, сложно принять, что «проблема города Вилусы» относится к тому же конфликту, что и упомянутый в договоре Алаксанду. Однако рассмотренный фрагмент недвусмысленно свидетельствует, что правители Аххиявы принимали участие в делах Вилусы и, вполне возможно, в некоторых случаях вмешивались в эти дела. Судя по тому, что известно об истории других западноанатолийских государств, вмешательство могло принимать форму поддержки претендентов на трон Вилусы и делегитимизации правящего князя. Один из таких эпизодов, вероятно, имел место в царствование Муваттали II и потребовал похода хеттской армии, тогда как другой случился еще раньше в царствование Хаттусили III и был решен дипломатическими средствами[146].

Еще один переворот, имевший место в Вилусе, упомянут в «Письме о Милавате» (CTH 182). Царь Хаттусы, отождествляемый сейчас с Тудхалией IV, убеждает своего вассала (не идентифицированного) передать ему князя Валму, которого следовало восстановить в правах на трон Вилусы и который занимал этот трон ранее [Beckman 1999: 145; ср. Hawkins 1998: 19]. Можно усомниться, что политическая борьба в удаленной Вилусе привела бы к прямому вмешательству хеттского правителя, если не принять, что противники Валму опирались на иную региональную власть и/или получали поддержку с ее стороны. Необходимо следовать точке зрения Брайса [Bryce 2005: 361], который рассматривает этот эпизод как еще один возможный случай вмешательства Аххиявы в западноанатолийские дела. Век «великой

[146] Гипотеза Брайса [Bryce 2005: 225] о том, что Муваттали II отправил армию на Вилусу в ответ на нападение Пиямараду, опирается на весьма специфическое понимание текста CTH 191 (ср. [Houwink ten Cate 1985: 50–51], где указываются доступные варианты). По моему мнению, неочевидно и даже маловероятно, что начальная часть письма, упоминающая поход Хаттусы на Вилусу, а также его последующая часть, посвященная экспедиции Пиямараду против Лацпы, должны рассматриваться как одно логически связанное повествование. Ср. аналогичные замечания у Брайса [Bryce 2006: 184–185].

игры», имевшей место между Хаттусой и Аххиявой в западной части Малой Азии, где центральное значение имела Вилуса, вероятно, представляет по крайней мере частичный исторический фон для эпической традиции, получившей кульминационное выражение в гомеровском эпосе и киклических поэмах.

В последний раз Вилуса упоминается, по-видимому, в плохо сохранившемся письме к князю Пархуитте (CTH 186.4), которое вкратце рассматривалось в разделе 2.2. Точная датировка этого документа невозможна, но в нем создается образ ослабленного хеттского государства, которое должно льстить своим бывшим вассалам с помощью приветственных формул, выражающих равный социальный статус. Пошиб письма совместим с предположением о том, что мы имеем дело с поздним новохеттским пошибом. Что касается содержания, то можно сказать лишь, что Вилуса фигурирует здесь как место насильственных действий. Учитывая состояние политической дезинтеграции и анархии, которым характеризовался весь Ближний Восток в конце бронзового века, это, конечно, не вызывает удивления.

Договор Алаксанду является единственным хеттским текстом, который содержит информацию о религии Вилусы. Список божественных свидетелей из этого договора, представляющих троянцев (KUB 21.1 iv 27–28), открывается вилусским армейским богом грома (*ŠA* ^{URU}*WILUŠA* ^{d}U KARAŠ), это божество имеет аналог в государственном культе Хеттской империи[147]. Имя второго бога утеряно в лакуне, а имя третьего бога сохранено как …] ˹*x*˺-*ap-pa-li-u-na-aš* (где знак *x* заканчивается на двойном вертикальном штрихе, что позволяет соотнести его с чтением <a>). За этим следует стереотипное перечисление мужских божеств, женских божеств, гор, рек и родников (два последних элемента реконструируются). Список заканчивается упоминанием ^{d}KASKAL KUR *ŠA* ^{URU}*WILUŠA*. После того как

[147] Текстуальные свидетельства о ^{d}U KARAŠ см. у [van Gessel 1998, II: 782–783]. Хеттские тексты, в которых встречается это божество, включают в себя договор с Хуккану и анналы Мурсили II.

археологи Трои открыли пещеру, ведущую к находящемуся под городом резервуару с водой, многие исследователи приняли идентификацию ^{d}KASKAL KUR с «подземным потоком», что впервые предположил [Gordon 1969] (ср. [Erbil, Mouton 2012: 59 и сноска 22]).

Как уже было упомянуто выше, ни одно из имен собственных, связанных с Вилусой в хеттских текстах, не имеет внятной лувийской этимологии. В противоположность этому, два из них обладают вероятными греческими когнатами. Начиная с 1920-х гг. имя *Alaksandu*, князя Вилусы, сопоставляется с греч. Ἀλέξανδρος (Александр, букв. ‘защитник людей’)[148]. Связь между теонимом *Appaliunas* и греч. Ἀπόλλων < Ἀπέλλων (Аполлон) подробно рассмотрена в работе [Beekes 2003c]. Автор приходит к выводу, что в этом случае мы имеем дело с обратной ситуацией, а именно с заимствованием исконного анатолийского теонима в греческий язык. В целом это сопоставление следует считать менее надежным, чем предыдущее, поскольку нельзя быть уверенным в том, что данный теоним сохранен в клинописи полностью. Если же это все-таки так, то не очень понятно, почему раннегреческая форма **apelyon-*, реконструированная Бекесом на основе дорийского Ἀπέλλων, киприотского *to-i-a-pe-i-lo-ni* (ICS 215, b 4) и микенского [*a*]-*pe-ro$_2$-ne* (KN E 842.3), не могла привести к троянскому *Appaliuna-* с теми же вокалическими замещениями, которые видны в случае *Alaksandu*[149]. Необходимо иметь в виду, что Аполлон является общегреческим божеством, в то время как …] ˹*x*˺-*ap-pa-li-u-na-aš* ограничен единственным анатолийским регионом. Также легче представить себе, что атематическая основа **apelyon-* была заимствована с вторичной тематизацией, чем принять, что прежнее тематическое имя было

[148] Об истории дебатов вокруг этой идентификации, которые были прекращены после открытия имени Алаксанду в микенских источниках, см. [Szemerényi 1998: 276–285].

[149] Уоткинс [Watkins 1995: 149] справедливо предполагает, что Аппалиунас мог быть личным богом Алаксанду. Полное обсуждение работы [Beekes 2003c] выходит за рамки данной диссертации. Однако хотелось бы отметить, что я не испытываю антипатию к точке зрения о субстратном происхождении греческого имени Аполлона. Я лишь полагаю, что в отсутствие независимых свидетельств следует противиться соблазну отождествить догреческий субстратный язык и язык Вилусы.

заимствовано в греческий в качестве консонантной основы [ср. Miller 2014: 14][150].

Эти замечания, конечно, не подразумевают, что троянцы были этническими греками. Личные имена могли быть заимствованы по многим причинам, включая престиж, и Алаксанду мог быть рожден в смешанном браке, как предполагается в монографии [Latacz 2004: 118]. Заимствование престижных иностранных божеств также является вполне тривиальной вещью, ср., напр., культ Аполлона среди римлян. Мой тезис не выходит за пределы утверждения, что если кто-то хочет использовать скудные свидетельства из области ономастики, доступные благодаря клинописным источникам, для обсуждения «языка троянцев», то лувийский язык не представляется наиболее вероятным кандидатом. Имея в виду это заключение, можно перейти к анализу аргументов в пользу связи между лувийцами и троянцами, представленных в работах [Watkins 1986] и [Starke 1997a].

Работа [Watkins 1986] создана на основе доклада, подготовленного для одной из конференций в ответ на просьбу рассмотреть с позиций лингвиста и индоевропеиста проблему «языка или языков троянцев» [Watkins 1986: 45]. Откровенно говоря, формулировка вопроса в данном случае предопределила содержание ответа. Уоткинс должен был использовать отрывочные свидетельства, которые, как ему было заранее известно, не способствуют окончательному решению троянской проблемы и, к его чести, он выявил их неубедительный характер. Таким образом, представленные ниже замечания направлены не столько против выводов, представленных Уоткинсом, сколько против взглядов некоторых его последователей, которые видят в его выводах доказанную гипотезу.

[150] Вероятно также, что имя *Kukunni* является адаптацией греч. κύκνος ‘лебедь’ [Güterbock 1986: 34–35]. И вправду, некий Кукнос известен греческой традиции как союзник троянцев, убитый Ахиллом [Watkins 1986: 49]. Однако не менее правдоподобна гипотеза, что данное имя имеет анатолийское происхождение, а его ассоциация с греческим обозначением для слова ‘лебедь’ объясняется народной этимологией.

Точкой отсчета для размышлений Уоткинса является анализ нескольких троянских личных имен, встречающихся в «Илиаде». Ларош [Laroche 1972: 126, сноска 32] уже ранее предполагал, что имя троянского царя Πρίαμος (Приам) может представлять собой иностранную передачу лувийского *p(a)riya-muwas*, букв. ‘самый сильный’ (о фонетических деталях см. [Starke 1997a: 458a]). К сожалению, это сопоставление остается изолированным, и оно контрастирует с несколькими именами знатных троянцев, имеющих прозрачные греческие этимологии. Именно по этой причине Ларош сразу отказался от своего предположения на методологических основаниях. Однако Уоткинс заявил, что он обнаружил косвенное подтверждение предложенной Ларошем этимологии имени Приама в «анатолийском» имени его сына Париса, также известного как Александр. Он истолковал имя Πάρις (Парис) как гипокористическое образование, соответствующее имени хеттского писца *Pari*-LÚ [Laroche 1966: §942]. Хотя негреческий характер имени Парис довольно вероятен, его этимология, представленная Уоткинсом, выглядит неубедительной. Достаточно обратить внимание на то, что не дается никакого объяснения вставной гласной в Πάρις на фоне ее отсутствия в Πρίαμος.

Другое троянское имя, рассмотренное Уоткинсом [Watkins 1986], — это Ἄσιος Ὑρτάκου υἱός (N 771). Уоткинс справедливо связывает Ἄσιο- с микенским прилагательным *a-si-wi-jo* [Казанскене, Казанский 1986: 145], опираясь на предположение о том, что обе лексемы произведены от западноанатолийского топонима, засвидетельствованного в клинописных источниках как *Assuwa*. Что касается отчества Ὑρτάκου, то он предложил сопоставление с хетт. *hartagga-* ‘медведь’ [Watkins 1986: 54]. Вне зависимости от того, верен этот анализ или нет, мне не кажется, что он проливает свет на лувийско-троянские связи. Этимология топонима *Assuwa* остается неясной[151], в то время как Ὑρτάκου не может являться лувийским

[151] Штарке [Starke 1997a: 475, сноска 93] связывает Ассуву с лув. *āssu-* ‘лошадь’. Однако данная этимология проблематична с фонетической точки зрения, поскольку лувийским обозначением для слова ‘лошадь’, по-видимому, было *azzu-* [ср. Melchert 1987: 202].

когнатом хетт. *hartagga-* < и.-е. **xr̥tk'o-* ‘медведь’, поскольку индохеттские палатализованные велярные взрывные не отражаются как взрывные в лувийском. Таким образом, лувийская этимология имени царя Приама по-прежнему остается изолированной, и сегодня можно в полной мере подписаться под сомнениями Лароша на ее счет.

Другой аргумент в пользу родства лувийцев и троянцев, представленный Уоткинсом [Watkins 1986: 58], касается наличия в договоре Алаксанду неявной ссылки на Вилусу как на одну из арцавских земель (ср. [Beckman 1999: 90 (A iii 31 ff.)]). Однако попытки сделать этнолингвистические выводы из этого решения представляются натянутыми, если принять аргументы в пользу лингвистически смешанного характера населения Арцавы, представленные в разделе 2.3[152]. Проще предположить, что цари Хаттусы идентифицировали Арцаву с определенным географическим регионом, а не с этнической группой.

Последнее свидетельство, которое, по-видимому, ответственно за высокий индекс цитирования статьи [Watkins 1986], — это обнаружение топонима *Wilusa* в строке из «Песен Истанувы» (66). Уоткинс также предположил, что тот же топоним может быть реконструирован в примере (67), чья начальная строка явно содержит поэтическую формулу, похожую на (66). С точки зрения современных знаний, последнее предположение представляется менее правдоподобным, поскольку предшествующая часть CTH 766, содержащая заговор для беременных, происходит из района Киццувадны. В противоположность этому, «Песни Истанувы» отражают устную традицию северо-западной части лувоязычной территории, которая находилась довольно близко к Трое. Конечно, весьма разочаровывает то, что изолированные поэтические строки не позволяют сказать, были ли герои песни троянцами, каковы было направление их путешествия или цель визита. Как бы то ни было, лексическая идентификация, предложенная Уоткинсом,

[152] Иначе у Брайса [Bryce 2006: 120]: “Что Вилуса не именуется последовательно арцавским царством, не обозначает того, что она не рассматривалась как постоянный член арцавской группы, как и не делает менее правдоподобным тезис о наличии значительного лувийского элемента в ее населении”.

свидетельствует о существовании контактов между жителями Вилусы и группами лувийского населения, жившего вдоль берегов реки Сахирия.

(66) KBo 4.11 rev. 46, CTH 772.1 (NS), Starke 1985: 341
ah-ha-ta-ta a-la-ti a-ú-i-en-ta ú-i-lu-ša-ti
'Они пришли из далекой[?] Вилусы'[153].

(67) KUB 35.103 rev. 11–14, CTH 766 (MS), Starke 1985: 223

a-a-la-ti-˹it˺-ta a-ah-ha LÚ-is a-ú-i-ta [	'Человек пришел издалека (…)
GÌR.MEŠ-ta-du tar-ú-e-ya i-iš-ša-ra-d[u	Его ноги деревянные[?], его руки …
du-ú-wa-za-an ti-ya-am-mi-in du-ú-pí-t[a	Он ударил по широкой земле
ša-ar-ra i-˹x˺-la tar-ši-i-ta	Он *tarsi*-л вверх X'.

Мы считаем, однако, что представленные выше примеры имеют не больше релевантности для определения родного языка (родных языков) жителей Вилусы, чем другие соображения, высказанные в работе [Watkins 1986]. Является ли значительная (по сути, главная) роль Трои в гомеровском эпосе убедительным аргументом в пользу греческой этничности троянцев? Ответ должен быть отрицательным, несмотря на то что «Илиада» изображает Гектора и нескольких других троянских персонажей с большой симпатией, и несмотря на ряд сцен, в которых ахейцы общаются со своими троянскими противниками без переводчиков. Имеется достаточно причин подписаться под осторожным заключением Уоткинса [Watkins 1986: 62]: "Если лувийцы обладали песней или эпосом о Вилусе, отсюда не следует, что в Вилусе говорили на лувийском языке".

[153] Относительно интерпретации лув. *ahha* как пространственного наречия см. [Yakubovich 2012], иначе [Melchert 2013c]. Штарке [Starke 1990: 603] предпочитает интерпретировать *al(i)-* в этом фрагменте как 'море', что представляется маловероятным, поскольку контекстный анализ говорит в пользу адъективного употребления *al(i)-* [ср. Watkins 1995: 144–145]. Анализ Уоткинса, интерпретирующего *al(i)-* как 'крутой, глубокий', также не представляется вполне убедительным, поскольку круг значений значение 'далекий, чужой' также является вполне уместным для всех случаев употребления данного прилагательного в лувийском корпусе. Решающее значение для предпочтения интерпретации 'далекий, чужой' играют этимологические соображения. Я связываю лув. *al(i)-* 'далекий' с ликийским префиксом *ala-*, выделяемым в лексемах *ala-ha-* 'перекладывать' и *ala-da/e-hali-* 'перенос', и, в конечном итоге, с и.-е. **alyo-* 'другой'.

Другой широко цитируемой статьей, в которой рассматриваются аргументы в пользу лувийского происхождения троянцев, является работа Штарке [Starke 1997a]. Стимулом для ее написания стало обнаружение в Трое во время сезона раскопок 1995 г. бронзовой печати с анатолийской иероглифической надписью, которую, впрочем, невозможно идентифицировать как лувийскую на лингвистических основаниях. Поскольку за весь предшествующий в. раскопок в Трое не удалось обнаружить догреческих эпиграфических памятников, можно понять сенсационный характер этой находки для археологического сообщества. В то же время вполне очевидно, что открытие изолированной надписи, сделанной на легко переносимом объекте и не содержащей информации о месте изготовления, мало говорит о языке региона, в котором она была обнаружена. Так, четыре печати с анатолийскими иероглифами были найдены на территории Израиля, но Зингер [Singer 2006a: 738–739] не увидел в этих находках доказательства существования устойчивых групп лувийского населения в Ханаане. Ханаанские печати никогда не рассматривались как сенсационные открытия, поскольку гораздо большее число письменных памятников на семитских языках уже пролили свет на этнолингвистическую ситуацию в Палестине периода бронзового века. В случае Трои, где подобные свидетельства отсутствуют, открытие 1995 г. было чрезмерно раздуто и инициировало повышенный интерес к исследовательским вопросам, для столкновения с которыми ученые были плохо подготовлены.

По моему мнению, главное достоинство статьи Штарке заключается в рассмотрении политической истории Анатолии периода бронзового века. Политические связи между Вилусой и Хеттской империей, подробно рассмотренные в работе [Starke 1997a] и вкратце проанализированные в начале этого раздела, дают достаточное объяснение появлению иероглифической печати в Трое. Попытки автора делать заключения о языковой ситуации в Вилусе и на прилегающей территории менее убедительны. Многие аргументы Штарке повторяют аргументы Уоткинса

[Watkins 1986], и нет необходимости обращаться к ним еще раз. Однако следует рассмотреть значимость чередования между формами *Wilusa* и *Wilusiya*, которые обнаруживают параллель в виде аналогичного варьирования между формами *Arzawa* и *Arzawiya*. Варианты, снабженные суффиксом *-iya-*, являются в обоих случаях более архаичными и, согласно Штарке, должны рассматриваться как посессивные прилагательные «вилусский» и «арцавский» соответственно. В противоположность этому, в лидийском языке, на котором говорили в Западной Анатолии в начале I тыс. до н. э., использовался другой посессивный суффикс *-l(i)-*.

Я рассматриваю аргумент Штарке как важный показатель лувийского посредничества в контактах Хаттусы с Западной Анатолией. Следует заключить, что на более ранней фазе этих контактов хетты имели поверхностные знания об Арцаве и Вилусе и, как следствие, заимствовали иностранные обозначения для соответствующих стран. После того как контакты стали более тесными, носители хеттского языка усвоили верные обозначения вассальных территорий. Подобным образом традиционная романизация китайской столицы *Peking* основывается, вероятно, на кантонском произношении этого топонима [pakkiŋ] и отражает словоупотребление китайской почтовой системы, управлявшейся британцами из Гонконга в XIX в.е. Современная романизация *Beijing* опирается на мандаринскую норму [peitʃiŋ] и отражает осведомленность англоговорящих об официальном языке КНР, на котором также говорят и в китайской столице.

Роль лувийцев в передаче хеттам западноанатолийских топонимов не должна никого поражать, если вспомнить, что лувийцы населяли Нижнюю страну и, таким образом, были западными соседями хеттов. Я не могу следовать априорному утверждению Штарке [Starke 1997a: 459a], что лувийский суффикс прилагательного *Wilus-iya* должен отражать язык троянских послов, прибывших в Хаттусу. В самом деле, единственная фиксация этого варианта в хеттском корпусе встречается в контексте

военного урегулирования конфликта, в то время как дипломатические документы последовательно дают более новое написание *Wilusa*! Учитывая множество возможных сценариев того, как хетты могли изначально расширять свои географические познания, лучше не спекулировать на эту тему. Но ограниченные свидетельства в нашем распоряжении предполагают, что дипломатический обмен между Вилусой и Хаттусой способствовал скорее устранению лувоидной формы, чем ее распространению. Таким образом, форма *Wilusiya* не может сказать ничего о языке северо-западной части Анатолии.

Последняя часть работы [Starke 1997a] посвящена различиям в социальной организации греков и троянцев. Штарке подчеркивает «семейственность» представления троянской аристократии в Илиаде, где очень большое число защитников города изображаются как кровные и некровные родственники Приама. Близкой параллелью к этому положению дел является квазисемейная структура двора Хаттусы, где многие официальные лица носили звание DUMU.LUGAL ‘сын царя’ [Bryce 2002: 27; ср. Beal 2004: 149]. Строго говоря, неизвестно, характеризовались ли аналогичной структурой дворы Киццувадны и Арцавы. Однако важно, что, даже если дела обстояли именно так, все равно нет причин утверждать, что ведущая роль большой княжеской семьи в государственных делах была свойственна именно лувийцам как этнической группе внутри Анатолии. Можно легко подписаться под финальным утверждением Штарке, что “гомеровского мира очевидно не существует, по крайней мере в Илиаде, — скорее, Гомер жил на стыке двух миров — греческого и анатолийско-*лувийского*” [Starke 1997a: 466] — исключая последнее слово, которое здесь выделено курсивом.

Выводы из данного раздела являются преимущественно негативными. Нужно открыто заявить о том, что моя оппозиция теориям, связывающим жителей Вилусы с лувийцами, не предполагает наличия лучшего кандидата на «язык троянцев». Как фракийская гипотеза Гиндина и Цымбурского

[Гиндин, Цымбурский 1996], так и лидийская/мизийская гипотеза Нойманна [Neumann 1999], опираются преимущественно на анализ троянских личных имен и топонимов, засвидетельствованных в греческой передаче. Поскольку и фракийцы, и лидийцы/мизийцы проживали, по-видимому, в северо-западной части Малой Азии в начале железного века, невозможно сказать, отражает ли появление соответствующих имен собственных в гомеровском эпосе и других греческих источниках историческую память о бронзовом в. или является более поздним наслоением[154]. То же самое, конечно, справедливо для большинства греческих троянских имен, таких как Гектор, Андромаха и Деифоб[155]. С теоретической точки зрения, лувийская гипотеза имеет одно потенциальное преимущество перед своими конкурентами. Если бы удалось на самом деле показать, что значительная часть гомеровских имен троянцев является лувийской, этот пласт точно должен бы быть архаичным, поскольку ни один греческий рапсод начала I тыс. до н. э. не имел причин вставлять их в текст эпоса. К сожалению, единственным именем из этой группы, для которого предложена правдоподобная лувийская этимология, является имя Приама, и даже эта этимология предполагает гипокористическое сокращение[156].

---

[154] Вместе с тем, следует отметить наличие многочисленных эпонимов фракийских городов в генеалогии Энея [Гиндин, Цымбурский 1996: 192]. Поскольку в дошедшем до нас тексте «Илиады» Эней никак не связан с Фракией, данный набор имен, вероятно, следует интерпретировать как архаизм. Неясно, однако, восходит ли он к бронзовому в.у или отражает переселение фракийцев в Малую Азию после системного коллапса в данном регионе, имевшего место в XII в.

[155] Этот анализ опирается на правдоподобное, но недоказанное предположение о том, что ядро повествования «Илиады» отражает исторические события позднего бронзового века (см. актуальное обсуждение у [Hajnal 2003: 54–59]). Если считать, что автор VIII в. до н. э. использовал устаревшие географические реалии и архаические поэтические формулы для описания фиктивных событий, то этим, конечно, будет поставлена под сомнение сама релевантность гомеровского эпоса для этнолингвистических реконструкций.

[156] Еще одна этническая группа, являющаяся возможным кандидатом на роль населения Вилусы в бронзовом веке, — это этруски. Геродот (1.94) рассказывает об вызванном голодом переселении этрусков с Северо-Западной Анатолии в Италию. Эта история находит подтверждение в сходстве этрусского языка с языком надписи, обнаруженной на Лемносе в 1884 г. Бекес [Beekes 2003b], у которого дается наиболее современная попытка доказать анатолийское происхождение этрусков, предполагает, что их миграция может быть связана с происхождением легенды о бегстве группы троянцев в Италию, которая лучше всего известна из «Энеиды» Вергилия. Тем не менее автор разумно воздерживается от прямого отождествления троянцев и этрусков, поскольку каких-либо лингвистических оснований такое отождествление не имеет. Альтернативную интерпретацию геродотовской легенды о происхождении этрусков см. в работе [Oettinger 2010].

В принципе можно согласиться с Брайсом [Bryce 2006: 120] относительно того, что не было приведено ни одного позитивного свидетельства, которое противоречило бы идее лувийского присутствия в Вилусе периода бронзового века. Но и эмпирическая поддержка для этой гипотезы отсутствует. Теперь, когда были ясно представлены различные взгляды на этническую принадлежность троянцев, а также показана их ограниченность, необходимо усвоить урок из этой дискуссии, который (по другому поводу) афористично выразил Витгенштейн: о чем невозможно говорить, о том следует молчать. Для проведения исследования в этой области требуется дополнительная информация.

2.7 Ликийцы в Западной Анатолии

Одной из задач настоящего раздела является восстановление баланса после пессимистических заключений предыдущего раздела. Хотя «Илиада» и не подтверждает наличие лувийцев в Трое, она все же предоставляет ограниченные свидетельства в пользу присутствия отдельных групп лувического населения в Троаде. Несмотря на то что данная тема лишь косвенно связана с основной темой настоящей диссертации, которая посвящена лувийцам как таковым, обратиться к ней все же необходимо, поскольку другие исследователи уже использовали соответствующие аргументы при обсуждении мнимых лувийских миграций.

Главная тема этого раздела — это идентичность гомеровских ликийцев, группы союзников троянцев, упоминаемой в «Илиаде» чаще, чем карийцы, меонианцы, мисийцы, пеонианцы, пафлагонийцы и фракийцы вместе взятые. Брайс [Bryce 2006: 146] справедливо отмечает, что эпос не содержит правдоподобного сценария, который бы позволил переместить этих агрессивных воинов из исторической Ликии, находившейся вдали от театра эпических военных действий. К этому необходимо добавить, что эпические ликийцы, по-видимому, разделяются на группы в соответствии со страной

своего происхождения. В то время как большая группа, возглавляемая Главком и Сарпедоном, очевидно, прибыла из южноанатолийского региона, известного в классический период как Ликия и поддающегося идентификации благодаря названию реки Ксанф (напр., Z 172), другой ликийский воин, Пандар, описывается как житель Зелеи, города на северо-западе Анатолии (B 824–827, Δ 91, 103). Ни значительная роль ликийцев в «Илиаде», ни их гетерогенное происхождение не имеют очевидного смысла в историческом контексте классического периода. Следовательно, необходимо признать, что эта информация отражает более раннюю геополитическую ситуацию [ср. Гиндин, Цымбурский 1996: 234–237].

Данную противоречивую информацию пытались объяснить многие филологи, начиная с греческих схолиастов, но открытие анатолийских текстов периода бронзового века придало этим дебатам новое измерение. Ряд исследователей, по их мнению, обнаружили в хеттских источниках подтверждение ликийского присутствия в Северо-Западной Анатолии. Так, в работе [Macqueen 1968: 175] была предложена идентификация гомеровских ликийцев с народами лукка из клинописных источников, которые он на независимых основаниях попытался локализовать недалеко от Трои. Гиндин и Цымбурский развили эту идею, высказав предположение, что гомеровские ликийцы занимали территории на западе Малой Азии в период бронзового века, а впоследствии мигрировали в Ликию, сохранив, однако, свой язык, известный сегодня как ликийский Б [Гиндин, Цымбурский 1996: 243–245]. В работе [Jenniges 1998] также подтверждается, что в «Илиаде» есть упоминание об обширных землях *Lukka*, но автор предлагает искать их в Киликии, Лидии или Ликаонии. Шимон допускает существование двух различных земель Лукка, одна из которых расположена в Юго-Западной Анатолии, а другая — в районе Вилусы [Simon 2006: 321–322]. Брайс, принимая исконную связь между Сарпедоном и Луккой/Ликией, считает, что ликийское происхождение Пандара является более поздней интерполяцией, отражающей миграции начала железного века, когда некие другие

этнические группы двигались в юго-восточном направлении [Bryce 2006: 137, 144–150]. Дискуссионный характер происхождения «гомеровских ликийцев» требует свежего взгляда на историю и географию земель Лукка.

Упоминания страны Лукка в хеттских текстах суммированы в [del Monte, Tischler 1978: 249–250], и большинство из них подвергнуты детальному анализу в монографии [Gander 2010]. Самое раннее свидетельство об этом регионе связывают с «Анналами Тудхалии I» [Bryce 2003: 74]. Первый сохранившийся топоним в списке союза Ассувы, который уже упоминался в предыдущем разделе, это …] *uq-qa* (KUB 23.11 ii 14, [Carruba 1977: 158]). Поскольку этот список заканчивается странами *Wilusiya* и *Taruisa*, восстановление [*L*]*ukka* было бы удивительным подтверждением реальности «троянской Ликии», предполагаемой родины Пандара. Подобное восстановление, однако, не является единственно возможным или даже наиболее правдоподобным. В анналах Арнуванды I, сына Тудхалии I, дважды упоминается другая неизвестная страна *ar-du-uq*[… в связи с нападением на Арцаву, которое этот царь предпринял вместе со своим отцом (KUB 23.21 obv. 18, 21 [Carruba 1977: 166, 168]). С формальной точки зрения можно реконструировать топоним *Arduqqa* на основе *ar-du-uq*[и]*uq-qa* [del Monte, Tischler 1978: 40, см. там же библиографию], а пространственная и временная близость событий, описанных в двух отрывках, способствует тому, чтобы предпочесть эту реконструкцию вместо [*L*]*ukka* в KUB 23.11 [ср. Starke 1997a: 456a, сноска 91].

Первое бесспорное упоминание Лукки в хеттских источниках имеет место в среднехеттской молитве к богине солнца города Аринны, позднее адаптированной Мурсили II (CTH 376.C = KUB 24.4)[157]. В этом источнике Лукка упоминается наряду с Араванной, Каласпой и Пидассой как земля, ставшая независимой и переставшая платить дань Хаттусе [Lebrun 1980: 162]. Это заявление не следует воспринимать слишком буквально, поскольку

[157] Брайс [Bryce 2003: 75], по-видимому, не придает значения различию между молитвой Мурсили II богине солнца города Аринны (напр., CTH 376.A) и ее среднехеттским прототипом. Адекватная оценка взаимоотношений между двумя текстами дана в работе [Singer 2002: 44–45].

правители Хаттусы имели склонность считать территории соседей своими историческими владениями. Тем не менее этого достаточно, чтобы показать, что Лукка не была частью империи Хаттусы во время составления CTH 376.C. Поскольку другие земли в этом отрывке сгруппированы с Луккой на основе своего мятежного характера, а не взаимной географической близости, текст KUB 24.4 бесполезен для анализа расположения Лукки.

Аккадское письмо EA 38, отправленное царем Аласии (Кипра) фараону Эхнатону, современнику Суппилулиумы I, содержит больше интересной географической информации. Царь Аласии жалуется на ущерб, который принесли его государству набеги «страны Лукка». Очевидной целью этого письма была попытка умиротворить египетского фараона, который мог обвинить своего корреспондента в поддержке и содействии Лукке в ее набегах на Египет [Bryce 2003: 75; Bryce 2005: 335]. Территория классической Ликии была бы удачной стартовой площадкой для грабительских набегов против Египта и Аласии, обычно идентифицируемой с Кипром или его частью, в то время как Северо-Восточная Анатолия слишком удалена, чтобы всерьез рассматриваться в географическом контексте письма. Из этого текста также можно вывести, что земли Лукка обладали, по крайней мере *de facto*, политической независимостью, позволявшей им совершать грабительские набеги.

Каждый правитель империи Хаттусы, начиная с Мурсили II, хотя бы раз упоминал Лукку в контексте политической нестабильности в данном регионе. Мурсили II сохранил упоминание Лукки как вражеской территории в своей адаптации среднехеттской молитвы к богине солнца города Аринны [Singer 2002: 52–53]. Муваталли II обязал Алаксанду, князя Вилусы, оказать ему личную поддержку, если он отправится в военную кампанию с земель Лукки, Каркисы, Масы или Варсияллы [Beckman 2000: 89–90]. Формально говоря, самый легкий способ понять этот отрывок — это предположить, что текст ссылается на возможные места сбора войска Хаттусы и союзнических сил. Тем не менее факт, что ни одна из стран в этом списке не известна как

часть империи Хаттусы или ее вассального государства, а арцавские земли, расположенные поблизости от Вилусы, не включены в этот список, делает подобный анализ сомнительным. Я предпочитаю рассматривать Лукку и другие земли, упомянутые в этом контексте, как возможные первые цели военной кампании (то есть “(начиная) с земель Лукки…”)[158].

Res gestae Хаттусили III (CTH 82), который несколько раз упоминает Лукку в контексте военных походов, слишком фрагментарны для того, чтобы решить, является ли этот регион агрессором или жертвой [Gurney 1997: 138]. Однако важно, что в этом документе Лукка последовательно именуется KUR.KUR.MEŠ ^{URU}*LUQQA* ‘земли Лукка’, что подразумевает политическую раздробленность данного региона. Согласно «Письму о Тавагалаве» (CTH 181), народы лукка одновременно отправили послов к царю Хаттусы и Тавагалаве, царю Аххиявы, откуда следует, что они не считали себя находящимися в подчиненном положении по отношению к какой-либо из двух региональных держав[159].

«Наставление Тудхалии IV» (CTH 255) рекомендует официальным лицам охранять границы от возможных вторжений со стороны земель Ацци, Каска и Лукка [von Schuler 1967: 24]. Иероглифическая надпись YALBURT, принадлежащая тому же царю, упоминает «разрушение» и разграбление Лукки. Надпись SÜDBURG, традиционно приписываемая Суппилулиуме II, также упоминает покорение Лукки, находящейся в одном списке с Виянавандой, Таминой, Масой и Иккуной [ср. Hawkins 1995: 22, §4][160]. Из той же надписи, возможно, следует, что названные земли были непокорными и при прежних царях [Melchert 2006: 292, сноска 5]. Письмо Аммурапи, последнего князя Угарита, к царю Аласии содержит жалобу на уязвимость Угарита в условиях, когда вся его армия в стране Хаттусы, а все его корабли

[158] Вопреки Брайсу [Bryce 2003: 76], я не вижу причин, по которым эти обстоятельства договора могут рассматриваться как аргумент против расположения Лукки на юго-западе Малой Азии. Алаксанду был обязан явиться лично вместе со своей армией в случае военной схватки с «западными варварами». Напротив, при конфликте с какой-либо из восточных сил обязанности Алаксанду, согласно договору, были ограничены отправкой экспедиционного корпуса, но его личное участие не требовалось [ср. Beckman 1999: 90].
[159] Относительно вероятного царского статуса Тавагалавы, см. [Miller 2010b].
[160] Ср. гипотезу [Орешко 2013], согласно которой надпись SÜDBURG принадлежит Суппилулиуме I.

в Лукке [Bryce 2005: 333]. Очевидно, царь Хаттусы приказал своему вассалу Аммурапи отправить в Лукку его военно-морские силы.

Решающий аргумент в пользу идентификации земель Лукка хеттских источников с Ликией классического периода предоставляет надпись YALBURT. Поэтто [Poetto 1993: 75-82] обнаружил, что топонимы (MONS) *pa-tara/i*, VITIS, *pi-na-ali*, *á-wa-ra/i-na-´* и TALA-*wa/i*, отмечающие маршрут Тудхалии IV, соответствуют топонимам Παταρ(η)ίς, Οἰνόανδα, Πίναρα, Ἄρνα и Τλῶς греческих источников. Известно, что четыре из этих пяти греческих топонимов отсылают к лувийским поселениям и обладают засвидетельствованными аналогами в ликийском языке: *Pttara*, *Pinale*, *Arñna* и *Tlawa*, соответственно [Schuerr 2010b: 14–15]. Гандер, впрочем, отвергает идентификацию топонима VITIS с греческой Ойноандой, следуя вместо этого за Шюрром в его осторожном отождествлении VITIS с ликийским *Winbẽte*, известным по фрагментарной надписи из Тлоса [Gander 2014: 394]. Однако этот дискуссионный вопрос, разумеется, не влияет на общие географические выводы Поэтто, поскольку все объекты идентификации остаются в ликийском ареале.

Вопреки выводам работы [Simon 2006], текстовые источники бронзового века не подтверждают существование еще одной земли Лукка на северо-западе Анатолии. Каталожный текст KBo 16.83+ (CTH 242.8) действительно упоминает серебряные изделия, доставленные народами лукка следом за другими артефактами из североанатолийских городов, но нет никаких оснований считать, что предметы роскоши раскладывались или подвергались инвентаризации на складах Хаттусы по географическому принципу. Упоминание Лукки в договоре Алаксанду не предполагает, что эта территория относилась к княжеству Вилусы, но просто выделяет ее в качестве потенциально беспокойной территории в западной части Анатолии. Наконец, мы уже видели, что мнимое участие людей лукка в союзе Ассувы всецело основано на неправдоподобном восстановлении текста. В отсутствие свидетельств в пользу противоположного, принцип бритвы Оккама подводит

нас к тому, чтобы признать, что границы центральной зоны Лукки не состояли из нескольких удаленных друг от друга ареалов. Таким образом, комбинация филологических и логических аргументов говорит в пользу того, что поселения лукка в бронзовом веке были в классической Ликии, но не где-либо еще в Малой Азии или за ее пределами.

В хеттских текстах не упоминаются правители Лукки. Хотя имеются свидетельства торговли между Хаттусой и Луккой, поскольку местные артефакты упомянуты в хеттских каталожных текстах [del Monte, Tischler 1978: 250], между двумя регионами не заключались договоры. Отсюда следует, что цари Хаттусы не рассматривали страну Лукка в качестве государства, что укрепляет впечатление о том, что она была политически раздробленной [ср. Bryce 2003: 40–41]. Если *Lukka* не было обозначением государства, то оно могло либо являться чисто географическим термином, таким как Арцава в широком смысле, либо иметь этнические коннотации. Фиксации этого термина в качестве этнонима в египетских источниках подтверждают вторую гипотезу. Мы уже видели, что письмо из Амарны упоминает набеги народов лукка на Аласию, но те же лукка (*ru*$_2$-*ku*$_2$) появляются почти на 150 лет позже в карнакской надписи Мернептаха, где они изображаются как члены грабительской коалиции. Другими членами этой коалиции были шерден (*ša-r-d-n*), шекелеш (*š-k-ru*$_2$-*ša*), эквеш (*'a*$_2$-*qa-wa-ša*) и тереш (*tu-ri-ša*), имена которых легко идентифицируются как относящиеся к «народам моря» [ср. Bryce 2005: 336].

Если можно говорить о народах лукка, то логично задаться вопросом о языке или языках, на которых говорили эти группы. Брайс [Bryce 2003: 43–44] считал, что это был лувийский язык, и даже предположил, будто земли Лукка могут метонимически использоваться в качестве обозначения всех лувоязычных регионов Анатолии. Последнее утверждение, очевидно, является неверным, поскольку регион Хаттусы, который в XIII в. до н. э. был

преимущественно лувоязычным, явно не относился к землям Лукка[161]. Что же касается первого утверждения, то оно требует прояснения в контексте предложенного Мелчертом разграничения между лувической группой языков и лувийскими языками в узком смысле. Учитывая, что все автохтонные языки, засвидетельствованные в Ликии и вокруг нее, являются лувическими, утверждение, что народы лукка должны были говорить на лувическом диалекте, представляется весьма правдоподобным. Остается понять, какой из известных нам лувических диалектов (если вообще какой-то из них), является вероятным потомком диалекта Лукки.

Наиболее разумная гипотеза заключается в том, что народы лукка в конце бронзового века говорили на некоей ранней форме ликийского языка. Имеется достаточно свидетельств, что оба лувических диалекта, засвидетельствованных в ликийских надписях классического периода, ликийский А (или просто ликийский) и ликийский Б (или милийский), содержат архаизмы, которые были устранены в лувийском языке, и следовательно не могут рассматриваться как его прямые потомки (ср. [Melchert 2003b: 175]). Однако отношения между этими двумя диалектами требуют дополнительного анализа[162].

Имеются по крайней мере три фонологические инновации, произошедшие в ликийском, но не в милийском[163]. Это $*s > h$ (исключая позицию перед определенными согласными), $*w > Ø$ перед носовыми, $*k^w > t$ перед *i*. Ср., например, посессивный суффикс лик. *-ehe/i-* vs. мил. *-ese/i-*, суффикс прилагательных со значением этнической принадлежности лик.

[161] Шимон [Simon 2006: 320–321] приводит определенные возражения против интерпретации Брайса, согласно которой ряд хеттских контекстов указывают на “ликийцев в широком смысле слова”.

[162] В частности, наличие окончания дат. мн. *-e* и контрастивной частицы *=me* в ликийском Б противоречит тезису Штарке [Starke 1997a: 476, сноска 108], что этот диалект, в отличие от ликийского А, является прямым потомком лувийского языка.

[163] Термин «милийский» используется здесь для того, чтобы избежать априорного решения проблемы отношений между этим языком и ликийским А. В то же время необходимо отметить, что традиционное альтернативное имя «милийский» выбрано *faute de mieux* и гипотеза о локализации прародины носителей этого языка в Милиаде, на северо-востоке Ликии, не находит никаких оснований.

-ñne/i- vs. мил. *-wñne/i-*, а также лик. *ti* vs. мил. *ki* ‘кто’[164]. Мне неизвестны обратные типы соответствий, которые бы иллюстрировали фонологические инновации милийского языка в сравнении с близкородственным ему ликийским языком. Во всех трех приведенных выше примерах карийский имеет с милийским общие архаизмы, ср. *oton-os-n* ‘афинский (вин. ед.)’, *kbd-yn-ś* ‘кавнийцев (вин. мн.)’, а также этимологически относительное местоимение *k̂i*, функционирующее как связка в именных группах [Adiego 2007: 371, 377, 392]. Морфологическая инновация, объединяющая милийский с карийским, в противоположность ликийскому, — это расширенный союз лик. Б *sebe* ~ кар. *sb*, но лик. *se* [Adiego 2007: 411]. Таким образом, можно принять гипотезу, что милийский занимал промежуточную позицию между ликийским и карийским языками в континууме лувических диалектов Западной Анатолии. Уже одно это говорит против гипотезы Цымбурского, поддержанной Гиндиным, согласно которой предки милийцев пришли в Ликию из далекой Троады[165].

Вместе с тем, доступные социолингвистические свидетельства действительно говорят в пользу интрузивного статуса милийского языка в Ликии. Число лувийских монументальных надписей приближается к 200, и они распространены по всей территории классической Ликии. В противоположность этому, известны только две милийские надписи, обе из которых являются поэтическими текстами. Одна из них — это поэтический текст на стеле из Ксанфа (TL 44), на которую также нанесены длинный прозаический текст на ликийском А и небольшая греческая элегия. Разумно считать, что ликийская часть надписи отражала разговорный язык Ксанфа, греческий был избран как региональный lingua franca, а милийский

[164] В связи с первыми двумя примерами ср. лик. А *ẽnehe/i-* vs. лик. Б *ẽnese/i-* ‘материнский’ [Melchert 2004a: 116] и лик. А *xbidẽñni-* vs. лик. Б *xbidewñni-* ‘кавнийский’ [Melchert 2004a: 135]. По поводу последнего сопоставления см. [Adiego 2007: 243].

[165] В то же время следует признать, что наше понимание грамматической структуры милийских текстов еще далеко от совершенства. В настоящее время исследователями, вносящими наибольший вклад в продолжающийся процесс дешифровки милийского языка, являются Д. Шюр и В. В. Шеворошкин. Наиболее недавний из имеющихся грамматических очерков милийского языка — это [Шеворошкин 2013], а статья [Шеворошкин 2012] может служить иллюстрацией методологии, применяемой при дешифровке милийских поэтических текстов.

представлял собой эпический и поэтический язык, бытовавший в Ликии. Таким образом, ничего не мешает предположить, что диалект народов лукка является предком ликийского (A). Ни один из доступных источников бронзового века не противоречит идее, что Ликия является локальной прародиной данной этнической группы, а лингвистически гомогенный характер классической Ликии, контрастирующий с почти полным отсутствием ликийских памятников за ее пределами, подтверждает данную идентификацию.

Помимо географических аргументов, существует также лингвистическая линия аргументации в пользу расширения ареала племен Лукка. Ее отправной точкой является гипотеза о том, что топонимы *Luviya* и *Lukka* — когнаты, связанные регулярным фонетическим соответствием между «восточным лувийским» и «западным лувийским» [ср. Гиндин, Цымбурский 1996: 231, см. там же библиографию]. Версию данной гипотезы еще можно найти в недавней работе [Carruba 2011]. С формальной точки зрения, однако, она не выдерживает критики, поскольку соответствие между лувийским *-w-* и ликийским *-k-* больше нигде не засвидетельствовано [ср. Melchert 2003a: 14, сноска 6]. На лингвистических основаниях невозможно даже показать, что топоним *Lukka* является лувическим по происхождению, и гипотеза, что он был заимствован у доиндоевропейского населения Ликии, также вполне может рассматриваться[166].

Следует ли, таким образом, считать присутствие ликийцев возле Трои, отмеченное в «Илиаде», всего лишь легендой? Мне не кажется, что необходимо делать столь пессимистическое заключение. Хотя теория миграций народов лукка с севера на юг в конце бронзового века и не получает филологической поддержки, все же возможно, что некоторые племена лукка направились из Ликии в северном направлении после (или

[166] Недавняя попытка вывести топоним *Lukka* из и.-е. **leuk-* ‘сиять’ представлена в работе [Simon 2006: 315–316]. С моей точки зрения, эта этимология формально возможна, но семантически неправдоподобна. Если она верна, то она подтверждает тезис о том, что топонимы Лувия и Лукка этимологически не связаны друг с другом.

незадолго до) распада империи Хаттусы. Известно, что период конца XIII в. и начала XII в. до н. э. отмечен интенсивными миграциями, которые были зафиксированы в египетских исторических текстах как нашествие народов моря [Bryce 2005: 334–340]. Мы видели, что в те беспокойные времена Мернептах в явном виде упоминал лукка в качестве одной из племенных групп, вовлеченных в грабительские набеги. Гомеровский эпос предоставляет косвенные свидетельства того, что, когда некоторые племена лукка совершали набеги на Египет, другие задержались в районе Трои.

Экспансия народов лукка с территории своей прародины помогает объяснить этимологию классической Ликаонии (Λυκαονία). Эта территория располагалась в Центральной Анатолии, пересекаясь с южной частью Нижней страны хеттских источников, и была отделена Таврскими горами и расстоянием примерно 200 километров от земель Лукка, соответствующих классической Ликии. В XIII в. до н. э. она располагалась внутри империи Хаттусы, к северо-западу от Тархунтассы. Поскольку ни «Договор Улми-Тешуба», ни Бронзовая табличка не упоминают Лукку в качестве северного соседа Тархунтассы, нет оснований полагать, что эта территория в рассматриваемый период считалась землей Лукка в географическом смысле[167]. Тем не менее с чисто лингвистической точки зрения Ликаония может быть непосредственно выведена из лувийской формы **lukka-wan(ni)-* ‘заселенная людьми Лукка’ или ‘относящаяся к Лукке’ [Jenniges 1998: 41, см. там же библиографию].

Я предполагаю, что этимология Ликаонии может отражать нашествия народов лукка, которыми отмечен конец *pax hethitica* в южной части Анатолии в период бронзового века. Тот факт, что и Тудхалия IV, и Суппилулияма II посвятили часть своих *res gestae* описанию побед над лукка, предполагает, что последние цари Хаттусы рассматривали земли Лукка в

[167] Традиционная географическая ассоциация между Луккой периода бронзового века и классической Ликаонией опиралась на весьма произвольную реконструкцию *res gestae* Хаттусили III (см. подробности у [Bryce 1974: 397]). Хотя это, вероятно, было одной из возможных гипотез до публикации Бронзовой таблички и надписи YALBURT, сейчас такое предположение едва ли заслуживает внимания.

одном ряду со своими самыми грозными противниками. Надпись SÜDBURG, принадлежащая, по всей вероятности, Суппилулияме II, включает Лукку в тот же перечень враждебных стран, в который включена и Иккуна — город, идентифицируемый с эллинистическим Иконием, располагавшимся на границе Ликаонии и Исаурии, и с современной Коньей. Отсюда следует, что Суппилулияма II должен был воевать с большой коалицией: от Ликии до частей Ликаонии [ср. Hawkins 1995: 54–55]. Возможно, народы лукка играли первую скрипку в этой коалиции и добились политического владычества над Ликаонией после распада Хеттской империи. Эта гипотеза сообразуется с тем фактом, что в данном регионе отсутствуют иероглифические надписи постимперского периода.

Конечно, присутствие народов лукка в районе Трои не должно было быть столь заметным, как их присутствие в Ликаонии, хотя, вероятно, оно было более продолжительным, чем их присутствие в Египте. Гомеровский рассказ о ликийском военачальнике Пандаре, обладавшем властью в городе Зелея, может даже отражать существование постоянных опорных пунктов племен лукка в Троаде в Темные века. Таким образом, ликийская этничность гомеровских ликийцев имеет более весомую филологическую поддержку, чем мнимая лувийская этничность гомеровских троянцев. Так, отца Пандара зовут Λυκάων в «Илиаде», и есть соблазн интерпретировать это имя как косвенное указание на этническую принадлежность Пандара или его географическое происхождение [ср. Jenniges 1998: 141]. Имя Πάνδαρος неоднократно сопоставлялось с ликийским прилагательным *pñtreñni/e-*, хотя выводы из этого сопоставления для этимологии имени не вполне ясны [ср. Neumann 2007: 278–279]. Имя Σαρπηδών, букв. ‘имеющий высокое место’ или ‘живущий высоко’, возможно, исконно было карийским, а не ликийским, поскольку префикс *šar-*, распространенный в карийских личных именах, соответствует ликийскому *hri-* и милийскому *zri-* < **sarri-* [Adiego 2007:

261][168]. Это, конечно, несложно примирить с открыто заявленной ликийской идентичностью этого военачальника, поскольку союзы пиратов лукка могли включать не только ликийцев как таковых, но и наиболее предприимчивых из их соседей[169].

Возможный пример лувоидного топонима в северо-западной части Малой Азии — это имя *Δαινις в применении к греч. Ἐλαία, городу в дельте реки Кайкос. Нойманн [apud Gusmani 1986: 162] реконструировал этот топоним в отрывке, принадлежащем Стефану Византийскому: “Ἔλαία πόλις τῆς Ἀσίας… ἣ Κίδαινις ὠνομάζετο” (“Эолийский город Элая в Азии… который назывался Кидаинисом”). Согласно Нойманну, ἣ Κίδαινις ὠνομάζετο может быть исправлено на ἣ καὶ Δαινις ὠνομάζετο ‘который также назывался Даинисом’. Он предположил, что греч. Ἐλαία, букв. ‘оливковое дерево’, является калькой с лувийского *daini(ya)-* ‘маслянистый’. Как верно показал Мелчерт [Melchert 2003a: 11, сноска 4], лув. *dain(i)-* ‘(растительное) масло’ (родственное хетт. *sakan* ‘масло, жир’) характеризуется историческими изменениями, нетипичными для лидийского языка, и поэтому не может являться лидийским когнатом лувийской лексемы. Если опираться на наш ранневизантийский источник и принять эмендацию Нойманна, придется также признать, что город Даинис, расположенный, возможно, в исторической стране реки Сеха, имеет лувическую этимологию. Однако, вопреки Мелчерту, нет ничего специфически лувийского в нерегулярном звуковом переходе */s/ > /t/ или лениции звонких велярных, зафиксированных также и в ликийском (ср. лик. *tawa* ‘глаза’ vs. хетт. *sakuwa* ‘id.’)[170]. Следовательно, необходимо принять во внимание возможность того,

---

[168] Вторая часть имения Сарпедона может быть связана с лик. A *pddẽn-* ‘место’. В работе [Durnford 2008] делается предположение, что композит, “имеющий высокое положение”, исконно мог являться титулом Сарпедона, который был переосмыслен в качестве личного имени уже в греческом окружении.

[169] В связи с этим необходимо отметить, что коль скоро можно независимо показать присутствие ликийцев в Троаде, можно также полагать, что лувическое имя Приама принадлежит к тому же пласту. Несмотря на то что это предположение является весьма спекулятивным, оно все же должно рассматриваться как более удачное, чем настойчивые попытки вывести имя легендарного троянского царя напрямую из лувийского.

[170] Стоит отметить отсутствие анлаутного оглушения в греческом топониме *Δαινις, хотя данный процесс ожидался бы в ликийском языке классического периода. Вместе с тем, поскольку анлаутное оглушение в анатолийских языках является ареальной особенностью, распространившейся через процесс лексической

что город Даинис являлся луккской/раннеликийской колонией, позднее ассимилированной греками. Может ли это быть еще одним историческим фактом, скрывающимся за легендой о «троянских ликийцах»[171]? В то же время следует подчеркнуть, что озвончение начального /t-/ не характерно для языка ликийских алфавитных надписей. Нельзя исключить, что мы имеем здесь дело с поздним диалектным развитием.

Трудно пойти дальше, оставаясь на почве фактов. Возможно, никогда не удастся узнать, проникли ли племена лукка в Троаду, когда Вилуса все еще была лояльным вассалом Хаттусы, или воспользовались вакуумом власти, обусловленным распадом империи. Неясно, были ли они, как их изображает «Илиада», преданными союзниками троянцев, или же они выступили одним из факторов, способствовавших оставлению Трои в конце II тыс. до н. э. Нельзя даже быть уверенным, что Троя существовала в те времена, когда ликийцы находились в этом регионе: темы троянской войны и конфликта с ликийцами могли быть объединены в гомеровском эпосе позднее. Но пока не появились новые свидетельства, миграции ликийцев из их прародины в Южной Анатолии к окрестностям Трои должны рассматриваться так, как они описаны в «Илиаде», и их не следует интерпретировать как воспоминания о лувийцах или о другой этнической группе, мигрировавшей с севера на юг[172].

диффузии [ср. Melchert 1994: 20], его наличие или отсутствие не может быть использовано в качестве аргумента в пользу генетической идентификации определенной лексемы.

[171] Регион Даинис, должно быть, относился к стране реки Сеха в конце бронзового века. Следовательно, в качестве альтернативы можно предположить, что Даинис являлся арцавским образованием, и его обозначение восходит к слову ‘оливки’ в местном лувическом диалекте.

[172] Допущение миграций племен лукка в конце II тыс. до н. э. предполагает, что определение земель Лукка как “расплывчатого географического обозначения для Юго-Западной Анатолии, использовавшегося в отношении группы этнически и культурно родственных сообществ и кланов” [Singer 1983: 208] требует определенного уточнения. Принимаемые расплывчатые географические границы земель Лукка могут быть отражением господствующей в научном сообществе неясности по поводу проблемы троянской Ликии или этимологии Ликаонии. Если признать, что эти топонимы могут отражать вторичную экспансию племен лукка, банальное отождествление между Луккой источников бронзового века и Ликией классических источников становится менее проблематичным.

2.8 Языковые контакты между лувийцами и греками

Присутствие лувийцев в эгейском бассейне традиционно рассматривалось как главная причина языковой интерференции между лувийским и греческим языками. Цель данного раздела — подвергнуть пересмотру свидетельства, приводимые в пользу подобных контактов, и рассмотреть их альтернативные интерпретации. Я намерен показать, что роль лувийского языка как источника лексических заимствований и причины структурной интерференции была сильно преувеличена в греческой филологии. Кроме того, необходимо рассмотреть недавно появившиеся исторические свидетельства в пользу взаимодействия между лувийцами и греками вдоль южного побережья Малой Азии.

Очень сложно полемизировать с теориями лувийского субстрата или адстрата в греческом, поскольку не существует «стандартных» вариантов подобных теорий. Как правило, отдельные неофиты, обычно специалисты в классической филологии, приводят в поддержку своих взглядов изолированные личные имена лувоидного вида, зафиксированные в греческих источниках, и затем делают смутные заявления о доступности дополнительных материалов. Показательна в этом отношении работа [Huxley 1961]. Автор напоминает, что “многие топонимы в континентальной Греции, очевидно, являются негреческими”, но предостерегает читателя против утверждения о том, что все топонимы с суффиксами -νθο-, -σσο-/-ττο- и -ηνη- имеют субстратное происхождение. Одна из причин этого заключается в том, что “многие догреческие имена на Эгейских островах могли быть внедрены в среднем бронзовом веке карийцами или лувийцами с Крита, или лувийцами с запада Малой Азии” [Huxley 1961: 40]. В качестве иллюстрации этого утверждения приводятся два имени собственных: лесбосское название города Μυτιλήνη, якобы производное от лувийского личного имени *Muwattall(i)*-, и самосское личное имя Ἰμβρασος, родственное лув. *imrass(a/i)*- ‘степной’.

Ни одно двух приведенных выше имен собственных не свидетельствует в пользу контактов именно с лувийским языком. Хетты заимствовали *Muwattall(i)-* в качестве божественного эпитета и династического имени, в то время как кар. PN *(i)β(a)rs(i)-* [Adiego 2007: 360, 366, 367] является вероятным источником греч. PN Ἰμβρασος. Однако мы сталкиваемся здесь также и с более серьезной проблемой методологического характера. Хотя автор не утверждает, что все догреческие суффиксы имеют лувийское происхождение, у читателя создается впечатление, что существительные с такими суффиксами с большой долей вероятности являются анатолийскими. Однако два имени собственных, приведенные выше в качестве примеров, классифицируются как лувийские на основе своих корней, а не суффиксов, и столь малое число примеров не должно вести к статистическим обобщениям, касающимся происхождения эгейских форм на -ηνη- или -ασ(σ)ο-. Сторонники раннего лувийского присутствия в эгейском бассейне должны представить солидный список местных топонимов и личных имен с лувийскими лексическими этимологиями, прежде чем пытаться собирать суффиксы, которые могут быть показателем лувийского пласта заимствований.

Более близкая нам по времени, но также неубедительная попытка показать специфические структурные изоглоссы между греческим и лувийским языками принадлежит одному из ведущих анатолистов и, следовательно, заслуживает более подробного обсуждения. В приложении к своему эссе о языке троянцев Уоткинс [Watkins 1995: 150–151] заявил, что греческая ваккернагелевская клитика ταρ и лувийская ваккернагельская клитика *=tar* характеризуются нетривиальным функциональным сходством. Он сделал следующий вывод: “Существует соблазн видеть в этом ареальную особенность, общую для двух языков в географической точке их контакта”. Необходимо подчеркнуть, что сентенциальная частица *=tar* не засвидетельствована в каком-либо ином анатолийском языке, и, следовательно, если в Уоткинс прав в своем заявлении, мы имеем дело с

явным следом греческого и лувийского двуязычия, сохраненным в гомеровской традиции. Однако я попытаюсь показать, что анализ Уоткинса не имеет под собой оснований.

Лувийская ваккернагелевская клитика =*tar*, зафиксированная в диалектах Киццувадны и Истанувы, является функциональным эквивалентом хеттской клитики =*san*[173]. Прототипически обе частицы маркируют суперпозицию одного аргумента клаузы по отношению к другому или к говорящему. Хеттское =*san* часто используется в сочетании с превербами/послелогами суперпозиции *ser* и *sarā*. Вторично, обе частицы могут использоваться как показатели близости или сопряженности аргументов, таким образом являясь семантически сходными с лув. =*tta* и хетт. =*kan*. Эти замечания, конечно, не дают исчерпывающего функционального описания для частиц =*san* и =*tar*; однако, учитывая уровень сегодняшних знаний, представляется, что такое описание сейчас и не может быть осуществлено. Тем не менее можно показать, что большинство появлений =*tar* в понятных лувийских пассажах функционально сходно с хеттским употреблением =*san*, как оно описано в [CHD, Š: 127–155].

Отрывок (68=1) дает точку отсчета для функциональной идентификации между =*san* и =*tar*, поскольку его вторая клауза обнаруживает точное соответствие в HT 1 i 31 $^{\text{LÚ.MEŠ}}$*lūlahiyas*=*san hurpus ku(i)yēs ishiyantis* “которые повязывают перевязи (народов) лулаххи”. Пример (69) почти так же показателен, учитывая тот факт, что лувийский преверб *sarri* является когнатом и функциональным эквивалентом хетт. *ser*. В примере (70) использование =*tar* вместе с *tuwa*- в связи с помещением одного объекта сверху другого может быть сопоставлен с синонимичной хеттской структурой =*san*… *tai-/tiya*- [CHD Š: 136]. Конструкция =*tar*… *ta*- в (71) имеет явную параллель в хетт. =*san*… *tiya*- [CHD Š: 136], где хетт. *tiya*- ‘ступать, стоять’ является когнатом лув. *ta*- ‘id.’.

[173] Попытка [Teffeteller 2011] приписать лувийской частице =*tar* значение показателя удаленного дейксиса не опирается на филологический анализ и поэтому является не более чем декларацией.

(68) KUB 9.31 ii 22–24, CTH 757.B (NS), Starke 1985: 53
[d]An-na-ru-um-mi-en-zi aš-ha-nu-wa-an-ta ku-in-zi wa-aš-ša-an-ta-ri
[d]Lu-u-la-hi-in-za-aš-**tar** hu-u-up-pa-ra-za ku-in-zi hi-iš-hi-ya-an-ti
‘Боги Аннарумми, носящие окровавленные (одеяния),
повязывающие перевязи (варваров) лулаххи’.

(69) KUB 35.88 iii 13, CTH 765.1.A (NS), Starke 1985: 227
ša-ar-ri-wa-**tar** DUMU-in wa-al-li-it-ta
‘Она подняла (туда) ребенка’.

(70) KUB 35.103 rev. 4–6, CTH 766 (MS), Starke 1985: 222
za-am-pa-ku-wa DUMU-ni-in wa-al-li-in-du ša-an-na-i-in-du
pa-wa-an-**tar** a-an-ni[-i] ˹ti˺-i-ta-ni du-ú-wa-an-du
‘Пусть они поднимут и перевернут[?] этого ребенка! Пусть они положат его на материнскую грудь’.

(71) KUB 9.31 ii 25–26, CTH 757.B (NS), Starke 1985: 53
pa-a-**tar** a-ap-pa za-aš-ta-an-za aš-tu-um-ma-an-ta-an-za-ta
at-tu-wa-la-hi-ti ni-iš da-a-ad-du-wa-ar
‘Не вставай опять в эти ворота в злобе!’

Имея в виду эти предварительные соображения, можно обратиться к лувийским предложениям, которые, как считается, дают примеры связи между греческим и анатолийским использованием *=tar*. Значимость примера (72=32), согласно Уоткинсу, лежит в шаблонной последовательности *kuis=tar*, которой соответствует сочетание τίς ταρ, многократно зафиксированное в «Илиаде». Однако нет причин считать, что относительное местоимение *kuis* обусловило появление *=tar* в данном примере. Фактически, это единственная лувийская формула, в которой сочетаются эти два элемента, в то время как пример KUB 9.6 i 23 [Starke 1985: 112] представляет собой пример другой формулы, направленной против черной магии и

начинающейся с того же местоимения *kuis*, но без =*tar*. Фактор, обусловивший присутствие сентенциальной частицы в (72), — *dativus incommodi* ‘заказчику ритуалов’. Сопоставимая (вторичная) функция =*san*, кодирующая явное выражение экспериенцера в структуре клаузы, хорошо известна в хеттском языке [CHD Š: 152–154].

(72) KUB 9.6 iii 12–14, CTH 759.2 (LNS), Starke 1985: 115
ku-iš-**tar** ma-al-ha-aš-ša-aš-ša-an-za-an EN-ya a-ad-du-wa-la a-an-ni-ti
a-an DINGIR.MEŠ-in-zi a-ah-ha na-a-ta-at-ta ta-ta-ar-ha-an-du
‘Кто бы ни причинил зло заказчику ритуала (*pl. tantum*), пусть боги сломают его (как) тростинку’.

Что касается лувийского глагола *mammana-*, встречающегося вместе с =*tar* в (73) и ряде похожих примеров, то он может быть сопоставлен с хеттской фразой =*san… sakuwa har(k)-/epp-* ‘присматривать (за чем-либо)’ [CHD, Š: 143b]. По моему мнению, ‘бросать взгляд’ является, по-видимому, более адекватным переводом глагола в (73), чем перевод ‘относиться благосклонно’, предложенный Мелчертом [Melchert 1993: 134]. Однако за появление =*san* ответственны не семантические оттенки лувийского предиката, а, скорее, его модель управления. По всей видимости, бросание взгляда на что-либо понималось как событие, стимулирующее близость между агенсом и объектом восприятия, так что локальная частица кодирует тот факт, что этот объект представлен среди синтаксических валентностей предиката.

(73) KUB 35.16 i 9–12, CTH 761.3.A (NS), Starke 1985: 93
[mal-ha-aš-ša-aš-ši-iš-pa-]**tar** EN-aš a-pa-a-aš-ša-a-an-za
[wa-aš-ši-na-an-za a-an-nu-un-n]a-an-za ma-a-am-ma-an-na-ad-du
[hu-it-wa-la-hi-ta-ti an-na-r]u-um-ma-hi-<ta>-ti a-ra-ya-a-ti [uš-ša-a-ti
ap-pa-ra-an-ta-ti]ʿaʾ-ra-a-ti ma-aš-ša-na-aš-ša-an-za-ti [wa-aš-ša-ra-hi-ta-ti]

‘Пусть заказчик [ритуала] бросит взгляд на свое родное[?] [тело] с [жизнью], мужеством, долгими [годами, будущими днями] (и) божественной [милостью]’.

Но довольно о лувийских данных. Греческая частица ταρ часто рассматривалась как последовательность из клитического союза τε ‘и’ и сокращенной формы частицы ἄρ(α), которая прототипически маркировала информацию, основанную на общих пресуппозициях. Этот подход был недавно подвергнут критическому разбору в работе [Dunkel 2008]. С чисто семантической точки зрения, ничто не препятствует предположению, что частица ταρ в гомеровском эпосе должна всегда сегментироваться как τ’ἄρ, поскольку она всегда обладает сочинительной функцией. С другой стороны, эта клитика в 33% случаев встречается перед согласным, где синкопа τ’ἄρα не могла бы быть морфонологически мотивирована, в то время как простая апокопированная клитика ἄρ встречается в той же позиции только в 8% случаев. Однако, если сравнить ее с мономорфемными частицами без исторической апокопы, такими как γάρ или ἀτάρ, они встречаются перед согласными в гомеровском корпусе примерно в 2/3 случаев. На основе данной дистрибуции Данкел заключает, что фузия τ’ἄρ > ταρ находилась в активной стадии в диалекте «Илиады» и «Одиссеи»[174].

В гомеровском корпусе эта «полуграмматикализованная» частица ταρ нередко появляется в позиции после вопросительного местоимения τίς (A 8, B 761, Γ 226 и т. д.). Как принято считать, τίς ταρ обычно выражает переход между вопросом и предшествующим нарративом, и оно обычно переводится как ‘кто же?’. Это значение ταρ совместимо с исконной семантикой τ’ἄρ, но не имеет ничего общего с функцией лув. *=tar*. Другая группа контекстов, для которых Уоткинс постулировал ταρ, характеризует эту частицу в последовательностях в начале строки после глагольных форм, таких как ῥίγησὲν ταρ ἔπειτα (Λ 254), κώκυσὲν ταρ ἔπειτα (Σ 37), θάμβησὲν ταρ ἔπειτα (Γ

[174] Обзор дополнительной литературы относительно комплекса τ’ἄρ можно найти в монографии [Miller 2014: 111, сноска 51].

398) и γήθησὲν ταρ ἔπειτα (N 353). Существенно, что во всех этих случаях за ταρ непосредственно следует ἔπειτα ‘после’, которое данная частица, собственно, и выделяет. Таким образом, семантика ταρ в этом случае вновь вполне соответствует ожидаемой сочинительной семантике τ’ἄρ, и можно даже утверждать, что апокопированная форма была выбрана по метрическим причинам, ведь подобная форма без апокопы просто не уложилась бы в гекзаметр. С другой стороны, сопоставление этих отрывков с лувийским императивом *mammana=tar* ‘отнесись благосклонно’, предложенное Уоткинсом [Watkins 1995: 150], является неадекватным, поскольку в этом случае частица *=tar* выражает информацию о модели управления и, возможно, семантике глагола *mammana*, но не используется для сочинения между предложениями. К тому же ее расположение по отношению к глагольной форме не является фиксированным, что и иллюстрируется примером (73)[175].

Мы видим, что сопоставление между греч. ταρ и лув. *=tar* должно быть отвергнуто на чисто эмпирических основаниях. Однако эта проблема обладает и методологическим аспектом. Попытка Уоткинса [Watkins 1995] использовать изолированные лингвистические факты в поддержку определенной исторической модели была ущербной по определению, поскольку ни один случай контакта не может привести к заимствованию лишь одной частицы. Если исследователь желает реконструировать греко-лувийское двуязычие вдоль западного побережья Малой Азии в конце бронзового века, ему необходимо оперировать взаимосвязанными ареальными инновациями в обоих языках.

В дальнейшем я сосредоточусь на тех ареальных феноменах, которые представляются мне несомненными или вероятными. Известно, что интенсивные контакты в ситуации языкового баланса часто приводят к

[175] Совсем иной подход принимается в работе [Katz 2008], которая была написана независимо от работы [Dunkel 2008] (по-видимому, обратное также верно). Кац возражает против деривации τ’ἄρ > ταρ, но он не дает отчетливой семантической дефиниции новой частицы ταρ. В частности, его анализ употребления этой частицы, похоже, зависит в большей степени от лувийских параллелей, приведенных Уоткинсом, чем от синхронного анализа гомеровских текстов.

многочисленным лексическим заимствованиям и, возможно, к диффузии общих структурных характеристик. В ситуации языкового сдвига можно ожидать частичную реструктуризацию языка, являющегося объектом влияния. Если не удается обнаружить ни один из этих процессов, то гипотеза об интенсивных контактах не подтверждается.

Единственным вероятным лексическим заимствованием из лувийского в микенский, известным на данный момент, является микен. *di-pa-* ‘широкий кубок’ [Казанскене, Казанский 1986: 120]. Это слово, зафиксированное позже как греч. δέπας ‘кубок’, сравнивалось с лув. клин. *tappas-* и лув. иер. (CAELUM)*ti-pa-s*° ‘небо’ [Melchert 2003b: 184, см. там же библиографию]. Своеобразный семантический переход ‘небо’ > ‘кубок’, отражающий наивный взгляд на небо как на чашу, покрывающую плоскую землю, подтверждается анатолийским иероглифом CAELUM, который графически представляет собой чашу [Hawkins 2000, I: 26] и употребляется в качестве детерминатива для чаш [Hawkins 2013b: 16], а также хеттским когнатом *nēbis-*, который, помимо значения ‘небо’, может также иметь значение ритуального объекта, сделанного из металла или теста [Neu 1999: 621–622][176]. Как можно увидеть из приведенного сопоставления, лувийское слово со значением ‘небо’ демонстрирует специфически лувическую ассимилятивную деназализацию. Таким образом, можно быть уверенным, что микенское слово не могло быть заимствовано из хеттского, а только из лувийского или близкородственного языка. Однако, поскольку микен. *di-pa-* не засвидетельствовано напрямую со значением ‘чаша’, а представляет из себя, скорее, высокий сосуд [Bartoněk 2002: 59], анатолийское происхождение микен. *di-pa-* остается гипотетическим, несмотря на всю аргументацию, предложенную в работе [Watkins 2007]. Следует также отметить, что начальное /d-/ нехарактерно для лувийского языка в узком смысле

[176] А. М. Белов (личн. сообщ.) указывает, что, кроме широко известного из истории русского языка перехода ‘небо’ > ‘нёбо’, русские диалекты также также используют ‘нёбо’ в значении внутренней куполовидной части русской печи, а также верхней части (сугроба) медвежьей берлоги.

[Yakubovich 2013a: 119]. Возможно, мы имеем здесь дело с заимствованием из лувического диалекта Арцавы.

Это изолированное и неясное заимствование может быть сопоставлено с пятью лексемами, пришедшими в микенский греческий из семитских языков, согласно консервативному подсчету [Bartoněk 2002: 492][177]. Наше ограниченное знание микенского лексикона оставляет надежду на то, что в будущем будет идентифицировано большее число лувийских и семитских заимствований, но даже сейчас можно получить представление об их соотношении. Если семитские заимствования в ранний греческий язык могут быть объяснены (как это обычно делается) интенсивными торговыми контактами, то имеются серьезные причины предполагать то же объяснение для возможного, хотя и не достоверного заимствования лувийского слова со значением ‘небо, *чаша’. Эти контакты, стимулированные международной торговлей, могут быть сопоставлены с вероятными заимствованиями в микенский из неизвестного эгейского субстрата или адстрата, выборочное изложение которых Бартонеком [Bartoněk 2002: 490–491] включает 18 элементов.

Еще 3–4 дополнительных формы могут быть добыты, если расширить поиск заимствований из лувийского в греческий на период железного века. Так, Пегас (Πήγασος) — лошадь, везущая гром и молнию для Зевса, — является, вероятно, греческим воплощением лувийского бога грома и молнии (*pihassass(i)*-), избранного Муваттали II в качестве личного божественного покровителя [Hutter 2003: 269, см. там же библиографию]. Лув. *tarrawan(ni)*- ‘правосудие, судья’ могло быть перенято греками как τύραννος ‘тиран’, но эту гипотезу сложно примирить с альтернативным сценарием, согласно которому греческое слово было заимствовано из того же источника, что и

[177] Данное количественное соотношение скорее говорит против гипотезы [Gasbarra, Pozza 2012] об анатолийцах как об основных посредниках при передаче семитизмов в древнегреческий язык. Учитывая наличие прямых морских путей между микенским миром и Левантом, гипотеза итальянских исследователей представляется излишней и с исторической точки зрения. Разумеется, это не отменяет возможности анатолийского посредничества при передаче отдельных семитизмов в древнегреческий язык, но его следует доказывать в каждом отдельном случае на лингвистических основаниях.

угаритское личное имя *srn*/*śrn*/*zu-ra-nu* и древнееврейское *srn* ‘звание среди филистимлян’ (попытка примирения предпринята в работе [Yakubovich 2002b: 111–112], см. там же библиографию)[178]. Мелчерт [Melchert 1998a] справедливо сравнил греч. τολύπη ‘клубок, круглое пирожное’ с лув. *talupp(i)*- ‘комок теста’. Лув. *tuwars(i)*- ‘виноградник’ сравнивалось с греч. θύρσος ‘тирс, палочка, увитая плющом’, хотя нерегулярное соответствие между начальными смычными заставляет здесь подозревать заимствование из третьего источника[179].

Эти лексические контакты явно не сопоставимы с несколькими сотнями греческих слов (вероятного) субстратного происхождения, собранными, например, в работе [Furnée 1972]. Они могут быть, скорее, сопоставлены с небольшой группой правдоподобных заимствований из (или через посредство) хеттского в греческий, таких как хетт. *eshar* ‘кровь’ vs. греч. ἴχωρ ‘кровь богов’, хетт. *huhupal* ‘ударный инструмент’ vs. греч. κύμβαλον ‘кимвал’, хетт. *kuwanna(n)*- ‘медная руда’ vs. греч. κύανος ‘темно-синия эмаль, лазурит и т. д.’, хетт. *kupahi* ‘головной убор’ (< хурритский) vs. греч. κύμβαχος ‘верхняя часть шлема’, хетт. *kursa*- ‘охотничья сумка’ vs. греч. βύρσα ‘кожа, шкура’[180]. Нет оснований считать, что носители греческого и хеттского языка занимали соседние территории во II тыс. до н. э. Эти заимствования должны, скорее, рассматриваться в контексте торговых и (вторично) культурных контактов в Восточном Средиземноморье, подобных контактам между греками и финикийцами, но в меньшем масштабе.

---

[178] Относительно вероятной индохеттской этимологии существительного *tarrawan(ni)*- см. [Giusfredi 2009]. Тот факт, что Джусфреди использовал другую интерпретационную транслитерацию *tarwani*-, в принципе не влияет на вопрос об исторической связи корня данного существительного с хетт. *tarh*- ‘быть могущественным, побеждать’. По всей видимости, исконным значением рассматриваемого слова оказывается ‘власть, авторитет’ (как в абстрактном смысле, так и для обозначения лица). Поэтому если лувийское слово действительно связано с греческим наименованием тирана, то оно, вероятно, является источником заимствования по семантическим причинам.

[179] Подобное соответствие между греческим придыхательным и лувийским непридыхательным дентальным смычным засвидетельствовано в греч. λαβύρινθος ‘царский дворец на Крите’, сопоставимом с карийским топонимом *Labrauanda* (ср. обсуждение во Введении).

[180] Хетт. *eshar* ‘кровь’ соответствует лув. *ashar*, которое по фонетическим соображениям не может быть правдоподобным источником заимствования греч. ἴχωρ. Хетт. *kuwanna(n)*- ‘медная руда’ выступает, как можно предположить, далеким родственником лит. *švìnas* ‘свинец’, что могло бы свидетельствовать, что его лувийский когнат должен содержать начальную аффрикату *z*-. В других случаях можно допустить, что перечисленные выше лексемы были заимствованы из лувийского, а не из хеттского, но это неубедительно, поскольку ни одна из них в действительности не засвидетельствована в лувийском корпусе.

Кроме того, отмечалось, что греческие диалекты и анатолийские языки обладают рядом структурных черт, сходство между которыми которые едва ли являются случайным (см. [Hogemann 2003: 6–9], там же библиография, и более скептическую оценку в работе [Hajnal, в печати]). Однако ни одна из них, похоже, не ограничена греческим и лувийским языками. Эти изоглоссы могут быть разделены на две небольшие группы: те, которые характеризуют греческий и несколько анатолийских языков, и те, что ограничены греческим и лидийским.

Что касается первой группы, то прагреческий и общеанатолийский, как известно, характеризуются ограничением на начальное *r*-, хотя *r*- вторично возникает в позднелувийском языке после упрощения некоторых консонантных кластеров (напр., **Kruntiya*- дает *Runtiya*-). Это ограничение, возможно обусловленное общим языковым субстратом, также распространяется на хуррито-урартские языки и хаттский язык [ср. Касьян, Якубович 2013: 19]. Восточно-ионийские итеративы, содержащие суффикс -σκε-, не имеют прямого соответствия в других греческих диалектах, где функция -σκε- не ясна, но могут быть сопоставлены с использованием хеттского -*ske*- и имперского лувийского -*z(z)*a-, маркирующих имперфективный аспект [Watkins 2001: 58]. Тот факт, что функциональный эквивалент этого суффикса до сих пор не был идентифицирован в лидийском, может быть связан с ограниченностью наших знаний об этом языке. Даже если на синхронном уровне он и отсутствовал в лидийском, эта ситуация должна являться инновацией, поскольку имеются все основания реконструировать **-sk'e*- как общеанатолийский имперфективный маркер.

Наиболее вероятным кандидатом на диалектную фонетическую инновацию в греческом, стимулированную контактами с лидийским языком, является восточноионийская псилоза (утрата начального *h*-). Эттингер [Oettinger 2002] сравнил данный процесс с потерей начальных «ларингалов» в истории лидийского языка, и это объяснение становится еще более правдоподобным, если признать подобное субстратное влияние в арцавских

личных именах (ср. обсуждение в разделе 2.3). Напротив, собственно лувийские «ларингалы» являются относительно устойчивыми и характеризуются факультативным выпадением только перед /w/. Более спорный пример касается структуры греческих личных имен. Лесбосские адъективные отчества на -ιος, которые, вероятно, вторично получили распространение в других эолийских диалектах, контрастируют с существительными в родительном падеже, использовавшимися в качестве отчеств в других регионах грекоязычной ойкумены [Watkins 2001: 58]. Этот диалектный суффикс может быть функционально сопоставлен с лидийским адъективным отчеством на *-l(i)-*. Хотя адъективные отчества на **-ass(i)-* известны в лувийском и ликийском, все же они соседствуют в этих языках с патронимическим генитивом на **-assa*, также распространенным в этих языках, и, следовательно, их влияние на морфологическую перестройку в эолийском менее правдоподобно. С другой стороны, нельзя исключить и того, что эолийские формы отражают архаизм, поскольку суффикс **-iyo-*, формирующий посессивные прилагательные, явно восходит к индохеттскому языку, и его использование вместе с личными именами заметно, например, в латинских *nomina* на *-ius* или в древнеперсидском династическом имени *Haxāmaniš-iya-* ‘Ахеменид’ (DB I 7).

Специфические изоглоссы между лидийским языком и греческими восточноэгейскими диалектами не удивительны в свете географической близости соответствующих языков. Отсутствие специфических изоглосс между лувийским языком и теми же греческими диалектами представлет собой еще один аргумент против языкового доминирования лувийцев в Западной Анатолии. Тем не менее необходимо установить наиболее вероятную локализацию ограниченных лексических контактов между греческим и лувийским языками. Учитывая хетто-лувийское культурное влияние на Западную Анатолию в позднем бронзовом веке, особенно в период империи Хаттусы, вполне возможно, что греческие колонисты в Милавате/Милете или в другой греческой колонии на восточном побережье

Эгейского моря заимствовали отдельные лувийские лексемы, которые позднее перешли в другие греческие диалекты[181]. Можно, однако, представить аргументы и в пользу существования альтернативной контактной зоны, расположенной вдоль южного побережья Малой Азии. Эта береговая линия лежит ближе к центральной области расселения лувийцев, и здесь (по крайней мере, в Киликийской низменности) их присутствие зафиксировано как в конце бронзового, так и в начале железного века. Что требуется, так это показать присутствие греков на том же месте и в то же время.

Из археологических данных, таких как груз затонувшего корабля, обнаруженного возле мыса Улу-Бурун, известно, что вдоль южного побережья Анатолии в конце бронзового века процветала международная торговля. К сожалению, текстуальная информация, относящаяся к присутствию микенцев в этом регионе, является относительно скудной. Впервые греки упоминаются в связи с Кипром в начале XIV в. до н. э. в «Обвинении Маддуватты» (CTH 147). Мы узнаем из этого текста, что Аттар(ис)сия, человек из Аххии, и таинственный «человек из Пиггаи» напали на Аласию/Кипр, очевидно при поддержке Маддуватты [Beckman 1999: 160]. Топоним Аххия явно представляет из себя ранний вариант Аххиявы, а имя Аттар(ис)сия сопоставлялось рядом исследователей с греческим именем Атрей [Гиндин, Цымбурский 1996: 69–70]. Ранее в том же тексте упоминается, что Маддуватта превратил город Далава/Тлос в своего вассала, и, следовательно, мог использовать земли Лукка в качестве базы для своей операции [Bryce 2005: 135]. Нужно ли признать, что анатолийские владения Аттар(ис)сии располагались где-то поблизости, в южной Карии или, может

[181] См. [Mountjoy 1998], где с археологической точки зрения рассматривается греко-анатолийская контактная зона, располагавшаяся вдоль западного побережья Малой Азии в конце бронзового века. Регион с наибольшей долей микенской керамики составляет южную часть этой зоны, простирающейся приблизительно от классического Милета до острова Родос. Это наблюдение хорошо соответствует материалам клинописных источников, которые не упоминают каких-либо долговременных микенских поселений в северной и центральной частях Эгейского побережья, но изображают Милавату/Милет как протекторат Аххиявы. Вместе с тем, следует отметить, что из Милета до нас не дошло ни одной надписи линейным письмом Б, хотя для минойского периода там фиксируются несколько надписей линейным письмом А [Беликов 2010]. Имя Атпы, управлявшего Милетом в составе Аххиявы, согласно «Письму о Тавагалаве», также не выглядит как греческое.

быть, в Памфилии? Эту гипотезу нельзя доказать, но следует признать весьма вероятным, что микенцы обосновались поблизости от Кипра, прежде чем начать операцию против этого острова.

Взаимодействие между людьми лукка и Тавагалавой, царем Аххиявы, упоминается в тексте CTH 181 [Bryce 2003: 77]. Этот процесс явно достиг кульминации с личным визитом Тавагалавы в земли Лукка. Договор между Тудхалией IV, царем Хаттусы, и Савоскамувой, князем Амурру (CTH 105), содержит условие, что "ни один корабль Аххиявы не может направиться к нему" (KUB 23.1 iv 23, [Beckman 1999: 107]). Анафора в этом предложении предположительно указывает на царя Ассирии, с которым Хаттуса в то время воевала [Bryce 2005: 309]. К сожалению, реконструкция "ни один корабль [из] Аххиявы не может направиться к нему" также возможна, и, следовательно, это предложение не является прямым доказательством того, что микенские корабли участвовали в торговле с Левантом.

Еще одно прямое упоминание греков в связи с Ликией известно из двух недавно опубликованных писем на аккадском языке, составленных около 1200 г. до н. э. Суппилулияма II, царь Хаттусы, и его наместник Фенти-Саррума приказывают Аммурапи, князю Угарита, перевезти PAD.MEŠ (слитки?) людям Хиявы (LÚ.MEŠ *Hi-ya-ú-wi-i*), находящимся в Лукке [Singer 2006b: 250, см. там же сноски 30, 31]. Зингер справедливо полагает, что упомянутые в этом письме люди Хиявы были, вероятно, торговцами или представителями микенского государства, дожидавшимися нагруженных слитками угаритских кораблей в одном из портов Ликии. Он также подчеркивает корреляцию между этим филологическим свидетельством и грузом металла на борту кораблей, затонувших рядом с ликийским побережьем в конце бронзового века [ibid.: 259]. Таким образом, имеющиеся материалы предполагают, что порты в Юго-Западной Анатолии могли

использоваться как торговые точки, где микенские купцы могли обменивать свои товары на изделия, привозимые с Востока[182].

В защиту присутствия греков на южном берегу Малой Азии в начале железного века может быть сказано больше. В работе [Brixhe 2002] рассматриваются архаические божественные эпитеты в памфилийском диалекте греческого языка, имеющие параллели в микенском. Так, эпитет Διϝια, используемый в надписи из Перги при имени Артемиды, может быть сопоставлен с теонимом *di-u-ja*/*di-wi-ja*, который обнаруживается в микенских табличках из Пилоса [Казанскене, Казанский 1986: 142]. Титул ϺαναΨα- Πρειια- ‘госпожа Перги’, использовавшийся для обозначения той же богини, имеет близкую параллель в микенском и гомеровском употреблении слова «госпожа» в качестве божественного эпитета [Brixhe 2002: 55–56]. Более широкий список фонологических, морфосинтаксических и лексических изоглосс между кипрским и памфилийским диалектами греческого языка, с одной стороны, и микенским и аркадским диалектами греческого, с другой, может быть найден в работе [Brixhe 1976: 146–147]. Из этих схождений следует, что «ахейцы» принимали участие в колонизации Памфилии[183].

Менее понятно, имела ли ранняя греческая колонизация Киликии, которая также должна была произойти в начале железного века, долгосрочное влияние на местную социолингвистическую ситуацию. В VIII в. до н. э. (датировка наиболее ранних монументальных надписей, обнаруженных в Киликии) финикийский и лувийский были двумя

---

[182] В качестве гипотезы можно предположить, что раннегреческое присутствие в Памфилии отражено в оговорке, сделанной в Бронзовой табличке, согласно которой “если царь Хаттусы… завладеет страной Парха с помощью армии, то она также будет принадлежать князю Тархунтассы” [Beckman 1999: 115]. Как было показано, Парха клинописных источников соответствует городу Перге, самому важному греческому поселению в Памфилии в I тыс. до н. э. Хотя независимость Пархи может быть связана с активностью племен лукка, упоминание в клинописных источниках народов Хиявы в связи с Луккой не позволяет исключить того, что греческая колонизация Пархи/Перги началась еще в бронзовом веке. Наличие микенской керамики в акрополе Перги периода бронзового века отмечено в работе [Niemeier 2008: 298].

[183] Однако невозможно согласиться с гипотезой, согласно которой Аххиява хеттских источников может быть отождествлена с одной лишь Памфилией [Brixhe 1976: 147]. Несмотря на то что употребление географического имени *Ahhiya(wa)*- в позднелувийских текстах может действительно указывать на южную Анатолию, все же правители Хаттусы могли именовать Великим царством Аххиявы только Микенскую конфедерацию в целом либо наиболее видного его участника.

письменными языками в данном регионе. Память о греческих поселенцах сохранилась, вероятно, в виде лувийского названия княжества с центром в Адане. Предложения (74) и (75), относящиеся к недавно найденной надписи ÇINEKÖY, называют это княжество Хиявой; данное имя соответствует *dnnym* ‘аданцы’ в финикийской версии той же надписи и, конечно, напоминает о людях Хиявы, упомянутых в угаритских источниках[184]. Кроме того, первые издатели надписи уже видели связь между Хиявой и Ὑπαχαιοί ‘под-ахейцы’, то есть термином, который, согласно Геродоту (7.91), представляет собой греческое обозначение исконных жителей Киликии [Tekoğlu, Lemaire 2000: 981]. Таким образом, топоним Хиява, давший, вероятно, *Que* и *Hume* (то есть /xuwe/) в ассирийских и вавилонских источниках соответственно, должен являться сокращенным вариантом Аххиявы, — как минимум, на уровне народной этимологии[185]. Дискуссия вокруг имени собственного Хиява становится еще более интригующей после публикации гипотезы Орешко, согласно которой топоним *á*-*429-*wa/i*- в надписи KARATEPE, традиционно читавшийся как *Adanawa*, может читаться как *Ahhiyawa* [Oreshko 2013b]. Гипотеза Орешко, уже вызвавшая живой отклик исследователей, вне всякого сомнения, станет предметом широкого обсуждения в ближайшие годы.

---

[184] В работе [Hajnal 2003: 41] рассматривается возможность реконструировать ^{URU}*Hiya*[*wan*] в *res gestae* Арнуванды I (KUB 23.21 obv. 6, CTH 143). Этот фрагментарно сохранившийся топоним встречается в перечне городов строчкой ниже ^{URU}*Adaniyan* ‘Адану’. Другая формально возможная реконструкция данного топонима — это ^{URU}*Hiya*[*snan*], однако город Хиясна был расположен вблизи Хаттусы [ср. del Monte, Tischler 1978: 107–108]. Финикийский этноним *dnnym*, несомненно, следует сопоставлять с топонимом *Danuna*, встречающемся в письме из Амарнского архива, о дальнейших возможных связях которого см. [Гиндин, Цимбурский 1996: 158–64].

[185] Датировка угаритских писем заставляет предположить, что афареза в топониме Аххиява > Хиява не может отражать фонетический закон (разговорного) позднелувийского языка, а должна, скорее, рассматриваться как нерегулярное изменение в заимствованной лексеме, подобное тому, что засвидетельствовано для имени Тавагалава, если последнее действительно отражает микенскую греческую форму **Etewoklewes* [Laroche 1966, §1315, иначе см. Kazansky 1997]. Следует мимоходом заметить, что отождествление Куэ и Хиявы препятствует более раннему сопоставлению Куэ с топонимом, зафиксированным как *qdy* в египетской передаче и обозначающим, согласно описанию Рамзеса III, одну из стран, разрушенных «народами моря» [Hawkins 2000, I: 39a, сноска 18]. Географическое расположение страны *qdy* следует считать неясным [Simon 2011].

(74) ÇINEKÖY § 3, cf. Tekoğlu and Lemaire 2000: 968
[á-mu-wa/i] wa/i+ra/i-i-ka-sá "[TER]RA"[?](-)la-tara/i-ha [.... **hi-ia-wa/i-za(URBS)** TERRA+*LA*+*LA*-za |(DEUS)TONITRUS-hu-ta-ti |á-mi-ia-ti-ha |tá-ti-ia-ti |DEUS-na<-ti>
'Я, Варайка, расширил [дом страны] равнины **Хиявы** по воле Тархунта и моих отчих богов'.

(75) ÇINEKÖY § 7, Tekoğlu and Lemaire 2000: 968
|**hi-ia-wa/i-sa**-ha-wa/i(URBS) |su+ra/i-ia-sa-ha(URBS) |"UNUS"-za |DOMUS-na-za |i-zi-ia-si
'**Хиява** и Ассирия стали одним домом'.

Известные нам имена двух князей Хиявы совместимы с гипотезой о греческом происхождением местных династий. Липински [Lipiński 2004: 120–122] предположил, что хиявские княжеские имена Аварку (лув. *á-wa/i+ra/i-ku-* = фин. *'wrk*) и Врайка (лув. *wa/i-ra/i-i-ka-* = фин. *w*[*ryk*]), засвидетельствованные в билингвах KARATEPE и ÇINEKÖY соответственно и не имеющие правдоподобных этимологий ни в семитских языках, ни в лувийском, могут быть объяснены на основе греческого языка[186]. Согласно автору, первое находит идеальное соответствие в распространенном аристократическом имени Εὐαρχος, букв. 'хорошо правящий', а второе близко напоминает *wo-ro-i-ko* /wroiko-/, имя, которое носил правитель кипрского города Амафунт в V и IV вв. до н. э. (ср. греч. ῥοικός 'кривой'). Второе сопоставление является менее надежным, чем первое, но оба должны рассматриваться всерьез [ср. Miller 2014: 13][187]. В противоположность этому,

[186] Первое из этих двух имен явно сохранилось как *'wrk* в финикийской надписи HASSAN BEYLİ. Второе имя записано как *wryk* в CEBEL İRES DAĞI и реконструируется как *w*[*ryks*] в предварительной редакции финикийского текста надписи İNCİRLİ [Kaufman 2007: 22].
[187] Тот факт, что имя Врайка зафиксировано в новоассирийской передаче как *Urikki*, не означает, что его базовая форма была /wrīka-/ (vel sim.), как это полагает [Lipiński 2004]. Ассирийские написания лувийских имен часто характеризуются нерегулярными стяжениями; ср., напр., Хальпарунтия, князь Гургума, и Варпалава, князь Табала, известные из ассирийских источников соответственно как *Qalparunda* и *Urballa*. Стоит отметить, что имя *Urikki* имеет графический вариант *Ú-ri-ya-ik-ki* в надписях Тиглатпаласара III [Tadmor 1994: 293]. Еще до открытия надписи CINEKÖY Хокинс [Hawkins 2000, I: 44] решился отождествить Урикки с Аварку. Эта гипотеза, в свою очередь, побудила [Tekoğlu, Lemaire 2000], за

Ацативада, визирь Аварку, имеет вполне лувийское имя, которое позволяет предположить, что Аварку и Врайка были традиционными престольными именами, несмотря на то что соответствующие князья управляли лувийским населением и, возможно, даже не владели греческим языком как родным[188].

Следы греческих лексических элементов в финикийских текстах из Каратепе являются темой продолжающихся исследований Филипа Шмитца. В частности, загадочный титул KRNTRYŠ, применяемый по отношению к Ваалу в финикийской версии билингвы Karatepe, объясняется в работе [Schmitz 2009] как транслитерация греч. *κορυντηριος — архаического синонима засвидетельствованного κορυνήτης ‘держащий палицу’. В поддержку своей гипотезы автор приводит анатолийский иероглифический теоним DEUS.MALLEUS, букв. ‘бог дубины’, записанный после изображения божества, держащего дубину, на рельефе из Алеппо [Kohlmeyer 2000: таблица 16]. Дополнительное сопоставление, рассматриваемое Шмитцем, — теоним *b’l ṣmd*, букв. ‘Ваал жезла’, известный по текстам из арамейского княжества Самал [Tropper 1993: 45]. Представляется, что во всех трех случаях мы имеем дело с одним божеством, которое, вероятно, следует идентифицировать с богом грома Алеппо. Если это предположение является верным, то факт перевода официального эпитета этого бога на греческий язык в некоторый период истории Киликии подтверждает идею о продолжительном присутствии греков в этом регионе в начале железного века.

Но персонаж, действительно сводящий воедино аргументы в пользу ранней греческой колонизации Памфилии и Киликии, — это Мопс (Μόψος).

которыми последователи некоторые другие авторы, принять, что Аварку и В(а)р(а)ика являются двумя вариантами одного и того же имени, несмотря на три независимых графических несоответствия в лувийском написании этих кратких имен [ср. Lipiński 2004: 119] и два сочетающихся графических несоответствия в арамейском написании тех же имен [Kaufman 2007: 22]. Относительно невозможности объяснения данных двух имен как графических вариантов одного имени, см. недавний анализ [Simon 2014].

[188] В то же время можно предположить, что осознание особой культурной идентичности давало князьям Хиявы стимул культивировать использование на письме финикийского языка вместо лувийского во времена, когда микенское письмо было забыто, а использование греческого алфавита еще не получило распространения. По крайней мере, в случае комплекса Каратепе можно утверждать, что финикийские надписи имели большее значение, чем лувийские варианты. Текст надписи сохранился в двух лувийских и трех финикийских копиях, а блоки, расписанные лувийскими иероглифами (если они действительно найдены *in situ*), не были даже расставлены в правильном порядке [Payne 2006: 124–125, там же ссылки].

Согласно греческой традиции, резюмированной в работе [Vanschoonwinkel 1990], этот предсказатель, живший во времена троянской войны и умудрившийся в начале своей карьеры одержать победу над Калхасом в открытом состязании в Колофоне, оказался во главе греческой колонизации Памфилии и Киликии[189]. Греческие топонимы соответствующих частей Малой Азии подтверждают информацию из письменных источников. Так, Плиний (*Hist. Nat.* 5.96) сообщает, что древним названием Памфилии было Мопсопия, а два греческих города в Киликии назывались Мопсуэстия и Мопсукрене соответственно. Микенское имя *mo-qo-so-*, зафиксированное в Кноссе (De 1381.B) и Пилосе (Sa 774), представляет собой более раннюю форму того же антропонима, хотя здесь оно явно относится к другим персонажам. Форма этого имени для II тыс. до н. э. должна реконструироваться как **mok^{w}so-*[190].

Самые ранние свидетельства этого греческого имени в анатолийских источниках могут быть найдены, вероятно, в «Обвинении Маддуватты» (CTH 147). Текст KUB 14.1 rev. 75 содержит имя ^{m}*Mu-uk-šú-uš* в плохо сохранившемся контексте, который, к сожалению, не подлежит реконструкции [Goetze 1927: 36]. Однако десятью строками ниже CTH 147 переходит к теме совместного похода Аттарсии и Маддуватты против Аласии/Кипра, и это подтверждает гипотезу о том, что *Muksu-* также является именем микенского лидера. Имена Алаксанду и Аварку свидетельствуют о том, что анатолийские *и*-основы представляли собой распространенный способ адаптации греческих тематических основ.

---

[189] В работе [Vanschoonwinkel 1990] утверждается, что случайное совпадение между анатолийским и греческим именами Мопс дало начало легенде о путешествии Мопса Колофонского на восток. Это заключение являлось, вероятно, жизнеспособной гипотезой во времена, когда оно было сделано, но оно потеряло актуальность после открытия надписи ÇINEKÖY, представившей исследователям независимые свидетельства в пользу раннегреческого присутствия в Киликии. Предложенное здесь толкование имени Мопса как исконного греческого во всех случаях его упоминания в целом опирается на работу [Oettinger 2008]. Тема скитаний Мопса также освещается в недавней русскоязычной статье [Сафронов 2012], где автор недвусмысленно связывет воспоминания об этой фигуре с миграциями народов моря, начальной точкой которых могла быть как Греция, так и западная часть Малой Азии.

[190] Николай Дамасский упоминает вариант того же имени *Moxos* в связи с Лидией. Другой Мопс, рожденный в Фессалии, принимал участие в путешествии аргонавтов и, согласно греческой традиции, умер на обратном пути в Африке [Vanschoonwinkel 1990: 193–194].

Убедительные ссылки на Мопса как на предка хиявских князей могут быть обнаружены в билингвах KARATEPE и ÇINEKÖY. Ключевое значение для установления истории этого имени имеет нерегулярное соответствие между лувийской основой *Muksa-* и финикийской основой *mpš*, отмеченное в примере (76) и реконструируемое для примера (77). Эттингер [Oettinger 2008] приводит веский лингвистический аргумент в пользу греческого происхождения данного имени. Если бы мы имели здесь дело с хеттским или лувийским именем, содержащим $*k^w$, как это предлагает, например, [Strobel 2011: 197], то оно было бы записано как **Mukussa-* или **Mukussu-*, а не *Muksa-* и *Muksu-*, как в обсуждаемых документах. С другой стороны, если признать, что форма Mok^wso- имеет греческое происхождение, то данные соответствия легко объясняются потерей лабиализации лабиовелярного перед *s* при передаче из греческого в анатолийский. К этому следует добавить, что финикийская форма должна была быть заимствованной из греческого в более поздний период, когда переход $*k^w > p$ уже произошел. Предположительно, греческая форма имени была заимствована еще в Западной Анатолии, а греческая — уже после переселения исторического Мопса в Киликию.

(76) KARATEPE 1, §57, Hawkins 2000, I: 56
(Лув./Но.) ma-pa-wa/i (CRUX)pa+ra/i-na-wa/i-tu-u
(LITUUS)á-za-ti-wa/i-tà-ia **mu-ka-sa-sá**-há-´ DOMUS-ní-i
(DEUS)TONITRUS-hu-ta-[ti] DEUS-na-ti-há
‘И много пусть служат Ацативаде и дому **Мукса** по воле Тархунта и богов’.
(Фин.) w-brbm y‘bd l-’ztwd w-l-bt **mpš** b-‘br b‘l w-’lm
‘И помногу пусть служат Ацативаде и дому **Мопса** по воле Ваала и богов’.

(77) ÇINEKÖY §1, Tekoğlu and Lemaire 2000: 968, 994

(Лув.) [EGO-mu] wa/i+ra/i-i-[ka-sá x-x-x-x(-x) (“INFANS”)ni-]mu-wa/i-za-sa **[mu-ka]-sa-sa** |INFANS.NEPOS-si-sà |hi-ia-wa/i[-ni]-sá[(URBS)] |REX-ti-sa |(DEUS)TONIT[RUS]-hu-t[a-sa ….]

‘[Я] Варайка, сын [X], внук **Мукса**, князь Хиявы, [слуга[?]] Тархунта.

(Фин.) ’nk w[ryk bn …] ’šph **mpš** [mlk dnnym] hbrk b‘l

‘Я Варайка, [сын X], потомок **Мопса**, [князь Хиявы], любимец Ваала’.

Нет причин считать, что хиявский князь Мукса/Мопс, упомянутый в тексте VIII в. до н. э., является тем же лицом, что и Муксу, упомянутый в связи с Юго-Западной Анатолией на добрых семь веков раньше. Также не следует безоговорочно идентифицировать кого-либо из них с Мопсом классической греческой традиции, хотя подобная идентификация остается весьма вероятной в случае Мопса из Киликии. Достаточно предположить, что **Mok^{w}so-* являлось распространенным династическим именем в греческих колониях Малой Азии в конце бронзового и начале железного века, так что несколько одноименных правителей могли быть смешаны в одну фигуру в греческих легендах[191].

Мы надеемся, что дальнейшие исследования прольют больше света на раннюю историю греческих поселений на средиземноморском побережье Анатолии. Но уже сейчас можно утверждать, что присутствие греков в этом регионе было достаточным, чтобы отвечать за окказиональные заимствования из лувийского в греческий. Очевидно, отдельные лувийские слова могли проникнуть в греческий язык различными путями, но некоторые

[191] Многие из представленных в данном разделе идей, которые касаются связей эгейской Аххиявы с правившей в Куэ/Хияве династией, отстаивались более подробно в работе [Jasink, Marino 2007]. Наиболее существенное различие между нашими подходами заключается в том, что Ясинк и Марино не склонны принимать отождествление между микенской Грецией и исходной локализацией Аххиявы, считая последнюю “микенизированным царством, расположенным на прибрежных и островных территориях Западной Анатолии”. В то же время между практическими выводами из наших несовпадающих взглядов на самом деле нет никакого реального несоответствия. Более серьезными являются разногласия между выводами данного раздела и [Gander 2012], где производится попытка последовательной деконструкции всех аргументов в пользу греческого присутствия в Киликии в раннем железном веке. При этом автору неоднократно приходится прибегать к гипотезам о случайном созвучии или народной этимологии для обоснования своих выводов.

из рассмотренных ранее в этом разделе форм, по-видимому, попали туда через южное, а не через западное, побережье Малой Азии, что можно заключить на основе чисто филологических соображений. Так, имя крылатой лошади Пегаса впервые встречается в «Теогонии Гесиода», то есть в труде, находившемся под сильным влиянием хурритской и западносемитской космогонических традиций [Güterbock 1946: 100–115]. Лувийский титул *tarrawan(ni)-* ‘правитель, судья’ постепенно вытеснил из употребления более раннее **hantawatt(i)-* ‘царь’, после того как новая концепция политического лидера, управляющего при помощи своей справедливости, получила признание в сиро-палестинском регионе в начале железного века [ср. Pintore 1979][192]. Напротив, отсутствуют прямые лувийские лексические заимствования в греческий, которые могли бы подтвердить идею о контактной зоне в эгейском бассейне[193].

2.9 Историческое резюме

Таким образом, если резюмировать выводы из данного раздела, можно увидеть сценарий этнолингвистических изменений, которые, вероятно, происходили в западной части Малой Азии в конце бронзового века и начале железного века. Реконструкция этнолингвистической истории остается проблематичной для региона, из которого доступны лишь несколько письменных текстов. Я не питаю иллюзий по поводу предварительного характера предлагаемого описания, отдельные элементы которого будут уточняться по мере того, как будет углубляться наше понимание анатолийских языков и обнаруживаться новые исторические источники. Тем не менее связная нарративная форма изложения имеет свои преимущества,

[192] Хронология замещения старых титулов правителей Каркемиша инновационным титулом IUDEX (= *tarrawann(i)-*) обсуждается в монографии [Giusfredi 2010: 90–97].

[193] Наиболее часто цитируемый пример лувийского заимствования в греческий в эгейском ареале — это имя лесбийской столицы Μυτιλήνη, традиционно связываемое с лувийским именем Муваталлли [Dale 2011]. В данном случае, однако, следует помнить, что имя Муваталли принадлежало, в частности, двум царям Хаттусы, и поэтому его передача в греческий может объясняться имперским влиянием.

создавая точку отсчета для будущих исследований. Именно по этой причине настоящий раздел содержит меньшее количество недоговорок и сомнений, чем можно обнаружить выше в данной главе. В скобках указаны разделы, где соответствующие темы раскрываются более подробно.

Среди известных нам анатолийских этнических групп лидийцы первыми поселились в Западной Анатолии, в регионе, лежащем между долинами Меандр и Кайк. Лидийский язык разделяет не только генетические инновации анатолийской группы, но и особенности, явно характеризующие анатолийский языковой союз, такие как анлаутное оглушение взрывных и частое употребление посессивных прилагательных. Эти ареальные инновации предполагают, что носители пралидийского языка и другие анатолийцы столкнулись со сходными типами неиндоевропейского субстрата. Пралидийцы оказались способны установить господство в регионе и стимулировать языковой сдвиг у местного населения, но им не удалось создать централизованное государство. Возможно, северные соседи лидийцев, жившие к северу от Кайка в классической Мизии, были их близкими языковыми родственниками (2.5).

В более поздний период, — возможно, к концу III тыс. до н. э., — на территорию Юго-Западной Анатолии начали распространяться лувические племена. Ликийцы остановились на южном берегу Малой Азии, а группа, достигшая Эгейского моря и поселившаяся в регионе к югу от долины Меандр, позднее стала известна как карийцы. Еще одна лувическая группа проникла на территорию к северу от Меандра и подчинила лидийские племена. Они основали княжество Арцава, чье название, вероятно, производно от старого географического наименования, предшествовавшего политической централизации в данном регионе (2.2). Один из факторов, который, возможно, ускорил создание княжества Арцава, заключался в необходимости оказывать сопротивление проникновению царства Хаттусы и микенцев в юго-западную часть Малой Азии. Несмотря на то что арцавские элиты носили лувические имена и, возможно, сохранили свой лувический

диалект в качестве родного языка, основное население в северной части Арцавы продолжало говорить на лидийском языке (2.3). В момент наибольшего расширения Арцавы на восток это княжество, вероятно, также включило в себя некоторые лувоязычные территории.

Правители Арцавы страстно желали присоединиться к клубу ближневосточных правителей, обменивавшихся письмами и дипломатическими подарками со своими царскими «собратьями». Они использовали хеттский язык и клинопись для дипломатической переписки и, вероятно, пригласили писцов из Хаттусы в свою канцелярию (2.4). Это, конечно, не препятствовало грабительским набегам на хеттскую территорию (2.2). Часть империи Хаттусы, которая была особенно подвержена набегам, — Нижняя страна, известная по Хеттским законам как Лувия. Насильственные депортации из Нижней страны в Арцаву могли привнести некоторые лувийские элементы в западную часть Анатолии, но невозможно оценить, сколько потребовалось времени для их ассимиляции (2.5).

В правление Мурсили II, то есть во второй половине XIV в. до н. э., княжество Арцавы оказалось во власти Хаттусы и было разделено на ряд вассальных государств. Местной аристократии удалось сохранить свои властные позиции, но под господством Хаттусы (2.2). Протекторат Хаттусы над западной частью Малой Азии способствовал дальнейшему культурному синкретизму между двумя регионами. В Хаттусе переписывались арцавские ритуалы, а в Западной Анатолии была введена иероглифическая система письма (2.4). Лувические и лидийские просторечия никогда не использовались в письменных документах Миры и страны реки Сеха, и местные правители, должно быть, продолжали вести свою переписку с помощью ввезенных писцов, их потомков и учеников. Поскольку все хеттские писцы этого периода были билингвами и знали лувийский язык, и для многих из них лувийский был родным языком, хетто-лувийское двуязычие должно было стать нормой и среди западноанатолийских интеллектуалов (2.4). Можно предположить, что лувийский язык и

лувический диалект Арцавы оставались взаимопонятны в рассматриваемый период, и этот факт способствовал углублению контактов между Хаттусой и Арцавой.

Нельзя сказать ничего конкретного о диалекте вассального княжества Вилуса, чьи культурные контакты с микенским миром были, вероятно, ограничены уровнем элит. Маловероятно, что лувическая экспансия распространилась настолько к северу; присутствие лидийцев возможно, но не подтверждается положительными данными. Лувийцам, жившим в районе Истанувы, был знаком город, но не более того. Если князья Вилусы имели собственную канцелярию, то на роль местного письменных языков лучше всего подходят хеттский и имперский лувийский, но также возможно, что они не имели канцелярии как таковой (2.6).

Распад Хеттской империи примерно в 1200 г. до н. э. во многих отношениях способствовал изменению лингвистической ситуации в Западной Анатолии. Хеттский и лувийский языки потеряли свой престижный статус, письменная традиция в этом регионе была прервана, а городская цивилизация пострадала от системного коллапса, что иллюстрируется, например, оставлением Трои. С другой стороны, фригийцы и другие группы населения балканского происхождения использовали политический вакуум и мигрировали в Анатолию с северо-запада. Захватчики с Балкан дали название классической Мизии, хотя исконные жители этого региона, вероятно, избежали полной языковой ассимиляции (2.5). Наконец, западноанатолийский регион не мог остаться в стороне от блужданий народов моря. Некоторые лувические группы, в частности племена лукка (праликийцы), вероятно, примкнули к народам моря с целью расширения сферы своего обитания. Скитания лукка в начале железного века оставили след в гомеровском описании «троянских ликийцев» (2.7).

Греческая колонизация Малой Азии, начавшаяся еще в бронзовом веке, продолжилась в ускоренном темпе после распада микенских государств. Вслед за основанием первых колоний в районе классического Милета греки

стали постепенно расширяли область колонизации на восток вдоль средиземноморского побережья, в классическую Памфилию и Киликию. Визиты греческих кораблей в эти регионы, возможно, были спорадическими в конце бронзового века, но следует допустить их устойчивое присутствие в южных прибрежных районах Малой Азии к началу I тыс. до н. э. Присутствие греческих колонистов в Памфилии способствовало установлению их языкового доминирования в этом регионе, но в Киликии они обнаружили себя среди лувоязычного населения и, вероятно, были постепенно ассимилированы (2.8). Киликия является единственным географическим регионом, где можно показать, что лувийцы и греки проживали бок о бок. Ближайшими соседями греков в Юго-Западной Анатолии были карийцы.

Карийское культурное влияние на регион классической Лидии, возможно, имело место в первой половине I тыс. до н. э. (2.3). Период хеттского господства в этом регионе также оставил следы в религии и культуре (2.4). Сардские правители «Гераклиды» имели, вероятно, мизийское происхождение, и группы мизийцев поселились в районе Сард в период их правления (2.5). Другая этническая группа, обозначенная в раннегреческих источниках как меонианцы, пришла к власти в Сардах в начале VII в. до н. э. (2.5). В правление новой династии Мермнадов их царство стало известно как Лидия, и в это время стали появляться первые надписи на лидийском языке. Хотя имя первого мермнадского царя Гига имеет карийское происхождение, все же в данный период лидийский язык, по-видимому, являлся как языком элиты, так и населения в целом.

Предложенная выше этнолингвистическая реконструкция не оставляет места спекуляциям о языковом доминировании лувийцев на эгейском побережье Малой Азии. Вместо реконструкции крупномасштабных лувийских миграций на запад можно оперировать теперь с этническими передвижениями лувических групп. В предложенном здесь сценарии лувийцы представлены как восточные соседи карийцев, лидийцев и

носителей лувического диалекта Арцавы. После завоевания Арцавы хеттами носителями лувийского языка на эгейском побережье, вероятно, были эрудированные официальные лица, представители империи Хаттусы в западноанатолийских вассальных государствах, писцы и их местные ученики. Я не вижу причин признавать присутствие лувийского языка в этом регионе после распада *pax hethitica*.

Глава 3. Доисторические контакты между хеттами и лувийцами

3.1 Вводные замечания

Как известно, хеттский и лувийский языки принадлежат к анатолийской подгруппе индохеттского (раннего индоевропейского) языка[194]. Также общепринято мнение, что хеттский язык имперского периода подвергся частичной реструктуризации под влиянием лувийского и заимствовал большое число лувийских лексем. Вопрос о глубине языковых контактов между хеттским и лувийским в промежуточный период является более спорным и тесно связан с проблемой локализации хеттской и лувийской прародин. Как уже упоминалось, Брайс [Bryce 2003] выдвинул гипотезу, согласно которой местная прародина лувийцев располагалась в Западной Анатолии, а их присутствие на Центральноанатолийском плоскогорье может быть объяснено их миграциями в восточном направлении во II тыс. до н. э. Если следовать общему мнению, согласно которому локальная прародина хеттов растянулась вдоль верхнего и среднего течения реки Галис [Melchert 2003a: 15], то из идеи Брайса логически вытекает существование разрыва в лувийско-хеттских контактах, охватывающего период между распадом анатолийской группы языков и миграциями, вернувшими лувийцев в Центральную Анатолию.

В Главе 4 мы увидим, что существование подобного разрыва, по-видимому, не подкрепляется лингвистическими материалами. Мелчерту [Melchert 2005] удалось обнаружить десятки лувийских лексических заимствований, засвидетельствованных уже в древнехеттских текстах. Лувийские личные имена появляются в староассирийских торговых

[194] Данная глава очень близка по содержанию к русскоязычной статье [Якубович 2014]. Основное различие между двумя работами заключается в том, что [Якубович 2014] акцентирует внимание на этимологии хеттской частицы *=za*, целью настоящей главы является доказательство существования структурной интерференции между хеттским и лувийским языками в доисторический период.

табличках, написанных в XX–XVIII вв. в Канеше, колыбели хеттского языка. Лувийские заклинания иногда вставлялись в древнехеттские магические ритуалы, а страна Лувия упоминается в древнехеттских законах как регион, находящийся под хеттской юрисдикцией, хотя нет свидетельств того, что цари Хаттусы распространяли свое владычество на Западную Анатолию до периода царствования Мурсили II (конец XIV в. до н. э.). Взятые вместе, эти аргументы предоставляют весомые свидетельства в пользу географической смежности хеттов и лувийцев, восходящей еще к доисторическому периоду. Однако необходимо подчеркнуть статистическую природу подобной аргументации, когда отдельные элементы остаются уязвимыми для критических атак. Лексические заимствования могут происходить между удаленными в географическом плане языками, лувийские торговцы могли иногда выезжать за пределы своей родины в поисках выгодных сделок, а хеттское завоевание Западной Анатолии в период раннего Древнего царства может теоретически представлять краткосрочный эпизод, которому не довелось получить отражение в сохранившейся части хеттской исторической литературы.

Заимствование грамматических морфем представляет свидетельства совсем иного типа. Грамматическая интерференция между различными языковыми кодами должна обуславливаться двуязычным окружением, которое может корректировать процесс усвоения языка в больших группах населения. В обществах, не имеющих СМИ и не пожинающих плоды обязательного образования, ситуация долговременного и массированного языкового контакта может возникнуть только между соседними (в географическом плане) диалектами. Следовательно, достаточно привести доказательства в пользу хотя бы одного случая грамматического заимствования, чтобы сделать заключение о географической близости двух древних языков во время, когда это заимствование имело место.

Цель данной главы заключается в том, чтобы рассмотреть пример доисторического заимствования из лувийского (лувического) языка в

хеттский, трансформировавшего систему хеттских возвратных местоимений. В разделе 3.2 разбирается развитие возвратных местоимений в лувийском, которое может объясняться без привлечения идеи о внешнем влиянии. В разделе 3.3 мы обратимся к палайскому и лидийскому, двум анатолийским языкам, в которых, похоже, сохранился более архаичный набор возвратных местоименных клитик. Раздел 3.4, составляющий ключевую часть данной главы, посвящен анализу ситуации в хеттском языке. Я полагаю, что хеттская возвратная частица *=z(a)* не может быть выведена из какой-либо праанатолийской клитики, но должна объясняться как раннее заимствование лувической местоименной клитики *=*ti*/*=*di*. В разделе 3.5 обсуждается социолингвистическая ситуация, в которой было возможно подобное заимствование, и представлена относительная хронология постулируемого контактного эпизода и релевантных внутрихеттских процессов.

3.2 Развитие возвратных местоимений в лувийском языке

Тексты на позднелувийском языке понимаются лучше, чем материалы бронзового века, и, таким образом, они могут стать хорошей отправной точкой для рассмотрения лувийских возвратных местоимений. Система лувийских местоименных ваккернагелевских клитик периода железного века может быть резюмирована в следующей таблице[195]:

[195] Все приведенные формы засвидетельствованы в познелувийских текстах железного века. По поводу фиксации редких возвратных и невозвратных клитик 2 л. см. [Morpurgo-Davies 1980/1981: 89, сноска 3]. Формальные особенности лувийских клитик мн. ч. не будут рассматриваться в данном разделе. По поводу формального определения категории ваккернагелевских клитик см. [Циммерлинг 2012: 5–6].

Таблица 8: Позднелувийские местоименные клитики[196]

	им.	**вин.**	**дат.**	**дат. возвр.**
1 ед.	(нет)	=mu	=mu	=mi/=mu
2 ед.	(нет)	=du > =ru	=du > =ru	=di > =ri
3 ед.	=as (общ.)/=ada (ср.)	=an (общ.)/=ada (ср.)	=du > =ru	=di > =ri
1 мн.	(нет)	=anz(a)	=anz(a)	=anz(a)
2 мн.	(нет)	=mmanz(a)	=mmanz(a)	=mmanz(a)
3 мн.	=ada	=ada	=mmanz(a)	=mmanz(a)

Местоименные клитики в аккузативе и дативе ограничены случаями удаленных антецедентов, находящихся за пределами клаузы, и занимают те синтаксические позиции, которые в других случаях заняты существительными в аккузативе и дативе соответственно. Функция так называемых возвратных клитик является гораздо менее тривиальной и подробно описывается ниже[197].

В противоположность ожидаемому, лувийские возвратные клитики, по-видимому, не замещают прямые дополнения, имеющие локальные антецеденты (т. е. подлежащие той же клаузы). В этой функции используется перифрастическое выражение с существительным *atr(i)-* ‘личность, сам’[198]. В отдельных случаях эта конструкция может быть грамматикализована, что иллюстрируется появлением субъектной клитики *=as* в (2). Хотя правило Гарретта-Уоткинса препятствует появлению субъектных клитик в переходных клаузах, оно все же могло не работать в данном случае,

[196] Переход */d/ во флэп /ɾ/ находился, вероятно, в активной стадии в позднелувийском языке, а его реализация могла зависеть от социолингвистического регистра. Целостную картину сложно оценить, поскольку консервативная запись в иероглифическом письме могла исказить фонетическое распределение между исконными формами и формами, подвергшимися «ротацизму». Описание феномена «ротацизма» в позднелувийском языке см. у [Morpurgo-Davies 1982/1983]; о его фонетической интерпретации см. [Rieken, Yakubovich, 2010].

[197] Функциональное разграничение между возвратными местоимениями 1 и 2 л. *=mi* и *=di* и их в основном невозвратными аналогами *=mu* и *=du* было убедительно аргументировано в работе [Melchert 1988a: 41–42], в то время как похожее разграничение между 3 ед. *=di* (возвратное) и 3 ед. *=du* (невозвратное) было принято еще на заре исследований лувийского языка. Однако представленный ниже семантический анализ является моим собственным.

[198] О значении и этимологии лексемы *atr(i)-* см. [Yakubovich 2002a: 194–197; van den Hout 2002a].

поскольку *atr(i)-* воспринималось как маркер возвратности, а не как полноценный прямой объект.

(78) MARAŞ 4, §13–15, Hawkins 2000, I: 257
|wa/i-tá VIR-ti-i-zi-i (“PES”)pa-ti-zi |*ARHA*
(“MANUS+CULTER”)kwa/i+ra/i-ha-´
|(INFANS)ni-wa/i+ra/i-ni-zi-pa-wa/i-za |(“*474”)u-si-na-si-zi-i |i-zi-i-ha-´
|wa/i-**mi-i |á-mi-na (“COR”)á-tara/i-i-na** |á-pa-ara/i
|BONUS-li-ia-nu-wa/i-ha
‘Я отрезал ноги мужчинам и сделал детей евнухами, и тем самым возвысил **себя самого**’.

(79) KARKAMIŠ A2, §5, Hawkins 2000, I: 109
*a-wa/i-sa *a-mu ka-tu-wa/i-ia kar<-ka>-mi-si-za(URBS) REGIO
DOMINUS-ia **“COR”-tara/i-na** POST-ni a-tá BONUS-li-ia-ta
‘Но за меня, Катуву, правителя страны Каркемиш, он поднял**ся’** [199].

В некоторых случаях возвратные местоимения используются для выражения косвенных (дативных) объектов, контролируемых подлежащими той же клаузы. Редкость подобных форм, вероятно, обусловлена лишь природой нашего корпуса, поскольку мне неизвестны другие способы передачи того же значения в лувийском.

(80) MARAŞ 4, §9–10, Hawkins 2000, I: 256
|wa/i-**ti-i**a-ta |NEG_2-a-ha |tá-ti-i-sa |NEG_2-a-ha AVUS-ha-sá |sá-ta
|wa/i-**mi-i**a-tá |EGO ^{I}TONITRUS.*HALPA*-pa-$CERVUS_2$-ti-ia-sa |sá-a-ha
‘Ни мой отец, ни мой дед **себе** такого не позволяли, но я, Хальпарунтия, **себе** это позволил”.

[199] Я принимаю перевод этого предложения согласно интерпретации [Melchert 2011a], которая, с моей сегодняшней точки зрения, более убедительна, чем перевод Хокинса, процитированный в [Yakubovich 2002a: 195].

В значительно большем числе случаев возвратное местоимение маркирует посессор глагольного дополнения, являющийся кореферентным подлежащему. Так, в представленном выше примере (78) возвратная клитика *=mi* дублирует посессивное местоимение *ami(ya)-* ‘мой’ (а не прямой объект *atr(i)-* ‘себя’!), а в приведенном ниже примере (81) эта возвратная клитика замещает утраченное притяжательное местоимение **abass(a/i)-* ‘его’. Это употребление должно рассматриваться вместе с другими случаями подъема посессора в лувийском, которые, вероятно, имели коммуникативную функцию выведения на передний план (обсуждение теоретических вопросов см. [Mel’čuk 2001: 204–207]). Как в случае существительных, так и в случае ударных местоимений, поднятая составляющая обычно выражается в дативе, как в примере (82). Это распределение также позволяет рассматривать возвратные энклитические местоимения в (78) и (81) как подмножество дативных возвратных местоимений.

(81) KARKAMIŠ A1b, §2–3, Hawkins 2000, I: 92
*a-wa/i-**ti** a-mi-i-sa VIR-ti-i-sa kwa/i-i-ta kwa/i-i-ta ‖ |á-lá/í-ma-za
i-zi-i-sa-ta-i |*a-mu-pa-wa/i-ta ‖ |BONUS-sa$_5$+ra/i-ti CUM-ní i-zi-i-sa-ta-i
‘Где бы мой муж ни превозносил **свое** имя, он также превозносит
мое с почетом’.

(82) KULULU 5, §10, Hawkins 2000, II: 486
wa/i-**tu-u** [á-la/i-ma-za *ARHA*] DELERE-nú-tu-u
‘Пусть они уничтожат **его** [имя]’.

Другая большая группа примеров включает случаи, когда лувийские возвратные местоимения не имеют соответствия в логической форме предложения. Насколько можно судить, цель их использования носит чисто стилистический характер. Так, в примере (83) правитель подчеркивает свое намерение извлечь выгоду из установления статуй богов и поэтому использует возвратное местоимение *=m(i)*, в то время как это же

местоимение пропущено в похожем контексте (84), где подобное намерение не выражено в явном виде. Данная синтаксическая структура может рассматриваться как подкласс более общего феномена, именуемого индоевропеистами этическим дативом (*dativus ethicus*). Он используется в отношении форм дательного падежа, которые не имеют соответствия в модели управления клаузального предиката, но маркируют участника, который, как предполагается, вовлечен в ситуацию на прагматическом уровне[200]. Использование возвратных этических дативов способствует идентификации этого участника с субъектом клаузы.

Развитие местоимений в дативе с возвратной функцией в возвратные этические дативы имеет хорошую параллель в некоторых американских диалектах английского языка, распространенных в основном на Среднем Западе и на Юге, где личные местоимения в косвенных падежах используются с дитранзитивными глаголами, для выражения кореференции между подлежащим и косвенным дополнением (напр., *I bought me a gun* ‘я купил себе пистолет’), но также и с переходными глаголами, не требующими косвенного дополнения (напр., *I ate me a possum* ‘Я съел опоссума’). Примечательно, что возвратное/эмфатическое использование личных местоимений в данных диалектах никогда не распространяется на прямые объекты[201].

(83) KARKAMIŠ A11b, §17, Hawkins 2000, I: 101
*a-wa/i-**m**a-tá |za|-ti-i |(“PODIUM”)hu-ma-ti |(SOLIUM)i-sà-nú-wa/i-ha
‘Я усадил их (т. е. богов) на помост’.

[200] Ср. следующий латинский пример: *Hic mihi quisquam misericordiam nominat* ‘Кто-то у меня тут упоминает милосердие’ (Саллюстий, Cat. 52.11). Этический датив *mihi*, букв. ‘у меня’, отражает возмущение говорящего по поводу ссылки на милосердие. В аттическом диалекте греческого языка этический датив 2 ед. τοι был грамматикализован в качестве частицы, использовавшейся в прямой речи с общим значением ‘позволь мне сказать тебе, посмотри’ в тех случаях, когда требовалось специально привлечь внимание собеседника.

[201] Я обязан данной информацией Роду Эдвардсу, жителю Северной Каролины, владеющему одним из таких диалектов, совместно с которым я обучался в аспирантуре лингвистического факультета Чикагского университета.

(84) KARKAMIŠ A23, §10, Hawkins 2000, I: 119

*a-wa/i-ta (DEUS)ku+AVIS-pa-na |kar-ka|-mi-si-za-na(URBS) MAGNUS.DOMINA-sa$_5$+ra/i-na |POST-ni |SOLIUM-nu-wa/i-ha

‘Я посадил сзади Кубабу, повелительницу Каркемиша’.

Использование лувийских возвратных местоимений в функции этического датива подверглось дальнейшей грамматикализации в двух различных случаях. Первая группа включает именные предложения с подлежащими в первом или втором лице. Поскольку глагольная копула настоящего времени обычно не получает явного выражения в лувийском языке и поскольку использование свободных субъектных местоимений является факультативным во всех контекстах, этический датив выступает единственным обязательным способом выражения субъекта для именного предиката[202]. Так, нельзя было бы определить подлежащее первой клаузы примера (86) с именным предикатом *hattura* ‘тот, кто должен писать, *scripturus*’, если бы не возвратное местоимение *=ri*. Этот функциональный способ был бы, однако, избыточным для подлежащих в третьем лице, поскольку последние всегда выражаются в именных клаузах либо существительными, либо субъектными энклитическими местоимениями, как в (87)[203].

(85) KARKAMIŠ A1b, §1, Hawkins 2000, I: 92

EGO-**mi-i** ^{I}BONUS-ti-sa ^{I}su-hi-si-i REGIO-ní DOMINUS-ia-i-sa |BONUS-mi-sa || FEMINA-ti-i-sa

‘**Я** Васти, почтенная жена Сухи, повелителя страны’.

[202] Интерпретация лувийских соединительных клитик в именных предложениях как этимологических этических дативов представлена в работе [Eichner 1974: 68]. Замечания Мелчерта [Melchert 1988a: 42] выглядят необоснованными в свете примера (83) и других подобных случаев.

[203] Это следствие из правила Уоткинса-Гарретта, согласно которому во всех анатолийских языках субъектные энклитические местоимения 3 л. не могут вставляться в клаузы с неаккузативными предикатами. Подробный анализ этого правила на материале хеттского языка см. у [Garrett 1996].

(86) ASSUR f+g, §11-12, Hawkins 2000, II: 536
wa/i-**ri+i**$^{-\mathbf{i}}$ |ku-ma-na |ha-tu-ra+a wa/i-za |ni-i-´ |ma-nu-ha |*ARHA*-´ |(“*69”)sa-si^{-i}
‘Когда **ты** должен писать, ни в коем случае нас не бросай (на произвол судьбы)’.

(87) KARATEPE 1, §60 (Hu.), Hawkins 2000, I: 56
ní-pa-wa/i-**sa** ^{I}CAPUT-ti-sá
‘Или же **он** вельможа’.

Вторая группа ограничена некоторыми предельными глаголами, омонимичными глаголам, обозначающим состояния. Единственный глагол из этой группы, который может рассматриваться без обращения к данным внешнего сравнения, — это глагол **asa-* (обычно записывается логограммой SOLIUM). Его значение с возвратной частицей — ‘садиться’, а без нее — ‘сидеть, обитать’[204]. Можно предположить, что маркер предельности в примере (88) и других подобных случаях представляет собой дальнейшее развитие возвратных местоимений, так как предельные глаголы находятся ближе к прототипическим транзитивам, чем их стативные аналоги [Hopper, Thomson 1980: 252]. Английское предложение *He thought to himself* ‘он подумал про себя’, которое может быть использовано для описания мыслительного акта человека, но не для его устойчивых убеждений, представляет приблизительную параллель тому, как используются лувийские возвратные местоимения в данной функции.

[204] Хокинс [Hawkins 1992: 262] убедительно показал, что лув. *muwa-*, сопровождаемое возвратными местоимениями, представляет собой точный эквивалент хетт. *=za… taruh-/tarhu-* ‘побеждать, завоевывать’. К сожалению, значение лув. *muwa-* без возвратного местоимения не может быть точно определено на основе имеющихся контекстов, однако предположение о его семантической близости к хетт. *taruh-/tarhu-* ‘быть могущественным, доминировать’ является достаточно правдоподобным.

(88) IZGIN 1, §2, Hawkins 2000, I: 315
*a-wa/i-**mi**-ta *a-mi-i |tá-ti THRONUS-tara/i-ti kwa/i SOLIUM-ha
‘когда я воссел на свой отцовский тон...’

(89) KARATEPE 1, §24 (Hu.), Hawkins 2000, I: 51
|á-*429-wa/i-sa-wa/i(URBS) || |kwa/i-ti |(BONUS)wa/i+ra/i-ia-ma-la
|SOLIUM-*MI*-i
‘... чтобы Аххиява могла жить мирно’[205].

Опираясь на представленный выше анализ, поддающееся реконструкции развитие возвратных местоимений в лувийском языке может быть резюмировано в виде следующей древовидной структуры:

Рисунок 3: Развитие лувийских возвратных местоимений

Таким образом, хотя местоимения, функционирующие как возвратные косвенные дополнения, представляют лишь малую часть всех клитик *=mi*/*=di*, засвидетельствованных в лувийском корпусе, они могут рассматриваться как логическая отправная точка для дальнейших семантических изменений внутри этой группы, что и позволяет называть данные клитики возвратными местоимениями. Следующий шаг заключается в том, чтобы сопоставить полученные результаты внутренней реконструкции с системой

[205] Данный перевод осторожно следует интерпретации [Oreshko 2014], принимая чтение ‘Аххиява’ вместо традиционного ‘Аданава’ для *á-*429-wa/i-*. См. дискуссию в предыдущей главе.

местоименных клитик, традиционно реконструируемых для праиндоевропейского языка[206].

Таблица 9: Праиндоевропейские клитические местоимения

	вин.	дат.	вин. возвр.	дат. возвр.
1 ед.	*=me	*=moi	*=me (или *=swe?)	*=moi (или *=swoi?)
2 ед.	*=te	*=toi	*=te (или *=swe?)	*=toi (или *=swoi?)
3 ед.	*=se	*=soi	*=swe	*=swoi

Возвратная основа *_sw_-, которая несомненно существовала в позднем индоевропейском языке, не имеет, по-видимому, явных аналогов в анатолийских языках. Вне зависимости от того, является ли это общеанатолийской инновацией, или специальные возвратные клитики возникли на стадии праиндоевропейского языка, последовавшей за отделением анатолийской ветви, необходимо признать, что в праанатолийском языке существовали иные средства для выражения кореференции между подлежащим и другими элементами клаузы. Пралувийские возвратные местоимения *=_mī_ (1 ед.) и *=_tī_/=_dī_ (2/3 ед.), выполняющие функцию косвенного дополнения, являются прямым фонетическим развитием индохеттских клитик *=_moi_ ‘мне’ и *=_toi_ ‘тебе’ соответственно, при этом последующее стяжение долгих гласных в этих формах может отражать общую тенденцию к устранению долгих гласных в

[206] Ср. [Meier-Brügger 2000: 209] и [Fortson 2004: 129–130]. Не представляются убедительными попытки приписать первичную возвратную функцию *=_s_- в праиндохеттском. Сравнение между хетт. =_se_ и греч. =_hōi_ ‘ему’ способствует реконструкции *=_soi_ в качестве дативной невозвратной (анафорической) клитики. Тот факт, что рефлексы *=_soi_ приняли возвратное значение в нескольких ветвях анатолийских и индоевропейских языков, необязательно отражает что-то большее, чем устойчивую типологическую тенденцию к образованию новых возвратных местоимений на основе исконных личных и анафорических местоимений. Если дативное *=_soi_ было анафорическим местоимением, то невозможно отрицать исконный анафорический статус аккузатива *=_se_, принадлежащего к той же парадигме, хотя в данном случае прямые сравнительные свидетельства отсутствуют. Несмотря на то что Коугилл [Cowgill 1965: 169] пытался реконструировать возвратное тоническое местоимение *_swé_, соответствующее энклитическому =_se_, в иранских языках — то есть в единственной группе индоевропейских языков, где противопоставлены местоименные основы *=_s_- и *_sw_-, — отчетливо видно их семантическое различие. Стоит, однако, отметить, что даже если считать, что *=_s_- имело и возвратный, и анафорический статус на самых ранних этапах, поддающихся реконструкции, и тем самым проецировать результаты обсуждаемой ниже Стадии 1 на праиндохеттский, то это никак не повлияет на остальные выводы данного раздела.

индохеттских клитиках[207]. Таким образом, можно выдвинуть гипотезу о том, что в древнем диалекте лувийского использование местоименных клитик было распространено на те случаи, когда их антецеденты находились в одной клаузе с ними. Это развитие может быть резюмировано в следующей таблице:

Таблица 10: Развитие лувийских клитик ед. ч. (Стадия 1)

	им.	вин.	дат.	(дат.) возвр.
1	(нет)	=mu	=mi →	=mi
2	(нет)	=tu/=du	=ti/=di →	=ti/=di
3	=as/=ada	=an/=ada	=si →	=si

Мелчерт [Melchert 2003b: 204, сноска 31] предложил сценарий следующей стадии, по поводу которой он пишет: “Появление энклитических форм *-mu*, *-tu* и *-tu* в качестве дативов (в лувийском. — И. Я.) могло ограничить употребление клитик с *-i*-вокализмом, что привело к их синхронному анализу как возвратных местоимений”[208]. Лувийские формы *=mu* (1 ед.) и *=du* (2 ед.) должны рассматриваться как рефлексы индохеттских аккузативных клитик *=*me* и *=*te*, чей вокализм был изменен по аналогии с ударными местоимениями *amū* ‘я’ и *tū* ‘ты’. Слияние в лувийском дативных и аккузативных клитик 1/2 л. находит функциональную параллель в системе именного склонения мн. ч., где в ранний период окончание аккузатива *-*ans* > *anz(a)* распространилось на датив. Подобное слияние клитик, однако, не произошло в третьем лице, поскольку здесь имела место более ранняя энклиза указательного местоимения **o*- в

[207] Сходным образом, праиндохеттские аккузативные клитики *=*me* ‘меня’ и *=*te* ‘тебя’ должны, вероятно, рассматриваться как сокращенные варианты ударных местоимений *mḗ*, *tḗ*. Ср. также греч. частицы δή vs. δε и μάν-/μήν vs. μεν. В то же время сокращение лувийских клитик не обязательно нужно проецировать на праиндохеттский или праанатолийский уровень, поскольку остается возможность сокращения безударных долгот в самом лувийском языке. Относительно трудностей квантитативной интерпретации гласных в лувийском языке см. [Якубович 2013a: 113].

[208] Мелчерт приводит здесь лувийские клитики в транслитерации, а не в фонетической транскрипции. Известно, что эта форма подверглась лениции и произносилась как /du/ (vel sim.) в общелувийском, поскольку ее согласный никогда не дублируется в лувийской клинописной орфографии и подвергся «флэппингу» в позднелувийском языке. О феномене лувийской лениции см. [Morpurgo-Davies 1982/3].

номинативе и аккузативе, приведшая к созданию новой анафорической клитики (им. ед. общ. =*as*, вин. ед. общ. =*an* и т. д.)[209]. Поскольку у данного местоимения в единственном числе падеж маркировался подобно существительным и прилагательным единственного числа, и оно не имело какого-либо фонетического сходства с косвенной анафорой =*si* ‘ему’, преобразование Стадии 2 не распространились на 3 л.

Таблица 11: Развитие лувийских клитик ед. ч. (Стадия 2)

	им.	вин.	дат.	(дат.) возвр.
1	(нет)	=mu → =mu		=mi
2	(нет)	=tu/=du → =tu/=du		=ti/=di
3	=as/=ada	=an/=ada	=si	=si

Последнее изменение, которое необходимо принять для объяснения общелувийской стадии, заключается в распространении дативных клитик 2 ед. — как возвратных, так и невозвратных — на 3 л. Очевидно, все лувийские дативные клитики начали характеризоваться оппозицией первого/непервого лица. Мелчерт (личн. сообщ.) полагает, что возможной функциональной мотивацией этого изменения была необходимость восстановить оппозицию между возвратными и невозвратными дативными клитиками по всей парадигме ед. ч. Конечно, имелись различные способы добиться той же цели: например, создание аналогической дативной нерефлексивной клитики **=*su*. Тем не менее распространение =*di* и =*du* со второго лица на третье было более предпочтительным из-за существования лувийской клитики мн. ч. -*manz(a)* ‘вам, им; вам самим, им самим’. В противоположность этому, аккузативная клитика 2 ед. =*tu*/=*du* не смогла распространиться на 3 л., поскольку анафорические формы =*an*/=*ada* ‘ему/ей’ и =*ada* ‘им’ обладали парадигматической поддержкой от номинативных форм той же лексемы.

[209] Эта новая энклитическая основа была ограничена номинативом и аккузативом во всех анатолийских языках, кроме ликийского и милийского (информация о карийском отсутствует). В ликийском и милийском вторично сформировались инновативный датив =*i* ‘ему/ей’ и пространственное наречие =*ije* ‘здесь, на нем’ [ср. Melchert 2004a: 26–28, 116].

Можно будет больше сказать об этом процессе при рассмотрении развития хеттских клитик.

Таблица 11: Развитие лувийских клитик ед. ч. (Стадия 3)

	им.	вин.	дат.	(дат.) возвр.
1	(нет)	=mu	=mu	=mi
2	(нет)	=du	=tu/=du ↓	=ti/=di ↓
3	=as/=ada	=an/=ada	=tu/=du	=ti/=di

Клитики первого лица подверглись дальнейшим изменениям в отдельных диалектах лувийского. Позднелувийские надписи свидетельствуют о распространении *=mu* (вместо *=mi*) на возвратные местоимения 1 л., как это видно из следующего примера:

(90) KARATEPE 1, §63–64 (Hu.), Hawkins 2000, I: 57
ARHA-wa/i-ta "*69"(-)i-ti-wa/i ‖ (LITUUS)á-za-ti-wa/i-tà-sá á-lá/í-ma-za
PORTA-la-na-ri+i zi-na wa/i-**mu**-ta ‖ á-ma-za á-la/i-ma-za a-ta tu-pi-wa/i
'Я сотру имя Ацативады с этих ворот и выбью **свое** имя'[210].

Система текстов бронзового века, происходящих из Киццувадны, соответствует распределению на третьей стадии, хотя в данном случае наши свидетельства фактически ограничены клитиками 3 л. Однако при рассмотрении лувийских поэтических фрагментов, инкорпорированных в Истанувские ритуалы, мы сталкиваемся с отклонениями от данного распределения. Клитика *=mi* в примере (91) явно зафиксирована в невозвратной функции[211]. С другой стороны, клитика *=mu* также встречается со значением 'мне самому' в том же корпусе текстов (92) и может кодировать возвратного посессора, как, вероятно, в примере (93). Принимая допущение,

[210] См. [Goedegebuure 2007], где дается интерпретация лув. *zin* как творительного падежа от дейктического местоимения *za-* 'этот'. Интересно, что в надписи KARATEPE клитика *=mi* сохраняется лишь в широко распространенной конструкции EGO=*mi*.
[211] Ср. также последовательность [(*u*)]*nza=piyan=mi taban* в KUB 35.135 iv 7, которая, вероятно, является пассивным предложением '*Taba-* дан мне тобой', как это показано в 1.7.

что «Песни Истанувы» отражают единый лувийский диалект, что, впрочем, совершенно не обязательно, придется предположить, что *=mi* и *=mu* были в этом диалекте свободными алломорфами.

(91) KBo 4.11 obv. 54–55, CTH 772.1 (NS), Starke 1985: 341
du-uš-ša-ni-ya-al-la-aš-**mi** a-ya-tar pa-a-i-ú
˹hal˺[-d]a-**me-i**t-ta du-wa-an-ta[212] w[a-]˹a˺-šu pád-du
‘Пусть *dussaniyala-* подарит **мне** *ayatar*, пусть он хорошо сохранит вдалеке[?] **мои** *halda-*’.

(92) KUB 25.39 iv 7–8, CTH 773 (NS), Starke 1985: 330
šu-um-ma-al-la-an-na-**mu-u**r[213] har-la-a pár-la-a hu-u-i-ya-ad-da
‘*Summallanna-* бежали **от меня** *harla parla*’.

(93) KUB 35.136+ iv 15–16, CTH 773 (NS), Mouton 2008: 257
[za-a-**m**]**u** ^{GIŠ}i-lu-u-wa za-a-am-**mu** ^{GIŠ}hi-i-lu-[u-wa zi-i-la a-r]u-u-wa a-ú-i-ha
‘[Это] **мои** *iluwa-*, это **мои** *hiluwa-*, [поэтому] я поднялся наверх’.

3.3 Ситуация в палайском и лидийском

Как было показано в предыдущем разделе, последовательная реконструкция лувийской системы местоименных клитик предполагает существование на промежуточной стадии возвратного местоимения 3 л. *=si*, хотя оно синхронно не засвидетельствовано в лувийском языке и не может быть реконструировано для праиндохеттского. Существование подобного

[212] Я исхожу из того, что с помощью *hal*[*-d*]*a-me-it-ta* записывается /halda=mi=tta/ и что знак <me> был использован в данном случае, поскольку это простая графема, требующая только двух штрихов, в то время как написание <mi> требует пяти штрихов. Стоит обратить внимание на написание *=mi* в предыдущей строке и на отсутствие фонемы /e/ в лувийском. Точное значение лексемы *duwanta* неизвестно. Можно предположить, что эта форма связана с хетт. *tuwān* ‘сюда’, *tuwān parā* ‘до сих пор’. Сходная форма *tu-wa-a-an-ta* зафиксирована по крайней мере дважды в хеттском корпусе, хотя ее значение не может быть выявлено из контекста (HEG, T: 491).
[213] Я следую Каррубе [Carruba 1970a: 77], который интерпретирует *šu-um-ma-al-la-an-na-mu-ur* как /summallanna=mu=r/, где *=r* является пространственной частицей. Однако мой синтаксический анализ данного предложения отличается от предложенного Каррубой.

местоимения в некоторых других анатолийских языках, очевидно, оказало бы дополнительную поддержку предложенному диахроническому сценарию.

Материалы лувических языков, записанных алфавитным письмом, ничего не добавляют к предложенной реконструкции лувийских клитик, что связано как с недостаточной фиксацией релевантных форм, так и с их инновативным характером. Следовательно, необходимо рассмотреть ситуацию в языках, родственных лувическим, а именно в палайском и лидийском. Система палайских клитик ед. ч. (в той мере, в какой она известна) может быть резюмирована в следующей таблице[214]:

Таблица 13: Палайские местоименные клитики ед. ч.

	им.	вин.	дат.	дат. возвр.
1	(нет)	*=mu	=mu	?
2	(нет)	=tu[?]	=ti[?], =tu[?]	=ti , =si
3	=as/=at	=an/=at[?]	=tu	*=si

В таблице отражено наше неполное понимание палайского языка. Формы, отмеченные вопросительными знаками, встречаются в менее ясных контекстах и их точное значение, таким образом, остается проблематичным. Тем не менее, если ограничить анализ контекстами, для которых мы имеем полностью адекватную интерпретацию, то можно показать, что палайский подвергся инновациям, тождественным лувийской Стадии 1 и Стадии 2, а также частично Стадии 3. Дативная клитика 3 ед. *=tu* ‘ему’ встречается в хорошо понимаемой клаузе *a=tu pīsa* ‘Дай это ему!’ (KUB 35 165 rev. 24). Это значение *=tu* (Стадия 3) сложно объяснить, если не принять более раннее использование данной формы в качестве дативной клитики 2 ед. (Стадия 2), как и полагает Мелчерт [Melchert 1984a: 35].

Но если обратить внимание на местоимения с *i*-вокализмом, можно убедиться, что реализация инноваций Стадии 3 в палайском языке была

[214] Все рассмотренные ниже палайские примеры могут быть обнаружены в транслитерации у [Carruba 1970b].

непоследовательной. Все зафиксированные в нашем корпусе случаи употребления *=ti* указывают, по-видимому, на 2 л. Клитика *=ti* выступает в качестве возвратного этического датива 2 л. в примере (94) и в качестве субъектного маркера 2 л. в причастной клаузе во второй части примера (95). В последнем случае данная интерпретация *=ti* подтверждается параллельной клаузой *mān=as marhanza* ‘Если он придет как гость[?]…’ (KUB 35 165 rev. 24), которая встречается в том же ритуале. Неожиданно мы также сталкиваемся с невозвратным значением *=ti* ‘тебе’ в первой клаузе примеров (95) и (96). Карруба [Carruba 1970a: 74; 1972: 28–29] рассматривает эти клитики в двух последних случаях как возвратные этические дативы и, следовательно, оставляет их без перевода, однако, учитывая тот факт, что мы имеем дело с религиозными обращениями, отсылка к их божественному адресату лучше соответствует контекстам обоих пассажей[215]. В случае (95) предложенная интерпретация также подтверждается параллельной клаузой *a=an=ta tabarnas ziparwātai takkuwāti* ‘Табарна организовал[?] это для Цибарвы’, которая показывает, что глагол *takkuwa-* может встречаться с дополнением в дативе.

(94) KUB 35.165 obv. 15, CTH 751.1.A (MS), Carruba 1970b: 14[216]
ku-i-ša tu-ú wu$_{ú}$-[l]a-ši-na-aš ka-a-ar-ti a-**ti**-a-pa-an az-zi-ki-i
‘Который хлеб тебе по сердцу, тот **себе** и ешь’.

[215] Догадка о том, что пал. *=ti* функционирует как дативное или возвратное местоимение 2 ед., принадлежит Мелчерту [Melchert 1994: 218]. Мелчерт ссылается на Камменхубер [Kammenhuber 1955: 360ff.] в связи с данной интерпретацией, но в реальности Камменхубер считала *=ti* клитическим вариантом номинатива *tī* ‘ты’.
[216] Правильные, в сущности, интерпретации этого предложения были предложены уже у [Carruba 1972: 29] и [Starke 1990: 73].

(95) KUB 35.165 obv. 7–8, CTH 751.1.A (MS), Carruba 1970b: 14
[x] za-pár-wa-a-ša-an-pa-**ti** ták-ku-wa-a-ti ma-a-an-**ti** mar-ha-a-an-za[217]
ma-a-an-**ti** [x]-ya-an-za ˹e˺-pa a-ri-e
‘(Он, т. е. царь) сжигает[?] **для тебя** *zabarwasa-*. Когда **ты** пожалуешь как гость[?], когда ты …, забери их!’

(96) KUB 35.165 obv. 10–11, CTH 751.1.A (MS), Carruba 1970b: 14[218]
a-**ti-**it-ta ši-˹ri[?] ˺-an pa-ri-na-at ša-li-iq-qa-at
‘Он (табарна) подул и возложил туда (руки) **для тебя**’.

Основная проблема этой интерпретации заключается в том, что для местоименных клитик 2 л. необходимо постулировать ‘обратную’ инновацию, аннулировавшую последствия Стадии 2. Уже было показано, что по структурным соображениям в палайском следует реконструировать *=*tu* ‘тебе’. Эта проблема усложняется вероятным существованием подобной клитики в другом отрывке, который относится к тому же тексту. Приведенная ниже интерпретация сделана Мелчертом [Melchert 1984a: 35]; он подчеркивает необходимость местоимения 2 л. в косвенном падеже в предложении, описывающем взаимоотношения между божественным адресатом и заказчиком ритуала. Колебание между =*ti* и =*tu* напоминает аналогичное колебание между =*mi* и =*mu* ‘мне’ или ‘самому себе’ в разных диалектах лувийского языка (см. предыдущей раздел). Детали обратного расширения =*ti* остаются неясными, как и в случае с =*mi* в истанувском лувийском, но существенно, что не удается обнаружить распространение =*ti* за пределы 2 ед.

[217] Насчет интерпретации *marha-* ‘пожаловать как гость’ и родственных форм см. [Yakubovich 2005a: 120–121, сноска 40].
[218] Перевод данной клаузы следует [Eichner 2010].

(97) KUB 35.165 rev. 9–10, CTH 751.1.A (MS), Carruba 1970b: 19
⌜ga⌝-a-ni-**du-u**t-ta ku-iš a-ni-it-t[i] ma-aš-ta a-ni-i-ya-ši a-ni-ya-ma-an-ta
ta-ba-ar-na-ni $^{\text{MUNUS}}$⌜ta⌝-wa-na-ni
‘Сколько ты делаешь (для того), кто делает такое **для тебя**, сделай это для табарны и тавананны!’

Наконец, следует упомянуть предположение Уоткинса [Watkins 1978: 309] о наличии дативной клитики *=*ta*, букв. ‘тебе’, в другом палайском тексте.

(98) KBo 19.153 iii$^{?}$ 4–5, CTH 754 (NS), Carruba 1970b: 23
nu-ú $^{\text{d}}$za-pár-wa$_{\text{a}}$-a ša-me-ri-iš ša-me-ri-i[š] ha-la-iš-**ta** ni-i pur-ta-hi-eš-**ta** ni-i
‘Вот, Zabarwa, *sameri-*, *sameri-, halai-* здесь нет, *purtahhi-* здесь нет’.

Уоткинс считал *=ta* невозвратной клитикой 2 л., поскольку он вслед за Каррубой полагал, что использование *=ti* было строго возвратным, а *=tu* всегда указывало на 3 л. Соответственно, он переводил вторую клаузу как ‘*halai-* для тебя нет, *purtahhi-* для тебя нет’. Контекст совместим с подобной интерпретацией, но не понуждает к ней. Альтернативная возможность, также совместимая с имеющимся контекстом, заключается в том, чтобы рассматривать *=ta* как пространственную частицу. Поскольку существование подобной частицы в палайском установлено на независимых основаниях (ср. примеры (96) и (97) выше), и при этом необходимая ячейка в системе местоименных клитик уже занята *=tu* и *=ti*, следует предпочесть вторую альтернативу.

Палайская возвратная клитика *=si*, по-видимому, не ограничена конкретным лицом или числом. Отсутствие достоверных фиксаций клитики *=si* (или какой-либо иной возвратной клитики) с субъектами в 3 ед., вероятно, должно быть списано на волю случая, поскольку имеются примеры ее фиксации в качестве маркера возвратных этических дативов 2 ед. (99–100)

и 3 мн. (101). Очевидно, это является инновацией в сравнении с праанатолийским языком, где использование клитической *s-* основы было ограничено 3 ед. Распространение исконных возвратных местоимений 3 ед. на другие лица и числа является хорошо известным типологическим феноменом, и распространение *=si* в палайском имеет специфическую параллель в старославянском языке, где родственная клитика *=cu* функционирует как обобщенный датив-рефлексив.

(99) KUB 35.165 rev. 9, CTH 751.1.A (MS), Carruba 1970b: 19[219]
la-a-la-an-ta ku[-i]š ta-ar-ta-an ma-ri-iš-ši ma-aš-pa-**ši** mu-ú-ši
‘(Ты), что сокрушаешь (злой) язык проклятие, как ты насытишься!’

(100) KUB 35.165 obv. 21–24, CTH 751.1.A (MS), Carruba 1970b: 16[220]
[(nu-ku)] pa-aš-hu-ul-la-ša-aš ti-[ya-]az ta-ba-ar-ni LUGAL-i
pa-a-pa-az-ku-ar ti-i [(a-an-na-)]az-ku-ar ti-i iš-ka[n]u-u**š-ši**-ya-am-pí ti-i
a-ri nu-u**š-ši**-am-pí ti-i
‘О, бог солнца *Faskhullassa*, для царя табарны ты как отец, как мать.
Помажь ты его (на царство), возвысь ты его!’

(101) KUB 32.18 i. 7, CTH 752.B (MS), Carruba 1970b: 8
[a-t]a-a-an-ti ni-ip-pa-ši mu-ša-a-an-ti a-hu-wa-an-ti ni-ip-pa-aš
ha-ša-an-ti
‘Они едят, но не насыщаются, пьют, но не утоляют жажду’.

Эволюция *=si* по направлению к обобщенному рефлексиву, вероятно, продолжалась в палайском языке в момент его письменной фиксации. Это видно из того факта, что клитики *=si* и *=ti* конкурируют во 2 л. в возвратной функции. Далее, можно предположить, что «обратное» распространение *=ti* на невозвратные формы было стимулировано постепенным вытеснением

[219] При переводе данного предложения я в основном следую Мелчерту [Melchert 1984a: 34–36], хотя он рассматривает *mūsi* как императив ‘насыщайся’. Для обоснования предложенного здесь перевода см. [Yakubovich 2005a: 117].
[220] Подробный анализ данного предложения и его культурных импликаций см. [Yakubovich 2005a].

этой клитики из рефлексивной парадигмы. Тем не менее сохранение ваккернагелевской клитики *=si* как таковой, контрастирующее с ее полным отсутствием в засвидетельствованных разновидностях лувийского языка, должно рассматриваться как архаизм. Следует напомнить, что для лувийских Стадий 1–2 было реконструировано возвратное местоимение 3 л. *=*si*, и эта реконструкция получает теперь косвенное подтверждение со стороны палайских материалов.

Палайские инновации, соответствующие лувийской Стадии 3, а также дальнейшие изменения в системе палайских клитик, резюмированы ниже в таблице. Стоит отметить, что представленная здесь картина не является полной и может подвергаться дальнейшим уточнениям по мере появления новых материалов.

Таблица 14: Развитие палайских местоименных клитик ед. ч.

	им.	вин.	дат.	дат. возвр.
1	(нет)	*=mu	=mu	?
2	(нет)	=tu[?]	=tu ↓	← =ti / =si
3	=as/=at	=an/=at	=tu	*=si ↑

Прямые рефлексы реконструированной возвратной клитики 3 л. *=*si* могут быть обнаружены в лидийском. Ограниченный корпус лидийских текстов не содержит ритуальных обращений или других контекстов, которые требовали бы использования 2 л. Сегодняшнее знание лидийских местоименных клитик ограничено местоимениями 1 и 3 л.

Таблица 15: Лидийские местоименные клитики ед. ч.

	им.	вин.	дат.	дат. мн.
1	(нет)	=m	=m	=m
3	=aś/=ad	=av/=ad	=mλ	=is /=ś, =i*τ* /=τ

Лидийская клитика *=mλ* представляет собой вторичное образование, основанное на дативной клитике мн. ч. *=mś* ‘им’ [Carruba 1969: 44–45][221]. Однако другие местоимения, вероятно, являются рефлексами праанатолийских клитик. Алломорфы *=is* и *=iτ* часто используются вместо *=ś* и *=t* соответственно в позиции ударного слога. Поскольку в лидийском было утеряно большинство конечных гласных (по крайней мере, на письме), клитика *=m* может быть выведена фонетически как из *=*mi* < *=*moi*, так и из *=*mu*[222]. Тоже самое, *mutatis mutandis*, верно и для лид. *=is*/*=ś*, однако в других анатолийских языках засвидетельствовано только *=*si*/*=se* < **soi*. Что касается форм *=iτ*/*=τ*, они могут быть выведены только из *=*ti* < *=*toi*, но не из *=*tu*, графема <τ> использовалась для передачи аффрикаты /ts/ (vel sim.), которая является регулярным рефлексом праанатолийского кластера */tj/ [Gusmani 1969][223]. Таким образом, *=τ* перед гласным возникает как регулярный рефлекс анатолийского варианта с сандхи *=t(i)y* (напр., *ak=τ=ad* < **a=ku=t(i)y=ad*), в то время как *=(i)τ* в других позициях может рассматриваться как аналогическое обобщение данного варианта. Прямым отражением *=ti* в лидийском было бы **=t*, но закрепление этого варианта привело бы к нежелательной омонимии с другой ваккернагелевской клитикой, продолжающей анатолийскую пространственную частицу *=*ta*[224].

---

[221] Карруба не предоставил точной пропорции, объясняющей эту аналогию. С моей точки зрения, именное окончание дат. ед. -λ и реконструируемое именное окончание дат. мн. *-ś (= хетт. -*as*), должно быть, сыграли ключевую роль в этом развитии (т. е., [(именное) *-ś/*-λ = (местоименное) -*mś*/x] => [x = -*mλ*]). Эта аналогия была впоследствии затемнена распространением окончания род. мн. *-(a)n на дат. мн. в лидийском.

[222] Мелчерт [Melchert 1994: 379] предположил, что конечные *i*-дифтонги сначала стянулись в **e* в лидийском, но для обсуждаемой здесь деривации возвратного =τ необходимо развитие *=*toi* > *=*ti*. В отсутствие противоположных свидетельств можно считать, что существовал «закон конечных гласных», согласно которому *i*-дифтонги стянулись в **i* в конечной позиции в лидийском языке.

[223] Гусмани [Gusmani 1969] не сделал правильных выводов о происхождении лид. *=(i)τ*, поскольку считал, что эта форма восходит к сочетанию пропозициональной частицы *=(i)t* < *=*ta* и субъектного клитического местоимения *=ś*. Между тем, отсутствие субъектного местоимения *=ś* в лидийском было доказано Мелчертом [Melchert 1991], что побудило последнего реинтерпретировать лид. *=(i)τ* в качестве комбинации *=(i)t* < **ta* и возвратного маркера *=ś*. Однако подобную интерпретацию также довольно трудно обосновать, поскольку пропозициональная частица *=(i)t* обычно стоит в клитическом комплексе после всех других местоименных элементов (напр., 4b.4 *f=ak=mλ=t*, 24.20 *ak=ad=t*). Клитическая последовательность 11.12 *f=ak=mλ=at=av* не может рассматриваться как убедительный контрпример против этого обобщения, пока не доказано, что *=at=* может являться аллофоном пространственной частицы *=(i)t*.

[224] Идея о том, что лид. *=(i)τ* продолжает более раннее *=ti*, уже отстаивалась в работах [Шеворошкин 1967] и [Carruba 1969], хотя русский и итальянский исследователи представили различные фонетические объяснения данного развития.

Возвратная клитика *=m* распространена в лидийских надписях, указывающих на собственников артефактов, где она функционирует как маркер 1 л. в именных предложениях [Melchert 1991: 138, сноска 14]. Это объяснение выглядит предпочтительным в сравнении с трактовкой Гусмани [Gusmani 1971], который выводит *=im* из праиндоевропейской копулы **esmi* ‘есмь’; на самом деле ни в лидийском, ни в других анатолийских языках копула обычно не используется в настоящем времени.

(102) 75, Gusmani 1986: 154[225]
sivãmli=**m** atelis
‘**Я** принадлежу Сивами, (сыну) Ате’.

(103) Egetmeyer 2012
ifeli=**m**
‘**Я** принадлежу Ифе’.

Возвратная функция клитики *=is*/*=ś* впервые была отмечена Мериджи [Meriggi 1963: 23–26], в то время как Мелчерт привел новые аргументы в пользу данной интерпретации [Melchert 1991: 136–141]. Рассуждения обоих исследователей были, по сути, негативными, поскольку они выступали против интерпретации *=is*/*=ś* как субъектной клитики, не доказывая ее возвратную семантику. Однако необходимо помнить, что значительное число возвратных клитик функционировали в анатолийских языках как возвратные этические дативы, и нет причин полагать, что в данном отношении ситуация в лидийском языке была принципиально иной. Принимая во внимание нашу плохую осведомленность о лидийской лексике, было бы нецелесообразным в данный момент спекулировать о тонких стилистических модификациях, которые могло бы придать каждому отдельному высказыванию добавление

[225] Здесь и далее используется нумерация лидийских текстов, принятая в работах [Gusmani 1964] и [Gusmani 1986]. Транслитерация лидийских форм следует конвенции, представленной у К. Мелчерта в его электронном корпусе лидийских текстов, который доступен для поиска и обзора в качестве части базы данных TITUS (titus@uni-frankfurt.de).

этического датива. Единственная осуществимая задача, — это продемонстрировать, что *=is*/*=ś* не занимало позицию актанта в (104–105) и в подобных предложениях. Только в случае (106) можно пойти немного дальше. Мелчерт [Melchert 1991: 140–141] делает разумное предположение о том, что последняя часть этого заклинания посвящена незаконному присвоению определенных благ. В этом случае *=is* ‘для него самого’, по-видимому, функционирует как возвратный *dativus commodi*.

(104) 10.3–4, Gusmani 1964: 254
dum=mλ=**is** sellis weśfa=k woraś dacal
‘Также ему *daca*-л, чиновник *selli* и живой[?] сын’.

(105) 23.18–19, Gusmani 1964: 260
ak=**ś** qis ẽmv ẽtamv uv bawcvaśod
‘И кто бы ни попытался[?] переписать[?] мой декрет[?]...’

(106) 24.7–8, Gusmani 1964: 260
ak=mλ=**is** qis citollad bitaad buk mλ=**is** fakarsed qik
‘Кто бы ни применил[?] к нему *citolla-* или отрезал что-нибудь **для себя**’.

Во всех случаях, где может быть обнаружено *=is*/*=ś*, оно, похоже, ограничено субъектом в 3 л. Совсем не так обстоит дело с возвратной клитикой *=iτ*/*=τ*, которая также засвидетельствована в предложениях, содержащих предикаты 1 л. К сожалению, значение предложений (109) и (110) остается совершенно непонятным, но если можно идентифицировать лидийское глагольное окончание *-wv* как прямое отражение анатолийского маркера для 1 л. претерита **-wen* [Melchert 1994: 336, см. там же библиографию], то этого должно быть достаточно для того, чтобы исключить наличие в этих предложениях субъектов в 3 ед.

(107) 2.2–4, Gusmani 1964: 251

eśś wãnaś mru=k bλaso=k=**iτ** qid katavil laqrisa=k=in qid ẽtośrś ak=ad karolid sabλalid

‘Эти могила, и стела, и *bλaso-*, которую он сделал **для себя**[?], и проход, который они проложили[?], принадлежат Каро, сыну Сабла’[226].

(108) 54.2–4, Gusmani 1964: 268

ak=ad qis fisqãnt buk=aś fẽdanoλt fak=**τ**=ad kabrdokid

‘Кто бы ни разрушил, или *fẽdanoλ-* их, или *kabrdoki-* их **для себя**[?]’.

(109) 13.4, Gusmani 1964: 256

kot=**τ**=in aśfã=k ces**wv** aśtrkot midaτad

(Перевод пока невозможен).

(110) 13.5, Gusmani 1964: 256

kud=**τ**=in atvãv nak fasi**wv** afaλaλ=k

(Перевод пока невозможен).

Если принять, что лидийское *=iτ/=τ* < **-ti* является когнатом лувийского *=di* и палайского *=ti*, то необходимо заключить, что эта местоименная клитика относилась изначально к 2 ед. Ее распространение на 3 ед. в возвратной парадигме напоминает Стадию 3, постулируемую для общелувийского. К сожалению, дативные невозвратные клитики 2 ед. и мн. не засвидетельствованы в лидийском корпусе, и, следовательно, нельзя сказать с определенностью, было ли слияние клитик 2 и 3 л. в лидийском систематическим, то есть таким, каким оно было в лувийском языке. Лингвистическая реконструкция, однако, предполагает, что оно, вероятно, было таковым. Лидийская дативная клитика 3 мн. *=mś* является возможным когнатом хетт. *=smas* и лув. иер. *=mmanz(a)*, которые функционировали как

[226] По поводу анализа *ẽtoś-rś* ср. [Melchert 2004b: 17, сноска 14, там же см. библиографию].

дативные клитики 2 и 3 мн.[227]. Если Карруба прав в анализе лид. *=mλ* как аналогического образования, основанного на лид. *=mś*, то было бы разумно ожидать, что дативная клитика ед. ч. *=mλ* покрывала как 2, так и 3 л., подобно ее аналогу *=mś*. Это, в свою очередь, стимулировало распространение возвратного местоимения 2 л. *=τ* на 3 л., хотя данный переход все еще находился в активной стадии в исторический период. Если приведенные выше грамматические замечания, касающиеся примеров (109–110), являются верными, то следует принять, что обобщение *=τ* в качестве возвратной клитики со временем вышло за пределы 2/3 ед., и эта форма проникла в парадигму возвратного местоимения мн. ч. Недостаток релевантных материалов не позволяет выявить глубину этого развития[228].

Поддающееся реконструкции развитие лидийских клитик ед. ч., которое аналогично лувийской Стадии 3, представлено в таблице ниже:

Таблица 16: Развитие лидийских местоименных клитик ед. ч.

	им.	вин.	дат.	дат. возвр.	
1	(нет)	=m	=m	=m	
2	*(нет)	?	*=mλ	*=iτ /=τ ↓	
3	=aś/=ad	=aν/=ad	=mλ	=iτ /=τ	=is/=ś

3.4 Развитие возвратных местоимений в хеттском

Синтаксические функции хеттской возвратной частицы *=z(a)* не были единообразными на протяжении истории хеттского письменного языка. Хотя некоторые функции зафиксированы уже в древнехеттских текстах, другие появились только в среднехеттский период. Поскольку хронологическая

[227] Самая прямая параллель для лидийской формы — это лув. клин. *=mmas* ‘им’. К сожалению, у нас, похоже, нет свидетельств для омонимичного местоимения 2 мн., хотя и эта лакуна в парадигме, безусловно, является случайностью.

[228] Распространение возвратных клитик 2/3 ед. на парадигму мн. ч. не должно считаться чем-то необычным с типологической точки зрения, поскольку аналогичный процесс может быть обнаружен в истории хеттского языка (ср. следующий раздел).

классификация цитируемых ниже хеттских текстов достигается на основе палеографических и исторических данных, мы избегаем опасности порочного круга при обсуждении эволюции их грамматических особенностей.

В отличие от лувийского, в хеттском языке частица *=z(a)* используется с возвратным значением, замещая любые дополнения [Hoffner, Melchert 2008: 358–359][229]. Ее употребление в функции прямого дополнения засвидетельствовано несколько раз в древнехеттский период, как в примере (111). Эта синтаксическая модель, вероятно, является хеттской инновацией, как считает Боли [Boley 1993: 209]. Показательный пример функционирования *=z(a)* в качестве возвратного косвенного дополнения в древнехеттском корпусе, похоже, имеет место в (112); хотя здесь мы, возможно, сталкиваемся с копией, сделанной в начале Нового царства.

(111) KUB 31.143 ii 23, CTH 733.II.2 (OS), Neu 1980: 186
unut=wa=**z**
‘Укрась **себя**!’

(112) KBo 22.2 obv. 13–14, CTH 3 (OH/MS), Otten 1973a: 6
nu=**zza** DUMU.ʻNITAʼ.MEŠ karti=smi piran mēmir
‘Сыновья сказали **себе** в своих сердцах (т.е. подумали про себя)’.

В большинстве древнехеттских примеров *=z(a)* функционирует как возвратный этический датив. Боли [Boley 1993: 2005] предположила, что хеттская возвратная частица использовалась в подобных случаях для маркирования “общего, неспецифичного указания на активную вовлеченности субъекта, либо его интереса, намерения, умственного усилия

[229] Нет никаких сомнений в том, что фонетическая реализация хеттской возвратной частицы была [ts], как справедливо считают [Kühne 1988] и [Yoshida 2001]. Транслитерация *=z(a)* сохранена здесь лишь для того, чтобы данный раздел был понятен широкому кругу хеттологов.

и пр.”[230]. Это описание может показаться смутным и интуитивным, но было бы сложно прийти к более точному определению на основе корпусного исследования, поскольку этический датив *=z(a)* не имеет места в структуре аргумента соответствующих предложений. Можно ограничить иллюстрацию этого случая примером (113), который почти полностью эквивалентен палайскому предложению (101). Можно видеть, что распределение возвратных клитик в двух языках является прямо противоположным, поскольку *=si* встречается только в первой клаузе в палайском, а *=z(a)* — только во второй клаузе в хеттском. Вероятная причина подобного феномена кроется не в грамматических различиях между хеттским и палайским, а, скорее, в стилистических предпочтениях отдельных писцов.

(113) KUB 17.10 i 19–20, CTH 324 (OH/MS), Mazoyer 2003: 44
eter n=e *UL* ispiyēr ekuyēr=ma n=e=**za** *UL* hass[i]kkir
‘Они ели, но не насытились, они пили, но не утолили жажду’.

В ряде случаев этический датив *=z(a)* может реинтерпретироваться как поднятый возвратный посессор [ср. Hoffner, Melchert 2008]. Показательный пример дан в (114), для которого можно было бы утверждать, что *=z* дублирует аккадографическое *=ŠU* ‘свое’. Проблема поднятых возвратных посессоров, однако, не должна отделяться от общего вопроса о синтаксическом подъеме в хеттском. Гютербок [Güterbock 1983] установил, что невозвратные посессоры не могут изображаться дативными клитиками в древнехеттских текстах (или текстах древнехеттского пошиба), и было бы весьма необычно, если бы в данном случае возвратные конструкции вели себя по-другому. Поэтому я предпочитаю интерпретировать *=z* в (114) как подлинный возвратный этический датив, который довольно часто

[230] Иванов и Гамкрелидзе [Гамкрелидзе, Иванов 1984, I: 361, сноска 1] стараются формализовать эту интуитивную догадку, обращаясь к идее субъектной версии. К сожалению, грамматическая категория версии, хорошо известная среди картвелистов, только пробивает себе путь в литературе по общей типологии. Недавнюю попытку определить эту категорию в универсальных терминах см. у [Anderson, Gurevich 2005].

сопровождает глагол *ep-* ‘брать’ [Boley 1993: 61]. По той же причине представляется крайне маловероятным, что *=zza* в (112) дублирует притяжательное местоимение *=smi*. Подъем посессора в среднехеттском языке, по-видимому, сопровождался исчезновением притяжательных клитик.

(114) KBo 25.34 i 22 CTH 627 (OS[?]), Neu 1980: 90
ta=**z** *AŠAR=ŠU* ē[pzi]
‘Он зан[имает] свое место’.

Две функции *=z(a)*, которые могут рассматриваться как грамматикализованный этический датив, представляют собой инновации в хеттском, но имеют точные параллели в лувийском. Хоффнер [Hoffner 1969] открыл правило, согласно которому, начиная со среднехеттского периода, *=z(a)* употреблялось в именных предложениях для маркирования первого или второго (в отличие от третьего) лица субъекта (115–116). Это правило неприменимо для древнехеттских текстов, где *=z(a)* последовательно отсутствует в именных предложениях (117–118). Правило Хоффнера в среднехеттском и новохеттском языках, очевидно, напоминает лувийское правило, иллюстрируемое примерами (85–86).

(115) HKM 1 rev. 11–13 (MH/MS), Alp 1991: 120
nu=**za** *PANI* ^{LU}KÚR mekki pahhassanuanza ēs
‘Будь весьма настороже перед лицом врага!’

(116) HKM 17 obv. 5–6 (MH/MS), Alp 1991: 142
[k]uitman=wa=**za** wēs nuwa ^{URU}Hattusi eswen
‘Пока мы еще были в Хаттусе’.

(117) KBo 6.2+ iii 18, CTH 291.I.A (OS), Hoffner 1997: 67
nu=wa=nnas=za mimmanzi LÚ.MEŠ *ILKI*-wa sumes
‘Они нам отказали (сказав): “Вы крепостные”’.

(118) KUB 26.35 6, CTH 39.5 (OS), del Monte 1981: 208
[zi]k attas=mis ēs ug=a DUMU=tis ēslit
‘Будь моим отцом, а я буду твоим сыном!’

«Трансформативная» функция перевода стативных глаголов в предельные также засвидетельствована для *=z(a)*, начиная со среднехеттского периода. Все приведенные ниже примеры характеризуют глагольный корень *es-/as-* ‘сидеть’, который, вероятно, является когнатом лув. **asa-*, скрытого за логограммами в (88–89). Примеры (119) vs. (120), относящиеся к концу среднехеттского периода, иллюстрируют контраст между стативным *es-* ‘обитать’ и его предельным аналогом *=z(a)* (…) *es-* ‘захватывать’. Это различие усиливает изначальный контраст между активным *es-*, обозначающим состояние, и медио-пассивным *es-*, обозначающим смену состояния; данный контраст был представлен уже в древнехеттском (121–122). Похожий тип инновативной формальной оппозиции зафиксирован в ряде других хеттских глаголов, напр. *kis-* ‘происходить’ vs. *=z(a)* (…) *kis-* ‘становиться’, *tarhu-/taruh-* ‘быть сильным, господствовать’ vs. *=z(a)* (…) *taruh-/taruh-* ‘завоевывать’, *sak-* ‘знать’ vs. *=z(a)* (…) *sak-* ‘узнавать, признавать (власть)’. Подобные примеры резюмированы в работе [Hoffner, Melchert 2008: 360].

(119) KBo 10.12 iii 35–36, CTH 49.II (MH/NS), del Monte 1986: 138
LÚ.MEŠ $^{KUR\ URU}$*AMURRI*=ya=kan ku(i)yēs ŠÀ-*BI* $^{KUR\ URU}$*HATTI*
asanzi
‘Люди Амурру, которые проживают в Хаттусе...’

(120) HKM 10 obv. 4–5 (MH/MS), Alp 1991: 134
^{m}Pihinakkis=**za** mahhan ^{URU}Lisipran ēski[tt]ari
‘Когда Пихинакки захватит Лисипру...’.

(121) KBo 17.1 + ABoT 4c I 30, CTH 416.I.A (OS), Neu 1980: 6
^{NINDA}sarrui=m[(a=ss)]an ERÍN.MEŠ-az ēszi
‘«Войско» сидит на (хлебе) *sarruwa-*’ (фигурки воинов рассажены по ритуальному хлебу).

(122) KBo 17.15 rev. 19–20, CTH 645.VI.C (OS), Neu 1980: 74
LUGAL-uss=a ^{E}mākziyaz uizzi ^{GIS}hulukanni=ya esa
‘А царь выходит из *makzi-* и садится в повозку’.

Ряд нетривиальных синтаксических изменений, касающихся возвратных местоимений и приведших к росту структурного изоморфизма между хеттским и лувийским языками, должны объясняться языковыми контактами. Можно либо предположить, что морфосинтаксическая эволюция среднехеттского языка стимулировала похожее развитие в лувийском диалекте Хаттусы и окружающей территории, либо принять калькирование лувийских моделей хеттами. Малочисленность оригинальных лувийских текстов, предшествующих предполагаемому периоду контакта, не позволяет напрямую ответить на этот вопрос, но материалы других анатолийских языков предоставляют устойчивые косвенные свидетельства в пользу второго сценария. Наличие местоименных копул в палайских (95) и лидийских (102–103) именных предложениях заставляет предположить, что правило Хоффнера представляло собой нехеттскую анатолийскую инновацию[231]. Иначе говоря, возвратные этические дативы *=*mi* и *=*ti* (vel sim.) были грамматикализованы в праанатолийском как маркеры 1 и 2 л. в именных предложениях, это произошло в период вскоре после отделения хеттского языка. Если так, то примеры (85–86) и другие подобные случаи являются в лувийском языке унаследованной конструкцией, в то время как возникновение подобной структуры в среднехеттском должно

[231] Гипотетическое утверждение о том, что не только лувийский, но также палайский и лидийский калькировали правило Хоффнера из хеттского, должно быть отвергнуто на чисто исторических основаниях. Западная часть Анатолии, где использовался лидийский язык в I тыс. до н. э., вряд ли когда-либо населялась большим количеством носителей хеттского языка, так что развитие хетто-лидийской двуязычной среды, где осуществилось бы подобное калькирование, было невозможным.

рассматриваться в качестве феномена, стимулированного контактом[232]. Принцип бритвы Оккама заставляет распространить то же самое объяснение на трансформативную функцию клитики *=z(a)* в новохеттском.

К данным функциональным инновациям должно быть добавлено формальное изменение в выражении хеттских возвратных местоимений мн. ч. Хотя в более древнем языке *=z(a)* использовалось в клаузах с подлежащими во мн. ч., как в примере (112) выше, клитики *=nnas* ‘нам’ и *=smas* ‘вам/им’ начали функционировать к концу среднехеттского периода как факультативные возвратные маркеры мн. ч. и стали нормой в данной функции в новохеттский период. Это опять напоминает лувийскую ситуацию, где энклитические личные местоимения мн. ч. также выполняли возвратную функцию [Melchert 2003b: 190, ср. Табл. 8]. В то же время отсутствуют надежные примеры клитических местоимений ед. ч., выполняющие возвратную функцию в средне- или новохеттском[233]. Такую случайную модель перераспределения было бы довольно трудно объяснить в функциональных терминах, если бы мы имели дело с внутренне мотивированным синтаксическим изменением. В противоположность этому, примеры (123–124) и другие подобные случаи, включающие клитики мн. ч., получают естественное объяснение, если принять, что они были калькированы с лувийской модели. С другой стороны, последовательное использование *=z(a)* в качестве возвратного местоимения ед. ч. в среднехеттском и новохеттском языках поддерживалось функциональной

[232] Дополнительный аргумент в пользу контактно-обусловленного характера правила Хоффнера в хеттском предоставляют функциональные соображения. Если принять, что возвратные клитики были грамматикализованы как личные маркеры для компенсации отсутствия формально выраженного подлежащего в именном предложении, то необходимо учесть, что лувийские клитики *=mi* и *=di* гораздо лучше годятся для этой функции, чем их хеттский аналог *=z(a)*, который не проводил различия между 1 и 2 л. Механическое калькирование полезной лувийской синтаксической модели в хеттский помогло бы объяснить эту асимметрию.

[233] Боли [Boley 1993: 198] утверждает, что *=ta* ‘тебе’ время от времени могло замещаться с помощью *=za*, особенно в императивах, но не предоставляет там же какие-либо примеры, подтверждающие ее мнение. Мелчерт (личн. сообщ.) полагает, что частотное выражение *le(=wa)=tta nāhi*, переведенное в [CHD, L-N: 340b] как ‘не пугайся’, должно, скорее, рассматриваться как переходная клауза ‘пусть (это) не пугает тебя’. Независимое основание для данной реинтерпретации — это странность сочетания императива и запретительной частицы *le* [ср. Oettinger 1979: 410, сноска 29].

двусмысленностью их предполагаемого лувийского эквивалента =*ti*, который использовался с антецедентами 2 и 3 л.[234].

(123) HKM 19 obv. 9–10 (MH/MS), Alp 1991:159
nu=wa=**smas**=kan *ŠA* ^{URU}*GASIPŪRA* halki$^{HI.A}$-as zigganzi
‘Они нацелили**сь** на зерно Касибуры’[235].

(124) KUB 1.1 iii 4, CTH 81 (NS), Otten 1981:16
[(nu=**nn**)]**as** DUMU.NITA.ME.EŠ DUMU.MUNUS.ME.EŠ iyawen
‘Мы родили (*досл*. “сделали **себе**”) сынов и дочерей’.

Сделанные к данному моменту выводы коррелируют со значительным лувийским лексическим влиянием на среднехеттский язык и хорошо согласуются с данными, свидетельствующими о физическом присутствии лувийцев в Хаттусе в XV и XIV вв. до н. э. [ср. Watkins 2004: 574]. Таким образом, структурная конвергенция между двумя языками в течение этого периода согласуется с общим социолингвистическим контекстом. Мелчерт [Melchert 2003b: 204, сноска 31] уже выразил осторожное предположение о том, что некоторые аспекты хеттского употребления возвратных местоимений могут объясняться кальками из лувийского, и представленные выше пояснения являются лишь дальнейшим развитием этой гипотезы. Однако они важны как типологические параллели при обсуждении более раннего контактного эпизода, который также касался возвратных местоимений и который, собственно, несет ответственность за формирование хеттской частицы =*z(a)*.

---

[234] Стоит, однако, отметить, что среднехеттский не просто механически калькировал лувийское распределение возвратных местоимений, но распространил частицу =*z(a)* на подлежащие 1 ед. Таким образом, =*z(a)* может определяться как возвратная клитика ед. ч., использовавшаяся для всех лиц в новохеттском. Креативная адаптация, приведшая к более экономной системе функциональных оппозиций, но усложнившая в сравнении с лувийским интерпретацию именных предложений, без сомнения, свидетельствует о том, что хеттский все еще был живым языком на момент этой инновации.

[235] Стоит отметить, что =*smas* используется здесь как возвратное местоимение 3 л. в функции прямого объекта, чьим невозвратным аналогом было бы =*us*. Об этом функциональном расширении см. начало данного раздела, а также [Hoffner, Melchert 2008: 358, §28.18].

Набор древнехеттских местоименных клитик может быть суммирован в следующей таблице:

Таблица 17: Древнехеттские местоименные клитики

	им.	вин.	дат.	возвр.
1 ед.	(нет)	=mu	=mu	=z(a)
2 ед.	(нет)	=tu/=ta[236]	=tu/=ta	=z(a)
3 ед.	=as/=at	=an/=at	=se	=z(a)
1 мн.	(нет)	=nas	=nas	=z(a)
2 мн.	(нет)	=smas	=smas	=z(a)
3 мн.	=e/=e	=us/=e	=smas	=z(a)

Целый ряд формальных характеристик местоименных клитик является более архаичным в хеттском языке, чем в лувийском. Хеттское *=ta* ‘тебя, тебе’ может быть напрямую выведено из праанатолийского аккузатива *=*te* ‘тебя’[237]. Хеттское *=at* ‘оно’ является прямым рефлексом анат. *=*od*, тогда как лув. *=ada* ‘оно’ получило свою конечную гласную в результате аналогического влияния других местоименных форм среднего рода на *-a*. Хеттское *=smas* ‘вас, вам, им’ является прямым рефлексом анат. *=*smos*, в то время как позднелувийская форма *=mmanz(a)* ‘тебе, им’ несет на себе следы влияния общелувийского именного окончания датива/аккузатива мн. ч. *=*anz(a)*. Различие между хетт. *=nas* и лув. *=anz(a)* ‘нам’ легче всего объясняется, если принять вторичную клитизацию тонического местоимения *anza(s)* ‘мы, нам’[238].

После объяснения этих формальных различий первоначальная эволюция хеттских и лувийских клитик поддается единообразной интерпретации. Предлагаемая ниже реконструкция структурных изменений в

[236] Синхронное распределение между алломорфами *=ta* и *=tu* в хеттском обусловлено лексическим контекстом. Вариант *=tu* встречается перед клитиками *=z(a)* и *=san*, в то время как *=ta* встречается перед *=kan* и в конечной позиции в клитическом комплексе. По поводу вероятной диахронной интерпретации данного распределения см. следующий раздел.

[237] О переходе **e* > *a* в послеударных открытых слогах в хеттском см. [Melchert 1994: 137–138].

[238] Ср. изменение в вокализме клитики 1 ед. вин. *=*me* > *=mu* в праанатолийском, которое было инициировано ударными формами местоимения ‘я’.

хеттском, приведших к частичному слиянию дативных и аккузативных клитических местоимений, идентична лувийским Стадиям 1 и 2. Принимая во внимание традиционные индохеттские праформы *=*moi* и *=*soi*, эта реконструкция будет выглядеть следующим образом[239]:

Таблица 18: Развитие хеттских местоименных клитик ед. ч. (Стадия 1)

	им.	вин.	дат.	(дат.) возвр.
1	(нет)	=mu	=mē →	=mē
2	(нет)	=te/=de	=tē /=dē →	=tē /=dē
3	=as/=at	=an/=at	=sē →	=sē

Таблица 19: Развитие хеттских местоименных клитик ед. ч. (Стадия 2)

	им.	вин.	дат.	(дат.) возвр.
1	(нет)	=mu →	=mu	=mē
2	(нет)	=te/=de →	=te/=de	=tē /=dē
3	=as/=at	=an/=at	=sē	=sē

Уместно напомнить, что процессы, аналогичные лувийским Стадиям 1 и 2, могут также постулироваться для предков палайского и лидийского. Это позволяет рассматривать обе стадии как общеанатолийскую инновацию. Ничто не препятствует относительной хронологии, согласно которой все звуковые переходы и аналогии, случившиеся в лувийском, палайском и лидийском, а также ответственные за формальные различия между этими языками и хеттским, относятся к более позднему периоду, чем реализация данных функциональных изменений. Следовательно, можно принять, что представленные выше таблицы содержат реконструкцию праанатолийских форм. Внутренняя реконструкция лувийского языка, описанная в разделе 2, должна быть модифицирована соответствующим образом.

[239] Айхнер [Eichner 1974: 31–32] предлагал реконструкцию *=*mei* ‘мне’ и *=*tei* ‘тебе’ для праанатолийского, пытаясь объяснить вокализм хеттских посессивных клитик =*mis* ‘мое’ и =*tis* ‘твое’. Идея Айхнера, что хеттские посессивные клитики возникли из исторических дативных клитик, опровергалась тем фактом, что распространение старых аккузативных клитик на область датива представляет собой общеанатолийский феномен, а клитизация притяжательных местоимений является специфически хеттским развитием.

Обратившись к лувийской Стадии 3, можно заметить, что аналогичное изменение не было последовательно проведено в хеттском. Хеттский (единственный из всех анатолийских языков) сохранил дативную анафорическую клитику *=se* < *=soi* ‘ему’, которая на самом деле служит базисом для реконструкции данного элемента в праанатолийском. Если вспомнить, что изменения Стадии 3 не были последовательно реализованы ни в палайском, ни в лидийском, то не остается иного выбора, кроме как принять, что слияние клитик 2 и 3 ед. в отдельных анатолийских языках произошло после распада праязыка. Лувийский, палайский, лидийский и хеттский участвовали в этом процессе, но степень их вовлеченности в него была различной. В хеттском обобщилось возвратное местоимение *=z(a)*, но дативная клитика *=tu*/*=du* ‘тебе’ не была распространена на третье лицо. Палайский и, вероятно, лидийский пошли противоположным путем, и в этих языках формы дативных клитик 2 и 3 ед. были объединены, но аналогичные изменения в парадигме возвратных местоимений не произошли или не были завершены. В лувийском имели место оба изменения.

Фонетически немотивированное распространение местоименных форм 2 л. на 3 л. не является типологически частотным явлением и вызывает еще больше вопросов, если считать, что оно происходило несколько раз в различных ветвях анатолийских языков. Необходимо выявить особенности анатолийской местоименной системы, которые могли бы стимулировать такой процесс. Единственный элемент, который можно рассматривать в качестве отправного пункта для распространения данного процесса, — это общеанатолийская клитика мн. ч. *=smos* ‘вам, им’. Конечно, общеанатолийский статус этой клитики подвергался сомнению в прошлом, но близкий функциональный параллелизм между хетт. *=smas* ‘вас; вам, им’ и лув. иер. *=mmanz(a)* ‘вас; вам, им’ говорит в пользу именно такого решения[240]. Более того, можно попробовать спроецировать существование

[240] Подробный анализ омонимичных местоименных форм 2 и 3 л. в праиндоевропейском дан в работе [Katz 1998: 234–253]. Автор приходит к выводу о том, что синхронное тождество подобных форм является исторической случайностью во всех примерах, рассмотренных в его диссертации; он также предлагает две

подобной формы и на индохеттский период, поскольку клитики косвенных падежей мн. ч. тох. А *-m* и тох. В *-me* представляют собой фонетическое соответствие анатолийскому *=*smos* и могут обозначать все три лица (‘нам/вам/им’)[241]. Впрочем, данный аргумент не может обсуждаться здесь в деталях, поскольку лингвистическая реконструкция за пределами праанатолийского уровня выходит за рамки данной диссертации.

По той причине, что праанатолийские клитики мн. ч. могли функционировать и как личные, и как возвратные местоимения, аналогия, стимулированная данными формами, может также затрагивать обе категории местоимений. В действительности она затрагивала оба класса, но в различных языках и в разное время. Аналогия, которая, возможно, имела место в ранней истории «нехеттских» (луво-палайских) языков, может быть описана пропорцией *=*(s)mas*/*=*(s)mas* = *=*tu*/X. Иначе говоря, формальная идентичность клитик со значением ‘вам’ и ‘им’ стимулировала функциональное расширение *=*tu* ‘тебе’ за счет *=*sē* ‘ему’. Другое применение аналогии того же типа привело к функциональному распространению лувийского возвратного местоимения 2 л. =*di* на 3 л. В палайском аналогия, по-видимому, прошла в противоположном направлении, поскольку этимологическое возвратное местоимение 3 ед. =*si* фиксируется в повелительных предложениях, что предполагает наличие субъекта во 2 ед. В данном случае, однако, апелляция к аналогическому влиянию форм мн. ч.

различные этимологии для хетт. =*smas* ‘вам’ и хетт. =*smas* ‘им’, когнатом последней формы он считает лув. иер. =*mmanz(a)* ‘вам’. Однако автору не удается сформулировать фонетическое объяснение лув. иер. =*mmanz(a)* ‘вам’, что побуждает его признать, будто мы имеем дело с распространением формы 3 л. на 2 л. внутри лувийского [ibid.: 241]. Он также предполагает в качестве альтернативы гипотезу, что формы 2 л. =*smas* и =*mmanz(a)* могут в действительности являться когнатами, и в этом случае они “обе представляют настоящее, а не чисто лувийское, расширение с 3 л. на 2 л.” [ibid.: 241–242]. Последняя альтернатива явно предпочтительна, поскольку лишь она закладывает фундамент для объяснения дальнейших изменений в анатолийских клитиках 1 л.

[241] Кац [Katz 1998: 156, 247] полагает, что тох. А =*m* / В =*me*, указывающее на 3 л., действительно восходит к клитике *=*smos*, в то время как формы 1 и 2 л. восходят к ударным местоимениям *$\overset{\circ}{n}$*sme* ‘мы’ и **usme* ‘ты’, подвергшимся аферезе. Данная реконструкция сталкивается с формальными проблемами, касающимися вокализма тох. Б; кроме того, неясно преимущество выведения тохарских клитик косвенных падежей из и.-е. ударных объектных местоимений и отделения их от клитик косвенных падежей в анатолийских языках. По моему мнению, можно реконструировать систему индохеттских дативных/аккузативных клитик мн. ч. как =*nos* (1 мн.) / =*smos* (2 мн.) / =*smos* (3 мн.) и при этом предполагать, что в тохарских языках обобщились формы 2/3 л. Поздняя индоевропейская клитика 2 мн. *=*wos* ‘вы’ может пониматься как инновация, основанная на ударных формах и полученная в результате пропорциональной аналогии типа *nōs*/=*nos* = *wōs*/X.

может оказаться излишней, поскольку распространение возвратных местоимений 3 л. на другие лица и числа является типологически тривиальным. В лидийском клитика мн. ч. *=mś* влияла на формы ед. ч., что привело к созданию совершенно новой морфемы *=mλ* ‘ему’ (вероятно, также ‘тебе’). Эта этимология дает важное подтверждение общего тезиса, что анатолийские клитики мн. ч. могли влиять на структуру аналогичных клитик ед. ч. Другая аналогия, которая, похоже, реализовалась в поздний период развития лидийского языка, вызвала распространение возвратного местоимения 2 л. =τ на 3 л. Эта клитика постепенно стала восприниматься как обобщенный маркер возвратности, независимый от лица и числа.

Единственная клитика, распространение которой на Стадии 3 остается формально необъясненным, — это хеттское возвратное *=z(a)*, фонетически /ts/, которое обычно реконструируется как *=*ti* [Kimball 1999: 191, см. там же библиографию; Kloekhorst 2008: 1019]. В праанатолийской парадигме возвратных местоимений попросту нет форм, которые, согласно фонетическим законам, могли бы развиться в хетт. *=*ti* > *=z(a)*. И тем не менее со времен Лароша [Laroche 1959] среди анатолистов принимается связь между хетт. *=z(a)* и лувийской местоименной клитикой *=di*. Если принять происхождение лув. *=di* от праиндоевропейской дативной клитики 2 л., подтвержденное параллелями из других анатолийских языков, остаются возможными только два решения. Необходимо либо полностью отвергнуть связь между хетт. *=z(a)* и лув. *=di*, либо признать, что хетт. *=z(a)* выводится из праиндоевропейского *=*toi* или праанатолийского *=*tē* с помощью иных средств, чем фонетические законы.

Успех первого подхода будет возможен в случае обнаружения иных правдоподобных когнатов хетт. *=z(a)* в анатолийских или индоевропейских языках. Однако в данный момент мне неизвестны альтернативные этимологические решения, поддержанные адекватным семантическим анализом *=z(a)*. Утверждение Каррубы [Carruba 1964: 429–430], что *=z(a)* должно быть связано с основой указательного местоимения и.-е. **to*-,

наталкивается на отсутствие анатолийских флективных форм, которые могли бы относиться к данной праиндоевропейской основе, и оно в любом случае бесполезно для отслеживания словоизменительной предыстории *=z(a)*[242]. Предположение Ёзефсона, что хетт. *=z(a)* идентично дативу 3 ед. *=sa*, относящемуся к притяжательной основе *si/a-* ‘его’ [Houwink ten Cate, Josephson 1967: 137], не учитывает действительного произношения *=z(a)* как /ts/. Многие исследователи, обсуждавшие *=z(a)*, попросту воздерживались от постулирования внеанатолийских когнатов для этой хеттской частицы. Можно упомянуть признание Ноя: “Мне пока не удалось привязать к индоевропейскому общеанатолийскую частицу *-*ti*, к которой восходят хетт. -*z* и «медиопассивное» -*ti*” [Neu 1968: 145], и заключение Эттингера: “Об этимологии можно лишь сказать, что -*z* восходит к праанатолийскому *-*ti* с явно весьма сходным значением, чье происхождение неясно” [Oettinger 1997: 412]. Последняя работа, посвященная описанию семантики хетт. *=z(a)* в типологическом освещении, констатирует: “Мы не обладаем точным знанием этимологии хеттского -*z*”. [Cotticelli-Kurras, Rizza 2013: 20]. Таким образом, отсутствие правдоподобной альтернативы связано не с недостатком интереса к происхождению *=z(a)* со стороны анатолистов, а, скорее, с объективными трудностями, касающимися нахождения индоевропейских рефлексов праиндохеттского **=*ti* — мнимого предка хетт. *=z(a)*[243].

Второй подход представлен в недавней работе Элизабет Рикен [Rieken 2004/5: 183]. Рикен впервые эксплицитно связала как хетт. *=z(a)*, так и лув.

---

[242] Карруба [Carruba 1969: 45–46] попытался подкрепить свое раннее предположение, приведя лувийскую клитику *=du* ‘ему’, якобы выводимую из и.-е. формы *=*to(i)* (vel sim.), образованной от указательного местоимения **to-*. Данная гипотеза была развита в недавней работе [Frotscher 2012], автор которой исходит из регулярного фонетического изменения *-*oi-* > -*u̯e-* в истории лувийского языка и полагает, что лув. *=du* ‘ему’ развилось из и.-е. *=*toi* через ступень *=*tu̯e*. Характерно, что в этой дискуссии даже не упоминается рефлексивная клитика *=di*, которая как раз и должна являться рефлексом *=*toi* согласно общепринятой версии исторического развития лувийского вокализма [ср. Melchert 1994: 279]). Таким образом, гипотеза Фрочера по определению является неполной. Впрочем, следует заметить, что автор и сам не настаивает на своем решении [Frotscher 2012: 175].

[243] Исключением из этой тенденции является недавняя попытка Ёзефсона [Josephson 2003] связать хетт. *=za* и ведийское указательное местоимение *syá-/tyá-*. Данная этимология не основана ни на близком фонетическом соответствии (Ёзефсону приходится объявить *-a-* вторичным дейктическим элементом), ни на сходстве в базовом значении обеих морфем. Проблемы, касающиеся лувийской частицы *=ti*, были полностью проигнорированы в данной работе.

=di с позднеиндоевропейским *=toi* ‘тебе’[244]. Рикен отчетливо понимала, что прямым рефлексом **=toi* должно было бы стать древнехеттское ***=te*, подобно тому как **=soi* ‘ему’ развилось в древнехеттское *=se* [Kimball 1999: 214]. Поэтому она предположила, что **=toi* перешло в **=ti* уже в праанатолийском, и связала это изменение с аналогическим влиянием именного окончания датива-локатива **-i*. Это предположение может рассматриваться как развитие более раннего тезиса Мелчерта [Melchert 1994: 218], согласно которому вокализм палайского *=ti* ‘тебе’ является результатом аналогического выравнивания, обусловленного именным окончанием датива-локатива.

С функциональной точки зрения подход Рикен выглядит вполне привлекательным. Так, можно предположить, что **=ti* > *=z(a)* исконно функционировало в хеттском как возвратное местоимение 2 ед., а распространение на 3 ед. представляло собой лишь первую стадию в расширении его значения. Возможно, это была еще одна пропорциональная аналогия, мотивированная омонимией между возвратными клитиками 2 и 3 мн. (*=smas*/*=smas* = *=z(a)*/*X*), что могло бы представлять дополнительную параллель к распространению *=di* в диалекте-предке лувийского. Однако позднее возвратное местоимение *=z(a)* из 3 ед. обобщилось на все другие лица и числа, вытеснив даже те возвратные клитики мн. ч., которые были причиной его первоначального распространения. Этот типологически естественный процесс находит возможную параллель в распространении лидийского -τ на 1 мн., — разумеется, при том условии, что релеватные примеры правильно разобраны. Данное развитие сменилось на прямо противоположное в среднехеттский период, когда клитики мн. ч. *=(n)nas* ‘нам’ и *=smas* ‘вам’, находясь под непосредственным влиянием их лувийских аналогов, вновь внедрились в возвратную парадигму.

[244] Предполагая это, Рикен ссылается на Мелчерта [Melchert 1994: 218], но утверждения обоих исследователей на самом деле принципиально различаются. Мелчерт ограничил свой анализ этимологией палайского *=ti* ‘тебе’ (ср. выше), которое он не связывал с хетт. *=za* и лув. *=di* в монографии [Melchert 1994].

Что касается формальной стороны гипотезы Рикен, то здесь мы сталкиваемся со значительными трудностями. В отличие от предположения Мелчерта, касающегося происхождения палайского *=ti*, которое может быть подкреплено идентичным вокализмом возвратного *=si* в палайском, любая аналогия, якобы дающая *=ti* в праанатолийском, выглядит неубедительно на фоне сохранения *=se* ‘ему’ в древнехеттском. Парадигматическое выравнивание не могло избирательно прилагаться лишь к некоторым членам рифмующейся группы дативных клитик (*=*mē*/*=*tē*/*=*sē*). Еще менее убедительно выглядело бы допущение, что такая аналогия затронула *=*tē* после того, как это местоимение стало возвратным в праанатолийском (Стадия 2), но не была применена к настоящей дативной анафоре *=*sē*. В истории хеттского языка можно действительно обнаружить результаты аналогического выравнивания, приведшего к развитию *=se* в *=si*, но этот процесс происходил ближе к концу древнехеттского периода, и он, разумеется, не мог иметь ничего общего с мнимым праанатолийским переходом, обсуждаемым в настоящем абзаце [вопреки Brosch 2014: 324].

Если развитие *=*tē* > *=*ti* нельзя объяснить ни фонетическим законом, ни аналогией, то следует рассмотреть третью возможность, представляемую сравнительным методом. Форма *=*ti* могла быть заимствована из анатолийского диалекта, в котором переход **toi* > **ti* был фонетически регулярным или аналогически мотивированным. С сугубо формальной точки зрения, все анатолийские языки, кроме хеттского, могли бы быть источником такого заимствования, но лувийский язык особенно актуален с социолингвистической точки зрения. С одной стороны, имеются многочисленные свидетельства структурного влияния лувийского на средне- и новохеттский, включая и специфические случаи возвратных местоимений, рассмотренные ранее в данном разделе. С другой стороны, мы располагаем достаточной информацией, чтобы утверждать, что между этими двумя языками в доисторический период существовали интенсивные лексические контакты (см. Главу 4). Ни одно из свидетельств такого типа не доступно в

случае палайского или лидийского, и они, таким образом, не должны рассматриваться как источники заимствования (если следовать принципу бритвы Оккама).

Наиболее вероятный сценарий развития возвратных местоимений в хеттском представлен ниже:

Таблица 20: Развитие хеттских местоименных клитик ед. ч. (Стадия 3)

	им.	вин.	дат.	(дат.) возвр.
1	(нет)	=mu		=mē
2	(нет)	=te/=de		=tē/=dē ↓
3	=as/=at	=an/=at	=sē	=tē/=dē

Таблица 21: Развитие хеттских местоименных клитик ед. ч. (Стадия 4)

	им.	вин.	дат.	(дат.) возвр.
1	(нет)	=mu		=mi
2	(нет)	=te/=de		=ti/=di
3	=as/=at	=an/=at	=sē	=ti/=di

Таблица 22: Развитие хеттских местоименных клитик ед. ч. (Стадия 5)

	им.	вин.	дат.	(дат.) возвр.
1	(нет)	=mu		=ti/=di
2	(нет)	=te/=de		=ti/=di ↑
3	=as/=at	=an/=at	=sē	=ti/=di

Отделение формальной и функциональной конвергенции между хеттскими и лувийскими возвратными местоимениями является в некотором роде искусственным методологическим шагом. Имеется возможность слить воедино Стадии 3–5, опираясь на предположение о том, что распространение *=*tē*/=*dē* по всей возвратной парадигме шло одновременно с его фонологической модификацией. Конвергентные инновации перечислены отдельно, что связано в основном с необходимостью подчеркнуть, что заимствование *i*-вокализма не могло предшествовать функциональному

расширению *=*tē*/=*dē*. Если принять обратный порядок, то можно было бы ожидать, что клитика 3 ед. *=*sē* ‘ему (самому)’ также подверглась бы конвергентному переходу в **=*si*, что опровергается древнехеттскими свидетельствами.

Весьма правдоподобно, что реализация Стадии 3 в хеттском была мотивирована не только пропорциональной аналогией (=*smas*/=*smas* = *=*tē*/*X*), но и сходной парадигмой клитик в территориально смежных лувийских диалектах. Как уже упоминалось, распространение клитик 2 л. на 3 л., какова бы ни была его мотивация, типологически необычно, поэтому, когда совокупность таких изменений обнаруживается в группе смежных диалектов, их ареальное объяснение должно быть рассмотрено всерьез. Лувийский язык, в котором инновации Стадии 3 реализовывались наиболее последовательно, мог породить «лингвистическую волну», распространившуюся на континуум уже разделенных анатолийских диалектов, приведя к похожим функциональным изменениям, но в меньшем масштабе. Данный сценарий, однако, оставался бы всего лишь одной из возможностей, если бы мы не располагали независимыми свидетельствами в пользу формальной конвергенции между хеттскими и лувийскими возвратными клитиками на Стадии 4. Поскольку сейчас такие свидетельства доступны, интерпретация Стадии 3 в ареальном ключе должна быть приоритетной в сравнении с утверждением о наборе типологически сходных, но независимых изменений.

3.5 Грамматическое заимствование: когда и почему?

Мы осознаем, что тезис об изолированном контактно-обусловленном изменении в местоименной системе сам по себе выглядит довольно сомнительным. Критики могут подвергнуть сомнению то, что аргументация методом исключения предоставляет достаточные основания для допущения внешнего влияния на один из наиболее устойчивых пластов базового

лексикона[245]. К счастью, имеется независимое подтверждение того, что местоименная система не была такой устойчивой в предыстории хеттского языка, как могли бы подумать пуристы. Это следует из анализа клитического комплекса *=(t)tu=z(a)*, засвидетельствованного начиная со среднехеттского периода [246].

(125) HKM 71 obv. 9–10 (MH/MS), Alp 1991: 254
namma=**du=**za UGULA NIMGIR.ERÍN.MEŠ halzissanzi
‘**Тебя** ведь называют главным военным инспектором’.

(126) HKM 56 obv. 11–12, MH/MS, Alp 1991: 224
nu=**ddu=**za=kan kāsa sanza
‘Я теперь **на тебя** рассердился’.

На примере приведенных выше клауз можно убедиться, что *=tu* является алломорфом хеттской клитики *=(t)ta* ‘тебе’, которая может использоваться как для прямого, так и для косвенного дополнения. Фактор, обуславливающий синхронный выбор между алломорфами *=tu* и *=ta* — это наличие или отсутствие частиц *=z(a)* или *=san* справа (сочетание *=(t)tu=z(a)* встречается примерно в пять раз чаще, чем *=(t)tu=(s)san*). Понятно, что происхождение подобной дистрибуции не может быть фонетическим; также невозможно обнаружить правдоподобный источник аналогического распространения *=tu*, поскольку в хеттском не засвидетельствовано других клитик сходной формы[247]. Гипотеза о лувийском заимствовании в среднехеттский также неубедительна, пока не объяснено, почему

[245] Распространенное мнение о том, что местоимения никогда или почти никогда не заимствуются, было опровергнуто довольно давно (см. [Thomason 2001: 83–84], где дается набор примеров). Однако дескриптивным фактом остается то, что система индоевропейских личных местоимений имеет определенный иммунитет к заимствованиям из неблизкородственных языков.

[246] Я признателен Ярославу Горбачеву (Чикаго), который первым обратил внимание на важность алломорфа *=tu* для моей аргументации. Стоит отметить, что последовательность *=tu=za* засвидетельствована в поздней копии древнехеттского «Воззвания Телибину» (KUB 11.5 rev. 2).

[247] Джозефсон предположил, что хетт. *=tu*(*=za*) представляло собой реликтовую аккузативную клитику, исконная функция которой перешла к дативной клитике *=ta* [Houwink ten Cate, Josephson 1967: 136–137]. Эта гипотеза опровергается прямым соответствием между хетт. *=ta* и и.-е. аккузативной клитикой **=te*.

заимствованная лексема используется исключительно в позиции перед данными двумя частицами.

Ничто, однако, не противоречит предположению о том, что вариант *=tu=* уже существовал в древнехеттском с такой же дистрибуцией, как и в средне- и новохеттском. Проверка по картотеке Чикагского словаря показала, что фрагменты, записанные древнехеттским пошибом, в которых клитика 2 л. фигурировала бы перед *=z(a)*/*=san*, просто отсутствуют. Вероятно, это должно объясняться отсутствием писем и малочисленностью договоров, написанных на древнейших хеттских табличках, поскольку именно эти два жанра характеризуются наибольшей концентрацией форм 2 л. в более поздний период и преобладают среди источников, в которых фиксируются *=(t)tu=z(a)*. В отсутствие доказательств противного, проще принять, что среднехеттский унаследовал исконную дистрибуцию, чем постулировать немотивированную инновацию.

Если же отнести данную проблему к доисторическому периоду, то она получает правдоподобное объяснение в контексте языковых контактов. Очевидно, хетты переняли не только отдельные возвратные клитики лувийского языка, но также и целую последовательность *=*tu=ti* вместо исконной *=*te=tē*. Фактор, без сомнения облегчивший это заимствование, заключался в генетической близости между хеттским и лувийским, а точнее, в фонетическом подобии релевантных местоименных форм. Аналогичный фактор должен был сыграть свою роль в заимствовании северогерманских местоимений 3 мн. в англо-саксонские диалекты (ср. др.-сев. *θeir*/*θeim*/*θeira* ‘они/им/их’, вытеснившие др.-англ. *hīe*/*him*/*hiera* и давшие англ. *they*/*them*/*their*). Позднее клитика *=tu* стала восприниматься в качестве алломорфа *=ta*, и ее употребление было распространено на позицию перед *=san* благодаря частичной фонетической близости между *=z(a)* и *=san*.

Впрочем, параллель между доисторическими контактами хеттского и лувийского, с одной стороны, и историческими контактами древнеанглийского и древнесеверогерманского, с другой, может быть

вынесена за рамки данного специфического эпизода. Досон [Dawson 2003] убедительно показала, что определяющий фактор устойчивого влияния древнесеверогерманского на структуру и базовую лексику английского языка заключался не столько в количестве данов, поселившихся в Англии, и не в длительном периоде контактов, сколько в генетической и типологической близости двух языков, которая позволяла носителю одного языка понимать носителя другого без изучения соответствующего языка. Она справедливо называет конвергенцию, обусловленную данным типом контакта, «койнеизацией» (koineization), а также подчеркивает тот факт, что очень часто в подобных случаях сложно провести границу между заимствованиями в буквальном смысле и контактно-стимулированной модификацией языковых элементов, которые уже были доступны в подвергнувшемся влиянию языке. Данный подход позволяет объяснить, почему присутствие норманнов в средневековой Франции или завоевание Англии ассимилированными франкоязычными норманнами не привело к сопоставимой структурной конвергенции: отсутствие взаимопонимания между носителями романских и германских языков препятствовало образованию нового койне[248]. Еще одним случаем койнеизации, сопровождавшимся переносом грамматических морфем, является сближение между «стандартным» древнерусским (древневосточнославянским) и древненовгородским диалектами, приведшее к формированию великорусского литературного языка [Zalizniak *apud* Burlak 2013: 63].

Если принять, что прахетты и пралувийцы в достаточном количестве жили бок о бок и интенсивно контактировали друг с другом на своих родных языках в определенный период вскоре после их генетического разделения, то легко представить себе ситуацию, при которой новые поколения носителей в контактной зоне стали бы воспринимать эти два близкородственных

[248] Единственным словом из стословника Сводеша, заимствованным в английский из французского, является слово *mountain* ‘гора’, имеющее мало применения на ландшафте юга Англии (в отличие от исконного *hill* ‘холм’). Слова, входящие в этот список, которые были либо заимствованы из древненорвежского, либо испытали влияние данного языка, — это как минимум *die* ‘умирать’, *egg* ‘яйцо’, *give* ‘давать’и *sky* ‘небо’.

диалекта как стилистические варианты одного кода. Если носители хеттского языка представляли собой на данной территории большинство, то разумно ожидать, что хеттские элементы преобладали бы в *койне* этого региона, но при этом не накладываются никакие ограничения на классы слов, которые могли заимствоваться из лувийского. Единственное возможное обобщение заключается в том, что формально более простые и функционально более прозрачные элементы обладали бы лучшей возможностью проникнуть в новое *койне*. Так, можно предположить, что последовательности *=*tu*=*tī* было бы отдано предпочтение в сравнении с комплексом *=*te*=*tē*, что связано с необходимостью различать два фонетических сходных клитических местоимения. Интерпретационная сила подобного объяснения не должна переоцениваться: нельзя сделать точные предсказания по поводу элементов, которые заимствовались бы в то или иное койне в определенной контактной ситуации. Сравнение со средневековой Англией было сделано, скорее, чтобы подчеркнуть, что *любые* базовые лексические элементы могут быть замещены заимствованиями из близкородственного языка в контексте койнеизации.

К сожалению, нет исторических материалов, которые позволили бы пролить свет на дату ранней конвергенции между хеттским и лувийским языками. Можно, однако, попытаться поместить ее в рамки относительной хронологии фонологических и морфосинтаксических изменений, которые произошли в период между праанатолийским и хеттским. Несмотря на то что относительная хронология напрямую не переводится в абсолютную, значительное число изменений, произошедших между постулируемым эпизодом контакта и древнейшей зафиксированной стадией хеттского языка, являлось бы аргументом против связи реконструируемой койнеизации хеттского языка с экспансией, приведшей к созданию Древнего царства. Уже было показано, что обобщение хетт. *=z(a)* в качестве возвратной частицы, контролируемой любыми типами субъектов (Стадия 5), представляет собой одно из таких изменений. Относительная хронология некоторых других

процессов зависит от интерпретации хеттского медиопассивного расширения *-di* (с синхронным вариантом *-d*).

Инвентарь известных древнехеттских медиопассивных глагольных окончаний, а также их традиционные грамматические интерпретации извлечены из работы [Kassian 2002]:

Таблица 23: Древнехеттская медиопассивная флексия

	Презенс		Претерит		Императив
	ед.	мн.	ед.	мн.	ед.
1	-ha; -hari;	-wasta (1x)	-ha**d**	?	?
2	-ta (1x)	-tumari (1x)	-ta**d**	?	-hu**d**
3	(I) -ta; -tari (II) -a; -ari; -ani	-anta; -antari	(I) -ta**d** (II) -a**di**	-anta**di**	(I) -taru (II) -aru

Можно заметить, что медиопассивные окончания презенса и претерита имеют одинаковую первую часть для всех лиц/чисел, но различаются своими расширителями. Согласно полученным результатам, вторая часть древнехеттских окончаний презенса является либо нулевой, либо *-ri* (реже *-ni*), в то время как окончания претерита расширены элементами *-di* или *-d*. Данная дистрибуция подверглась модификации в поздней истории хеттского языка; в этот период мы имеем окончания презенса *-tadi* (2 ед.), *-wastadi* (1 мн.) и *-tumad* (2 мн.), чередующиеся с вариантами на *-ri*. В то же время расширение *-ri* оставалось ограниченным настоящим временем на протяжении всей истории хеттского языка [Neu 1968: 24–30].

Предпринятый анализ древнехеттских контекстов привел к выводу об отсутствии надежной связи между дентальными расширителями и претеритом уже в древнейших текстах. Вопреки устоявшемуся мнению, форма *suppiyahhati*, встречающаяся в записи древнехеттского ритуала, должна интерпретироваться как глагол настоящего времени:

(127) KBo 25.112 ii 14–15, CTH 733.II.4 (OS), Neu 1980: 191
LUGAL-us=**za** suppiāhha**ti** *ANA* [hal]pūti mānhand[a] māldi kē=a *QATAMMA*
‘Царь очищает **себя.** Как он заклинает перед алтарем, (здесь) это (он делает) также’.

Начальные компоненты хеттских медиопассивных окончаний, маркирующие лицо и число, в большинстве своем имеют хорошие этимологии, возводящие их к общим компонентам реконструированных индохеттских флективных морфем для категорий, обозначаемых разными исследователями как перфект, статив или прамедиальный залог. Рефлексы этих морфем обнаруживаются в окончаниях перфекта и медиопассива в различных индоевропейских языках[249]. Отождествление хеттского медиопассивного расширения *-r-(i/u)* и индоевропейского элемента *-r* с идентичной функцией также является довольно надежным [Yoshida 1990]. Напротив, индикативные расширители *-di*/*-d* не имеют непосредственных аналогов в праиндоевропейском и должны рассматриваться как хеттские или анатолийские инновации[250]. Из двух вариантов *-di* является более архаичным. Согласно Куриловичу [Kuryłowicz 1964: 69], хеттский претерит 3 ед. *-ta-d* представляет собой сочетание старого медиопассивного окончания и флексии активного претерита. Эта гипотеза может быть реинтерпретирована как адаптация претерита 1 ед. **-hadi* и претерита 2/3 ед. **-tadi*

[249] См. [Jasanoff 2003: 1–29], где дается обзор мнений о реконструируемом значении «прамедиального» спряжения, а также содержится изложение его собственных взглядов. Следует подчеркнуть, что грамматикализация собственно медиального спряжения имела место уже в период до выделения анатолийского праязыка.

[250] Педерсен [Pedersen 1938: 110], которому следует Эттингер [Oettinger 1997: 417], связывал хетт. *-di*/*-d* с праиндоевропейским суффиксом императива **-dhi*. Данная этимология остается весьма правдоподобной в случае окончания хеттского медиального императива 2 ед. *-hu-d*, даже несмотря на то, что она требует предположения о нерегулярной апокопе (по этому поводу ср. лат. *dic* ‘говори!’, *fac* ‘делай!’ и *duc* ‘веди!’). Карруба связал *-di* с медиопассивными суффиксами инфинитива вед. *-dhyai* и греч. –σθαι, постулировав также существование праиндоевропейского медиопассивного суффикса **-dh-* с различными формальными расширителями и функциональными трансформациями [Carruba 1992a: 15–31]. Общий недостаток обеих теорий заключается в необходимости приводить более или менее искусственные аналогии, которые должны объяснить типологически неправдоподобное распространение дентальных суффиксов из периферийных форм на формы индикатива.

(зафиксированы в более поздних хеттских текстах), под влиянием окончаний активного претерита. Это аналогическое развитие, в свою очередь, могло привести к восприятию первоначального расширения *-di* как презентного эквивалента *-d* в более поздний период развития хеттского языка[251].

Что касается варианта *-di*, то его происхождение не должно ассоциироваться с инвентарем глагольной морфологии. Ной [Neu 1968: 145] убедительно связал эту морфему с дохеттской возвратной клитикой *=*ti*/=*di*. Вставление исконной ваккернагелевской клитики в постглагольную позицию имеет несколько параллелей в индоевропейских языках, но особенно близкую аналогию предоставляет суффикс *-ся*/*-сь*, маркирующий русский возвратный залог и восходящий к праславянской ваккернагелевской клитике *=*sę*[252]. Приведенный выше случай (127) может служить примером синтаксической конструкции, в которой клитика *=*ti*/=*di* могла распространиться из ваккернагелевской позиции на постглагольную[253].

Трактовка Ноя не была принята сразу всеми исследователями. В последние годы, однако, она получила весомое подтверждение в виде анализа позднелувийских предложений, где встречается элемент *-si*, присоединяемый к глагольным окончаниям. Медиопассивный характер подобных форм не сразу ясен из каждого контекста, но он может быть однозначно выведен из сравнения примеров (128) и (129), где *-si* чередуется с *-ru* (3 ед. имп.) в одной парадигме пассивного глагола *izziya-* ‘становиться’.

---

[251] Если пал. *šar-ku-ta-at* (KUB 35.165 obv. 6) действительно является формой медиопассива, как считает Камменхубер [Kammenhuber 1959], то расширение *-d* представляет собой общеанатолийскую инновацию или результат ареального развития.

[252] Процесс постепенного превращения ваккернагелевской клитики *=*sę* в приглагольный элемент прослеживается для новгородских берестяных грамот в монографии [Зализняк 2004: 188–89]. Более детальная дискуссия развитии клитики *=*sę* в истории русского языка содержится в монографии [Зализняк 2008]. Особый интерес для настоящей дискуссии представляют позднедревнерусские формы с «двойным сѧ» [Зализняк 2008: 189–191], которые дают типологическую параллель к возможному употреблению клитики *=z(a)* и глагольного расширителя *=di* в одной и той же клаузе в хеттских текстах.

[253] По поводу реконструированного дублирования ваккернагелевской аккузативной анафорической клитики в других позициях в истории ликийского языка ср. объяснение Гарретта [Garrett 1991]. С другой стороны, можно рассмотреть сценарий, согласно которому ваккернагелевские клитики сначала присоединялись к медиопассивным формам в предложениях с начальным глаголом (по типу тех, что описаны в работе [Sidel’tsev 2002]). Против подобного решения, впрочем, говорит редкость данного синтаксического типа в оригинальных (непереводных) хеттских произведениях.

(128) ÇINEKÖY, §7, Tekoğlu and Lemaire 2000
|hi-ia-wa/i-sa-ha-wa/i(URBS) |su-ra/i-ia-sa-ha(URBS) |”UNUS”-za
|DOMUS-na-za | i-zi-ia-**si**
‘Хиява и Ассирия стали одним домом’.

(129) KARATEPE §53 (Hu.), Hawkins 2000, I: 55
kwa/i-pa-wa/i za (“CASTRUM”)há+ra/i-ní-sà-||za i-zi-ia-**ru**
(DEUS)BONUS-sa (DEUS)VITIS-sá-há
‘Пусть эта крепость станет (домом) бога зерна и бога вина’.

Осиро [Oshiro 1993: 54] впервые связал лувийский медиопассивный маркер *-si* с палайской ваккернагелевской клитикой *=si*, которая, как уже было показано выше, имела возвратное значение. Эта идея получила дальнейшее развитие в работе Рикен [Rieken 2004/05: 183–184], где проводится прямая параллель между распространением хетт. **=ti/=di* и лув. *=si* на постглагольную позицию, что, таким образом, подтверждает теорию Ноя[254]. Имеется, однако, важное различие между относительными хронологиями этих двух синтаксических процессов. Распространение лув. *=si*, должно быть, произошло до наступления Стадии 3, которая фактически ликвидировала эту ваккернагелевскую клитику. Редкость глагольных форм на *-si* в позднелувийских текстах вместе с их полным отсутствием в лувийском диалекте Киццувадны свидетельствуют о рудиментарном характере данного образования. И напротив, распространение хетт. **=ti/=di* на постглагольную позицию должно было произойти после Стадии 3, а также, вероятно, после Стадий 4/5. Иначе было бы очень сложно объяснить, почему клитика 2 л. **=tē/*=dē* была обобщена в качестве маркера

[254] Более свежей параллелью является создание лидийской эмфатической частицы *=ś*, которая может рассматриваться как изначально возвратный маркер *=ś/=is*, распространившийся из ожидаемой ваккернагелевской позиции (согласно Мелчерту [Melchert 1991]).

медиопассива, а затем подверглась нерегулярному стяжению до *=*di* под влиянием лувийской клитики, которая никогда не имела этой функции.

Формальные отношения между ваккернагелевской клитикой *=*ti* и глагольным расширением *-di* в хеттском языке должны обсуждаться с учетом феномена праанатолийской леницию. Согласно традиционной формулировке этого звукового закона, праанатолийские глухие взрывные озвончались после ударных долгих гласных или между двумя безударными гласными [ср. Melchert 1994: 60, там же ссылки]. Адиего [Adiego 2001] удачно объединил оба условия, предположив, что праанатолийская леницию происходила между двумя безударными морами. Результаты леницию лучше всего сохранились в глагольной системе лувийского языка, в то время как в хеттском они оказались затемнены рядом последующих аналогических преобразований. Тем не менее окказиональные синхронные чередования внутри хеттских глагольных парадигм (ср. *ā́gi* ‘она умирает’ vs. *akkánzi* ‘они умирают’, что предположительно сконструировано на основе аблаута акростатических основ, таких как *wḗgun* ‘я хотел’ vs. *wekkánzi* ‘они хотят’) доказывают существование фонологически обусловленной леницию на более ранних стадиях хеттского языка[255]. Распределение клитических аллофонов *=*tē*/*=*dē* и др., реконструированных в приведенных выше таблицах для долувийского и дохеттского, было, вероятно, обусловлено законами леницию. Глухой вариант был предпочтительным в позиции после другого согласного, что иллюстрируется примером (120), в то время как ленированный вариант предпочитался в позиции между безударными гласными внутри клитического комплекса.

[255] О синхронном чередовании между глухими и звонкими смычными в хеттских глагольных парадигмах см. [Kimball 1999: 279–281]. К сожалению, ни один из этих случаев не является акростатической основой, в которой леницию обусловлена предшествующей продленной ступенью корневого гласного. Пример глагола ‘желать’, где акростатический аблаут реконструируется на независимых основаниях, менее интересен с синхронной точки зрения, поскольку в данном случае чередование между глухими и звонкими смычными, похоже, потеряло свою исконную морфологическую обусловленность и стало спорадическим [ср. Oettinger 1979: 17]. Следует, однако, заметить, что какие бы аналогические объяснения ни предлагались для синхронных случаев леницию в хеттском, они будут иметь смысл, только если этот процесс был фонетически обусловлен в начальном наборе случаев.

Связь между алломорфами должна было сохраняться в хеттском до того момента, пока *=*ti*/*=*di* не распространились на постглагольную позицию, где они были специфическим образом ассоциированы с медиопассивным спряжением. Поскольку все нерасширенные маркеры медиопассивов заканчивались на безударные гласные, вариант =*di* автоматически выбирался в этом контексте. В более поздний период развития хеттского языка законы леницции потеряли свой синхронный статус, и все клитики, находящиеся во второй позиции, обобщили неленированные алломорфы. Это видно из орфографических вариантов с удвоенными согласными, таких как =*tta* и =*ttu*, которые встречаются в тех позициях, где из фонетических соображений предполагалась бы ленициия[256]. Однако данное аналогическое выравнивание не применялось к медиопассивному расширению -*di*, которое, похоже, потеряло синхронную связь с первоисточником. В скобках можно заметить, что в лувийском, напротив, обобщился ленированный вариант ваккернагелевских местоименных клитик (=*di* > =*ri*).

Последний штрих, подводящий нас к стадии, зафиксированной в древнейших хеттских текстах, — это палатализация /t/ > /ts/_/i/, сопровождавшаяся апокопой -*i* в конце слова[257]. Постулируемый фонетический переход должен был произойти после того, как ленированный вариант *=*di* перестал быть частью хеттской системы клитик, поскольку иначе под аналогическим воздействием он сохранился бы в виде *=*ti*. Тот факт, что данный фонетический переход не произошел в случае медиопассивного расширения –*di*, опровергает точку зрения Ёсиды [Yoshida 1998: 614], что **t* и **d*, в противоположность **dh*, подвергались палатализации перед передними гласными верхнего подъема. Стоит

[256] Многочисленные варианты, такие как *namma=tu=za* (вместо ожидаемого ***namma=ttu=za*) в примере (125), должны рассматриваться как случаи упрощенного написания. Данный феномен, вкратце рассмотренный в работе [Yoshida 1998: 607], заслуживает гораздо более полного исследования, направленного на определение условий его возникновения.

[257] Ср. [Kimball 1999: 191–192]. Трудно поверить, что апокопа -*i* была также регулярной в позиции после *d*, поскольку сохранение медиопассивного расширения -*di* препятствует этому предположению. Скорее, апокопа в императивном суффиксе -*dhi* должна рассматриваться как одно из тех нерегулярных сокращений, которые часто встречаются в формах императива.

отметить, что даже если сделать неправдоподобное предположение, что хетт. *=z(a)* и хетт. *-di* не связаны друг с другом, все же необходимо признать, что аффрикативизация произошла довольно поздно, поскольку она действовала в отношении клитик *=*ti*/=*di*, заимствованных из лувийского языка. Требуется богатое воображение, чтобы полагать, будто праиндохеттское **dh*, не давшее в иных случаях рефлексов, отличных от **d*, в каком-либо из засвидетельствованных анатолийских языков, сохранилось в дохеттском на столь поздней стадии[258].

Сделанные выше наблюдения могут быть резюмированы в виде следующей относительной хронологии:

1. Заимствование *=*ti*/=**di* в хеттский из лувийского.
2. Обобщение хетт. *=*ti*/**=di* на все лица и числа.
3. Распространение хетт. *=*di* на постглагольную позицию, где оно потеряло свой статус клитики.
4. Вариант *=ti* обобщается во второй позиции в клитическом комплексе.
5. /t/ > /ts/ /_/i/; /tsi/ > /ts/ /_#.

Формально не представляется возможным доказать, что клитика *=ti*/*=di* была заимствована в хеттский из того варианта лувийского, который уже отделился от других лувических диалектов, а не из пралувического или даже другого лувического диалекта. Тем не менее в отсутствие свидетельств тесных языковых контактов между хеттским, с одной стороны, и ликийским,

[258] Филологические соображения, приведенные Ёсидой [Yoshida 1998] в пользу фонетического перехода */d/ > /dz/_/i/, не представляются убедительными. Верно, что некоторые глагольные формы на *-*ēzzi* иногда записываются в древнехеттском с *-ēzi*/*-ezi*, но в тех случаях, когда имеется достаточно примеров (напр., *iē(z)zi* ‘он сделает’ или *pehude(z)zi* ‘он принесет’), данное написание является менее частотным, чем *-ēzzi*/*-ezzi* [Kassian 2002: 99, 116]. В подобной ситуации предпочтительнее исходить из того, что сокращенные варианты *-ēzi*/*-ezi* не свидетельствуют о существовании отдельной фонемы /dz/, а, скорее, представляют собой еще один случай упрощенного написания. Именно это объяснение привел Ёсида [Yoshida 1998] для окказиональной древнехеттской глагольной формы 3 ед. на *-nuzi*, встречающейся в свободном варьировании с *-nuzzi*. Аргумент, что знак <iz> слишком прост, чтобы опускаться менее старательными писцами, не убедителен, поскольку, в конечном счете, сложнее написать знак, пусть и состоящий всего из трех штрихов, чем не писать ничего.

милийским, карийским, с другой, непрерывность лингвистической интерференции между хеттским и лувийским остается единственной правдоподобной гипотезой. Также невозможно исключить, что некоторые из обсуждаемых изменений пересекались во времени. Но явная запутанность фонологической и морфосинтаксической эволюции, последовавшей за рассмотренным эпизодом контакта, заставляет предполагать период в несколько сотен лет между заимствованием лув. *=*ti*/=**di* и тем вариантом хеттского языка, который зафиксирован в его древнейших памятниках (XVII в. до н. э.). Доисторические контакты между хеттским и лувийским (или лувическим) должны быть, вероятно, датированы концом III тыс. до н. э[259].

[259] Положения данной главы были впервые обоснованы (в сокращении) в работе [Yakubovich 2006b] и нашли свое полное выражение в монографии [Yakubovich 2010a]. Среди работ, в которых поддержаны мои выводы, можно упомянуть [Rieken 2009], [Melchert 2011b] и [Oettinger 2013/2014]. В то же время ряд коллег, не отвергая прямо результатов предложенного анализа и не предлагая альтернативных решений, тем не менее пока остаются не готовы принять социолингвистические импликации данной главы. В связи с этим характерна следующая цитата: “В рамках популярной сейчас концепции «панлувизма» некоторые ученые предполагают довольно сильное лувийское влияние на грамматическую структуру х[еттского] я[зыка] в соответствующую эпоху, что, однако, представляется пока недостаточно обоснованным” [Касьян, Сидельцев 2013: 32].

Глава 4. Сосуществование хеттского и лувийского языков в период до 1350 г. до н. э.

4.1 Вводные замечания

Если носители хеттского и лувийского языков занимали одну территорию (или смежные территории) уже в доисторический период, то уместно поставить вопрос о восприятии себя и своих соседей со стороны каждой из этих двух групп. Можно также попытаться выявить природу географических и/или социальных границ, отделявших два языковых сообщества друг от друга, а также степень хетто-лувийского двуязычия в различные периоды II тыс. до н. э. Рассмотрению этих двух проблем и посвящена оставшаяся часть диссертации.

Последующий анализ разделяется на две главы, расположенных в хронологическом порядке. В данной главе рассматривается статус лувийского и хеттского языков в анатолийских государственных образованиях, предшествовавших созданию империи Хаттусы. Письменные источники неравномерно предоставляют информацию об анализируемом здесь длительном временном промежутке. Поэтому наше обсуждение отдельных пространственно-временных промежутков будет основано на эмпирических данных определенного типа, которые могут и не иметь параллелей в случае других пространственно-временных промежутков. Используемые подходы включают просопографический анализ, исследование лексических заимствований, переключения кодов и структурной интерференции, прямую оценку исторической информации и анализ акронимических значений анатолийских иероглифических силлабограмм. Напротив, рассмотрение социолингвистической ситуации в империи Хаттусы может опираться на одновременное использование

нескольких подходов, дающих сопоставимые результаты. Этот период подробно проанализирован в Главе 5.

Настоящая глава организована следующим образом. В разделе 4.2 представлены ономастические свидетельства в пользу языковых контактов между хеттским и лувийским языками в период существования ассирийских факторий. В небольшом разделе 4.3 критикуются доводы против естественной передачи хеттского языка в Хаттусе и демонстрируется их неубедительность. Раздел 4.4 посвящен анализу ранних лексических заимствований из лувийского в хеттский, которые могут пролить свет на социолингвистический статус двух языков в начале II тыс. до н. э. Выводы из раздела 4.4 рассматриваются в разделе 4.5, где обсуждается вероятное расположение страны Лувия, упомянутой в Хеттских законах. В разделе 4.6 используется сочетание исторических и лингвистических свидетельств для оценки распространения и статуса лувийского языка в Древнем царстве Хаттусы, тогда как в разделе 4.7 аналогичная задача выполняется для раннего периода раннего Нового царства. В разделе 4.8 предпринята попытка реконструкции социолингвистической ситуации в княжестве Киццувадна, а также обсуждается происхождение ритуалов из Киццувадны, обнаруженных в царских архивах Хаттусы. Раздел 4.9 посвящен социолингвистическому контексту изобретения анатолийских иероглифов. В разделе 4.10 резюмируются выводы из данной главы.

4.2 Лувийцы в староассирийских источниках

Самые ранние письменные памятники Анатолии относятся к периоду интенсивной ассирийской торговли с данным регионом (XX–XVIII вв. до н. э.). Канешская фактория ассирийцев была центром международной торговли в Малой Азии в течение данного периода, хотя и в других анатолийских городах были созданы более мелкие ассирийские торговые

центры[260]. Единственным письменным языком, использовавшимся в Малой Азии в то время, был староассирийский диалект аккадского, вне зависимости от того, являлся ли автором текста ассирийский купец или местный торговец. Однако можно собрать некоторую информацию о местных говорах из анализа многочисленных туземных личных имен и более редких лексических заимствований, встречающихся в данных документах[261]. В работе [Garelli 1963] предпринята попытка систематически рассмотреть этнические группы, засвидетельствованные в анатолийских полисах этого периода, опираясь на анализ местной ономастики[262]. Одним из выводов автора является ограниченное число лувийских имен в документах староассирийского периода.

Со времени выхода работы Гарелли многое изменилось. Кроме большого числа новых текстов, опубликованных в последние 45 лет, необходимо особенно подчеркнуть прогресс в исследовании анатолийских языков. Лучшее понимание фонологических изменений, отделяющих хеттский и лувийский языки от праанатолийского, позволяет разграничить анатолийские архаизмы и диалектные инновации внутри нашего корпуса. В частности, Гарелли [Garelli 1963: 139] характеризует ономастический элемент *nan(i)-* ‘брат’ как «хетто-лувийский», хотя сейчас известно, что хеттским обозначением для брата было слово *negna-* [CHD, L-N: 428-431]. Более того, можно реконструировать праанат. **neg’no-* ‘брат’, регулярными рефлексами которого были хетт. *negna-* и лув. *nan(i)-* [ср. Melchert 2012b:

---

[260] Все рассмотренные ниже лувоидные имена, исключая одно (*Hutarla*), встречаются на табличках, которые происходят из области Канеша. Данное заключение, разумеется, гипотетично в отношении фрагментов, обнаруженных в результате нерегулярных раскопок, однако единственным местом, где явно осуществлялась незаконная охота за староассирийскими табличками, является Кюльтепе.

[261] Новейший список анатолийских лексических заимствований в староассирийских текстах см. у [Dercksen 2007]. Большинство из этих заимствований, похоже, являются хеттскими, однако имеются также *hinissannum* (сосуд), *kulitannum* (сосуд), *upatinnum* ‘поместье, ленный надел’ и *targumannum* ‘толкователь, переводчик’, которые могут иметь лувийское происхождение. См. 5.2.5, где показывается правдоподобность лувийского происхождения хетт. *hanissa(nni)-* (сосуд), и 4.4, где приводятся анатолийские когнаты акк. *upatinnum*. О лувийском происхождении аккадского *parzillu-* ‘железо’, впервые зафиксированного в староассирийских текстах, см. [Valério, Yakubovich 2010].

[262] За кратким изложением истории изучения анатолийской ономастики можно обратиться к работе [Carruba 1983: 84–87]. Уместно также отметить вклад Лароша [Laroche 1966], поскольку в его работе содержится самый большой письменный корпус анатолийских имен, зафиксированных в староассирийской передаче, который доступен на данный момент. К сожалению, анализ *les noms kanisiens* в изложении Лароша не основывается на систематическом разграничении хеттских и лувийских компонентов данного пласта.

256]. Следовательно, если в нашем корпусе действительно фиксируется лексема *nan(i)-* со значением ‘брат’, то ее необходимо рассматривать как лувийскую диалектную форму. Возможность применить более совершенный лингвистический анализ к большей группе личных имен побуждает меня предпринять новое корпусное исследование.

С другой стороны, даже беглого взгляда на недавний каталог староассирийских текстов [Michel 2003] достаточно, чтобы понять, что полный анализ ономастических материалов, содержащихся в данных источниках, в данный момент нереален. В то время как почти все из 5 тыс. документов, хранящихся в европейских и американских собраниях, опубликованы в клинописном виде, а многие из них также представлены в транслитерации, большая часть из 17–18 тыс. табличек, извлекаемых при постоянных раскопках в Кюльтепе, остаются неопубликованными. Ряд ассириологов, включая тех, кто занимается публикацией табличек из Кюльтепе, установили взаимное сотрудничество и сделали предварительные версии своих текстов, готовящихся к публикации, доступными друг для друга. Ян Деркcен, один из участников данного проекта, создал базу данных личных имен, которые встречаются в находящихся в его распоряжении староассирийских источниках, и любезно предоставил мне доступ к этому файлу. Несмотря на то что эта благоприятная возможность существенно расширила набор доступных мне материалов, она в то же время привела к большим сложностям для точного определения границ рассматриваемого корпуса. Поэтому анализируемые ниже имена должны рассматриваться как показательная выборка лувической ономастики из документов *kārum*, а не как исчерпывающее множество.

Очевидная сложность в изучении личных имен, зафиксированных в передаче на чужом языке, заключается в невозможности установить на независимых основаниях язык, к которому относился определенный лексический элемент. Это создает ситуацию, при которой чьи-либо априорные предпочтения по поводу происхождения определенных личных

имен могут влиять на их интерпретацию. Единственный способ разорвать этот порочный круг заключается в том, чтобы исследовать ономастический корпус определенного периода как систему. Так, знаток специалист по лувийскому языку имеет соблазн вывести гипокористическую форму *Im-ra-a* /Imrāya/ (MAH 16552.13) из *Immara-ziti* или подобного теофорного имени, включающего значение ‘степной бог-защитник’ (**Immara-Kruntiya-*). Однако анализ документов *kārum* показывает, что ни один из *Imra*-композитов, зафиксированных в данном корпусе, не характеризуется явным вторым компонентом лувического происхождения, в то время как имя *Im-ri-mu-ša* (AKT 1 7.27) может быть сопоставлено с *E-wa-ri-mu-ša* (напр., TC 1 109.6,12) и *E*-[*r*]*a-mu-ša* (Kt 94/k 959). Три последних имени могут интерпретироваться как альтернативные попытки записи хурритского /Evri-muža/ ‘Господин справедлив’. Кроме того, Гарелли [Garelli 1963: 156] справедливо анализирует *Im-ri-a-ri* как /Evri-ari/ ‘Господин дал’. Следовательно, весьма вероятно, что *Im-ra-a* представляет собой вторичную гипокористическую форму на базе хурритского композита с элементом /evri/ ‘господин’.

Другой пример такой же неоднозначности — это княжеское имя *Ha-ar-pá-ti-wa* (о просопографическом аспекте которого см. [Kryszat 2008: 164]). Лувические теофорные имена, содержащие элемент *Tiwa(d)-* ‘бог солнца’, засвидетельствованы в староассирийских источниках, а хеттское должностное лицо *Yaratiwa* известно из писем из Машата (HKM 103.2). Однако хурритская этимология все же выглядит более предпочтительной. Первая часть формы *Ha-ar-pá-tí-wa*, вероятно, содержит ссылку на месопотамского бога Хараба, который иногда появляется в хурритских теофорных именах из Нузи, но не в лувийской ономастике. Следовательно, данное имя лучше читать как *Harba-tiwe* слово ‘Хараба’, предполагая, что вторая часть этого композита — хуррит. *tiwe* ‘слово, вещь’ [Richter 2012: 455]. Другой пример хурритского имени из староассирийского корпуса, которое содержит тот же теоним, — это *Ha-ar-pá-tal* (Kt c/k 1055.20), которое следует анализировать как *Harb-adal* ‘Хараб силен’.

В свете этих трудностей уместно разделить обсуждаемые лувоидные имена на несколько групп[263]. Первая группа включает те формы, чье лувическое происхождение, по моему мнению, является достоверным. Чтобы быть отнесенной к этой группе, именная форма должна либо характеризоваться фонетической инновацией, специфичной для лувической подгруппы, либо содержать два корня, которые встречаются в лувийском, но не в хеттском. В дополнение к этому мы должны быть способны объяснить каждую морфему данного имени в контексте лувийской грамматики. Другое желательное условие, которое сложнее подвергнуть формализации, заключается в наличии параллелей к данному имени внутри лувического ономастического корпуса[264].

Следующие корни и основы, представленные в нижеприведенной таблице, характеризуются специфическими лувическими фонетическими переходами *Gulza-* ‘(персонифицированная) судьба’ (ср. хетт. *Gulsa-* ‘id.’), *Tiwad-* ‘бог солнца’ (ср. и.-е. **dyew-* ‘дневное небо’ и хетт. *siu(n)-* ‘бог’), *nan(i)-* ‘брат’ (или *nann(i)-* ‘господин’)[265], *waw(i)-* ‘бык’ (ср. и.-е. *$*g^w ou$-* ‘id.’), *Ru(wa)ntiya-* ‘бог-защитник’ (ср. аккадографическое *kurunta* [Hawkins 2005b: 290])[266]. Типично лувийские (но не хеттские) корни — это *haw(i)-* ‘овца’

[263] Прилагательное «лувоидный» используется в данном случае в отношении анатолийских имен в значении ‘имеющий лувийский вид’, поскольку, как будет показано ниже, лувический характер многих из них может утверждаться лишь с некоторой долей вероятности.

[264] Все таблицы, содержащие лувийские имена, зафиксированные в староассирийских источниках, организованы по одному принципу. Первый столбец включает имя в транслитерации, а второй — информацию о человеке, которому принадлежало данное имя, согласно документу, где оно засвидетельствовано. Третий столбец содержит общепринятое ассириологическое обозначение соответствующего документа. Большинство сокращений, представленных в данном столбце, дешифрованы у [Michel 2003]. Последний столбец содержит библиографическую ссылку на источник, где соответствующий документ был опубликован в транслитерации. Поскольку данный раздел не является просопографическим исследованием, то я не пытался объединить различные способы фиксации идентичных имен: вероятные фонетические варианты одного имени (ср. *Ut-ni-ah-šu*/*Wa-at-ni-ah-šu* или *Uš-hu-pá*/*Wa-áš-hu-pá*) даны по отдельности.

[265] Предположение о том, что лувийская лексема для значения ‘господин’, обычно скрывающаяся за шумерограммой EN в клинописных текстах и логограммой DOMINUS в иероглифических текстах, была фонетически сходной с лексемой для значения ‘брат’, развивается в работе [Oreshko 2014] на основании анализа анатолийских имен собственных. Я принимаю эту гипотезу с той оговоркой, что *nann(i)-* ‘господин’, в отличие от слова ‘брат’, вероятно, содержал геминату, как это видно из лувийского восклицания *I-ya-a na-an-na-a* ‘Эа, господин’ (KUB 25.39 i 27).

[266] Последний элемент особенно интересен, поскольку он свидетельствует о том, что упрощение начального **kr-* произошло почти на семь столетий раньше, чем оно было зафиксировано в аккадографической передаче. Вместо того чтобы считать *Kurunta* историческим написанием, следует, по-видимому, приписать данное различие диалектному варьированию в лувийском языке II тыс. до н. э.

(хетт. UDU-*u*-), *wasu*- ‘хороший’ (хетт. *assu*-), *muwa*- ‘сила (vel sim.)’ (хеттский эквивалент не установлен)[267] и *puna*- ‘весь’ (хетт. *humant*-). Следуя Мелчерту [Melchert 2003a: 16, а также сноска 10], я принимаю, что адъективные суффиксы *-all(i)-* и *-il(i)-* имеют лувийское происхождение[268]. Далее, весьма вероятно, что суффикс *-iya-* в *Gulziya-*, *Tiwadiya-* и пр. связан с лувийским суффиксом *-iya-*, образующим посессивные прилагательные, хотя этот аргумент не является решающим, поскольку идентичный гипокористический суффикс засвидетельствован с именами аккадского и хурритского происхождения.

Существительные в Таблице 24 (ниже) характеризуются высокой степенью внутренней когерентности. Элементы *puna-*, *wasu-*, *muwa-* и *nan(i)-* встречаются два и более раз в различных композитах, что доказывает их правильную сегментацию. Имена *Hawiliya-* и *Wawal(i)-* семантически и структурно сходны, в то время как формы вроде *Ta-ar-ga-ša-an*, букв. ‘осел (хетт./лув.)’, (TC 1 87.18) или *I-me-ri-im*, букв. ‘овца (аккад.)’, (TIM 7 190.9) подтверждают гипотезу, согласно которой имена, встречающиеся в староассирийских документах, могут быть выведены из названий животных. Пара *Gulziya-* и *Tiwadiya-* подтверждает существование гипокористических образований, базирующихся на лувийских теофорных именах[269].

---

[267] Существительное *muwa-* и его производное *muwattall(a/i)-* засвидетельствованы несколько раз в хеттском языке [CHD, L-N: 314–317]. Тем не менее разумно полагать, что они представляют собой ассимилированные лувийские заимствования, а не унаследованные образования. С одной стороны, *muwattall(a/i)-* ‘могущественный’ содержит лувийский суффикс [Melchert 2005: 455–456]. С другой стороны, в лувийском языке существует ряд дериватов от того же корня, которые не имеют аналогов в хеттском: *muwita-* ‘потомок’, *nimuwizza-* ‘сын’, *muwa-* ‘быть сильным, завоевывать’. К этому следует добавить полное отсутствие *muwa-* и его производных (исключая имена собственные) в текстах, записанных древнехеттским и среднехеттским пошибами.

[268] Согласно Мелчерту (loc. cit.), суффикс *-ili-* иногда является адаптацией хаттского производного суффикса *-il-*. Однако данный суффикс образует производные только от хаттских корней, в то время как лувийский суффикс используется как для хеттских, так и для лувийских основ.

[269] Лувийское происхождение *Wali-asazu* (ICK 3 57.5, 20), отстаиваемое Каррубой [Carruba 1992b: 253], весьма спорно, поскольку дериват *asazu-* от лув. *asaza-* ‘говорить’ больше нигде не засвидетельствован. Двухкомпонентная интерпретация *Wa-li a-ša-sú* ‘Вали, его жена’ представляется оптимальной. Данная сегментация уже предполагалось в работе [Hecker et al. 1998: 373], однако авторы опирались на другой перевод ‘Вали (и) его жена’, который порождает синтаксические трудности.

Таблица 24. Достоверные лувийские имена в староассирийских источниках

Ha-wa-wa-šu	Получатель серебра	Kt m/k 36.3	(не опубликован)
Ha-wi-li-a	Получатель серебра	Sch. 22.35	Garelli 1964: 127
Ku-ul-zi-a	Невеста	KTS 2 6.4	Donbaz 1989a: 21
Mu-a-na-ni	Жена должника	ICK 1 115.9	Rosen 1977: 75
Mu-tá-li-a	Сановник	Kt s/t 92.7	Donbaz 1993: 132, сноска 9
Pu-na-mu-wa-tí	Отправитель пары рабов	WAG 48/1464.6	Lewy 1937: 107
Pu-nu-wa-šu	Держатель таблички	Kt d/k 2.6	(не опубликован)
Ru-wa-tí-a	Пограничник	Kt g/t 36.10	Bilgiç 1964: 128
Ru-tí-a	Должник	Kt 94/k 833	(не опубликован)
Tí-wa-li-is	Отец сановника	Kt s/t 92.12	Donbaz 1993: 132, сноска 9
Tí-wa-tí-a	Сановник	Kt s/t 92.8	Donbaz 1993: 132, сноска 9
Wa-šu-na-ni	Торговец	ICK 1 71.14	Larsen 1967: 61
Wa-áš-na-ni (то же, что выше)	Перевозчик (тот же человек, что и выше?)	TC 2 37.22, 30, 32	Ichisar 1981: 348
Uš-na-ni (то же, что выше)	Получатель меди	TC 3 104.12	(не издан в транслитерации)
Wa-wa-lá	Должница	CCT 1 11.7,16	Eisser, Lewy 1930: 24
Wa-wa-li	Торговец	KUG 41.2	Hecker 1966: 104

В Таблице 25 (ниже) представлена группа имен, характеризующихся лувоидными лексическими элементами, которые изолированы или встречаются в комбинации с хеттскими/хурритскими элементами. Лувийский статус этих имен имеет различную степень правдоподобности, но он не

достоверен. Необходимо понимать, что зачастую трудно провести различие между лувийским ономастическим материалом и архаичными хеттскими именами, если рассматриваемые формы не демонстрируют фонетические инновации какого-либо из двух языков. В частности, хотя личные имена из Кюльтепе, содержащие лувийский теоним *Santa* (*Santahsu* и *Santahsusar*), имеют, вероятно, лувийское происхождение, невозможно исключить гипотезу, согласно которой *Sanda*, зафиксированное также и в Лидии, было общеанатолийским божеством, которое позднее потеряло популярность среди хеттов. Даже в тех случаях, когда изолированные краткие морфемы как будто бы отражают лувические инновации, не следует отказываться от возможности того, что мы имеем дело с омонимичным сегментом, представляющим другой язык. Так, если имя *Zuwa* должно сопоставляться с лув. *zuwa-* ‘пища’, то его начальный согласный представляет, вероятно, специфичный для данного языка рефлекс и.-е. **g’y-* [Melchert 2003b: 195]. То же самое имя может рассматриваться и как архаический номинатив лув. *zuwan(i)-* ‘собака’. Тем не менее, поскольку этот элемент не встречается в типичных лувических композитах, лувийская этимология имени *Zuwa*, упомянутая у Гарелли [Garelli 1963: 141], является, по моему мнению, не более чем одной из возможностей.

Таблица 25. Вероятные лувийские имена в староассирийских источниках

A-ra-mu-wa	Получатель кольца	Kt o/k 103.6	Albayrak 2006: 113
Ha-wa-a	Получатель серебра	Kt b/k 176.3	Gül 1990: 52
Hu-tá-ar-lá	Автор письма из Алишара	OIP 27 27.3	Gelb 1935: 43
Hu-tár-lá-ni	Мэр	ICK 3 57.1	Hecker et al. 1998: 372
Ku-lá-na-lá	Посланник	Kt g/t 36.16	Bilgiç 1964: 128
Ku-lá-na-ah-šu-šar	Жена должника	Kt 89/k 282.3	(не опубликован)
Ku-ul-zi-a-ar	Долговой раб	KTH 22.3,5	Eisser, Lewy 1930: 152

La-[ba]-ar-na-aš	Свидетель	Kt 88/k 713.3	Donbaz 1993: 145
Pu-na	Торговец	Sch. 17.5	Garelli 1964: 117
Ša-tá-a[h-š]u	Должник	TC 1 99.4	Eisser, Lewy 1930: 242
Ša-tá-ah-šu-šar	Должник	ICK 1 24.A3, B 3,5	Rosen 1977: 48
Šu-pì-lá-áp-ra	Получатель серебра	KUG 8.7	Hecker 1966: 13
U-pá-tí-a-ah-šu	Получатель овцы	TC 3 191.16	Ulshöfer 1995: 315
Ú-ra-ni	Перевозчик	MAH 16552	Garelli 1965: 26
Ú-ra-nu-ma-an	Отец свидетеля	Kt d/k 30a:2	(не опубликован)
Ú-ra-a	Отец получателей серебра	Sch. 22.38	Garelli 1964: 127
Ut-ni-ah-šu	Свидетель	Liv 8.16	Eisser, Lewy 1930:8
Wa-at-ni-ah-šu	Упомянут в письме	Kt m/k 179 20	(не опубликован)
Wa-lá-áp-ra-a	Отец получателя овцы	TC 3 191.22	Ulshöfer 1995: 316
Wa-ša-tap-ra	Свидетель	Kt 89/k 383 2	Donbaz 1993: 134
Wa-tá-áp-ra	Свидетель	CCT 1 6c.13	Eisser, Lewy 1930: 20
Zi-tá	Получатель монет	Kt 90/k 176.18	Michel, Garelli 1997: 270
Zi-tá-ni	Задолжавший золото и серебро	Kt 94/k 833	(не опубликован)
Zu-ú-a	Свидетель	ICK 1 137.8	(не издан в транслитерации)
Zu-a-ni-a	Свидетель	CCT 1 7a.19	Eisser, Lewy 1930: 52

Некоторые элементы, встречающиеся в Таблице 25, уже рассматривались в связи с Таблицей 24. Сюда относятся лексемы *haw(i)-* ‘овца’, *muwa-* ‘сила (vel sim.)’, *gulza-* ‘(персонифицированная) судьба’ и *puna* ‘весь’. Дополнительные элементы, встречающиеся в этой таблице, могут быть сопоставлены с лувийскими формами *hutarl(i)-* ‘слуга’, *ku(wa)lan-* ‘войско’, *Santa* ‘бог войны’, *upadi(d)-* ‘поместье, домен’, *ura-* ‘большой,

великий’[270], **wadni(ya)-* ‘страна’, **dabra-* ‘власть’, *zid(i)-* ‘мужчина, человек’, *zuwa-* ‘пища' и *zuwan(i)-* ‘собака’. Помеченные звездочкой элементы не засвидетельствованы напрямую в лувийских текстах, но их реконструкция в качестве лувийских весьма вероятна и будет обсуждаться в следующем разделе. Фонетическая форма четырех последних имен противоречит их интерпретации как анатолийских архаизмов, утерянных в хеттском, если, конечно, их сегментация и значения были правильно установлены[271].

Языковая атрибуция других морфем, встречающихся в Таблице 25, более проблематична. Суффикс *-ni* в *Hudarla(n)ni* и *Zida(n)ni* может быть сопоставлен с лувийским диминутивным суффиксом *-ann(i)-* [Melchert 2003b: 196], но похожий суффикс также присоединяется и к именам аккадского происхождения, из которых он мог быть распространен на анатолийские имена[272]. Элемент *ara-* может быть связан с хетт. *ara* ‘дозволенное (действие), *fas*’ или хетт. *arāi-/ariya-* ‘подниматься’, а его лувийские когнаты неочевидны. Вопреки Мелчерту [Melchert 2003a: 16–17], нет оснований полагать, что суффикс *-hsu* является специфически лувийским. Основообразующие элементы *-hsu* ‘отпрыск’ и *-hsusar* ‘отпрыск женского пола’ могут быть сопоставлены с хетт. *hassu-* ‘царь’ и **hassusara-* ‘царица’. Исконным значением *hassu-* в праанатолийском, вероятно, было ‘отпрыск’, которое сохранилось в лув. (NEPOS)*ha-su-* ‘потомство, семья’, в то время как хеттском тот же термин подвергся семантической мелиорации до значения ‘князь’ и затем ‘царь’ [HED, H: 245][273]. Элемент *suppi-* ‘чистый’ является

---

[270] Гвидо Крышат (Майнц) сообщил мне, что некоторые лица с именами *Ú-ra-a* и *Ú-ra-ni* могут на просопографических основаниях считаться ассирийцами.

[271] Вариация в написании между *tá-áp-ra* и *lá-áp-ra* свидетельствует о проблемах в написании лув. *dabra-* ‘правило’ носителями хеттского языка, где оглушение в начале слова могло произойти раньше [ср. Melchert 2003a: 18–19]. Лув. *zid(i)-* ‘мужчина, человек’ не имеет общепризнанной этимологии, хеттское и лувийское начальное *zi-* не может быть выведено из одного источника, так что данная лексема должна отражать специфическое лувийское фонетическое развитие. Лув. *zuwa-* ‘пища’ уже рассматривалось выше, в то время как лув. *zuwan(i)-* и хетт. *kuwan-* ‘собака’ характеризуются различными фонетическими рефлексами этимологического **k’won-* ‘собака’.

[272] Однако следует обратить внимание на прямое соответствие между *Zi-tá-ni* в Таблице 25 и надежно установленным лувическим именем *Zidanni*, зафиксированным в более поздний период [Laroche 1966: §1554].

[273] Многие исследователи полагают, что данное семантическое развитие имело место в дохеттский период (см. резюме у [Watkins 1995: 8–9], хотя автор в результате предпочитает другую этимологию). Ничто,

хеттским или, возможно, принадлежит к доиндоевропейскому субстрату [Zehnder 2010: 7], а его вероятный лувийский эквивалент *washa-* будет обсуждаться ниже. Суффикс *-(u)man* в лексеме *Uranuman* может представлять в этом случае лувийский суффикс, с помощью которого образовываются имена действия [Melchert 2003b: 197], но наиболее распространенное употребление элемента *-man* в нашем корпусе связано с образованием хеттских прилагательных от топонимов[274]. Происхождение элемента *wa(sa)-* в *Wasa-dabra*/*Wa-dabra*/*Wa-labra* является неясным; гипотеза, что он представляет нерегулярное сокращение лув. *wasu-* ‘хороший’, возможна, но является произвольной. Суффикс (или корень?) *-ar* в форме *Gulziar* также не ясен.

Несколько групп лувоидных лексических элементов заслуживают отдельного рассмотрения из-за их относительной частотности. Морфема *wani-*, которая обычно встречается в качестве второго члена композита, может анализироваться двумя различными способами. С одной стороны, она может быть связана с лувийским словом *wan(i)-* ‘женщина’, обнаруженным Штарке [Starke 1980]. В защиту этой гипотезы можно сказать, что несколько имен в Таблице 26 определенно являются женскими, хотя более характерным для женских имен является суффигированный элемент *wanatt(i)-* ‘женщина’ [Zehnder 2010: 97]. С другой стороны, тот же самый элемент может пониматься как лувийский адъективный суффикс *-wan(ni)-* [Melchert 2003b: 197–198]. Согласно обеим интерпретациям, рассматриваемая морфема является специфически лувическим образованием, и возможное лувическое происхождение нескольких элементов, вместе с которыми она способна составлять композит, подкрепляет данное заключение[275].

однако, не препятствует возможности сосуществования исконного и производного значения *hassu-* в хеттском языке в период ассирийских факторий.

[274] Ср., напр., *Lawanduman* (ICK 1 117.3), *Usunuman* (ICK 1 35b. A1, B10) и *Hubisnuman* (b/k 260.A2, 19, B4,9), производные от топонимов *Lawanda*, *Usuna* и *Hubisna* соответственно. Ср. далее [Laroche 1966: 257–258].

[275] Вероятно, имя *Ala-wani* содержит упоминание анатолийской богини *Ala*. Начальный элемент лексемы *Ani-wani* может быть связан с лув. *ann(i)-* ‘мать’. По поводу элемента *washa-* см. обсуждение ниже в данном разделе.

Таблица 26. Имена с элементом *-wani*, относящиеся к периоду ассирийских эмпорий

A-lá-ú-a-ni	Автор письма	TC 3 123.1	(не издан в транслитерации)
A-ni-wa-a-ni	Автор письма	Kt 94/k 1389.2	(не опубликован)
A-wa-wa-ni	Жена жреца	Kt n/k 32.11	Donbaz 1989b: 76
Ha-az-za-wa-ni	Родственник Bac(y)нани	TC 2 37.31	Ichisar 1981: 348
Wa-ni-i	Жена Хуцуру	Kt k/k 14 A.9, B.5	Donbaz 1989b: 82
Wa-áš-hu-wa-ni	Свидетель	Kt d/k 23a: 2	(не опубликован)

Элемент *-nan(i)* ‘брат’ уже упоминался в связи с именем *Muwanani*. Довольно интересно, что это женское имя, и оно побуждает к интерпретации в качестве экзоцентрического композита ‘та, кто имеет силу ее брата’ (или что-то подобное). С другой стороны, можно предположить, что **nan(i)*- в этот период функционировало как слово с недифференцированным значением ‘брат или сестра’, а лув. *nanasr(i)*- ‘сестра’, засвидетельствованное в железном веке, представляет собой более позднее образование. Кроме того, многие имена, традиционно анализируемые как содержащие элемент *-nan(i)* ‘брат’, могут включать в себя вместо этого элемент *-nann(i)* ‘господин’, поскольку геминаты не выписывались последовательно в древнехеттских текстах. Имеется и еще одна возможность, согласно которой *-nani* следует отождествлять с хурритским элементом, широко засвидетельствованным в именах из Нузи [Gelb et al. 1943: 237–238]. Последнее решение имеет явные недостатки в случае *Muwanani*, но приобретает определенные аргументы в свою пользу, если принять во внимание другие имена с таким же конечным элементом, собранные в Таблице 27. Первые элементы этих имен не ясны и их лувийская принадлежность не очевидна. Следовательно, лувийское происхождение имен, засвидетельствованных в Таблице 27, также остается под вопросом.

Таблица 27. Имена с элементом *-nani*, относящиеся к периоду ассирийских эмпорий

Tù-za-na-ni	Раб	CCT 5 20a 5	Kienast 1984: 124
Ha-ma-na-ni	Свидетель	Liv 8.5	Eisser, Lewy 1930: 8
Ha-me-iš-ta-na-ni	Владелец оспариваемого имущества	CCT 5 9b 5,8,13, 17,26	(не издан в транслитерации)
Ma-lá-na-ni	Упомянут в письме	Kt m/k 179 12	(не опубликован)
Ša-lá-na-ni	Получатель одежды	Kt m/k 22.8	(не опубликован)
Ša-ni-ša-na-ni	Отец чиновника	Kt s/t 93 obv. 3	Donbaz 1993: 132 сноска 9
Tí-li-na-˹ni˺	Получатель раба	MAH 19616.11	Ulshöfer 1995: 310
Tù-a-li-ša-na-ni	Неясно	Kt s/t 93 rev. 3	Donbaz 1993: 132 сноска 9

Случаи употребления элемента (-)*washa/e/i-*, который может выступать как в начале, так и в конце композита, даны в Таблице 28. В качестве второго элемента он часто встречается с такими теонимами, как *Gulsa*, *Maliya*, возможно, *Ala* и *Lilaya*, и это распределение подталкивает к тому, чтобы сравнить данный элемент с лув. *washa-* ‘жертвоприношение (vel sim.)’ [ср. Melchert 2015: 410]. Вариант *washa-*, встречающийся в начале слова, имеет вид базового имени, но вариант *-washi*/*-washe*, встречающийся в конце слова, может быть отождествлен с производным прилагательным *washaya-* ‘священный, посвященный’, так что рассматриваемые теофорные имена получают интерпретацию ‘посвященный Малии’ и т. п. Ни морфема *washa-*, ни элементы, с которыми она сочетается в композитах, не характеризуются специфически лувическими фонетическими инновациями, но морфологическое отношение между *washa-* и *washaya-* является лувическим.

Таблица 28. Имена с элементом *-washV*, относящиеся к периоду ассирийских эмпорий

A-<lá>-wa-áš-hi	Жена Атапилы	TC 3 238a.5	Rosen 1977:145
Ku-ul-ša-wa-áš-he-e	Жена должника	Kt m/k 170.4	(не опубликован)
Li-li-wa-áš-hi	Жена должника	Kt d/k 34a.1	(не опубликован)
Ma-da-wa-áš-hi	Адресат письма	BIN 6 52.2	(не издан в транслитерации)
Ma-lá-wa-áš-hi	Свидетель	KUG 3.13	Hecker 1966: 4
Ma-li-wa-ah-ší Ma-li-wa-áš-ha Ma-li-a-wa-áš-hi	Женщина, играет роль сборщика долгов	Schmidt 1a.1,12 Schmidt 1b.5	Eisser, Lewy 1930:19
Ma-li-ì-wa-áš-he	Получатель серебра	I 604: 21-22	Hecker et al. 1998: 190[276]
Ma-lá-wa-áš-hi-na	Разведенная женщина	TC 1.100.11	Eisser, Lewy 1930:4
Ma-wa-áš-hi	Должница	CCT 5 48b.3 (env).10	Rosen 1977: 119
Ú-uš-ha-ta	Посланник	MAH 16206	Garelli 1965: 20
Uš-hu-pá	Заемщик	KTH 28.5,9,12 (env).3,6,12	Eisser, Lewy 1930: 187
Wa-áš-hu-pá	Управляющий рынком	CCT 5 26a.2	Kienast 1984: 140
Wa-áš-hu-ru	Мужчина, адресат письма	KTK 19.2,23	Янковская 1968: 131–132

Нет сомнения в том, что число лувоидных имен в староассирийских источниках меньше, чем число имен с явным хеттским видом. Так, частотное личное имя *Alalimi-*, букв ‘*desirée*’, встречающееся в текстах хеттского периода [Laroche 1966: §22] полностью отсутствует в староассирийских

[276] Редакторы прочли это имя как *Ma-li-ni-wa-áš-he*, отделив его от других лувоидных имен подобного вида.

текстах, что контрастирует с многочисленными фиксациями имен *Ilali(ya)*, *Ilaliska(n)*, *Ilaliyahsu*, *Ilaliyalka* и *Ilaliuman*, содержащих хеттскую основу *ilaliya-*, когнат лув. **alal(i)-* ‘желать’. Один или два изолированных случая теофорных имен с лувическим элементом *Tiwa(d)-* не сопоставимы с группой хеттских теофорных имен *Siwaskuniyan*, *Siwasmi*, *Siwanala* и *Siwanuman*, каждое из которых засвидетельствовано несколько раз. Элементы *-asu* и *-aswe/i-*, родственные, как предполагается, хетт. *assu-* ‘хороший’ [Laroche 1966: 321], затмевают редкие фиксации лувического элемента (-)*wasu*(-). Второй элемент *-niga*, очень частый в женских именах из Канеша [Laroche 1966: 306–308], не может отделяться от хетт. *nega-* ‘сестра’, чей лувийский эквивалент был бы **niya-*. Таким образом, хотя представленный перечень лувических личных имен во многих отношениях отличается от приведенного в работе [Garelli 1963], я, тем не менее, полностью согласен с общим заключением автора: “Кажется, что лувийский фактор не имел большого веса в Кюльтепе”. Учитывая то, что Кюльтепе/Канеш/Неса был городом, от названия которого произведено обозначение хеттского языка, было бы странно, если бы ситуация была иной [ср. Alp 1993: 188].

В то же время просопографические материалы, отраженные в приведенных выше таблицах, показывают, что индивидуумы с лувийскими именами не были чужаками в регионе Канеша. Некоторые из них, например *Mutaliya* и *Tiwadiya*, занимали важные позиции при дворе Канеша, другие же, такие как *Kulziya* и *Malawashina*, явно были женаты на местных жительницах. Свидетели или участники мелких актов передачи имущества (либо в качестве займа, либо как плату за оказанные услуги) должны также представлять местное окружение, если предположить, что соответствующие документы официально хранились в той же фактории Канеша, где они и были обнаружены позднее. Конечно, некоторые из анатолийцев, упомянутых в Таблицах 24–28, такие как *Wasunani* или *Wawali*, были профессиональными купцами, у которых не было необходимости проживать в Канеше, чтобы осуществлять сделки со своими ассирийскими партнерами. Но большинство

носителей лувийских имен, должно быть, жили рука об руку с хеттами, и между двумя группами не было явного различия в социальном статусе.

Комбинаторный анализ анатолийской ономастики подтверждает данное соображение. Такие имена, как *Suppi-labra* или *Kulsa-washe*, являются, по-видимому, смешанными композитами, первая часть которых является хеттским элементом, а вторая — лувическим. Рабовладелец с лувийским именем *Punamuwatti* не смог сохранить своих рабов в трудные времена и доверил их некоему *Walkuwa*, чье имя является хеттским (его лувический эквивалент был бы *Walwa*, букв. ‘лев’). Женщина с лувическим именем *Muwanani* вышла замуж за человека с хеттским именем *Isputahsu*[277].

Такое распределение позволяет поставить вопрос о том, может ли хеттский или лувийский характер личных имен, зафиксированных в староассирийских источниках, в принципе определять этническую принадлежность их носителей. Конечно, невозможно априори исключить сценарий, согласно которому группа лувийцев поселилась и образовало этническое меньшинство в районе Канеша уже в период ассирийских факторий, положительные аргументы в пользу такой гипотезы отсутствуют. В частности, необходимо быть осторожным и не делать подобного заключения на основании утверждения Каррубы [Carruba 1992b], согласно которому староассир. *nuwā’um*, употребляемое в документах из Канеша для обозначения автохтонного населения Анатолии, связано с **Luwa-*, то есть реконструируемым обозначением лувоязычной территории (ср. 4.5 ниже) [278]. Если следовать этимологии Каррубы, то соответствие *n-* ~ *l-* побуждает считать, что ассирийцы заимствовали термин *Luwa* через хурритское

[277] Реконструкция начального консонантного кластера в данном имени подтверждается вариантом *Šu-pu-da-ah-šu* (Kt o/k 53.3). Об упрощении кластеров *sC-* в лувийском см. [Melchert 1994: 271]. Тот факт, что один из князей Киццувадны также именовался *Isputahsu*, не доказывает лувийского происхождения данной формы, поскольку среди анатолийских обитателей Киццувадны могло быть представлено и хеттское население.

[278] В работе [Edzard 1989] представлена попытка объяснить *nuwā’um* как адъективное образование, указывающее на ‘людей, говорящих *nu=*’, т. е. на хеттов. Как справедливо указывает Петра Худехебюре (личн. сообщ.), данная этимология спекулятивна, поскольку демаркационная частица *nu=* не была обобщена вплоть до среднехеттского периода. В [CAD, N/2: 356–357] лексема *nuwā’um* неявно связывается со стандартным вавилонским и нововавилонским *nu’u-* ‘невежественный, необразованный, грубый, глупый’. Возможная этимологическая связь этих слов не свидетельствует против анатолийского происхождения *nuwā’um*, поскольку этническое имя могло быть постепенно реинтерпретировано как пейоративное обозначение, ср., напр., русское *вандал*.

посредничество, и, таким образом, оно является экзонимом, заимствованным из другого экзонима. Далее, в семантическом плане необходимо предположить, что хурриты или староассирийцы распространили это обозначение на все индохеттские этнические группы Анатолии, поскольку иначе невозможно объяснить причину, по которой оно без разбора использовалось в области Канеша, а также отсутствие отдельного термина для хеттов. Следовательно, обозначение *nuwā'um* бесполезно для определения языков, на которых говорили в Канеше и прилегающих областях.

В качестве альтернативы можно предположить, что носители хеттского языка, проживавшие в Канеше, заимствовали ряд лувийских личных имен[279]. Необходимое и достаточное условие для того, чтобы такой процесс был возможен, — высокая престижность лувийской культуры среди хеттов. В следующем разделе будет показано, что некоторые лувийские политические и административные обозначения зафиксированы в самых ранних хеттских текстах и что есть свидетельства в пользу высокого статуса лувийского языка в хеттском обществе еще до зарождения хеттской письменной традиции. Следовательно, теория заимствования возможна, хотя и недоказуема. Компромиссный сценарий, допускающий ограниченное присутствие носителей лувийского языка в районе Канеша и ограниченное распространение лувийской ономастики среди носителей хеттского языка, был бы, вероятно, ближе всего к реальности. Однако какая бы этнолингвистическая реконструкция ни была выбрана, наличие лувических ономастических элементов рядом с их хеттскими аналогами предоставляет

[279] В Главе 3 было показано, что структурная интерференция между двумя языками в доисторический период требует реконструкции широко распространенного хетто-лувийского двуязычия в Центральной Анатолии. Однако заимствование ономастических элементов из лувийского в хеттский, напротив, не требует подобных далеко идущих выводов. В действительности, для того чтобы знать имена, популярные среди носителей иностранного языка, нет необходимости знать сам иностранный язык. Так, американский вариант английского языка никогда не имел интенсивных контактов с русским языком и содержит довольно малое число русских лексических заимствований среди нарицательных существительных. Однако некоторые русские женские имена (Наташа, Соня, Таня, Вера и т. д.) довольно популярны в США, и их использование не ограничено семьями, имеющими русские корни. Одна из причин такой популярности заключается в престижности русской классической литературы, которая известна американцам преимущественно из английских переводов.

дополнительный аргумент в пользу контакта между двумя языками в первые столетия II тыс. до н. э.

4.3 Передача хеттского языка в Хаттусе

Имеется консенсус по поводу лингвистического доминирования лувийского языка во многих частях Анатолии в середине бронзового века. Дискуссионным остается вопрос о статусе хеттского языка в данный период. Две крайних позиции по этой проблеме отражены в работах [Güterbock 1956a] и [Steiner 1981]. Согласно Гансу Гютербоку, распределение между хетто- и лувоязычными территориями было преимущественно географическим. Когда он пишет, что “хеттский язык был в Древнем царстве не только письменным, но и разговорным и оставался разговорным языком в центральном регионе даже в период Нового царства” [Güterbock 1956a: 138], то из общего контекста ясно, что хеттский язык, согласно исследователю, являлся *основным* разговорным языком в соответствующих регионах. С другой стороны, Герхард Штайнер утверждает, что “несмотря на использование хеттского в качестве официального письменного языка в стране Хаттусы, правители и правящий класс Древнего царства ни в коей мере не были хеттами, но по большей части, вероятно, хаттами” [Steiner 1981: 167]. В другом месте он уточняет, что хаттский был “языком, использовавшимся как основной частью населения, так и правителями страны” [Steiner 1981: 166]. Согласно мнению Штейнера, хеттский язык в Древнем царстве (и, предположительно, в последующий период) функционировал преимущественно как язык письменной коммуникации[280].

[280] Основное различие между этими идеями и более ранней теорией Розенкранца [Rosenkranz 1938], которая будет рассмотрена в следующей главе, состоит в том, что Штайнер отказывался рассматривать хеттский язык как акролект. Статус хеттского/неситского как административного языка в Хаттусе был, согласно Штайнеру, в меньшей степени связан с его престижем, чем с его статусом *lingua franca* в Центральной Анатолии в период ассирийских факторий. Это наиболее слабая сторона теории Штайнера. По моему мнению, предполагаемые хаттские элиты Хаттусы не нуждались в хеттском языке как языке международного общения, поскольку в период ассирийских факторий данную роль довольно хорошо выполнял аккадский язык, и он продолжал делать это в период Древнего царства, по крайней мере в некоторых функциональных сферах. Следовательно, постепенной сдвиг от аккадского к хеттскому как к

Эти два исследователя подошли к социолингвистической ситуации в Анатолии периода бронзового века с двух принципиально разных позиций. Воззрения Гютербока, должно быть, являются следствием его работы по интерпретации хеттских клинописных текстов. Очень малое число ученых (если вообще такие имеются), занимавшихся хеттской филологией, утверждали, что хеттская письменная традиция была полностью аллоглоттографической. Тезис о том, что авторы древнехеттских произведений были носителями хаттского языка, также неадекватен, поскольку хеттский, похоже, не демонстрирует каких-либо следов структурной интерференции с хаттским. Хотя развитие среднехеттского и новохеттского языков явно проходило под влиянием лувийского языка, все же многие контактно-обусловленные изменения, описанные в этой и следующей главе, получают наиболее естественное объяснение в контексте естественной передачи языка. “Изменения в хеттском языке, происходившие в течение тех трех веков, когда он поддается фиксации, слишком обширны, чтобы быть совместимыми с идеей, что он был чисто письменным языком” [Melchert 2003a: 13]. Дополнительным аргументом в пользу сохранения хеттского в качестве разговорного языка в Хаттусе является его роль в акрофонической деривации анатолийских иероглифов (этот вопрос будет рассмотрен в разделе 4.9).

С другой стороны, рассуждения Штайнера базируются в основном на соображениях ономастического характера. Обозначение хеттского языка *nasili*/*nisili*/*nesumnili* выводится из названия города *Kaneš*/*Nesa*, но имеется лишь слабая преемственность между именами жителей Канеша, известными из староассирийских источников, и именами хатусских аристократов, сохраненными в хеттской передаче. Штайнер [Steiner 1981] справедливо отмечает, что ассимилированные группы населения обычно перенимают язык окружающих сообществ, прежде чем отказаться от своих особых

главному письменному языку Древнего царства должен был быть обусловлен националистическими соображениями, иначе он просто не имел бы смысла.

личных имен. Он ссылается на пример Вавилонии конца бронзового века, где касситские завоеватели использовали аккадский язык в качестве официального, но при этом сохранили свои несемитские теофорные имена [Steiner 1981: 158]. Следовательно, сценарий, согласно которому правящий класс Хаттусы сохранил хеттский/неситский язык, но перенял хаттские личные имена, является, по мнению Штайнера, неправдоподобным.

Необходимо признать, что гипотеза Герда Штайнера не вызвала какого-либо резонанса в мейнстриме хеттологии. Идея, что хеттский никогда не передавался естественным путем в Хаттусе, настолько идет вразрез с базовыми предположениями хеттологов, что приводимые в ее поддержку аргументы отвергались без обсуждения. Следовательно, общее утверждение Штайнера о преобладании хаттских личных имен в период Древнего царства никогда не подвергалось проверке. Это довольно печально, поскольку, если даже не соглашаться с решениями Штайнера, все же поставленные им вопросы заслуживают дискуссии до обращения к статусу лувийского языка в Хаттусе. В действительности можно показать, что естественная передача хеттского языка в Хаттусе вполне совместима с (частичной) потерей преемственности между периодом ассирийских факторий и Древним царством в области ономастики.

Древнейший исторический текст, сохраненный в архивах Хаттусы, — это *res gestae* Анитты (CTH 1). В этом повествовании, где описываются события периода ассирийских факторий, упоминается Питхана, отец Анитты, князь Куссара [Neu 1974: 10]. С другой стороны, Хаттусили I, первый хеттский монарх, правивший из Хаттусы, также называет себя «человеком Куссара» [de Martino 2003: 30]. Это позволяет исследователям говорить о так называемой куссарской династии, которая впервые пришла к власти в Канеше/Несе в результате победы Питханы и продолжала заявлять свои права на трон в Хаттусе в период Древнего царства. Такая формулировка необязательно предполагает, что Хаттусили I был прямым потомком Анитты или даже что их связывало кровное родство. Форланини [Forlanini 1995: 129–

131] предполагает, что некий Тудхалия, описываемый как Главный Кравчий (*rab šaqê*) Цуццу, князя Канеша, в (Kt j/k 625 2–3), мог быть тем же человеком, что и Тудхалия, упомянутый в хеттском поминальном списке для царских предков (KUB 11 7 i 10–12). Вне зависимости от того, выдержит ли эта идентификация испытание временем, вполне правдоподобно, что Анитта и Хаттусили I изначально принадлежали к одному клану, и как раз по этой причине *res gestae* Анитты сохранились в архивах Хаттусы.

Этимология имени *Anitta* неясна, но имя его отца *Pithana*, несомненно, имеет неиндоевропейское происхождение, поскольку сочетание взрывного согласного и «ларингала» было запрещено в хеттской унаследованной лексике. То же самое справедливо и для имени *Tudhaliya*, принадлежавшего полумифическому патриарху хаттусской ветви куссарской династии. Таким образом, нет свидетельств в пользу хеттского происхождения династии Куссара, и следует, скорее, предположить, что члены этого клана изначально говорили на неиндоевропейском языке[281]. Однако есть и возможность того, что в период, когда их столицей был город Канеш/Неса, они подверглись языковой ассимиляции и перешли на хеттский язык, сохранив при этом (некоторые) традиционные имена.

Данные соображения позволяют поставить аргументы Штайнера с головы на ноги. Некоторые неиндоевропейские имена хеттских правителей могут быть отнесены к куссарскому наследию, в то время как высокий статус хеттского/неситского языка при дворе Хаттусы отражает социолингвистическую ситуацию в Несе — предыдущей столице куссарской династии. Такие имена, как Тудхалия, могут в действительности являться архаизмами, сохраненными несмотря на языковой сдвиг в сторону хеттского, соответствуя, таким образом, типологически распространенной модели.

[281] Содержащееся в *res gestae* Анитты (CTH 1) утверждение о том, что Питхана не наносил вред обитателям завоеванного города Несы, но “сделал их матерями и отцами”, породило многочисленные спекуляции в побочной литературе [Bryce 2005: 36, см. там же конечные сноски 82 и 83]. Как справедливо замечает Брайс, нет необходимости интерпретировать этот оборот как указывающий на этническую принадлежность Питханы, поскольку это могло быть просто метафорой милостивого отношения Питханы к обитателям побежденной Несы.

Поскольку первоначальный язык династии Куссара неизвестен, очень трудно отделить пласт куссарских личных имен от заимствованных из хаттского (особенно если язык куссарских элит был родственен хаттскому). Но утверждение, что большинство древнехеттских аристократов использовали хаттские личные имена, не может быть доказано. Хотя некоторые из засвидетельствованных в древнехеттских источниках имен, несомненно, являются хаттскими, все же их число меньше, чем число имен явно лувийского или хеттского происхождения, зафиксированных в той же группе текстов (ср. обсуждение в разделе 4.6). Что же касается отсутствия непрерывности между ономастикой Несы и Хаттусы, то этот феномен отражает различие в социальном статусе индивидуумов, чьи имена засвидетельствованы в соответствующих корпусах. В староассирийских документах из Несы упоминаются уроженцы региона, принадлежавшие ко всем социальным стратам, в то время как в древнехеттских текстах внимание сосредоточено на царской семье и ее близком окружении.

Таким образом, отсутствуют убедительные доводы против предположения о том, что хеттский/неситский был разговорным языком среди социальных элит Хаттусы. Степень его использования низшими классами в Хаттусе и ее окрестностях должна рассматриваться отдельно в связи с конкретными историческими периодами, поскольку данная проблема зависит от оценки того, насколько в целом был распространен лувийский язык.

4.4 Лувийский суперстрат в древнехеттском языке

Хронология становления хеттского литературного языка является дискуссионной проблемой. Согласно традиционной точке зрения, клинопись из Северной Сирии стала использоваться для записи хеттского языка после сирийских кампаний Хаттусили I [Neu, Rüster 1989: 15]. Если следовать Средней хронологии (как это делает сегодня большинство хеттологов),

данные исторические события должны датироваться второй половиной XVII в. до н. э. [Bryce 2005: 68][282]. Однако важность походов Хаттусили для выбора хеттского языка в качестве стандартного средства письменной коммуникации в Хаттусе всегда была предметом веры. Хотя некоторые хеттские тексты содержат само-атрибуцию к Хаттусили I, часть из них может являться переводами, сделанными намного позднее, уже после смерти этого монарха, как, например, это предполагали для текстов Анитты [Neu 1974: 132, сноска 3]. С другой стороны, все документы периода Древнего царства, для которых постулируется совпадение времени создания текста и дошедшей до нас таблички, написаны на аккадском языке[283]. В свете данной неопределенности следует всерьез рассмотреть гипотезу, предложенную независимо в работах [Popko 2007] и [van den Hout 2009], согласно которой хеттский язык начал заменять аккадский в качестве основного письменного языка в Хаттусе только в начале царствования Телибину, то есть примерно в 1500 г. до н. э.

Однако остается фактом то, что группа хеттских текстов характеризуется лингвистическими особенностями, которые не встречаются в произведениях, относящихся ко времени после 1400 г. до н. э., по своим внутренним историческим отсылкам. Из этих особенностей наиболее значимо употребление начальных частиц *ta=* и *su=* рядом с *nu=*. Другие особенности касаются сентенциальной частицы *=an*, союза *=(m)a*[284], а также клитики им. мн. общ. *=e* ‘они’. Язык этих документов принято обозначать

---

[282] Стоит отметить, однако, что Ной и Рюстер (loc. cit.) следуют Краткой хронологии и датируют соответствующие события примерно 1550 г. до н. э.

[283] С. Кошак (следуя наблюдению Дж. Миллера) отмечает в Конкордансе (CTH 7), что пошиб текста «Осада Урсу», описывающего военную кампанию Хаттусили I (CTH 7), подобен пошибу «Письма Тигунани» [Salvini 1994], но отличен от конвенционального древнехеттского пошиба. Поскольку «Письмо Тигунани» почти наверняка является оригинальной табличкой, записанной во времена Хаттусили I, то можно выдвинуть гипотезу, что этот текст и CTH 7 отражают стандартный хеттский пошиб XVII в. до н. э. Это, в свою очередь, предполагает, что все доступные хеттские тексты, записанные обычным древнехеттским пошибом, относятся ко второй части периода Древнего царства (хотя их оригиналы могли быть появиться и ранее). Данный сценарий подробнее рассмотрен в работе [van den Hout 2009] (ранние замечания, совместимые с тем же выводом, см. у [Miller 2004: 463–464, сноска 773]). Основным оппонентом гипотезы об отсутствии хеттской письменной традиции в начальный период Древнего царства сегодня выступает Альфонсо Арки [Archi 2015].

[284] Союз *=(m)a* служит в хеттском языке для маркировки нового топика, контрастивного топика и контраста [Rieken 2000], а также внутриклаузального фокуса [Sideltsev et al. 2015].

как древнехеттский, и предполагается, что он отражают разговорную норму хеттоязычных элит до начала царствования Тудхалии I. Анализ даты, когда хаттусские писцы начали писать на хеттском, может иметь последствия для определения периода использования древнехеттского языка в качестве письменного, но его разговорный статус в Древнем царстве, где по крайней мере в поздний период он также использовался для письма, все же не находится под угрозой пересмотра[285].

Долгое время было принято считать, что лувийское влияние на хеттский язык в период Древнего царства являлось минимальным. Прогресс в анатолийской исторической фонологии и морфологии позволил исследователям обнаружить большое число лувийских лексических заимствований, которые были введены в хеттский язык в период до 1400 г. Мелчерт [Melchert 2005] приводит список из почти 75 явных или вероятных лувийских заимствований в древнехеттском, при этом 11 из них встречаются в текстах, записанных древнехеттским пошибом[286]. Данная группа не является семантически однородной. Многие из относящихся к ней элементов связаны с кулинарной сферой, другие, вероятно, представляют охотничью терминологию. В дальнейшем, однако, мы сосредоточимся на терминах, относящихся к политике, административной сфере и идеологии и

[285] Единство текстов, характеризуемых так называемым древнехеттским пошибом, то есть табличек, которые были действительно написаны в период Древнего царства, является спорным. Главные особенности корпуса — это малые горизонтальные интервалы между знаками, отсутствие пробелов между формами и окказионально встречающиеся лигатуры [Neu 1980: XIV–XV]. Эти отличия реальны, но (исключая лигатуры) не дискретны. Напротив, форма древнехеттских знаков определяется, по сути, негативно, то есть через отсутствие среднехеттских инновативных признаков [ср. Popko 2007: 577]. Последовательное использование логограммы ^{d}IM в отношении бога грозы является типичной чертой древнехеттской орфографии, однако данная логограмма может появляться и в более поздних текстах (наряду с числовым написанием ^{d}10=^{d}U). Ван ден Хаут [van den Hout 2009] предлагает вообще отказаться от последовательного разделения между древнехеттским и среднехеттским пошибами. Что касается актуальной для данного исследования темы, нам повезло, что переписчики древнехеттских текстов не замещали хеттские слова их лувийскими эквивалентами, поэтому различие между оригиналами древнехеттских табличек и их более поздними копиями не имеет большой важности для исследования лексической интерференции в Древнем царстве.

[286] Это число должно рассматриваться лишь в качестве приблизительной оценки, поскольку лувийское происхождение отдельных слов из списка не является достоверным, а древнехеттский статус отдельных произведений, использовавшихся для компиляции, сомнителен. Так, Мелчерт полагает, что «Руководство для служителей храма» (CTH 264) является древнехеттским, однако, насколько можно судить, данный текст не содержит древнехеттских лингвистических особенностей, а отмеченное в нем распределение клитик =*asta* и =*kan* характерно для среднехеттского [ср. Oettinger 1976: 67–70]. С другой стороны, руководства как хеттский литературный жанр, по-видимому, не предшествуют царствованию Тудхалии I.

заимствованных из лувийского в древнехеттский. Анализ данной группы лексем может иметь важные последствия для определения статуса лувийского языка в начале II тыс. до н. э.

Одно из широко известных лувийских заимствований в древнехеттский — это *ubati-* /ubadi-/. Контексты, в которых встречается данная форма, собраны в работе [Starke 1990: 195–196]. Исконным значением термина было ‘поместье, домен’, однако оно лучше всего выявляется на основе поздних хеттских текстов. В противоположность этому, в ранних контекстах, таких как текст Цукраси (CTH 15) и так называемые Дворцовые хроники (CTH 8), обнаруживается его вторичное значение ‘воинское подразделение’, то есть контингент войск, набираемый с определенной территории [ср. de Martino 2003: 111, там же сноска 307]. Непосредственным источником данного термина является лув. *upatit-* /ubadid-/ ‘поместье, территория’, которое зафиксировано в клинописных текстах в сопровождении глоссового клина, а также в позднелувийской надписи TELL AHMAR 1 §8 [Hawkins 2000, I: 240]. Присутствие редкого знака <ba> (HZL 205), чья фиксация в хеттском, похоже, ограничены заимствованиями, подчеркивает то, что хетт. *ubati-* пришло из другого языка. В дополнение к этому необходимо отметить, что суффикс *-ti* встречается в хеттском редко, а лувийская основа **upadid-* образована с помощью продуктивного суффикса *-id-* на базе абстрактного существительного **ubada-*, которое также образовано по продуктивной модели [Melchert 1993: 243]. По всей видимости, лувийская форма им./вин. ед. **ubadid* > **ubadi* была переомыслена в хеттском как *i*-основа.

Самые ранние фиксации рассматриваемой основы обнаруживаются в староассирийских документах. Форма *ú-pá-tí-im* обнаруживается дважды в (Kt v/k/ 152), но гораздо больше распространена расширенная основа *upatinnu-*. В работе Деркcена [Dercksen 2004] дается свежий анализ значения данной лексемы и делается заключение, что рассматриваемая лексема “обозначала, по-видимому, жалование, представляемое царем

высокопоставленным официальным лицам и состоящее из домов и земли" [Dercksen 2004: 155]. Деркcен считает, что этот термин не мог применяться к находящемуся в частном владении имуществу, поскольку он никогда не встречается в документах, посвященных продаже земли. Ряд контекстов свидетельствует о метафорическом использовании *upatinnu-* в отношении юридического лица [Dercksen 2004: 153]. Предположительно, это владение могло включать группы людей, прикрепленные к определенным наделам земли, и, следовательно, вторичная персонификация *upatinnu-* является частичной параллелью к семантическому развитию *ubati-* в древнехеттском. Поскольку документы, содержащие термин *upatinnu-*, ссылаются на установления княжества Канеш, этот термин, вероятно, отражает не исконную лувийскую форму /ubadid-/, а, скорее, хеттское заимствование *ubati-*. Если данное заключение является верным, то рассматриваемая основа представляет собой самый ранний зафиксированный случай лексических контактов между лувийским и хеттским языками.

На сегодняшний день существует консенсус по поводу происхождения /ubadid-/ от глагольного корня /uba-/, засвидетельствованного как в клинописной, так и в иероглифической передаче. Раньше этот глагол часто смешивался с фонетически сходным /uppa-/ 'приносить'. Общеанатолийский статус глагола /uppa-/ обеспечивается его частыми фиксациями в хеттском и лувийском, в то время как /uba-/ имеет когнаты в ликийском и карийском, но не в хеттском. Значение глагола /uppa-/ установлено надежно, но в отношении первичного значения /uba-/ исследователи расходятся. Мелчерт [Melchert 2004c] реконструирует это значение как 'посвящать, предоставлять, жаловать, снабжать', в то время как я предпочел иную семантическую реконструкцию 'основывать, устанавливать' [Yakubovich 2005b][287]. Необходимо также учитывать, что имеются примеры как в пользу первой, так и в пользу второй интерпретации (см. соответственно (130) и (131)).

[287] Иванов [Ivanov 2008: 230] сравнивает лув. /ubadid-/ с тох. В *wepe* 'загон (vel sim.)', предполагая, что обе формы восходят к и.-е. **webh* 'ткать'.

(130) KUB 35.133 ii 29–30, CTH 765 (LNS), Starke 1985: 280
^{URU}Ha-at-tu-ša-ya ap-pa-ra-an-ti-en a-ri-in an-na-ru-ma-a-hi
hu-u-˹it˺-wa-la-a-hi-ša-ha! **ú-pa**
‘**Пожалуй** Хаттусе будущее время, мужеств(енность), и
жизне(способность)’.

(131) ARSLANTAŞ (Tell Ahmar) §2, Hawkins 2000, I: 246.
a-wa/i ha-ta-ta-na(URBS) || URBS-*MI*-ni-na “1”-ti-i (“ANNUS”)u-si-i
(“AEDIFICIUM”)**u-pa-ha-´**
‘Я **основал** город Хатата за один год’.

Графическое смешение между лув. /uba-/ ‘жаловать; основывать’ и лув. /uppa-/ ‘приносить’, обнаруживаемое в иероглифических текстах, осложняет семантическую реконструкцию. Тем не менее, какое бы значение /uba-/ ни было выбрано в качестве базового, оно дает хорошую отправную точку для деривации *upatit-*. Если начать с семантической трактовки ‘жаловать’, то можно предполагать, как это делает Мелчерт, что *upatit-* изначально означало ‘земельный надел’. Данная реконструкция находит частичную поддержку в использовании *upatinnu-* в староассирийских текстах. Если принять исконное значение /uba-/ ‘основывать’, то в качестве параллели семантической деривации *upatit-* можно привести лат. *fundus* ‘(1) нижняя часть, фундамент; (2) участок земли, ферма, имущество’[288]. В противоположность этому, выведение хетт. *ubati-* из *uppa-* ‘приносить’ невозможно не только по фонетическим, но и по семантическим соображениям. Следовательно, лувийское происхождение этого технического термина доказано.

Группа лувоидных форм встречается в древнехеттской версии мифологического текста об исчезновении Телибину (CTH 324.I.A). Среди

[288] Ср. также бактр. βονο καδγο, досл. “foundation house”, которое имело значение ‘родовое поместье’ [Sims-Williams 2000: 187]. Первый элемент данной идиомы является лексическим когнатом лат. *fundus*. Трудно сказать, должно ли сходное семантическое развитие в латинском и бактрийском языках рассматриваться как типологическая параллель, индоевропейский архаизм или ареальный феномен, однако я склоняюсь к первому решению.

них можно выделить устойчивое сочетание [*n*]*ūs tummantiyas* (KUB 17.10 iv 33), которому было уделено особое внимание в недавней литературе. Это сочетание появляется в списке положительных понятий, находящихся в сумке *kursa*, в качестве символа гармонии между Телибину и вселенной. Большинство из этих элементов обозначают различные аспекты процветания [ср. Hoffner 1998: 18, §§29–30].

Нет сомнения в том, что основа *tummantiya-* выводится из лув. *tumman(t)-* ‘ухо’, которое характеризуется специфически лувийским упрощением этимологического кластера *st-* в начале слова. Однако по поводу значения этого производного существительного отсутствует консенсус. Что касается *nū-*, то Рикен [Rieken 2006b] убедительно демонстрирует, что консонантное расширение /d/ в дат. ед. *nū-t-i* является морфологической особенностью, которая не типична для унаследованного хеттского лексикона, но находит близкую параллель в лувийском. В то же время этимология данного слова остается предметом дискуссий, и попытки определить его значение обычно связаны с анализом квазисинонимичного *tummantiya-*. В последней редакции мифа о Телибину сочетание [*n*]*ūs tummantiyas* интерпретируется как ‘почет и слава’ [Mazoyer 2003: 80, 107]. С другой стороны, Мелчерт [Melchert 2003a: 20], специально рассматривающий данное словосочетание как лувийское заимствование в древнехеттский, приписывает ему значение ‘податливость, послушание’. Наконец, Касьян и Якубович [Kassian, Yakubovich 2007] с осторожностью переводят то же словосочетание в поздней молитве Телибину (KUB 24.1 iii 10, CTH 377) как ‘способность слышать и понимать’[289].

[289] Каждая из трех конкурирующих интерпретаций имеет как преимущества, так и недостатки. Перевод Мазуайе лучше всего соответствует рассматриваемому контексту, но не объясняет этимологию *nū-*. Касьян и Якубович пытаются интерпретировать *nū-* ‘способность слышать’ как заимствование из хурритского *nu*(*w*)*i-* ‘ухо’ [ср. Richter 2012: 280–281]. Хотя эта трактовка удовлетворительна с семантической точки зрения (как синхронно, так и диахронически), стяжение *nu(w)i-* > *nū-* остается без объяснения, даже если предполагать лувийское посредничество. Лувийский язык имеет множество примеров синкопы гласной *a* после глайда [Melchert 1994: 275–276], но мне неизвестны аналогичные случаи, касающиеся лувийской гласной *i*. С другой стороны, перевод Мелчерта хорошо соответствует этимологии *nū-*, которая была недавно предложена Рикен [Rieken 2006b] и согласно которой существительное *nū-* связывается с и.-е. **neu-* ‘кивать’. Хотя индоевропейская корневая этимология не может являться надежным основанием для

Другое устойчивое сочетание лувийского происхождения, встречающееся в том же тексте CTH 377, — это *salhanti- mannitti-* (132). Появление перед рассматриваемой идиомой божества Иммарни, имя которого выводится из лув. *immar(i)-* ‘степь’, подтверждает ее лувийское происхождение. С формальной точки зрения сохранность /ti/ в *mannitti-* несовместима с законами хеттской исторической фонологии (следовало бы ожидать палатализованное ***mannizzi-*). То же самое справедливо для *salhianti-*/*salhanti-*, по крайней мере если принять его производность от прилагательного на *-ant-*, как это было предложено Мелчертом [Melchert 2003c: 135] (вторичная форма *salhitti-* может отражать влияние со стороны *mannitti-*).

(132) KUB 17.10 i 10–12, CTH 324.I.A (OH/MS), Mazoyer 2003: 43–44.
^{d}Telipinus=a arha iyannis halkin **^{d}Immarnin salhiantien**
mannittien ispiyatarr=a pēdas gimri wēllui
‘А Телибину ушел (и) унес зерно, **(бога) Иммарни, *salhiyanti-*,**
manitti- и насыщение в степь (и) на луг’.

Поскольку фиксации существительного общего рода *salhanti-*/*salhitti-* и *mannitti-* ограничены прямыми падежами, то можно также реконструировать мутационные основы *salhiant(i)-* и *mannitt(i)-*. Мелчерт [Melchert 1994: 55] признает связь первого существительного с хетт. *salli-* ‘большой’ и с осторожностью дает его перевод ‘рост’. Соблазнительно приписать лексеме *mannitt(i)-* значение ‘увеличение’ и принять ее производный характер от *ma-* ‘много’ (о котором см. [Melchert 1987: 184, сноска 9]). К сожалению, точные детали данной деривации еще неясны [290].

определения семантики анатолийской лексемы, лувийское происхождение хетт. *nū(t)-*, подтверждаемое соседством с *tummantiya-*, представляется наиболее экономной гипотезой.

[290] Стоит отметить, что в новохеттских текстах имеются редкие адъективные формы с непонятным значением, — вероятно, лувийского происхождения: [*m*]*anni-* (1x) и *mannai-* (2x) [CHD, L-N: 161–162, 163a]. Возникает вопрос, связаны ли какие-то из этих образований с лат. *magnus* < и.-е. **mъg’no-* ‘большой’. Однако лучше воздержаться от дальнейших спекуляций по этому поводу, пока значение вышеприведенных прилагательных не будет прояснено на независимых основаниях. Ср. также личное имя ^{f}*Manni-*^{d}NISABA [Weeden 2011: 594].

Глагол *sarl(a)i- (di)* ‘возвышать’ также был введен в хеттский язык в конце периода Древнего царства, — во всяком случае, это справедливо для его вторичного значения ‘обеспечивать победу’ [CHD, Š: 273–274]. Лувийское происхождение этого глагола видно не только из формы его дериватов (*sarlaim(m)i-* ‘возвышенный’, *sarlatta-* ‘хвалебное приношение’), но и из формы его деривационной базы. Прилагательное *sarli-* ‘верхний, верховный’ лишь спорадически засвидетельствовано в хеттском, но имеет идеальное соответствие в лувийском SUPER+*ra/i-li* ‘в высшей степени’ и лидийском *serli-*/*selli-* ‘верховный’ [ср. Melchert 1993: 191]. В хеттском в том же значении обычно используется более архаичное прилагательное *saraz(z)i(ya)-*, которое содержит непродуктивный суффикс *-zzi-*[291]. Напротив, суффикс *-li-* в *sarli-* может рассматриваться как синкопированный вариант продуктивного лувийского суффикса *-ili-*, часто встречающегося в заимствованиях в хеттский [ср. Melchert 2003a: 16, сноска 10].

Все представленные выше лексемы уже рассматривались в предшествующей литературе как лувийские заимствования. Я бы хотел добавить к этому списку хеттское существительное *udnē* ‘страна’, которое фиксируется начиная с *res gestae* Анитты и обычно записывается силлабографически в древнейших текстах. Данное существительное выступало синхронно как *i*-основа среднего рода и характеризовалось особым окончанием *-ē* в им./вин. ед. и мн. (в более поздней версии хеттского языка *e*-вокализм был аналогически перенесен на косвенные падежи). Пухвел [Puhvel 1980] высказывает правдоподобное предположение, что хетт. *udnē* ‘страна’ в конечном счете родственно хетт. *wadar*/*weden-* ‘вода’. В качестве внутрианатолийской параллели для подобного семантического развития можно привести лув. *habad(i)-*, которое обычно переводится как ‘речная долина’, из лув. *hab(i)-* ‘река’ [Melchert 2003b: 196]. Армянское *getin* ‘земля, страна’, вероятно, демонстрирует возможность сходной модели семантической деривации. Вероятно, она была ограничена горными

[291] Об исторических связях данного суффикса см. [Yakubovich 2013c].

регионами, где речные долины были отделены друг от друга горной цепью и где они должны были восприниматься как отдельные «страны».

Более близкие параллели к хетт. *udnē* обнаруживаются, однако, в лувических языках. Хокинс [Hawkins 2000, I: 97b] указывает, что лувийская основа среднего рода REGIO-*ni* ‘страна’, которая всегда записывается в иероглифических текстах с помощью логограммы, должна читаться как **udni*. Соглашаясь с этимологией Хокинса, я, однако, предпочитаю несколько иное чтение — *wadni(ya)-*, поскольку именно в таком виде лувийское слово появляется в качестве второго элемента топонима *Kizzu-wadni*, со вторичным вариантом *Kizzu-wadna* [del Monte, Tischler 1978: 211–213] (по поводу этимологии см. [Laroche 1979: 67]). Ликийское *wedri* < **wedni* ‘страна’ представляет собой *tertium comparationis* внутри анатолийской группы[292] и дополнительный аргумент в пользу реконструкции полной ступени корня.

Последний аргумент, подтверждающий реконструкцию лув. **wadni(ya)-* ‘страна’, заключается в том, что рефлекс данной формы обнаруживается в лувийском клинописном тексте. Интерпретацией данного предложения я обязан личному сообщению К. Мелчерта. По поводу геминации (или «фортизации») звука **d* в этимологическом кластере **-dn-*, дающей развитие *wadni(ya)-* > *wattani(ya)-*, ср. лув. *is(sa)r(i)-* < **g’esr-* ‘рука’ и **immar(i)-* < **g’emro-* ‘степь’[293].

(133) KBo 35.133 ii 24–25, CTH 765 (LNS), Starke 1985: 280
^{d}U AN a-wa za-aš-ti wa-at-ta-ne-i az-za-aš-ti-iš wa-a-šu ú-ut-ti-iš wa-a-šu
‘О небесный бог грома, в этой стране ты ешь хорошо, пьешь хорошо’.

[292] Предположительно, данная идея восходит к Ларошу [Laroche 1979], который полагал, что лик. *wedri* не должно означать ‘город’, поскольку греч. πόλις ‘город’ соответствует лик. *teteri* в трилингве из Ксанфа. По поводу точного значения *wedri* отсутствует консенсус, но даже если оно обозначает ‘город (с прилегающей областью)’, как полагает Нойманн [Neumann 2007: 422], то его связь с хетт. *udne* представляется с семантической точки зрения правдоподобной.

[293] Иначе [Oettinger 2014: 312], который считает лув. *wattaniya-* прямо образованным от **wédeno-* ‘долина’ по закону Чопа, а хетт. *udne* — рефлексом собирательного **udnéi* ‘страна’. Эттингер не комментирует, однако, происхождение топонима *Kizzu-wadni*.

Против предположения о генетическом родстве лув. **wadni(ya)-* ‘страна’ и хетт. *udne* имеется фонологический аргумент. Хеттская лексема не характеризуется ожидаемой ассимиляцией */-Tn-/ в /-nn-/ [Melchert 1994: 160]. На независимых основаниях предполагается, что большинство других хеттских форм, содержащих кластер /-Tn-/, являются лувийскими заимствованиями. Помимо *Kizzuwatna*, можно упомянуть хетт. *huitar/huidn-* ‘дикие животные’, также зафиксированное как лувийское слово иностранного происхождения *hu-u-i-tar-ša* [Melchert 1993: 83], хетт. *kattawat-nalli-* ‘мстительный’, содержащее лувийский суффикс *-alli-*, и тархунтасский топоним $^{\text{HUR.SAG}}$*Huwatnuwanta*[294]. Для этой проблемы находится немедленное решение, если принять, что лув. **wadni* ‘страна’ было также заимствовано в хеттский в доисторический период. Сохранение кластеров */Tn/ является хорошо известной особенностью лувийского языка [Friedrich 1960: §379c][295]. В более поздний период внутри хеттского было образовано новое собирательное существительное **udnēi* > *udnē* по модели, описанной в работе [Oettinger 2000: 183], в то время как базовое существительное постепенно вышло из употребления[296].

Ни одно из рассмотренных выше заимствований не использовалось для обозначения социальных установлений, специфичных для лувийцев. Все эти лексемы были полностью ассимилированы семантически в хеттском языке и обозначали значимые административные и идеологические понятия Древнего царства Хаттусы. Известно, однако, что административная и идеологическая терминология обычно заимствуется из языков, доминирующих в области

---

[294] В пользу лувийского происхождения хетт. *taksadniya-* ‘выравнивать’ отсутствуют независимые морфологические доводы. Тем не менее сосуществование имперфективов *taksadniski-* и *taksanniski-* побуждает к тому, чтобы рассматривать вторую форму как регулярную, а первую — как результат интерференции, как и предлагается в [HEG, T: 46].

[295] Предположение Пухвела [HED, H: 353] и Клукхорста [Kloekhorst 2008: 934], что только **-tn-*, но не **-dn-*, подвергается ассимиляции в хеттском, фонологически противоестественно, поскольку фонемы первого кластера имеют на один общий дифференциальный признак меньше по сравнению с фонемами второго кластера.

[296] Различие между предлагаемым здесь подходом и подходом Эттингера [Oettinger 2000] заключается в том, что Эттингер напрямую выводит собирательное существительное *udnē* из мнимого хеттского когната и.-е. **wedeno-*. В основе данного подхода лежат два спорных предположения: сосуществование рефлексов **wedeno-* и **wedni-* в различных ветвях анатолийской семьи и сохранность кластера **-dn-* в исконной хеттской лексеме.

культуры и социальной жизни. Так, существительные *country* ‘страна’ и *parliament* ‘парламент’ исходно пришли в среднеанглийский из старофранцузского, языка английских элит после норманнского завоевания, в то время как прототипы лексем *angel* ‘ангел’ и *bishop* ‘епископ’ проникли в древнеанглийский из ранних романских диалектов в контексте христианизации северной Европы. Когда обозначения, относящиеся к данным семантическим областям, подвергаются переносу просто на основе их экзотического характера, их значение обычно остается ограничено контекстом тех цивилизаций, где они изначально имели распространение. Самое большее, можно ожидать их ограниченное метафорическое употребление, сопровождающееся частичной семантической пейорацией в местном контексте. Так, например, крайне маловероятно, чтобы слова *султан*, *царь* или *микадо* когда-либо стали обозначать в англоязычном мире титулы верховных правителей, хотя, как напомнил мне Виктор Фридман (Чикаго), американцы используют термины вроде *drug czar* ‘чрезвычайный уполномоченный по борьбе с наркотиками’.

Поэтому рассмотренные в данном разделе факты получают наиболее естественное лингвистическое объяснение, если принять, что лувийцы являлись культурно или политически доминирующей группой в Анатолии еще до образования хеттского государства. К сожалению, прямые и бесспорные исторические свидетельства, которыми можно было бы подкрепить данное заключение, отсутствуют. Реконструкция наиболее вероятного геополитического сценария, который мог бы объяснить дистрибуцию лувийских заимствований в древнехеттском, требует рассмотрения географического положения страны, обозначенной в хеттских источниках как Лувия.

4.5 Локализация Лувии

Хеттские законы являются единственным текстом, в котором топоним Лувия упомянут эксплицитно. Без сомнения, языком самой ранней сохранившейся версии Законов выступает древнехеттский, но точная датировка ее создания является предметом дискуссий. Различные трактовки этой проблемы суммированы в работе [Hoffner 1997: 229–230]. Поскольку абсолютная хронология древнехеттского языка остается спорной, наиболее правдоподобным ориентиром при решении этой проблемы на сегодняшний день являются исторические, а не лингвистические соображения. До сих пор, насколько мне известно, единственный исторический аргумент в пользу создания древнехеттской версии Законов в период царствования Мурсили I — это упоминание *ABI* LUGAL ‘отец царя’, которое обычно отождествляется с Хаттусили I в §55 Законов [Hoffner 1997: 66–67]. Релевантный отрывок, однако, выбивается из остального текста в плане дескриптивного характера и поэтому, вероятно, является вставкой из другого источника. Напротив, частое противопоставление ранних юридических норм в царстве Хаттусы и новых установлений, что можно проиллюстрировать примером (7), может быть лучше понято в контексте судебных реформ Телибину, и поэтому я склоняюсь к тому, чтобы отдать предпочтение этой более поздней датировке[297].

Первое упоминание Лувии встречается в §5, посвященном убийству торговца. В сравнении с обычными убийствами, это преступление каралось более крупным штрафом — вероятно, потому, что убийство иностранного купца могло привести к подрыву международной торговли. Жители Лувии и Палы были обязаны возместить украденную собственность в дополнение к оплате штрафа, в то время как население Хаттусы было, по-видимому,

[297] Разумеется, имеется гипотетическая возможность того, что хетты (неситы) имели своды законов еще до царствования Мурсили I и что этот монарх начал реформировать старые нормы. Однако едва ли вероятно, что царство Хаттусы, включавшее в себя Лувию, могло существовать до начала правления отца Мурсили, Хаттусили I.

освобождено от этого обязательства. Многие исследователи полагают, что хетт. *unattalla-* представляет собой анатолийское обозначение ‘торговца’, соответствующее шумерограмме ^{LÚ}DAM.GÀR, и поэтому считают, что преступники из области Хаттусы несли ответственность за доставку трупа торговца для его правильного захоронения[298].

(134) KBo 6.2 i 3–6 CTH 291.1.a.A (OS), Hoffner 1997: 19.

takku ^{LU}DAM.GÀR kuiski kuēnzi 1 *ME* MA.NA KÙ.BABBAR pāi parna=ssē=a suwayizzi takku *INA* ^{KUR}*LUWIYA* nasma *INA* $^{KUR\ URU}$*PALĀ* 1 *ME* MA.NA KÙ.BABBAR pāi āssu=ssett=a sarnikzi nasma *INA* $^{KUR\ URU}$*HATTI* nu=zza unattallan=pat arnuzzi

‘Если кто-нибудь убъет купца, он заплатит сто мин серебра и поручится[?] своим домом. Если (это) в стране Лувия или в стране Пала, он заплатит сто мин серебра и возместит его имущество. Если (это) в стране Хаттусы, он только доставит *unattalla-*’.

Другие релевантные контексты Хеттских законов помещают рядом область Хаттусы и Лувию, не упоминая страну Палу. Общая тема §§19–21 Законов — это похищения людей из Хаттусы в Лувию и наоборот. Приведенные ниже примеры недвусмысленно показывают, что «люди Хаттусы» и «люди Лувии» противопоставлялись скорее как различные этнические группы, чем как жители отдельных географических регионов, поскольку эти примеры позволяют представить «людей Хаттусы», живущих в стране Лувия, и наоборот. Можно легко заметить, что данные клаузы неизменно демонстрируют благосклонность к «людям Хаттусы» в сравнении с «людьми Лувии», но предоставляют правовую защиту обеим группам. Поскольку неправдоподобно, чтобы Хеттские законы противопоставляли

[298] Слово *unattalla-* встречается только в этом контексте, и у него отсутствует надежная этимология. Написание с единичным *-n-* затрудняет его традиционное сравнение с хетт. *unnai-* ‘вести’, отстаиваемое в монографии [Weeden 2011: 187]. Мелчерт предполагает в качестве альтернативы, что оно может представлять собой лувийское заимствование, отражающее более раннее **usnatalla-* ‘торговец’ [Melchert 2015: 411]. Убедительность данной гипотезы зависит от того, значило ли *unatalla-* ‘купец’ и может ли быть доказано развитие *-sn-* > *-n-* в истории лувийского языка.

хаттов и лувийцев, не упоминая хеттов, то можно принять, что в этот период выражение «люди Хаттусы» уже использовалось в том числе и для обозначения носителей хеттского языка.

(135) KBo 6.2.i.36–38, CTH 291.1.a.A (OS), ср. Hoffner 1997: 29–30
[takku LÚ.U_{19}].LU-an LÚ-n=a=ku MU[NUS-n=a=ku ^{URU}Hattusaz kuiski $^{LÚ\ URU}$Luīs tā]yizzi n=an *ANA* ^{KUR}Luwi[ya p]ēhutezzi [ishas=sis=an] ganeszi nu É-ir=set=pat arnuzzi
‘[Если какой-нибудь лувиец] похитит свободного, мужчину или женщину, [из страны Хаттусы] и уведет его в страну Лувия, а хозяин его узнает, (похититель) потеряет (*досл.* доставит) свой дом’.

(136) KBo 6.2.i.39–41, CTH 291.1.a.A (OS), cf. Hoffner 1997: 30
[takku ^{URU}]Hattusi=pat LÚ ^{URU}*HATTI* $^{LU\ URU}$Luīn kuiski tāyizzi [n]=an *ANA* ^{KUR}Luwiya pehutezzi karū 12 SAG.DU piskir kinun=a 6 SAG.DU pāi parna=ssē=a suwayizzi
‘[Если] прямо в Хаттусе какой-нибудь человек Хаттусы похитит лувийца и уведет его в страну Лувия, раньше давали 12 человек, теперь (похититель) отдаст 6 человек и поручится[?] своим домом’.

(137) KBo 6.2.i.42–44, CTH 291.1.a.A (OS), Hoffner 1997: 31
[takku AR]AD LÚ ^{URU}*HATTI IŠTU* ^{KUR}Luwiyaz LÚ ^{URU}*HATTI* kuiski tāyizzi [n]=an *ANA* $^{KUR\ URU}$*HATTI* uwatezzi ishas=sis=an ganeszi nu=ssi [1]2 GÍN KÙ.BABBAR pāi parna=ssē=a suwayizzi
‘[Если] какой-нибудь человек Хаттусы похитит из Лувии раба (другого) человека Хаттусы и приведет его в страну Хаттусы, а хозяин его узнает, (похититель) заплатит [1]2 шекелей серебра и поручится[?] своим домом’.

(138) KBo 6.2.i.45–47, CTH 291.1.a.A (OS), Hoffner 1997: 31

[takk]u ARAD $^{LU\ URU}$Luwiumanas *IŠTU* ^{KUR}Luwiyaz kuiski tāyizzi n=an *ANA* $^{KUR\ URU}$*HATTI* uwatezzi ishas=sis=an ganeszi nu=zza ARAD-*ŠU*=pat dāi sarnikzil NU.GÁL

‘Если кто-нибудь похитит раба лувийца из страны Лувия и приведет его в страну Хаттусы, а хозяин его узнает, (он) заберет только своего раба, возмещения не будет’.

Сложно согласиться с Брайсом [Bryce 2003: 29], когда он утверждает, что эти клаузы “необязательно означали, что Хаттуса осуществляло какую-либо форму политического или административного контроля над регионом, обозначенным термином Лувия”. Гипотеза, что примеры (135–138) представляют тип дипломатического соглашения между двумя странами, выглядит совершенно произвольной. Хотя соглашения между хеттами и их соседями часто предписывают экстрадицию гражданских пленников, они никогда не подчеркивают роль инициативы частных лиц в данных вопросах. С другой стороны, рассматриваемые клаузы предписывают жертвам похищения требовать прямой компенсации со стороны тех, кто похитил их рабов. Признавая, что мы имеем дело с условием, обеспеченным правовой санкцией, следует заключить, что Хаттуса и Лувия находились под одной юрисдикцией во времена составления Законов. Пример (136), где упоминается сокращение штрафа, которое имеет многочисленные параллели в других клаузах и предположительно тем самым отражает судебные реформы Телибину, только подкрепляет тот же вывод. Наконец, Хоффнер [Hoffner 2002: 187], без сомнения, прав в своем заключении, что асимметричное положение хеттов и лувийцев, вытекающее из данных клауз, было бы несовместимо с равноправным соглашением.

Если принять, что Лувия являлась частью Древнего царства Хаттусы, которая была заселена преимущественно (хотя и не исключительно) лувийцами, этот результат является первым шагом в определении

географического расположения данной территории. Анатолийские регионы, где в исторический период могли говорить на лувийском, обсуждались в разделе 1.2. Из них сразу следует исключить область Хаттусы, поскольку эта область в примерах (134–138) обозначается аккадограммой *HATTI*. Также крайне неправдоподобным кандидатом является область Киццувадны, поскольку она отделилась от царства Хаттусы к началу правления Телибину, который вел переговоры с местным князем Испутахсу на равных. Многие исследователи, включая Хоффнера [Hoffner 2002] и Брайса [Bryce 2003], настаивали на отождествлении Лувии с Арцавой, опираясь на позднюю версию примера (135), где в одном из двух случаев Лувия замещается Арцавой (KBo 6.3 i 46). Такое отождествление, однако, ведет к парадоксальным результатам. Приходится либо принять вместе с Брайсом, что соответствующие клаузы Хеттских законов представляли собой разновидность международного соглашения (эта позиция критиковалась чуть выше), либо следовать Хоффнеру в его исторически недоказуемом предположении, что Арцава являлась составной частью Древнего царства (ср. историческое обсуждение в 2.2). Поскольку оба подхода, с моей точки зрения, несостоятельны, замещение Лувии Арцавой должно рассматриваться в контексте того исторического периода, когда составлялся текст KBo 6.3 По моему мнению, объяснение данного чередования, представленное в разделе 2.5, делает излишними дальнейшие спекуляции о взаимозаменяемом характере этих двух топонимов в период Древнего царства.

Таким образом, в нашем распоряжении остались две лувоязычные территории: Конийское плато, также известное как Центральноанатолийское плато и соответствующее Нижней стране и Педассе хеттских источников, а также бассейн реки Сангарий (Сакарья), где, по-видимому, был расположен город Истанува. Сделать выбор между этими двумя вариантами не так просто, но имеются соображения, подталкивающие к заключению, что в древнехеттское определение Лувии должна была входить как минимум часть Центральноанатолийского плато. Этот регион, лежащий поблизости от

долины реки Галис (Кызылырмак), продолжал принадлежать Хаттусе даже во времена его относительной слабости, совпадающей с правлением Телибину [Bryce 2005: 104]. Дальнейшее соображение, которое может быть релевантно для данной дискуссии, заключается в отсутствии географического обозначения Нижней страны (KUR *ŠAPLITI*) в хеттских источниках, предшествующих правлению Суппилулиумы I. Вполне возможно, что данный квазисиноним заменил Лувию в условиях, когда старое обозначение перестало быть дескриптивно адекватным в связи с переходом новых территорий под контроль Хаттусы с переселением большого числа лувийцев в центральную область царства[299].

Другое соображение, говорящее в пользу предложенной локализации Лувии, имеет этимологический характер. Можно предположить, что имя *Luviya* является дериватом от лув. **lūwV-* ‘равнина’, когнатом индохетт. **louko-* ‘равнина, поле’, которое дало вед. *loká-* ‘открытое пространство, мир’, лит. *lãukas* ‘поле’ и др.-англ. *lēah* ‘луг, поле’. Озвончение **lóukV-* > **lóugV-* является примером общеанатолийской леницции взрывных согласных между двумя безударными морами (см. формулировку у [Adiego 2001]), в то время как последующее развитие **g* > **Ø* > **w/u__* можно проиллюстрировать лув. *tuwatar(i)-* < индохетт. **dhughə₂ter-* ‘дочь’[300]. В качестве типологической параллели для предполагаемого семантического развития можно упомянуть *Polska* ‘Польша’ и название восточнославянского племени полян, выводимые из праслав. **polje* ‘поле’. Если моя этимология окажется верной, то она является еще одним аргументом в пользу

[299] Стоит отметить, что KUR *ELITI* / KUR UGU-*TI* ‘Верхняя страна’ также не встречается в хеттских источниках, предшествующих «Деяниям Суппилулиумы». Различие между Верхней страной и Нижней страной также представлено в месопотамской географической традиции, и оба названия могут быть найдены в староассирийских текстах периода ассирийских факторий [Günbatti 1997: 146, см. там же библиографию]. В работе [Yakubovich 2014] отстаивается преемственность между хеттской интерпретацией термина «Нижняя страна» как *katta pedan* (букв. ‘страна внизу’) и древнеперсидским топонимом *Katpatuka* (*k-t-p-t^{u}-u-k-*), использовавшимся для обозначения сатрапии Каппадокия.

[300] Окситоническое ударение вед. *loká-* и четвертая акцентная парадигма лит. *lãukas* говорят в пользу реконструкции и.-х. **loukó-* ‘поле’. С другой стороны, др.-англ. *lēah* ‘луг’ и др.-верх.-нем. *lōh* ‘заросли’, не показывающие действия закона Вернера, поддерживают реконструкцию баритонического собирательного существительного и.-х. **lóukax*. Возможно, лувийская форма также выводится из подобного собирательного существительного, хотя нельзя исключить и аналогическое выравнивание ударения по баритоническому типу в пралувийских тематических именах.

отождествления Лувии или ее части с Центральноатолийским плато или его частью.

Прослеживать происхождение изолированных географических терминов — это неблагодарная задача, поскольку необходимо учитывать и возможность субстратного происхождения топонима Лувия (ср. [Melchert 2003a: 14, сноска 2]). Разумеется, предложенная этимология была бы чисто спекулятивной, если бы не обозначение страны *Pedassa*/*Pidassa*, которую, вероятно, следует искать на равнине, омываемой верхним течением реки Сакарья [Hawkins 2013b: 10], то есть на территории, смежной с предполагаемым местоположением Лувии. Данный топоним может быть сопоставлен не только с хетт. *pēda-* ‘место’, но также с греч. πεδίον ‘равнина’, что более удовлетворительно с семантической точки зрения. Вполне возможно, что одним из первичных значений хетт. **péda-* или его лувических когнатов было именно ‘равнина’[301].

Карта 1: Древняя Анатолия в XIV веке до н. э.

Естественно предположить, что хетты/неситы использовали термин Лувия в отношении территории, на которой они впервые начали контактировать с лувийским населением. В разделе 4.2 уже была показана необходимость постулировать лувийское присутствие в городе Канеш в период ассирийских факторий, а Глава 3 была посвящена демонстрации структурной интерференции между хеттским и лувийским языками в доисторический период. Оба заключения предполагают, что территория лувийцев должна была располагаться в определенный период вблизи территории хеттов. Раннее хурритское присутствие в Киццувадне, оставившее свой след в структуре местного лувийского диалекта, препятствует реконструкции лувийской прародины в данном регионе, несмотря на его довольно близкое расположение по отношению к Канешу/Несе. Напротив, территория к юго-западу от Канеша не показывает следов интенсивного хурритского влияния и может рассматриваться как отправной пункт для проникновения лувийцев в Киццувадну.

Наконец, раннее и значительное лувийское присутствие в регионе к северо-западу от Канеша имеет смысл с геополитической точки зрения, поскольку позволяет считать Пурусханду лувийским политическим центром в период ассирийских факторий[302]. Известно, что могущественное княжество Пурусханда располагалось на западе Центральноанатолийского плоскогорья в начале II тыс. до н. э. Правитель Пурусханды был единственным анатолийским сувереном, в отношении которого в табличках, предшествующих царствованию Анитты, использовался титул «великий князь» (TTC 27, [Larsen 2002: 157]). Данная ситуация явно претерпела изменения с хеттскими завоеваниями Анитты, которые достигли своей кульминации с капитуляцией князя Пурусханды. Анитта получил от него в

[302] Ср уже у Мелларта [Mellaart 1981: 142]: “Реконструкция И. Зингера, касающаяся этно-политико-языковой модели, существовавшей в период Кюльтепе,… весьма поучительна. В ней он помещает царства Пурусханда и Салативар, завоеванные Аниттой Куссарским, на лувоязычную территорию, что могло бы объяснить появление Лувии, части Древнего царства Хатти, в своде законов наравне с Палой, расположенной на северо-запад от реки Галис”. Еще более прямо говорит Форланини [Forlanini 2007: 278]: “В начале II тыс. три главных полиса — Пурусханда, Канеш и Хаттуса — боролись за лидерство. Отражали ли они уже тогда этнолингвистическое деление на лувийцев, хеттов и хаттов?”.

подарок железный трон, который, по-видимому, следует интерпретировать как местный символ высшей власти, и переселил этого правителя в Несу в качестве привилегированного вассала [Bryce 2005: 39]. Вероятно, в связи с данными событиями Анитта, носивший титул *rubā'u-* 'князь' в ранний период своей деятельности, принял титул *rubā'u- rabū-* 'великий князь', отражавший его новые притязания на верховную власть над всей Малой Азией (ср. [Garelli 1963: 64])[303].

Торри [Torri 2009] предполагает, что древняя вражда между хеттами и жителями Пурусханды оставила свой след и в хеттской литературной традиции. Нур-даххи, князь Пурусханды, изображается главным анатолийским противником аккадцев в хеттском повествовании о деяниях Саргона I, известном как эпос *šar tamhāri* (CTH 310). Вопреки Брайсу [Bryce 2005: 25], есть серьезные причины сомневаться, что данная традиция основывается на исторических фактах. Ни одна из многочисленных монументальных надписей, сохранившихся со времен Саргона I, царя Аккада (ок. 2334–2279 до н. э.), не содержит упоминания его военной экспедиции в Анатолию. Завоевание Анатолии староаккадским правителем впервые упоминается в староассирийском предании о подвигах этого царя, раскопанном в Канеше в 1958 г. и опубликованном в работах [Günbattı 1997] и [van de Mieroop 2000]. Текст содержит названия Канеша, Хаттусы и Хутуры — города, который, вероятно, располагался недалеко от Пурусханды, но названия Пурусханды в тексте нет.

Некоторые исторические детали эпоса *šar tamhāri* не согласуются с анатолийским окружением данного произведения. Арки [Archi 2000] убедительно показал, что исконное имя эпического оппонента Саргона, обычно обозначаемого как Нур-Даган, было Навар-тахе, что следует понимать по-хурритски как «человек из Навара». Сложно поверить, что

[303] Использование титула «великий князь» в Канеше не было последовательным. Так, князь Цуццу, который правил Канешем после Анитты, назван в (Kt 89/k 370 35) *rubā'u-* 'князь', однако в (Kt 89/k 369 1) он именуется LUGAL.GAL 'великий князь'. Важно, однако, что титул «великий князь» никогда не использовался в Канеше до царствования Анитты.

хурриты, заявлявшие о своей связи с княжеством Навар в Загросе, поселились к XXIV в. до н. э. на Конийском плоскогорье [ср. Richter 2004: 290–291]. В дополнение к этому Торри подчеркивает странность перехода Саргоном Тигра в эпизоде, предшествующем его схватке с Нур-даххи. Для аккадского царя было бы разумно пересекать Тигр по пути в хурритскую землю, находящуюся в горах Загрос, но это выглядит весьма странным, если целью кампании являлась Малая Азия. Данные аргументы привели Торри к предположению, что известный из хеттских источников эпос *šar tamhāri* является творческой адаптацией более раннего сказания об экспедиции Саргона против хурритов, причем хурритское окружение было замещено центральноанатолийским по политическим соображениям.

Торри заключает, что враждебное отношение хеттов к княжеству Пурусханды объясняет инновации CTH 310. Деяния Саргона I, описанные в данном эпосе, являются мифологической проекцией в прошлое исторических деяний Анитты, чьи военные кампании также привели к подчинению Пурусханды[304]. Эти выводы, однако, имеют смысл только при предположении, что правители Хаттусы воспринимали завоевания Анитты как грандиозные подвиги спустя много времени после того, как произошли соответствующие события. Рикен [Rieken 2001] убедительно показала, что, хотя хеттская версия эпоса *šar tamhāri* несет следы искусственной архаизации, она должна датироваться не ранее среднехеттского периода. Но если события, произошедшие в царствование Анитты, действительно положили конец могуществу Пурусханды и дали начало периоду хеттского/неситского владычества в Центральной Анатолии, то элиты Хаттусы могли воспринимать их как часть своей исторической традиции даже 300–400 лет спустя после смерти Анитты[305].

---

[304] Более поздний эпизод, включающий решающую битву между Хаттусой и Пурусхандой, упоминается в фрагментарных текстах KBo 3.46+ и KBo 3.28 [ср. Dardano 2004: 239–241, см. там же библиографию]. Небольшое восстание против Мурсили I или, что менее вероятно, против Хаттусили I привело к полному разрушению города Пурусханда. Я считаю, однако, что сам по себе данный эпизод вряд ли мог послужить основанием для создания псевдоисторического эпоса.

[305] Ван де Мироп [van de Mieroop 2000: 159] приходит к несколько иному выводу, когда пишет: “Если хеттские правители продолжали ассоциировать себя с иностранными саргоновскими правителями на

Если принять, следуя Зингеру [Singer 1981: 130], что лувийский был доминирующим языком в княжестве Пурусханды, то лувийские заимствования в древнехеттский, рассмотренные в предшествующем разделе, получают естественное объяснение как след лувийского суперстрата. Князья Канеша могли использовать административную и идеологическую терминологию своих соседей из Пурусханды. В этом плане можно также переформулировать тезис Стефанини [Stefanini 2002: 791–792], который предположил на этимологических основаниях, что титул *labarna-/tabarna-* должен был изначально означать ‘губернатор/управляющий’, и интерпретировал его как исконный титул правителей Куссара, отражающий их подчиненное положение по отношению к правителям Канеша. Согласно альтернативной интерпретации, великий князь Пурусханды мог пожаловать тот же титул лувийского происхождения правителю Канеша или Куссара в обмен на их формальное подчинение[306]. Сохранение старых вассальных титулов независимыми правителями является довольно распространенным феноменом, который может быть проиллюстрирован эламской династией SUKKAL.MAH или оттоманскими султанами, не говоря уже о фиктивном, но более известном случае наместников (*stewards*) Минас-Тирита[307].

В целом следует отметить, что ассимилированные лингвистические заимствования обычно переживают породившую их политическую конъюнктуру. Так, антифранцузские настроения, культивировавшиеся среди английских политических элит на протяжении добрых 500 лет, не привели к исчезновению французских заимствований, проникших на Британские

протяжении всей их истории, то это, похоже, свидетельствует об устойчивом стремлении отрицать свою идентификацию с собственным окружением”. По моему мнению, выбор Саргона в качестве главного героя эпоса *šar tamhāri* отражал не более чем эпический шаблон, распространенный по всему Ближнему Востоку. А вот именно выбор противника Саргона находит объяснение в контексте хеттской национальной идеологии.

[306] Точное расположение Куссара до сих пор неизвестно, хотя ассирийские документы периода ассирийских факторий, похоже, свидетельствуют о том, что он находился к западу от Канеша [Forlanini 2004a: 301, сноска 19].

[307] Предложенная гипотеза, касающееся исконной функции титула *labarna-/tabarna-*, разумеется, является лишь одним из возможных сценариев. В качестве альтернативы можно предположить, что лувийское слово для ‘правителя’ было выбрано в качестве имени Лабарны I, тогда как последующие цари переинтерпретировали его как титул. Здесь можно сравнить ситуацию с римским родовым именем Цезарь (*Caesar*), которое превратилось в титул римских императоров благодаря Юлию Цезарю.

острова после норманнского завоевания. Аналогичным образом отсутствуют причины, по которым лувийская административная терминология должна была бы исчезнуть из хеттского языка после того, как правители Несы установили свое владычество над лувийским княжеством Пурусханда. Напротив, крайне вероятно, что включение в Древнее царство Хаттусы части лувоязычной территории способствовало сохранению и дальнейшему распространению лувийского культурного влияния на его территории, хотя оно могло принимать другие формы.

К сожалению, вопрос о точной локализации Пурусханды остается дискуссионным. Согласно традиционной точке зрения, ее следует идентифицировать со слоями бронзового века городища Аджем-Хююк на южном берегу озера Туз в Центральной Анатолии[308]. Данная гипотеза хорошо совместима с локализацией Лувии на Центральноанатолийском плато. В последние годы, однако, все больший вес приобретает альтернативная гипотеза Барьямовича [Barjamovic 2008], сформулированная на основании кропотливого анализа староассирийских письменных источников и передвигающая Пурусханду далее на запад — вероятно, в район озера Акшехир на границе Центральной Анатолии и эгейского бассейна. Согласно той же гипотезе, важный город Салативар, входивший в сферу влияния Пурусханды, располагался в долине реки Сакарья. Если принять гипотезу Барьямовича, появляется возможность отодвинуть локальную прародину лувийцев на северо-запад от Конийского плато, включив в него часть бассейна реки Сакарья. Возможно ли совместить такой результат с предлагаемой локализацией Лувии?

Ключом к решению данной проблемы может стать недавняя археологическая работа [Sarı 2013]. Автор указывает, что так называемая хеттская керамика (*Hittite Ware*) зародилась во внутренней части Западной Анатолии (классической Фригии) в 2100–1800 гг., то есть в период староассирийских факторий. Отсюда она распространилась в последующий

[308] Ср. карту 1 на стр. 19 в монографии [Yakubovich 2010a].

переходный период на всю излучину Кызылырмака, что и дало повод к ее традиционному наименованию. Сама же Сары связывает распространение хеттской керамики с экспансией лувийцев. Разумеется, механическое сопоставление между распространением керамики и языковым сдвигом было бы крайне упрощенным подходом, однако в данном случае оба этих явления хорошо укладываются в один и тот же исторический сценарий. Внутренняя часть Западной Анатолии, то есть район Пурусханды и Салативара, лежала на границе зоны торговли ассирийских купцов, и поэтому ее население должно было получать от этой торговли наибольшую выгоду, являясь посредником в экспорте олова и тканей дальше на запад. Возросшее материальное состояние в данном регионе могло привести, с одной стороны, к росту населения, а с другой, к улучшению качества потребительских товаров, включая керамику. Кроме того, оно должно было способствовать росту политического могущества Пурусханды. Впоследствии как избыточное население, так и избыточные товары, вероятно, начали распространяться на восток вдоль существующих торговых путей. Согласно предлагаемой модели, экспансия модной хеттской керамики достигла Хаттусы уже к периоду Древнего царства, а переход на лувийский язык затронул на данном этапе в первую очередь Конийское плато. Это и послужило причиной его обозначения как Лувии в древнехеттских законах.

Разумеется, предлагаемый сценарий распространения лувийского языка из региона Пурусханды на сегодняшний день является спекулятивным и нуждается в дополнительных подтверждениях. Напротив, полная или частичная идентификация Лувии с Конийским плоскогорьем опирается на последовательный анализ методом исключения, и поэтому я склонен признать ее наилучшей из возможных гипотез.

4.6 Лувийцы в Древнем царстве

Текст «Деяний Анитты», финальный эпизод которого описывает мирное подчинение князя Пурусханды, заканчивается следующим утверждением: “А когда я вернулся в Несу, я привел с собой человек из Пурусханды. Теперь, когда он заходит в мои покои, он сидит передо мной по правую руку” [ср. Goedegebuure 2003: 319]. Этот отрывок демонстрирует возможный сценарий того, как носители лувийского языка прокладывали себе путь в хеттский/неситский дворец. К сожалению, малочисленность исторических документов, относящихся к периоду ассирийских факторий, препятствует утверждению о типичности данного эпизода. С другой стороны, как отмечалось в разделе 4.2, пропорция лувических личных имен в документах из Канеша представляется относительно малой.

Мы сталкиваемся с совсем иной ситуацией при обращении к периоду, когда Хаттуса стала столицей Древнего царства. Хорошо известно, что Хаттуса находится за пределами собственно хеттской территории, располагаясь в регионе, который был заселен, по крайней мере отчасти, носителями неиндоевропейского хаттского языка. В период ассирийских факторий она была центром независимого княжества, развязавшего войну против Канеша и впоследствии полностью разрушенного солдатами Анитты. Анитта гордился тем, что засеял территорию Хаттусы сорняками, и предостерегал последующих правителей от ее вторичного заселения, пугая их неминуемым наказанием со стороны бога грома [Bryce 2005: 38]. Его преемники не последовали его совету. Хаттуса была восстановлена как место дислокации династии Куссара в определенный момент, предшествовавший царствованию Хаттусили I[309]. Обстоятельства, при которых это произошло,

[309] Упоминание Хаттусы в связи с «отцом древнего царя» в исторической части «Сказания о Цальпе» (KBo 3.38 obv. 19–20) противоречит традиционной теории, все еще отстаиваемой Брайсом [Bryce 2005: 68], которая приписывает новое основание Хаттусы Хаттусили I. Обсуждение данной проблемы см. в работах [Beal 2003: 24–25] и [Forlanini 2004b: 253–254]. В любом случае, не следует полагать, что имя Хаттусили отражает воспоминание о восстановлении Хаттусы, поскольку оно хорошо укладывается в модель других теофорных имен, образованных от топонимов, и должно скорее трактоваться как «принадлежащий богу грома Хаттусы» [Yakubovich 2013a: 72, сноска 106].

не отражены непосредственно в исторических источниках, но едва ли имеются сомнения в том, что основание новой столицы должно было опираться на все ресурсы недавно созданной Хеттской империи. Следовательно, и ее население должно было с самого начала являться полиэтничным.

Поскольку наше знание просопографии Древнего царства фактически ограничено царской семьей, нет возможности даже попытаться оценить соотношение носителей хеттского/неситского языка в заново заселенной Хаттусе. Однако можно с уверенностью утверждать, что древнехеттский не был умирающим языком, что видно из его последующей 300–400-летней лингвистической эволюции, зафиксированной в письменных текстах. К тому же степень структурной интерференции между хеттским и лувийским языками в рассматриваемый период была незначительной, особенно в сравнении с последующими периодами. В Главе 5 я намереваюсь показать, что структурные изменения в новохеттском языке, как правило, находят объяснение в смещающемся равновесии между носителями хеттского и лувийского языков в Хаттусе. Данное объяснение не выдерживало бы критики, если принять, что подавляющее большинство жителей Хаттусы уже были носителями лувийского языка еще до образования империи.

Уже отмечалось, что отсутствие преемственности в ономастике, засвидетельствованной в Канеше и Хаттусе, может представлять собой следствие ограниченности наших знаний. Хотя суффиксы *-uman*, *-ahsu*, *-ahsusar* и *-niga*/*-liga*/*-lga*, характеризующие личные имена жителей Канеша как группы, либо полностью отсутствуют в хаттусской ономастике, либо оставили там лишь отдельные следы, все же невозможно сказать, учитывая ограниченный корпус личных имен, зафиксированных в древнехеттских источниках, были ли они вообще представлены в Хаттусе или просто вышли из моды в некоторый момент в период Древнего царства. Тем не менее тот факт, что ни один правитель Древнего царства (правдоподобным исключением является Аллувамна) не носил имени с хеттской этимологией,

требует объяснения[310]. Оказывается, что царские имена этого периода распадаются на две основных категории: они либо неиндохеттские, либо лувические.

Хаттский пласт личных имен наиболее ясно представлен *Telibinu*, названным, как предполагается, в честь омонимичного хаттского божества. Имена *Hattusili*, *Mursili* и, вероятно, *Tahurwaili* образованы с помощью хаттского адъективного суффикса *-il* [Soysal 2004: 221][311]. Имя *Huzziya* не имеет надежной этимологии, но самым ранним из известных Хуцций был царь Цальпы, поверженный Аниттой [Bryce 2005: 38]. Если следовать *communis opinio*, согласно которому город Цальпа был расположен в районе Черного моря возле устья Галиса (современный Кызылырмак), то неиндоевропейская этничность его населения и его правителя выглядит весьма правдоподобной[312]. Имя узурпатора *Papadilmah*, упомянутое в завещании Хаттусили, не имеет хорошей этимологии, однако это имя не может быть хеттским или лувийским.

Наличие хаттского компонента в хеттской царской ономастике должно иметь объяснение в истории периода между распадом ассирийских факторий и царствованием Хаттусили I. Возможно, члены династии Куссара или их сподвижники, пережившие разрушение Канеша в конце XVIII в. до н. э., оказались вовлечены в смешанные браки с хаттскими элитами, чтобы удержать политическую опору на севере в течение темного времени [Forlanini 2010: 121–124]. Во всяком случае, очевидно, что эти попытки не привели к лингвистический ассимиляции царской семьи в целом, поскольку хеттский (в отличие от хаттского) постепенно становился стандартным письменным языком Древнего царства. С другой стороны, группа царских

---

[310] По поводу имени *Alluwamna* см. [Laroche 1966: 258]. Суффикс *-mna-* является хеттским, но происхождение корня неизвестно. Царское имя *Ammuna* также не имеет надежной этимологии.

[311] Однако примечательно, что в лувийском языке также имелся адъективный суффикс *-ili-*, который мог использоваться для образования прилагательных. Хотя древнехеттские имена вроде Хаттусили или Карахнуили, произведенные от топонимов, относящихся к хаттоязычному региону, едва ли являются лувийскими образованиями, все же существование лувийского суффикса *-ili-* могло способствовать их сохранению в хеттском окружении.

[312] Стоит отметить, что в городе Хакмис, относящемся к хаттской культурной сфере, существовал культ божества Хуцция [van Gessel 1998, I: 175].

имен, которая традиционно интерпретируется как хаттская, может на самом деле отражать куссарское культурное наследие хеттских правителей, как это доказывается в разделе 4.3. К сожалению, на сегодняшний день невозможно провести систематическое различие между этими двумя группами, поскольку, во-первых, корпус имен из Древнего царства невелик, во-вторых, наше знание хаттского языка все еще далеко от совершенства, а в-третьих, родной язык династии Куссара неизвестен[313].

Лувическим именам древнехеттских царей было уделено меньше внимания в научной литературе, поскольку неспециалисты могут легко спутать их с хеттскими именами. Тем не менее, учитывая нынешний уровень наших знаний, эти две группы должны разделяться по формальным соображениям. В частности, если *Labarna* является настоящим именем предшественника Хаттусили I, то оно должно выводиться из титула *labarna-/tabarna-*, возможно имеющего лувийское происхождение. Социо-лингвистическая значимость данного имени, однако, является ограниченной, поскольку *labarna-/tabarna-* было также заимствовано в хеттский как имя нарицательное, и для данного титула также предлагались и хаттские этимологии. Более интересен случай имени *Hantili*, которое буквально значит по-лувийски ‘первый’, в то время как в хеттском в том же значении используется архаичное прилагательное *hantezzi-*. Имя *Zidanta* не следует отделять от лув. *zid(i)-* ‘мужчина’, тогда как хетт. *pesna*, *pisena* ‘мужчина’ лежит в основе этимологии имени *Piseni*, также засвидетельствованного в древнехеттском языке [Laroche 1966, § 1023]. Имя *Muwatalli* содержит суффикс *-alli-*, имеющий лувийское происхождение [Melchert 2005: 455–456],

[313] Тема контактов хаттского языка заслуживает отдельного изучения и пока еще является недостаточно разработанной, опять-таки в силу нашего фрагментарного знания хаттского языка. Гипотеза [Goedegebuure 2008] относительно лувийского субстрата в хаттском языке, вызвавшего изменения в хаттском порядке слов, не может считаться вполне убедительной до тех пор, пока другие анатолийские языки не исключены на лингвистических основаниях как кандидаты на соответствующий субстрат. В частности, возражение против гипотезы палайского субстрата в хаттском, аппеллирующее к периферийному статусу палайского языка [Goedegebuure 2008], ведет к порочному кругу, поскольку вышеупомянутый периферийный статус как раз мог являться результатом языкового сдвига с палайского на хаттский. Положительным аргументом против предлагаемого Худехебюре сценария является практически полное осутствие хаттских заимствований в лувийский, контрастирующее с многочисленными лувизмами в хеттском и палайском лексическом фонде [Касьян 2010: 446].

а основа *muwa-* ‘сила (vel sim.)’ не встречается в хеттских текстах как существительное общего рода до начала имперского периода и, вероятно, также является лувийским заимствованием.

Все четыре фигуры, взошедшие на трон под царскими именами лувического происхождения, то есть Лабарна I, Хантили I, Циданта I и Муваттали I, пришли к власти через брак и/или убийство. Хаттусили I называет себя «сыном брата Тавананны», и отсюда следует, что его вероятный предшественник Лабарна I был мужем его тети. С другой стороны, «Сказание о Цальпе» (CTH 3) изображает «деда царя» хеттским правителем, и если следовать работе [Beal 2003], где предлагается идентифицировать «царя» с Хаттусили I, то создается впечатление, что Лабарна I унаследовал трон как зять предыдущего царя[314]. Хантили I женился на Харапсили, сестре Мурсили I, и пришел к власти через убийство своего зятя [Bryce 2005: 100]. В свою очередь, Хантили I стал жертвой заговора своего зятя Циданты I, который ранее помогал ему в заговоре против Мурсили I [Bryce 2005: 101]. Муваттали I, как известно, убил своего предшественника Хуццию II, хотя отношение того к хеттской царское семье непонятно [Bryce 2005: 114–115].

Данная интерпретация неприменима к Хантили II и Циданте II, которые могли унаследовать трон от своих отцов. После того как определенное имя вошло в царский ономастический репертуар, оно могло даваться хеттскому принцу независимо от его этнического происхождения. Но остается впечатление, что ни один из древнехеттских царей с новым лувическим именем не был рожден в хеттской царской семье. Они, скорее всего, являлись представителями привилегированной социальной группы второго ранга, которая идеально подходила для обручения с царскими отпрысками и потому могла осуществлять дворцовые перевороты. Но почему в этой группе были так популярны лувические имена? Нужно ли считать, что

[314] Ср. гипотезу Форланини [Forlanini 2007: 273–274], согласно которой Лабарна I был принцем Хурмы, до того как стал престолонаследником.

они обладали общим престижем среди хеттских жителей Хаттусы? Или требуется связать их с высокой долей лувийского населения в Хаттусе и ее округе? Или, возможно, данные имена предполагают, что члены хеттской царской семьи часто женились на знатных лувийках из провинции или вводили их в дворцовую элиту, что являлось способом укрепления связей между разными частями империи? Между этими тремя вариантами трудно сделать конкретный выбор, в том числе поскольку они не являются взаимоисключающими, однако можно оценить относительную вероятность каждого из них.

Предпочтение лувических имен со стороны хеттов, живших в Хаттусе, сигнализировало бы о возрастающем социальном или культурном доминировании лувийского языка. Этот сценарий трудно примирить с исторической реальностью. Два предыдущих раздела были в основном посвящены представлению аргументов в пользу высокого статуса лувийского языка в период ассирийских факторий, и все же в Канеше/Несе преобладали хеттские имена. Впоследствии социальный статус лувийского языка мог измениться только в худшую сторону. Княжество Пурусханды потеряло свой привилегированный статус в Анатолии, а правители Несы и Хаттусы серьезно преуспели в завоевании больших пространств на лувоязычной территории. Если на то пошло, следовало бы ожидать, что при таких обстоятельствах хетты укрепили бы свою ономастическую традицию. Разумеется, остается вероятным, что отдельные лувические имена обрели популярность среди хеттов по ряду причин, не связанных с общей лингвистической ситуацией. Таким образом, имена Хантили II и Циданты II, как это показано выше, могут восходить к именам их царских предшественников Хантили I и Циданты I. Однако такие случаи могут являться лишь исключениями, подтверждающими правило.

Есть что сказать в защиту возрастающего числа носителей лувийского языка в Хаттусе по сравнению с Канешем. Как упоминалось ранее, Хаттуса, вероятно, была основана заново как административный центр нового

царства, при этом Лувия, будучи одной из его провинций, скорее всего, оказалась источником немалой части населения новой столицы. Появление лувийских имен в хаттусской ономастике не было ограничено близкими родственниками царя. В земельных пожалованиях периода Древнего царства упомянут старший виночерпий с лувическим именем *Zidanni* [Laroche 1966, §1554], а лувийская женщина *Tiwatawiya* встречается в другой подобной жалованной грамоте в качестве переданного имущества [Laroche 1966, §1351]. Эти свидетельства, конечно, весьма ограничены, но единственная причина, по которой невозможно расширить этот список, заключается в крайне слабом знании древнехеттской просопографии. Например, из данного периода известны только три официальных лица, чьи имена являются хеттскими. Кроме Аллувамны, зятя Телибину, и Писени, сына Хантили I, убитого Цидантой I, можно упомянуть только хеттского придворного Илалиум(м)у, современника Хантили I [Laroche 1966, §446][315]. Тем не менее большое число носителей лувийского языка в хеттской столице не позволяет объяснить, как они проникли в высшие эшелоны власти. Как обсуждалось выше, древнехеттский на тот момент явно не был умирающим языком, так что если бы хеттские цари хотели набрать слуг из своего этноса или найти таких же спутников жизни для своих родственников, то у них не возникло бы трудностей.

Таким образом, необходимо рассмотреть последнюю альтернативу, предполагающую, что хеттские правители Древнего царства сознательно стремились внедрить инородцев в среду правящего класса (иногда в ущерб себе, поскольку они могли погибнуть от рук новых слуг или свойственников). К сожалению, не имеется исторических текстов, которые пролили бы свет на то, как осуществлялась этническая диверсификация. Однако можно найти косвенное подтверждение существования подобной

[315] Хотя имя Писени обычно сопоставляется с хетт. LÚ-*as*=*pesnas* ‘мужчина’, которое лексически отлично от лув. *zid(i)*- ‘мужчина’, тем не менее оно содержит изменение в вокализме основы, напоминающее *i*-мутацию.

практики в анализе метафорического переключения кодов в ритуалах, отражающих хеттский государственный культ.

Носители нескольких языков способны чередовать различные коды (языки) в устной речи по разнообразным причинам. Это может делаться для подчеркивания их компетенции (метафорическое переключение кодов), в ответ на внешние факторы (ситуационное переключение кодов), из-за неспособности породить связный дискурс на выбранном языке (некомпетентное смешение кодов), или без определенной цели или явной причины (подсознательное переключение кодов). Сходные факторы ответственны и за формирование многоязычных текстов (или нескольких параллельных текстов на различных языках) в определенных эпиграфических сообществах. Различие между ситуационным и метафорическим переключением кодов, будучи не всегда очевидным в случае устной коммуникации, является более отчетливым, если иметь дело с письменными текстами. Ситуационное переключение кодов зависит от формально определимых параметров, таких как жанр текста или способ его исполнения. В противоположность этому, метафорическое переключение кодов зависит от факторов, которые не могут быть определены на основе лишь лингвистического контекста. Редакция греческих текстов, дополненная латинским аппаратом, и франко-английские двуязычные дорожные знаки в Квебеке представляют образцовые примеры письменного переключения кодов первого и второго типа соответственно.

Религиозные ритуалы из Хаттусы, отражающие официальный культ Древнего царства, дают примеры переключения кодов между хеттским, лувийским и иногда палайским языками. К релевантным материалам относятся текст KUB 35.133+ (хеттский и лувийский) и фрагменты, объединенные в CTH 752 (хеттский, лувийский и палайский)[316]. Поскольку

[316] Ларош [Laroche 1971] классифицировал KUB 35.133 как часть CTH 772, тем самым предполагая, что это один из Истанувских ритуалов. Штарке [Starke 1985: 271] убедительно показал, что данный текст, записанный поздненовохеттским пошибом, должен рассматриваться вместе с древнехеттскими фрагментами, в которых упоминаются люди *asusala*, и, следовательно, его следует отнести к CTH 665 (ср. обсуждение в разделе 1.2).

данные ритуалы отражают самые ранние из известных попыток письменной фиксации лувийской речи, важно понять мотивацию для подобного решения. Представляется, что переключение кодов в рассматриваемых текстах имеет как ситуационный, так и метафорический компонент.

В качестве примера рассмотрим фрагмент ритуала KBo 19.155, который содержит отрывки на хеттском (курсив), лувийском (жирный шрифт) и палайском (обычный шрифт)[317]. Хотя рассматриваемый текст сохранился в передаче среднехеттским пошибом, наличие палайских компонентов склоняет чашу весов в пользу гипотезы, что его исконным языком был древнехеттский. Нет сомнения в том, что данный текст, где дважды упомянут титул *tabarna*, должен отражать государственный культ Хаттусы. Форма *memahhi* ‘я говорю’, реконструированная в 16 строке, предполагает, что хеттский компонент относится к прескриптивной части ритуала, за которой следует палайское заклинание[318]. Поэтому можно показать, что сдвиг между хеттским нарративом и лувийской/палайской прямой речью исполнителей ритуала является примером ситуационного переключения кодов. Но как объяснить чередование между лувийскими и палайскими заклинаниями в одном тексте? Согласно простейшей гипотезе, они следуют друг за другом для увеличения эффективности ритуала, но точное метафорическое значение сдвига от палайского к лувийскому и затем назад к палайскому не может быть определено только на основании данного фрагмента.

---

[317] Штарке [Starke 1985: 38] предлагает несколько иное распределение между лувийскими и палайскими отрывками в данном фрагменте. По его мнению, строки 1–3 являются лувийскими, а строки 4–7 могут быть либо лувийскими, либо палайскими. По моему мнению, палайский характер строки 7 обеспечивается наличием контрастивной клитики =*ma*, которая в лувийском языке замещается =*ba*. Форма *hantili*(-) в строке 3 определенно не является хеттской, однако может представлять собой архаичную палайскую форму, не находящую других параллелей в палайском корпусе. Восстановление клитического комплекса [*n*]*ū*=*ku* [Carruba 1970b: 26, сноска i] предполагает палайский характер строки 17.

[318] Существительное *huitumar-sa* ‘жизненная сила’, восстановленное в строке 13, было бы весьма уместно в молитве о благополучии заказчика ритуала (ср. использование того же слова в KBo 13.260 iii 18, а также многочисленные примеры хетт. *huiswatar* ‘жизнь’ в аналогичных контекстах).

(139) KBo 19.155, CTH 752 (MS), Starke 1985: 41–42

1.]x-an$^{?}$-x[
2.]x-x-ah-ha-ši ha-tar[-
3.]x ha-an-ti-l[i(-)

4.]x-at-ta-an-ti-iš[
5.]a-ru-uš šu-wa-ru-u[š
6. t]a-ba-ar-na-aš ^{MUNUS}t[a$^{?}$-wa$^{?}$-na$^{?}$-an$^{?}$-na$^{?}$-aš$^{?}$
7. ^{UR}]^{U}Ha-at-tu-ša-ma x[

---

8. w]a$_{a}$-ti-i-la-kat wu$_{u}$-ú-uz-za-an[-ni-kat
9.]**x-ta-pa-a-at-ta a-ú-in-t**[**a**
10.]**x-šu-un-nu-wa-an-te-en-zi t**[**a**$^{?}$**-**
11.]**wa-ar-pa-i-in-zi hi-**⌜**iš**⌝[-
12.]**x-ta-a-an-ta** [
13. **hu-i-**]⌜**tu-mar**⌝**-ša** [

14.]^{NINDA}*har-ša-u*[*š*
15.]*x mar-nu-an*[-
16. *me-*]*e-ma-*⌜*ah*⌝[*-hi*

---

17. nu-]ú-ku x[
18.]i-tu-ú(-)x[
19. n]a-di-i-en-ta[
20.]x-šu-ú-ri-it[-

---

21. t]a-ba-ar-na-a[š
22. n]a-di-pí ku-t[a$^{?}$-
23.]x-a-ar-ha-an[(-)
24. h]u-wa-ar-na-as(-)x[
25. p]al-li-iz-za-a[

26.]a-al-li-x[
27.]x(-)x[

Другой хеттский ритуал, также содержащий заклинания и на лувийском, и на палайском, — это CTH 752.A-D. Хотя ему присвоен тот же номер в каталоге, что и рассмотренному выше фрагменту (139), все же имеются причины считать, что фрагмент (139) относится к другому тексту[319]. Данный ритуал, главная цель которого, по-видимому, — умилостивить бога грома, сохранился в древнехеттской и среднехеттской копиях. К сожалению, на сегодняшний день отсутствует его полное издание. Наиболее прозрачное палайское заклинание, сохраненное в данном тексте (752B iii 11–13), приводится и анализируется в работе [Yakubovich 2005a: 117–118]. Штарке [Starke 1985: 38] утверждает, что фрагмент (752.A ii 22–25) написан на лувийском, и этот тезис сейчас может быть подтвержден с помощью недавно добавленного фрагмента (752.A ii 22–23) [Groddek 2004: 226], который содержит недвусмысленный вин. ед. *-assin*, относящийся к лувийскому посессивному прилагательному. Труднее доказать заявление Штарке о том, что заклинание (752.A ii 1–7) [Starke 1985: 39] написано на палайском, однако формы, начинающиеся с *na-di-*, отдаленно напоминают формы в строках 19 и 22 фрагмента (139). Таким образом, мы вновь сталкиваемся с вопросом о метафорическом значении включения как лувийской, так и палайской прямой речи в один и тот же ритуал.

В случае с палайским языком у нас, к счастью, имеется определенное представление о том, как могла сформироваться практика использования гостевых заклинаний в хеттских текстах. Палайское заклинание, упоминающее приношение хлеба (CTH 751), произносилось в ходе хеттского праздника в честь Цапарвы, главы пантеона Палы (CTH 750; ср. [Laroche 1971: 134 и сноска 1]). Текст CTH 751 содержит обращения к нескольким палайским божествам, перечисленным, по-видимому, в порядке от более к менее значимым. В нем также упоминаются ритуальные действия, которые

[319] Ср. список фрагментов, относящихся к ритуалу CTH 752.A-D в [Groddek 2002] и [Groddek 2004: 226], где KBo 19.155 не упоминается.

производил *tabarna*, и это свидетельствует о том, что мы имеем дело с ритуалом, вошедшим в хеттский государственный культ. Ряд фрагментарных палайских текстов, собранных в CTH 754, содержат обращения к Цапарве, при этом в более позднюю эпоху его культ обнаруживается в хеттском празднике AN.TAH.ŠUM [Haas 1994: 611]. Внедрение палайских божеств в хеттский пантеон вместе с языком, на котором производилось их почитание, свидетельствует о высоком уровне этнического сознания у правителей Древнего царства. Насколько можно судить, автохтонное палайское общество никогда не было грамотным, так что необходимо считать, что официальные лица из Хаттусы предпринимали сознательные попытки приспособить культ палайских божеств к нуждам государственного культа. Писцы, ответственные за выполнение данного задания, должны были владеть и хеттским, и палайским языками[320].

С теоретической точки зрения можно предположить, что использование лувийского языка в древнехеттских религиозных ритуалах было также введено для того, чтобы обращаться к лувийским богам на привычном им языке. Эта идея, однако, не находит подтверждения в доступных текстовых материалах. Древнехеттский праздник CTH 665, содержащий обширные лувийские пассажи, исполнялся для бога грома и для богини солнца города Аринны, то есть для божественной пары, стоящей в главе традиционного пантеона Древнего царства. Ритуал 752.A-D, хеттская часть которого достаточно хорошо понятна, сфокусирован на усмирении бога грома, и в нем не упоминаются другие божества. Общий контекст фрагмента (139) трудно реконструировать, но переход от палайского к лувийскому в строке 9 (без хеттского посредничества) говорит против гипотезы о том, что соответствующие заклинания имеют различных адресатов.

---

[320] Более примечательным примером той же тенденции выступает, конечно, большое число хатто-хеттских билингв, обнаруженных в архивах Хаттусы. Адаптация и письменная фиксация хаттских ритуалов не была попыткой интегрировать отдельные автохтонные божества в хеттский пантеон, а, скорее, отражала всеобъемлющую религиозную реформу, приведшую к полному слиянию хаттского и хеттского официального культа. О традиционной склонности правителей Хаттусы к религиозному синкретизму см. [Klinger 1996: 16–24].

Поэтому приходится признать, что в основе использования лувийского языка в древнехеттской религиозной литературе лежит другая метафора. Вместо того чтобы подчеркивать многообразие хеттского пантеона, рассматриваемые тексты акцентируют внимание на полиэтничном характере хеттского общества, объединенного одним государственным культом[321]. Данная метафора могла функционировать как на уровне литургического корпуса в целом (отсюда чередование между произведениями, обращающимися к одному высшему божеству на хеттском и лувийском), так и на уровне отдельных текстов. В последнем случае мы имеем дело с метафорическим переключением кодов. Соседство лувийских и палайских заклинаний не обязательно отражает реальный ритуальный акт, отмеченный писцами, поскольку оно могло являться результатом их редакционной работы. Составление таких ритуалов, как CTH 752.A-D, могло включать компиляцию заклинаний, обнаруживаемых в ритуалах для палайских или лувийских божеств, при этом предпочтение оказывалось тем из них, которые были лучше всего совместимы с культовыми практиками Хаттусы.

Ситуационное переключение кодов между нарративом на матричном языке и заклинаниями на гостевом языке не ограничено древнехеттскими текстами. В качестве более или менее случайных примеров из того же региона можно упомянуть древнехурритские заклинания против укусов змей и скорпионов, записанные и аннотированные старовавилонскими писцами [Prechel 2001], или западносемитские и критские магические формулы, вставленные в египетский медицинский папирус XIV в. до н. э. [Steiner 1992]. Мы увидим другие примеры подобного типа, когда перейдем к рассмотрению использования лувийских заговоров в ритуалах из Киццувадны в разделе 4.8. Но эти магические заклинания были, вероятно, собраны по практическим соображениям и предназначались для личного

[321] В качестве параллели к этой модели переключения кодов можно упомянуть традицию, существующую в Русской православной церкви. Во время пасхальной службы священник читает отрывок из Евангелия на всех известных ему языках христианской традиции. Этот элемент литургии метафорически подчеркивает экуменический характер христианской религии.

пользования. Что же касается метафорического переключения кодов на уровне государственного культа, ему, по-видимому, нет параллелей на древнем Ближнем Востоке. Эта практика заставляет думать о государственной идеологии, придающей ценностное значение сосуществованию между различными языками. Если предложенный здесь анализ метафорического переключения кодов подтвердится, то можно утверждать, не боясь слишком современного звучания, что правители Хаттусы периода Древнего царства были одними из первых поборников этнического многообразия, известных из письменных источников.

Безусловно, лувийские отрывки занимают довольно скромное место среди письменных памятников Древнего царства. Пока использование лувийского языка в Хаттусе оставалось метафорическим жестом, не могло существовать области, в которой он бы функционировал как основное средство письменного выражения. В этом отношении ситуация в Древнем царстве явно отличалась от ситуации в империи Хаттусы, где использование лувийского языка начало ассоциироваться с монументальными надписями (ср. раздел 4.9).

Тем не менее языки игнорируемых сообществ никогда не получали даже такого статуса[322]. Учитывая, что лувийский сознательно позиционировался как язык, обладающий официальным статусом в религиозной сфере, невозможно поверить, что носители хеттского языка стали бы препятствовать социальному продвижению носителей лувийского языка. С лидерами лувийских сообществ, находящимися в подчинении у правителей Хаттусы, могли обходиться так же, как Анитта однажды обошелся с «человеком из Пурусханды». Следовательно, постепенное увеличение пропорции носителей лувийского языка в Хаттусе и ее окрестностях проходило параллельно с интеграцией «людей Лувии» в

[322] Имеется большое число государств, в том числе современная Турция, где всем гражданам гарантируются равные права, однако некоторые широко употребляемые языки полностью отвергаются в официальной сфере. Напротив, трудно представить государство, древнее или современное, в котором определенный язык использовался бы метафорически в качестве символа единения в официальном дискурсе, в то время как его носители были бы лишены правовой защиты.

местную аристократию. Находясь в Хаттусе, эти провинциальные властители могли получить серьезный стимул для перехода на хеттский язык, но при этом сохранить свои исконные имена как символы этнической идентичности. Некоторые из них (или их потомки), благодаря бракам, переворотам или комбинациям обоих событий, со временем стали царями Хаттусы.

4.7 Статус лувийского языка в раннем Новом царстве

Переход от Древнего царства к раннему Новому царству в Анатолии не определяется возникновением новой династии [Bryce 2005: 122]. Исследователи различают между этими двумя периодами истории Хаттусы на основе двух факторов. С одной стороны, правители раннего Нового царства (около 1400–1350 до н. э.) регулярно проводили военные кампании, целью которых было подтвердить статус Хаттусы как региональной великой державы. Именно в течение этого периода была восстановлена после долгого перерыва практика рейдов в Западную Анатолию, а княжество Киццувадна на юго-востоке Анатолии перестало быть союзником Миттани и вернулось под юрисдикцию хеттского государства. С другой стороны, период раннего Нового царства характеризуется подъемом литературной активности хеттских писцов. Царская бюрократия собирала инструкции, регулирующие обязанности различных официальных лиц, а знания известных заклинателей, практикующих или практиковавших в различных частях Анатолии, были собраны в дворцовых архивах. Как хеттский язык, так и клинописный пошиб документов раннего Нового царства демонстрирует ряд инноваций в сравнении с текстами предшествующего периода.

В то же время не следует преувеличивать радикальность перемен, свидетельствующих о переходе к периоду раннего Нового царства. Наше знание истории конца Древнего царства после Телибину является крайне скудным. Небольшое число отрывочных договоров с Киццувадной, некоторые печати и многочисленные стереотипные земельные

пожалования — это все, что имеется в нашем распоряжении для рассмотрения политической истории Хаттусы между правлениями Телибину и Тудхалии I. Представляется, что некоторые инновации, традиционно относимые к началу XIV в. до н. э., могут являться результатом предшествующего развития. Еще сложнее ситуация с источниками по этнолингвистической истории Анатолии. Разрыв в находках документов, содержащих статистически значимое число анатолийских личных имен, охватывает период между оставлением ассирийских торговых факторий, т. е. между концом XVIII в. до н. э. и началом XIV в. до н. э. Следовательно, необходимо противостоять соблазну связать этнолингвистические изменения, впервые засвидетельствованные для начала Нового царства, с политической историей того же периода.

С этими оговорками можно перейти к аргументам в пользу лувийского языкового доминирования в центральной части раннего Нового царства. Имеются три типа свидетельств. Просопографический анализ предполагает, что имена лувийского происхождения были более популярны, чем те, что состояли из хеттских элементов. Исследование административных руководств, созданных в царских канцеляриях, приводит к заключению о том, что лувийский был понятен основной части населения Хаттусы. Наконец, анализ среднехеттских диалектных инноваций свидетельствует о том, что все они могут интерпретироваться в контексте структурной конвергенции между хеттским и лувийским языками.

Самое яркое ономастическое свидетельство содержится в земельном пожаловании Арнуванды I, дарованном храмовой служительнице Куваталле. Акт передачи (KBo 5.7, CTH 223) содержит около 60 довольно хорошо сохраненных личных имен[323]. Лишь для части этих имен может быть определен язык, но подавляющее большинство форм, для которых возможна подобная идентификация, являются лувическими. Приведенные ниже в

[323] Список личных имен, встречающихся в этом и других царских земельных жалованиях, см. уже в работе [Riemschneider 1958: 379–380]. Последнее по времени издание земельных пожалований царей Хаттусы — монография [Rüster, Wilhelm 2012].

таблице 19 лувических имен составляют примерно треть от всего корпуса. Большинство из них принадлежит (с разной степенью надежности) членам переданных хозяйств, однако последние четыре относятся к высокопоставленным свидетелям сделки. Эти имена были выбраны с учетом наличия типично лувийских основ, *ali(ya)-* ‘чужой, далекий’, *kwalan-* ‘войско’, *muwa-* ‘сила’, *tabara-* ‘править’, *uzzi-* ‘желать’, *wan(i)-* ‘женщина’, *zalma-* ‘защита’, *zamman-* ‘магия (?)’, *zid(i)-* ‘мужчина’. Данный список может быть несколько расширен, если добавить сюда лувийские имена, которые идентифицируются на основе их суффиксов.

Единственное достоверное хеттское имя, встречающееся в рассматриваемом документе, — это *Suppiluliuma*, писец на деревянных табличках, чья функция в сделке до конца не ясна. Имя *Inar*, принадлежащее писцу текста KBo 5.7, может быть либо хеттским, либо хаттским. Связь между нелувическими именами и профессией писца может быть совпадением, но их малое количество явно неслучайно. Хотя Куваталла идентифицируется с заклинательницей, рожденной в Киццувадне (ср. Раздел 1.2), полученные ею земли располагались, по-видимому, в центральной части царства, поскольку в качестве их предыдущих владельцев указаны хеттские официальные лица. Тот факт, что ни один из переданных крепостных не имел явно хеттского имени, сигнализирует о разрыве с ономастической традицией, известной по документам староассирийского периода.

Таблица 29. Лувийские имена в жалованной грамоте Куваталлы

^{m}U-ru-wa-an-ta-zi-t[i-iš]	Крепостной	obv. 2
^{m}Hu-u-ha-za-al-ma	(неясно)	obv. 6
^{m}Ku-wa-la-na-al-la	(неясно)	obv. 6
^{m}Hu-uh-h[a-z]i-ti-iš	Крепостной	obv. 9
[^{f} …]-hu-uz-zi-i-iš	Крепостная	obv. 10
[^{m}…]x-zi-ti-iš	Варвар (*dampūpis*)	obv. 19
[^{m}]A-ri-in-na-zi-ti-iš	Конюх	obv. 23
[$^{m/f}$]Mu-u-wa-at-ti-iš	(неясно)	obv. 24
[$^{m/f}$]A-li-ih-ha-an-ni-iš	(неясно)	obv. 52
[^{m}M]u-li-ya-zi-ti-iš	Производитель хурритской одежды	rev. 3
^{f}Za-am-na-ú-ya-aš	Крепостная	rev. 5
^{m}Zi-i-ti-iš	Старый крепостной	rev. 6
^{m}Ti-wa-ta-pa-ra	Крепостной	rev. 28
^{f}Zi-dan-du-uš	Крепостная	rev. 35
^{f}Tu-ut-tu-wa-ni-iš	Старая крепостная	rev. 36
^{m}Hal-pa-zi-ti	Старшина кравчих	rev. 51
^{m}Ka-r[i-ya$^{?}$-z]i-ti	Главный колесничий (?)	rev. 52
[^{m}…š/t]a-zi-ti	Старшина пастухов	rev. 53
^{m}Nu-un-zi-ti	Главный дворецкий (?)	rev. 54

Другой важный источник по ономастике раннего Нового царства — это собрание писем, обнаруженных в крепости Тапикка (совр. Машат-Хююк). Данное укрепление располагалось на северной периферии царства и являлось частью защитной линии против племен каска. Основная часть личных имен, встречающихся в письмах из Машата, принадлежит лицам с относительно низким статусом, таким как провинциальные писцы, военнослужащие и даже местные крестьяне. Из примерно 160 имен, представленных в этом корпусе [Alp 1991: 51–109], лишь около 25, или менее 15%, могут быть формально охарактеризованы как лувические. К ним относятся: *Aliwanatti*, *Arma*-LÚ-*i*, *Hatipa*-LÚ, *Hilamma*-LÚ, *Hilanani*, *Huidudduwali*, ^{d}KAL-*ya*, ^{d}KAL.LÚ,

Gapisuwa-LÚ, *Mar(r)uwa*, *Muwa*-LÚ, *Nani*, *Partahula*-LÚ, *Sarla*-^{d}KAL, *Tarhumuwa*, *Tarhunpihanu*, *Tarpa*-^{d}KAL-*a*, *Tiwa*-LÚ, *Ushaliya*, *Walwa*, *Walwanu*, *Yaratiwa*, *Yarra*-LÚ-*i*, *Zarniya*-LÚ, *Zilapiya*, *Zuwanna*. Все они содержат лувические элементы: *ali(ya)*- ‘чужой’, *(k)runtiya*- ‘бог-защитник’, *marwa*- ‘темный’, *muwa*- ‘сила’, *nan(i)*- ‘брат’ (или *nann(i)*- ‘господин’), *piha*- ‘ореол’, *sarl(i)*- ‘верхний’, *tarpa*- ‘атака (vel sim.)’, *Tiwa(d)*- ‘бог солнца’, *wanatt(i)*- ‘женщина’, *washa*- > *usha*- ‘жертвоприношение (vel sim.)’, *zid(i)*- ‘мужчина’, *walwa*- ‘лев’, *zila*- ‘будущее’, *zuwann(i)*- ‘собака’[324].

Меньшая частотность лувических имен в письмах из Машата в сравнении с CTH 223 может объясняться по-разному. С одной стороны, необходимо учитывать возможность сохранения старых хаттских имен в северном регионе. В самом деле, многие имена из данного корпуса принадлежат скорее каскам, чем хеттам, что делает их неиндоевропейское происхождение наиболее правдоподобным [ср. Alp 1991: 52]. С другой стороны, несколько имен, принадлежащих писцам в том же корпусе, несомненно являются аккадскими [Alp 1998]. Подобные имена, по всей вероятности, не могут дать больше информации об этническом происхождении соответствующих индивидуумов, чем русские семинарские фамилии, такие как Реформатский или Велосипедов. Общая черта писем из Машата и CTH 223, однако, — это редкость личных имен, содержащих специфические хеттские элементы. В случае писем из Машата можно упомянуть лишь *Ilali*, *Piseni* и *Tarhuni*, при этом два последних имени принадлежат высокопоставленным должностным лицам.

Хеттские инструкции для дворцовых чиновников дают информацию о статусе различных анатолийских языков в период раннего Нового царства. Отрывок, получивший особое внимание в недавней исследовательской литературе, свидетельствует о ситуационном переключении кодов в среде

[324] Интерпретация многих имен сильно зависит от единообразного чтения шумерограммы LÚ как *zid(i)*- в позиции второго члена составного личного имени. Хотя LÚ также читается в хеттских текстах как *pesna*-, элемент *pesna*- ‘человек’ нигде не засвидетельствован в качестве второго компонента именного композита, что и является основанием для предлагаемой интерпретации.

царских телохранителей. Если реконструкция Гютербока и ван ден Хаута верна, то «человек с золотым копьем» получает приказ на хеттском языке, а затем переводит его на лувийский для рядового копьеносца. Уоткинс [Watkins 2004: 574] вполне правдоподобно полагает, что данное переключение кодов отражает социальную иерархию при царском дворе Хаттусы, где носители хеттского языка занимали более высокое положение, чем носители лувийского. Зингер [Singer 2005: 448–451] подходит к данному фрагменту с несколько иной точки зрения, предполагая, что армия являлась важным каналом для проникновения лувийцев в Хаттусу. В пользу своей трактовки он приводит военные чины ^{LÚ}*duyanalli-* ‘второй по званию’ и ^{LÚ}*tarriyanalli-* ‘третий по званию’, которые имеют лувийское происхождение и которые встречаются в той же инструкции.

(140) IBoT 1 36 iv 42–46, CTH 262 (MH/MS), Güterbock, van den Hout 1991: 38

42. māhhan=ma dun[nakkesna/i]x[ ]

43 uizzi nu ANA LÚ.[ŠUKUR.GUŠKIN$^{?}$ -]li [kiss]an

44. halzāi udan[du=war=at]

45. LÚ.ŠUKUR.GUŠKIN=ma [ ]x *ANA* LÚ.MEŠ.ŠUKUR luwili

46. kissan halzā[i]x

‘А когда в покои […] придет и «человеку [золотого копья» по-хеттс]ки$^{?}$ так прикажет: “Пусть принесут [его]”, «человек золотого копья» […] копейщикам по-лувийски так прикажет: [“…”]’.

С моей точки зрения, весьма вероятно, что большинство воинов, служивших в хеттской столице в начале XIV в. до н. э., были носителями лувийского языка. Однако отсутствуют убедительные свидетельства того, что они составляли единственный или даже основной источник притока лувийского населения в Хаттусу. Как следует из среднехеттского предписания для стражей, «люди огня» (предположительно, лица, ответственные за отопление дворцового комплекса) также получали

инструкции на лувийском[325]. Содержание этих инструкций, по общему мнению, является туманным, но наибольшей интерес представляет то, что оно передается на хеттском языке. Этот факт, с удивлением отмеченный еще в работе [Otten 1953], по-видимому, свидетельствует о том, что потенциальными читателями предписания должны были быть хеттские и лувийские билингвы, у которых не должно было возникнуть трудностей с обратным переводом данного сообщения на лувийский.

(141) KBo 5.11 i 21–24, CTH 263.A (MH/NS), Miller 2013: 90–92

namma=z LÚ.MEŠ pahhuenas EGIR-an kappūezz[i]
n=at parā tiyanzi nu ^{LÚ}NI.DUH luwili kiss[an]
tezzi uwat pahhunit <<tezzi uwat IZI-it>> mar[…]
pahhasnuwan LUGAL$^{??}$-it pahsanuwan ēs[ten]
‘Он пересчитывет “людей огня”. Они выступают вперед. Страж ворот так говорит по-лувийски: “Пожалуйста[326], будьте… осторожны с огнем, будьте осторожны с царем$^{??}$”’.

Две дополнительные фиксации слова *luwili* могут быть обнаружены в тексте KBo 30.187. Оттен и Рюстер, редакторы текста KBo 30, подчеркивают сходство между данным фрагментом и CTH 262 («Инструкция для царского телохранителя»), в то время как Гроддек [Groddek 2002: 256] помещает этот фрагмент под CTH 763 («Фрагменты хеттских ритуалов с лувизмами»). Альтернативно, данный фрагмент может относиться к «Инструкции для стражей» (CTH 263), поскольку именно страж (^{LÚ}NI.DUH) эксплицитно упомянут в строке (iii 4) данного текста. Строка ii 10 того же фрагмента читается как [*lu*]*wili halzāi* ‘он зовет (или приказывает) на лувийском’, а строка iii 1 читается как *namma luili ki*[*ssan*...] ‘затем он (говорит$^{?}$) так на лувийском’. Субъектом этих клауз является, вероятно, сам страж ворот,

[325] Пеккиоли Дадди [Daddi 1982: 146] не определилась с функцией LÚ.MEŠ *pahhuenas*. Ср. обсуждение ^{LÚ}*pahhurula-* ‘поддерживатель огня’ в [CHD, P: 18].

[326] Я исхожу из того, что *uwat* может быть сокращенной формой словосочетания *uwat duwaddu*, которое встречается несколько раз в письмах из Машата, неизменно сопровождая просьбу. Особенно ср. сходный контекст HKM 6 rev. 24. Вероятно, мы имеем дело с модальным элементом, усиливающим просьбу, однако перевод ‘пожалуйста’ — гипотетический.

который, таким образом, использует лувийский язык по крайней мере в трех различных случаях в тексте инструкции.

Другой иллюстрацией широкого употребления лувийского языка в Хаттусе периода раннего Нового царства является контраст между хурритскими и лувийскими обращениями к Иштар-Савоске и Пирингир, инкорпорированными в среднехеттский гиппологический текст. Вполне естественно, что к данной паре богов было решено обращаться на обоих языках, поскольку с хеттской точки зрения эти боги были связаны с пантеоном Киццувадны[327]. Однако хурритское заклинание дается в транслитерации, что хорошо согласуется со статусом хурритского как письменного языка в Анатолии позднего бронзового века, тогда как лувийская версия дана в переводе[328].

(142) KUB 29.55 i 5–10, CTH 285.1 (MH/MS), Kammenhuber 1961: 150
nu ^{d}Pirin[kir ^{d}*IŠTAR*] halzihhi nu hurlīl[i kissan…] *iš-ši-ya-na-a-ša pa-a-a*[*w*$^{?}$*-ri*$^{?}$*-e*$^{?}$…] ^{d}*Pí-ri-in-kir*$_{8}$ ^{d}*IŠ*[*TAR*…] luwili=ma=at ki[ssan…]*ANA* ANŠE.KUR.RA.HI.A anda a[ssuli…] ardumat […]
‘(Тогда) я призываю Пирингир [и Савоску]. По-хурритски [так я говорю]: “[…] хорошо (к) лошадям, Пирингир и Савоска”. А по-лувийски так [я говорю]: “К лошадям хорошо[…] прибывайте”’.

Для подтверждения предложенной интерпретации перевода лувийских заклинаний на хеттский язык важно показать, как они контрастируют с представлением хаттских гостевых слов в той же хеттской инструкции. По мнению большинства исследователей, с начала Нового царства хаттский язык более не функционировал как разговорный в хеттской столице, хотя определенные хаттские выражения продолжали сохраняться в дворцовом протоколе как дань традиции. Соответственно, письменная фиксация

[327] О тесной связи между Пирингир и Иштар-Савоской в ритуалах из Киццувадны см. [Miller 2004: 366–367].
[328] Предложенная здесь социолингвистическая интерпретация контраста между переводом лувийского заклинания и передачей хурритского заклинания в оригинале принадлежит Эттингеру [Oettinger 2011].

хаттских гостевых слов могла быть полезна для их потенциальных адресатов только с переводом.

(143) IBoT 1 36 i 64–66, CTH 262 (MH/MS), Güterbock, van den Hout 1991: 12
māhhan=ma LUGAL-us arahza paizzi n=asta 1 DUMU.É.GAL ^{E}halentuwaz parā wizzi nu hattīli *ta-ha-ya* halzai *ta-ha-ya-an*=ma=za hattili ^{LÚ}ŠU.I halzissanzi
‘Когда царь уходит, один дворцовый служитель выходит из дворца и кричит по-хаттски: “Тахая!”. А *Тахая* (так) по-хаттски называют брадобрея[?]’.

(144) KBo 5.11 i 5–10, CTH 263.A (MH/NS), Miller 2013: 90
nu *INA* É.GAL-*LIM* ku(i)yēs ser sēsanzi n=at parā tīanzi
^{LÚ}NI.DUH=ma=as=kan ha[tti]li lamnit halzissai
^{LU}*wi$_i$-in-du-uq-qa-ra-am* ^{LU}SAGI-as
^{LU}*zu-u-lu-u-we$_e$-e* $^{LU\ GIS}$BANŠUR-as
^{LU}*ha-an-ti-ip-šu-wa$_a$-a* ^{LU}MUHALDIM-as
‘Те, кто спят во дворце, выступают вперед, а страж ворот называет их по профессиям (*досл*. именам): *finduqqaram*/кравчий, *zulufe*/стольник, *hantipsufa*/повар…’

Лувийские гостевые слова и фразы почти никогда не глоссируются подобным образом в хеттских текстах (единственное известное мне исключение см. под (147) ниже). Это действительно было излишне, если, как показано выше, целевая аудитория владела и хеттским, и лувийским. Но с чисто коммуникативной точки зрения цитирование лувийских выражений на языке оригинала было бы в условиях двуязычия столь же эффективным, как и их перевод на хеттский. Более того, оно представляло бы из себя логичное продолжение более ранней традиции включения лувийских заклинаний в хеттскую религиозную литературу (см. предыдущий раздел). Предпочтение записывать лувийские гостевые слова по-хеттски в административных текстах раннего Нового царства может свидетельствовать о том, что

лувийский язык воспринимался в Хаттусе начала XIV в. до н. э. как просторечие.

В должностных инструкциях раннего Нового царства также упоминаются два выражения, которые должны произноситься только на хеттском. В обоих случаях они могут быть классифицированы как фатические высказывания, придающие говорящим властный статус. Охрана в примере (145) сопровождает свой знак соответствующими жестами, так что даже человек, не знакомый с хеттским языком, должен был понять такой приказ. Выкрик стража в примере (146) не служит коммуникативным целям, а имеет, скорее, задачу разбудить слуг, спящих во дворце, до того, как будет произведена перекличка на хаттском языке. Использование хеттского языка в этих командах подчеркивает его ассоциацию с правящими классами.

(145) IBoT 1 36 iii 63–65, CTH 262 (MH/MS), Güterbock, van den Hout 1991: 30
mān ^{GIS}hulugānnaza=ma nēari nu 1 ^{LU}*MEŠEDI IŠTU* ^{GIS}ŠUKUR *ANA* ^{LÚ}*MEŠEDUTIM ANA* DUMU.MEŠ É.GAL=ya iskidāhhi nu {^{URU}nisili} kissan tez[zi] tapūsa
‘Если (царь) возвращается в повозке, один телохранитель дает знак копьем телохранителям и дворцовым служителям и так говорит (*добавлено*: по-хеттски): “В сторону!”’.

(146) KBo 5.11 i 2–4, CTH 263.A (MH/NS), Miller 2013: 90
^{LU}NI.DUH=kan *IŠTU* KÁ.GAL katta tiyēzi nu nāsili kissan tezzi halugas halugas
‘Страж ворот сходит вниз с главных ворот и так говорит по-хеттски: “Известие, известие!”’.

Лингвистическая эволюция среднехеттского языка является основной темой работы [Melchert 2007]. Среднехеттский определяется в работе Мелчерта как язык исторических документов, относящихся к периоду после царствования Циданты II и до царствования Мурсили II. Рассматриваемый

период охватывает промежуток примерно с последней четверти XV в. до последней четверти XIV в. и включает конец Древнего царства, раннее Новое царство и самое начало Империи (правление Суппилулиумы I). Анализ Мелчерта выделяет восемь инноваций, пять из которых являются категорическими, а три других обнаруживают переходную стадию синхронного варьирования. Представляется возможным показать, что в семи из восьми случаев среднехеттские инновации могут (и в большинстве случаев должны) быть описаны как результат интерференции.

Категорическая инновация, обнаруживаемая во всех среднехеттских исторических текстах, — это замещение *=e* на *=at* как формы энклитического местоимения им. мн. общ. Это нетривиальное развитие привело к полному изоморфизму между хеттским и лувийским склонением энклитической местоименной основы *a-*, как это отмечено в работе [Rieken 2006a] и показано в Таблице 4. Другая категорическая инновация, которая постепенно реализовывалась в среднехеттских текстах, — это необходимость использовать возвратную частицу *=z(a)* в именных предложениях в 1 и 2 л.[329]. В разделе 3.4 я попытался показать, что это развитие имеет смысл только в том случае, если считать его обусловленным интерференцией. Исчезновение противительной (негеминирующей) частицы *=a* и обобщение ее синонима *=ma* в некоторых текстах данной группы представляет собой выравнивание, которое могло быть обусловлено и внутренними факторами. Тем не менее это развитие способствовало возрастанию структурного сходства с лувийским языком, где использовалась только одна противительная частица *=ba* (ср. [Rieken 2006a: 280]).

Еще две категорические инновации, которые до сих пор не рассматривались в контексте контактной лингвистики, касаются анатолийских послелогов. В этой области могут быть обнаружены два противоположных развития. Древнехеттское *katta* ‘вместе, с’ начинает

[329] Категориальный характер данной инновации не распространяется на новохеттские копии текстов, записанных среднехеттским пошибом, в которых обнаруживается определенное варьирование в использовании *=z(a)* [ср. Kassian, Yakubovich 2007: 435–436].

замещаться с помощью *kattan*, а древнехеттский послелог *andan* ‘в(нутрь)’ замещается с помощью *anda*. Поскольку ряд хеттских послелогов заканчиваются и на *-a*, и на *-an*, то оба изменения могут изолированно рассматриваться как аналогические, однако одновременное аналогическое выравнивание в двух противоположных направлениях в рамках одного грамматического класса, как представляется, едва ли обусловлено внутренними факторами. Поэтому аналогическим вероятнее считать лишь первое изменение (ср. хетт. *peran* ‘перед’, *āppan* ‘за’), а второе получает объяснение в качестве приспособления к лувийской модели. В плане релевантных контекстов лувийские клинописные тексты бедны, но иероглифические надписи железного века содержат многочисленные примеры послелога *a-ta* = /anda/ ‘в(нутрь)’, в то время как *a/á-ta-na* /andan/ используется только как преверб или свободностоящее наречие [ср. Payne 2010: 29, 36]. Заметим, что в первом случае интерференция с лувийским была бы невозможна, поскольку лув. *kumappi* ‘с’ не родственно хетт. *katta/kattan*.

Поэтапная инновация, заключающаяся в смешении им. мн. общ. *-es* и вин. мн. общ. *-us*, уже обсуждалась в разделе 1.3. Данный феномен впервые встречается в тексте, который, по всей видимости, был составлен или отредактирован носителем лувийского языка (CTH 404 I.1.A), и он отражает сходное смешение в лувийском диалекте Хаттусы и прилегающей области. Не до конца ясно, могло ли смешение *-es* и *-us* характеризовать письменные памятники, подготовленные носителями хеттского языка в период раннего Нового царства. Грамматикализация нового распределения между этими двумя формами в позднеановохеттском обсуждается в разделе 5.3.2. Анализ смешения между *ūk* ‘я’ и *ammuk* ‘меня’ также может быть отложен до раздела 5.3.3, поскольку распространение формы *ammuk* на номинатив впервые обнаруживается в письмах из Машата, отражающих переходный вариант от среднехеттского к новохеттскому языку. Для целей данного раздела достаточно упомянуть, что отсутствие параллельного смешения между *zik* ‘ты’ и *tuk* ‘тебя’ исключает гипотезу о полном уничтожении падежных

противопоставлений в местоименной парадигме, в то время как идентичная асимметрия между склонением местоимений ‘я’ и ‘ты’ в лувийском доказывает, что хеттское изменение было контактно-обусловленным.

Синхронная вариация между аккузативными клитиками мн. ч. *=as* и *=us* ‘их’ была шире распространена в среднехеттском. Группа табличек, записанных среднехеттским пошибом, включая «Обвинение Маддуватты» (CTH 147), ритуал против магии CTH 443 и гиппологический текст CTH 286.2, демонстрирует синхронное распределение между архаическим вариантом *=us*, закрепленным для позиции после *nu=*, и его инновативным эквивалентом *=as*, встречающимся во всех других случаях. Мелчерт [Melchert 2000: 179–182] показал, что *=as* ‘их’ является стандартной формой в лувийских клинописных текстах, но не стоит поддаваться соблазну объяснить хетт. *=as* как прямое заимствование из лувийского. Прямой перенос грамматических морфем из лувийского в хеттский не имеет параллелей не только в раннем Новом царстве, но и в имперский период, когда лувийское влияние на хеттский язык стало еще более сильным. С другой стороны, среднехеттский манускрипт Ритуала Мастигги, несущий следы лувийской интерференции (CTH 404 I.1.A), характеризуется предпочтением *=as* во всех контекстах, хотя *=us* также иногда встречается в данном тексте. Несколько более поздних манускриптов того же ритуала характеризуются восстановлением *=us* во всех позициях (ср. [Miller 2004: 215]). Таким образом, трудно отрицать, что использование *=as* в среднехеттских текстах некоторым образом связано с лувийским влиянием.

Я принимаю решение данной проблемы, предложенное мне в личной беседе П. Худехебюре. Вариант *=(a)s* исконно развился в качестве алломорфа *=us* в позиции после клитических союзов *=ma*, *=a* и *=(y)a*[330]. Единственный пример употребления клитики мн. ч. *=as* в корпусе на древнехеттском пошибе (KBo 20.26 18 [$^{\text{LÚ.MEŠ}}$]*hāpes karū=ma=(a)s tarkuanzi*

[330] Ср. [Kammenhuber 1961: 186, сноска c], где отмечается синхронная корреляция между вин. мн. общ. *=as* и *=ma*/*=ya* в CTH 286.2, однако это наблюдение не сопровождается диахроническим анализом.

‘Что до людей *habi-*, они уже танцуют’) характеризуется аналогическим распространением *=as* в этой позиции на им. мн., необходимым, чтобы избежать последовательности **=ma=e*, которая могла легко сокращаться в *=ma* с полной потерей местоименного элемента[331]. Аналогическое давление форм *=us* вело к появлению *=m(u)=us* вместо *=ma=(a)s* в некоторых текстах, записанных среднехеттским пошибом (см. [Neu 1983: 5, сноска 16], где даются примеры). Но влияние лувийской клитики *=as* постепенно склонило чашу весов в пользу устойчивой ассимиляции *=ma=(a)s* и т. д. и далее к обобщению алломорфа *=as* за счет *=us*. Ситуация, в которой лувийский язык функционировал в качестве инициатора аналогического выравнивания в хеттском, обнаруживает близкую параллель в обобщении глагольного суффикса *-(i)ya-* (раздел 5.3.4).

Весьма неправдоподобно, что феномены, проанализированные в работе [Melchert 2007], исчерпывают список среднехеттских инноваций[332]. Следует выразить надежду, что публикация новых текстов, особенно табличек из Ортакея, поможет хеттологам описать дополнительные лингвистические изменения, относящиеся к тому же периоду. Но тот факт, что большинство из рассмотренных до сих пор изменений объясняется результатами лувийского влияния, явно не случаен. Важно учитывать, что в работе Мелчерта не затронут лувийский язык, и поэтому она не может демонстрировать пристрастность к контактно-обусловленным изменениям. Структурная интерференция, иллюстрируемая примерами из работы Мелчерта, подтверждает гипотезу о том, что большая часть носителей хеттского языка, проживавших в Хаттусе периода раннего Нового Царства, владели также и лувийским языком.

---

[331] Ной [Neu 1983: 5, сноска 16] приводит дополнительный пример вин. мн. общ. *=as* в древнехеттском, который, однако, оказывается неверным. Мелчерт (личн. сообщ.) отмечает, что KUB 29 iii 8 должно читаться как *heyawes=(s)mas sal*[*lanuskir*] ‘дожди вас вырастили’.

[332] Другая инновация, которая впервые спорадически отмечается в среднехеттском, однако становится общим феноменом в новохеттском, — это эпентеза /spand-/ > /sipand-/ ‘совершать возлияние’, которая отражается в написании *ši-ip-pa-an-t°*, в противоположность более архаичному *ši-pa-an-t°*. Эта инновация подробнее обсуждается в работе [Yakubovich 2009b].

Главное различие между моделями асимметричного двуязычия, которые могут реконструироваться для раннего Нового царства и последующего периода, заключается в социальном статусе лувийского языка. Число лувийских гостевых слов в среднехеттских текстах из Хаттусы и ее окрестностей незначительно. Так, большой корпус писем из Машата содержит лишь одну лувийскую форму вин. ед. ^{GIŠ}*murtanza* ‘(вид дерева)’ (HKM 72.35). В данный период также нельзя говорить о чередовании кодов как сложившейся практике в царской канцелярии Хаттусы. Должно быть, лувийский воспринимался как язык простого народа, поскольку он игнорировался в официальной письменной коммуникации.

С другой стороны, обозначение *Luviya* не использовалось после периода Древнего царства, что, возможно, было связано с тем, что лувийские или лувические группы населения стали наиболее многочисленными на большинстве территорий, подконтрольных Хаттусе. Но еще важнее то, что писцы использовали хеттский язык даже для передачи содержания *luwili*-пассажей, как в примерах (141) и (142). Вполне правдоподобно, что эти факты связаны между собой. Став немаркированным средством устной коммуникации в раннем Новом царстве, лувийский потерял статус умеренно престижного регионального языка, которым он обладал в Древнем царстве. Следовательно, можно сказать, что начало XIV в. до н. э. является самой низкой обозримой точкой в истории статуса лувийского языка в Хаттусе. По иронии судьбы, именно в данный период в хатусские архивы было добавлено наибольшее количество лувийского текстового материала как следствие заимствования ритуалов из Киццувадны в хеттскую ритуалистическую традицию.

4.8 Статус лувийского языка в Киццувадне

Территория Киццувадны находится в Юго-Восточной Анатолии. Ее центральная часть совпадает с Киликийской равниной и долинами рек

Сейхан и Джейхан, и она отделена от Центральноанатолийского плато хребтами Тавра. В начале XVIII в. до н. э. часть данной территории принадлежала княжеству Мама, управлявшемуся правителем с хурритским именем Анум-Хирби [Miller 2001]. Ни Киликийская равнина, ни близлежащие территории не входили в зону торговли ассирийских купцов. Главная дорога к Канешу обходила эту область с севера, проходя через город Хаххум на Верхнем Евфрате и горные перевалы Антитавра. Форланини [Forlanini 2004a: 251] связывает данный факт с монополией сирийских торговцев в регионе между Сирийскими воротами и Киликийскими воротами. Как бы то ни было, отсутствие ассирийских торговых путей объясняет скудность письменных источников, относящихся к данному региону в период ассирийских факторий.

По-видимому, Юго-Восточная Анатолия не являлась целью военных кампаний Анитты, которые все были направлены на запад и северо-запад, вдоль ассирийских торговых путей. Возможно, Анитта старался избежать прямого конфликта с сирийским государством Ямхад, чьи правители могли рассматривать Киликию как сферу своих интересов. Ситуация изменилась во времена Хаттусили I, явно избравшего богатые сирийские города в качестве главной цели своих грабительских походов. Хотя прямой информации о деятельности отрядов Хаттусили в Киликии нет, все же маловероятно, чтобы он пренебрег возможностью поживиться благами этой плодородной аграрной области во время своих сирийских кампаний. То же самое можно сказать и о преемнике Хаттусили — Мурсили I, который преуспел в захвате Алеппо, столицы Ямхада, что привело к распаду всего царства.

Как и в случае с Арцавой, нет свидетельств ни в пользу устойчивого контроля над Киццувадной со стороны Хаттусы в период Древнего царства, ни в пользу присутствия сильных местных правителей, способных оказать сопротивление внешней агрессии[333]. Особенность случая с Киццувадной

[333] Единственное свидетельство, которое традиционно приводится в пользу существования хеттской администрации в Киццувадне в период Древнего царства, — это древнехеттское земельное пожалование, обнаруженное в Тарсе [Beal 1986: 424–425, см. там же библиографию]. Однако свидетельства того, что

заключается в возможности связать походы Хаттусили I и Мурсили I с анатолийскими миграциями в данную область. В разделе 1.5 было показано, что заселение Киццувадны хурритами должно была предшествовать приходу лувийцев в данный регион на основании лингвистических данных. Более того, сходство между имперским лувийским и лувийским диалектом Киццувадны свидетельствует о том, что лувийцы достигли Юго-Восточной Анатолии не ранее чем за несколько столетий до письменной фиксации их текстов. Юго-восточная экспансия первых царей Хаттусы являлась вероятным политическим контекстом для миграции хеттских и лувийских групп населения в области к югу от Тавра.

Ослабление царства Хаттусы во времена преемников Мурсили I вызвало отпадение пограничных княжеств. В тексте «Воззвание Телибину» (CTH 19) в перечне земель, ставших враждебными Хаттусе в период правления Аммуны (сер. XVI в. до н. э., средняя хронология), упоминается Адания. Этот топоним, идентифицируемый с современным городом Адана, указывает на регион, который позднее относился к Киццувадне [Bryce 2005: 102]. Несколько десятилетий спустя Телибину, царь Хаттусы, признал независимый статус Киццувадны, заключив равноправный договор с местным князем Испутахсу[334]. Как указано выше в разделе 4.2, имя *Isputahsu* является хеттским, но имя его отца *Pariyawatri* — лувийское. Топоним Киццувадна (также записывается как *Kizzuwatni*) может представлять собой хетто-лувийский гибрид **kez-watni*, если его исконным значением было

данный текст упоминает передачу недвижимости, находящейся в Юго-Восточной Анатолии, отсутствуют. С другой стороны, ни одно из земельных пожалований, обнаруженных в Богазкее, не предшествует царствованию Аммуны, то есть периоду, когда Киццувадна стала рассматриваться в хеттских источниках как независимое политическое образование. Следовательно, можно заключить, что земельное пожалование из Тарса не более доказывает владычество Древнего царства над Киццувадной, чем лувийская печать, обнаруженная в Трое, доказывает лувийское языковое доминирование в Северо-Западной Анатолии. Оба источника могли быть перенесены в регионы их обнаружения через несколько веков после их создания. Иначе [Шелестин 2014: 144, сноска 688].

[334] Недавнее дискуссию паритетных договоров между Хаттусой и Киццувадной см. в работе [Шелестин 2012]. Правители Хаттусы в своем духе ретроспективно интерпретировали паритетные договоры, заключенные с Киццувадной, как знак ее подчинения Хаттусе. Преамбула к аккадской версии договора с Сунассурой утверждает, что Киццувадна относилась «к земле Хаттусы» до того, как ее присоединило государство Митанни. Исследовательские интерпретации этого утверждения разнятся от ‘(на стороне) земли Хаттусы’ до ‘(часть) земли Хаттусы’ [ср. Bryce 2005: 139, там же сноска 62; Miller 2004: 353].

“страна на этой стороне (гор)”[335]. Данные имена собственные говорят в пользу смешанного хетто-лувийского характера элит Киццувадны и косвенно подтверждают связь между хеттскими походами против Сирии и индохеттской колонизацией Юго-Западной Анатолии.

В то же время отсутствуют прямые свидетельства в пользу того, что писцы из Киццувадны писали клинописью на хеттском или лувийском языке. Чтобы доказать эту гипотезу, необходимо идентифицировать хеттские таблички с использованием особого пошиба Киццувадны. И в самом деле, имеется группа фрагментов, обнаруженных в Хаттусе, но характеризующихся позднем старовавилонским или средневавилонским периферийным пошибом. На этих табличках содержатся аккадские версии договоров между Хаттусой и Киццувадной [Klinger 2003: 238–239; Miller 2004: 526–527]. Возможно, дипломатический протокол данного периода включал обмен табличками с договором, подготовленными в двух странах, заключавших перемирие, что могло бы являться мерой по предотвращению разночтений в тексте договора, доступного обеим сторонам. Таким образом, самым простым объяснением аномальности пошиба является то, что мы имеем здесь дело с табличками, подготовленными в столице Киццувадны — Куммани. Однако не сохранились таблички, написанные на хеттском языке, которые характеризовались бы тем же пошибом[336].

Не имеется также исторических оснований, чтобы считать, что хеттский или лувийский стали литературными языками в Киццувадне. Если следовать гипотезе, обсужденной в разделе 4.4, согласно которой хеттский стал основным канцелярским языком в Хаттусе в период правления Телибину, то княжество Киццувадна могло сформироваться еще в то время,

---

[335] С исторической точки зрения данное обозначение может являться лувийской адаптацией исконного хеттского **kez-udne*. Данная этимология предполагает, что название Киццувадны было эндонимом, то есть было создано хеттами и лувийцами, которые поселились в данном регионе, а не является обозначением чужой территории, придуманным в Хаттусе. Представленная позиция отличается от гипотезы, выдвинутой в работе [Weeks 1985: 12], где *Kizzuwatna/i-* выводится из **kez wetenaz* = ‘*cisaquinus*’.

[336] Миллер [Miller 2004: 526] также упоминает хурритский фрагмент KUB 47.41, обнаруженный в Хаттусе, но написанный на среднеассирийском пошибе. Содержание этого фрагмента, однако, не указывает на его происхождение из архивов Киццувадны. Солидаризуясь с Миллером [Miller 2004: 527], я полагаю, что одновременное использование староассирийского и старовавилонского/средневавилонского пошибов в канцелярии Киццувадны является неправдоподобным.

когда предпочтительным языком для письменного делопроизводства в Анатолии оставался аккадский. В последующий период у князей, правивших в Куммании, вероятной столице Киццувадны, имелось мало причин подражать националистическим реформам своих противников из Хаттусы. Известно, что Киццувадна стала вассалом хурритского государства Митанни в XV в. до н. э., поскольку договор между Идрими, правителем Алалаха, и Пиллией, князем Киццувадны, был подписан под покровительством Парраттарны, царя Митанни [Bryce 2005: 117]. При таких обстоятельства весьма вероятно, что элиты Киццувадны тяготели к культуре Сирии и Месопотамии и сохранили аккадский в качестве основного языка делопроизводства. Также возможно, что некоторые писцы из Киццувадны писали на хурритском, то есть на языке элит Митаннийского царства, хотя этот язык должен был закрепиться за произведениями определенного типа, преимущественно религиозными, как это имело место и в Митанни[337]. Переход к письменному использованию хеттского языка в Киццувадне, если он вообще имел место, должен был произойти в XIV в. до н. э., когда эта страна подчинилась Хаттусе.

Другую оценку социолингвистической ситуации в Киццувадне дает Миллер [Miller 2004: 256], который пишет: “Писцы того, что, вероятно, являлось государственными архивами Киццувадны, возможно в Куммании, должны были усвоить свое искусство одновременно с хаттусскими и северосирийскими писцами. Они должны были создавать в этот период тексты на хурритском и лувийском, которые, вероятно, были разговорными языками в регионе, а также, возможно, на аккадском и хеттском, то есть на языках межрегионального контакта и культурной традиции”. Позднее хеттские писцы “получили доступ к архивам Киццувадны, некоторую часть которых они скопировали для архивов Хаттусы”. Сценарий Миллера

[337] Ср. наблюдение Вилхелма [Wilhelm 1996: 180], касающееся использования хурритского языка в царстве Митанни: “Таким образом, надежда на обнаружение многочисленных текстов на хурритском языке, происходящих из центральной части митаннийской империи, представляется необоснованной… Возможно, что в царстве Митанни, вследствие доминирующего характера аккадской писцовой культуры, большая часть литературы сочинялась по-аккадски”.

опирается преимущественно на произведенный им анализ ритуалов Киццувадны, обнаруженных в хеттских государственных архивах, которые обычно написаны на хеттском, но иногда содержат и лувийские отрывки. Он убедительно показывает, что прототипы многих этих текстов должны были быть впервые записаны в самой Киццувадне. Основной довод заключается в ряде ссылок на «таблички из Киццувадны» в соответствующих текстах.

Однако Миллер никак не комментирует тот факт, что все ритуалы, упомянутые в хеттских текстах в связи с архивами из Киццувадны, имеют хурритский характер. Так, приношения *ambassi* и *keldi* должны были исполняться в Кумманни в связи с афазией Мурсили II “согласно деревянной табличке” [Miller 2004: 513]. В тексте KBo 21.37+ также упоминается приношение *ambassi*, вслед за которым сразу идет приношение *keldi*, “которое не совершается в соответствии с древней табличкой из Киццувадны” [Miller 2004: 516]. И *ambassi-*, и *keldi-* являются хорошо установленными хурритскими техническими терминами [Richter 2012: 20–21, 203–204]. Наконец, ритуал по случаю рождения KBo 17.65+ содержит упоминание праздника плодородия, которое сопровождается следующей ремаркой: “То, как они празднуют это событие, записано на деревянной табличке, которая в Киццувадне” [Miller 2004: 518]. В том же тексте, однако, предписывается, чтобы жрец-AZU совершал богослужение на хурритском, и дважды упоминается отдельная табличка с хурритскими заклинаниями[338].

В действительности весьма правдоподобно, что Киццувадна играла роль перевалочного пункта при передаче хурритских письменных текстов из Митанни и Сирии в Хаттусу. «Освобождение» Киццувадны в начале XIV в. инициировало религиозные реформы в царстве Хаттусы, такие как перенос божества ночи из Киццувадны в Самуху [Miller 2004: 350–356]. Хурритские религиозные тексты также массово добавлялись в хеттские архивы в период

[338] Единственное произведение с лувийскими заклинаниями, которое появляется в произведенном Джаредом Миллером анализе внутренних текстовых ссылок, — это очистительный ритуал Туннавии [Miller 2004: 519–522]. Однако данный текст нерелевантен для вопросов, рассмотренных в этом разделе, поскольку упомянутые в нем таблички с заклинаниями не связаны с Киццувадной. В действительности Миллер [Miller 2004: 452–458] доказывает невозможность того, что ритуалы Туннавии происходят из Киццувадны.

раннего Нового царства, и многие описанные в них ритуалы, включая те, что собраны в издании [Haas 1984], стали частью его государственного культа. Соблазнительно предположить, что адаптация хурритской религиозной литературы в Хаттусе в течение этого периода была в первую очередь связана с экспансией официальных культов из Киццувадны, хотя прямое доказательство этой гипотезы в данный момент отсутствует[339]. Стоит добавить, что все известные хеттские царицы периода раннего Нового царства имели хурритские имена, и некоторые исследователи связали данный факт с влиянием Киццувадны [Klengel 1999: 110–111, см. там же библиографию]. Один из царей данного периода, вероятно Тудхалия II, несколько раз упоминается под хурритским именем Тасмисарри [Bryce 2005: 430, сноска 91]. Вероятная роль канцелярии Киццувадны в передаче хурритской традиции в Хаттусу обсуждается в недавней статье [Melchert 2013a]. Эти факты, однако, могут быть упомянуты здесь лишь походя, поскольку статус хурритского языка в Хаттусе не является основной темой настоящей диссертации.

Обратившись к текстам, содержащим заклинания на лувийском диалекте Киццувадны, можно сразу убедиться, что ни один из них не отражает официальных религиозных практик дворца Куммани. Ритуалы Царпии, Пуриянни и Куваталлы/Силаллухи, чья прагматика обсуждается в работе [Hutter 2003: 252–254], не упоминают ни князя, ни княгиню. Ритуал Царпии (CTH 757) имеет дело с «годами разорения» и многолетней массовой гибелью в стране. Ритуал Пуриянни (CTH 758) направлен против осквернения дома. Сложнее обобщить цель произведений, приписываемых Куваталле и Силаллухи (CTH 759–762), но все они, похоже, посвящены

[339] Данную гипотезу можно подтвердить или опровергнуть анализом текстов, найденных в хеттских провинциальных центрах. Так, недавно начатые раскопки в Каялыпынаре (Самухе хеттских источников) уже дали плоды в виде фрагмента хурритской таблички, где упоминаются Киццувадна и Алалах [Wilhelm 2006: 233]. Если во время раскопок будут найдены другие хурритские тексты, необходимо выяснить, может ли их происхождение быть связано с распространением религиозных культов из Киццувадны в Самуху. Требуется также произвести анализ внутренних ссылок в многочисленных хурритских религиозных текстах, найденных в Ортакее, которые остаются неопубликованными по сей день, для того чтобы установить их происхождение. Эта задача станет особенно интересна, если будет подтверждена идентификации Ортакея с Сабинувой хеттских источников, поскольку Сабинува занимает важное место в нескольких хурритских религиозных текстах, найденных в Хаттусе [Haas 1984: 10].

«благоденствию» заказчика ритуала. Данные ритуалы могли исполняться без государственного обеспечения, просто по запросам отдельных заказчиков, и нет необходимости ограничивать их определенной географической зоной или политическим образованием.

Этот, в сущности, частный характер ритуалов в сочетании с отсутствием свидетельств использования лувийского языка на письме в Киццувадне совместим с альтернативным сценарием, в соответствии с которым данные тексты были первоначально записаны в Хаттусе. Вместо переноса текстов можно реконструировать перемещение исполнителей заклинателей в поисках прибыльных контрактов. Прямое подтверждение данному сценарию обнаруживается в земельном пожаловании KBo 5.7 (CTH 223), дарованном Арнувандой и Асмунигаль храмовой служительнице Куваталле и рассмотренном в предшествующем разделе. Уже Оттен [Otten 1953: 91] указал, что сочетание имени Куваталлы и ее титула ^{MUNUS}SUHUR.LÁ подтверждает идентификацию этой женщины со знаменитой исполнительницей ритуала. Очевидно, царь и царица Хаттусы были среди заказчиков Куваталлы и щедро наградили ее за предоставленные услуги или просто признали важность пребывания этой прославленной заклинательницы в столице.

Передача ритуалистической традиции из Арцавы в Хаттусу может являться типологической параллелью для реконструируемой ситуации. В разделе 2.4 было показано, что отсутствуют положительные свидетельства письменной передачи ритуалов в Западной Анатолии и что Ритуал Алли (CTH 402) был, по-видимому, записан до присоединения Арцавы. Там же был сделан вывод, что наиболее правдоподобный сценарий формирования арцавской ритуалистической литературы сводится к взаимодействию между приглашенными из Арцавы исполнителями ритуалов (или их учениками) и писцами при хаттусском дворе. Однако в случае ритуалов из Арцавы мои заключения не поддерживаются историческими источниками и должны оставаться гипотетическими. Пример Куваталлы позволяет подвести

эмпирическую базу под аналогичный сценарий для формирования традиции лувийских ритуалов из Киццувадны.

К этому можно добавить лингвистические аргументы, указывающие на письменную фиксацию в Хаттусе одного ритуала из Киццувадны. Речь идет о ритуале против бытовых ссор CTH 404.1, чье авторство приписывается Мастигге, «женщине из Киццувадны». Хотя данный ритуал не содержит лувийских заклинаний, тем не менее лувийская глосса *tānita* для хеттского технического термина ^{NA4}*huwāsi*$^{HI.A}$ (147), а также морфологическая интерференция, рассмотренная в разделе 1.3, предполагают его лувийское происхождение. Тем не менее из того же анализа в разделе 1.3 видно, что родным диалектом писца, подготовившего текст KBo 39.8 или его прототип, был не лувийский диалект Киццувадны, — скорее, предок имперского лувийского. Это лишено смысла, если принять гипотезу о создании KBo 39.8 в Киццувадне, однако ситуация имеет простое объяснение, если предположить, что текст CTH 404.1 был впервые записан в Хаттусе. Если основным языком Ритуала Мастигги (или языком устной традиции Мастигги) был лувийский, то довольно логично, что дворцовая администрация доверила запись данного ритуала носителю лувийского языка, проживавшему в Хаттусе, чьим главным источником интерференции был, естественно, его собственный диалект, а не диалект Мастигги[340].

(147) KUB 10.76 5–7 + 12.59 iii 7–9, CTH 404 1.II.B (MH/NS), ср. Miller 2004: 99
kuis=war=at ueteskit ^{NA4}huwāsi$^{HI.A}$ *ta-a-ni-ta* kinuna=war=at=kan kāsa lagāri
‘Кто бы их ни построил, (стелы) *huwasi*-, теперь они упали’[341].

[340] Миллер [Miller 2004: 241, 253] показывает, что ни один из сохранившихся манускриптов CTH 404.1 не может считаться его исконной формой, с которой были предположительно скопированы другие манускрипты. Однако это необязательно предполагает, что отсутствующий архетип следует искать в потерянных архивах Киццувадны. Более простая гипотеза заключается в том, что данный архетип был просто убран из архивов Хаттусы после того, как были произведены несколько его адаптаций.

[341] Приведенная интерпретация данной клаузы основана на личном сообщении от К. Мелчерта (иначе у [Miller 2004: 99] и [Yakubovich 2005c: 430]). Это единственный известный мне пример, когда лувийская глосса сопровождает хеттское выражение. По поводу общей проблемы соотношения между глоссами и гостевыми словами в клинописных текстах см. обсуждение в разделе 5.4.1.

Если тексты на лувийском языке Киццувадны действительно записывались в Хаттусе, то можно снять с писцов из Киццувадны ответственность за их характерные особенности. Следовательно, можно использовать чередование кодов, встречающееся в этом корпусе, для выводов о характере взаимодействия хеттских писцов и исполнителей ритуалов из Киццувадны. Однако прежде чем приступать к этой задаче, необходимо вкратце рассмотреть роль писцов в компиляции соответствующих текстов.

С точки зрения хеттской бюрократии цель записи ритуалов, не связанных с официальным государственным культом, могла быть как дескриптивной, так и прескриптивной. Изначально эта практика, вероятно, являлась своего рода способом регистрации исполнителей ритуалов, чтобы защитить царя и государство от неизвестной магии. Правители Хаттусы очень серьезно относились к магической угрозе, как это видно, например, из заключительного абзаца «Воззвания Телибину» (CTH 19), где предписано, чтобы каждый человек, знакомый с магией, был доставлен в царский дворец, предположительно для допроса [Hoffmann 1984: 55]. В определенный момент в период раннего Нового царства сформировалась более эффективная политика. Описания магических ритуалов, считавшихся полезными, добавлялись в государственные архивы Хаттусы, чтобы обеспечить их передачу последующим поколениям практикующих. Эта передача, однако, была не идеальной, поскольку писцы часто вмешивались в тексты ритуалов, чтобы адаптировать их к определенным обстоятельствам. Миллер [Miller 2004] и Кристиансен [Christiansen 2006] показали, что более позднее развитие традиций Мастигги и Амбацци было обусловлено творческими усилиями эрудитов. Для многих официальных лиц имперского двора анатолийская ритуалистическая традиция представлялась как набор текстов, которые

могли и должны были подвергаться модификации в соответствии с меняющимися условиями[342].

Лингвистические особенности Ритуала Мастигги против бытовых ссор (CTH 404.1) позволяют увидеть активную роль хаттусских писцов в его первоначальной компиляции. Хеттский язык прямой речи Мастигги ничем не отличается от языка обрамляющего повествования. Безусловно, это соответствует общей склонности эрудитов раннего Нового царства, согласно которой в письменном изложении требуется избегать переключения кода на лувийский. При этом можно усомниться, как это сделал Дж. Миллер, обращался ли вообще писец к Мастигге или просто основывал ритуальный сценарий на своих общих знаниях или личных соображениях. Это пример прескриптивной композиции. С другой стороны, определенные лувийские тексты, такие как Ритуалы Царпии и Куваталлы, содержат вкрапления с прямой речью на лувийском диалекте Киццувадны. Поскольку хаттусские писцы едва ли обладали активными знаниями в области этого диалекта, необходимо полагать, что заклинатели из Киццувадны дословно диктовали соответствующие отрывки, настаивая на их точной записи. Многочисленные ошибки, отражающие интерференцию с имперским лувийским и рассмотренные в разделах 1.3 и 1.4, свидетельствуют о том, что писцы не всегда справлялись с этим заданием, но, подобно пианистам из известной поговорки, старались как могли. Что подтолкнуло их в данном случае отказаться от собственных прескриптивных установок и принять правила игры, продиктованные заклинателями?

С моей точки зрения, главной причиной такого решения было желание увеличить иллокутивную силу ритуалов с помощью употребления лувийского языка. Для того чтобы считаться подходящим для магии, язык

[342] В некоторых случаях адаптации старых «частных» ритуалов, произведенные писцами, проникли в официальный культ Хаттусы. Так, Кристиансен [Christiansen 2006] показал, что хаттусские писцы превратили Ритуал Амбацци CTH 391.1 в отдельное произведение CTH 391.2, которое выставляет царя Хаттусы как покровителя ритуала (ср. 5.4.2 ниже). Это ожидаемо, поскольку писцы, работавшие в придворной администрации, должны были сообразовывать свои творческие замыслы с интересами государства.

или диалект не обязательно должен иметь высокий социальный или культурный статус. Так, демотические магические папирусы содержат заклинания, которые египтяне считали нубийскими, хотя Дилман и полагает, что они “могли быть просто собранием искаженных или вымышленных звуков”. Нубийский язык никогда не обладал высоким престижем в Египте, но сила нубийской магии упоминается в жреческом дискурсе египетских жрецов [Dieleman 2006: 70]. Другие примеры использования языков с низким статусом для магических заклинаний уже приводились в разделе 4.6. Это западносемитские и критские заклинания, инкорпорированные в египетские медицинские тексты [Steiner 1992] и хурритские заклинания против укусов змей и скорпионов в старовавилонской среде [Prechel 2001]. Хаттусские писцы также могли неуважительно относиться к лувийскому языку Киццувадны, но они, вероятно, осознавали, что если магические заклинания будут записаны на хеттском или даже на местном варианте лувийского, то они могут потерять часть исконной силы[343].

Предлагаемая гипотеза исходит из разнообразия установок писцов в отношении ритуалов из Киццувадны в период раннего Нового царства. Развитие традиции Мастигги с самого начала ее письменной фиксации, по-видимому, руководствовалось прескриптивными соображениями, в то время как писцы, ответственные за фиксацию традиции Куваталлы, стремились к описательной точности. Как следствие, писцы Мастигги игнорировали лингвистический компонент исконного устного исполнения, а писцы Куваталлы дословно передавали заклинания на лувийском диалекте Киццувадны. Сложно с уверенностью сказать, что породило это различие, но доступность экспертов-заклинателей для прямого к ним обращения могла

[343] Стоит отметить мимоходом, что тот же тип отношения лежит в основе рецитации цыганских заклинаний на аутентичном языке среди некоторых восточноевропейских народов, отличных от цыган, в XIX в. н. э. (ср., напр., [Leland 1962: 87]). Хотя цыгане обычно рассматривались как изгои в этот период, их магия вызывала большое уважение.

являться важным фактором, повлиявшим на отношение писцов к соответствующим традициям[344].

Причины, побудившие заклинателей из Киццувадны придавать значимость употреблению лувийского языка при устном исполнении ритуалов, должны быть рассмотрены отдельно. Ответ, согласно которому лувийский язык был их родным языком, едва ли является исчерпывающим, поскольку исполнители ритуалов из Хаттусы, независимо от родного языка, использовали хеттские заклинания или по крайней мере не возражали против того, чтобы они записывались по-хеттски. Если выводы из предшествующего раздела верны, и лувийский действительно был доминирующим языком в окрестностях Хаттусы в период раннего Нового царства, следовало бы ожидать, что носители лувийского языка будут составлять значительную часть местных заклинателей, но это, по-видимому, не отражено в композициях. Имеются окказиональные исключения, такие как переключение на лувийский в одном обращении к богу грома, инкорпорированном в Ритуал Туннавии (CTH 409), однако они редки и немногочисленны[345]. Ритуалисты арцавского происхождения, похоже, также не придавали большого значения языку исполнения, как было указано в разделе 2.4.

Данная установка может быть противопоставлена метафорическому переключению кодов в ритуале Царпии (CTH 757). Этот текст начинается с обращения к богу Санте и его свите на хеттском языке, но к концу ритуала автор переходит на лувийский. Некоторые формулы, использованные в хеттских и лувийских заклинаниях, почти идентичны, вплоть до того, что их

[344] В качестве альтернативы можно предположить, что ритуалы из Киццувадны с переключением кодов были записаны в более ранний период, чем ритуалы Мастигги и сходные тексты. Это предполагает, однако, что хаттусские писцы начали записывать «частные» ритуалы знахарей из Киццувадны до того, как они обратились к их местным эквивалентам, поскольку переключение кодов обычно избегалось в собственно хаттусской ритуальной литературе (ср. ниже).

[345] Случай «Песен из Истанувы» (CTH 773) — особый, поскольку эти поэтические пассажи не цитируются на сохранившихся табличках целиком. В тексте присутствуют лишь ссылки на начальные строки из песен, которые должны были исполняться в течение праздника Истанувы, при этом полный текст соответствующих песен, как ожидалось, должен быть знаком читателям табличек. Безусловно, идентифицировать лувийские песни было бы сложнее, если бы их начальные строки цитировались на хеттском. Следовательно, переключение кодов в письменном тексте CTH 773 должно рассматриваться как функционально обусловленное и свободное от метафорического значения.

анализ дает ключ к пониманию лувийской грамматики (ср. (148) vs. (149) ниже). Таким образом, в этом тексте отсутствует ясная функциональная дистрибуция между двумя языками. Очевидно, целитель Царпия считал, что успокоение Санты одновременно на хеттском и лувийском языках может повысить вероятность положительного ответа со стороны бога. Это тот же тип лингвистического поведения, что и практика многоязычных ритуалов периода Древнего царства, спонсором которых выступало государство. Чередование двух анатолийских языков не может являться изобретением хеттских писцов, зафиксировавших ритуальное исполнение Царпии, и коренится в социолингвистической ситуации в Киццувадне, имевшей место во времена, когда Царпия начал свою профессиональную карьеру.

(148) HT 1 i 29–31, CTH 757.A (NS), Starke 1985: 50–51
ehu ^{d}AMAR.UTU katti=ti=ma=tta ^{d}Innarawantas(!) uwa<n>du
ēshanuwanta ku(i)yēs wēssa<n>ta $^{LÚ.MEŠ}$Lūlahiyas=san huprus ku(i)yēs
ishiyantis
‘Приди, Санта! Пусть боги Иннараванты, носящие окровавленные (одеяния), повязывающие перевязи (варваров) лулаххи, придут вместе с тобой’.

(149) KUB 9.31 ii 22–24, CTH 757.B (NS), Starke 1985: 53
^{d}Ša-an-ta-aš LUGAL-uš ^{d}An-na-ru-um-mi-en-zi aš-ha-nu-wa-an-ta ku-in-zi wa-aš-ša-an-ta-ri ^{d}Lu-u-la-hi-in-za-aš-tar hu-u-up-pa-ra-za ku-in-zi hi-iš-hi-ya-an-ti
‘Боги Аннарумми, носящие окровавленные (одеяния), повязывающие перевязи (варваров) лулаххи…’

Другой пример метафорического переключения кодов говорит в пользу специфической социолингвистической ситуации в Киццувадне во времена, когда она уже была присоединена к империи Хаттусы. Праздничный фрагмент CTH 479, сохранившийся в копии XIV в. до н. э., содержит отдельные положения, касающиеся ритуально значимых действий, которые

должны исполняться в Хаттусе и Киццувадне в определенные дни. Так, на шестнадцатый день праздника царь и царица Хаттусы должны были испражниться на заре для умилостивления богов, в то время как их представителям в Киццувадне следовало ждать до утра. Для целей настоящего исследования важнее то, что один и тот же физиологический процесс в условиях Хаттусы и Киццувадны описывается с помощью двух различных глаголов. Хеттский глагол *sakniya-* используется в отношении царя и царицы Хаттусы, в то время как в отношении официальных лиц из Киццувадны употребляется лувийское иностранное слово *katmarsi-*. Автор ритуала, безусловно, был осведомлен о более высоком статусе лувийского языка в Киццувадне по сравнению с хеттским, хотя его отношение к Киццувадне, возможно, было ироничным.

(150) KUB 30.31 i 1–6, CTH 479.1.A (NS), Lebrun 1977: 95

kuitman=kan ^{d}UTU-us nawi ūpzi nu LUGAL MUNUS.LUGAL ^{URU}Hattusi **sakniyanzi** n=at=za arhayan esandari mahhan=ma=kan ^{d}UTU-us ūpzi apē=ma *INA* ^{URU}*KIZZUWATNA INA* É.^{d}IM ^{É}sinapsi=ya ***kat-mar-ši-it-ti***

‘Когда солнце еще не взойдет, царь (и) царица **испражнятся** в Хаттусе, (они) сядут (делать это) по отдельности. Когда же взойдет солнце, **испражнятся** (лув.) в Киццувадне, в храме бога грома и в храме *sinapsi*’[346].

[346] Иная интерпретация того же отрывка предложена в [CHD, Š: 47a]: “Before the sun rises, they anoint the king (and) queen in Hattusa, and they sit themselves apart; but when the sun rises, there[?] in “Kizzuwatna”, in the temple of Tešsup, in the *šinapši*-building they (?) k.”. Стоит, однако, отметить, что другие отрывки CTH 479 описывают параллельные ритуальные действия, исполнявшиеся в Хаттусе и Киццувадне (ср. KUB 30.31 iv 1–2 vs. 7–9 или KUB 30.31 iv 20–21 vs. 27–28, [Lebrun 1977: 101]). Следовательно, реинтерпретация *sakniyanzi* в значении ‘они смазывают’, вероятно, должна вести за собой переинтерпретацию *katmarsitti* в том же ключе. На данный момент неочевидно, каким образом последняя реинтерпретация может быть обоснована, так что здесь сохраняется традиционный перевод (150). Если в будущем появятся независимые свидетельства в пользу значения *katmarsi-* ‘исполнять ритуал помазания’ (или что-то подобное), это подкрепит интерпретацию, приводимую в [CHD], где пока *katmarsi-* в данном фрагменте приводится без перевода. Но даже в этом случае социолингвистические выводы, касающиеся шутливого использования хеттских и лувийских синонимов в связи с Хаттусой и Киццувадной, останутся справедливыми.

Мне кажется, что именно отсутствие языкового планирования (с целью закрепить хеттский язык в качестве официального) обеспечивало позитивное отношение к многоязычию в Киццувадне до его присоединения к Хаттусе. Если местные элиты воспринимали аккадский и (в меньшей степени) хурритский как языки, подходящие для письма (см. выше), то хеттский и лувийский должны были ощущаться как просторечия. С другой стороны, ни аккадский, ни хурритский не были родными языками для высших классов Киццувадны, и, по-видимому, лишь малая группа эрудитов усваивала их в качестве вторых языков. В таких условиях хеттские и лувийские группы населения, установившие свое доминирование в Киццувадне в XVII или XVI вв. до н. э., могли продолжать исполнение магических ритуалов на своих родных языках. Хеттский в этом плане не имел явного преимущества перед лувийским, однако метафорическое переключение кодов между двумя языками могло рассматриваться уместным при обращении к божествам, которым поклонялись обе этнические группы. В приведенной ниже таблице резюмируется обоснованное выше предположение о различиях между функциями отдельных языков в Киццувадне по сравнению с Арцавой и Хаттусой периода раннего Нового царства.

Социолингвистическая ситуация в Венгрии начала XIX в. является приблизительной параллелью тому, что здесь реконструируется для Киццувадны. В отличие от австрийской части Габсбургской империи, где немецкий заменил латинский в качестве основного административного языка еще в конце 1700-х гг., Венгрия сохранила латинский в качестве официального языка до 1844 г. В значительной степени это было связано с усилиями мадьярского дворянства, которое не без оснований опасалось, что националистические реформы, исходящие из Вены, могут угрожать его положению. Культурное доминирование латинского языка, который не был родным ни для кого, воспринималось как менее опасное для венгерской культуры, чем распространение немецкого языка в административной сфере. В действительности первая половина XIX в. стала временем формирования

современного венгерского литературного языка, а также возникновения мадьярского национализма. Венгерский получил статус официального языка в 1844 г. и после небольшого перерыва, вызванного поражением венгерского освободительного движения в 1849 г., его официальный статус был окончательно закреплен в 1867 г.

Таблица 30. Многоязычие в Анатолии XIV в. до н. э.

	Языковое доминирование	Социальное доминирование	Культурное доминирование
Киццувадна	лувийский	лувийский, хеттский	аккадский, хурритский
Хаттуса	лувийский	хеттский	хеттский
Арцава	лидийский, «арцавский»	«арцавский»	хеттский

Судьба лувийского диалекта Киццувадны была менее благоприятной. В разделе 1.8 было сделано заключение, что присоединение Киццувадны к Хаттусе постепенно вызвало распространение имперского лувийского койне на «вновь освобожденных территориях». Однако инкорпорация ритуалов из Киццувадны в царские архивы Хаттусы, вероятно, сыграла роль в воспитании толерантного отношения хеттских элит к многоязычию в официальной сфере. Если бы дело обстояло иначе, хурритский и лувийский языки могли маргинализоваться как формы письменного выражения в империи Хаттусы, и, как следствие, сегодня об этих языках было бы известно значительно меньше. Точная фиксация переключения кодов между хеттским и лувийским языками в табличках с ритуалами из Киццувадны могла проложить путь как для частого чередования кодов в письменных текстах имперского периода, так и для признания лувийского в качестве письменного языка.

4.9 Изобретение анатолийских иероглифов

Анатолийское иероглифическое письмо представляет собой смешанную слоговую и логографическую систему, которая детально проанализирована на синхронном уровне в работе [Hawkins 2003][347]. Известно, что письмо использовалось для монументальных надписей в империи Хаттусы позднего бронзового века и в постхеттских государствах начала железного века, а также для писем и административных документов в постхеттский период. Обозначение «хеттские иероглифы» широко использовалось в конце XIX в. — начале XX в. и все еще употребляется, пусть и довольно редко, в научной литературе. Однако в процессе дешифровки письма стало постепенно понятно, что оно использовалось в основном не для записи хеттского/неситского языка (основного языка клинописных архивов Хаттусы), а для фиксации лувийского языка. С точки зрения исследователей, рассматривавших лувийский как провинциальный язык, использовавшийся в отдельных периферийных областях хеттского государства, иероглифический шрифт должен был быть привнесен в Хаттусу извне. Так, Гютербок [Güterbock 1956c: 518] отвечал на вопрос “кем и для какого языка было создано иероглифическое письмо” следующим образом: “Лувийцами, для лувийского языка, на лувийских территориях”.

Другие исследователи лувийского языка выдвинули более конкретные, хотя и взаимоисключающие гипотезы, касающиеся прародины анатолийских иероглифов. Так, Хокинс [Hawkins 1986: 374] писал: “Эгейские связи анатолийского иероглифического письма явно свидетельствуют о его западноанатолийском происхождении, а не о центрально-восточном, где с начала II тыс. до н. э. ощущалось влияние клинописного письма”. С другой

[347] Данный раздел был первоначально опубликован в развернутом виде как отдельная англоязычная статья [Yakubovich 2008c]. За время, истекшее после публикации данной статьи, гипотеза об изобретении анатолийских иероглифов в смешанной хетто-лувийской среде уже успела получить широкую поддержку специалистов. См., в частности [Weeden 2011: 28, Hawkins 2013b: 5–6]. Единственная известная мне публикация, которая полностью отвергает данную гипотезу, — это [Oreshko 2013a: 400–409]. О позиции Вааль см. ниже в данном разделе.

стороны, Нойманн [Neumann 1992: 26, сноска 1] предполагал: “Как место возникновения [анатолийских иероглифов], в первую очередь, приходит на ум город, являющийся одновременно важным политическим и торговым центром (гаванью?) В качестве ареала, где могло возникнуть это письмо, лучше всего подходит Киликия”.

Данный вопрос, однако, может быть пересмотрен в свете недавних открытий, касающихся понимания социолингвистической ситуации в хеттской столице. Понимание того, что там наряду с хеттским говорили и на лувийском языке (по крайней мере с начала раннего Нового царства и, вероятно, даже раньше) увеличивает вероятность формирования анатолийского иероглифического письма в Хаттусе в смешанном хетто-лувийском окружении. В дальнейшем я постараюсь развить данную гипотезу, привлекая внешние свидетельства, а именно информацию, касающуюся жанров и датировки первых иероглифических надписей, и внутренние свидетельства, то есть анализ акрофонической деривации, давшей силлабические значения отдельных анатолийских знаков.

Развитие анатолийского иероглифического письма представляло собой длительный процесс. Стадия 1 представлена пиктограммами на анатолийских цилиндрических печатях периода ассирийских факторий (XX–XVIII вв. до н. э.), некоторые из которых внешне напоминают более поздние анатолийские знаки. Так, Мутон [Mouton 2002] убедительно показывает связь изображений оленя и молнии, появляющихся на анатолийской глиптике, с богом-защитником и богом грома. Позднее оба знака развились в логографические репрезентации соответствующих божеств. Можно также предполагать формальную связь между некоторыми элементами глиптической иконографии, имеющими неясные синхронные ассоциации, и более поздними иероглифическими знаками. Мутон, например, рассматривает связь между «жезлом с шариками», появляющимся рядом с изображениями божеств и людей на цилиндрических печатях из Анатолии и Месопотамии начала II тыс. до н. э., и иероглифическим знаком *153 <nu>,

хотя об исходном иконографическом значении данного мотива остается только догадываться[348]. Тем не менее едва ли стоит рассматривать пиктографический инвентарь «каппадокийской» глиптики как замкнутую семиотическую систему, поскольку не удается обнаружить прямую связь между функцией печатей и их иконографией[349].

Иная перспектива на развитие иероглифического письма на Стадии 1 представлена в недавней работе [Waal 2012]. Автор указывает на категорию не дошедших до нас документов, обозначаемых термином *iṣurtum* в староассирийских текстах и упоминаемых в контексте делового взаимодействия с туземным населением Анатолии. Она также подчеркивает связь данной лексемы с аккадограммой *UṢURTUM*, употреблявшейся в хеттских текстах наряду с шумерограммой GIŠ.HUR для обозначения определенной категории документов — вероятно, деревянных табличек. Из этого делается вывод о преемственности между письменной культурой анатолийцев в период ассирийских факторий и практикой нанесения деловых иероглифических текстов на деревянные таблички, реконструируемой для XIII в. до н. э. (см. ниже). Неясно, однако, как примирить постулируемое сходство в административном делопроизводстве и реальное отсутствие такового в глиптике, если учесть, что печати XIII в. до н. э. отражали явный прогресс в развитии иероглифической системы письма, стадии которого можно проследить поэтапно. При необходимости выбирать между прямыми свидетельствами глиптики и двойной реконструкцией типологии административных документов опора на первый тип источников безусловно является более надежной. Поэтому вопрос о характере документов *iṣurtum* остается за рамками настоящего исследования[350].

---

[348] О предшествующей оценке знаков на «каппадокийской» глиптике см. [Börker-Klähn 1995]. К сожалению, заключение автора о том, что “лувийская иероглифическая система письма была создана в период [ассирийских] колонистов”, не может быть подтверждено отдельными изолированными пиктограммами периода ассирийских факторий, рассмотреными в ее статье.

[349] Попытка Алпа [Alp 1968: 281–301] интерпретировать пиктографические элементы штамповых печатей из Коньи-Карахююк (они, по-видимому, восходят к концу периода ассирийских факторий) как раннюю форму письма может считаться безуспешной. См. критику у [Boehmer, Güterbock 1987: 36–40].

[350] В принципе, нельзя исключить, что документы *iṣurtum* использовали систему бухгалтерского учета, генетически родственную более поздним анатолийским иероглифам, но ограниченную цифрами и

Стадия 2 характеризует новую ситуацию в период Древнего царства (XVII–XV вв. до н. э.), когда вновь вошедшие в моду плоские печати стали стабильно содержать в своей средней небольшую группу хорошо узнаваемых благоприятных знаков-оберегов (периферия обычно была занята клинописными надписями)[351]. Наиболее частыми из них были VITA (*369) — знак, напоминающий египетский «анх», и BONUS (*370) — знак неизвестного происхождения, указывающий на изобилие [Hawkins 2003: 166]. В некоторых случаях в данный период могли использоваться и дополнительные знаки. Так, булла Испутахсу, князя Киццувадны, содержат знаки TONITRUS и REX, которые предположительно свидетельствуют о том, что Испутахсу воспринимал себя как князя, правящего по милости бога грома[352]. Поскольку печати Испутахсу часто упоминаются в связи с эволюцией иероглифического письма, важно отметить отсутствие иероглифических печатей, принадлежавших другим правителям Киццувадны. Кроме того, данный объект может отражать хеттское культурное влияние на Киццувадну, ведь само имя Испутахсу, по-видимому, имеет хеттское происхождение[353].

Стадия 3, относящаяся к периода раннего Нового царства (начало XIV в. до н. э.), может рассматриваться в качестве рудиментарной

логограммами для различных товаров. Подобная система, разумеется, могла развиваться независимо от символов, актуальных для печатей, и слиться с ними в одну систему письма уже в более поздний период. Однако также нельзя исключить, что таблички *işurtum* использовали инвентарь знаков, генетически не имеющий ничего общего с позднейшими анатолийскими иероглифами. В качестве типологической параллели здесь можно упомянуть праэламское и линейное эламское письмо, каждое из которых представляло собой самобытную систему, существовавшую краткий промежуток времени, а затем исчезнувшую.

[351] Набор иероглифических символов, встречающихся в печатях Древнего царства, см. у [Mora 1991]. Автор заключает: “По нашему мнению, нельзя говорить о начальном этапе анатолийской иероглифической письменности (имея в виду систему письма, использовавшуюся с начала имперского периода) в XVIII–XVII вв.” [ibid.: 22]. В то же время она признает, что пиктограммы данного периода использовались для передачи семиотических сообщений, так что они являлись настоящими знаками [ibid.: 20].

[352] Описание этой знаменитой печати см. у [Mora 1987: # 8.1.1]. Ср. [Carruba 1974b: 88–90], где представлена неубедительная попытка фонетически прочесть TONITRUS.REX как Тарухсу, прозвище Испутахсу. Согласно работе [Houwink ten Cate 1992: 250], этот набор знаков может читаться как *Tarhuntassa*, несмотря на отсутствие детерминатива REGIO на печати Испутахсу и упоминаний Тархунтассы в письменных источниках, предшествующих царствованию Муваталли II.

[353] По-видимому, имя Испутахсу изначально произносилось как /spudahsu/. Реконструкция консонантного кластера в начале слова, которая препятствует его лувийскому происхождению, подтверждается вариантом *Šu-pu-da-ah-šu* в аккадском тексте из Канеша/Несы периода ассирийских факторий (Kt o/k 53.3). Об упрощении кластеров *sC-* в лувийском см. [Melchert 1994: 271].

письменной системы, включавшей фонетические (силлабические) знаки в дополнение к логограммам. Начиная с Тудхалии I, цари Хаттусы использовали диграфные печати, содержавшие их имена и титулы, заполненные в центре анатолийскими иероглифами, а по периферии клинописной передачей тех же имен и титулов[354]. Так, имя *Sata(n)duhepa*, принадлежащее жене Тудхалии II, было записано как *sà(-)tà-tu-ha-pa* и помещено вслед за ее титулом MAGNUS.DOMINA на двух оттисках царской печати, найденных в Машате [Mora 1987, #8.4.1 a-b]. Короткие тексты, подобные этому, не дают прямых указаний, должны ли соответствующие печати рассматриваться как двуязычные, или они просто использовали две письменные системы (ср. [Hawkins 2003: 140] и раздел 4 ниже). К этому следует добавить группу печатей, которые принадлежавших высокопоставленным чиновникам, которые, похоже, можно отнести к доимперскому периоду по своему стилю (см. их подборку в [Boehmer, Güterbock 1987: 43–46]). В отличие от царских печатей, образцы из данной группы содержат иероглифические знаки без клинописных эквивалентов[355].

Тем не менее Стадия 3 анатолийского иероглифического письма не создает впечатление развитой системы, подходящей для записи сложных посланий. Передача царских имен или имен высокопоставленных чиновников может быть описана как ребусное письмо, намекающее на фонетическую форму имен, а не передающее их в соответствии со стандартной конвенцией. Так, написание имени Тудхалии в форме MONS.*TU* состоит из изображения священной горы Тудхалия и фонетического индикатора, намекающего на первый слог имени. В отличие от этого, написание имени Суппилулиумы в виде PURUS.FONS.MA_x содержит логографическую запись топонима *Suppiluli* (букв. ‘чистый источник’),

[354] Иероглифические записи имен новохеттских правителей собраны в работе [Boehmer, Güterbock 1987: 80]. Об иероглифической передаче имени Тудхалии I см. [Otten 2000].

[355] Бемер и Гютербок [Boehmer, Güterbock 1987: 39, рис. 35c] опубликовали печать, содержащую иероглифическую комбинацию *HATTI+li* (=Хаттусили), которую они отнесли по стилистическим признакам к периоду Древнего царства. Эта печать была найдена во вторичном слое, в стене фригийского укрепления Хаттусы. Согласно личному сообщению А. Мюллер-Карпе, печати подобного стиля обнаружены и в надежно датированных слоях XIV в. до н. э., поэтому датировку Бомера и Гютербока следует считать устаревшей.

дополненную фонетическим индикатором MA_x, намекающим на последний слог царского имени [ср. Güterbock 1998b: 203]. Представляется, что писцы сталкивались с заданием изобрести новый ребус каждый раз, когда им приходилось иметь дело с новым царским именем. Самый простой способ объяснить данную дистрибуцию — это принять, что конвенции силлабического иероглифического письма еще не развились в полной мере в Анатолии XIV в. до н. э.

Главная инновация Стадии 4 заключается в установлении прочной ассоциации между анатолийским иероглифическим письмом и лувийским языком в XIII в. до н. э. Самые ранние иероглифические надписи, содержащие лувийские формы в фонетической передаче, — это FIRAKTİN и ALEPPO 1 [ср. Hawkins 2000, I: 19a][356]. Первая надпись состоит из подписей, сопровождающих рельеф царя Хаттусили III и царицы Пудухебы, в то время как во второй упоминается Талми-Саррума, царь Алеппо, который, подобно Хаттусили III, был внуком Суппилулиумы I. Во второй половине того же века появляются большие монументальные надписи, написанные на лувийском, такие как YALBURT, и алтари EMİRGAZİ (предварительные издания см. в работе [Hawkins 1995]). Связь между лувийским языком и иероглифическим письмом была твердо установлена к концу имперского периода, когда развитие письма достигло стадии, сделавшей его пригодным для передачи пространных нарративов.

Из данного обзора выявляется постепенный характер развития пиктограмм в полноценную систему письма. Это, конечно, не означает, что иероглифический шрифт развивался в Центральной Анатолии в изоляции. Отдельные анатолийские пиктограммы, как уже упоминалось выше, имеют вероятные параллели в Месопотамии и Египте, и логично предположить, что использование месопотамской клинописи хеттами облегчило создание иероглифических силлабограмм. Но ни одна из описанных стадий не

[356] Последнюю публикацию рельефа FIRAKTİN и сопроводительной надписи см. в работе [Ehnringhaus 2005: 59–65].

характеризуется радикальными инновациями, которые требовали бы предположить заимствование зарубежной системы. Поэтому развитие анатолийского письма в центральной части Анатолии, где было найдено большинство ранних его образцов, является наиболее экономной гипотезой. Учитывая этот вывод, можно приступить к анализу внутренних свидетельств.

Хорошо известно, что во многих ранних фонетических системах письма значения символов были установлены по принципу акрофонической деривации. Так, в раннем ханаанейском алфавите знак <b> выглядит как дом, тем самым отражая тот факт, что ханаанейское слово для дома, **bayt*, начинается с [b], знак <k> выглядит как кисть руки, поскольку слово **kapp* ‘рука/ладонь’ начинается с [k], и т. д. [Hackett 2004: 367]. Если в основе фонетизации анатолийских иероглифических знаков на Стадиях 3–4 лежит аналогичный принцип, то разумно предположить, что силлабограммам приписывались значения на базе языков, которые воспринимались изобретателями письма как родные. Если в данном процессе играли роль и хеттский, и лувийский, то оба языка были распространены в сообществе, где создавалось письмо.

Обсуждение эмпирических данных, которые могут быть предложены в пользу сценария двуязычия, составляет основную задачу оставшейся части данного раздела. Я постараюсь представить систематический обзор иероглифических силлабограмм с достоверными или правдоподобными «этимологиями». Предлагаемый ниже анализ включает списки акрофонически обоснованных фонетических значений, которые собраны в работах [Neumann 1992: 39] и [Hawkins 2003: 162][357].

Таблица 31 содержит шесть фонетических знаков, которые фиксируются начиная со II тыс. до н. э. и для которых может предполагаться акрофоническая деривация, основанная на звуковых формах хеттских (но не лувийских) лексем. Только первые четыре примера, отмеченные жирным

[357] Я исключил из настоящего анализа несколько знаков, упомянутых в работе [Neumann 1992], поскольку предложенный способ их огласовки представляется мне слишком гипотетичным.

шрифтом, должны рассматриваться как доказательные, в то время как остальные знаки могут теоретически выводиться из неизвестных лувийских лексем (лувийские когнаты хетт. *pattar* ‘корзина’ и *sasa* ‘газель’ до сих пор неизвестны).

Таблица 31. Анатолийские иероглифы железного века, производные от хеттского

*41		CAPERE	<tà> (/da/)	хетт. *da-* vs. лув. *la(la)-* ‘брать’[358]
*391		4	<mi>	хетт. *miwa-* vs. лув. *mawa-* ‘четыре’[359]
*90		PES	<ti>	хетт. *tiya-* ‘идти, ступать’[360] (ср. лув. *ta-* ‘стоять, ступать’)
*56		INFRA	<ká>	хетт. *katta* vs. лув. *zanta* ‘вниз’[361]
*334		(отсутствует)	<pa>	хетт. *pattar* ‘корзина’
*104		(отсутствует)	<sà>	хетт. *sasa-* ‘газель’ (Payne 2008: 120)

В семи случаях значения силлабограмм бронзового века могут быть акрофонически выведены из лувийских (но не из хеттских) лексем. Степень

[358] Ср. [Morpurgo-Davies 1987: 211–212, сноска 17]: “Мы с Хокинсом уже обращали внимание на то, что было бы возможно читать все *ta*-формы как логографические, предполагая, что знак *41 должен читаться как CAPERE, а не <*tà*->. Если бы это было так, то нормальное прочтение корня было бы *la-* (как в случае клинописного лувийского). Возражение здесь заключается в том, что для знака *41, «принимающая рука», силлабическое значение <*tà*> определено совершенно точно — и сложно понять происхождение этого значения, если бы глагол был не *ta-*, а *la-*. Конечно, остается возможность того, что ранний глагол *ta-*, существовавший во время создания силлабического письма, был затем смешан с *la-* в результате фонетического изменения или лексического замещения”.

[359] Стоит, однако, отметить, что тот же самый знак мог использоваться во II тыс. до н. э. как фонетический индикатор MA_x, сопровождающий логограмму [ср. Güterbock 1998: 203]. Относительно возможности употребления *391 в значении <ma/i> в определенных писцовых традициях имперского периода, см. [Oreshko 2013a: 352, 364].

[360] Ср. [Hawkins 2003: 162]: “Отношение других силлабических значений к соответствующим логограммам может быть необъяснимо, в особенности PES ‘нога’, силлабическое *ti*”.

[361] Худехебюре [Goedegebuure 2010a] представляет убедительные аргументы в пользу функциональной идентичности лув. *zanta*, записываемого фонетически в клинописных текстах, и хеттского преверба *katta* ‘вниз’. Как предполагается, эти превербы являются когнатами и восходят к индохетт. **k’ɲto*. Поскольку аффрикатизация индохетт. **k’* является общелувической особенностью, иероглифическое INFRA-*ta* должно также читаться как /zanda/, а не /katta/.

доказательности примеров, приведенных в Таблице 32 (ниже), также не является одинаковой. Только первые четыре случая, отмеченные жирным шрифтом, могут рассматриваться как убедительные, в то время как знаки из остальной части таблицы могут объясняться на основе лувийского лишь с учетом определенных допущений. Деривация *367, рассмотренная выше в данном разделе, зависит от реконструкции его логографического значения HIC ‘этот’, которое правдоподобно, но не обладает абсолютной достоверностью. В случае *319 предполагаемое объяснение базируется на графической форме знака, которая напоминает указывающую вдаль стрелку. В случае *389 контраст между хетт. *teri-* и лув. *tarr(a/i)-* ‘три’ сомнителен из-за отсутствия отдельного иероглифического символа со значением <teri>. Наконец, поскольку хеттское слово для числа ‘девять’ неизвестно, остается возможность того, что оно выглядело как *nuwa-*, что может предоставить основу для акрофонической деривации *395 на основе хеттского языка.

Таблица 32. Анатолийские иероглифы бронзового века, производные от лувийского

*13		PRAE (тж. ср. *14)	<pari>	хетт. *peran* vs. лув. *parri* ‘перед’
*320		BONUS	<wà/ì>	хетт. *assu* vs. лув. *wāsu-* ‘хороший’
*327		SIGILLUM	<sa_5>	хетт. *siyatar* vs. лув. *sasanza* ‘печать’
*389		3(+ra/i)	<tara/i>	хетт. *teri-* vs. лув. *tarr(i)-* ‘три
*70		SUPER	<sari>	хетт. *ser* vs. лув. *sarri* ‘над’[362]
*376		HIC(?)	<za>	хетт. *ka-* vs. лув. *za-* ‘этот’
*395		9	<nú>	лув. *nuwinza* ‘девять/девятый’

Наконец, группа примеров, резюмируемая в Таблице 33, относится к тем случаям, когда знак может быть выведен как из хеттского, так и из лувийского. Например, и хетт. *pāi-/piya-* ‘давать’, и лув. *piya-* ‘id.’ могли мотивировать значение <pi> для *66, графически — протянутая рука[363]. На самом деле нет необходимости выбирать между этими двумя возможностями, поскольку лица, ответственные за введение новых силлабограмм, могли владеть как хеттским, так и лувийским.

[362] *270 = SUPER используется со значением <sari> в иероглифической транслитерации Сарри-Тешуба, хурритского имени Муватталли II. Стоит однако отметить, что на печатях хеттских официальных лиц имперского периода в качестве эквивалента *sar(r)i-* используется SUPER+*ra/i* [Herbordt 2005: 175–177], что свидетельствует об ином фонетическом значении *270 = <sar> (vel sim.). Для уточнения требуются дополнительные примеры силлабографического использования *270.

[363] Безусловно, следует различать этимологию данной лексемы и ее наличие в определенном языке. Например, хотя название Хаттусы является неиндоевропейским по происхождению, все же оно было привычным для хеттов и лувийцев, живших в этом городе.

Таблица 33. Анатолийские иероглифы бронзового века, имеющие неясное происхождение

*362		DARE	<pi>	хетт. *pāi-/piya-* vs. лув. *piya-* ‘давать’
*175		LINGUA	<la>	хетт. *lala-* vs. лув. *lal(i)-* ‘язык’
*100		ASINUS	<ta>	хетт./лув. *targasna-* ‘осел’
*160		VITIS	<wi>	хетт. *wiyan(a)-* vs. лув. *wiyani(ya)-* ‘лоза’
*329		REL	<kwa/i>	хетт. *kui-* vs. лув. *kui-/kua-* ‘который’
*508		CURRERE	<hwa/i>	хетт. *huwāi-/hu(i)ya-* vs. лув. *hui(ya)-* ‘бежать’
*105		BOS	<u>/<mu>	(звук мычания)?[364]

Полезно сопоставить материалы, собранные в Таблицах 31–33, с группой знаков, получивших силлабографические значения только в I тыс. до н. э. В этот поздний период, когда хеттский язык, вероятно, уже исчез и почти точно не был разговорным в эпиграфическом сообществе, ответственном за создание лувийских иероглифических текстов. Поэтому не следует ожидать, чтобы хеттская акрофония могла играть какую-либо роль в деривации новых силлабограмм в данный период. И действительно, все фонетические значения, перечисленные в Таблице 34, могут быть объяснены через анализ лувийских лексем. Единственный потенциально проблематичный случай — это *347 = <hù>, для которого Нойманн

[364] Самое раннее фонетическое значение варианта знака BOS, который выглядит как тело быка и часто транскрибируется как BOS2 (*106), — это <mu(wa)>. См., напр., архаические печати [Boehmer, Güterbock 1987: # 117] и [Herbordt 2005: #259]. О частом использовании знака BOS со значением <mu> в анатолийской глиптике имперского периода см. [Hawkins 2005b: 428b]. Хотя развитый иероглифический шрифт позволяет различить *105/106 <u> и *107 <mu> = <u + mi>, это следует считать результатом вторичной дифференциации. Следует отметить, что Хокинс, принимая в целом мой сценарий происхождения анатолийских иероглифов, тем не менее продолжает возражать против предлагаемой мной этимологии *105, настаивая на акронимической деривации <u> из лув. *uwa(wi)-* ‘бык’ [Hawkins 2013b: 7]. С моей точки зрения, лувийским рефлексом и.-е. *$g^{w}ou$- ‘бык’ может быть лишь **waw(i)-*, но никак не ***uwa(wi)-*.

[Neumann 1992] предполагает акрофоническую деривацию, отталкиваясь от хетт. *huppar* ‘горшок, чаша, бочонок’. Тем не менее, если лув. *huppart(i)-* ‘тазобедренная кость’ действительно выводится из того же корня, как полагает Мелчерт [Melchert 2003: 196], вполне правдоподобно, что базовое имя со значением ‘чаша’ также существовало и в лувийском, но просто осталось незафиксированным в доступных нам текстах.

Таблица 34. Анатолийские иероглифы железного века, выведенные из лувийского

*103		CERVUS	<rú>	лув. *Runtiya-* ‘бог-защитник’ (в образе оленя)
*313		VIR	<zí>	лув. *zid(i)-* ‘мужчина’
*82		CRUS	<ta$_6$>	лув. *ta-* ‘стоять, ступать’
*362		DEUS	<má>	лув. *massan(i)-* ‘бог’
*332		NEG	<ná>	лув. *na* ‘нет’
*326		SCRIBA	<tù>	лув. SCRIBA-*la-* = **tupala* ‘писец’
*196		*HATTI*	<há>	хетт./лув. *Hattusa*
*347		(отсутствует)	<hú>	лув. **huppar(a)-* ‘чаша’

Из приведенного выше анализа следует, что хотя развитие анатолийского иероглифического письма было тесно связано с историей лувийского языка, его самая ранняя стадия также имеет следы хеттского влияния. Обозначение «лувийские иероглифы» может являться относительно более точным, чем более раннее «хеттские иероглифы», но оба названия

предполагают ассоциацию лишь одного языка с системой письма, которая на самом деле выступает совместным детищем носителей хеттского и лувийского языков[365]. Именно поэтому оба наименования должны быть отвергнуты в пользу нейтрального обозначения «анатолийские иероглифы».

Социолингвистическая ситуация в Хаттусе ок. 1400 г. до н. э., где большинство населения уже было лувийским, а хеттский пользовался политическим и культурным престижем, делает хеттскую столицу наиболее вероятным местом для фонетизации анатолийского иероглифического письма. Следовательно, больше нет необходимости спекулировать об Арцаве или Киццувадне как о регионах, где возникли первые анатолийские силлабограммы.

Мы видим, что сочетание внешних и внутренних свидетельств позволяет отвергнуть утверждение Гютербока о том, что анатолийский иероглифический шрифт был создан лувийцами, в лувийских землях и для записи лувийского языка[366]. Мои ответы на вопросы, поставленные в работе [Güterbock 1956c], отличны от тех, что предложил Гютербок: анатолийский иероглифический шрифт формировался в Хаттусе, в смешанном хеттском и лувийском окружении, для записи анатолийских имен и титулов на долговечных предметах, таких как печати. Это происходило в то время, когда уже более 200 лет в хеттской столице использовалась клинопись месопотамского происхождения. Но что же сподвигло хеттских правителей и высокопоставленных чиновников ввести новую систему письма?

Мы считаем, что данное решение было продиктовано преимущественно националистическими соображениями. Хеттские царские печати периода Древнего царства, так называемые печати-*tabarna*, использовали аккадский язык. Даже в более поздний период клинописная

---

[365] Для полноты следует также упомянуть, что анатолийские иероглифы использовались для записи хурритских божественных имен на рельефах YAZILIKAYA [Hawkins 2003: 141] и фиксации урартских мер веса на пифосах из ALTINTEPE [Hawkins 2000, II: 588–589]. Эти исключительные случаи, однако, не повлияли на развитие иероглифической системы письма в целом.

[366] Сомнения по поводу обоснованности заключения Гютербока были независимо высказаны в работе [Payne 2008], хотя и в более осторожной форме.

периферия царских печатей могла в принципе читаться как по-аккадски, так и по-хеттски или по-лувийски, поскольку она состояла из личных имен и шумерографических выражений. Конечно, для указания на анатолийский язык печати можно было бы записать фонетически имена нарицательные в составе титулов, такие как ‘сын’ или ‘царь’, но это сделало бы надписи значительно более длинными и к тому же противоречило бы общей практике написания данных слов как шумерограмм в хеттских текстах. Радикальная альтернатива заключалась в изобретении новой системы письма, которая отличалась бы от использовавшейся в Месопотамии. Выбор данного решения мог быть обусловлен существованием рудиментарной знаковой системы, употреблявшейся уже на печатях Древнего царства.

Данное развитие может быть сопоставлено с другим процессом, а именно с переходом от аккадского к хеттскому в качестве главного письменного языка в Хаттусе, который также осуществлялся шаг за шагом. Здесь мы имеем дело не с переходом к национальному языку, что было бы сложно осуществить в небольших стереотипных текстах, а с переходом к национальному письму. Но различие между этими двумя реформами имело и социолингвистическое измерение. Клинописные таблички писались и читались профессиональными писцами, которым не составляло труда различить аккадский и хеттский. Введение нового письменного языка должно было явиться для данной группы достаточным способом националистического самовыражения. С другой стороны, печати могли принадлежать разнообразным официальным лицам, не все из которых обязательно были грамотными. Изменение набора туманных зарубежных символов мало что дало бы для повышения их чувства национальной идентичности. Введение набора новых символов, чьи пиктографические формы легко узнавались даже неграмотными, было, очевидно, лучшей стратегией.

Таким образом, вопрос о базовом языке первых иероглифических текстов является несколько искусственным. Можно предположить, что это

мог быть как хеттский, так и лувийский, в зависимости от индивидуальных предпочтений читателя. Как уместно отмечает Хокинс [Hawkins 2003: 140], даже если имена и титулы, написанные на печатях, могут быть отнесены *к* языку, это тексты все же не *на* языке. Не существует *лингвистического* способа показать, что их языком являлся хеттский или лувийский. Фактически, это означает, что определенные группы населения могли приписывать им языковую атрибуцию, отличную от изначальной. Хотя дворцовые эрудиты, вероятно, ожидали, что иероглифические титулы должны читаться по-хеттски, те же самые титулы могли получить лувийскую интерпретацию среди простого народа Хаттусы. Данная интерпретация была в особенности вероятна, если учесть, что многие имена местных высокопоставленных чиновников имели, в конечном счете, лувийское происхождение[367].

Степень использования нового письма частными лицами в Хаттусе и ее окрестностях зависит от нерешенной проблемы деревянных вощеных дощечек, которые были довольно популярны в Анатолии периода позднего бронзового века [Symington 1991] и, согласно мнению большинства исследователей, использовались для письма анатолийскими иероглифами[368]. Хотя шансы найти хеттские деревянные дощечки с сохраненными следами знаков довольно малы, открытие частных писем и деловых соглашений конца бронзового века, записанных на других носителях, например на свинцовых табличках, может постепенно решить эту проблему.

В ожидании археологического подтверждения последующие соображения должны рассматриваться как спекулятивные. Но если

[367] Один из аргументов в пользу широко распространенной передачи первых иероглифических надписей как лувийских — это трехчастная оппозиция <Ca>/<Ci>/<Cu> в рамках системы иероглифических знаков, соответствующая лувийской системе из трех гласных, в противоположность хеттской системе из пяти гласных.

[368] Гипотеза [Marazzi 1994], согласно которой анатолийские деревянные таблички всегда использовались для клинописи, представляется устаревшей. Вопрос о том, использовались ли они исключительно для письма анатолийскими иероглифами, как это, в частности, предполагается в статье [Waal 2011], или на них также писали клинописью, продолжает оставаться дискуссионным [Александров 2013: 104–108]. Упоминание деревянных дощечек из Киццувадны с хурритскими ритуалами [Miller 2004: 513, сноски 941, 944] склоняет меня ко второй точке зрения. Однако иероглифические изображения легче наносить на воск, чем на глину, так что деревянные дощечки, изначально создававшиеся для записи клинописью, могли вторично способствовать распространению новой системы письма.

анатолийские иероглифы действительно использовались для частных документов, это было бы подходящим контекстом для формирования их вторичной ассоциации с лувийским языком. Если носители лувийского языка, составлявшие основную часть центральноанатолийского населения, освоили иероглифическое письмо (возможно, соблазнившись его иконичностью), у них не было причин использовать его для записи хеттского языка. Первые частные документы могли представлять из себя стандартные деловые документы, в которых использование слоговых знаков ограничено именами собственными, как и в случае с хеттскими печатями. Свинцовые таблички железного века из KULULU [Hawkins 2000, II: 506–511] дают хороший пример того, как могли выглядеть подобные документы. Когда постепенно возникли фонетические комплементы и полные фонетические написания, они уже отражали лувийский язык, использовавшийся для диктовки соответствующих документов.

Создание полноценного фонетического письма могло, в свою очередь, положить начало новым жанрам иероглифических текстов, таким как надписи собственников или частные письма. У нас нет примеров лувийских писем имперского периода, но их вид не должен был сильно отличаться от писем железного века, найденных в Ашшуре [Hawkins 2000, II: 534–537]. Постепенно лувийский язык, ассоциировавшийся с иероглифическим письмом, мог стать предпочтительным средством письменной коммуникации за пределами дворцовой сферы. Это объяснило бы, почему последние хеттские правители стали использовать лувийский в качестве языка своих монументальных надписей. Реальный выбор относился к анатолийским иероглифам, которые считались пригодным средством националистического самовыражения, в то время как лувийский язык механически распространился по ассоциации[369]. Вероятно, иероглифическим писцам было

[369] Данное объяснение отличается от гипотезы ван ден Хаута [van den Hout 2006: 235], согласно которой выбор лувийского в качестве языка общественных монументов напрямую отражал «мнимую солидарность» царей Хаттусы с населением империи. Если даже стремление угодить простому народу было одним из факторов, повлиявших на это решение, выбор иероглифического письма был более эффективен для

легче создать монументальные надписи, используя привычные лингвистические конвенции, а правители не имели причин настаивать на употреблении хеттского. В Главе 5 я постараюсь показать, что широкое употребление лувийских слов с глоссовым клином в текстах, приписываемых царям Хаттусы XIII в., предполагает, что эти цари, в отличие от своих предшественников, не избегали переключения кодов даже в своем собственном публичном дискурсе.

Расширение сферы употребления иероглифического письма в конце имперского периода позволяет на независимых основаниях объяснить, почему оно сохранилось в период темных веков, который последовал за распадом империи Хаттусы в XII в. до н. э. В данный период произошел отказ от клинописи в Центральной Анатолии, что отражает тот факт, что система письма, использовавшаяся преимущественно для административных целей, не может сохраниться без государственной поддержки. С другой стороны, политические беспорядки должны были снизить спрос и на монументальные иероглифические надписи, о чем свидетельствует их относительно малое число, дошедшее до нас от последних двух веков II тыс. до н. э. [ср. Hawkins 2000, I: 19]. Явное возрождение иероглифического письма в начале I тыс. до н. э. легче всего объяснить, исходя из предположения, что писцовая традиция сохранялась в переходный период, отвечая запросам частных лиц.

Необходимо повторить, что обращение лувийских иероглифических текстов в частной сфере в XIII в. до н. э. является не более чем гипотезой. Чаша ANKARA (если она действительно восходит к XIII в. до н. э.) является единственным иероглифическим текстом данного периода, который не имеет отношения к официальной сфере. Напротив, хаттусское происхождение анатолийских иероглифов следует из доступных археологических материалов и подтверждается внутренним анализом письма. Таким образом,

---

достижения данной цели. Неграмотные люди едва ли могли определить язык надписи, зато каждый мог видеть разницу между иероглифами и клинописью.

как бы ни рассматривать эволюцию иероглифического письма в имперский период, нет причин считать, что элиты Хаттусы заимствовали его из какого-либо другого региона в период раннего Нового царства.

4.10 Исторические выводы

Ниже уместно обрисовать результаты, полученные в результате анализа лингвистических и исторических материалов, приведенных в данной главе. Основной вывод заключается в том, что в Центральной Анатолии существовал симбиоз лувийцев и хеттов, фиксируемый в течение большей части II тыс. до н. э. Данное заключение опровергает идеи Гютербока [Güterbock 1956a], который попытался провести устойчивую географическую границу между ареалами расселения двух групп. Одним из следствий нового подхода является необходимость рассмотрения социолингвистической истории хеттов и лувийцев во взаимосвязи.

Вероятной прародиной лувийцев была территория, известная в Хеттских законах под названием Лувии. В противовес общему мнению исследователей, согласно которому Лувия является Арцавой (или Арцава входит в состав Лувии), я представил аргументы в пользу ее идентификации с регионом, известным в аккадских и хеттских источниках как Нижняя страна (4.5). Данная область прилегала к хеттоязычному городу Канеш/Неса, который играл роль узлового пункта для староассирийской торговли в Малой Азии. Однако с политической точки зрения князья Канеша/Несы имели могущественных соперников в лице князей Пурусханды, правивших в западной части Центральноанатолийского плато (4.5). В период ассирийских факторий хетты, жившие в Несе, оказались под лувийским влиянием, что было связано как с возможным присутствием лувийского меньшинства в этом регионе (4.2), так и с лувийским политическим доминированием в Центральной Анатолии. Первый тип контакта санкционировал специфическую структурную интерференцию, рассмотренную в разделах

3.2–3.4, в то время как второй привел к заимствованию лувийских лексем, относящихся к административной и идеологической сфере (4.4).

Социально-политический уклад Малой Азии изменился после того, как новая куссарская династия пришла к власти в Несе, что произошло в XVIII в. до н. э. Анитта, второй правитель из этой династии, инициировал военные походы, кульминацией которых стало подчинение князя Пурусханды и принятие Аниттой титула «великий князь» (4.5). Хотя куссарская династия была, по-видимому, неиндохеттского происхождения, она подверглась лингвистической ассимиляции в Несе (а может быть, и до завоевания Несы) и перешла на хеттский язык (4.3). Таким образом, в результате завоевания Анитты лувийский язык, вероятно, был замещен хеттским в качестве политически доминирующего. При этом аккадский сохранил свою доминирующую позицию в культурной сфере, поскольку он оставался единственным языком, использовавшимся в данный период на письме.

За крахом системы ассирийских факторий в Малой Азии последовал период темных веков, который не оставил письменных свидетельств. Когда во второй половине XVII в. до н. э. вновь стали создаваться письменные источники, куссарская династия уже покинула Несу и сделала столицей Хаттусу. Предшествующим социально доминирующим языком в Хаттусе и на прилегающих территориях, по-видимому, был хаттский, но теперь он в основном использовался уже как язык религиозной традиции. Новые правители заселили столицу хеттами и лувийцами, вероятно наряду с некоторыми другими этническими группами. Хетты, теперь называвшиеся «люди Хаттусы», продолжали занимать господствующую позицию в новом царстве, но лувийцы, «люди Лувии», получили юридическую защиту как этническая группа второго ранга. Данная перестановка исконных социальных ролей может быть типологически сопоставлена с позицией мидян по отношению к персам в Ахеменидской империи. Число царей Хаттусы с лувийскими именами говорит в пользу частых смешанных браков между представителями хеттской и лувийской элиты в Древнем царстве и

свидетельствует об отсутствии отрицательных коннотаций, связанных с лувийской этничностью в данный период (4.6).

Ранняя история хеттского Древнего царства отмечена многочисленными походами в Юго-Восточную Анатолию и Сирию. Возникает соблазн связать данные экспедиции с постоянной миграцией групп анатолийского населения на юго-восток. И хетты, и лувийцы поселились к югу от гряды Антитавр, но лувийцы, похоже, преобладали. Лингвистический анализ лувийского диалекта Киццувадны заставляет предполагать присутствие хурритского субстрата в данном регионе (1.5), и хурриты выглядят как автохтонное население Юго-Восточной Анатолии (или его часть). Ослабление Хаттусы в XVI в. до н. э. привело к образованию независимого государства Киццувадна, которое впоследствии попало в сферу влияния хурритского царства Митанни (4.8).

Культурное доминирование аккадского языка в Анатолии подверглось эрозии еще в период Древнего царства, когда определенные жанры текстов стали записываться на глиняных табличках с использованием местных языков. Хотя в большинстве случаев это был хеттский язык, в древнехеттских заклинаниях зафиксировано переключение кодов между хеттским, лувийским и палайским. Использование данных языков в хеттском государственном культе, по-видимому, служило метафорой типа *e pluribus unum* (4.6). Аккадский продолжал сдавать свои позиции под националистическим давлением в период раннего Нового царства, когда была создана новая система анатолийских иероглифов, призванная заместить аккадскую клинопись или использоваться наряду с ней при письме на долговечных материалах. Первые иероглифические надписи являются неопределенными в лингвистическом плане, при этом социолингвистические соображения говорят в пользу предположения о том, что они могли читаться как по-хеттски, так и по-лувийски (4.9).

В Хаттусе начала XIV в. до н. э. хеттский в большинстве ситуаций выполнял функцию официального письменного языка и использовался в

устной речи как символ власти (4.7). Можно сказать, что хеттский язык был социально и культурно доминирующим в раннем Новом царстве. Культурный престиж хеттского также распространился на Арцаву, располагавшуюся в Западной Анатолии, где Тархунтараду и, возможно, некоторые другие князья использовали его для дипломатической переписки, хотя на нем и не говорили в данном регионе (2.4). С другой стороны, обозначение Лувия более не употреблялось после периода Древнего царства из-за того, что лувийские или лувические группы населения, вероятно, расселились по всему царству или значительной его части. Большое число лувийских личных имен в хеттских текстах, составленных в первой половине XIV в. до н. э., а также быстрая структурная конвергенция между среднехеттским и лувийским языками свидетельствует о том, что ситуация в столице в данном отношении не являлась исключением (4.7). Но игнорирование лувийского языка в письменном дискурсе в раннем Новом царстве предполагает понижение его социального статуса. Очевидно, хеттские элиты стали воспринимать лувийский не как региональный диалект, обладающий определенным престижем, а как разговорный язык, используемый основной частью населения Хаттусы.

Националистические реформы хеттских правителей не стали образцом для княжества Киццувадны, где в качестве основного канцелярского языка продолжал использоваться аккадский, а хурритский употреблялся в качестве письменного языка в религиозной сфере. Культура многоязычия в Юго-Восточной Анатолии также создала подходящие условия для устной передачи ритуального фольклора на хеттском и лувийском, то есть на двух социально доминирующих языках Киццувадны. В отличие от заклинателей Хаттусы и Арцавы, допускавших передачу своих заклинаний на хеттском и, возможно, рассматривавших хеттский как предпочтительный язык для ритуальных перформативов, ритуалисты из Киццувадны иногда настаивали на использовании лувийского или переключения кодов между хеттским и лувийским языками для повышения иллокутивной силы ритуалов (4.8).

Присоединение Киццувадны к царству Хаттусы в начале XIV в. до н. э. способствовало усилению сирийского влияния на хеттскую культуру и, в частности, инициировало приток хурритской религиозной литературы в Центральную Анатолию (4.8). Однако не вполне ясно, сыграли ли эти события большую роль в переходе от хеттского к лувийскому в Хаттусе и прилегающих территориях, поскольку данный переход в принципе не требует внешних объяснений. Моделирование контакта между двумя языками в имперский период является основной темой следующей главы диссертации.

Глава 5. Лувийский язык в империи Хаттусы

5.1 Вводные замечания

Вторая половина XIV в. до н. э. была эпохой значительных перемен в анатолийской политической географии, позволяющих говорить о создании империи Хаттусы. После начального периода нестабильности, отмеченного регулярными нападениями различных врагов на раннее Новое царство и разрушением столицы Хаттусы, Тудхалия II и его сын Суппилулиума сумели восстановить то, что было утеряно. Став царем, Суппилулиума I провел серию наступательных кампаний против старого противника Хаттусы — царства Митанни, — которые привели к присоединению значительных частей Северной Сирии и установлению протектората Хаттусы над рядом вассальных государств в том же регионе. Победители депортировали значительное количество населения из Сирии и Юго-Восточной Анатолии в центр своего государства, но также принесли с собой назад эпидемию, уничтожавшую население новой империи в течение двух десятилетий и забравшую жизнь двух ее царей. Продолжая завоевательную политику, сын Суппилулиумы I — Мурсили II — в период своего царствования нанес окончательное поражение княжеству Арцава, распространив владычество Хаттусы до Эгейского моря. В данном случае за военными действиями также последовала насильственная транспортировка населения побежденного государства в центральные регионы Анатолии. Известно, что лишь одна кампания в Арцаве привела к депортации около 65 тыс. ее жителей в область Хаттусы [Bryce 2005: 197].

Изменения в политической географии сопровождались лингвистическими изменениями. Тексты, созданные во времена Мурсили II, демонстрируют ряд инноваций в именной морфологии, которые были убедительно охарактеризованы Рикен [Rieken 2006a] как контактно-обусловленные. Результатом этих инноваций явился возросший структурный

изоморфизм между хеттским и лувийским языками. На орфографическом уровне необходимо отметить быстрое распространение глоссового клина / *Glossenkeil* — специального клинописного знака, предназначенного для маркировки форм, казавшихся писцам нестандартными. Большинство лексем, отмеченных глоссовым клином, относятся к категории лувийских гостевых слов, чье число постоянно росло в течение рассматриваемого периода. Глубина лингвистических и орфографических изменений заставила исследователей отнести границу между среднехеттским и новохеттским языками ко времени царствования Суппилулиумы I [Neu 1979a: 83–84]. В плане ономастики можно отметить преобладание лувийских имен над хеттскими на печатях имперского периода [Weeden 2013], хотя в данном случае разрыв со среднехеттской традицией представляется менее очевидным.

Имеется искушение предположить определенную связь между событиями хеттской истории и направлениями языкового изменения. Так, ван ден Хаут [van den Hout 2006: 237] с осторожностью предполагает, что вспышка эпидемии в Хаттусе в конце XIV в. до н. э. опустошила хеттский центральный регион и вызвала возрастающий поток рабочей силы из периферийных лувоязычных территорий. Зингер [Singer 2005: 446, также см. сноску 57] отмечает большое число арцавских переселенцев, депортированных в результате кампаний Мурсили II. С точки зрения Видена, данные депортации сыграли решающую роль в изменении языкового баланса на территории империи Хаттусы [Weeden 2011: 28]. К этому следует добавить раннее предположение Розенкранца [Rosenkranz 1954: 309a], согласно которому временный перенос столицы из Хаттусы в Тархунтассу в царствование Муваталли II (начало XIII в. до н. э.) повысил влияние лувийских писцов при дворе Хаттусы. Необходимо, разумеется, понимать, что в отсутствие данных переписи населения способа выяснить точные лингвистические последствия ни одного из этих событий просто нет. Неясно, ударила ли эпидемия сильнее по хеттоязычным или лувоязычным регионам,

нет уверенности в том, на каком языке говорило основное население Арцавы, а гипотеза о растущем влиянии писцов Тархунтассы при дворе Хаттусы никогда не получала подтверждения посредством просопографического анализа. Тем не менее можно констатировать, что исторические факты совместимы с несколькими сценариями обширных лувийских миграций в Хаттусу и прилегающую область в имперский период.

В отличие от сценария лувийских миграций, идея о языковом сдвиге в Хаттусе в имперский период не получила единодушной поддержки в современной науке. Неясность по поводу социолингвистических импликаций перехода от среднехеттского к новохеттскому может быть проиллюстрирована осторожным утверждением Мелчерта [Melchert 2005: 457]: “В наших бюрократических документах из Хаттусы имеются некоторые намеки на хронологическое замещение хеттского языка лувийским или, если выражаться более осмотрительно, на растущую конкуренцию с хеттским языком со стороны лувийского”. Ван ден Хаут [van den Hout 2006: 234] также допускает две возможности, когда пишет: “Я предпочитаю отстаивать идею, что в XIII в. до н. э. существовало в основном двуязычное хетто-лувийское общество, где хетты доминировали в политическом и военном плане над растущей лувийской речью или растущим лувоязычным населением”. Различие между двумя возможностями может с первого взгляда показаться несущественным, но в действительности между ними существует четкое разграничение. Растущая важность лувийского языка в Хаттусе может либо являться механическим результатом изменения демографической ситуации, либо предполагать сдвиг от хеттского к лувийскому при смене поколений. Первая теория, очевидно, исключает возможность прекращения естественной передачи хеттского языка, а вторая теория оставляет такую возможность открытой.

Зингер [Singer 2005: 447] выступил оппонентом гипотезы о полном языковом сдвиге в империи Хаттусы, отметив: “Нет необходимости идти еще дальше и рассматривать лувийский в качестве единственного разговорного

языка в Хатти XIII в., оставляя хеттскому роль нормативного языка канцелярии. Достаточно растущей конкуренции между лувийским и хеттским, чтобы объяснить выживание первого и исчезновение второго после падения хеттской столицы и гибели ее царских архивов". Тем не менее ему не удается представить аргументы против первого сценария, и он просто считает его слишком радикальным. К. Мелчерт [Melchert 2005: 458] резюмирует наиболее убедительный аргумент (из выдвигавшихся до сих пор) против сдвига в сторону лувийского разговорного языка в Хаттусе имперского периода. По его мнению, фонологические изменения, имевшие место в новохеттском, представляют собой лучшее свидетельство в пользу разговорного характера этого языка.

Нужно, однако, определиться с точным значением понятия «разговорный язык». Хорошо известно, например, что еврейский язык продолжал использоваться диаспорой в литургических целях. Подобное употребление коррелирует с рядом регулярных фонетических переходов, характеризующих ашкеназский и сефардский варианты иврита, в противоположность древнееврейскому. В то же время у нас нет причин полагать, что древнееврейский язык передавался как родной после Ахеменидского периода и до его возрождения на заре XX в. н. э.[370]. Радикальная версия гипотезы сдвига предполагала бы, что социолингвистический статус новохеттского языка в Хаттусе был подобен статусу еврейского языка в эллинистический период. Хеттский употреблялся в устной речи лишь в определенных ситуациях, но более не передавался как родной язык, при этом новым разговорным языком элит, включая царя и членов царской семьи, был лувийский[371].

---

[370] Недавнее обсуждение языкового сдвига от древнееврейского к арамейскому см. у [Schniedewind 2006]. Стоит отметить, что данный процесс является, вероятно, хорошим примером для сравнения с ситуацией, обсуждаемой в настоящей главе, поскольку в обоих случаях мы имеем дело с близкородственными языками.

[371] Следует пояснить, что невозможно утверждать что-либо о статусе хеттского языка на территории всей империи. Так, предположение, что хеттский был письменным языком в Хаттусе до ее оставления, совместимо с гипотезой о продолжении его естественной передачи в некоторых частях Анатолии, таких как, например, Верхняя страна. Лишь открытие провинциальных новохеттских архивов может дать надежную основу для обсуждения местных вариантов хеттского языка в имперский период.

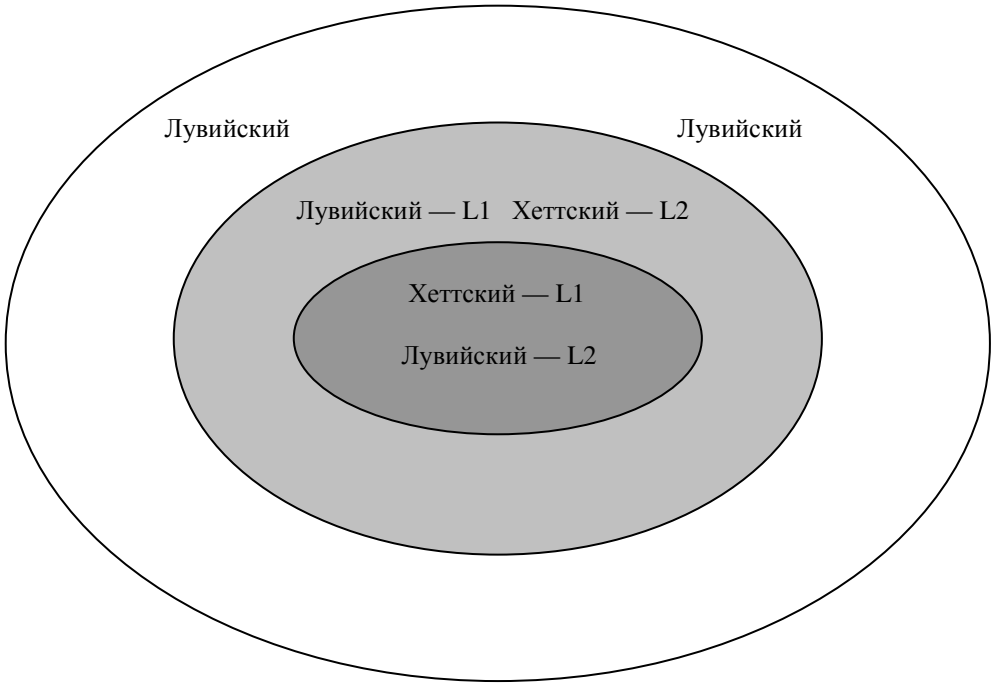
Последняя интерпретация близка к трактовке, предложенной 70 лет назад Розенкранцем [Rosenkranz 1938]. В той работе хеттский определялся как “придворный и канцелярский язык”, преимущественно на основе анализа лувийских гостевых слов в хеттских текстах [Rosenkranz 1938: 282]. К несчастью для немецкого исследователя, он не мог воспользоваться лингвистической и палеографической стратификацией хеттских текстов, ставшей во многом доступной уже после публикации его статьи, и, как следствие, распространил свои выводы на все варианты хеттского языка, зафиксированные в письменных источниках. С выделением корпуса текстов, записанных древнехеттским пошибом, стало понятно, что лувийские заимствования выступали как полностью освоенные в древнехеттском языке, а глоссовый клин вообще не использовался в тот период. Другая причина, из-за которой радикальная позиция Розенкранца не получила признания, заключалась в том, что сам ученый в последующие годы изменил свое мнение. Как уже упоминалось выше, в послевоенный период Розенкранц стал полагать, что контактно-обусловленные особенности новохеттского языка были связаны с растущим влиянием группы лувийских писцов при дворе Хаттусы [Rosenkranz 1954].

Ни в одной из упомянутых работ феномены интерференции между хеттским и лувийским языками не рассматривались во всей их полноте, и мало кто пытался рассматривать их в свете общей типологии языковых контактов. В дальнейшем я попытаюсь интегрировать эмпирические факты, представленные отдельными исследователями, уточнив при этом анализ материала и исправив их выводы в свете типологических открытий.

Результатом этого подхода является сценарий лингвистических контактов между лувийским и новохеттским языками, согласно которому признается естественная передача новохеттского языка, но в то же время подчеркивается неуклонное распространение лувийского языка в Хаттусе. Я принимаю модель, согласно которой жители Хаттусы и ее окрестностей в имперский период разделялись на три группы. Это носители хеттского языка,

также в совершенстве владевшие лувийским; носители лувийского языка, которые в разной степени владели хеттским, и, наконец, носители лувийского языка, совсем не знавшие хеттского. Само собой разумеется, что только первые две группы населения могли поставлять писцов для хеттских клинописных табличек. Предполагается, что лучшее знание хеттского соответствовало в Хаттусе более высокому социальному положению, но знание лувийского языка было типичным даже на вершине социальной иерархии. Предложенная модель асимметричного билингвизма может быть отражена в следующей диаграмме:

Рисунок 4. Асимметричное двуязычие в империи Хаттусы



Хотя на лувийском говорили повсеместно, нет лингвистических оснований для предположения, что ядро носителей хеттского языка исчезло в имперский период. Доступные свидетельства говорят, скорее, в пользу допущения, что правящие классы Хаттусы стали рассматривать хетто-лувийское двуязычие как важное преимущество. К этому следует добавить, что росло число лиц, изучавших хеттский в качестве второго языка.

Фактически необходимо полагать, что носители лувийского языка численно преобладали над носителями новохеттского языка, поскольку многие черты структурной интерференции, первоначально связанные с несовершенным овладением хеттским языком, начали обобщаться в новохеттском.

В разделах 5.2.1–5.2.5 будут рассмотрены фонетические инновации новохеттского языка, которые можно определить как вызванные интерференцией. Хотя по структурным соображениям данную часть следует расположить в начале главы, необходимо понимать, что она имеет более спорный характер, чем последующие части, что связано преимущественно с трудностями в различении между фонетическими и графическими феноменами при анализе клинописных текстов. Тем не менее в этой части главы приводятся важные свидетельства в пользу продолжающейся естественной передачи хеттского языка в имперский период. Разделы 5.3.1–5.3.5 посвящены морфосинтаксическим изменениям в новохеттском. Рассмотренные в данном разделе материалы являются аргументом в пользу того, что носители лувийского языка часто усваивали хеттский язык как второй. Основная тема разделов 5.4.1–5.4.4 — это лексическая интерференция между хеттским и лувийским языками. В этих разделах приводятся свидетельства широко распространенного двуязычия в высших эшелонах Хаттусы, и демонстрируются различия в установках по отношению к языковой чистоте в различных слоях общества.

5.2 Фонетические инновации в новохеттском языке

Учитывая, что история новохеттского языка составляет менее 150 лет, группа фонетических изменений, предполагаемых для данного диалекта, довольно мала. Представленная ниже дискуссия концентрируется на трех проблемах. Во-первых, следует провести различие между новохеттскими фонетическими изменениями и теми инновациями, которые имели сходный эффект, но при этом лучше всего объясняются морфологически или

графически. Во-вторых, необходимо разграничить фонетические законы, звуковые переходы, распространяющиеся посредством лексической диффузии, и факультативные процессы, которые привели к синхронному варьированию. Наконец, желательно исследовать, какие из предполагаемых звуковых изменений являются результатом внешней интерференции и какие из них могут отражать влияние разговорного хеттского языка.

5.2.1 Лексическая диффузия i > e

Большинство исторических изменений и синхронных чередований, предполагаемых для новохеттского языка, касаются передних гласных /ĕ/ и /ĭ/. Кажущийся непредсказуемым характер этих чередований рассматривался рядом исследователей как индикатор полного смешения данных двух фонем. В частности, можно привести утверждение, сделанное в [CHD, L-N: xvi]: “Хорошо известно, что гласные *e* и *i* часто замещают друг друга при записи хеттских слов. Вполне возможно, что эти две гласных, которые еще разграничивались в древнехеттских текстах, начали смешиваться в позднем древнехеттском языке и окончательно смешались к началу имперского периода”.

С такой точкой зрения не согласился Мелчерт [Melchert 1984b]. Он указал, что новохеттские написания с *e* и *i* в большинстве случаев идентичны написаниям, представленным в древнехеттских и среднехеттских текстах. Так, распространенные основы *ēs-* ‘быть’, *ēp-* ‘брать’ и *ēd-* ‘есть’ никогда не записываются в новохеттских текстах как ****īs-/**īp-/**īd-**. В тех случаях, когда новохеттские формы отличаются от своих предшественников, обычно можно описать модель изменения, отражающую определенное фонетическое развитие. Только в небольшом числе случаев следует принять свободное варьирование между *e* и *i*, которое, согласно Мелчерту, имеет морфологическое объяснение.

Следствием данной дискуссии стали несколько фонетических законов, предложенных для новохеттского языка. Одним из таких законов является «*a*-умлаут» в словах вроде *īssa-* > *ēssa-* ‘делать, выполнять’, упомянутый у Мелчерта [Melchert 2005: 458] в качестве аргумента в пользу естественной передачи хеттского языка в имперский период.

Мелчерт предположил переход *i* > *e* / *_C(C)a* в новохеттском языке на основе семи лексем, приведенных в Таблице 35 вместе с датировками их вариантных написаний. В каждом из рассмотренных ниже случаев написание с *e* становится последовательным в определенный период новохеттского языка, что делает гипотезу о графической аберрации неправдоподобной.

Таблица 35. Лексическая диффузия *i* > *e* в новохеттском

īssa- ‘делать, выполнять’ (Супп. I)	*ēssa-* (Мурс. II +)
^{E}*histā-* ‘(культовое сооружение)’ (OS)	^{E}*hestā-* (Мурс. II, Хатт. III)
titha- ‘греметь’ (OS, MS)	*tetha-* (MS +)
mimma- ‘отказываться’ (Супп. I, Мурс. II)	*mem(m)a-* (Хатт. III +)
tammishai- ‘обижать’ (MS)	*tammesha-* (Мурс. II)
tissai- ‘приводить в порядок’ (Хатт. III)	*tiessa-* (Тудх. IV, Супп. II)
widai- ‘приносить’ (Мурс. II)	*weda-* (Хатт. III)

Мелчерт сразу отметил, что объяснение посредством фонетического закона не должно применяться во всех случаях. Он предположил, что глагольные формы *mimma-* и *widai-* изменили свой вокализм в результате контаминации с *mema-* ‘говорить’ и *weda-*/*wida-* ‘строить’ соответственно. Это позволило ему ограничить условия предполагаемого фонетического перехода позицией перед шумными и сосредоточиться на лексемах, подвергшихся изменениям ко времени Мурсили II. Мелчерт предположил, что наличие *-a-* в последующем слоге указывает на ассимиляцию гласного, подобную западногерманскому «*a*-умлауту». Тем не менее ему пришлось признать, что “в силу ограниченного числа примеров такого перехода в

данный момент предлагаемое заключение остается рискованным” [Melchert 1984b: 155].

Рикен [Rieken 1996: 294–297] не приняла объяснение Мелчерта, приведя ряд контрпримеров. Так, хорошо засвидетельствованные лексемы *intalluzi-* ‘лопаточка, мутовка’, *kistant-* ‘голод’, *kissan* ‘так, таким образом’ и *hissa-* ‘дышло’ последовательно записываются с *i* в хеттских текстах[372]. Она предположила, что переход *i* > *e* не был обусловлен качеством последующего гласного, но, скорее, происходил между двумя дентальными согласными (*t*/*d*, *n*, *s* и *l*). Рикен привела в подтверждение своей идеи дюжину дополнительных примеров, которые могут иллюстрировать переход *i* > *e* в предполагаемой позиции. К этим примерам относятся *inissan*/*enessan* ‘так, оным образом’, *apenissan*/*apenessan* ‘так, таким образом’, ^{DUG}*hanissa-*/$^{(DUG)}$*hanessa-* ‘(вид сосуда)’, *sīna-* / *sēna-* ‘изображение’, ^{DUG}*tisummi-*/$^{(DUG)}$*tesummi-* ‘(вид сосуда)’, *hannitalwa-*/*hannetalwa-* ‘противоположная сторона в суде’, *halissiya-*/*halessiya-* ‘оправлять’, $^{(GIŠ)}$*līti-*/$^{(GIŠ)}$*lēti-* ‘(вид растения)’, *lissi*/*lēsi* ‘печень’, *sissur*/*sessur* ‘ирригация’, *sisd-*/*sesd-* ‘процветать’. Согласно Рикен, данное изменение было спорадическим, и большинство из приведенных выше лексем имеют вариант с *i* в новохеттских текстах (по поводу первых двух элементов ср. [Melchert 1984b: 151]). Тем не менее количество написаний с *e* в данной группе слишком велико, чтобы считать их простыми писцовыми ошибками.

Рассмотрение постулируемого фонетического перехода *i* > *e* можно начать с примеров, приведенных Мелчертом. Хотя ряд отдельных форм с *-e-* в данных примерах обнаруживается уже в среднехеттских табличках, новый вариант становится преобладающим во всех семи случаях лишь в новохеттский период. Возможно, однако, показать, что аналогическое объяснение возможно в пяти из семи случаев (для двух случаев так считает и Мелчерт). Представленные ниже объяснения по аналогии не все убедительны

[372] Рикен исключила гапакс *ki-eš-ša-an* (KBo 2.4 iii 17) по методологическим соображениям. Аналогичное объяснение применимо, вероятно, и к *hi-eš-ši* (KBo 12.123 15).

в одинаковой мере. Однако следует исчерпать возможности объяснения по аналогии, прежде чем делать далеко идущие выводы относительно социолингвистических импликаций нерегулярного изменения *i* > *e*.

Формы *titha-* > *tetha-* ‘греметь’ и *mimma-* > *me(m)ma-* ‘отвергать’ содержат синхронную редупликацию. Рикен [Rieken 1994: 296] справедливо отмечает, что гласный *e* постепенно замещал *i* в префиксе редупликации в течение новохеттского периода и приводит *lilhuwai-* > *lelhuwai-* ‘изливать’ в качестве еще одного примера той же самой тенденции[373]. Источником этого выравнивания, по всей видимости, была редуплицированная лексема *mḗma-* ‘говорить’ (одна из наиболее частотных лексем в хеттском корпусе), которая всегда характеризовалась *e*-вокализмом в первом слоге. Аналогическое развитие *títha-* > *tétha-* началось уже в среднехеттский период, поскольку основа *tetha-* засвидетельствована несколько раз в тексте CTH 630.A, записанном среднехеттским пошибом (KUB 32.135+). Поэтому, строго говоря, данный переход остается за рамками темы настоящего раздела. Основы *mimma-* ‘отвергать’ и *mḗma-* ‘говорить’ смешались в поздненовохеттском языке, что, предположительно, было результатом народной этимологии, которая интерпретировала глагол ‘отвергать’ как *ver-sagen* (где ваккернагелевская клитика *=z(a)*, обычно сопровождавшая *mimma-* > *me(m)ma-* ‘отвергать’, но не *mḗma-* > *me(m)ma-* ‘говорить’, модифицировала базовый глагол, подобно префиксу *ver-* в немецком). Один из контекстов, в котором могла произойти такая реинтерпретация, обсуждается у Мелчерта [Melchert 1984b: 154, сноска 126]. Однако подобный сценарий легче представить, если различие между *e-* и *i-* в редуплицированных глаголах не присутствовало в речи тех, кто был исходно ответственен за смешение двух основ.

Случай глагола *widai-* ‘приносить’ еще более интересен. Данный глагол подвергся контаминации с *wete-* ‘строить’ в XIII в. до н. э., в результате чего они оба перешли из *mi*-спряжения в *hi*-спряжение и приобрели основу *weda-*.

[373] Ср. также замечание Мелчерта о лексеме *sesha-* ‘назначать (и т. д.)’ [Melchert 1984: 153, сноска 125].

Народная этимология, с помощью которой можно было бы связать два эти значения, легко представима; ср. русск. *воз-водит*, которое образовано от того же корня, что и хетт. *widai-* ‘приносить’. И все же необходимо еще раз отметить, что контаминация двух формально и семантически различных глаголов является маловероятной, если только писцы не потеряли уверенности в их произношении и морфологических характеристиках. Также следует привести замечание Эттингера [Oettinger 1979: 374]: “Существование *uda-* (‘приносить’. — И. Я.) со сходным значением несомненно сыграло роль при возникновении *weda-* (‘приносить’. — И. Я.), поскольку *u-* и *we-* в других случаях синхронно чередуются”. Этот фактор мог сыграть решающую роль при интерпретации неродного диалекта писцами, но не при усвоении первого языка.

Развитие аблаутного глагола *i-iš-ša-i* (3 ед.) / *iš-ša-an-zi* (3 мн.) в глагол без аблаута *e-eš-ša-i* (3 ед.) / *e-eš-ša-an-zi* (3 мн.) не может объясняться фонетическим законом [ср. Oettinger 1979: 508–509, там же сноска 33]. Данный переход, вероятно, имел аналогическую составляющую и был отчасти связан с постепенным проникновением продуктивных форм *hi*-спряжения на *-es-* в сферу итеративов на *-issa-*[374]. Андрей Сидельцев (личн. сообщ.) подсказал мне, что уже в среднехеттском можно обнаружить сосуществование основ *missa-* и *mies-* ‘расти’ (ср. MS KBo 17.105+ Rs. III 34 *mi-iš-ša-du* vs. MS KUB. 30.10. obv. 11 *mi-eš-ha-ti*). В новохеттском языке конкуренция между этими двумя формами привела к образованию гибридной основы *mi(y)ḗssa-*, засвидетельствованной в KUB 24.2 rev. 16 *mi-eš-ša-du*[375]. Распространение подобных гибридных форм на другие основы могло достигаться при помощи пропорциональной аналогии типа

[374] По поводу суффикса *hi*-спряжения *-es-*, чередующегося с более архаичным суффиксом *-s-* после хеттских основ, заканчивающихся на *-i*, и перед консонантными окончаниями (напр., *memista* > *memiesta*), см. [Jasanoff 2003: 119–121, особенно сноску 69]. По моему мнению, рассматриваемый здесь суффикс *-es-* должен исторически анализироваться как тематическая гласная *-e-* и «прааористный» суффикс *-s-*, о котором см. [Jasanoff 2003: 174ff]. Он возник в хеттском языке в результате тематизации некоторых глагольных корней на *-i*. Ср. архаичные формы 1 мн. *pí-i-ú-e-ni*, 2 мн. *pi-iš-te-ni* vs. новые формы 1 мн. *pí-ya-u-e-ni*, 2 мн. *pí-eš-te-ni* от корня *pai* ‘давать’, ср. [CHD, P: 41b].

[375] Предполагая систематическое удлинение ударного *e*, я следую Мелчерту [Melchert 1994: 133]. Тем не менее эта гипотеза не применяется в транскрипции систематически, поскольку для многих лексем не удается определить положение ударения.

miyanzi/mi(y)éssanzi = siyanzi/si(y)éssanzi (ср. KUB 3.1 iii 45 *ši-e-eš-ša-an-du* ‘пусть их заклеймят’). Такой же тип аналогии мог бы породить **i(y)éssanzi* ‘они выполняют’ и далее со стяжением *éssanzi*. Постепенно основа *éssa-* (графически *e-eš-ša-*) обобщилась по всей парадигме[376].

Предложенный сценарий получает прямую поддержку в виде позднего новохеттского глагола *ti(y)éssa-* ‘приводить в порядок (vel sim.)’, явно представляющего собой адаптацию лувийской основы *tissai-*, зафиксированной в хеттских текстах как гостевое слово. Полное отсутствие написания ***te-eš-ša-* препятствует интерпретации ***tessa-* и мешает объяснению данной формы через звуковой переход *i* > *e*. Здесь может иметь место еще один случай народной этимологии. Новохеттские писцы могли интерпретировать лувийскую основу как итератив на *-essa-* от хетт. *tai-/tiya-* ‘класть, помещать’.

Таким образом, остаются две новохеттские формы — *hestā-* ‘(культовое сооружение)’ и *tammeshai-* ‘обижать’, для которых аналогическое объяснение не является очевидным[377]. Ни один из этих примеров не соответствует условиям спорадического перехода *i* > *e*, сформулированным Рикен [Rieken 1996: 296].

Обратившись к примерам, приведенным Рикен [Rieken 1996], в первую очередь стоит отметить, что большинство из них не связаны напрямую с темой данного раздела с точки зрения хронологии. Так, в оригинальных древнехеттских текстах вариант *tessummi-* ‘(вид сосуда)’ является таким же частым, как и вариант *tissummi-* ‘id.’ [Neu 1983: 195–197]. Название сосуда ^{DUG}*hanissa-* (с вариантом ^{DUG}*hanissanni-*) трижды записывается с *e* в оригинальных древнехеттских текстах [Neu 1983: 48–49]. Глагол *halissiya-*

[376] Ср. точку зрения Рикен [Rieken 1996: 295], которая также предполагает аналогическое происхождение *ēssa-*, но не постулирует промежуточную форму **yēssa-*. Это не формальное замечание, поскольку предлагаемая здесь реконструкция требует принять транскрипцию *halzi(y)essa-* ‘звать’ и, вероятно, *warri(y)essa-* ‘спасать’, однако у Рикен это — *halzessa-* и *waressa-*. В обоих случаях графическое представление неоднозначно.

[377] Рикен [Rieken 1996: 296] предположила, что новохетт. *tammeshai-* могло возникнуть в результате аналогического влияния родственной основы *tamas(s)-/tames(s)-* ‘давить’. Однако данное объяснение представляется проблематичным по хронологическим соображениям, поскольку в новохеттском языке основа *tamass-* почти обобщилась [ср. Oettinger 1979: 122].

‘оправлять’ обычно записывается с *i* во все периоды, но изредка встречается и вариант *ha-li-eš-ši-ya*, который, по-видимому, распределен между среднехеттским и новохеттским (ср. MS. KUB 57.30 6 *ha-li-eš-ši-ya-an-ta*). В случае *hannitalwa-*/*hannetalwa-* ‘противник на суде’ единственный вероятный среднехеттский пример записан со знаком <ne> [Hoffner 1997: 45, см. там же сноску 127]. Существительные *lēsi-*/*lissi-* ‘печень’ и *sissur*/*sessur* ‘ирригация’ зафиксированы только в текстах, записанных новохеттским пошибом, а четыре надежных примера фиксации лексемы *lēti-*/*līti-* ‘(вид растения)’ недостаточны для установления хронологии звукового перехода. Хотя переход *sīna-* > *sēna-* ‘образ’, без сомнения, имел место в истории хеттского языка, он, по-видимому, произошел еще до начала новохеттского периода (MS KUB 27.38 i 19 [*še*]-*e-nu-uš*, 22 [*še-e-nu-uš*], MS[?] KUB 55.3 obv. 10 *še-na-an*).

Следовательно, остаются лексемы *inissan*/*enessan* ‘так, оным образом’, *apenissan*/*apenessan* ‘так, таким образом’, *sist-*/*sest-* ‘процветать’, которые могут быть добавлены к списку Мелчерта. В первых двух случаях имеются изолированные примеры форм с *e-*, записанные древнехеттским и среднехеттским пошибами, но в них отсутствует систематичность. Ни один из этих примеров не допускает прямого объяснения по аналогии. Если к данному списку добавить рассмотренные выше формы *hestā-* и *tammeshai-*, то появляется соблазн заключить, что переход *i* > *e* в новохеттском языке был ограничен позицией перед *s*. Данная формулировка будет работать для всех пяти примеров, но она представляется сомнительной с фонетической точки зрения, поскольку позиция перед [s] лишена переходных акустических эффектов, и, следовательно, едва ли вообще может вызывать изменение гласного. Изначальная формулировка Мелчерта, касающаяся «*a*-умлаута», может объяснить четыре из пяти примеров (исключая *sisd-*/*sesd-*). Число контрпримеров к данному правилу, как бы его не формулировать, будет значительным (ср. приведенные выше формы *kistant-* ‘голод’, *kissan* ‘так, таким образом’ и *hissa-* ‘дышло’).

Поскольку для перехода *i* > *e* в новохеттский период недоступно объяснение через понятие фонетического закона, следует признать, что он распространился в результате лексической диффузии. Синхронное варьирование между *i* и *e* перед *s* в некоторых глагольных суффиксах засвидетельствовано еще в среднехеттский период [Melchert 1984b: 134]. Возможно, сходство фонетического окружения способствовало распространению этого процесса на такие глаголы, как *tammishai-* и *sist-*, и затем на другие лексемы, рассмотренные выше. Также можно представить, что последующая гласная нижнего подъема способствовала обобщению гласной среднего подъема в некоторых из этих лексем. Но поскольку обсуждаемый звуковой переход не является регулярным, ни одно из этих соображений не имеет объяснительного статуса, если судить с младограмматических позиций.

Социолингвистическое объяснение диффузии *e* в новохеттском языке будет представлено ниже. В данный момент можно ограничиться замечанием, что нерегулярный характер перехода *i* > *e* исключает гипотезу о чисто графическом изменении. Другое важное заключение, которое можно сделать на базе анализа Рикен, состоит в том, что переход *i* > *e* имел постепенный характер. Новохеттское развитие может рассматриваться как продолжение более ранней тенденции, которая ответственна за древнехеттские варианты *tessummi-* и *hanessa-*, а также среднехеттские варианты *sēna-* и *tetha-*.

5.2.2 Отсутствие звукового перехода *e* > *i*

Для хеттского языка XIII в. предполагался противоположный переход *e* > *i*. Мелчерт [Melchert 1984b: 142–143] постулирует его на основе следующего набора примеров:

Таблица 36. Примеры, приводимые в пользу перехода *e* > *i* в новохеттском

neya- ‘вести, поворачивать’ (NH)	niya- (Хатт. III +)
kē ‘эти (ср.)’ (NH)	kī (Мув. II +)
kēdani ‘этому’ (NH)	kīdani (Мув. II +)
n=e=tta ‘PTCL=они=тебе’ (NH)	n=i=tta (Супп. II)

Мелчерт полагал, что данный переход был ограничен /ḗ/ (долгое закрытое *e*), являвшегося рефлексом праанатолийских кратких дифтонгов **ei* и **oi*. Идея о существовании /ḗ/ в хеттском языке не является общепринятой [ср. Kimball 1999: 210–211; Oettinger 1979: 535]. Хотя можно привести доводы в пользу существования подобной фонемы в предке хеттского языка, данный переход, насколько можно судить, является единственным аргументом в пользу ее сохранности в исторический период. С другой стороны, трудно вообразить, что ни один хеттский писец не попытался зафиксировать оппозицию /ḗ/ ~ /ē/ на письме, если данное противопоставление действительно имело место[378]. Но если даже принять существование [ḛ]/[ḗ] вплоть до XIII в. до н. э., останется достаточно примеров, не поддерживающих фонетическую регулярность перехода /ḗ/ > /ī/ (засвидетельствовано *kī* ‘этот/эти’, но не ***abī* ‘тот/те’). Следовательно, необходимо рассмотреть альтернативные способы объяснения этого поздненовохеттского перехода.

Объяснение по аналогии представляется вполне возможным для основы указательного местоимения ближней дальности *k(a)-*. Как справедливо отмечает Мелчерт [Melchert 1984b: 143], использование *kī* в номинативе мн. ср. может рассматриваться как аналогическое распространение *kī* из номинатива ед. ср. Следующий этап в распространении основы *kī* — это ее спорадическое расширение на косвенные падежи. Данную стадию можно наблюдать в тексте KUB 6.46,

[378] Дополнительный, хотя и не решающий, аргумент против долговечности /ḗ/ заключается в возможной неустойчивости асимметричных систем вокализма. Хотя имеются аргументы в пользу существования /ō/ в хеттском языке, существование двух отдельных фонем /ō/ и /ṓ/ не вызывает доверия.

который является наброском молитвы Муваталли II собранию богов [Singer 1996: 126]. В данной табличке мы находим им. мн. ср. *ki-i* (2x) vs. *ke-e* (1x), дат. ед. *ki-i-da-ni* (1x), но дат. мн. *ke-e-d*[*a-aš*] (1x). Та же табличка несет следы зарождающегося аналогического распространения вопросительного местоимения *kui-* вместо *kue-*: ном. мн. ср. *ku-e* (4x) vs. *ku-i* (1x); дат. мн. *ku-e-da-aš/-ša* (3x) vs. *ku-i-ta-aš* (1x). Форма дат. ед. *ku-i-e-da-ni* (2x), контрастирующая с *ku-e-da-ni* (2x) в параллельной версии KUB 6.45, является промежуточной стадией в этом аналогическом замещении.

Другое место, где можно наблюдать более чем один пример данного выравнивания, — это сборная табличка ритуалов KBo 3.8 + KUB 7.1 (CTH 390.A, издана в [Kronasser 1961]), где обнаруживается *ki-i-da-ni* (i 8), *ku-i-da-ni* (ii 3) наряду с *ku-e-da-n*[*i* (iii 28), но *e-da-ni* (i 16). Этот изолированный пример, безусловно, не доказывает правильности аналогического анализа, но полное отсутствие в новохеттском корпусе формы ***a-pí-i-da-ni* наряду с нормальной *a-pé-e-da-ni* является показательным[379]. В данном случае отсутствие пригодной модели внутри парадигмы препятствует парадигматическому выравниванию (ср. 3 ед. ср. *kī* vs. *apat*). Важно иметь в виду, что эта табличка также демонстрирует ряд других особенностей, свидетельствующих о том, что ее писец плохо владел стандартным хеттским языком [ср. Kronasser 1966, §25; Oettinger 2004: сноски 5, 12, 13].

Наиболее поучительным текстом для исследования двух других лексем из Таблицы 36 является KBo 4.14 (CTH 123, издан у [Stefanini 1965]). Данная табличка содержит абсолютное большинство засвидетельствованных примеров глагола *niya-* (2 ед. наст. *ni-ya-ši* (1x), 3 ед. наст. мед. *ni-ya-ri* (6x) и *ni-ya* (1x), 3 ед. имп. мед. *ni-ya-ru* (1x), 3 мн. наст. мед. *ni-ya-an-ta-ri* (1x) [CHD, L-N: 349–350], а также формула проклятья *ni-it-ta* EGIR-*an ú-wa-an-du* ‘пусть они придут за тобой’ (iii 52). В то же время она весьма последовательна в сохранении *e* в местоименных основах: им. мн. ср. *ke-e* (iii

[379] Имеется один изолированный пример род. ед. *a-pí-il* (KBo 2.13 obv. 12). Едва ли можно делать какие-либо лингвистические выводы на основе этого гапакса, особенно учитывая тот факт, что чтение *a-pé-él* технически также возможно.

23), дат. ед. *ke-e-da-ni* (iii 51, iv 48), дат. мн. *ke-e-da-as* i 21, дат. ед. *ku-e-da-ni* iii 64, 72, дат. мн. *ku-e-da-aš* ii 49. Из данной дистрибуции понятно, что факторы, обусловившие эволюцию двух групп, различны. Стремительный переход в «*ni*-группе» легче всего понять, если принять во внимание, что знак из восьми клиньев <ne> (HZL 169) вообще не используется в KBo 4.14, где он по всему тексту замещен знаками <ni>=<né> из двух клиньев (HZL 72)! По всей вероятности, мы имеем дело с упрощенной орфографией, характеризующейся отказом от громоздкого знака <ne>, а никак не с лингвистической инновацией[380]. В противоположность этому, отсутствие инноваций в «*k*-группе» может отражать языковую реальность. Несмотря на тот факт, что KBo 4.14 является поздним текстом, составленным к концу царствования Тудхалии IV [Bryce 2005: 318, см. там же библиографию], аналогическое выравнивание *-i-* в местоименных основах не было характерно для диалекта автора/писца, или, по крайней мере, писцу было известно, что оно не должно иметь место в «правильном» хеттском языке.

Явное преимущество предложенного объяснения заключается в возможности обойтись без хеттского /ḗ/. Если принять, что новохеттский переход *e* > *i* ограничен двумя случаями, один из которых является следствием аналогии, а другой имеет графическое объяснение, то существование отдельной фонемы, дающей основание для этого мнимого звукового закона, теряет свой смысл. Возможное существование /ḗ/ в предке хеттского языка должно стать предметом отдельного анализа, но в данный момент не видно убедительных доводов в пользу такого решения. Приятно отметить, что К. Мелчерт независимо пришел к сходным заключениям [Melchert 2008b].

[380] Ср. употребление знака из пяти клиньев <en> (HZL 40) вместо знака <in> из восьми клиньев (HZL 354). В данном случае различие в графической сложности не особенно принципиально, и тем не менее спорадическая замена <in> на <en> весьма распространена. Корпус лувийских клинописных текстов, где не ожидается последовательность фонем /en/, содержит более 50 случаев употребления знака <en>. В противоположность этому, в том же корпусе текстов имеются лишь три примера употребления <ne> вместо ожидаемого <ni>.

Другой урок, который можно усвоить из анализа тех же материалов, состоит в важности изучения идиолектов отдельных писцов, фиксировавших поздний вариант новохеттского языка. Так, писец KUB 6.46 отчасти осуществлял аналогическое выравнивание в основах *k(a)-* и *kui-* и свободно использовал знак <ne>, в то время как писец KBo 4.14, работавший ок. 60 лет спустя, сохранил исконное распределение форм в местоименных основах и полностью устранил знак <ne>. Безусловно, было бы неверно приписывать особенности каждого из этих двух текстов позднему варианту новохеттского языка в целом.

5.2.3 Образование носового гласного

Мы видим, что представленные в литературе свидетельства в пользу новохеттских фонетических законов являются либо слабыми, либо ошибочными. Это, однако, не означает, что регулярные фонетические изменения не могут быть обнаружены в диалектах отдельных новохеттских писцов. Наилучший из известных мне примеров вновь относится к наброску молитвы Муваталли II (KUB 6.46)[381].

Таблица 37. Формирование носового гласного в черновике CTH 381

KUB 6.45	KUB 6.46
hu-u-ma-an-da-aš	hu-u-ma-a-da-aš (1x, humant- passim)
iš-ta-ma-aš-ša-an-du	iš-ta-ma-ša-du (1x, with *n* 1x)
La-u-wa-za-an-ti-ya	La-u-wa-za-ti-ya (1x)
ši-ip-(pa-)an-ti	ši-ip-pa-ti (7x)
KI-aš	da-ga-zi-pa-aš- (2x)

Писец текста KUB 6.46 имел склонность опускать носовой *n* перед шумными (*t*/*d*, *z*). Соблазн рассмотреть примеры из правой колонки как

[381] О выводах, касающихся отношения между этими двумя текстами, см. [Houwink ten Cate 1968], [Singer 1996: 135–142] и раздел 5.4.2.

случаи упрощенной орфографии, которая зафиксирована в других частях данной таблички (*ne-pí-aš* вместо *ne-pí-ša-aś* ‘небо (род.)’, 5x), должен все-таки быть преодолен. Выпадение носовых перед взрывными согласными и аффрикатами встречается, хотя и менее последовательно, во многих других новохеттских текстах, в то время как сокращенное написание имен нарицательных является относительно редким феноменом. Что касается данного текста, то следует заметить, что вариант *hu-u-ma-a-da-aš* едва ли может рассматриваться как сокращенная форма от *hu-u-ma-an-da-aš*, а выпадение *n* в 3 мн. *iš-ta-ma-ša-du* являлось бы очень странным сокращенным написанием, поскольку оно ведет к утрате важной грамматической информации. Следовательно, необходимо принять, что писец текста KUB 6.46 (или лицо, диктовавшее ему текст) по-особенному произносил *n* в конце слога. Наиболее вероятной интерпретацией этих форм является образование носового гласного [an] > [ã] [Friedrich 1960, § 31; ср. Melchert 1994: 124].

Описание в терминах исторического изменения может произвести впечатление, что диалект KUB 6.46 отражает хронологически более позднюю стадию развития хеттского языка по сравнению с KUB 6.45. Однако в более широкой перспективе это следует считать ошибочной трактовкой. Формы без *-n-* начали спорадически встречаться еще в среднехеттском языке (напр., MS KUB 9.7 obv. 13 *ne-e-a-za* ‘повернутый’). Хотя число вариантов без *n* постепенно возрастает в более поздних текстах, все же контраст между отдельными табличками того же периода является более впечатляющим. Опираясь на сопоставление KUB 6.45 и KUB 6.46, можно заключить, что различие между двумя вариантами являлось скорее стилистическим, чем хронологическим. Было показано, что табличка, содержащая большое число форм без *n*, является надиктованным наброском, в то время как табличка со «стандартными» формами представляет собой отредактированную копию

того же текста[382]. Следовательно, образование носового гласного в хеттском поддается скорее социолингвистической, чем исторической интерпретации. Статус данного разговорного маркера может быть подобен статусу перехода *-ing* > *-in'* в английском языке. Со времен классических экспериментов Фишера [Fischer 1958] и Традгилла [Trudgill 1974] известно, что эта языковая вариация коррелирует как с социальным классом информанта, так и со степенью формальности коммуникативной ситуации. П. Традгилл разделил четыре типа вводных данных для своего эксперимента: чтение списков слов, чтение отрывков из текста, официальный дискурс и разговорная речь. Хотя образованные канцелярские служащие, как и предполагалось, избегали разговорных форм на *-in'* при чтении, они все-таки довольно свободно употребляли их в своей речи. Представители рабочего класса иногда использовали формы на *-in'* при чтении и отдавали им предпочтение в разговоре.

Текстология CTH 381 позволяет реконструировать две различные коммуникативные ситуации. Следуя Зингеру [Singer 1996: 134], я исхожу из того, что писец KUB 6.46 зафиксировал официальную речь Муваталли II или высокопоставленного чиновника, выступавшего от его имени. Следовательно, фонетические особенности этого наброска отражают, по всей видимости, индивидуальные черты лица, диктовавшего молитву писцу, вероятно самого царя Муваталли II[383]. Напротив, «стандартные» формы KUB 6.45 отражают языковую компетенцию старшего писца, который был ответственен за подготовку окончательной версии молитвы. У него было достаточно времени, чтобы прочесть черновик слово за словом, и, следовательно, произведенное им копирование может быть сопоставлено с

[382] См. [Carter 1979: 94], где дается репрезентативный список словоформ, имеющих варианты без носового. Стоит отметить, что сам Картер считал это примером орфографического варьирования; другую точку зрения см. у [Justeson, Stephens 1982].

[383] Менее правдоподобно, что они отражают разговорные привычки писца, как считал Зингер [Singer 1996: 129]. Против данной гипотезы свидетельствует вариация между формами без *n* и их «стандартными» аналогами в KUB 6.46. Если бы писец считал, что сокращенные формы без *n* являются правильными, то он вряд ли бы постеснялся использовать их на протяжении всего текста.

чтением текста информантами, проходившими тест Традгилла. В контексте данного анализа формы без *n* представляются образцами разговорного стиля.

Хеттские источники не позволяют связать напрямую частотность носового гласного (носовых гласных) с социальными характеристиками говорящих. Считается, что все доступные хеттские тексты написаны профессиональными писцами, которые по определению составляли наиболее образованную группу хеттского общества. Текст KUB 6.46 представляет, скорее, исключение в том, что он отразил фонетические идиосинкразии своего автора, в данном случае также относившегося к хеттскому правящему классу. Лингвистические соображения предполагают, однако, что формы без *n* рассматривались как негативные маркеры (варваризмы)[384]. Это допущение необходимо для того, чтобы объяснить, почему формы с *-n-* на конце слога продолжали считаться нормой вплоть до самого конца имперского периода, хотя формы без *n* появились еще в среднехеттском. Английские формы на *-in'* являются хорошим примером маркера низшего класса / плохого образования, который остается устойчивым языковым вариантом уже на протяжении нескольких столетий (как в Англии, так и в США). Широко распространенное предубеждение против междиалектного изменения *-ing* > *-in'* продолжает препятствовать проникновению суффикса *-in'* в официальную и грамотную речь.

5.2.4 Был ли новохеттский вымирающим языком?

Пришло время резюмировать предварительные выводы данной главы. Некоторые новохеттские фонетические изменения, которые постулировались в предшествующей литературе, получили аналогическое или графическое объяснение. Фонетический статус подтвержден для изменения /i/ > /e/,

[384] Термин «маркер» используется здесь в том смысле, который вкладывает в него школа Уильяма Лабова (то есть противоположность «индикатору»). О точных определениях индикатора, маркера и клише в контексте языкового варьирования см. [Wardhaugh 1998: 140].

распространявшегося посредством лексической диффузии в течение новохеттского периода и назализации [an] > [ã] на периферии новохеттской письменной культуры. Эти две особенности дают надежные свидетельства в пользу того, что хеттский язык продолжал использоваться в устной речи в имперский период, то есть он не был всего лишь средством создания письменных текстов. Остается понять, достаточно ли данной информации для утверждения, что хеттский продолжал передаваться в качестве родного языка в XIII в. до н. э.

Ответ может показаться очевидным для тех, кто полагает, что «мертвые» языки не могут характеризоваться фонетическими изменениями. Данное допущение, однако, является неверным. Легко показать, что фонетические изменения возможны в любом мертвом языке, используемом в устной форме в официальных или литургических целях, по крайней мере настолько, насколько они обусловлены структурой разговорного языка в соответствующем сообществе. В зависимости от того, имитируют ли эти изменения модификации разговорного языка или заходят слишком далеко в реконструкции «исконного» произношения, они могут классифицироваться как гипокоррекции или гиперкоррекции. По существу, интерференция в языках традиций ничем принципиально не отличается от общего феномена интерференции при овладении вторым языком [Беликов, Крысин 2015: 32–35].

В частности, имеются обильные и неопровержимые свидетельства в пользу гипокоррекции в языках традиций. Очевидным примером является варьирование в произношении палатализованных велярных в средневековой латыни, напрямую отражающее лингвистическую историю романских диалектов, например /tʃentum/ в Италии, /θentum/ в Испании и /sentum/ во Франции. Райт [Wright 1982] показал, что эффекты интерференции были еще сильнее в ранней средневековой латыни, тогда как латинское произношение, известное из литургических традиций, является продуктом каролингской революции (которую в данном контексте точнее назвать каролингской

реакцией). В этом случае мы, очевидно, имеем дело с гипокоррекцией в условиях диглоссии, которая смягчилась в момент, когда диглоссия развилась в настоящее двуязычие с ситуационным переключением кодов[385].

Заметим при этом, что официальный язык не обязательно должен быть близок к разговорному, для того чтобы подвергнуться фонетической интерференции. Рубио [Rubio 2006] рассматривает *ondoku*-стиль чтения классической японской литературы, записанной китайскими иероглифами, который предполагал не перевод на японский, а лишь адаптацию их китайского чтения к фонологии и фонотактике японского языка. В данном случае, конечно, параллель с латинским не является точной, поскольку китайский язык продолжал передаваться в качестве родного на материке и поскольку те же тексты могли читаться и на японском языке, но данные детали второстепенны для целей настоящей дискуссии. Китайское *shān* ‘гора’ всегда произносилось как *san* в Японии VIII в. н. э. и долгое время спустя[386].

Примеры контактно-обусловленной гиперкоррекции, по общему мнению, менее частотны, но большое число соответствующих форм зафиксировано в корпусе буддийского санскрита. Этот диалект (или, скорее, группа диалектов) возник в результате несовершенного овладения классическим санскритом носителями буддийских пракритов в начале I тыс. н. э.[387]. Важно учитывать, что классический санскрит уже ко времени

---

[385] В настоящей диссертации я придерживаюсь первоначального определения диглоссии, данного в работе [Ferguson 1959], согласно которой акролект и базилект должны представлять собой генетически родственные формы, между которыми возможны простые правила взаимного пересчета. В современной лингвистике понятие диглоссии часто употребляется в отношении любой языковой ситуации, где наблюдается распределение между акролектом и базилектом [ср. Беликов, Крысин 2015: 55–59]. С моей точки зрения, классическое определение диглоссии остается предпочтительным, поскольку она описывает особую ситуацию, когда между акролектом и базилектом наблюдается континуум промежуточных идиолектов, что невозможно в ситуации настоящего двуязычия с ситуационным переключением кодов.

[386] Наряду с фонетической гиперкоррекцией можно упомянуть симметричный феномен семантический гиперкоррекции, крайний случай которого рассмотрен в работе [Якубович 2013b: 106–52]. Лексема ZY, выполнявшая роль подчинительной частицы в официальном арамейском языке, начала использоваться (наряду с другими функциями) как гетерограмма для сочинительного союза в согдийских текстах. Данное развитие не может объясняться исходя из арамейской исторической грамматики, поскольку оно отражает серию функциональных сдвигов в гетерографическом согдийском языке. Эти сдвиги были стимулированы полисемией и омонимией, реконструируемыми для собственно согдийских союзов, причем процессы в согдийском языке, скорее, развивались в противоположном направлении, то есть определенные подчинительные союзы уподобились по форме сочинительным.

[387] Эджертон [Edgerton 1953: 5] резюмирует историю происхождения буддийского санскрита следующим образом: “По-видимому, в ранний период некоторые северные индийские буддисты отказались от своих

исторического Будды был языком без настоящих носителей. Тем не менее он продолжал передаваться от учителя к ученику, а возможно, иногда и от отца к сыну в брахманских сообществах и постепенно получил авторитет и в буддийской среде. В результате формы буддийского санскрита подвергались неуклонному конвергентному развитию и постепенно стали фонетически идентичными формам классического санскрита.

Постоянная эволюция буддийского гибридного санскрита исключает возможность говорить о норме внутри данной группы диалектов. Различные отклонения могут сосуществовать с классическими формами в рамках одного текста. Большинство из них являются гипокоррекциями, отражающими прямое влияние форм пракритов, например будд. санскр. *khudrāka* ‘маленький’ vs. санскр. *kṣudraka-* и ардхамагадхи *khuḍḍāga-* ‘id.’. Однако гиперкоррекции также довольно многочисленны. Приведенные ниже примеры (Таблица 38) представляют собой выборку из словаря [Edgerton 1953]. Формы пали даются в качестве иллюстрации среднеиндийской фонотактики.

Во всех нижеприведенных примерах анонимные авторы произведений на буддийском санскрите пытались реконструировать санскритские формы, опираясь на их эквиваленты в пракритах. Ошибочные модели санскритизации не были случайными, а опирались на соответствия между санскритскими и пракритскими формами, которые можно обнаружить в других случаях. В частности, ошибочное восстановление *-bh-* вместо исконного *-h-* и *-k-* вместо исконного *-y-* были обусловлены частыми случаями интервокальной лениции **-bh-* > *-h-* и **-k-* > *-y-* в истории среднеиндийских языков.

исконных принципов использования разговорного языка и частично признали престиж классического языка L2 соседей — брахманистов. Тем не менее они не делали попыток «перевода» на санскрит. Работы на буддийском санскрите, особенно самые старые, во всех частях сохраняют явные свидетельства того, что они основывались на одном из среднеиндийских языков, который был лишь частично и, похоже, несистемно «санскритизирован». Этот смешанный вариант, по моему мнению, никогда не использовался в разговорной речи. Однако он существовал в течение веков как религиозный язык и, по-видимому, стал доминирующим языком, используемым северными индийскими буддистами для религиозных целей”. Несколько иная позиция, не делающая акцента на сознательном языковом планировании со стороны буддистов, может быть найдена в работе [Brough 1954: 368–369].

Таблица 38. Гиперкоррекции в буддийском гибридном санскрите

Буддийский гибридный санскрит	Пали	Санскрит
б.-г.-с. śista- ‘комок риса’ (1x)	пал. sittha-	скр. siktha-
б.-г.-с. nirgr̥hīta- ‘униженный, поставленный на место’ (1x)	пал. niggahīta-	скр. nigr̥hīta-
б.-г.-с. bharikā- ‘жена’ (2x)	пал. bhariyā-	скр. bharyā-
б.-г.-с. viyūbha- ‘идеальная форма’ (1x)	пал. viyūha-	скр. vyūha-
б.-г.-с. adhyuṣta- ‘3½’ (1x)	пал. aḍḍhuḍḍha-	скр. ardhacaturtha-
б.-г.-с. mr̥ya- ‘умирать (наст.)’ (4x)	пал. miyya-	скр. mriya-

Пропорциональные гиперкоррекции типа описанных выше едва ли являлись устойчивыми, по крайней мере пока «мертвый» язык сохранял свою письменную традицию[388]. В отличие от гипокоррекций, отражающих фонетические ограничения, общие для всех носителей определенного диалекта, гиперкоррекции отражают лишь творческую активность отдельных лиц, усваивающих второй язык. Они не порождают формы, которые легче произносить, а иногда и вовсе делают обратное. Рано или поздно гиперкорректные формы вступают в противоречие с авторитетом древних текстов и выходят из употребления. Число зафиксированных примеров отдельных гиперкорректных форм буддийского санскрита в Таблице 38 говорит само за себя[389].

[388] Границы гиперкорректных изменений в «мертвых» языках могут быть более широкими, если соответствующие тексты передавались исключительно в устной форме. В качестве примера можно привести ряд фонетических процессов, произошедших в авестийском языке уже после того, как традиция его устной передачи была прервана [de Vaan 2003]. Так, удлинение /wi$/ > /wi:$/ и /ju/ > /ju:/ в период после фиксации корпуса Младшей Авесты трудно объяснить из чисто фонетических соображений, однако оно может быть описано как древняя гиперкорреция, цель которой заключалась в предотвращении ассимиляции /wi/ > /wu/ и /ju/ > /ji/. Интересно, что звуковой переход */wi-/ > */wə-/ > */g^{w}ə-/ > /gu-/ реконструируется для персидского языка в период между ахеменидской и сасанидской эпохами, когда он, вероятно, являлся одним из основных разговорных языков зороастрийского сообщества.

[389] Рассматриваемый случай не должен смешиваться с гиперкоррекцией в естественно передаваемых языках, основанных на пропорции между фонетической формой слова и его воспринимаемой фонологической структурой. Способность сегментировать речевые высказывания на цепочки фонем является, по-видимому,

В свете вышеизложенного необходимо проверить, действительно ли фонетические изменения в новохеттском языке могут объясняться как гипокоррекции или гиперкоррекции, вызванные контактом с лувийским языком. С моей точки зрения, подобное объяснение возможно в случае назализации гласного, но не для перехода *i* > *e*.

Образование носового гласного в этимологической последовательности **an* перед слоговой границей в лувийском языке XIII в. до н. э. может быть предположено на основе анализа писцовых ошибок в хеттских текстах. Лувийские клинописные тексты, чья значительная часть отражает более раннюю стадию языка, обычно фиксируют *n* в конце слога, что предполагает, что мы имеем дело с настоящим носовым согласным. Тем не менее окказиональные формы без ожидаемого *-n-* неоднократно засвидетельствованы в лувийских формах. Следующий перечень ограничен случаями, где *-n-* опущено перед *-z-* в именной флексии: *a-la-a-aš-ša-za* (VBoT 60 i 6), *hu-u-pal-zi-ya-ti-ya-za* (HT 1 ii 9, KUB 9–31 ii 33), *hu-u-up-pa-ra-za* (KUB 9.31 ii 24), [URU*kap-l*]*-a-ú-i-ya-aš-ša-a-za-ti* (KUB 35.30 ii 4), DINGIR.MEŠ*-aš-ša-za-ti* (KUB 35.45 ii 9), *ti-wa-an-n*[*a-al-l*]*i-zi* (KBo 29.38 obv. 7), *ti-wa-an-da-li-zi* (KBo 29.38 rev. 7). Мелчерт [Melchert 2003b: 182] справедливо связывает это факультативное развитие со сходным феноменом в хеттском языке. Интересно, что KUB 9.7 obv. 13 *ne-e-a-za* (MS) — самая ранняя из известных мне форм, которая может проиллюстрировать образование носового гласного, — встречается в ритуале из Киццувадны с лувийскими вкраплениями.

У нас, к сожалению, нет способа исследовать поведение *-n* в конце слога в позднелувийском языке, поскольку оно не отражается в анатолийском иероглифическом письме, но более поздние лувические языки, такие как ликийский и милийский, последовательно замещают последовательность *-*Vn$* носовыми гласными *ã*, *ẽ* и *ñ* [Melchert 1994: 293–

врожденным качеством людей как биологического вида, и поэтому ошибки гиперкоррекции в данном случае могут быть систематическими и необратимыми. В частности, данная идея используется для объяснения диссимиляции, основанной на восприятии [Blevins 2004: 149, см. там же библиографию].

294]. Эта особенность явно повлияла на памфилийский диалект греческого языка, где -ν- последовательно опускается перед другим согласным на письме [Brixhe 1976: 33–35]. Самый известный пример — это памф. πεδε < **pente* ‘пять’, которое на добрых две тысячи лет предвосхищает аналогичное изменение в новогреческом языке [Buck 1955: 60, 63; Watkins 2001: 59]. Существование назализованного *ã* < **-an$* в лидийском языке свидетельствует о том, что образование носового гласного было типологически распространенным в Анатолии I тыс. до н. э.

Таким образом, имеются достаточные основания полагать, что образование носового гласного являлось факультативной особенностью имперского лувийского. Это позволяет предположить, что разговорная назализация в хеттском была гипокоррекцией, то есть переносом фонетического варьирования из разговорного языка в официальный язык. Очевидно, это не единственное возможное решение, поскольку, в принципе, можно было бы предположить, что данный процесс был перенесен из хеттского в лувийский. Но полученные результаты исключают использование синхронного варьирования типа *hu-u-ma-an-da-aš*/*hu-u-ma-a-da-aš* в новохеттском как доказательство того, что во времена Муваталли II новохеттский язык передавался как родной.

Что касается перехода *i* > *e* в новохеттском, то он, безусловно, не является гипокоррекцией. Наиболее существенное различие между фонологическими системами лувийского и хеттского заключается в отсутствии фонем /e/ и /ē/ в лувийском языке [Melchert 1994: 100, 239]. Объяснение в контексте гиперкоррекции со стороны писцов было бы возможно, если бы существовало большое число связанных форм, где хеттское /ĕ/ соответствовало бы /ĭ/ в разговорном языке. Соответствия типа хетт. /ĕ/ ~ лув. /ĭ/ действительно существуют (напр., хетт. *nébis* ‘небо’ ~ лув. иер. *ti-pa-s*° ‘id.’), но они менее многочисленны, чем соответствия между хетт. /ĕ/ или /ĭ/ и лув. /ă/. Уже Ларош [Laroche 1959: 134, §16] привел список ряда частотных пар, иллюстрирующих это соответствие, включая хетт. *ēs-* vs.

лув. *ās-* ‘быть’, хетт. *ēzz-* / *ad-* vs. лув. *āzz-* / *ad-* ‘есть’, хетт. *meu-* vs. лув. *māwa-* ‘четыре’, хетт. *peran* vs. лув. *parran* ‘перед’ и т. д. Если соответствия гласных между хеттским и лувийским действительно служили основанием для гиперкоррекции, ожидалось бы, что будут обнаружены случаи, когда этимологическое /ā̆/ замещалось бы ошибочно восстановленным /ē̆/ или /ī̆/ в хеттском. Однако систематическое замещение подобного типа не обнаружено.

Другое возражение против гиперкорректного перехода *i* > *e* в «мертвом» новохеттском языке, лишенном передачи в качестве родного, состоит в его лексической дистрибуции. Если представить, что носители лувийского языка изобретали гиперкорректные формы, усваивая хеттский язык как второй, то не ожидалось бы, что они окажутся сосредоточенными внутри небольшой группы лемм. Еще менее вероятно, что они будут численно превосходить гипокорректные формы, содержащие *i* вместо этимологического *e*. В то же время мы имели случай убедиться, что мнимый переход *e* > *i* имеет либо аналогическое, либо графическое объяснение.

Приведенные выше соображения говорят в пользу того, что новохеттский переход *i* > *e* несовместим с обычными моделями фонетических изменений, происходящих после языковой смерти (полного языкового сдвига). Таким образом, следует считать, что хеттский язык продолжал передаваться естественным путем в имперский период.

5.2.5 Фонетическая гиперкоррекция в новохеттском языке

В отличие от изменений в «мертвом» языке, всегда имеющих контактно-обусловленный характер, изменения в живых языках могут иметь как внутреннюю, так и внешнюю мотивацию. Ряд структурных соображений и аргументов, основанных на анализе отдельных хеттских лексем,

способствуют интерпретации перехода *i* > *e* в контексте контакта между хеттским и лувийским языками.

Тот факт, что единственное фонетические развитие, которое можно обнаружить в новохеттском языке, включает фонему, отсутствующую в лувийском, сам по себе примечателен. Если верны заключения о лексической диффузии перехода *i* > *e*, это повышает вероятность того, что данный переход вызван языковой интерференцией. Само понятие лексической диффузии является в исторической лингвистике дискуссионным. Традиционная историческая лингвистика, восходящая к немецкой младограмматической школе, склоняется к тому, чтобы рассматривать любые фонетические изменения, постепенно распространяющиеся по лексикону, как непроясненные случаи диалектного смешения [Campbell 2004: 224]. Исследователи, пытающиеся соединить социолингвистику с исторической лингвистикой, более осторожны в своих выводах и оставляют возможность для лексической диффузии, обусловленной внутренними языковыми факторами. Однако поучительно высказывание Лабова [Labov 1994: 542]: “Данный процесс [лексическая диффузия. — И. Я.] наиболее характерен для стадий внутреннего изменения, выделяющихся сложными лексическими/грамматическими параметрами или *высокой степенью социальной осведомленности носителей о заимствованиях из других систем* (так называемое изменение сверху)”.

Также примечательно, что в среднехеттском и новохеттском языках *e* и *i* свободно варьировались в некоторых глагольных суффиксах, таких как итеративные суффиксы *-isk-*/*-esk-* [Melchert 1984b: 134, 138]. Мелчерт показал, что это варьирование имело место из-за утраты морфонологического правила, регулировавшего дистрибуцию между двумя итеративными алломорфами (ср. ниже). Но даже если принять данное объяснение, то может показаться, что хеттский язык имел достаточно времени, чтобы устранить это варьирование в пользу одного из вариантов. Тот факт, что этого не произошло, свидетельствует о том, что варьирование между *e* и *i* имело

определенную социолингвистическую мотивацию, даже если невозможно понять ее напрямую. Имеются, однако, случаи, позволяющие оценить значение данной социолингвистической переменной. Если лувийское заимствование в хеттский имело *e*-вокализм, то билингвы не воспринимали его как неосвоенное. Нетривиальные фонетические изменения в заимствованиях говорят о том, что подобная социолингвистическая интерпретация действительно имела место.

Самый ясный случай — это конкуренция между *tissummi-* и *tessummi-* ‘(вид сосуда)’ в хеттском языке [Neu 1983: 195–197]. Суффикс *-ummi-* предполагает, что это было исконное лувийское слово, которое подверглось *i*-мутации до того, как оно было заимствовано в хеттский. Следует транслитерировать лувийский источник как *tissumm(i)-*, но уже в древнехеттском языке обнаруживается вариант *tessummi-* наряду с *tissummi-*[390]. Не существует фонотактических правил, отвечающих за древнехеттский переход *tissummi-* > *tessummi-*, то есть данное варьирование является нерегулярным. Вероятно, оно первоначально отражало неуверенность хеттских носителей по поводу того, как обозначить лувийское /i/, которое, без сомнения, имело несколько аллофонов, некоторые из них были ближе хеттскому /e/. Тем не менее в более позднем хеттском языке был обобщен вариант *tessummi-*. Это может рассматриваться как результат лингвистического планирования, то есть попытки ассимилировать данное заимствование. Наиболее эффективный способ сделать это состоял в том, чтобы ввести в него фонему, не существовавшую в языке-источнике[391].

Древнехеттское варьирование ^{DUG}*hanissa-*/(^{DUG})*hanessa-* ‘(вид сосуда)’ имеет, по моему мнению, такое же социолингвистическое объяснение. Название сосуда ^{DUG}*hanissa-* (общ.) обычно возводится к хеттскому глаголу

[390] Ной [Neu 1988: 239, сноска 17] справедливо предположил, что *tissummi-* является когнатом лувийского *tissai-*, рассмотренного в 5.2.1. Возможно, данная лексема употреблялась для сосуда, обработанного на гончарном круге.

[391] Мелчерт [Melchert 1984b: 96] отмечает существование в древнехеттском языке другого варианта *tessumme-* (3x). Поскольку <me> является знаком из двух клиньев, в то время как <mi> — это знак из пяти клиньев, графические соображения в данном случае не должны исключаться.

han-/haniya- ‘выливать (жидкость)’, но при таком анализе неясной остается природа суффикса[392]. Я полагаю, что это обозначение нужно, скорее, связать с лув. **hanī-* ‘выливать (жидкость)’, и следую предположению Мелчерта, который отметил (личн. сообщ.), что оно могло быть образовано с помощью редкого тематического суффикса *-(i)ssa-*, синхронно отличающегося от лувийского маркера притяжательных прилагательных[393]. Данная лексема была заимствована в хеттский язык в доисторическую эпоху и имела тематическое окончание в им./вин. ед. Тем не менее форма *hanissanni-*, расширенная лувийским уменьшительным суффиксом, может свидетельствовать о том, что это существительное продолжало восприниматься как слово иностранного происхождения. Как и в примере выше, окказиональные написания с *e* в древнехеттском могут отражать фонетическую вариацию в языке-источнике. Помимо несклоняемой формы *ha-ne-eš-ša* в II *ha-ne-eš-ša* ‘два сосуда *hanissa-*’ (Bo 3223 ii 88, ср. [Neu 1980: 160])[394], следует упомянуть вин. ед. *h*]*a*-[*a*]-*ne-eš-ša-an* (KBo 25.58 ii 3) и фрагментарное ^{DUG}*ha-n*[*e* (KBo 20.8 iv$^{?}$ 9). Подобные написания, однако, становятся более частотными в среднехеттскую эпоху и регулярными в новохеттский период. В данном случае мы, вероятно, также имеем дело с обобщением варианта, который звучал как более «родной».

Иногда интеграция лувийского заимствования могла быть «отыграна назад» вследствие увеличения интенсивности языковых контактов. По-видимому, такая участь постигла лув. ^{GIŠ}*ir(h)ui(t)-* ‘корзина’, подробно рассмотренное у Штарке [Starke 1990: 198–200]. Данная основа была адаптирована еще в древнехеттский период, где она представлена как ^{GIŠ}*ērhui-*. Преобладающим написанием в новохеттский период является,

[392] Ср. объяснение [HED, H: 76–77], где лемма представлена как *hanessar*, хотя *r*-основа вообще не засвидетельствована в древнехеттском языке. Критику данного подхода см. у [Oettinger 1980: 593].

[393] Другое лувийское существительное, которое могло быть сформировано с помощью того же суффикса, — это *luwariss(i)-* ‘(топографическая особенность)’, встречающееся лишь как вкрапление в хеттских текстах [Melchert 1993: 130]. Дополнительные морфосинтаксические аргументы в пользу заимствованного характера ^{DUG}*hanissa-* представлены в статье [Rieken 2013].

[394] Ной [Neu 1983: 48, сноска 243] отнес форму *ha-ne-eš-ša* к основе *hannessar*, отталкиваясь от написания [II *ha-n*]*e-eš-šar* в новохеттской копии того же текста (KBo 11.41 i 10). Данный аргумент не кажется убедительным, поскольку новохеттский переписчик мог легко смешать редкое *ha-ne-eš-ša* с лексемой *hannessar* ‘суд’.

однако, ^{GIŠ}*irhui-*. Следует принять объяснение Штарке: “В оригинальных текстах XIII в. оно выравнивается по анлауту клинописной лувийской лексемы” [ibid. 299]. Предположение об обратной адаптации к лувийскому, а не о повторном заимствовании, следует из того факта, что лувийская *t*-основа не переходила в новохеттский[395].

Поучительным случаем, не относящимся к лувийским лексическим заимствованиям, является пример указательного местоимения дальней дистанции *eni*/*ini* ‘тот (далекий)’ (им./вин. ед./мн. ср.) и удаленного наречия дальней дистанции *enessan*/ *inissan*/*enissan* ‘так, оным образом’, восходящего к той же основе. Хронологическое построение представленных ниже форм основано на материалах работы [Goedegebuure 2003: 119, 132, 142, 160].

Таблица 39. Распределение указательных местоимений дальней дистанции в хеттском корпусе

	OS	MS	MH/NS	Мурс. II	Мув. II	Хатт. III	Тудх. IV
ini		+	+	+			
eni			+	+	+	+	+
inissan		+					
enissan				+		+	
enessan	+ (1x)			+			+

Засвидетельствованные случаи употребления наречия дальней дистанции в древнехеттском языке ограничены IBoT 2.121 *e-ne-i*[*š-ša-an*] [Goedegebuure 2003: 134]. Реконструкция данной формы не является полностью достоверной, и, следовательно, представленное ниже объяснение должно рассматриваться как предварительное. И все-таки, если отнестись к данному примеру серьезно, то легко увидеть, что самые древние и самые поздние формы в Таблице 39 сходятся друг с другом, отличаясь от

[395] В качестве альтернативы можно предполагать в данном случае, что слово со значением ‘корзина’ имеет хеттское происхождение (^{GIŠ}*ērhui-*), в то время как лув. ^{GIŠ}*ir(h)ui(t)-* является заимствованием. Данная гипотеза, по-видимому, противоречит общему направлению языковых контактов между лувийским и древнехеттским языками. Стоит, однако, отметить, что в обоих случаях новохеттское изменение в вокализме в начале слова может быть связано с лувийским влиянием.

расположенных между ними примеров. Формы, начинающиеся с гласного *i-*, ограничены среднехеттским и ранненовохеттским периодами. «Компромиссная» форма *enissan* употреблялась в новохеттском, но, по-видимому, отсутствовала в самых поздних текстах. Вместо того чтобы постулировать разворот в фонологическом развитии, который едва ли может объясняться в рамках фонетических законов[396], можно реконструировать здесь намеренное восстановление исконной модели в новохеттский период — в противовес тому, что воспринималось как ненормативные формы с *i-*. Данное восстановление было обусловлено не механическим копированием древнехеттских табличек (иначе было бы трудно объяснить форму *enissan*), а, скорее, сосуществованием вариантов *eni*/*ini* и *enessan*/*inissan* в хеттской речи. В определенный момент в XIV в. до н. э. форма *inissan* стала восприниматься как ненормальная. Поскольку в ней отсутствовал вокалический маркер *e*, она, вероятно, выглядела как недостаточно хеттская.

В предлагаемом здесь социолингвистическом сценарии новохеттского перехода *i* > *e* последний пример используется как логическая отправная точка. Можно принять, что к началу среднехеттского периода многие носители лувийского языка овладели хеттским как своим вторым языком. Однако они не в совершенстве усвоили хеттский. В частности, многие из них не усвоили в полной мере хеттский вокалический инвентарь и в своем произношении систематически замещали правильное хеттское *e* на *i*. Континуум «лувизированных» диалектов находился в контакте с хеттским языком, передаваемым в качестве родного. Предположительно, этот континуум и был источником таких форм, как *ini* и *inissan*. В ряде других случаев взаимодействие диалектов привело к утрате морфонологических правил. Так, древнехеттские итеративы от основ, заканчивающихся на

[396] Специалисты по фонологии иногда называют подобные преобразования «передвижениями герцога Йоркского», имея в виду один из стишков Матушки Гусыни: “The great Duke of York, he had ten thousand men, he marched all them up the hill, then marched them down again. And when they are up, they are up, and when they are down, they are down, but when they are neither up nor down, they are neither up nor down”. В нашем случае форма *enissan* как раз «ни наверху, ни внизу».

губные или дорсальные согласные, обычно сопровождались суффиксом *-iske-* (напр., *appiske* от *ep-* ‘брать, хватать’, *zahhiske-* от *zah-* ‘ударять’), в то время как итеративы от основ на *-ai-* обычно содержали суффикс *-esk-* (напр., *hatreske-* от *hatrai-* ‘писать’, *palweske* от *palwai-* ‘кричать’ и т. д.)[397]. Данная дистрибуция начинает затемняться в среднехеттском и полностью исчезает в новохеттском языке, где суффиксы *-eske-* и *-iske-* находятся в состоянии свободного варьирования [Melchert 1984b: 148]. Морфонологическое чередование между *e* и *i* было реинтерпретировано как различие между говорами. Тем не менее оба варианта *-eske-* и *-iske-* оставались приемлемыми для официального языка.

Прямая ассоциация «нестандартного» *i*-вокализма с другими «нестандартными» особенностями может быть выведена из примеров, рассмотренных выше в данной главе. Так, уже неоднократно упоминавшийся черновик молитвы Муваталли II (CTH 381.B) демонстрирует аналогическое распространение *-i-* в местоименных основах, а также образование носового гласного [an] > [ã] в разговорном языке. Табличка с систематизированными ритуалами (CTH 390.A) характеризуется таким же аналогическим расширением, сочетающимся с рядом морфологически неправильных форм [ср. Kronasser 1966, §25; Oettinger 2004: сноски 5, 12, 13]. Хотя аналогические процессы в принципе не требуют внешнего объяснения, в данном случае можно догадаться, что они были поддержаны естественной тенденцией к замещению [e] на [i] в разговорной речи хеттских и лувийских билингв.

Основная масса новохеттских форм на *-e-* оказалась, однако, способной противостоять давлению интерференции. Это можно хорошо увидеть в глагольной системе, где такие формы, как *e-eš-ta* ‘он был / она была’ и *e-ip-ta* ‘он взял / она взяла’ никогда не переходят в ***i-iš-ta* и ***i-ip-ta*. Это само по себе является сильным аргументом в пользу естественной передачи хеттского языка в имперский период. Но развитие *i* > *e* в отдельных

[397] См. [Kassian 2002], где приводятся фиксации релевантных форм. Стоит отметить, что форма *pal-ú-i*[*š-ki-iz-zi*] засвидетельствована единожды еще в древнехеттском корпусе (KBo 25.69 ii 6).

новохеттских лексемах является еще более важным для подтверждения данного тезиса. Сделует предположить, что в данном случае имеет место «изменение сверху», пуристическая реакция на то, что воспринималось (правильно или ошибочно) как искаженное произношение отдельных хеттских слов. Данная гипотеза может быть напрямую подтверждена в случае *enessan*, чье древнехеттское написание было восстановлено в новохеттский период[398]. Если Айхнер [Eichner 1982: 26–28] прав по поводу связи между хетт. *sist-*/*sest-* ‘процветать’ и хетт. *sesa(n)-* ‘плод, плодовое дерево’, а также вед. *sasá-*, *sasyá-* ‘трава, овощи, плод, урожай зерна’, то среднехеттский вариант *sist-* должен также рассматриваться как образец искаженного произношения, устраненного в новохеттский период.

Дальнейшую поддержку предложенному сценарию дают контаминации вербальных форм, уже рассмотренные в данном разделе. Полное фонетическое смешение *mimma-* > *me(m)ma-* ‘отвергать’ и *mema-* > *me(m)ma-* ‘говорить’ легче объяснить, если первое воспринималось как ‘лувизированный’ вариант второго. То же самое справедливо для *widai-* > *weda-* ‘приносить’ vs. *wete-* > *weda-* ‘строить’. В контексте наших сегодняшних знаний обе глагольные пары не связаны исторически, но цари Хаттусы не имели исторических лингвистов при своем дворе. Реконструкция народных этимологий в данном случае выглядит правдоподобной, учитывая, что полное смешение формально и семантически различающихся лексем в результате спорадического фонетического изменения — трудный для понимания процесс. Известно, что даже в тех случаях, когда две лексемы должны смешаться в результате регулярных фонетических переходов, лексическое замещение часто предотвращает нежелательную омонимию. Хорошим примером является, например, эволюция испанского языка, где

[398] Имеется возможность того, что новохеттский переход *apenissan* > *apenessan* был обусловлен аналогией с *enissan* > *enessan*. Заслуживает внимания также отсутствие подобного изменения в *kissan*. Можно предположить, что основа хеттского указательного местоимения ближней дальности *k-* воспринималась как отличная от лувийского аналога *z-* в достаточной мере, и поэтому не было необходимости дополнительно маркировать с ее помощью других изменений. Следует, однако, предпочесть формальное объяснение. Аналогия между **é́nessan* и *abé́nessan* могла облегчаться схожей структурой ударения, тогда как ударение на *i* в **kíssan* могло препятствовать фонетическому переходу в данном случае.

рефлексы лат. *ubi* ‘где’ и лат. *ibi* ‘там’ были замещены неродственными формами *donde* ‘где’ и *allí* ‘там’ для предотвращения возможной омонимии с лат. *aut* > *o* и лат. *et* > *y* соответственно [Wright 1982: 20–21][399].

Признаться, не видно явной причины, по которой такие лексемы, как ^{É}*histā-* ‘(культовое сооружение)’ или *dammishai-* ‘обижать’, могли показаться носителям хеттского языка лувоидными. С другой стороны, ничто не препятствует подобному сценарию, поскольку эти два слова не содержат морфологических элементов, которые бы отмечали их как хеттские, а не лувийские[400]. Вероятно, разумнее не спекулировать о причинах изменения *i* > *e* в случае каждой отдельной лексемы, где встречается этот переход. Более стандартные случаи «изменений сверху», рассматриваемые в рамках современной диалектологии, предоставляют здесь подходящую почву для сравнения. Обычно невозможно семантически обосновать точный выбор корпуса лексем, подвергшихся интерференции с соседним диалектом, однако ответственный диалектолог должен определить источник интерференции и очертить ее границы на основании формальных критериев

Наш сценарий может быть резюмирован в следующей пропорции: *tissummi-/tessummi-* = *hista-/X*. Зная, что *tissummi-* — это лувийское слово, «родным» эквивалентом которого является *tessummi-*, носители хеттского языка заменили раннее *hista-* на *hesta-*, поскольку первое слово воспринималось либо как заимствование, либо как результат интерференции. Предложенный механизм пропорциональной гиперкоррекции внешне похож на тот, что был рассмотрен в связи с буддийским санскритом в предыдущем разделе, но реконструируемая социолингвистическая ситуация существенно

---

[399] К. Мелчерт (личн. сообщ.) приводит еще одну причину, по которой социолингвистическое объяснение должно дополнять аналогическое объяснение *mimma-* > *me(m)ma-* ‘отказываться’. Тематические глаголы с *i*-редупликацией формировали продуктивный класс в более ранней версии хеттского языка (о происхождении ср. [Jasanoff 2003: 128–132]), в то время как глаголы с *e*-редупликацией были, по-видимому, изначально ограничены *mema-* и *wewwakk-* ‘просить, требовать’. Гипотезу о том, что второй класс обусловил шаблонное изменение в первом классе, трудно принять, если не предположить, что *i*-редупликация являлась негативным социолингвистическим маркером.

[400] Хеттские тексты XIII в. до н. э. характеризуются большим числом лувийских заимствований с суффиксом *-sha-*, в то время как число исконных хеттских слов, содержащих данный суффикс, явно меньше [Starke 1979]. Возможно, что все слова с суффиксом *-sha-* начали рассматриваться в новохеттской писцовой среде как лувоидные.

отличается. Вместо того чтобы приписывать изменения изобретательности носителей пракрита (=лувийского), которые пытались сочинять тексты на несовершенно усвоенном санскрите (=хеттском), я приписываю эти изменения сознательной манипуляции носителей хеттского языка, стремившихся дистанцироваться от контактно-обусловленного произношения. Если обратиться к Рисунку 4, можно сказать, что взаимодействие происходило между хеттским ядром и средним слоем, состоящим из лувийцев, пытавшимися говорить на хеттском. Ожидается, что контактно-обусловленные изменения в ситуации языкового баланса должны распространяться методом лексической диффузии [Winford 2003: 61–62]. Лексическая диффузия перехода *i* > *e* удовлетворяет этому теоретическому предсказанию.

Дистрибуция между *i* и *e* в новохеттском языке, по-видимому, склонилась в сторону *e*. Таким образом, можно заключить, что стандартный диалект оказался в целом способен противостоять давлению не до конца усвоенного хеттского языка и отреагировал на него посредством чрезмерного распространения *e*. Диалектная гиперкоррекция возобладала над диалектным заимствованием. Этот неожиданный результат должен свидетельствовать о том, что правильное произношение *e* рассматривалось как престижное среди элит Хаттусы имперского периода, поскольку оно, по-видимому, символизировало принадлежность к хеттам, в то время как его замена на *i* в некоторых морфемах выдавала носителей лувийского языка, недостаточно хорошо усвоивших хеттский.

Наиболее проблематичный элемент предложенного объяснения — это необходимость реконструкции «лувоидного» хеттского диалекта с избытком *i*, что не зафиксировано напрямую в письменных источниках. Однако в следующих разделах будут приведены независимые свидетельства в пользу существования в имперский период континуума носителей лувийского, не до конца усвоивших хеттский язык.

5.3 Морфосинтаксические инновации в новохеттском языке

Конвергенция между хеттским и лувийским морфосинтаксисом представляла собой постепенный процесс, наблюдаемый в течение всей истории хеттского письменного языка, но достигающий кульминации в имперский период. Перечень новохеттских морфосинтаксических изменений, которые следует связать с лувийским влиянием, представлен в работе [Rieken 2006a]. Цель данного раздела заключается не в рассмотрении всех контактно-стимулированных инноваций новохеттского языка, а, скорее, в интерпретации тех из них, которые важны для определения природы лингвистических контактов между хеттским и лувийским языками в рассматриваемый период.

В данном разделе (как и в предыдущем) я попытаюсь разграничить, с одной стороны, контактно-стимулированные феномены, которые существовали на периферии хеттской письменной культуры, и, с другой стороны, те, что ответственны за изменение грамматической нормы в определенный период развития новохеттского языка. Граница между двумя группами не является четкой. Даже в случае регулярных изменений можно найти тексты, которые частично или в полной мере отразили их еще до того, как они стали общепринятой нормой, а также демонстрируют спорадические случаи гиперкоррекции со стороны писцов. Тем не менее эти два типа изменений требует отдельных социолингвистических интерпретаций[401].

5.3.1 Диффузия *i*-мутации

Наше рассмотрение уместно начать со спорадических случаев варьирования между основами хеттских существительных и прилагательных на *-a-* и на *-i-*. Данная проблема впервые подверглась тщательному

[401] Ср. обсуждение [Langslow 2002: 42–44], касающееся различий различий, которые необходимо проводить при исследовании морфосинтаксической интерференции между греческим и латинским языками.

обсуждению в работе [Rieken 1994]. Автор показала, что дистрибуция двух конкурирующих основ не является произвольной. Нерегулярные *i*-основы сосуществуют с исконными *a*-основами (или консонантными основами) преимущественно в им./вин. ед./мн. общего рода, в то время как нерегулярные *a*-основы имеют тенденцию к вытеснению этимологических *i*-основ в косвенных падежах обоих родов. Например, вин. мн. *ki-iš-ša-ri-uš* (KBo 20.82 iii 10, KBo 32.2 rev. 12) может быть сопоставлен с регулярной хеттской основой *kissar(a)-* ‘рука’, в то время как абл. ед. *la-ha-an-na-az* (KUB 46.47 obv. 22) является отклонением от регулярной основы *lahanni-* ‘(вид сосуда)’. Полный на то время список основ, демонстрирующих данную модель, может быть также найден у Рикен [Rieken 1994: 44–45]. При дальнейшем обсуждении уместно сконцентрироваться на «неправильных» *i*-основах, засвидетельствованных в большем количестве, чем «неправильные» *a*-основы.

Рикен убедительно показала, что данная несимметричная модель явилась результатом лингвистической интерференции с лувийской *i*-мутацией. Данный феномен, установленный Штарке [Starke 1990], заключается в чередовании консонантных основ и *i*-основ в окончании некоторых лувийских существительных и прилагательных. Основы на *-i-* появляются в им./вин. ед./мн. общ., в то время как консонантные основы характеризуют остальные флективные формы. Так, лувийское прилагательное *āḍḍuwal(i)-* ‘плохой, злой’ имеет следующие формы в текстах из Киццувадны: им. ед. общ. *āḍḍuwalis*, вин. ед. общ. *āḍḍuwalin*, им.-вин. ед. ср. *āḍḍuwal(-za)*, им. мн. общ. *āḍḍuwalinzi*, им.-вин. мн. ср. *āḍḍuwala*, абл.-инстр. *āḍḍuwaladi* [ср. Melchert 2003b: 188][402]. Данное чередование, в отличие от своего хеттского аналога, является обязательным: *a*-основы / консонантные основы и *i*-основы находятся в дополнительном распределении в парадигме для каждой лексемы, подверженной *i*-мутации.

[402] Дополнительной парадигматической формой данного прилагательного в клинописных текстах является им.-вин. ед. ср. *adduwanza*. Данная форма характерна для диалекта Хаттусы и отражает типичный для данного диалекта переход **-lz-* > *-nz-* (Yakubovich 2013/14: 285).

Согласно первоначальной гипотезе Рикен [Rieken 1994: 46–47], лувийская *i*-мутация первоначально проникла в хеттский вместе с заимствованными лексемами, а позднее распространилась по аналогии и на хеттские существительные. Этой интерпретации также следует Мелчерт [Melchert 2005: 456], утверждая при этом, что чередование между *-a-* и *-i-* основами "становится частью новохеттской грамматики". В действительности, вполне правдоподобно, что некоторые хеттские лексемы, демонстрирующие данное чередование, являются лувийскими заимствованиями или сопровождаются лувийскими суффиксами. Ср., напр., хеттское $^{(DUG)}$*tapisana/i-*, *tapisena-* '(вид сосуда)', которое могло быть заимствовано из того же источника, что и греч. δέπαστρον 'кубок, бокал (vel sim.)', или хетт. *uskiskat(t)alla/i-* 'наблюдатель, сторож', которое предположительно содержит деривационный суффикс *-alla-/-alli-*, имеющий лувийское происхождение [Melchert 2005: 456, см. там же библиографию]. Однако едва ли механическая аналогия может быть ответственна за распространение запутанной и нерегулярной модели чередования между *i*-основами и *a*-основами на всю хеттскую лексику. Напротив, следовало бы ожидать, что лувийские заимствования постепенно переняли бы более последовательную хеттскую флексию.

Другая проблема для теории аналогического распространения — это то, каким образом мутационные основы зафиксированы в хеттском языке. Первая часть «неправильных» *i*-основ появляется еще в среднехеттский период, они засвидетельствованы как в исконных новохеттских произведениях, так и в новохеттских копиях более ранних текстов, при этом они не получили нормативного статуса, как это произошло в истории лувийского языка[403]. В подавляющем большинстве случаев первоначальные *a*-основы и консонантные основы продолжают использоваться в прямых падежах общего рода. В частности, оригинальные композиции конца XIII в.

[403] По поводу датировки релевантных форм см. [Rieken 1994: 44–45]. Стоит отметить, что фрагмент KBo 32.2, содержащий форму *ki-iš-ša-ri-uš*, был передатирован в CTH как новохеттский.

до н. э. содержат около 20 примеров окончания им./вин. мн. общ. *-us*, присоединяемого к тематическим существительным и прилагательным, но не содержат примеров окончания *-ius* в том же морфологическом классе (см. [McIntyre 1986], ср. также следующий раздел)[404].

Гипотеза о лексической дистрибуции «неправильных» *i*-основ также может быть опровергнута. Например, существительное $^{\text{LÚ.GUNNI.MEŠ}}$*uski*[*ska*]*dallies* ‘стражи очага’ (KBo 10.45 iv 16, MH/NS) контрастирует с $^{\text{LÚ.MEŠ}}$*uskiskatallus* ‘наблюдатели’ (KBo 4.14 iii 10) в тексте, относящемся к концу правления Тудхалии IV. Текст KBo 39.8, среднехеттская версия I.A Ритуала Мастигги против бытовых ссор, содержит мутационные формы им. *isnūris* и асс. *isnūrin*, образованные от основы *isnura-* ‘(вид сосуда)’, в то время как KBo 2.3+, представляющий новохеттскую версую I.B того же ритуала, использует в соответствующих местах регулярные формы $^{\text{DUG}}$*isnuras* и $^{\text{DUG}}$*isnuran* [Miller 2004: 170].

Еще более показательны случаи, когда писцы корректируют неправильные варианты *i*-основ. В качестве примера можно рассмотреть позднеовохеттскую табличку со сборными ритуалами KBo 3.8+ KUB 7.1 (CTH 390.A) и ее описание в каталожной табличке KBo 31.4+ (CTH 277.2). Писец KBo 3.8+ последовательно использовал в ритуальной части форму *karadus* ‘внутренности’ (5x), поскольку, предположительно, она была скопирована из более ранней версии, однако в колофоне писец замещает ее на *ga-ra-ti-uš* [Dardano 2006: 113, iv 11]. Можно показать, что запись в каталожной табличке KBo 31.4+ iv 12–28 [Dardano 2006: 102] была сделана на основе данного конкретного колофона, поскольку тексты содержат одинаковые ошибки[405]. Тем не менее правильная форма *karadus* была

[404] Большинство релевантных примеров приведено ниже в Таблице 43. В дополнение к этому ср. *arsana(t)tallus* KUB 1.1 i 59, KUB 1.5 i 29, KUB 3.6 ii 12 и *huyattallus* KUB 3.6 iv 4. В этом списке отсутствуют местоименные формы *kus* ‘эти’ и *apus* ‘те’.

[405] Текст KBo 3.8+ iv 11 содержит странную форму *ka-ri-e-ra-a-mi*, которая, предположительно, является искажением *karābi* ‘он пожирает’. KUB 31.4+ iv 24 замещает ее столь же аграмматичной, но несколько менее безобразной формой *ka-ri-ra-pí*. Далее, колофон KBo 3.8+ iv 7–16 изменяет порядок ритуалов, данный в табличке, и тот же самый измененный порядок отражен в каталожной записи KBo 31.4+ iv 12–28. Ср. запись в KUB 30.48 [Dardano 2006: 113], которая, очевидно, была скопирована с другого колофона, поскольку в ней ритуалы из той же коллекции представлены в правильном порядке.

восстановлена в каталожной записи (iv 23). Другой пример — это KUB 27.1, текст праздника Хаттусили III в честь Иштар из Самухи (CTH 712). Писец использовал неправильную форму вин. ед. *gimrius* в i 7, заменив ее регулярным вин. ед. *gimrus* от основы *gimra-* ‘степь’ в следующей строке i 8 [Wegner 1995: 32]. Разумно полагать, что последняя форма является результатом коррекции писца, который должен был вдобавок использовать дат. мн. *gimras* в i 10.

Рассмотренные выше сложности требуют пересмотра социолингвистического статуса чередования *-a-/-i-* в хеттском языке. Оно было не частью новохеттской грамматики (по крайней мере, в случае исконных хеттских лексем), а, скорее, речевой особенностью некоторых носителей лувийского языка, овладевших хеттским как вторым языком. Данное заключение хорошо соответствует общей теории языковых контактов, которая предсказывает, что групповое усвоение второго языка может вести к ошибкам, затрагивающим в первую очередь наиболее устойчивые компоненты языковой структуры[406]. Лувийцы имели меньше трудностей с запоминанием хеттских лексических элементов и окончаний, чем с отказом от моделей чередования, типичных для их родного языка. Поэтому мы сталкиваемся с такими формами, как *kissarius* ‘руки (вин. мн.)’, а не ***kissarus*, что ожидалось бы в случае заимствования. Однако существенно, что вплоть до самого конца хеттской письменной традиции оставались писцы, способные исправить ошибки коллег, для которых хеттский язык был вторым[407]. Некоторые из них могли быть носителями хеттского языка, в то время как другие были, вероятно, лувийцами, в совершенстве овладевшими хеттской грамматикой.

---

[406] Наиболее прямолинейная формулировка данного принципа может быть обнаружена в монографии [van Coetsem 2000: 259]. Стоит отметить, что ван Кетсем использует формулировку “языковые контакты при агентивности языка-источника” для обозначения контактной ситуации контакта, которую другие исследователи описали бы как языковой сдвиг.

[407] Также зафиксирован и противоположный тип исправления. Так, писец копии текста Анитты, записанной новохеттским пошибом, заменил исконное вин. мн. *annus* ‘матерей’ на *annius* в KBo 22.5 obv. 8. Это показывает, что нерегулярные *i*-основы могли восприниматься определенными лувийскими писцами как грамматически правильные формы.

Наши выводы, если они верны, имеют важные практические последствия для изучения социолингвистической ситуации в Хеттской империи. Следует признать, что носители лувийского языка были ответственны за создание значительной части хеттских табличек. Результат их труда содержит нестандартные формы, отражающие в своей морфологической структуре результат интерференции с лувийским языком. Важно подчеркнуть, однако, что те словоформы, которые были заимствованы из лувийского или содержали лувийские деривационные суффиксы, не могут рассматриваться как маркеры, указывающие на лувийских писцов. В подобных случаях мы, возможно, имеем дело не с плохим знанием хеттского языка лувийцами, а с хорошим знанием лувийской морфологии носителями хеттского языка.

5.3.2. Слияние номинатива и аккузатива во множественном числе

Синхронное морфологическое варьирование, вроде рассмотренного выше, должно отличаться от тех случаев, когда лувийское влияние привело к установлению новой грамматической нормы в новохеттском языке. Показательным примером в последней категории является эволюция хеттского именного склонения, которая, согласно Рикен [Rieken 2006a: 274], находилась под влиянием интерференции с лувийским языком. Различия между древнехеттскими и новохеттскими парадигмами тематических существительных общего рода резюмированы в таблицах ниже. Выбор тематического типа основы диктовался исключительно удобством представления, поскольку во всех хеттских именах общего рода и во всех типах основы произошло слияние одних и тех же падежей.

Таблица 40. Тематические именные окончания в древнехеттском

	ед.	мн.
им.	-as	-es
вин.	-an	-us
род.	-as	-an
дат.	-i	-as
отл.	-az	-az
твор.	-it	-it

Таблица 41. Тематические именные окончания в новохеттском

	ед.	мн.
им.	-as	-us
вин.	-an	-us ↑
род.	-as →	-as
дат.	-i	-as
отл.	-az ↓	-az ↓
твор.	-az	-az

Таблица 42. Тематические именные окончания в позднелувийском языке

	ед.	мн.
им.	-is/-as	-i(n)zi/-a(n)zi
вин.	-in/-an	-i(n)zi/-a(n)zi
род.	-as(sa); -assi	
дат.	-i	-a(n)z
отл.-твор.	-adi	

Легко заметить, что новохеттская парадигма в структурном плане в точности соответствует своему лувийскому аналогу. В разделе 1.2 я попытался показать, что инновации позднелувийского языка в сфере именного склонения проявляются еще в XIV в. до н. э. в лувийском диалекте Хаттусы и, таким образом, могут быть реконструированы и для имперского лувийского. Совокупные свидетельства трех несвязанных друг с другом

изменений делают полностью убедительным контактное объяснение хеттского падежного и числового синкретизма, представленное Рикен. Однако абсолютная хронология этих слияний неодинакова. Окончание род. мн. *-an* является исключительно древнехеттским. Мелчерт [Melchert 1977] показал, что функциональное расширение аблатива было в активной фазе уже в среднехеттском языке, хотя изолированные формы инструменталиса встречаются в устойчивых оборотах вплоть до конца новохеттского периода[408]. Напротив, синкретизм окончаний номинатива и аккузатива мн. ч. получает широкое распространение только в новохеттский период.

Точный результат данного слияния долгое время не получал разъяснения. Фридрих [Friedrich 1960, §63] сделал общее утверждение, отражающее уровень знаний его времени: “Именительный и винительный падежи склонны ко взаимному выравниванию во множественном числе”. Утверждая это, он просто следовал традиции более ранних хеттологических исследований. Так, Стертевант [Sturtevant 1933: 179] дал следующий комментарий к своим парадигмам: “Формы множественного числа перечислены только в своих нормальных значениях; в целом любая форма мужского рода множественного числа может быть использована для любого падежа”. Как было показано выше, синхронное варьирование действительно имело место в истории новохеттского языка, но первые поколения исследователей прибегали к данному объяснению слишком часто.

Новохеттское распределение между *-es* и *-us* детально рассмотрено в работе [McIntyre 1986], блестящей магистерской диссертации, к сожалению, оставшейся неопубликованной. Автор показал, что хотя слияние им. мн. общ. и вин. мн. общ. было универсальным, его результаты зависят от типа основы. Окончание номинатива *-es* было обобщено в аблаутных адъективных *u*-основах, в основах на *-ant-* (включая причастия) и в относительном

[408] Ср. гиперкорректное употребление инструменталиса в функции аблатива, постулируемое в работе [Rieken 2014: 167] для примера KUB 27.67+ i 19–21 из Ритуала Амбацци (CTH 391).

местоимении *kui-*[409]. В неаблаутных *i*-основах окончания *-es* и *-us* остались конкурирующими как в номинативе, так и в аккузативе. В других основах было обобщено окончание аккузатива *-us*. Что касается абсолютной хронологии этого падежного синкретизма, автор полагает, что он был завершен к началу царствования Хаттусили III, а время правления Мурсили II и Муваталли II являлось промежуточным периодом.

Распределение двух формально различных хеттских окончаний им.-вин. мн. общ. в зависимости от типа основы не имеет функциональных параллелей в имперском лувийском, где окончание *-(n)zi* было общим для всех существительных и прилагательных. Хотя слияние двух падежей стимулировалось контактом с лувийским языком, его результат был обусловлен внутриязыковыми аналогическими выравниваниями. Направление выравнивания является структурно мотивированным в случае *u*-основ: им. мн. общ. на *-awes* был морфологически более прозрачным, чем вин. мн. общ. на *-amus* [McIntyre 1986: 20; Melchert 1995: 270]. В других случаях оно представляется случайным. Подобная сложная модель аналогического выравнивания едва ли может объясняться взаимодействием между гиперкоррекциями и гипокоррекциями и предполагает, что мы имеем дело с эволюцией живого языка.

В данном случае меняющиеся нормы хеттской грамматики должны быть отграничены от речевых привычек носителей лувийского языка, которые, предположительно, навязали слияние падежей стандартному варианту новохеттского языка. Поскольку ни *-es*, ни *-us* не похожи на их функциональный эквивалент *-nzi* в имперском лувийском, ни у одной из двух морфем не могло быть тенденции к гипокорректному обобщению в несовершенно усвоенном хеттском. Соответственно, можно реконструировать континуум диалектных вариантов, где контактно-

[409] Эти выводы недавно резюмированы в работе [Hoffner, Melchert 2008: 70–71]. Ср. также им. мн. *aš-tar-li-te-eš* в KUB 19.55 l. e. 2 (письмо Милаванды, CTH 182). Основа этого *hapax legomenon* остается непонятной.

стимулированное слияние им. мн. общ. и вин. мн. общ. происходило в различных направлениях.

Это теоретическое утверждение может быть подкреплено эмпирическими свидетельствами, полученными в результате анализа тематических существительных общего рода. Предсказанные новохеттские номинативы мн. ч. на *-us* хорошо засвидетельствованы в текстах XIII в. до н. э. Следующие примеры, взятые из оригинальных текстов на поздненовохеттском языке, относящихся к периоду от Хаттусили III до Суппилулиямы II, собраны в работе [McIntyre 1986].

Таблица 43. Им. мн. общ. в новохеттских текстах

UN.MEŠ-us вместо *antuhsus ‘люди’	KUB 1.5 i 8 (CTH 81), KBo 4.12 obv. 23 (CTH 87), KBo 4.14 ii 32 (CTH 123)
arahzenus ‘соседние’	KUB 26.1 iii 60 (CTH 255)
LU.MEŠhaliyadallus ‘стражи’	KBo 4.14 iii 11, 17, 18 (CTH 123)
hanzassus ‘правнуки’	KUB 26.43 obv. 65 (CTH 225)
hassus ‘внуки’	KUB 26.43 obv. 65 (CTH 225)
ŠEŠ.MEŠ-us вместо *negnus ‘братья’	KUB 26.1 iii 59 (CTH 255)
LU.MEŠpara uwatallus ‘сторожа’	KBo 4.14 iii 18 (CTH 123)
saguwassarus ‘законные’	KUB 23.1 ii 11 (CTH 105)
LU.MEŠuskiskatallus ‘сторожа’	KBo 4.14 iii 10 (CTH 123)
LUSIPAD.HI.A-us вместо *westarus ‘пастухи’	KUB 26.43 obv. 54 (CTH 225)

В своем корпусе поздненовохеттского языка Макинтайр [McIntyre 1986] не обнаружила случаи обратного изменения, а именно распространения *-es* на вин. мн. общ. тематических имен. Однако в договоре между Суппилулиумой I и Хукканой из Хаясы (KBo 5.3 iv 27) имеется недвусмысленный вин. мн. общ. LU.MEŠ*ka-e-n*[*i-*]*eš* ‘родственники мужского пола’. Макинтайр [McIntyre 1986: 50] предположила, что данная форма вызвана гиперкоррекцией переписчика договора в XIII в. до н. э. Это

объяснение, однако, невозможно для следующего примера, взятого из среднехеттского манускрипта Ритуала Мастигги против бытовых ссор. Шумерографическое написание EME.HI.A-*es*, представленное в копии KBo 44.17 i 25, замещает здесь, по-видимому, **lales* ‘языки’, образованное от тематической основы *lala*-, записанной фонетически на той же табличке (им. ед. *la-a-la-aš*, KBo 39.8 iii 7).

(151) KBo 39.8 i 23–25, CTH 404.1 (MH/MS), Miller 2004: 64
kāsa=wa=tta parā tit[t]anunun mantalliy**ēs** EME.HI.A-**es**
‘Вот я выставил для тебя клеветнические языки’.

Существительное в аккузативе EME.HI.A-*es* ‘языки’ — не единственный пример, свидетельствующий о слиянии им. мн. общ. и вин. мн. общ. в KBo 39.8. В дополнение к этому также засвидетельствованы им. мн. общ. *hurtaus* ‘проклятия’ (3x, основа *hurtai*-), вин. мн. общ. *idalawes* ‘злые’ (1x, основа *idalu*-), вин. мн. общ. *mantallies* ‘клеветнические’ (1x, основа *mantalla/i*-)[410]. Фактически данная табличка не содержит контрастных пар им. мн. общ. на *-es* и вин. мн. общ. на *-us*, хотя она и была написана в те времена, когда эти два типа окончаний характеризовались последовательным функциональным противопоставлением в стандартном хеттском языке. Другая необычная черта текста KBo 39.8 — это неправильная *i*-основа *isnuri*- вместо ожидаемой *isnura*- ‘(вид сосуда)’. Как отмечено в разделе 1.3, данные факты свидетельствуют об интерференции с лувийской грамматикой, и это показывает то, что для писца KBo 39.8 хеттский язык не был родным.

Теперь пришло время вернуться к проблематичной форме EME.HI.A-*es*. Нет необходимости объяснять ее на основе норм поздненовохеттской грамматики, не существовавших во времена написания KBo 39.8. Можно просто предположить, что форма *lales* функционировала как эквивалент лув.

[410] Случаи фиксации см. [Miller 2004: 168, 171, 179]. Основа *hurtai*- неправильно цитируется как *hurta*- [Miller 2004: 168]. Стоит отметить, что *mantalla/i*- является лувийским заимствованием [Melchert 1994: 137–138].

**lalinzi* (им./вин. мн. общ.) в несовершенно усвоенном хеттском языке лувийского писца. Причины для обобщения им. мн. общ. *lales* вместо вин. мн. общ. *lalus* (а не наоборот) в принципе не поддаются объяснению и могли быть идиосинкратическими. Нет оснований полагать, что та же модель слияния падежей была обобщена для всех тематических имен, а вин. мн. общ. *tu-ek-ku-uš* ‘тела’ (iv 18) прямо противоречит такому допущению. Опасно даже предполагать, что вин. мн. общ. *lales* был устойчивой формой в рассматриваемом идиолекте. Усвоение второго языка является поэтапным процессом, и писец текста KUB 39.8 мог постепенно осваивать формальное разграничение между им. мн. общ. и вин. мн. общ.[411].

Однако имеются случаи, когда можно показать, что отклонения от позднеповохеттского распределения *-es* и *-us* имели более систематический характер. Таковы случаи тематических существительных *huhha-* ‘дед’ и *hanna-* ‘бабка’, которые встречаются в сочинительной конструкции в царском погребальном ритуале (CTH 450). Хотя все сохранившиеся таблички CTH 450 демонстрируют характерные особенности новохеттского пошиба, лингвистические соображения позволяют утверждать, что ядро данного произведения было древне- или среднехеттским [Kassian et al. 2002: 12–13]. Идиома «пить дедушек и бабушек», вероятно, обозначает магический акт единения с (обожествленными) предками [ср. Güterbock 1998a]. Представленные ниже контексты исчерпывают надежные случаи фиксации хеттских лексем для «дедушек» и «бабушек» в вин. мн.

(152) KUB 30.24+ ii 23, CTH 450 (Pre-NH/NS), Kassian et al. 2002: 388
[(EGIR-)]anda=ma huhh**is** hann**is** ekuz[i]
‘Затем он пьет дедов и бабок’.

[411] В качестве дополнительной возможности можно предположить, что писец KBo 39.8 использовал им. мн. общ. *lalies*, образованный от лувийской мутационной основы *lal(i)-*.

(153) KUB 34.66+ iii 49, CTH 450 (Pre-NH/NS) Kassian et al. 2002: 510
EGIR-anda[ ]huhh[is] hann**is** ekuzi
‘Затем он пьет дедов и бабок’.

(154) KUB 30.19+ i 42, CTH 450 (Pre-NH/NS), Kassian et al. 2002: 484
EGIR-anda[=ma hannie]s huhh**ies** pianzi
‘Затем они дают ему выпить дедов и бабок’.

Примеры (152) и (153) характеризуются окончанием вин. мн. *-is*, которое обычно встречается в новохеттской парадигме неаблаутных *i*-основ. Мелчерт [Melchert 1995: 272] рассматривает данное окончание как результат синкопы более раннего **-i(y)es*, которое зафиксировано в (154), если это, конечно, не чисто графический вариант. Существительные *huhha-* и *hanna-*, однако, не засвидетельствованы как *i*-основы в оставшейся части хеттского корпуса. Более того, существительное *huhha-* является в лувийском *a*-основой, так что нельзя утверждать, что переход к *i*-основам в данном случае является результатом калькирования лувийской *i*-мутации.

Один из способов объяснить это различие состоит в допущении аналогического влияния со стороны им. мн. *annis* ‘матери’. Существительное *anna-* имело параллельную основу *anni-*, засвидетельствованную в недвусмысленной форме вин. мн. *an-ni-uš* (KBo 22.5 rev. 8). Данная параллельная основа обязана своему существованию лингвистической интерференции с лув. *ann(i)-* ‘мать’, как это показано у Рикен [Rieken 1994]. Номинатив множественного числа *annis* зафиксирован в сочетании *hu-uh-ha ha-an-ni-iš at-ti-e-eš an-ni-iš* ‘дедушки и бабушки, отцы и матери’ (KUB 17.29 ii 6–7). Форма *hannis* ‘бабушки’ может объясняться, как рифма к предшествующему *annis*. Можно ли предполагать, что один из писцов, редактировавший царский погребальный ритуал, усвоил форму для «бабушек» и «дедушек» из подобного сочетания и затем обобщил их как

i-основы[412]? В качестве альтернативы можно рассмотреть *huhhis* и *hannis* как простые контактно-обусловленные гипокоррекции *huhhes* и *hannes*, вторично интерпретированные как *i*-основы. Какую бы интерпретацию ни предпочесть, необходимо принять, что один из редакторов текста CTH 450 был билингвой, притом его первым языком был лувийский. Стоит обратить внимание на форму *nadin* ‘стрелу’, которая используется в CTH 450 вместо ожидаемой *nadan* (KUB 39.14 iii 10), давая тем самым дополнительное свидетельство в пользу интерференции с лувийским.

Еще один интересный случай «неправильного» слияния падежей в тематических существительных обнаруживается в письмах из Машата, изданных в монографии [Alp 1991]. Форма вин. мн. *a*]*n-tu-uh-še-eš* ‘люди’ встречается в HKM 89.7. Та же самая форма *an-tu-uh-š*[*e-e*]*š* вновь появляется в HKM 89 (l.15), но здесь ее синтаксическая функция не ясна. Кроме того, текст HKM 89.19 содержит вин. мн. [*š*]*u-u*[*l*]*-le-eš* ‘заложники’, хотя в данном случае нельзя сказать с уверенностью, имеем ли мы дело с тематической основой[413]. В этом случае трудно приписать неправильное окончание *-es* интерференции с родным/первым языком. С одной стороны, краткое письмо HKM 89 не демонстрирует каких-либо следов лувийского влияния, кроме слияния падежей. С другой стороны, письма из Машата содержат и иные формы множественного числа с «неправильными» окончаниями номинатива и аккузатива. Письмо HKM 58 особенно примечательно, поскольку оно содержит им. мн. *hu-u-ma-an-du-uš* (58.14) vs. вин. мн. *hu-u-ma-an-te-eš* (58.5), образованных от основы *humant-* ‘весь, каждый’, что показывет распределение, обратное древнехеттскому. Создается впечатление, что писец Или-тукулти старался воспроизвести различие между им. мн. и вин. мн., хотя

[412] Единственным правдоподобным случаем фиксации лексемы ‘бабка’ в лувийском корпусе является SÜDBURG §13 *506-*na*. О вероятном чтении данного диграфа как *HANA-na* см. [Hawkins 1995: 41], однако нет достаточной информации для постулирования наличия или отсутствия *i*-мутации в этой лувийской лексеме. Если предположить, что она имела основу *hann(i)-* (vel sim.), то хеттская форма им. мн. *hannis* также может напрямую объясняться интерференцией языка-источника.

[413] Хеттское слово для слова ‘заложник’ имеет два варианта: *sulla-* и *sulli-*. Последнее засвидетельствовано только в текстах, записанных новохеттским пошибом. Вариант *sulli-* явно обусловлен интерференцией.

такового уже не существовало в его разговорном идиолекте. Это было бы весьма искусным примером писцовой гиперкоррекции.

Ван ден Хаут [van den Hout 2007] использовал текстологические и дендрохронологические аргументы с целью доказать, что таблички из Машата были написаны в течение небольшого периода во второй половине царствования Тудхалии II (вероятно, около 1375–1370 гг. до н. э.). Пошиб табличек из Машата является позднесреднехеттским, а анализ их морфосинтаксических инноваций позволяет поместить эти источники в самый конец среднехеттского периода [Melchert 2007]. Можно предположить, что к концу среднехеттского периода синкретизм им. мн. общ. и вин. мн. общ. проложил себе дорогу от несовершенно усвоенных разновидностей хеттского в стандартный разговорный хеттский. Отсюда, однако, не следует, что данный синкретизм было сразу принят в качестве письменной нормы. Некоторые писцы, которым были лучше известны ранние тексты, могли сохранить архаическое противопоставление. Другие же, как Или-тукулти, могли попытаться найти идиосинкратические средства для изображения того же разграничения падежей. Еще одна группа писцов могла прибегнуть к механической гиперкоррекции, замещая *-us* на *-es*. Писец текста HKM 89, вероятно, принадлежал к последней категории.

К сожалению, роль писцовых гиперкоррекций в случае синтаксиса писем из Машата не может быть оценена текстологическими методами, поскольку все эти письма доступны лишь в одной копии. Более доказательный случай гиперкоррекции будет рассмотрен в следующем разделе.

5.3.3 Изменения в личных местоимениях

Рикен [Rieken 2001] показала, что писцы из Богазкея иногда прибегали к умышленной архаизации плодов своего творчества, делая в процессе этого

многочисленные ошибки, выдающие их поверхностное знание архаичных вариантов хеттского языка. Здесь можно ограничить обзор данной темы конкретным случаем, напрямую связанным с проблемой контактов между хеттским и лувийским языками. Речь пойдет о гиперкорректном использовании местоимения 1 л. *ūk* в новохеттском языке. Прежде чем рассматривать этот вопрос, необходимо обратиться к эволюции хеттских личных местоимений. Представленные в таблицах ниже фрагменты парадигмы иллюстрируют слияние падежей в новохеттской местоименной системе.

Таблица 44. Древнехеттские личные местоимения

	1 ед.	2 ед.	1 мн.	2 мн.
им.	ūk	zik	wēs	sumēs
вин.-дат.	ammuk	tuk	anzās	sumās

Таблица 45. Новохеттские личные местоимения

	1 ед.	2 ед.	1 мн.	2 мн.
им.	ammuk (ūk)	zik	anzās (wēs)	sumēs (sumās)
вин.-дат.	ammuk (ūk)	tuk	anzās	sumēs (sumās)

Таблца 46. Позднелувийские личные местоимения

	1 ед.	2 ед.	1 мн.	2 мн.
им.	amu	ti	anzanz	unzanz
вин.-дат.	amu	tu	anzanz	unzanz

Слияние личных местоимений в номинативе и аккузативе/дативе изменило грамматическую норму новохеттского языка. Форма *ūk* ‘я’ регулярно замещалась с помощью *ammuk* во многих важных новохеттских текстах, таких как анналы Мурсили II или апология Хаттусили III. Сохранение падежных различий во 2 ед. как в новохеттском, так и в лувийском, представляет собой нетривиальную особенность обеих парадигм. Согласно Рикен [Rieken 2006a: 276], ее повторение гарантирует, что данное

морфологическое изменение в хеттском языке было обусловлено интерференцией. Направление синкретизма в новохеттском было предопределено внешним подобием хеттских и лувийских форм вин.-дат., по крайней мере в 1 ед. и мн. В данном случае не следует ожидать каких-либо расхождений между изначальной моделью, которая возникла в процессе усвоения второго языка, и ее результатом в стандартном новохеттском языке. Остается лишь объяснить большое число исключений, где может показаться, что этот синкретизм либо не имел места, либо осуществился в противоположном направлении[414].

Местоимение *ūk* ‘я’ зафиксировано вплоть до времени Суппилулиямы II. *Res gestae* этого последнего царя Хаттусы начинаются с вводной формулы, которая, как показал Ларош [Laroche 1970], соответствует началу сильно поврежденной лувийской надписи NİŞANTAŞ.

(155) KBo 12.38 ii 22–23, CTH 121.II (NH/LNS), Güterbock 1967: 76
ūk=za ^{d}UTU-*ŠI* taparnas ^{m}KÙ.GA.P[Ú]-as LUGAL.GAL LUGAL ^{KUR} ^{URU}[*HA*]*TTI*
NİŞANTAŞ, ср. Laroche 1970: 94–95[415]
**a-mu-wa-mi* {SOL$_2$ *277 PURUS.FONS.*MI* MAGNUS.REX}[416] *H*[*ATT*]*I* REX
‘**Я** (мое) Солнце, Табарна, Суппилулияма, великий царь, царь Хаттусы …’.

Ван ден Хаут [van den Hout 2006: 234] подчеркивает тот факт, что подобная формула полностью чужда хеттской летописной традиции, и высказывает предположение, что здесь мы имеем дело с “умышленной правкой текста в соответствии со стилистическими шаблонами

[414] Форма *ūk* встречается в следующих текстах, которые по историческим соображениям могут быть датированы царствованием Тудхалии IV или Суппилулиумы II: CTH 121, 123, 124, 125, 141, 255.2, 295.2, 524, 525. Я благодарен Т. ван ден Хауту, позволившему мне использовать его личную картотеку для проверки данной дистрибуции.
[415] Данный фрагмент приводится в современной транслитерации, отличной от транслитерации Лароша. Следует обратиться к эскизам Лароша (рисунки 5 и 6).
[416] Знаки в фигурных скобках образуют царские картуши. Титулы MAGNUS.REX и *277 (=*LABARNA*) записаны дважды, обрамляя PURUS.FONS.*MI* с обеих сторон, а логограмма SOL$_2$ вырезана над остальной группой.

иероглифического лувийского языка, которая была произведена придворным писцом, хорошо знакомым с лувийским языком”. Тем не менее хеттский писец предпочел архаическое субъектное местоимение *ūk* ‘я’, а не его поздний новохеттский эквивалент *ammuk*, несмотря на то что он был фонетически схож с *amu* ‘я’, использованным в аналогичной лувийской формуле. Это свидетельствует о том, что вариант *ūk*, изгнанный из разговорного хеттского языка в результате интерференции с лувийским, все-таки остался в употреблении среди писцов в качестве формального аналога *ammuk* в официальном стиле.

Падежное различие между *ūk* и *ammuk* в новохеттском языке оказалось полностью забыто или рассматривалось как менее релевантное, чем данное стилистическое разграничение. Это можно увидеть из анализа молитвы Муваталли II к собранию богов через посредничество громовержца — обладателя молнии. В приведенном ниже примере за черновой версией релевантного предложения следует ее отредактированный вариант:

(156) KUB 6.46 iv 29, CTH 381 (NS), Singer 1996: 23
[**am**]**mug=**a=kan *ANA* ^{m}NIR.GÁL *ANA* ÌR-*KA* ZI-za anda [du]sgai
KUB 6.45 iii 60–61, CTH 381 (NS), Singer 1996: 23
ug=a=kan *ANA* ^{m}NIR.GÁL [*ANA* ÌR-*K*]*A* ZI-anza anda dusgai
‘**У меня**, Муваталли, твоего слуги, душа внутри радуется’.

Писец черновой версии KUB 6.46 использовал по всему тексту молитвы исключительно *ammuk* ‘я’. Это показывает, что синкретизм *ūk* и *ammuk* уже полностью завершился в его идиолекте. Писец отредактированной версии KUB 6.45 заменил *ammuk* на *ūk* в трех из пяти случаев, все из которых относятся к столбцу 3. В двух случаях (iii 41 и iii 74) замещенные формы функционируют как субъекты клаузы, так что коррекция оправдана древнехеттской и среднехеттской грамматикой. В данном случае, однако, попытки использовать местоимение *ūk* без точного знания его изначальной синтаксической функции вызвало гиперкоррекцию.

Другой пример гиперкоррекции в том же тексте упоминается в диссертации Макинтайр, хотя автор и не рассматривает его филологические условия. Писец черновика CTH 381 использовал правильную форму им. мн. общ. *humantes* ‘все’ в KUB 6.46 i 18. Форма им. мн. общ. *humandus* появляется в отредактированной копии того же фрагмента (KUB 6.45 i 17). Как упоминалось выше, им. мн. общ. *humandus* начал вытесняться им. мн. общ. *humantes* в позднеановохеттском языке, как и в случае остальных основ на *-ant*. Редактору молитвы Муваталли были известны архаические формы на *-andus*, но он, очевидно, не умел правильно их употреблять.

Принцип писцовой гиперкоррекции помогает объяснить инновативное использование *ūk* и в других текстах, история редактирования которых не может быть исследована напрямую. В качестве примера можно рассмотреть следующий отрывок из Бронзовой таблички:

(157) Bo 86/ 299 ii 31–32, CTH 106.A.1 (LNH), Otten 1988: 16
31. **ūk**=ma ^{m}Tudhaliyas LUGAL.GAL kuitman LUGAL-izzihhat=pat nawi
32. **ūk**=ma ^{md}LAMMA-ann=a DINGIR-*LUM* annisan=pat āssuwanni anda arnut
‘Еще когда **я**, Тудхалия, великий царь, не начал царствовать, бог свел **меня** и Крунтию во (взаимной) доброжелательности’.

Строки 31 и 32 начинаются с местоимения 1 л. *ūk*. В первом случае оно используется согласно правилам древнехеттской и среднехеттской грамматики и предшествует царскому имени и титулу. Этот контекст подобен тому, что был представлен в примере (155), и является достаточно стереотипным, что и оправдывает использование архаичного местоимения. Можно предположить, что писец, ответственный за выбор *ūk* вместо *ammuk* в строке 31, принял идентичное решение в строке 32 из соображений симметрии. Поскольку использование *ūk* и *ammuk* в Бронзовой табличке обычно (хотя и не всегда) согласуется с исконной падежной дистрибуцией двух форм, можно назвать данное решение ошибкой персеверации.

Анализ данного примера позволяет лучше понять формы вин. мн. ZAG.HI.A-*is* ‘границы’, встречающиеся в Бронзовой табличке (i 16 и iv 22). В предыдущем разделе было показано, что поздненовохеттские тематические имена распространили окончание вин. мн. *-us* на им. мн. Поскольку нормальным эквивалентом шумерограммы ZAG ‘граница’ является хетт. *irha-*, формы Bo 86/299, ставшие известными уже после написания диссертации Макинтайр, представляют собой исключения из ее правила. Эти формы не могут рассматриваться как архаизмы, поскольку *-us* являлось исконным окончанием вин. мн., но знание того, что писец Бронзовой таблички был склонен к гиперкоррекциям, позволяет задать вопрос, нельзя ли их объяснить в том же духе.

Сравнение с дипломатическим текстом «Договор с Улми-Тешубом» (CTH 106.B.2), который опирался на тот же шаблон, что и Бронзовая табличка (CTH 106.A.1), подтверждает гипотезу о писцовой гиперкоррекции. Многочисленные филологические соображения, часть из которых обсуждается ниже в данном разделе, указывают, что эта одностолбцовая табличка подверглась менее основательной редакции, чем ее знаменитый аналог. В то время как первая фиксация ZAG.HI.A-*iš* в Бронзовой табличке не имеет прямого соответствия в сохранившейся части «Договора с Улми-Тешубом», второй случай фиксации соответствует ZAG.HI.A-*us*, ср. (158) vs. (159). Следует полагать, что писец Бронзовой таблички рассматривал ZAG.HI.A-*is* как «изящный» эквивалент разговорного ZAG.HI.A-*us*, но ему было неизвестно исконное падежное распределение между двумя формами.

(158) KBo 4.10 rev. 21, 23, 106.B.2 (LNH), van den Hout 1995: 46
nu ^{d}UTU-*ŠI* kuit *A-NA* ^{m}Ul-mi-^{d}U-up LUGAL KUR $^{URU\ d}$U-*TAŠŠA*
ADDIN **ZAG.HI.A-us**=si ku(i)yēs tehhun … n=at=kan ziladuwa
ŠA ^{m}Ul-mi-^{d}U-up ˹warwalani arha lē kuiski dāi
‘Что я пожаловал Улми-Тешубу, царю Тархунтассы, и **границы**,
которые я ему определил … пусть никто впоследствии не заберет их

у потомства Улми-Тешуба’.

(159) Bo 86/ 299 iv 21–22, CTH 106.A.1 (LNH), Otten 1988: 26
nu ^{d}UTU-*ŠI* kuit *A-NA* ^{md}LAMMA LUGAL $^{KUR\ URU\ d}$U-*TAŠŠA* pihhun **ZAG.HI.A-is**=si ku(i)yēs tehhun n=as=kan ziladiya *ANA* NUMUN ^{md}LAMMA arha lē kuiski dāi
‘Что я пожаловал Крунтии, царю Тархунтассы, и **границы**, которые я ему определил… пусть никто впоследствии не заберет их у потомства Крунтии’.

Мы видим, что регулярное изменение в хеттской системе падежей сопровождалось спорадическими аберрациями двух типов. С одной стороны, часть писцов, которые, как можно полагать на независимых основаниях, не были носителями хеттского языка, осуществляли слияние падежей идиосинкратическим образом. С другой стороны, умышленные попытки архаизировать тексты также приводили к нерегулярностям. В первом случае мы имеем дело с несовершенным усвоением языка, а во втором сталкиваемся с намеренной манипуляцией языком. Первый тип ошибок может предшествовать установлению новой грамматической формы, тогда как второй является реакцией на новую норму. В то же время необходимо признать, что имеется много случаев, когда выбор между двумя объяснениями невозможен, учитывая уровень наших сегодняшних знаний. Несмотря на эти сложности, значительная регулярность поздненовохеттских парадигм подтверждает гипотезу о том, что контакты между лувийским и новохеттским языками привели к реструктуризации противопоставлений внутри новохеттской системы падежных окончаний, а не к их ослаблению.

5.3.4 Им.-вин. мн. *-as* в новохеттском языке?

Отдельного рассмотрения заслуживает случай редкого и на вид нерегулярного окончания. *-as* в именительном и винительном падежах

множественного числа общего рода. Фридрих [Friedrich 1960, §56] расположил его рядом с *-es* и *-us* в общей парадигме хеттского именного склонения, предполагая, что все три варианта были свободными алломорфами. В целом, ранние исследователи склонялись к принятию смешения между окончанием косвенных падежей на *-as* и окончанием прямых падежей на *-es*/*-us*. Макинтайр [McIntyre 1986: 59] предположила, что им./вин. мн. общ. *-as* было грамматичным в новохеттском в классе неаблаутных *i*-основ. Однако она не смогла объяснить ряд форм на *-as*, которые, похоже, являются номинативами или аккузативами мн. ч. от других основ. Это подтолкнуло ее заявить, что “любые заключения об окончании им./вин. мн. *-as* обречены на то, чтобы оставаться умозрительными” [ibid.: 62].

Мы считаем, что собранные в работе [McIntyre 1986] материалы совместимы с более сильным предположением. Ни одна из форм на *-as*, встречающихся в оригинальных новохеттских текстах, не требует синтаксического анализа как им./вин. мн., за исключением нескольких форм на *-iyas* от неаблаутных *i*-основ [ср. Hoffner, Melchert 2008: 71]. В подавляющем большинстве случаев проблематичные формы могут пониматься как генитивы. Ниже я рассмотрю все примеры, перечисленные в работе [McIntyre 1986: 54], которые не согласуются с моим утверждением, если следовать их интерпретации, приведенной в предшествующей литературе. В большинстве случаев возможно показать, что данные формы следует интерпретировать как генитивы ед. или мн. ч.

Верная интерпретация форм *arahzenas* и *kuirwanas* уже была предложена в магистерской диссертации Л. Макинтайр. Прилагательное *kuriwana-*/*kuirwana-* ‘независимый, непокорный’ зафиксировано еще в среднехеттском языке, и оно является лувийским заимствованием, содержащим исконный адъективный суффикс *-wann(i)-* [HED, K: 266]. Однако имеются формы, внешне относящиеся к той же лексеме, но не согласующиеся в падеже со своими синтаксическими вершинами. Таковы

примеры KUB 24.4 i 16 *kuriwanas* KUR.KUR-*TIM* ‘независимые земли’ и KBo 5.13 iii 25 = KUB 6.41 iii 43–44 *kūs* $^{\text{LÚ.MEŠ}}$*kuirwanas* (ср. дупл. KBo 4.3 ii 19 *kūs* $^{\text{LÚ}}$*kuirwanas*) ‘эти независимые люди’. Согласно Макинтайр [McIntyre 1986: 56], данные формы должны рассматриваться как генитивы ед. ч. Посессивная конструкция в KUB 24.4 и свободно стоящий генитив в KBo 5.14 были образованы по модели таких распространенных выражений, как *kururas* KUR ‘страна вражды’, т. е. ‘враждебная страна’, или $^{\text{LÚ}}$*taksulas* ‘человек договора’, то есть ‘союзник’, описываемых в работе [Neu 1979b] (ср. [Yakubovich 2006a: 45–46])[417].

Случай *arahzenas* синтаксически схож, но с социолингвистической точки зрения он весьма отличен. Унаследованная основа *arahzena-* ‘иностранный’ функционирует как прилагательное во всех доступных нам хеттских текстах, исключая табличку KBo 3.4+, содержащую десятилетнюю летопись Мурсили II, где шесть раз встречается выражение *arahzenas* KUR.KUR.(MEŠ) $^{\text{LÚ}}$KÚR ‘враждебные зарубежные страны’. Данное выражение должно противопоставляться KUB 14.14 i 28 *tamāi arahzena* KUR.KUR.MEŠ ‘другие зарубежные страны’ в Первой молитве Мурсили II против чумы, где используется нормальная адъективная конструкция. В данном случае Макинтайр [McIntyre 1986: 57] также рассматривает *arahzenas* как форму родительного падежа, предполагая синтаксическую перестройку по модели других примеров посессивных конструкций, включающих KUR ‘земля’. Но может ли предполагаться подобная перестройка в случае распространенного прилагательного *arahzena-*, которое уже имеет установленную и продуктивную синтаксическую функцию? Ответ — да, но только в том случае, если допустить сценарий неполного усвоения языка. Писец KUB 3.4+ мог усвоить сочетание в род. ед. или род.-дат. мн. *arahzenas udneyas* и интерпретировать его как посессивную конструкцию ‘страна внешнего мира’ (в соответствующих падежах).

---

[417] Относительно индоевропейского сравнительного материала, подтверждающего существование свободно стоящего генитива (*free-standing genitive*) в индохеттском праязыке, а также относительно типологически сходных явлений в аккадском см. [Красухин 2005: 61–64].

Форма KUB 19.50 iv 19 DINGIR.MEŠ *ha-pí-ra-aš*, встречающаяся в списке божественных свидетелей «Договора Манаба-Тархунта» (CTH 69), может быть сопоставлена с ее нормальным эквивалентом DINGIR.MEŠ *habiries* / DINGIR.MEŠ *habiriyas*, который встречается в нескольких других договорах. Очевидно, западносемитское[?] по происхождению *habiri-* ‘изгой, бедуин’ могло интерпретироваться либо как приложение к DINGIR.MEŠ, либо как подчиненное существительное. Следовательно, можно предположить, что соответствующие боги воспринимались либо как покровители людей *habiri-*, либо как обладатели статуса *habiri-* в божественном пантеоне. Такое синтаксическое варьирование в сочетании, включающем иностранные божества, не более удивительно, чем морфологическое варьирование между основами *habiri-* и *habira-*[418].

Случаи фиксации хетт. $^{(LÚ)}$*ispantuzziyala/i-* ‘несущий возлияние’ ограничены молитвами Мурсили II против чумы. Необычные формы на *-as* — это KUB 14.14 rev. 26 LÚ.MEŠ *iš-pa-an-tu-uz-zi-ya-la-aš-ša te-pa-u-e-eš* ‘и немногие несущие возлияние’ и KUB 14.8 rev. 39 LÚ.MEŠ *iš-pa-an-tu-uz-zi-la-aš-ša* [*a-aš-š*]*a-an-te-eš* (с копией KUB 14.11 iv 9 [LÚ.]MEŠ *iš-pa-tu-uz-zi-e-la*$^{!}$*-aš-ša* [*a-aš-ša-an-te-eš*] ‘и оставшиеся носители возлияния’). Важно, что в двух из трех случаев, когда мы сталкиваемся с неожиданным окончанием, оно также сопровождается неожиданным вокализмом суффикса, что позволяет предположить, что переписчики молитв не поняли редкое слово *ispantuzziyala/i-*. Исконное $^{*LÚ.MEŠ}$*ispantuzziyales* ‘носители возлияния’ было реинтерпретировано как LÚ.MEŠ *ispantuzzilas* ‘*люди возлияния’ в KUB 14.8 rev. 39. Неологизм[?] *ispantuzzil-* ‘возлияние’ образован по модели абстрактных существительных, таких как *tayazzil* ‘воровство’ или *sarnikzil* ‘компенсация’. Формы, засвидетельствованные в двух других контекстах, занимают

[418] Бекман систематически называет богов-*habiri*, упомянутых в списке божественных свидетелей, “наемническими богами” (*mercenary gods*). В данной ситуации непонятно, предполагает ли его перевод народную этимологию богов-*habiri* на основе *happiriya-*, *happira-* ‘город, *рынок’. Итамар Зингер (личн. сообщ.) возражает против подобной народной этимологии в связи с тем, что анатолийские боги, которые мыслились как представляющие периферию цивилизованного мира, едва ли имели какие-либо «городские» коннотации. Параллельная основа *habira-* может являться прямым результатом «обратной *i*-мутации», то есть реинтерпретации исконных *i*-основ как мутационных (ср. [Rieken 1994], а также обсуждение в 5.3.1 выше).

промежуточную позицию между исконным выражением и его вторичной реинтерпретацией.

Оборот HUL-*u-wa-aš*… $^{\text{LÚ.MEŠ}}$*ha-li-ya-tal-lu-uš*, букв. ‘стражи зла’, противопоставлен *a-aš-ša-u*[-*eš* $^{\text{LÚ.MEŠ}}$]*ha-li-ya-tal-lu-uš* ‘хорошие стражи’ в KBo 4.14 iii 16–18. Стефанини [Stefanini 1965: 45] имеет все основания переводить данное выражение как ‘плохие стражи’, но нет оснований рассматривать форму HUL-*u-wa-aš* как адъективное определение, а не форму родительного падежа от существительного *idālu* ‘зло’. Именные группы с атрибутивными генитивами довольно распространены в аккадском языке (ср., напр., *dajjān kittim* ‘судья справедливости’ = ‘справедливый судья’ и см. [von Soden 1995, §136ff.]), но также встречаются в хеттском (ср. *linkiyas antuhsas* ‘человек клятвы’ = ‘верный союзник’)[419].

В словаре [CHD, Š: 288–289] пример KUB 14.10 iv 19–20 *nu=kan* $^{\text{URUDU}}$Z[I.K]IN.BAR-*as* $^{\text{[(G)]IŠ}}$*sarpaz kunkūeni* ‘мы болтаемся на острие иглы’ объясняется как выражение затруднения со стороны человек, оказавшегося в крайне опасной ситуации. Случаи использования данного метафорического выражения ограничены молитвами. Более ранние интерпретации, согласно которым роль прямого объекта в данном контексте выполняет $^{\text{URUDU}}$Z[I.K]IN.BAR = хетт. *sappikusta-* ‘игла’, должны быть отвергнуты.

Макинтайр [MacIntyre 1986: 58] убедительно показала, что номинативная форма мн. ч. ***apās=ma* в KUB 26.12 i 13 не только сомнительна на морфологических основаниях, но и невозможна синтаксически. Здесь принимается интерпретация Оттена [Otten 1958b: 389], который читает *a-⌜pa-a-at⌝* вместо *a-⌜pa-a-aš-ma⌝*.

Обратившись к формам им./вин. мн. общ. на *-i(y)as*, сталкиваешься с рядом случаев, не поддающихся синтаксической реинтерпретации. Примеры, приведенные в работе [McIntyre 1986: 54], имеют различную доказательную

[419] Определение *Evil Empire*, заимствованное Рональдом Рейганом из мини-сериала «Звездные войны» и примененное в отношении стран Варшавского договора, было переведено на русский язык как ‘империя зла’. Буквальный перевод ‘злая империя’ звучал бы менее эффектно и с точки зрения советской пропаганды был бы менее оскорбительным.

силу, но лучшие примеры обнаруживаются, если выйти за пределы корпуса новохеттских исторических текстов. Ни одна из представленных ниже именных форм на *-as* не может являться ничем иным, кроме как им./вин. мн.

(160) HKM 19.5–6, MH/MS, Alp 1991: 150
kāsa=wa=ssan halki$^{HI.A}$-**as** karū arantes
‘Зерновые уже созрели’.

(161) KUB 39.14 iii 6–9, CTH 450 (Pre-NH/NS), Kassian et al. 2002: 458[420]
SI.HI.A *ŠA* KÙ.BABBAR aramniy**ass**=a ku(i)yēs arha <<an->>danzi *ŠA* ZABAR aramnis *INA* É.NA$_4$ pēda[n]zi
‘Те, кто вынули серебряные рога и полумесяцы (полумесяц из бронзы), несут их в Каменный дом’.

(162) KBo 31.8+ iv 9–10, CTH 276.1 (NS), Dardano 2006: 26
mān LUGAL MUNUS.LUGAL DUMU.MEŠ.LUGAL-ya taknas ^{d}UTU-i tarpalliy**as** pianzi
‘Когда царь, царица отдают (ритуальных) заместителей земной богине солнца’.

Мелчерт [Melchert 1995: 272] осторожно предполагает, что мы имеем здесь дело с «поляризацией» или «диссимиляцией» *-iyes* > *-iyas*. Хорошо известно, что хеттские глагольные основы на *-iye-* отражаются как *-iya-* в текстах XIII в. до н. э. Эттингер [Oettinger 1979: 344] полагает, однако, что данное изменение в глагольных суффиксах должно пониматься как аналогическое выравнивание, а не фонетический закон. Форма вроде 3 ед. *wemiyezzi* ‘он находит’ становится *wemiyazzi* под влиянием 1 ед. *wemiyami* ‘они находят’ или 3 мн. *wemiyanzi* ‘они находят’. Если принять данное объяснение, тогда примеры (160–162) остаются необъясненными. Если же считать, что развитие *-ye-* > *-ya-* является фонетическим, то необходимо

[420] Стоит отметить, что KUB 39.14 iii 10 содержит неправильную *i*-основу ^{GI}*nadi-* ‘стрела’, которая свидетельствует об интерференции с лувийским.

объяснить, почему оно осуществлялось систематически в глагольном спряжении, но лишь спорадически зафиксировано в именном склонении.

Предлагаемый в диссертации сценарий лингвистических контактов между лувийским и новохеттским языками позволяет объяснить эту дистрибуцию. Можно реконструировать факультативную замену *-ye-* на *-ya-* в несовершенно усвоенном хеттском языке. Тем самым уточняется предположение, сделанное в предыдущем разделе, согласно которому лувийцы обычно замещали хеттское *-e-* на *-i-* в процессе усвоения второго языка. Замена *-e-* на *-i-* в позиции после *-(i)y-* могла бы привести к стяжению **-iyi-* > *-ī-* и изменению в слоговой структуре лексемы. Развитие **-ye-* > **-yi-* > *i* является фонетическим процессом, произошедшим в истории лувийского языка [ср. Melchert 1994: 262], так что подобное стяжение в несовершенно усвоенном хеттском языке может рассматриваться как гипокоррекция. Это стяжение действительно имело место в нескольких окончаниях им./вин. мн. (примеры см. [Melchert 1995: 271]). С другой стороны, те лувийцы, которые были более чувствительны к различиям между двумя языками, но все же не способны к последовательному усвоению чуждых фонем /e/ и /ē/, выбрали альтернативную модель замены исходного *-(i)ye-* на *-(i)ya-* в именных окончаниях множественного числа. Можно считать данную модель, явно засвидетельствованную в примерах (171–173), видом гиперкоррекции.

В разделе 5.2.5 было показано, что стандартный хеттский язык сопротивлялся фонетическим инновациям, вводимым носителями лувийского языка. Следовательно, нельзя ожидать, чтобы какая-либо из вышеописанных моделей замещения проложила себе путь в стандартный хеттский. Окончания /-i:s/ и /-ijas/ оставались маргинальными вариантами новохеттского окончания прямых падежей мн. ч. /-i(j)es/. Эти варианты, вероятно, должны быть более частотными в табличках, принадлежащих носителям лувийского языка[421].

[421] В то же время следует избегать искушения механически приписать окончания им.-вин. мн. *-iyas* и *-is* носителям лувийского языка. Возможно, в некоторых случаях мы имеем дело с чисто графическим чередованием между знаками <iš> и <eš> или со спорадическими попытками заместить орфографическую

С другой стороны, основообразующий суффикс -(*i*)*ya/e*- имел два алломорфа, *-(i)ya-* и *-(i)ye-*, восходящие к индохеттским аблаутным вариантам **-yo-* vs. **-ye*[422]. Распределение между этими алломорфами было неустойчивым уже в древнехеттском языке, где встречаются варианты *i-ya-mi* vs. *i-e-mi* ‘я сделаю’, *pé-eš-ši-ya-mi* vs. *pé-eš-ši-emi* ‘я брошу’, или *ta-a-i-ez-zi* vs. *ta-a-ya-az-zi* ‘он украдет’ [Kassian 2002: 99, 116, 125]. Ситуация в среднехеттском языке также остается неустойчивой; ср. чередование между формами *i-ya-az-zi* и *i-e-ez-zi* ‘он сделает’ в среднехеттских копиях Ритуала Мастигги [Miller 2004: 169]. Однако интересен тот факт, что писец KBo 39.8 (этот текст, как показано выше, характеризуется рядом особенностей, вызванных интерференцией) всегда предпочитает форму *i-ya-az-zi*.

Дистрибуция рефлексов алломорфов **-yo-* и **-ye-* в лувийском глагольном спряжении также была неустойчивой. Синхронно мы сталкиваемся с вариантами *–iya-* и *-i-*, однако нельзя сказать, что *-iya-* восходит к **-yo-*, а *-i-* к **-ye-* в каждом конкретном случае. Согласно гипотезе, развитой в работе [Yoshida 2012], аллофон *-iya-* был первоначально характерен для форм 3 ед. прош., но даже если это исторически было так, впоследствии данный аллофон распространился весьма нетривиальным образом. Ср., напр., парадигму лув. *ari(ya)-* ‘поднимать(ся)’: 3 ед. наст. *aritti*, 3 ед. прош. *ǎritta*, 3 мн. прош. *ǎrinta*, 2 ед. имп. *āriya*, 3 ед. имп. *ariyattu*, 3 мн. имп. *arindu* [Melchert 1993: 26–27]. Вероятно, суффикс *-i-* начал восприниматься как синкопированный функциональный эквивалент *-(i)ya-* в менее аккуратном произношении.

Можно предположить, что обусловленная контактом замена *-(i)ye-* > *-(i)ya-* в сочетании с наличием глагольного суффикса *-(i)ya-* в лувийском нарушила шаткий баланс между алломорфами на *-(i)ya-* и *-(i)ye-* в хеттской

последовательность *i-e* сочетанием *i-ya*, обусловленным распространением суффикса *-iya-* в вербальной системе поздненовохеттского языка.

[422] Иначе [Yoshida 2010], где отрицается прямая связь древнехеттского чередования суффиксов *-(i)ya-* и *-(i)ye-* с индоевропейским аблаутом. Основанием для такого отрицания является различное распределение по древнехеттской парадигме вариантов глагольных суффиксов *-(i)ya-/-(i)ye-* и *-ska-/-ske-*. С моей точки зрения, данный аргумент является неубедительным. Перераспределение аблаутных вариантов *-(i)ya-/-(i)ye-* и *-ska-/-ske-* могло дать различные результаты в древнехеттском, поскольку в обоих случаях мы имеем дело с аналогическими процессами.

глагольной парадигме, что и привело к обобщению первого варианта в новохеттском языке. Поскольку аналогическое выравнивание в принципе не требует внешней мотивации, данное предположение не может быть строго доказано. Однако задача данного анализа иная. Я попытался показать, что *даже* если считать, что данное изменение обусловлено интерференцией, это не заимствование фонетического закона, а, скорее, развитие по аналогии. Подходящей параллелью для данного процесса является смешение новохеттских итеративных суффиксов *-iske-* и *-eske-*, рассмотренное в разделе 5.2.5. Фонологические особенности хеттского языка, усвоенного в качестве второго, могли быть переняты стандартным хеттским языком только в том случае, если его носители интерпретировали их как внутреннее развитие. Это было возможно только тогда, когда лувийское произношение влияло на чередования, уже существовавшие в хеттском языке до соответствующих эпизодов языкового контакта.

5.3.5 Новохеттская редупликация клитик

Четкие границы между устойчивым варьированием и категорическими инновациями в новохеттском языке не могут быть проведены для каждого отдельного случая. В данном разделе рассматривается пример контактно-стимулированного развития, который, с одной стороны, не ограничивается новохеттским языком, усвоенным в качестве второго, а с другой стороны, не может последовательно рассматриваться как новая грамматическая норма в поздненовохеттском языке.

Гетце [Goetze 1930: 19–20] отметил любопытное развитие в новохеттской системе местоименных клитик. Субъектные и объектные клитики 3 л. *=as*/*=at* появляются как с правой, так и с левой стороны от клитики 3 л. *=si*, маркирующей косвенное дополнение. Согласно [HW_2, A: 41], клитическая редупликация в данной конструкции не появляется в

документах, предшествующих времени правления Муваталли II, и это заключение находит поддержку в корпусном анализе. С точки зрения Гетце, клитические комплексы вроде *n=at=si(y)=at* или *n=as=si(y)=as* были введены вместо более ранних *n=at=si* и *n=as=si* для устранения двусмысленностей. Эта старая теория недавно была поставлена под сомнение. Рикен [Rieken 2006a: 278] выдвинула гипотезу, согласно которой новохеттские конструкции с удвоением клитик возникли как компромисс между ранними хеттскими клитическими комплексами, где субъектные и объектные клитики предшествовали клитикам ед. ч., маркирующим непрямое дополнение, и лувийскими клитическими комплексами, отличающимися обратным порядком слов[423]. Данный вывод может быть суммирован в следующей таблице:

Таблица 47. Происхождение клитической редупликации, согласно [Rieken 2006a]

Стандартный хеттский	Лувийский	Поздненовохеттский (опционально)
n=**as**=si PTCL=3SG.NOM.C=3SG.DAT	a=du=**as** PTCL=3SG.DAT=3SG.NOM.C	n=**as=**si=**as** PTCL=3SG.NOM.C=3SG.DAT=3SG.NOM.C
n=**at**=si PTCL=3SG.DIR.N=3SG.DAT	a=du=**at** PTCL=3SG.DAT=3SG.DIR.N	n=**at**=si=**at** PTCL=3SG.DIR.N=3SG.DAT=3SG.DIR.N

Объяснение Рикен является более удовлетворительным, чем гипотеза Гетце, хотя эти две интерпретации и не исключают друг друга. Строго говоря, ни /nassi/, ни /natsi/ не имеют омонимов в хеттском языке. Хотя клитика *=as* должна почти полностью исчезнуть в позиции после союзов,

[423] Клитики непрямого объекта мн. ч. предшествуют клитикам прямого объекта в хеттском, как и в лувийском [ср. Hoffner 1986: 93–94]. Изменение порядка клитик в родственных языках довольно распространено: ср. франц. *je le lui donne* vs. итал. *glielo do* ‘я даю это ему’, где относительное расположение местоименных клитик во французском и итальянском языках соответствует ситуации с хеттским и лувийским. Интересно, что относительный порядок клитических местоимений во французском языке варьируется в зависимости от показателя лица у клитики непрямого объекта (ср. *je te le donne* ‘я даю это тебе’ vs. *je le lui donne* ‘я даю это ему’), а в хеттском он зависит от показателя числа.

заканчивающихся на *-a* (напр., *=m(a)=as=si* vs. *=ma=si*), подобное выпадение создавало немного функциональных проблем, потому что появление *=as* почти всегда может быть предсказано исходя из структуры предложения. Гарретт [Garrett 1990 a, b] хорошо показал, что появление субъектной клитики в хеттском языке представляло собой способ маркирования непереходной клаузы (обычно избыточный). Следовательно, морфонологическая непрозрачность *=as=* не должна была вызвать затруднений у носителя хеттского языка. Разрешение двусмысленности, возможно, сыграло роль в выборе между двумя конкурирующими вариантами, но оно едва ли явилось причиной появления клитической редупликации[424].

Идея Рикен предполагает, что носители лувийского языка имели меньше трудностей с запоминанием хеттских клитических комплексов, чем с их сегментацией на отдельные морфемы. В частности, они могли не распознать субъектную местоименную клитику, а также клитику прямого объекта, поскольку они занимали непривычное место в клитическом комплексе. Это могло привести к тому, что носители лувийского языка добавили «недостающие» клитики в правую часть комплекса с опорой на структуры своего родного языка. Данной стратегии, без сомнения, содействовала фонетическая тождественность хеттских и лувийских клитик *=as* и *=an*[425].

Редупликация субъектной клитики, а также клитики прямого объекта рядом с *=si=* являлась факультативным морфосинтаксическим методом в

---

[424] Клитическая редупликация не должна смешиваться с феноменом клитического дублирования, т. е. сосуществования клитики вместе с именной формой, к которой она отсылает (напр., исп. *Le tengo mania a ese chico* ‘Я не выношу этого парня’). Клитическое дублирование является синтаксическим аналогом (и диахроническим предшественником) морфологического вершинного маркирования в глагольных группах. В отличие от клитической редупликации, оно является типологически распространенным феноменом. О функциях клитического дублирования в хеттском языке см. [Sideltsev 2011].

[425] Типологической параллелью к дублированию грамматического показателя в результате несовершенного овладения вторым языком является ситуация с урартским отрицанием. Как я постарался показать в работе [Yakubovich 2010c], урартский язык сохранил многочисленные отрицательные суффиксы, восходящие к состоянию хуррито-урартской языковой общности. Однако в процессе несовершенного усвоения урартского носителями армянского языка их функция оказалась продублированной отрицательными частицами. При этом немаркированная частица *ui* оказывается родственной хурритскому пропозициональному отрицанию *oya* ‘нет’ [Richter 2012: 481], а запретительная частица *mi* представляет собой армянское заимствование.

поздненовохеттском языке. Большое число вариаций, касающихся реализации данной конструкции, может быть найдено как внутри отдельных новохеттских табличек, так и в параллельных текстах. В качестве примера рассмотрим расположение местоименных клитик в Бронзовой табличке (CTH 106.A.1) и параллельных клаузах из «Договора с Улми-Тешубом» (CTH 106.B.2).

(163) Bo 86/299 ii 98–99, 106.A.1 (LNH), Otten 1988: 20
n=at katta tuel=pat NUMUN-anza harzi *UL*=**at=si**=kan arha danzi
‘Дальше им будет владеть твое потомство. У него его не отберут’.

(164) KBo 4.10 obv. 8, 106.B.2 (LNH), van den Hout 1995: 22
n=at katta DUMU-*KA* DUMU.DUMU-*KA* harzi *UL*=**at=siy=at**=kan arha danzi
‘Дальше им будет владеть твой сын и внук. У него его не отберут’.

(165) Bo 86/299 iii 32–34, 106.A.1 (LNH), Otten 1988: 22
ANŠE.KUR.RA.MEŠ KARAŠ=ya=tta kuin *ŠA* $^{KUR\ ID}$Hūlaya *INA* ^{URU}*HATTI* É tuppas harzi n=**an=si** *ABU*=*YA* ^{m}Hattusilis arha pissiat
‘Лошади и войска, которые Приказ Страны Реки Хулая в Хаттусе держит за тобой, мой отец Хаттусили это (обязательство) для него отменил’.

(166) KBo 4.10+ obv. 42–43, 106.B.2 (LNH), van den Hout 1995: 34–36
ANŠE.KUR.RA KARAŠ=wa=ssi kuit *INA* ^{URU}*HATTI ŠA* $^{KUR\ ID}$Hulaya É tuppas harzi n**=at=siy=at** ^{d}UTU-*ŠI* arha pessiyat
‘Лошади и войска, которые Приказ Страны Реки Хулая в Хаттусе держит за ним, Мое Солнце это (обязательство) для него отменил’.

(167) Bo 86/299 iii 59–61, 106.A.1 (LNH), Otten 1988: 24
^{d}UTU-*ŠI*-kan mahhan *ŠA* LUGAL $^{KUR\ URU\ d}$U-*TAŠŠA ŠA* DINGIR.MEŠ $^{URU\ d}$U-*TAŠŠA* sahhan luzzi katta ūhhun n=at dassu *UL*=**at=si** tarahhūwas
‘Когда Мое Солнце проинспектировал (повинности) *sahhan* (и) *luzzi*-князю Тархунтассы и богам Тархунтассы, они (оказались) тяжелыми, они (оказались) для него невыносимыми’.

(168) KBo 4.10+ obv. 40, 106.B.2 (LNH), van den Hout 1995: 34
GIM-an ^{d}UTU-*ŠI INA* $^{URU\ d}$U-*TAŠŠA* uwanun nu *ŠA* DINGIR-*LIM*
sahhan ishiūl ūhhun n=at dassesta *UL*=**siy=at** tarahhuwas
‘Когда Мое Солнце прибыл в Тархунтассу, я увидел табличку относительно (повинности) *sahhan* для бога. Она (оказалась) тяжелой, она (оказалась) для него невыносимой’.

Каждая из трех перечисленных выше пар имеет свои особенности. Предложения (163) и (164) демонстрируют «классическое» соответствие между комплексами, содержащими одну vs. две клитики. В (165) vs. (166) редупликация клитик сопровождается изменением в числе, и учитывая то, что последовательность *n=an=si(y)=an* не засвидетельствована в хеттском, это может быть более чем совпадением. Наконец, пример (168) не содержит клитической редупликации, но, скорее, характеризуется обратным порядком клитик подлежащего и косвенного дополнения, что дает точную кальку лувийской морфосинтаксической структуры.

Легко убедиться, что Бронзовая табличка характеризуется менее развитой тенденцией к использованию двойных клитик, чем «Договор Улми-Тешуба». Согласно ван ден Хауту, данный аргумент говорит в пользу более ранней датировки первого документа, [van den Hout 1989][426]. Если относить на независимых основаниях «Договор Улми-Тешуба» ко временам Хаттусили III, то придется считать, что отсутствие последовательности *=si(y)=at* в Бронзовой табличке отражает умышленные попытки архаизации со стороны писцов. Данный сценарий находит частичную поддержку в гиперкорректном использовании *uk* в Бронзовой табличке, которое рассматривалось в разделе 5.3.3.

Вне зависимости от того, объяснять ли различия между двумя текстами хронологическими или стилистическими причинами, представляется, что в

[426] Ср. лингвистические соображения ван ден Хаута [van den Hout 1995: 17], касающиеся архаичного употребления сентенциальных частиц в Бронзовой табличке.

них не отражены какие-либо категорические грамматические различия. С одной стороны, Бронзовая табличка содержит конструкцию с двумя клитиками *=as=si(y)=as* (i 88, 89), где *=as* ‘их’ выступает объектной клитикой множественного числа общего рода. С другой стороны, архаический клитический комплекс *n=at=si* засвидетельствован в KUB 4.10 i 37, ii 15 и ii 17. Все эти примеры не имеют соответствий в сохранившейся части параллельного текста. Однако они демонстрируют, что как стандартные хеттские клитические комплексы, так и последовательности с клитической редупликацией встречаются в обоих произведениях, хотя и в разных пропорциях.

Если попытаться установить прямую связь между этим варьированием и лингвистическим бэкграундом отдельных писцов, то придется сказать, что оба текста CTH 106.A.1 и CTH 106.B.2 написаны носителями лувийского языка, но писец второго текста хуже владел стандартным вариантом хеттского. Более того, следует признать, что значительное число поздненовохеттских текстов (возможно, большинство из них) были написаны на хеттском языке, усвоенном в качестве второго, поскольку спорадическое употребление двойных клитик в клитических комплексах, содержащих *=si* ‘ему’, становится в данный период довольно распространенным. Подобная гипотеза, однако, не способна объяснить полное отсутствие двойных клитик в параллельном типе клитических комплексов, содержащих *=mu* ‘мне’. Хотя лувийская грамматика предполагает порядок *a=mu=at* для стандартного хеттского аналога *n=at=mu*, все же в поздненовохеттском языке не засвидетельствован ни один случай варианта с интерференцией ***n=at=m=at* наряду с *n=at=mu*. В дополнение к этому, последовательность ***n=an=si=an* не встречается в новохеттских текстах, в то время как *n=an=si* весьма распространена.

Если рассмотреть случаи двойных клитик, сопровождающих хеттскую возвратную частицу *=z(a)*, то обнаруживается еще более поразительная дистрибуция. Последовательности *=as=z=as* и *=at=z=at* крайне редки и, по-

видимому, вообще не встречаются в новохеттских исторических текстах[427]. Простая перестановка клитик, по крайней мере в первом случае, является не менее частой, чем клитическая редупликация[428]. В противоположность этому, вариант *=an=z=an* становится грамматической нормой в новохеттском языке. Частотность последней формы была отмечена еще у Гетце [Goetze 1933a: 5]: “Если слог, предшествующий частице, кончается на *-n*, вместо *-za*, как правило, выступает *-zan*”.

В словаре [HW_2, A: 41] случаи клитического удвоения рядом с *=si=* и *=z(a)=* рассматриваются вместе, что предполагает ошибочное представление о том, что комплекс *=an=z=an* появился не ранее царствования Муваталли II. В действительности клитический комплекс *-an-za-an* встречается несколько раз в анналах Мурсили II, в то время как появление *-an-za* без *-an* в данном произведении ограничено единственным примером (KBo 3.4 iv 30 *na-an-za-kán*). Учитывая изолированный характер данного примера, нельзя исключить, что здесь мы имеем дело с ошибкой писца или с образованием носового гласного (см. раздел 5.2.3). Предложение Гетце [Goetze 1933a: 31], согласно которому клитический комплекс *-za-an* должен анализироваться не как *=z=an*, а как *=z=san*, проясняет интерпретацию ряда контекстов, но в большинстве релевантных примеров частица *=san* была бы синтаксически немотивированной.

Нормативный характер *=an=z(a)=an* в новохеттском языке следует из полного отсутствия клитических комплексов, заканчивающихся на *-an-za*, в текстах данного периода. Напротив, клитические комплексы, заканчивающиеся на *-an-za-an* (с редким вариантом *-an-za-at*), встречаются более 50 раз в исторических текстах, составленных во время царствования Мурсили II или позднее. Даже если принять маловероятное допущение о том, что половина этих примеров содержит клитическую последовательность

---

[427] Изолированные случаи употребления *=as=z=as* и *=at=z=at* см. в [HW_2, A:41]. Ср. асимметрию между KUB 23.1 i 36 *na-an-za-an* и KUB 23.1 i 38 *na-at-za*, встречающуюся в том же абзаце договора с Савоскамувой [Kühne, Otten 1971: 8].

[428] Ср. KBo 2.2 i 31 *kuitman=za=as=kan*, KUB 6.41 iii 49 *namma=za=as=kan* и KUB 23.92 rev. 11 *ABI-ŠU=za=as=kan*. Я благодарен К. Мелчерту за то, что он обратил мое внимание на эти примеры.

an=z=san, все равно останется значительное число случаев, для которых нужно постулировать редупликацию клитики *=an*.

Дополнительное свидетельство в пользу нормативного характера *=an=z(a)=an* дает анализ Хеттских законов:

(169) KBo 6.2 i 52–53, CTH 291 I.a.A (OS), Hoffner 1997: 32
takku ÌR-as huwāi n=as *A-NA* ^{KUR}kūruri an[da] paizzi kuis=an āppa=ma
uwatezzi n=**an**=za apās=pat dāi
KBo 6.3 i 60-62, CTH 291 I.b.A (OH/NS$^{?}$), Hoffner 1997: 32
tak[ku ÌR-as hūwai] n=as kururī KUR-e paizz[i ku]is=an EGIR-[pa=ma
úwatezzi] n=**an**=za=**an** apās=pat [d]ā[i]
‘Если раб сбежит и перейдет во вражескую страну, кто бы его ни привел, тот заберет его себе’.

Несмотря на то что рассматриваемый отрывок из KBo 6.3 сильно поврежден, следы *n-an-za-an* вполне ясны. Датировка данного манускрипта представляет собой предмет для дискуссий. Хотя в нем отсутствуют типичные для новохеттского языка палеографические инновации, Хоффнер [Hoffner 1997: 230] критикует попытки связать его со среднехеттским периодом, основываясь на том, что, по его мнению, в этом документе отсутствуют следы последовательного среднехеттского пошиба. Царствование Суппилулиумы I или Мурсили II, то есть переходный период от среднехеттского к новохеттскому, представляется наиболее правдоподобной эпохой для создания KBo 6.3. Тот факт, что писец данного манускрипта счел нужным заместить *na-an-za* с помощью *na-an-za-an*, мог бы свидетельствовать о том, что клитическая последовательность *n=an=z(a)* уже считалась неграмматичной, по крайней мере в его собственном диалекте[429].

[429] Остальные примеры употребления *-an-za-an* в новохеттских копиях древнехеттских табличек см. у Хоффнера [Hoffner 1997: 262]. Мне не известны комплексы с двойными клитиками в новохеттских копиях более древних текстов.

Логика, объясняющая контактно-обусловленное происхождение *=at=si=at*, действует и в случае *=an=z(a)=an*. Лувийское возвратное местоимение *=di* (2 ед., 3 ед.), являющееся когнатом и функциональным аналогом хетт. *=z*, занимает синтаксическую позицию перед энклитическим объектным местоимением, в то время как возвратная частица *=z* следует за энклитическим объектным местоимением в древне- и среднехеттском [Friedrich 1960, §§288, 411]. Новохеттский порядок слов представляет собой компромисс между этим двумя синтаксическими моделями.

Таким образом, имеется континуум контактно-обусловленных конструкций, которые были грамматикализованы в различной степени в новохеттском языке. Последовательность *=an=z=an* стала новой нормой, заместив старую *=an=z(a)*. Комплексы *=as=si=as* и *=at=si=at* были распространены в поздненовохеттском языке, но продолжали сосуществовать со своими более архаичными аналогами *=as=si* и *=at=si*. Последовательности *=as=z=as* и *=at=z=at* редки, в то время как *=an=si=an* и комплексы, включающие *=mu=*, по-видимому, вообще не засвидетельствованы. Данное лексическое распределение, резюмированное ниже в Таблице 48, не мотивировано синтаксическим различием между ранним хеттским и лувийским, которые демонстрируют последовательные различия в порядке слов во всех вышеупомянутых случаях.

Таблица 48. Лексическая дистрибуция клитической редупликации в новохеттском

Стандартный хеттский	Лувийский	Новохеттский
=**an**=z(a) 3SG.ACC.C=REFL	=ti=**an** REFL=3SG.ACC.C	=**an**=z=**an** 3SG.ACC.C=REFL=3SG.ACC.C
=**as**=si 3SG.NOM.C=3SG.DAT	=du=**as** 3SG.DAT=3SG.NOM.C	=**as=**si(=**as)** 3SG.NOM.C=3SG.DAT=3SG.NOM.C
=**at**=si 3SG.DIR.N=3SG.DAT	=du=**at** 3SG.DAT=3SG.DIR.N	=**at=**si(=**at)** 3SG.DIR.N=3SG.DAT=3SG.DIR.N
=**at**=mu 3SG.DIR.N=1SG.DAT	=mu=**at** 1SG.DAT=3SG.DIR.N	=**at**=mu 3SG.DIR.N=1SG.DAT

С моей точки зрения, отмеченная выше дистрибуция возникла как результат лингвистических контактов между центром в лице носителей хеттского языка и периферией в лице билингв с родным лувийским языком. Комплекс *=an=z(a)=an* был первым принят в стандартный вариант хеттского языка, поскольку он не воспринимался как структурно аномальный. Как уже упоминалось, фонетическая последовательность /tsan/ может соответствовать сочетанию энклитик *=z* и *=san*. Частица *=san*, однако, находилась на грани исчезновения в XIII в. до н. э., и ее морфонологические характеристики могли стать непонятными. Можно предположить, что контактно-обусловленный клитический комплекс *-an-za-an* воспринимался некоторыми носителями хеттского языка как *=an=zan*, то есть по модели исконного *=an=z=san*. Правила использования хеттских сентенциальных частиц являются крайне запутанными, и, хотя обобщение последовательности *=an=zan* вместо *=an=z(a)* было явной инновацией, оно все-таки меньше шло вразрез с правилами хеттской грамматики, чем немотивированное удвоение клитики *=an*.

Утверждение, что комплекс *-an-za-an* не является результатом механического копирования лувийских морфосинтаксических моделей, может быть подкреплено анализом случаев фронтального распространения *=an*. Рассмотрим следующие дополнительные контексты из Хеттских законов:

(170) KBo 6.2 iii 10–11, CTH 291 I.a.A (OS), Hoffner 1997: 64
takku NÍG.BA LUGAL *ṬUPPI* kuiski <harzi> mān=**za** A.ŠÀ.HI.A-na k[arūilin] šarranzi *Ù* NÍG.BA 2 *QATAM* LÚ ^{GIŠ}TUKUL dāu *Ù* 1 *QATAM* LÚ.HA.LA-[*ŠU* dāu]
KBo 6.6 i 16–18, CTH 291 II.c.A (OH/LNS), Hoffner 1997: 64–65
takku NÍG.BA LUGAL *ṬUPPU* kuiski harzi mān=**za(=)an** A.ŠÀ.HI.A-an karūilin sarranzi *Ù* NÍG.BA 2 *QATAM* LÚ ^{GIŠ}TUKUL dāi *Ù* 1-*EN QATAM* LÚ.HA.LA-*ŠU* dāi

‘Если у кого-то (есть) табличка с земельным пожалованием, если они разделят прежнее поле, две части пожалования заберет обладатель (повинности) TUKUL, а одну часть заберет его партнер’.

(171) KBo 29.21 12–14 + KUB 29.22 3–5, CTH 292 I.b.B (OH/NS), Hoffner 1997: 101
[takku A.ŠÀ.-an$^{?}$ kui]ski luk[kizzi nu]=**za** anda miyanta[n ^{GIŠ}KIRI$_6$.GEŠTIN ēpzi]… *ANA* 1 GIŠ 6 GÍN.[GÍN KÙ.BABBAR] pāi
KBo 6.12 i 17-20, 292 II.b.B (OH/NS) Hoffner 1997: 101
[takku A.ŠÀ.-an$^{?}$ kuisk]i lukkizzi nu=**za(=)an** anda [miyantan ^{GIŠ}KIRI$_6$.GEŠT]IN ēpzi … *ANA* 1 GIŠ-*ṢI* [6 GÍN.GÍN KÙ.BABBAR pāi]
‘[Если] кто-то подожжет [поле], а (огонь) захватит [плодоносящий] виноградник … (он) заплатит [по 6 шекелей серебра] за лозу’.

В каждом из этих двух случаев переписчик добавил *-an* к исконному *=z(a)*, хотя соответствующие предложения содержали явно выраженный прямой объект, и следовательно, не требовали объектных клитик. Вместо того чтобы рассматривать эти примеры как случаи пролептической конструкции, можно связать их происхождение с гиперкоррекцией. Писцы были так приучены замещать *=an=z(a)* из старых манускриптов на *=an=za-an*, что они могли иногда распространить данное замещение на случаи, когда *-an-*, предшествующее *=za*, не было клитическим местоимением, как в примере (170), или когда оно вообще отсутствовало, как в примере (171). Однако подобная гиперкоррекция могла стать возможной, только если переписчик понимал *=zan* как единую морфему, а не клитический комплекс, содержащий редуплицированное объектное местоимение.

С социолингвистической точки зрения обобщение *-an-za-an* может быть сопоставлено с обобщением основообразующего суффикса *-ya-*, которое было рассмотрено в предыдущем разделе. В обоих случаях мы имеем дело с феноменами, которые были стимулированы языковой интерференцией, но установились в грамматике языка-реципиента,

поскольку могли интерпретироваться не как заимствования или кальки, а как внутренне мотивированные процессы. Обе инновации совместимы со старым афоризмом Романа Якобсона (приведено у [Thomason 2001: 63]): “Язык принимает иностранные структурные элементы только тогда, когда они соответствуют его собственным тенденциям развития”. Хотя данная максима многократно опровергалась контактно-обусловленными изменениями в ситуациях языкового сдвига и хотя она не может объяснить даже всех случаев структурных заимствований при отсутствии языкового сдвига, она все же может быть реинтерпертирована как верное наблюдение относительно структурных особенностей, которые могут легче заимствоваться в ситуациях языкового баланса[430].

Конечно, данное объяснение не исключает возможности того, что после осуществления этой инновации носители, в совершенстве владевшие и хеттским, и лувийским, могли вновь понять последовательность *-an-za-an* как *=an=z(a)=an*. Как только существование двойных клитик стало частью языковой компетенции носителей стандартного хеттского языка, была открыта дверь для распространения аналогических цепочек, таких как *=as=si=as* или *=at=si=at*. Эти комплексы были заимствованы из нестандартного хеттского языка, на котором говорили лувийцы, и использовались во второй половине XIII в. до н. э. как разговорные эквиваленты комплексов *=as=si* и *=at=si*.

Согласно Гетце [Goetze 1930], редуплицированные клитические комплексы были более прозрачными в морфологическом плане, чем их архаические аналоги, особенно в случае *=as=si=as*. Возможно, дальнейшее развитие языка постепенно привело к обобщению редуплицированных вариантов, но прерывание хеттской письменной традиции переводит обсуждение данного вопроса в область спекуляций.

---

[430] Ван Кетсем [van Coetsem 2000: 70] недвусмысленно соглашается с этой якобсоновской максимой. Позднее в той же книге он оказывается вынужден признать, что данное предсказание не выполняется в ситуации контакта, которую он обозначает как «расширенный способ заимствования» [ibid.: 225].

Прямые свидетельств в пользу несовершенно усвоенных разновидностей хеттского языка могут быть получены из тех хеттских клитических комплексов, которые повторяют лувийский порядок клитик, не демонстрируя клитическую редупликацию. Кроме приведенного выше примера (168) (ср. *UL-a=ssi(y)=at* в параллельной версии ABoT 57.4 6), единственный известный мне случай такой конструкции в хеттском — это KUB 14.3 iii 60 *mān=ma=si(y)=at=kan* (CTH 181, «Письмо о Тавагалаве»). Редкость данной стратегии совместим с гипотезой о том, что она обусловлена интерференцией, но этот же фактор не позволяет исключить и гипотезу писцовых ошибок.

Другая часть свидетельств того же типа может скрываться за редуплицированными клитиками, которые демонстрируют несовпадение в роде или падеже. Мне известны три релевантных примера: KUB 5.1 ii 4 *na-an-za-at* (CTH 561), KUB 31.106 iii 2 *na-an-za-at* (CTH 124) и KUB 31.102 i 8 *na-aš-ma-at-za-aš-kán* (CTH 275). Малое число случаев понуждает опять задаться вопросом, не являются ли они писцовыми ошибками или, возможно, анаколуфами, но тот факт, что все они относятся к поздним новохеттским произведениям, делает эту гипотезу менее правдоподобной. Лишь в первом случае, транслитерированном в работе [Ünal 1974, II: 52], сохранился антецедент местоименной клитики. Сочиненная пара символов, употребляемых при гадании, ZAG-*tar* DU_8-*ya* ‘справедливость и решимость’, лучше всего обслуживается анафорой мн. ч. *=at*. Таким образом, подлинный маркер согласования, похоже, помещен в конце, согласно требованиям лувийского синтаксиса, в то время как предшествующий комплекс *na=an=z(a)* не должен был нести какую-либо согласовательную информацию, релевантную для писца[431]. Это было бы возможно, если бы

[431] Формально имеется возможность понимать в данном случае *=an=* как маркер избирательного согласования с существительным мужского рода DU_8 ‘решимость’, являющимся вторым членом пары существительных в сочинительной конструкции. Тем не менее последовательность *na=an=za=at* была бы неожиданным случаем анаколуфа. Две модели согласования могут конкурировать в одном предложении, если соответствующие маркеры разделяет большой отрезок текста, так что у повествователя достаточно времени, чтобы забыть ранее использованную им стратегию.

лувийский писец усвоил данный клитический комплекс как целостный элемент, без понимания значений отдельных морфем. Хочется выразить надежду, что обнаружение дополнительных примеров подобного рода поможет подкрепить предлагаемый сценарий.

5.4 Лексическая интерференция с лувийским языком

Наличие лувийских гостевых слов в хеттских текстах было отмечено еще на заре хеттологии. Ранние интерпретации социолингвистической ситуации в империи Хаттусы, такие как [Rosenkranz 1938] и [Güterbock 1956a], были всецело основаны на лексических свидетельствах. Две недавние работы [Melchert 2005, van den Hout 2006] отражают нынешнее состояние исследования лексических контактов между хеттским и лувийским языками. Первая статья включает перечень известных лувийских заимствований и гостевых слов, зафиксированных в новохеттском языке, при этом проводится разбиение по историческим периодам. Вторая статья содержит два приложения, посвященных распределению орфографически маркированных и немаркированных лувийских гостевых слов по различным жанрам хеттских письменных источников. Однако имеется необходимость в дальнейшем исследовании данной области, поскольку Мелчерт и ван ден Хаут расходятся в социолингвистической интерпретации представленных ими материалов.

Основной предмет спора заключается в вопросе об отношении хеттов к лексической интерференции с лувийским языком. Мелчерт [Melchert 2005: 454] считает, что лувийские слова и формы могли использоваться в хеттских текстах для придания произведению литературного вида. Согласно же ван ден Хауту [van den Hout 2006: 235], эти слова и формы могли употребляться по той причине, что писцы были не способны выразить те же идеи с помощью хеттского языка. Первая гипотеза предполагает, что использование лувийских гостевых слов содержало элемент манипуляции языком, в то время как вторая гипотеза утверждает, что это было автоматическим

результатом сосуществования хеттского и лувийского языков в одном и том же сообществе.

С моей точки зрения, социолингвистические установки различных частей хеттского общества должны анализироваться по отдельности. Словарных состав отдельных хеттских текстов может говорить о более или менее пуристических наклонностях их авторов. Реакция хеттских писцов на использование лувийских форм проясняется исходя из анализа их орфографических и редакторских конвенций. Поскольку невозможно рассматривать словарь исконных текстов до понимания того, как ими манипулировали в процессе письменной передачи, уместно начать с последней проблемы и затем перейти к первой.

5.4.1 Функция глоссового клина

Глоссы — это примечания писцов к отдельным словам или отрывкам основного текста, которые имеют целью разъяснить произношение или значение слов и отрывков. Эта функция в чем-то сходна с функцией сносок в современных печатных текстах, но в древних культурах глоссы обычно ставились в самом тексте. В случае маргинальных или подстрочных глосс их статус достаточно очевиден, но если глосса написана в той же строке, что и выражение, которое она призвана разъяснить, то может понадобиться специальный орфографический прием, чтобы отделить ее от остальной части текста. В месопотамской клинописи подобный прием известен как глоссовый клин, или *Glossenkeil*. Маркирование глосс было не единственной функцией данного символа в Месопотамии: он также широко использовался как словоразделитель в лексических списках [Krecher, Souček 1971: 439a]. О возможных клинописных формах этого знака см. [Krecher, Souček 1971: 433b]; в хеттских текстах он обычно записывается как 𒑰 или 𒑱. Не удается

обнаружить ни хронологической, ни семантической дистрибуции между двумя формами этого знака [ср. Rosenkranz 1938: 267, сноска 1].

Функции глоссового клина в хеттских текстах остаются предметом дискуссий. Имеется общее согласие в том, что, с одной стороны, глоссовые клинья не должны исторически отделяться от их омографов, употреблявшихся в месопотамской и сирийской клинописи, а с другой стороны, их использование в Анатолии характеризуется серьезными функциональными различиями. Тем не менее мне неизвестны современные публикации, в которых делалась бы попытка проследить прагматическое развитие этого орфографического приема на пути к хеттским текстам. В. Сучек, подготовивший заметку о хеттских глоссах в *Reallexicon der Assyriologie*, ограничился следующим замечанием по поводу происхождения слов, отмеченных глоссовым клином в новохеттском: “Данный феномен следует понимать в связи с развитием языка в имперский период; с настоящими глоссами он не имеет ничего общего” [Krecher, Souček 1971: 440b].

Подробный анализ использования глоссовых клиньев в Месопотамии выходит за рамки данного исследования[432]. Ниже мы ограничимся рассмотрением употребления данного орфографического приема в Ханаане, Сирии и Анатолии бронзового века. Относительная хронология примеров его фиксации предполагает, что он проник из Сирии в Анатолию, а не наоборот. С конца XV в. до н. э. глоссовый клин используется для маркирования хурритских глосс в аккадских текстах Алалаха IV [Márquez Rove 1998: 67; Giorgieri 2005: 94]. В начале XIV в. до н. э. он обнаруживается в качестве маркера западносемитских (и реже хурритских) глосс на табличках из архива Амарны [ср. Izre’el 1998]. С другой стороны, примеры использования глоссового клина в корпусе текстов, записанных среднехеттским пошибом,

[432] Было бы уместно, однако, упомянуть, что ни один из ассириологов, к которым я обращался с этим вопросом, не смог представить примеры регулярного использования этого знака в месопотамских текстах, предшествующих позднему бронзовому веку. Следовательно, можно выдвинуть гипотезу, что он был введен не в Месопотамии, а в сиро-палестинском регионе, и данная инновация отражала особую лингвистическую ситуацию в тех регионах, где аккадский не был разговорным языком.

ограничен тремя изолированными формами [van den Hout 2006: 226–227 и сноски 58, 59]. Основная часть глоссовых клиньев зафиксирована в новохеттский период, который начинается со второй половины XIV в. до н. э., то есть немного позже хеттского завоевания Северной Сирии. Эти чисто хронологические выводы хорошо согласуются с общей направленностью заимствований внутри клинописной традиции.

Безусловно, сравнительный анализ был бы невозможен без предварительного рассмотрения синхронной функции глоссового клина в Анатолии. По этой проблеме отсутствует консенсус. С точки зрения Хокинса [Hawkins 2003: 138], глоссовый клин использовался как средство маркирования лувийских слов в хеттских текстах XIII в. до н. э. Мелчерт [Melchert 2005: 445], следуя, в конечном счете, Шварцу [Schwartz 1938], считал, что хеттские писцы использовали глоссовый клин на манер современного *sic!*, то есть для того, чтобы обратить внимание на различные необычные формы. Хотя ван ден Хаут [van den Hout 2006] не дает определения функции глоссового клина напрямую, все же его позиция, по-видимому, является компромиссом между двумя предыдущими. Подчеркивая, что большинство маркированных форм являются лувийскими, он, однако, признает, что имеются исключения. Наконец, Зорман [Zorman 2007] развила принципиально новую гипотезу, согласно которой глоссовый клин ставился в хеттских текстах рядом с табуированными лексемами.

С моей точки зрения, богазкейские писцы ставили глоссовые клинья перед теми словами и выражениями, которые они считали стилистически неуместными для определенного контекста. Иностранные вкрапления помечались клином, если писцы рассматривали язык гостевого фрагмента как менее официальный, чем язык матричного текста. Общепризнанной была следующая иерархия официальности: шумерский/аккадский > хеттский > лувийский[433]. Хотя большинство маркированных форм оказывались

[433] Очевидно, данная иерархия не полна, поскольку в ней игнорируются некоторые другие языки, использовавшиеся в Хеттской империи, например хурритский. О ряде причин, по которым она не всегда применима к хурритскому языку в анатолийском контексте, см. 5.4.3.

разговорными, все же между маркированными и разговорными формами нет прямой связи. Скорее, можно говорить о стилистическом несоответствии между маркированными формами и матричным текстом. В диахроническом плане данная модель может быть выведена из того, что глоссовые клинья ставились перед иностранными глоссами, при этом предполагается, что формы матричного текста, поясняемые глоссами, могли подвергнуться эллипсису в процессе развития письма. Необходимо добавить, что практическое применение этого орфографического приема оставляло много места для вариаций со стороны писцов. Релевантные различия между отдельными хеттскими манускриптами будут рассмотрены в следующем разделе.

Уместно начать пояснение предложенной интерпретации с анализа использования глоссовых клиньев в аккадских текстах из Богазкея. В примере (172), взятом из аккадского медицинского текста, возможно, переписанного в качестве школьного упражнения, клауза, содержащая производные от корня *rabāku* ‘варить’, сопровождается ее приблизительным хеттским переводом. Хотя это явно глосса, это также и гостевая клауза на менее официальном языке. Напротив, пример (173), взятый из того же текста, является двусмысленным. Знак 𒑱 здесь может отсылать либо ко всей глоссе ‘я не знаю этого дерева-ṣ*alabitu*’, либо только к хеттскому указательному местоимению *kūn* в аккадском контексте. Наконец, пример (174) содержит глоссу, однако явно говорит в пользу предложенной интерпретации. Несмотря на то что лувийская глосса к аккадскому вербальному выражению начинается с аккадографического предлога *INA*, тем не менее глоссовый клин поставлен после данного предлога, перед первой настоящей лувийской формой[434].

[434] Дополнительные примеры хеттских и лувийских «глосс» в аккадских текстах см. в работе [Wilhelm 1994]. К сожалению, все показательные тексты, опубликованные в данной монографии, находятся в плачевном состоянии с точки зрения сохранности.

(172) KUB 37.1 obv. 5–6, CTH 808 (LNS), Giusfredi 2012: 50
GIM ra-bi-ki ta-ra-ab<-bak> ˹*hu-wa-ar-ti-in* GIM-*an za-nu-uz-zi*
(акк.) ‘вываривaешь как отвар’ / (хетт.) ‘варит как похлебку’.

(173) KUB 37.1 obv. 9–10, CTH 808 (LNS), Giusfredi 2012: 50
^{GIS}ERIN ^{GIS}ṣa-la-bi-ta ˹*ku-u-un* ^{GIS}ṣa-la-b[i-t]a ú-ul i-di ^{GIS}dap-ra-a-na
‘…кедр, дерево *ṣalabitu* (я не знаю это дерево *ṣalabitu*), можжевельник…’

(174) KUB 37.1 obv. 15–16, CTH 808 (LNS), Giusfredi 2012: 50
an-nu-ti kà-li-ši-na ina ^{GIS}GAZ ta-haš-šal *I-NA* ˹*ma-ma-na*-[*š*]*a-ti*
ba-at-tu-na-a-ti pu-wa-a-ti
(акк.) ‘Все эти (ингредиенты) ты толчешь в ступке’ / (лув.)
растолчет в ступке из *mamana*-’ (или: ‘…в ступке (и) *mamanasa*-’).

Как можно видеть из приведенных выше примеров, писец KUB 37.1 пометил глоссовым клином как хеттские, так и лувийские вкрапления в аккадском тексте. Это свидетельствует об отсутствии положительной связи между глоссовым клином и определенным языком и подтверждает идею о том, что его функция была преимущественно контрастивной.

Единственный известный мне пример, когда глоссовый клин может пониматься как помечающий настоящую глоссу в хеттском контексте, также совместим с предложенной интерпретацией. В приведенной ниже клаузе хурритское слово *šinahila*, восходящее к хурр. *šina* ‘два’ [Richter 2012: 380–381], проясняет смысл аккадограммы *TARTENNUTTI* ‘место второго по рангу’. Из колофона KBo 3.3 известно, что писец данной таблички носил хурритское имя *Tadikkanna*, так что в этом случае весьма правдоподобна гипотеза, согласно которой мы имеем дело с формой его родного языка. Однако также понятно, что хурритский рассматривался как менее официальный язык, чем аккадский, даже в хурритоязычных странах.

(175) KBo 3.3 ii 5–7, CTH 63.A (NH), Klengel 1963: 35
^{m}Abiraddas=ma=za ^{m}ÌR.^{d}U-an DUMU-*ŠU ANA* ^{LU}*TARTENNUTTI-ŠUNU* ⌜*ši-na-hi-la IŠKUN*
‘Абирадда поставил своего сына Ир-Тешуба на место своего первого заместителя (*досл*. второго по рангу)’.

Обращаясь к помеченным гостевым формам в хеттских текстах, необходимо подписаться под *communis opinio*, согласно которому большинство из них имеет лувийское происхождение. Однако также хорошо известно, что данная корреляция носит чисто статистический характер. Самый явный контрпример против смысловой идентификации помеченных слов и лувийских вкраплений связан с теми случаями, когда глоссовым клином помечены хеттские слова. Например, именно таковы случаи хетт. *sakui-* ‘глаз’, которое имеет лувийский когнат *taw(i)-*, хетт. *huwai-* ‘бежать’, которое имеет лувийский когнат *huya-*, и хетт. *huwappa-* ‘злой’, восходящего к хетт. *huwapp-* ‘портить, уродовать’. Большинство приведенных ниже примеров были представлены еще у Мелчерта [Melchert 2005: 445–446], но список может быть расширен.

(176) KUB 8.81 ii 8–10, CTH 41.II (MH/MS), del Monte 1981: 216–217
n=an=kan ^{m}Sunassuras EGIR-an=na arha lē naīskisi ⌜sākuwa=sse=ssan hardu
‘Пусть Сунассура ее от (нас) не отвращает(!), пусть он за ней присматривает’.

(177) KBo 3.4 ii 30–31, CTH 61 (NH), Goetze 1933b: 50
nu=mu ^{m}Uhha-LÚ-is *UL* mazzasta n=as=mu=kan ⌞hūwais
‘Уххацити мне не сопротивлялся, он от меня убежал’.

(178) KUB 44.4 rev. 22–23 + KBo 13.241 rev. 10–11, CTH 767.7 (LNS), Beckman 1983: 178
^{NA4}piruni ⌞*pal-hu-na* pāiweni … *A-NA* ^{NA4}ZÚ ⌞duwarnuman[zi p]āiweni
‘Мы идем расколоть[?] утес … мы идем сломать обсидиан’.

(179) KUB 1.1 i 40–41, CTH 81 (NH/LNS), Otten 1981: 6
nu=mu ⸢hūwappi DINGIR-*LIM*-ni ⸢hūwappi DI-esni parā *UL*
kuwapikki tarnas
‘Она никогда не выдавала меня злому богу на злой суд’.

Дополнительные контрпримеры дают лувийские ассимилированные заимствования, помеченные глоссовым клином. Приведенные ниже формы содержат хеттские окончания, такие как абл. ед./мн. *-az* (~ лув. *-adi*), дат.-лок. мн. *-as* (~ лув. *-anz(a)*), 3 мн. наст. *-anzi* (~ лув. *-anti*) и 1 ед. наст. *-mi* (~ лув. *-wi*). В последних двух случаях невозможно даже решить, имеем ли мы дело с лувийским заимствованием или с хеттской лексемой, обладающей лувийским когнатом. Неправдоподобно, что писец умышленно попытался «хеттизировать» лувийскую форму, а затем пометил ее как лувийскую.

(180) KBo 11.1 obv. 21–22, CTH 382 (NH), Lebrun 1980: 296
[$^{GIŠ.H}$]$^{UR.HI.A}$ ⸢GUL-zattanazz[iy]a kuit ^{d}UTU-*ŠI* kinun wemiskimi n=at
ēssahhi
‘(То), что (я), Мое Солнце, теперь найду на деревянных табличках, я исполню’,[435].

(181) KUB 44.4 rev. 15, CTH 81 (LNS), Beckman 1983: 176
nu=kan *ANA* DUMU.NITA ⸢dumantiyalas anda iyandu
‘Пусть они вольют (его) мальчику в ушные раковины’.

(182) KUB 30.27 obv. 10–12, CTH 451 (NS), Otten 1958a: 98
IGI-zi(y)=an UD.KAM-ti kuwapi ⸢lilanzi nu=kan 1 UDU *ANA* ^{d}UTU
DINGIR.MEŠ *ŠAMĒ*-ya [BA]L-anti
‘Когда они умиротворяют его в первый день, они приносят жертву божеству солнца и небесным богам’.

[435] Интерпретация $^{(GIŠ.HUR)}$GUL-*zattar* как вероятного гетерографического написания для *kwanzattar* ‘деревянная табличка’ обосновывается в работе [Yakubovich 2013/14].

(183) KUB 1.1 iv 9–10, CTH 81 (NH/LNS), Otten 1981: 24

ANA ^{LÚ}*MUDI=KA*=wa ammuk piran ˹hūiyami

‘Я бегу впереди твоего мужа’, т. е. ‘Я помогаю твоему мужу’.

Число хурритских интегрированных заимствований, помеченных глоссовым клином, невелико, но они должны быть добавлены к общей картине для полноты. Можно привести пример существительного *kupahi-* ‘(вид головного убора)’, помеченного в KBo 13.46 obv. 10 и KUB 22.6 iv 3, или, вероятно, выражение одобрения *nū*, помеченное в KBo 11.14 obv. 7–8 и KUB 57.79 iv 31–33[436]. В обоих случаях имеется теоретическая возможность того, что эти лексемы были заимствованы из хурритского через посредство лувийского. Напротив, абсолютное большинство хурритских форм, используемых в хеттских контекстах, остаются непомеченными даже в тех случаях, когда они сохраняют специфические хурритские окончания[437]. Ни шумерограммы, ни аккадограммы (неважно, насколько они редки или обычны) не сопровождаются глоссовыми клиньями в хеттских текстах. Представленные аргументы, во всей их совокупности, подтверждают тезис о том, что глоссовый клин не был напрямую связан с определенным языком и не использовался как обобщенный маркер гостевых слов и текстах из Богазкея.

Проблему для стилистического определения глоссового клина составляют лишь примеры (176–179) и им подобные. В отсутствие прямого доступа к стилистическим оценкам носителей хеттского языка, необходимо признать спекулятивный характер наших сегодняшних оценок в тех случаях, когда помеченные слова относятся к тому же языку, что и весь контекст. Тем

[436] Дополнительные примеры заимствований нелувийского происхождения, помеченных глоссовым клином, см. в работе [van den Hout 2006: 226, сноска 53]. Также представляет интерес небольшой фрагмент KBo 45.268, содержащий несколько глоссовых маркеров, функционирующих, возможно, как словоразделители в хурритском заклинании. Я благодарен Т. ван ден Хауту (Чикаго), обратившему мое внимание на данный фрагмент.

[437] Показательная выборка хурритских слов из хеттских контекстов собрана в работе [Haas 1998]. Эти примеры включают как интегрированные заимствования, так и хурритские гостевые слова.

не менее некоторые особенности помеченных форм совместимы с *возможными* сценариями их восприятия как стилистически ущербных. Так, хеттская форма *sakuwa* ‘глаза’ в (176) могла быть помечена, поскольку шумерограмма IGI являлась более распространенным способом записи лексемы ‘глаз’ в хеттских текстах. Мне неизвестны другие случаи, когда слово ‘глаз’ выписывалось бы по-хеттски в выражении =*san*… *sakuwa hark-* ‘присматривать (за кем-либо)’, в то время как его гетерографический эквивалент =*san*… IGI.HI.A-*wa hark-* обильно представлен [CHD, Š: 71a]. Переписчик мог интерпретировать использование фонетического написания вместо ожидаемой шумерограммы как знак плохой подготовки предыдущего писца.

В других случаях анатолийские писцы могли выражать недовольство отдельными словами не потому, что они были написаны на неверном языке, а потому, что они демонстрировали необычные грамматические признаки. Мелчерт [Melchert 2005: 445] приводит пример того, как две конкурирующие основы хетт. *huwai-* (177) и хетт. *huya-* (183) ‘бежать’ могли помечаться как нестандартные в текстах XIII в. до н. э. Тот факт, что первая основа является унаследованной, а вторая возникла в результате контакта, объясняет, по-видимому, контраст между единственным случаем пометы *huwai-* глоссовым клином и многочисленными случаями маркирования *huya-*. Тем не менее редкие случаи, подобные *ˀhuwais*, показывают, что архаические формы могли спорадически восприниматься как стилистически ошибочные. Если следовать Мелчерту [Melchert 2005: 446], то аналогичное объяснение может быть предложено и для инфинитива *ˀduwarnumanzi* (178), оказавшегося противопоставленным инновативной новохеттской основе *duwarniya-* ‘ломать’[438].

[438] В последнем случае в качестве альтернативы можно считать, что глоссовый маркер перед *duwarnumanzi* является просто ошибкой писца, обусловленной положением данной формы внутри цепочки лувийских инфинитивов. Текст KUB 44.4 rev. обсуждается подробнее в 5.4.4.

Наконец, нельзя исключить того, что некоторые вполне грамматичные формы помечались из-за их регистра. Так, хетт. *huwappa-* ‘плохой, злой’ в (179) воспринималось, по-видимому, как просторечная форма, соответствующая *idālu-* ‘злой’. В том же манускрипте KUB 1.1 девятью строками ниже (i 49) обнаруживается HUL-*lu* (=*idālu-*) ‘злой’, а ряд других копий апологии Хаттусили III сохранили в соответствующем месте *huwappa-* [Otten 1981: 68]. Можно предположить, что писец KUB 1.1 пометил *huwappa-* как стилистически непригодную лексему в одном месте, а в другом заменил это слово синонимом. Прилагательное *huwappa-* является синхронным дериватом от глагола *huwapp-* ‘портить, уродовать (и пр.)’, и вполне возможно, что его синхронное значение обязано своим существованием метафорическому расширению того же типа, что и в современном английском *lame*. Если так, то нет ничего удивительного в том, что некоторые носители хеттского языка оказались неспособны принять такое слово как литературное.

Для изучения прагматики глоссового клина в сравнительном аспекте решающую роль играет недавняя статья [von Dassow 2012], где анализируется его употребление в текстах из табличек XV до н. э. из Алалаха в Сирии (Алалах IV). Это, пожалуй, самая древняя группа текстов, для которой проводилось исследование по данной теме. Автор приходит к выводу, что хотя глоссовый клин (обычно записываемый как **:** в семитологической транслитерации) иногда используется для маркировки хурритских глосс или хурритских гостевых слов в аккадском тексте, данная функция не исчерпывает ее прагматику. В частности, в документе AlT 297 маркируются формы аккадского глагола *e’ēlu* ‘реквизировать’ и хурритского глагола *ar=ud* ‘удержать’ при описании ситуации, когда реквизированное зерно было удержано царским чиновником, по-видимому, в личных целях. Автор делает вывод, что в данном тексте глоссовый клин используется для эмфазы, на манер курсива в современных текстах. Частным случаем эмфатической маркировки является маркировка глосс и гостевых слов,

которые также маркируются курсивом в современных текстах. Данное понимание генезиса глоссового клина также хорошо согласуется с гипотезой Мелчерта об употреблении глоссового клина на манер современного *sic!*, хотя вопрос, подходит ли эта модель для Анатолии, должен, разумеется, решаться эмпирически.

Для лучшего понимания употребления глоссового клина для маркирования гостевых слов полезно рассмотреть ситуацию в аккадских текстах из Амарны и Угарита. В работе [Izre'el 1998: 424–428] дается полный список западносемитских иностранных слов, обнаруженных в аккадских табличках из Амарны, большинство из которых снабжены глоссовыми маркерами. В 57 случаях глоссовый клин помечает настоящие разговорные глоссы, которым предшествуют их шумерографические или аккадографические эквиваленты (напр., HUR.SAG **:***har-ar-ri* 'гора' или *yi-na-ši* **:***na-aš-ša-a* 'он возвысился'). Однако в 60 случаях тот же знак используется перед западносемитскими словами, которые сами по себе содержат нужное значение (напр., **:***ha-al-ti* 'я боюсь' или **:***pa-ni-mu* 'перед ними'). Я следую за фон Дассов [von Dassow 2004: 653–654] в ее гипотезе, согласно которой северозападные семитские глоссы использовались для помощи писцам адресата при чтении клинописного текста. Развивая эту мысль, можно предположить, что в случаях, когда ханаанский писец либо не мог сразу вспомнить аккадское слово, либо был слишком ленив, чтобы его выписывать, он мог ограничиться употреблением западносемитской глоссы, не упоминая слово, которое она поясняет. Подобная практика, однако, была относительно ограниченной, поскольку ханаанские писцы не могли быть полностью уверены, что их египетские коллеги также будут иметь ханаанское происхождение.

Писцовая практика в Угарите периода позднего бронзового века было, очевидно, несколько иной. Кюне [Kühne 1974: 158–159] подчеркивает тот факт, что, в отличие от документов из Амарны, глоссирование аккадских слов с помощью их угаритских эквивалентов было гораздо менее

распространенным, чем написание лишь угаритского слова в сопровождении глоссового клина. Хюнергард [Huehnergard 1987: 204–208] подтверждает данное распределение, перечисляя все известные ему случаи фиксации **:** в аккадских источниках из Угарита. Шесть примеров с шумерограммами, за которыми следуют угаритские глоссы (напр., $^{\text{LÚ.MEŠ}}$DAM.GAR.MÈŠ **:***bi-da-lu-ma*), контрастируют с ок. 40 примерами угаритских разговорных форм, вставленных в аккадский текст (напр., **:***ha-me-ti* ‘стена’ или **:***ha-at-ni* ‘зять’). Нетрудно объяснить причину различия между алалахской и угаритской практиками: клинописные документы из Угарита писались преимущественно для внутреннего пользования в данном городе-государстве, и писцы могли быть вполне уверены, что плод их деятельности будет прочтен другим носителем угаритского языка.

Тем не менее был возможен случай, при котором помеченные формы всегда выступали как глоссы в аккадских текстах из Угарита. Этого не происходило, если глоссированное слово являлось шумерограммой, а глосса была аккадской. Кюне [Kühne 1974: 158 и сноска 8] приводит избирательный список подобных глосс (напр., *ina libbi* IZI **:***i-ša-ti*). Можно предположить, что опущение глоссированного слова в подобном случае автоматически привело бы к утрате соответствующего глоссового клина, поскольку угаритские писцы не имели причин помечать аккадские слова, встречающиеся в сугубо аккадском контексте. Эти и сходные примеры иллюстрируют тот факт, что глоссам не нужно было являться разговорными, они просто должны были писаться на понятном писцам языке.

Почти полное устранение практики глоссирования за счет употребления гостевых форм без перевода, как представляется, является инновацией хеттских писцов[439]. Социолингвистические объяснения данного феномена будут даны в разделе 5.4.3. Тем не менее уже сейчас можно

[439] Разумеется, в данном случае речь идет о глоссировании внутри текста, а не об отдельных глоссариях в табличном формате, примеры которых найдены в архивах Богазкея. Актуальное обсуждение данного жанра в контексте общей дискуссии роли месопотамской письменной культуры в Анатолии см. в работе [Dardano 2012: 394–396].

подчеркнуть, что эта инновация не представляет собой разрыва в традиции, а, скорее, является выбором в пользу одной из возможностей, уже доступных в клинописной традиции.

В данном разделе опровергается прямое уравнивание помеченных слов и лувийских гостевых форм в анатолийских текстах. Хотя подавляющее большинство помеченных слов являются лувийскими, отклонения от этой тенденции обладают особой ценностью для определения функции глоссового клина в типологическом аспекте. Анализ данного раздела также предполагает, что семантически мотивированное табуирование не могло быть главной причиной использования глоссового клина в хеттских текстах, поскольку в подобном случае ожидалось бы, что большинство помеченных форм окажутся хеттскими. Напротив, различие между представленным определением функции глоссового клина и тем, что дано Мелчертом [Melchert 2005: 445], заключается скорее в нюансах. Мелчерт также подчеркивает различие между словами, помеченными глоссовым клином, и окружающими их лексемами, но мое определение предполагает определенное предубеждение со стороны писцов против помеченных слов из богазкейских текстов. Тем не менее различие между предложенным здесь определением и определением Мелчерта достаточно существенно, чтобы сравнить их на эмпирическом материале. Сравнение разных табличек, представляющих копии или параллельные версии одного и того же текста, способно пролить свет на отношение к глоссовым клиньям в процессе передачи текста.

5.4.2 Глоссовый клин и редактирование текстов

Количество хеттских текстов, которые, с одной стороны, доступны в нескольких копиях, а с другой — сохранили значительное число слов с глоссовым клином, не так велико. Если ограничиться теми случаями, когда

история происхождения манускрипта достаточно ясна, то в первую очередь на ум приходит знакомый случай CTH 381 (молитвы царя Муваталли собранию богов через посредничество громовержца — обладателя молнии). Черновой вариант KUB 6.46 содержит три помеченных слова, iv 21 ˹*kulanitta* ‘он довел до совершенства (vel sim.)’, iv 23 ˹*ziladiya* ‘затем, отныне’ и iv 53 ˹*huwayalli-* ‘(эпитет бога солнца)’. Отредактированная версия KUB 6.45 содержит только iii 52 ˹*kulāniitta*, соответствующее первому помеченненному слову в KUB 6.46, в то время как в двух других случаях глоссовые клинья были убраны. В примере ˹*huwayalli-* данное изменение сопровождалось лексическим замещением.

(184) KUB 6.46 iv 53, CTH 381 (NH), Singer 1996: 29
1 NINDA.GUR$_4$.RA=ma ˹**hūwayalli** ^{d}UTU-i parsiya[zzi]
‘Он разламывает один толстый хлеб для бога солнца ***huwayalli-***’.

(185) KUB 6.45 iv 56, CTH 381 (NH), Singer 1996: 29
EGIR-*ŠU*=ma 1 NINDA.GUR$_4$.RA **kutrui** ^{d}UTU-i parsiya
‘Затем он разламывает один толстый хлеб для бога солнца — свидетеля’.

Совпадение двух титулов, по-видимому, не является полным. Хетт. *kutru-* обозначает просто ‘свидетель’, а *huwayalli-* выступает именем деятеля, которое на вид образовано от хетт. *huwai-* ‘бежать’ с помощью лувийского суффикса. Данное существительное может означать либо ‘бегун’, что указывало бы на обозримое движение солнца по небу, либо ‘помощник’, если оно семантически выведено из распространенной хеттской идиомы *peran huwai-* ‘помогать’ (букв. ‘бежать впереди’), которая имеет полную параллель в лув. *parran huya-*. Учитывая хеттский эквивалент в KUB 6.45, вторая возможность, по-видимому, более правдоподобна. Однако какой бы вариант ни выбрать, ясно, что *kutru-* не является точным переводом лув. *huwayalli-*, —

скорее, мы имеем дело с попыткой установления тождества между двумя божественными эпитетами[440].

В случае ⸜*ziladiya* ситуация проще. Писец KUB 6.45 просто повторяет данное слово без глоссового клина (iii 54). Можно предположить, что писец KUB 6.46 поставил глоссовый клин для указания на то, что данное слово имеет лувийское происхождение, в то время как писец KUB 6.45 оценил это слово как интегрированное заимствование и поэтому не стал помечать его особым образом. Данный случай может быть противопоставлен примеру ⸜*kulanitta*, сохраняющему лувийскую словоизменительную морфологию и поэтому неизбежно воспринимавшемуся как гостевой элемент в хеттском тексте[441].

Общее впечатление, которое можно составить на основе анализа CTH 381, состоит в том, что писец исправленной версии относился критически к пометкам в черновой версии. В одном случае он заместил редкое слово его функциональным эквивалентом, в другом случае — убрал пометку как ненужную, в третьем случае — оставил глоссовый клин, поскольку он, вероятно, понимал гостевой характер слова, но не мог придумать ничего лучше. Данная тенденция к устранению (вместо добавления) глоссовых клиньев в процессе редактуры может быть подтверждена дополнительными примерами, пусть и из текстов с менее ясной редакционной историей. Следующий отрывок взят из договора с Савоскамувой:

(186) KUB 23.1+ ii 24–28 i 56, CTH 105 (NS), Kühne and Otten 1971: 10
[^{m}Masd]uris=ma=kan kupiyatin kupta n=an datta kuis ^{m}NIR.GÁL-is
^{LÚ}*HADANU*=y[a=a]n kuis DÙ-at nu namma apel DUMU-*ŠU*
^{m}Urhi-^{d}U-upan *UL* pahhasta ~~nu=kan ⸜kupiyatin ⸜kupta~~

[440] В качестве возможной параллели следует отметить употребление формы инструменталиса *hu-wa-i-ú-na-ti* рядом с именем бога солнца в лувийском заклинании KBo 22.137 iii 8 [Poetto 2010: 299, сноска 22].

[441] К. Мелчерт напомнил мне, что наречие *ziladiya* до сих пор не засвидетельствовано в лувийских контекстах, хотя их производность от лув. *zila* не вызывает сомнений. Возможно, *ziladiya* является освоенным лувийским заимствованием в хеттский, однако морфологические детали неясны.

‘Мастури устроил интригу. Хотя Муваталли принял его и сделал его (своим) зятем, он не защитил его сына Урхи-Тешуба. ~~Он устроил интригу~~’.

Происхождение писцовой ошибки в данном фрагменте должно оставаться предметом спекуляций, и предложенное объяснение также является довольно умозрительным. Тем не менее можно предположить, что писец KUB 23.1, переписывая договор с его более ранней версии, решил переместить небольшую клаузу, в которой говорится, что Мастури устроил интригу, с позиции после длинного объяснительного предложения в позицию перед ним. Позднее, однако, он увлекся перепиской и повторил ту же клаузу на ее первоначальном месте, попытавшись затем ее удалить. Альтернативные объяснения также возможны, но все они должны учитывать свидетельства того, что переписчик предпочитал версию без ˹ версии с этим знаком. Хотя помеченные формы имели лувийское происхождение, из данного примера неясно, следует ли рассматривать их как гостевые элементы или ассимилированные заимствования, поскольку их окончания двусмысленны. Данный факт, возможно, мотивировал решение писца пропустить глоссовый клин[442].

Основной текст царского погребального ритуала (CTH 450), насколько позволяют судить манускрипты, не характеризуется помеченными формами. Однако имеется одно такое слово, содержащееся в так называемой литургии ^{MUNUS}ŠU.GI (KUB 39.41), коллекции высказываний, которые в разные моменты действа должны были произноситься исполнительницей ритуала и ее помощниками. Данное предложение имеет близкий аналог в основном тексте ритуала (KUB 30.15 +), где, однако, глоссовый клин отсутствует.

[442] Стоит, однако, отметить, что другие помеченные клином слова, встречающиеся в CTH 105, то есть iii 13 ˹*kukkurniyawar*, iv 20 ˹*tiessaeskisi* и iv 20, 21 ˹*hudas*, содержат хеттские словоизменительные окончания. Таким образом, опущение глоссовых клиньев перед подобными словами в процессе редактирования было, скорее, возможностью, чем необходимостью.

(187) KUB 39.41 i 9–10, CTH 450 (Pre-NH/NS), Kassian et al. 2002: 642–644
[^{f}aras=sis=a tezzi LÚ.MEŠ ^{URU}*HATTI*=war=an] ≈**uruhhiyas** widanzi

KUB 30.15 + 39.19 i 31, CTH 450 (Pre-NH/NS), Kassian et al. 2002: 266
[^{f}]aras=sis=a tezzi LÚ.MEŠ ^{URU}*HATTI*=war=an $^{LU.MES}$**uruhhie**[**s**] wedanzi
‘А ее коллега говорит: “Люди Хаттусы, **uruhhi- (*мн.*)**, приведут его”’.

Отношение литургии ^{MUNUS}ŠU.GI к основному тексту остается проблематичным. Она может представлять собой либо одну из «полевых заметок» авторов ритуала, на основе которой был создан объединенный текст ритуала, либо новую выжимку из ритуала, содержащую специфические инструкции для «старухи»/«искусной женщины». Выбор между двумя опциями связан с общим анализом развития хеттской ритуальной традиции и требует отдельного обсуждения[443]. Однако понятно, что первое из двух параллельных предложений с лингвистической точки зрения является более архаичным. Основа *weda-* ‘приносить’ представляет собой позднее развитие *widai-*, как рассмотрено ранее в разделе 5.2.1, а им. мн. $^{LÚ.MEŠ}$*uruhhies* ‘люди *uruhhi-*’ может рассматриваться как результат конверсии род. *uruhhiyas* ‘относящийся к *uruhhi-*’. В качестве альтернативы можно предположить, что *uruhhiyas* является контактно-стимулированным им. мн. на *-as* (того типа, что рассмотрен в разделе 5.3.4), а $^{LÚ.MEŠ}$*uruhhies* выступает его более поздним нормализованным аналогом[444]. Таким образом, каким бы ни было заключение относительно происхождения царского погребального обряда, можно утверждать, что предложение KUB 30.15+ является более поздним вариантом своего прототипа, содержащего глоссовый клин.

[443] Хотя Миллер [Miller 2004: 469–532] страстно отстаивает точку зрения, что основная часть хеттской ритуалистической традиции является плодом деятельности эрудитов при царских дворах, опиравшихся преимущественно на собственную память, он признает, что в некоторых случаях они могли прибегать к опросу исполнителей ритуалов. Сценарий с опросами кажется особенно вероятным в случае царского погребального ритуала, который, с одной стороны, предполагал большое количество участников, а с другой, должен был исполняться относительно редко.

[444] Теоретически можно предложить, что вариант ≈*ú-ru-uh-hi-ya-aš* является искажением $^{LÚ.MEŠ}$*u-ru-uh-hi-eš*, сделанным носителем лувийского языка. Подобное изменение, однако, было бы вероятным только в случае устной передачи, в то время как отношения между двумя текстами, приведенными в (34), предполагают, скорее, сценарий писцовой редакторской правки.

Имеется одно мнимое исключение из утверждения, что редакторы хеттских текстов стремились устранить глоссовые клинья, а не добавляли новые. Среднехеттский ритуал CTH 391.1, относимый к исполнительнице Ритуала Амбацци и совершавшийся в интересах неизвестного покровителя, не содержит ни одной помеченной формы. В свою очередь, новохеттская адаптация того же текста, сделанная в интересах царя и известная как CTH 391.2, характеризуется несколькими подобными формами. В приведенных ниже примерах сопоставлены предложения, почти идентичные в обоих текстах:

(188) KUB 27.67 iii 30–32, CTH 391.1 (MH/NS), Christiansen 2006: 50–54
[GADA-an] mahhan $^{LU.MES}$ÁZLAG dannaran aniya[n]z[i] nu=ssi=kan ^{SÍG}**marihsin** parkunuwanzi…
‘Как валяльщики[?] разглаживают эту ткань и счищают с нее **шерстинки**…’

(189) KBo 13.109 ii 6–8, CTH 391.2 (NH/LNS), Christiansen 2006: 155
GADA GIM-an $^{LU.MES}$ŠÀ.TAM tannarantan KIN-zi nu=ssi=kan
$^{\leq}$**marihsin** arha parku<nu>uzzi na=at harkēszi
‘Как дворецкий разглаживает эту ткань и счищает с нее **шерстинки** …’

Недавний анализ ритуальной традиции Амбацци, произведенный в работе [Christiansen 2006], дает основания для пересмотра данных примеров. Вопреки [CHD, L-N: 196–197], где принимается, что CTH 391.1 и CTH 391.2 являются параллельными версиями одного ритуала, Кристиансен утверждает, что упоминание царя в качестве покровителя ритуала во втором тексте понуждает рассматривать этот текст в качестве отдельной таксономической единицы. Хеттский свод законов не включает наказаний за плагиат, и недавнее исследование показало, что писцы при дворе Хаттусы охотно прибегали к компиляции новых ритуалов на основе старых текстов. По сути, нет причин считать, что CTH 391.2 относился к Амбацци, поскольку ее имя

не встречается в KBo 13.109. Хотя CTH 391.1 явно выступал источником вдохновения для писца этой таблички, он, по-видимому, рассматривал свой продукт как набросок нового текста.

Качество наброска KBo 13.109 может быть проиллюстрировано двумя писцовыми ошибками в (189). Очевидно, писец был введен в заблуждение своим собственным шумерографическим написанием KIN-*zi*, которое было двусмысленным в плане числа (‘он сделал / они сделали’), и предпочел в качестве следующей глагольной словоформы 3 ед. *parkunuzzi* вместо ожидавшегося 3 мн. *parkunuwanzi*. Даже в этой неграмматичной форме он умудрился пропустить знак. К сожалению, неизвестно, выступал ли когда-либо текст KBo 13.109 как образец для более совершенной редакции нового ритуала: в отличие от CTH 391.1, который доступен в трех различных копиях, текст CTH 391.2 не имеет таковых.

Аналогичные соображения должны учитываться при сопоставлении таблички KBo 4.10, содержащей договор с Улми-Тешубом, правителем Тархунтассы, и Бронзовой таблички Bo 86/299, содержащую договор с Крунтией, правителем Тархунтассы. Хотя оба документа сейчас каталогизируются под номером CTH 106, мы, очевидно, имеем дело с двумя разными текстами[445], которые, однако, имеют весьма сходный формат и многие отрывки из которых могут сравниваться пословно. Доступный обзор обоих текстов был опубликован в работе [van den Hout 1995: 22–48]. Хотя как KBo 4.10, так и Bo 86/299 содержат ряд помеченных слов, их пропорция в первом тексте значительно выше. Среди пятнадцати помеченных слов в KBo 4.10, имеющих прямые соответствия в Bo 86/299, только шесть маркированы во втором тексте. В Бронзовой табличке нет помеченных форм, которые бы соответствовали немаркированным формам из «Договора с Улми-Тешубом».

[445] Обсуждение того, были ли Крунтия и Улми-Тешуб двумя разными именами одного человека, см. у [Bryce 2005: 270–271, см. там же библиографию]. Вне зависимости от ответа на данный вопрос, два рассмотренных здесь текста иногда содержат различные правовые предписания и поэтому не могут рассматриваться как две версии одного договора.

В сохранившейся части «Договора с Улми-Тешубом» не упоминается имя царя, и это одна из причин, по которой относительная хронология обоих документов остается предметом дискуссии. Ван ден Хаут [van den Hout 1989; 1995] утверждает, что оба договора были заключены в царствование Тудхалии IV, а Улми-Тешуб был поставлен князем в Тархунтассе после того, как Крунтия нарушил обязательства, отраженные в Бронзовой табличке. Напротив, Бекман [Beckman 1999] убежден, что партнером Улми-Тешуба выступал Хаттусили III, отец Тудхалии IV. Имеется, впрочем, один признак, который четко разделяет два документа. Бронзовая табличка Bo 86/299 является официальной версией договора, которая, очевидно, была церемониально погребена после того, как Крунтия нарушил его условия. Глиняная табличка KBo 4.10 представляет собой черновик договора, а его окончательная версия, предположительно, была вывезена из Хаттусы, когда двор покинул столицу в начале XII в. до н. э.

Мы полагаем, что более сдержанное использование глоссовых клиньев в Бронзовой табличке в сравнении с KBo 4.10 менее связано с относительной хронологией обоих текстов, чем с их различным официальным статусом. Даже если принять, что «Договор с Улми-Тешубом» был составлен после «Договора с Крунтией», хеттский чиновник, ответственный за его подготовку, не имел под рукой Бронзовой таблички. Вероятнее всего, он опирался на ее черновую версию и скопировал большинство глоссовых клиньев, содержавшихся в этой версии. Напротив, писец, отвечавший за создание Бронзовой таблички или ее предварительного варианта, отнесся критически к маркированным словам. Безусловно, текстовая история может быть упрощена, если принять, что KBo 4.10 является первоначальным наброском, на основе которого были со временем составлены несколько договоров, включая Бронзовую табличку[446].

[446] В связи с представленной дискуссией необходимо упомянуть небольшой фрагмент ABoT 57, относящийся к CTH 106, который в текстовом плане ближе к «Договору с Улми-Тешубом», чем к Бронзовой табличке. Размер данного фрагмента не способствует каким-либо обобщениям, касающимся модели употребления глоссового клина.

Дополнительный филологический аргумент в пользу предложенных сценариев заключается в трактовке слова *warwalan-* ‘семя, потомок’ в обоих текстах. Сохранившаяся часть KBo 4.10 содержит три случая фиксации этого обозначения с глоссовым клином (rev. 22, 24, дат. ед. ˹*wa-ar-wa-la-ni* и rev. 25, эрг. ед. ˹*wa-ar-wa-la-na-an-te-eš*). В Бронзовой табличке данные формы замещены с помощью NUMUN, *wa-ar-wa-la-ni* и NUMUN-*an-za* соответственно [van den Hout 1995: 46–48]. В двух случаях лувийские основы были замещены шумерограммами, а в одном случае лувийское окончание эргативной формы заместили хеттским аналогом[447]. Едва ли можно представить противоположный сценарий, согласно которому переписчик устранил две шумерограммы и одно хеттское окончание, чтобы заместить их лувийскими формами с глоссовыми клиньями.

Анализ вариаций между помеченными и немаркированными формами в хеттских текстах будет неполным без упоминания апологии Хаттусили III (CTH 81), текста, доступного по меньшей мере в десятке копий, базовая генеалогия которых может быть найдена уже у Гетце [Goetze 1925: 3]. История передачи этого текста была рассмотрена в более свежей работе [Otten 1981]. Автор подтвердил выводы предшественников о том, что ни одна из хорошо сохранившихся табличек не может рассматриваться как его архетип. Следовательно, нельзя напрямую оценить влияние писцовой передачи на количество слов, снабженных глоссовым клином. Тем не менее сравнение двух наилучших с точки зрения сохранности копий CTH 81 показывает существенную склонность текста CTH 81.A к использованию данного орфографического приема. Представленные ниже материалы основаны на таблице из [Otten 1981: 66–80]:

[447] В настоящей диссертации употребляется термин «эргативная форма», а не «эргативный падеж», принятый в грамматике [Hoffner, Melchert 2008] и отстаиваемый в работе [Goedegebuure 2010b]. Относительно обоснования данного подхода см. [Yakubovich 2010d: 153; Шацков 2011; Касьян, Сидельцев 2013: 47, 48].

Таблица 49. Вариация в использовании глоссового клина в CTH 81

81.CTH 81.A (KUB 1.1+)	CTH 81.B (KBo 3.6+)	
˹ar-ša-ni-i-e-er	ar-ša-ni-i-e-er	‘они завидовали’
˹hu-u-i-ya-mi	hu-u-ya-mi	‘бегу’
˹hu-u-wa-ap-pi	hu-u-wa-ap-pi	‘полохому’
˹ir-ma-la-aš	ir-ma-la-aš	‘больной’
˹ku-pí-ya-ti-in	ku-pí-ya-te-in	‘интригу’
˹dan-na-at-ta (2x)	dan-na-at-ta (2x)	‘пустые’
˹zi-la-du-wa (2x)	zi-la-du-wa (2x)	‘затем, отныне’

Нет ни одного случая, когда словоформа была бы помечена в B, но не в A. Примеры словоформ, маркированных в обоих манускриптах, распространены, ср. *tabarha* ‘я правил’ (3x), *marhta* ‘он представился’ (1x). Насколько можно судить, подобные слова всегда имеют нехеттское происхождение и часто снабжены явными лувийскими окончаниями. Напротив, словоформы, маркированные в A, но не в B, образуют гетерогенную группу. Формы *kupiyadin* и *ziladuwa* являются ассимилированными лувийскими заимствованиями, *huyami* и *dannatta* представляют собой хеттские формы, подвергшиеся, вероятно, морфологической перестройке (в противоположность первоначальным **huwahhi* и *dannant-*), а остальные примеры являются регулярными хеттскими формами. Причина их маркировки не вполне ясна, но тот факт, что HUL-*lu* в A i 49 соответствует [*huwap*]*pan* в B, может свидетельствовать о том, что писец A рассматривал *huwappa-* ‘плохой, злой’ в качестве просторечного синонима *idālu-*.

Как было упомянуто выше, архетип вариантов A и B остается недоступен. Следовательно, напрямую нельзя увидеть, добавил ли писец A

(или один из его предшественников) дополнительные глоссовые клинья или, скорее, писец B (или один из его предшественников) удалил часть из них. Однако второй сценарий, по моему мнению, более вероятен. Формы, маркированные в варианте A, скорее всего не являются результатом тщательной редакции, а больше похожи на набор форм, который с первого взгляда могли показаться писцу странноватым. Напротив, B отражает состояние после того, как главный писец тщательно рассмотрел помеченные формы и снял пометы с тех, которые казались ему хорошо подходящими для хеттского лексикона. Если предложенный сценарий верен, *ziladiya* получило такой же анализ в апологии Хаттусили, как и *ziladuwa* в молитве Муваталли.

Дополнительный аргумент в пользу данного сценария связан с анализом других вариативных чтений в A vs. B. Хотя оба манускрипта демонстрируют ряд ошибочных опущений, а также структуры, которые могут выдавать идиолекты и индивидуальные графические привычки своих писцов, все же текст B, похоже, показывает несколько вариантов, отражающих умышленные попытки писцов улучшить стиль первоначального манускрипта. Так, *apiya pi*[*di*] ‘в месте там’ в A iv 63 замещено с помощью более литературного [*ape*]*dani pidi* ‘в том месте’ в B. В ряде случаев двусмысленные или эллиптичные предложения в A имеют более эксплицитные соответствия в B. Так, A ii 53 повествует о том, что Муваталли ‘взял’ (*epta*) город Тархунтасса, и из контекста следует понимать, что автор подразумевает перемещение столицы в Тархунтассу, а не военное нападение, в то время как B просто утверждает, что Муваталли построил (*wedet*) город Тархунтасса. A iv 17 содержит предложение: “Как он говорил мне, (так) это и произошло”, а его соответствие в B — это просто ‘так’ (*QATAMMA-pat*). B целом B и тесно связанные с ним манускрипты C и D, по-видимому, подверглись более серьезному редакторскому пересмотру, чем A[448].

[448] Ср., однако, вероятную замену *huwappan* на HUL-*lu* ‘злой’ в KUB 1.1 i 49, который был рассмотрен в предыдущем разделе.

Выводы из этого раздела требуют небольшого резюме. Имеются ясные и многочисленные свидетельства того, что различные копии одного текста и параллельные разделы генетически близких текстов отличаются в плане использования глоссового клина. Анализ CTH 381 предполагает, что глоссовые клинья шире употреблялись в черновиках и затем постепенно устранялись в процессе редактирования. Удаление глоссовых клиньев может либо подтверждать приемлемость структуры исконной фразы, либо сопровождаться правкой. Свидетельства других текстов, рассмотренных в данном разделе, менее однозначны, но они совместимы с первоначальными заключениями данного раздела и в целом говорят скорее в их пользу, чем против них. Тем не менее напрашиваются два уточнения. Во-первых, случаи, когда помеченные слова корректируются или замещаются, менее часты, чем те, когда глоссовый клин просто удаляется. Во-вторых, ограниченное число глоссовых пометок может сохраняться даже в финальных редакциях текстов, таких как Бронзовая табличка.

Утверждение Мелчерта, что глоссовый клин является маркером непривычных форм, возможно, и пригодно для хеттских текстов без истории редактирования, но оно не имеет объяснительной силы, поскольку ничего не говорит о прагматике данного знака. В отличие от глоссы *sic!*, одна из основных целей которой заключается в обеспечении правильной передачи непривычной особенности текста, глоссовый клин в хеттском контексте заставлял читателя задуматься, является ли данная текстовая особенность действительно «непривычной», и если да, то можно ли ее заменить на что-то более «привычное». Отмеченное непостоянство суждений по поводу слов, маркированных глоссовым клином, предполагает, что эта пометка должна определяться скорее в стилистических, чем в грамматических терминах, и что она выполняла прескриптивные, а не дескриптивные функции.

5.4.3 Глоссовый клин и жанровое варьирование

Мы привели аргументы в пользу определения глоссового клина как маркера тех слов и выражений, которые данный писец считал стилистически непригодными в определенном контексте. Это определение не касается языковой атрибуции помеченных форм. Здесь, однако, можно вспомнить, что большинство из них являются либо лувийскими гостевыми словами, либо ассимилированными лувийскими заимствованиями. Далее, в предыдущем разделе было показано, что лувийские гостевые слова в хеттских текстах, по-видимому, характеризуются наибольшей устойчивостью в плане глоссового маркирования, в то время как интегрированные лувийские заимствования и хеттские формы, подвергшиеся интерференции, менее последовательны в данном отношении. Сейчас пришло время рассмотреть важность этой корреляции для определения отношения хеттских писцов к лексическим контактам с лувийским языком.

С первого взгляда картина может показаться ясной. Использование глоссового клина рядом с лувийскими формами в хеттских контекстах выдает широко распространенное предубеждение против лексической интерференции с лувийским. Тот факт, что лувийские иностранные лексемы все же широко употреблялись, мог бы тогда свидетельствовать о том, что, говоря словами Гютербока [Güterbock 1956a: 138], писцы в то время “не были способны избавиться от собственного лувийского наречия”. Данное заключение совместимо со статусом лувийского как субстратного языка с низким престижем, который распространялся лишь из-за большого числа его носителей. Именно эту позицию, несмотря на некоторые сомнения, принимает ван ден Хаут [van den Hout 2006].

Однако имеются несколько соображений, которые заставляют предпочесть более тонкий подход. Во-первых, требуется объяснить, почему лувийские формы в хеттских текстах часто помечались, но относительно редко исправлялись. Можно, конечно, считать, что отдельные писцы

использовали лувийские слова, поскольку они не помнили их хеттские эквиваленты, но идея, что ни один из редакторов «Апологии Хаттусили» не был способен заместить лувийское гостевое слово *tabarha* ‘я правил’ близким хеттским синонимом *maniyahhun*, основа которого использована в предшествующей клаузе того же самого текста, не кажется правдоподобной. Также едва ли возможно, что новохеттские переписчики среднехеттского руководства для служителей храма (CTH 264) не были осведомлены о хетт. *sehur* ‘моча’, когнате и функциональном эквиваленте лув. *dūr*, которое появляется в том же тексте. Необходимо признать существование определенных факторов, умерявших редакторское рвение хеттской дворцовой канцелярии.

Важным свидетельством выступает также отсутствие новохеттских слов, которые сопровождались бы настоящими лувийскими глоссами. Логично предположить, что если писец не был уверен в том, как выразить определенное значение на официальном языке, то он мог иногда давать его приблизительную запись и затем дополнять ее разговорной глоссой для устранения двусмысленности. Именно поэтому можно обнаружить (с разной степенью частотности) западносемитские, хурритские, хеттские и лувийские глоссы к аккадским текстам, появившимся в Сирии и Анатолии в период позднего бронзового века. Отсутствие лувийских форм, глоссирующих новохеттские слова, сильно выбивается из этой общей картины.

Наконец, имеется ряд хеттских текстов, написанных поздним пошибом, чьи писцы вообще не обращались к глоссовым клиньям. Показательными примерами являются ритуалы, приписываемые Мастигге (CTH 404), основной текст царского погребального ритуала (CTH 450) и все каталожные таблички (CTH 276–282). Каждый текст содержит группу лувийских заимствований, а два первых текста характеризуются контактно-стимулированными грамматическими нерегулярностями (см. 5.3.2). Тем не менее ни одна из этих форм не была помечена как стилистически проблематичная.

Асимметрия в использовании глоссового клина может быть распространена на целые текстовые жанры. Ван ден Хауту [van den Hout 2006: 226–229] удалось показать, что распределение между маркированными и немаркированными лувийскими гостевыми словами существенно отличается в двух группах текстов. Его наблюдения резюмированы и адаптированы в Таблице 50, где приводятся только жанры, для которых характерно большое количество лувийских гостевых слов. Процентные показатели отражают пропорцию фиксаций маркированных и немаркированных лувийских гостевых слов в рамках отдельного жанра к общему числу фиксаций соответственно маркированных и немаркированных лувийских иностранных слов в рамках всего корпуса выбранных жанров. Отношения между абсолютным числом маркированных и немаркированных лувийских иностранных слов внутри каждого ряда перечислены в восходящем порядке.

Можно легко увидеть, что имеется корреляция между текстовым жанром и маркированием лувийских гостевых слов. Жанры в верхней части таблицы демонстрируют, скорее, случайное использование глоссового клина, в то время как тексты в ее нижней части используют его более последовательно[449].

Ван ден Хаут [van den Hout 2006: 230] предположил, что использование глоссового клина было менее последовательным в религиозных, чем в светских текстах. Хотя это, очевидно, верное наблюдение (тексты из лувийской периферии не образуют независимого жанра, но, скорее, содержат ритуалы и праздники), оно едва ли имеет объяснительный статус. С моей точки зрения, различие между двумя группами напрямую связано с тем, как они развивались в новохеттский период.

[449] Проверка корреляции употребления глоссовового клина с текстовыми жанрами по методу «хи-квадрат», опровергает гипотезу о независимости данных параметров со степенью вероятности 99,8%. Я благодарен А. Тельнову (Принстон), выполнившему необходимые вычисления с помощью программы ROOT. Предположение о симметричной гауссовой ошибке в случае наборов, содержащих менее 5–7 элементов, делает вычисления менее точными, однако, несмотря на это, можно уверенно отвергнуть гипотезу о независимом распределении со степенью вероятности 99%.

Таблица 50. Варьирование в использовании глоссового клина по жанрам

	Жанр	Помечено	% /всего	Не помечено	% /всего	Коэффи-циент
1	Ритуалы	29	9.2	38	34.3	0.76
2	Тексты из лувийской периферии	18	5.7	23	20.7	0.78
3	Описания праздников	29	9.2	15	13.5	1.93
4	Обеты	18	5.7	5	4.5	3.6
5	Отчеты о гаданиях	65	20.6	13	11.7	5
6	Переписка	27	8.5	5	4.5	5.2
7	Мифология (зарубежная)	30	9.5	3	2.7	10
8	Показания в суде	21	6.6	2	1.8	10.5
9	Анналы, договоры, указы	79	25.0	7	6.3	11.3

Тексты первых трех групп, помеченные в Таблице 50 серым, продолжали копироваться и редактироваться, но в это время редко записывались или составлялись с нуля. Остальные тексты могли диктоваться писцам, основываться на их «полевых заметках» или возникать как новые литературные переводы в имперский период. Я полагаю, что распространение глоссового клина было специфическим образом связано с частотой лувийских слов в надиктованных или «стенографированных» текстах.

Доминирование письменной передачи официальных религиозных текстов в империи Хаттусы не является самоочевидным, но Миллер [Miller 2004] и Кристиансен [Christiansen 2006] подготовили убедительные исследования, подтверждающие данный сценарий. Теперь они представили явное филологическое доказательство того, что анатолийские эрудиты были

вовлечены в активный процесс изменения старых ритуалов для удовлетворения новых запросов царского двора в имперский период. С другой стороны, копии, записанные среднехеттским пошибом, были идентифицированы примерно для половины хеттских ритуалов, содержащих немаркированные лувийские гостевые слова[450]. Это значительная пропорция, которая сопоставима с пропорцией древнехеттских исторических текстов, доступных в оригиналах или копиях древнехеттского периода. Следовательно, можно предположить, что большинство лувийских форм, встречающихся в религиозных текстах, были унаследованы от их среднехеттских прототипов. Имеется независимое свидетельство того, что до начала имперского периода лувийские слова в хеттских контекстах маркировались редко[451].

Напротив, большинство текстов второй группы должны были появиться в записанном виде в новохеттский период. Письма и обеты, вероятно, диктовались писцам, письменные показания записывались в суде, а отчеты о гаданиях включают записи вопросов к богам, как они формулировались жрецами. Тот факт, что ни один из этих текстов не доступен в многочисленных копиях [van den Hout 2002b: 864], определяет их как оригиналы и предполагает, что новохеттский пошиб соответствующих документов соотносится со временем их первоначальной диктовки. Иначе обстоит дело с анналистической литературой, поскольку тексты этого жанра часто копировались, но время их создания обычно может быть определено на основе внутренних ссылок. Все анналистические тексты с гостевыми словами описывают события имперского периода, и то же верно для соответствующих договоров и царских указов.

---

[450] Из ритуалов, содержащих немаркированные лувийские гостевые слова, копии/версии среднехеттского периода доступны для CTH 390, 395, 412, 433, 448, 461, 477, 479, 480, 489, 495. Подобные копии или версии отсутствуют для CTH 391, 398, 409, 425, 431, 450, 457.4, 471, 475, 476, 481. В некоторых случаях ритуалы, имеющиеся только в поздних копиях, могут быть отнесены к более раннему периоду на исторических основаниях (напр., CTH 475, ритуал Пиллии, князя Киццувадны).

[451] Ср. двенадцать примеров немаркированных лувийских слов, встречающихся в текстах, записанных среднехеттским пошибом [van den Hout 2006: 230], которые контрастируют с одним маркированным примером HKM 88.12 ˹*annarā*. Последнее слово может трактоваться как лувийское на фонологических основаниях, однако, будучи наречием, оно не имеет специфических лувийских окончаний.

Лувийские слова, встречающиеся в политических документах империи Хаттусы, в целом, по-видимому, относятся к лексикону правящей элиты. Сличение копий показывает, что имело место лишь ограниченное писцовое редактирование текстов данного жанра, чье авторство обычно приписывается царям[452]. Подготовка новых шаблонных договоров, очевидно, включала определенный элемент писцовой компиляции. Однако было бы нелогично полагать, что младшие писцы могли быть ответственны за их нестандартные клаузы, отражающие текущую политику внешнеполитического ведомства Хаттусы. Поскольку письма, обеты, судебные показания и результаты гаданий фиксировались на глиняных табличках в единственной копии, какое-либо редактирование в текстах этого жанра было просто невозможным. Простейшая гипотеза — это принять, что встречающиеся в таких документах лувийские формы были записаны на основе устной речи.

Жанр, относящийся ко второй группе и заслуживающий отдельного рассмотрения, состоит из мифологических текстов аккадского, хурритского и западносемитского происхождения, которые, как можно предполагать, были переведены в ученых кругах[453]. Тем не менее корреляция между наличием помеченных лувийских слов и поздней датой перевода, по-видимому, сохраняется. Так, текст «Песни об освобождении» (CTH 389), известный из хеттско-хурритской билингвы, записанной среднехеттским пошибом, вообще не содержит лувийских гостевых слов. Как правило, мифологические тексты, включающие помеченные слова (такие как «Эпос о Гильгамеше», хурритские мифы о Хедамму и Улликумми или ханаанский «Миф об Элькунирше и

[452] Нет необходимости давать единый ответ на вопрос о настоящих авторах всех документов, приписываемых царям Хаттусы. Для некоторых текстов должно предполагаться авторство самих царей, это, например, касается апологии Хаттусили III, насыщенной подробностями его личной жизни, или воспоминаний Мурсили II о деятельности его отца Суппилулиумы I (с точки зрения анонимного писца было бы более логично приписать данный текст самому Суппилулиуме I). С другой стороны, шаблонные *res gestae* Тудхалии IV и Суппилулиямы II (CTH 122) могли быть надиктованы любым вельможей с соответствующими полномочиями.

[453] С лингвистической точки зрения интересно отметить, что хеттские мифологические тексты иностранного происхождения содержат несколько достоверных примеров лувийских гостевых слов. Корпус, использованный в работе [van den Hout 2006], включает 3 ед. прош. *halanzatta* (KUB 36.35 i 11), вин. мн. ⸢*hudanuenzi* (KUB 8.63 iv 13), вин. ед. ⸢*pintanza* (KUB 8.50 iii 20) и 3 ед. прош. ⸢*sappatta* (KUB 8.50 iii 16). Эти четыре формы контрастируют с примерно двумя десятками случаев употребления маркированных форм, которые не характеризуются специфическими лувийскими окончаниями, а некоторые из них могут и вовсе не быть лувийскими.

Ашерту»), известны исключительно из отрывков, записанных новохеттским пошибом. Доступность табличек среднехеттского периода, содержащих аккадскую и хурритскую версии «Эпоса о Гильгамеше», а также хурритскую версию «Мифа о Хедамму», предполагает, что это отсутствие не является случайным.

Хуррито-хеттская билингва представляет собой единственный пример, когда можно говорить о хеттском переводе иностранного мифологического повествования. Другие мифологические тексты, упомянутые в данном разделе, являются, скорее всего, творческими адаптациями своих иностранных версий[454]. К сожалению, ничего не известно о приемах, использовавшихся хеттами при адаптации иностранной литературы. В качестве вероятного (но не самого правдоподобного) сценария можно предположить промежуточный период устной передачи рассказчиками. В качестве альтернативы можно принять, что писцы, хорошо ориентирующиеся в ближневосточной литературе и подробно изучившие иностранные сказания в школе, были уполномочены создать хеттские варианты, приспособив их ко вкусам местной публики. Эти авторские адаптации могли затем подвергнуться такой же редакторской проверке, как и в случае с устными произведениями[455].

---

[454] О различиях между аккадской и хеттской версиями «Эпоса о Гильгамеше» см. [Beckman 2003: 43ff]. Об отсутствии близкого соответствия между хурритскими мифологическими текстами и их хеттскими версиями см. [Salvini, Wegner 2004: 13]. Тем не менее в работе [Giorgieri 2001] хорошо показано, что хурритский фрагмент KUB 45.61 является довольно близким аналогом хеттского фрагмента, описывающего рождение Улликумми.

[455] Исключение к описанному выше распределению касается нескольких групп текстов, которые ван ден Хаут не включил в свою версию Таблицы 50, но рассмотрел в своей работе 2006 г. Все доступные описи имущества были составлены в новохеттский период, и логично предположить, что чиновник, ответственный за осмотр хранилища, мог продиктовать подобный список писцу. Тем не менее внутри данного жанра 24 маркированных лувийских слова могут быть противопоставлены 18 немаркированным лувийским словам (соотношение 1.3:1). Таким образом, описи имущества удивительным образом соответствуют первой группе, включающей ритуалы и праздники, а не второй, включающей судебные показания и отчеты о гаданиях. Существенным для объяснения данного парадокса может быть тот, что описи имущества не являются связными текстами и в большинстве случаев даже не содержат предикативного синтаксиса. Следовательно, можно предположить, что писцы испытывали меньше желания маркировать стилистические недостатки устной диктовки, имея дело с этим жанром. Относительно более плотная концентрация немаркированных лувийских слов (10) vs. маркированных лувийских слов (15) в другом жанре, состоящем в основном из синтаксических фрагментов, а именно в административных текстах, подтверждает данные выводы.

Намеченное выше хронологическое распределение дает дополнительную поддержку утверждению, что глоссовые клинья скорее удалялись, чем добавлялись в ходе письменной передачи, и это согласуется с общими филологическими принципами обеспечения устойчивости манускрипта. Если бы ситуация в данном случае была противоположной (что было бы неожиданно), то мы бы столкнулись примерно с одинаковой пропорцией помеченных слов во всех категориях текстов, поскольку последующие переписчики компенсировали бы скудное использование глоссовых клиньев со стороны среднехеттских писцов.

Связь между частотой глоссовых клиньев и происхождением текстов, где они используются, предполагает важные выводы для прагматики глоссового клина. Оставив на некоторый момент в стороне переводную литературу, можно наблюдать, что данный знак отражает не столько сомнение писцов в собственной языковой компетенции, сколько стилистическую оценку надиктованных им устных текстов. Писцы, писавшие под диктовку, не имели ни времени, ни полномочий, чтобы вмешиваться в устный лексикон. Однако они могли помечать те слова, которые казались им странными по стилистическим соображениям. Это служило напоминанием редакторам о необходимости более подробного рассмотрения соответствующих форм или просто было способом снять с себя ответственность за их появление. Последняя мотивация, предположительно, была решающей в случае эфемерных документов, таких как судебные показания или описи, не подвергавшихся редакционной обработке. Напротив, когда писец видел трудную форму в более старой версии религиозного текста, он мог счесть, что предшествующие редакторы уже одобрили эту форму, или просто проявить уважение к письменному тексту, освященному традицией[456].

[456] Гипотеза о том, что писцы использовали глоссовые клинья в качестве пуристической реакции на стилистические недостатки текстов, подлежащих редактированию, принадлежит Т. ван ден Хауту. Он сообщил ее мне, когда готовил статью, впоследствии опубликованную как [van den Hout 2006].

С другой стороны, можно понять, почему последующие редакторы табличек в целом колебались по поводу замещения помеченных форм их синонимами, более пригодными со стилистической точки зрения. Большинство текстов, снабженных глоссовыми клиньями и доступных в многочисленных копиях, представляют собой анналы, договоры и подобные политические документы, надиктованные царем или высокопоставленными чиновниками. Манипуляция с царской речью предполагала серьезную ответственность, которую готовы были взять на себя, по-видимому, лишь немногие в канцелярии. Объективные трудности, касающиеся нахождения точных хеттских эквивалентов для помеченных лувийских форм, могли также привести к субъективным сомнениям. Гораздо меньше ответственности предполагала проверка глоссовых клиньев, проставленных младшими писцами, и удаление тех из них, которые не представлялись достаточно обоснованными[457].

Отсутствие в хеттских текстах из Богазкея настоящих иностранных глосс, которые были бы записаны рядом с поясняемым словом, уже не кажется удивительным, если писцы фиксировали свои таблички на диктуемом языке. Хотя мне неизвестны исследователи, которые эксплицитно утверждали бы обратное, взгляд на хеттский язык как на *Hof- und Amtssprache* логически предполагал бы, что по крайней мере некоторые текстовые жанры, такие как судебные показания и отчеты о гаданиях, должны были переводиться с лувийского. В данном случае ожидалось бы обнаружить разговорные глоссы, поясняющие особенно трудные слова в рамках этих жанров, подобно тому, как они обнаруживаются в

[457] К. Мелчерт (личн. сообщ.) высказал идею относительно того, почему главные писцы могли склоняться к устранению некоторых глоссовых клиньев, имевшихся в оригинале. Он справедливо предположил, что носители хеттского языка занимали более высокие позиции в иерархии писцов Хаттусы, и указал, что “лувоязычные писцы, которые делали наброски, помечали все формы, которые, как они думали, могли создать проблемы для их хеттоязычных начальников. Последние затем решали, могут ли формы оставаться без каких-либо пометок (то есть смогут ли все писцы иметь с ними дело), могут ли оставаться, но с пометкой (потому что они способны ввести в недоумение некоторых читателей), или они должны замещаться хеттской формой”. И в самом деле, вполне правдоподобно, что каждое иностранное слово лувийского происхождения, встречающееся в хеттском тексте, казалось подозрительным носителям лувийского языка, в то время как носители хеттского языка были лучше приспособлены к тому, чтобы оценить степень его интеграции в хеттский лексикон.

периферийных аккадских текстах. Доступные материалы подтверждают тезис о том, что в Хаттусе XIII в. до н. э. было достаточно людей, которые могли бы дать показания в суде и сформулировать вопросы к оракулу на хеттском языке.

Другое преимущество предлагаемого подхода заключается в возможности объяснить, по какой причине глоссовые клинья так редко появлялись рядом с хурритскими формами в хеттских текстах. Хурритские неассимилированные заимствования довольно редки в табличках, записанных в Хаттусе в имперский период. Чаще всего они встречаются в шаблонных отрывках, описывающих приношения или ритуальные атрибуты, которые, вероятно, отражают культовые практики Киццувадны или Северной Сирии. Появление подобных пассажей в новохеттских ритуалах обычно свидетельствует о том, что мы имеем дело с писцовыми компиляциями, как это показано Миллером [Miller 2004] для текста «Когда мой предок отделил культ богини ночи», приписываемого Мурсили II (CTH 482). Даже в оригинальных новохеттских текстах, таких как ритуал Мурсили II против афазии (CTH 486), отрывки с хурритскими словами должны рассматриваться как писцовые интерполяции [van den Hout 2004: 370–373]. Если основная функция глоссового клина заключалась в стилистической оценке устной речи, то отсутствие маркеров в подобных отрывках хорошо согласуется с моими теоретическими предсказаниями.

Выводы данного раздела опровергают утверждение Гютербока [Güterbock 1956a: 138], что лексическая интерференция между лувийским и хеттским была всецело обусловлена влиянием группы писцов из Киццувадны. Тексты, которые могли быть записаны или составлены писцами из Киццувадны, образуют ядро группы, определяемой как «тексты из лувийской среды». Они действительно содержат много лувийских (и хурритских) заимствований, но скудное использование глоссового клина со стороны переписчиков отличает их от новохеттских светских текстов. Другой жанр, где посредничество носителей лувийского языка могло сыграть

главную роль, — это иностранная мифология[458]. Публикация фрагментов из цикла Кумарби является одним из важнейших вкладов Гютербока в хеттологию, и легко увидеть, как этот проект мог повлиять на его восприятие проблемы глоссового клина. Однако данный жанр не является типичным представителем новохеттских текстов, поскольку большинство оригинальных текстов, составленных в имперский период и характеризующихся значительным числом глоссовых клиньев, возникли, по всей вероятности, на основе устной диктовки или «полевых заметок».

Следует вновь подчеркнуть, что рассмотренное распределение глоссовых клиньев по текстовым жанрам имеет статистический характер, и ассоциация между глоссовым клином и надиктованными текстами является не более чем тенденцией. Ритуал CTH 391.2, рассмотренный в связи с примером (189), выступает довольно явным случаем, когда глоссовые маркеры были вновь введены эрудитами, ответственными за создание нового ритуала. Среднехеттский пример в (186) формально несовместим со сценарием устной диктовки, поскольку стилистически неуместное использование хетт. *sakuwa* вместо шумер. IGI.HI.A является чисто орфографическим феноменом. Однако можно предположить, что несоответствие между некоторыми устными вариантами хеттского и ожиданиями писцов вторично расширило сферу употребления глоссового клина на копируемые письменные тексты.

С поправкой на это расширение, разницу между употреблением *Glossenkeil* в аккадских и хеттских текстах можно определить следующим образом. Большинство иностранных слов, помеченных в аккадских текстах, несут сообщение: “Я не знаю, как это писать”, в то время как большинство

[458] Проблема происхождения глоссовых клиньев в переведенных литературных текстах все еще полна неясностей. Если принять, что авторы творческих адаптаций были носителями лувийского языка, которые жили за пределами Хаттусы и ценились за их знание ближневосточной литературной традиции, но необязательно за их элегантный хеттский стиль, то можно предполагать, что результат их деятельности также был подвергнут редактированию, подобно устным текстам. Тем не менее до появления просопографических свидетельств, подтверждающих данную гипотезу, она остается умозрительной.

иностранных слов, помеченных в хеттских текстах, предполагают другое сообщение: “Он не знает, как это сказать/написать”.

5.4.4 Прагматика чередования кодов

Если выводы предыдущего раздела верны, то следует отделять сдержанные пуристические наклонности хеттского писцов от более беспорядочных речевых привычек авторов текстов. Имея в виду, что разница в оценке касалась лексической интерференции с лувийским, логично задаться вопросом о причине этих различных подходов. В отсутствие релевантных свидетельств письменных источников остается отталкиваться от здравого смысла и типологических параллелей из более известных культур.

Нет причин считать, что писцы XIII в. до н. э. осуждали использование лувийских иностранных слов, поскольку они имели крайне слабое представление о лувийском языке как о лингвистической системе. Имперский период в Хаттусе характеризовался распространением лувийского языка в письменной сфере. Именно в этот период цари Хаттусы санкционировали создание нескольких монументальных надписей на лувийском языке с использованием анатолийских иероглифов. Случай с надписью NİŞANTAŞ, который рассматривался в связи с примером (155), особенно примечателен, поскольку тот же самый текст был, вероятно, записан и хеттской клинописью. Короткие надписи на хеттских печатях обычно не позволяют произвести прямую языковую идентификацию, одна печать Кунци-Тешуба, правителя Каркемиша, сделанная до или сразу после падения Хеттской империи, содержит лувийские слова в фонетической записи [Hawkins 2000, II: 575].

Ван ден Хаут [van den Hout 2006: 235] предположил, что решение писать на лувийском языке на монументах должно рассматриваться как демонстрация солидарности с массами со стороны хеттских элит, что было

стратегией, необходимой для их выживания. Хотя эта мотивация остается дискуссионной (см. 4.9 и обсуждение проблемы «солидарности» в конце данного раздела), все же мы имеем дело, очевидно, с распространением лувийского языка в рамках определенной функциональной сферы. Неясно, почему авторы клинописных табличек (часть из которых должны были быть носителями лувийского языка) могли бы имплицитно противодействовать этой установке, рассматривая лувийский язык как нечто несовместимое с формальным письменным дискурсом. Гораздо легче предположить, что писцы, помечавшие лувийские слова в хеттских контекстах, исходили из неуместности смешения двух языковых кодов. Проведенные в школе годы должны были способствовать развитию у них языкового чутья и желания четко разграничить употребление хеттского и лувийского словарей.

Правомерность данной гипотезы подтверждается принципом письменной культуры Хаттусы имперского периода. Использование лувийских заимствований и гостевых слов, характерное для хеттской разговорной речи в Хаттусе, контрастировало с ситуационным чередованием кодов в письменном дискурсе. Идея ситуационного чередования кодов может быть проиллюстрирована изречением, приписываемым Карлу V, королю Испании и императору Священной Римской империи: “Я говорю по-итальянски с моими возлюбленными, по-французски — с моими друзьями, по-испански — с Богом, а по-немецки — со своей лошадью”[459]. Если предложенная интерпретация является верной, то хаттусские писцы XIII в. руководствовались следующим распределением: “При письме на глине и металлических табличках используем хеттский язык, а при письме на камне — лувийский”.

Следовательно, проблема функции глоссового клина в целом релевантна для обсуждения отношения писцов к гостевым словам, но не для общего вопроса о статусе лувийского языка в хеттском обществе.

[459] Обсуждение применимости концепта ситуационного переключения кодов к письменным текстам см. в работе [Langslow 2002: 39–41].

Лингвистические особенности новохеттских текстов (исключая ошибки писцов) должны исследоваться безотносительно их орфографии. Можно, однако, предположить, что наличие лувийских гостевых слов в письменной версии определенных хеттских текстов говорит о том, что они были представлены уже в его устном прототипе. Данная информация должна приниматься в расчет при обсуждении отношения элит Хаттусы к хеттскому и лувийскому языкам.

Не следует удивляться большому числу лувийских лексических заимствований в новохеттском языке. Выше было показано, что контакты между хеттским и лувийским языками восходят к доисторическому периоду, и уже древнехеттский язык характеризуется значительным числом лувийских заимствований, включая и те из них, которые относятся к религиозной и политико-административной сфере [ср. Melchert 2005: 53]. Расширение данной группы в более поздний период может просто-напросто коррелировать с более крупным корпусом доступных текстов, записанных среднехеттским и новохеттским пошибами.

Сложнее выявить мотивацию обильного использования лувийских гостевых слов в новохеттских текстах, отражающих дискурс высокопоставленных лиц. Приведенные ниже предложения взяты из текстов, приписываемых (и, вероятно, принадлежавших) трем царям Хаттусы: Мурсили II, Муваталли II и Хаттусили III. Все эти примеры характеризуются наличием глагольных форм с явно лувийскими окончаниями (1 ед. *-ha* и 3 ед. *-tta*). Достоверные примеры использования лувийских иностранных слов в корпусе оригинальных древнехеттских текстов отсутствуют, и лишь 8–9 среднехеттских табличек содержат подобные формы, при этом половина записанных на них текстов происходит из Киццувадны [van den Hout 2006: 230].

(190) KUB 14.8 obv. 22–24, CTH 378.II, Lebrun 1980: 205
nu=smas mahhan *ABU=YA* apēl [DUMU-*Š*]*Ú* piēsta n=an mahhan pēhuter n=an=kan kuēnnir *ABU=YA*=m[a] ⌜***kap-pí***⌝***-la-az-za-at-ta*** n=as *INA* ^{KUR}*MIZRI* pait
‘Когда мой отец отдал им своего сына, когда они увели его и там убили, то мой отец **разгневался** и пошел (войной) на Египет’.

(191) KUB 6.45 iii 50–53, CTH 381, Singer 1996: 22-23
handan=wa ^{d}U pihassassis EN=*YA* nepisas LUGAL-us UN-an kanista nu=war=an ⌜***ku-la-a-ni-it-ta*** nu=war=an=kan assanut nu=war=an=kan mēhunas arnut
‘Истинно бог грома *pihassassi*-, мой господин, небесный царь, признал человека, **довел** его **до совершенства**[?] , обласкал его, и привел его к (добрым) временам’.

(192) KUB 1.1 i 25–27, CTH 81, Otten 1981: 6
nu=mu ŠEŠ=*YA ANA* GAL *MEŠEDIUTTIM* tittanut KUR UGU=ya=mu maniyahhanni piesta nu KUR UGU-*TI* ⌞***ta-pár-ha***
‘(Тогда) мой брат поставил меня главой телохранителей и отдал мне в управление Верхнюю Страну. И я **правил** Верхней Страной’.

Приведенные выше примеры предоставляют интересные свидетельства в пользу широкого распространения хетто-лувийского двуязычия среди правящих классов империи Хаттусы. Лувийские окончания в (190–192) и подобных гостевых словах неизменно имеют те же функции, что и в собственно лувийских текстах. Не менее показательно употребление лувийских вкраплений в новохеттских сочинениях, относящихся к культу города Нерик [Görke 2013]. Поскольку город Нерик располагался к северу от Хаттусы, он явно не относился к первоначальному лувийскому ареалу. В данном случае приходится выбирать между гипотезой о языковом сдвиге в Нерике и более экономным предположением о компиляции

соответствующих текстов в канцелярии Хаттусы. Исходя из последнего сценария, можно заключить, что последние цари Хаттусы и их придворные одинаково хорошо владели словоизменительной морфологией обоих языков и могли легко устанавливать соответствия между хеттскими и лувийскими окончаниями.

В меньшей степени известно, насколько часто носители хеттского языка были способны найти точные лексические соответствия лувийским гостевым словам в их собственном языке. Можно заметить, что немногие из лувийских лексических вкраплений, встречающихся в хеттских текстах, относятся к базовой лексике. В частности, есть лишь два кандидата на включение в лувийский стословный список из данной группы — это *mana-* ‘видеть’ и *warwalan-* ‘семя’. Первая лексема употребляется в одном непонятном контексте [CHD, L-N: 161b], в то время как вторая постоянно используется в метафорическом значении ‘потомство’. Эти факты говорят в пользу предположения о том, что носители хеттского языка склонялись к использованию лувийских гостевых слов в тех случаях, когда они имели дело со специфическими концептами, значение и коннотации которых не могли быть с легкостью переданы по-хеттски[460].

Дальнейший анализ зависит от того, как следует анализировать лувийские гостевые слова в контексте типологии языковых контактов. Современная типология предполагает три различных возможности. Гостевые слова могут интерпретироваться как неассимилированные заимствования, результат некомпетентного смешения кодов или результат прагматически обусловленного смешения кодов в ситуации полного двуязычия. Главный функциональный критерий, позволяющий разграничить заимствование и гостевое слово (иноязычное вкрапление) — это степень использования монолингвами. Различие между некомпетентным и прагматически обусловленным смешением кодов заключается в уровне владения матричным

[460] К. Мелчерт (личн. сообщ.) приводит *kursawar* ‘остров’ в качестве прозрачного примера использования лувийского существительного для топографической характеристики, которая была бы необычной в хеттском центральном регионе.

языком билингвами и квазибилингвами. Некомпетентное смешение кодов обнаруживается в речи людей, усваивающих второй язык [Winford 2003: 108]. Формальные признаки не всегда позволяют провести различие между этими тремя типами гостевых фрагментов, так что начинают играть роль социальные факторы. Это осложняет предпринятый здесь анализ, но не сводит его к порочному кругу, поскольку ряд социолингвистических выводов может быть сделан на основе независимых тестов.

Гипотеза, что лувийские иностранные слова в хеттских текстах являются неассимилированными заимствованиями, имеет нетривиальные социолингвистические последствия. Систематические заимствование иностранных лексических элементов вместе с их словоизменительной морфологией в условиях интенсивного языкового контакта не являются чем-то необычным, однако источником подобных заимствований обычно выступает культурно доминирующий язык. Ван Кетсем [van Coetsem 2000: 222–228] называет это явление “*extended mode of borrowing*” и использует историю контактов между латинским и греческим языками в качестве иллюстрации перехода от «обычного» к «расширенному» способу. Вплоть до I в. до н. э. географическая дистанция между Грецией и Италией, а также отсутствие устойчивых двуязычных сообществ ограничивали число заимствований из греческого в латинский и способствовали их полной морфологической адаптации. К концу Римской республики греко-латинское двуязычие стало важным статусным символом среди римских элит. Примерно в тот же период литературный вариант латинского языка приобрел самостоятельное культурное значение и был противопоставлен разговорной форме латинского языка. Одним из способов маркирования акролекта было большое число греческих заимствований, которые в основном сохранили словоизменительную морфологию языка-источника (напр., вин. ед. ж. *-en* вместо нормального *-am*). Использование подобных форм могло бы рассматриваться как переключение кодов со стороны билингвов, однако это

были все же заимствования, понятные для всех римлян, хотя бы частично владевших литературным латинским языком, а не результат двуязычия.

Аналогичный феномен может быть обнаружен и в английском языке, хотя и в смягченной форме. Так, существительное *octopus* имеет три конкурирующих формы множественного числа: *octopodes*, *octopi* и *octopuses*; отражающих соответственно этимологическую форму греческого мн. ч., адаптацию полупродуктивного класса существительных на *-us* латинского происхождения и, наконец, нормальную английскую модель. Первая из трех форм рассматривается сейчас как формальная и книжная, в то время как третья считается разговорной. Окончания мн. ч., заимствованные из классических языков, начали проникать в английскую лексику начиная с эпохи Возрождения и отражали осведомленность части элит в языках высокой культурной традиции. Тем не менее они не являются свидетельством переключения кодов, поскольку высшие классы английского и американского общества в целом не владеют ни латинским, ни греческим языком.

Если применить подобный подход к Анатолии позднего бронзового века, это предполагало бы, что культурный престиж лувийского языка постепенно увеличивался в имперский период, что привело к растущему числу неассимилированных лувийских заимствований. Далее, следует считать, что, хотя некоторые носители хеттского языка оставались монолингвами в XIII в. до н. э., они усвоили лувийскую словоизменительную морфологию, для того чтобы правильно использовать заимствованные слова, характеризовавшие литературный стиль. С исторической точки зрения в подобном предположении нет ничего невероятного. Подобно тому, как римское завоевание Греции стимулировало контакты между двумя цивилизациями и обратило высшие классы римского общества к греческому культурному наследию, так и присоединение, например, Киццувадны могло открыть хеттским элитам возможность лучше оценить лувийскую высокую культуру.

К сожалению, языковые материалы не подтверждают подобные гипотезы. В тех случаях, когда индоевропейские языки демонстрируют «расширенный способ заимствования», гостевые слова обычно сконцентрированы в именной системе[461]. Лувийские примеры (190–192) и подобные случаи явно противоречат данной тенденции. С другой стороны, «расширенный способ заимствования» часто идет рука об руку с фонетическими адаптациями в рамках унаследованного пласта лексики. Так, престиж греческого языка в римском обществе привел к распространению заимствованной фонемы /k^h/ на унаследованную лексику, как это видно на примере *pulcher* ‘прекрасный’. Престиж латинского языка в эпоху Ренессанса привел к восстановлению этимологического *-l-* в словах *fault*, *assault* и некоторых других среднеанглийских заимствованиях из старофранцузского, вначале на письме, а затем и в произношении. В разделе 5.2.5 было показано, что новохеттский язык, по-видимому, демонстрирует противоположную тенденцию, а именно распространение *e* как маркера «хеттскости» вместо этимологического *i*.

Кроме того, у нас нет свидетельств культурного доминирования лувийского языка в княжествах Арцава и Киццувадна, как нет их и в отношении Хаттусы среднехеттского периода. В разделе 4.8 я постарался показать, что лувийский язык не является правдоподобным кандидатом на место канцелярского языка в Киццувадне. Как уже упоминалось в разделе 2.4, Египет и Арцава обменивались хеттскими клинописными табличками, обсуждая возможный брачный союз, однако ни одна лувическая табличка из Арцавы пока не обнаружена. Случай Хаттусы и ее вассальных княжеств отличается от случая с Римом и Грецией, и новые хеттские таблички едва ли

[461] Несколько примеров в дополнение к приведенным выше — это латинообразные генитивы в немецком (*Christi Geburt*, *St. Pauli Kirche*), несклоняемые слова французского происхождения в русском (*кабаре*, *кафе*) и показатели множественного числа в персидском и албанском, заимствованные, соответственно, из арабского и турецкого языков.

принесут откровения, сопоставимые с признанием *vincebamur a victa Graecia*, сделанным Цицероном в отношении греческого словесного искусства[462].

Наконец, утверждение о существовании неассимилированных лувийских заимствований в новохеттском языке зависит в методологическом плане от наличия хеттских монолингв в Хаттусе в XIII в. до н. э. Попытка ответить на этот вопрос с помощью лингвистического анализа на данном этапе неизбежно привела бы к порочному кругу, однако можно справедливо поинтересоваться, являлась ли Хаттуса XIII в. до н. э., покрытая лувийскими монументами, подходящей средой для хеттских монолингв[463]. Кумулятивный вес лингвистических и социологических аргументов заставляет отвергнуть гипотезу о лувийских неассимилированных заимствованиях.

Теория о том, что лувийские гостевые слова в определенных случаях отражают некомпетентное переключение кодов, является более привлекательной. Логично предположить, что не все авторы хеттских текстов, обнаруженных в Хаттусе, были носителями хеттского языка. Особенно вероятно, что большинство авторов и/или компиляторов ритуалов Кицтувадны, работавших в Юго-Восточной Анатолии до ее присоединения к Хаттусе, владели хеттским как вторым языком, и не всегда в совершенстве. Анализ «Ритуала для беременной женщины», приписываемого некоей Питтеи, предоставляет собой вероятный пример некомпетентного переключения кодов, практиковавшегося носителями лувийского языка в имперский период.

---

[462] Cicero, *Brutus* 73.254. Данное утверждение, конечно, не отвергает существования лувийского словесного искусства, о некоторых аспектах которого см. [Melchert 2006]. Тем не менее отсутствуют свидетельства того, что носители хеттского языка рассматривали его как заслуживающее подражания.

[463] Конечно, остается возможность того, что хеттский был единственным разговорным языком в некоторых провинциальных регионах империи во времена, когда он терял свои позиции в Хаттусе. Но точно так же возможно, что вариант хеттского, на котором говорили в подобном окружении, не содержал лувийских гостевых слов.

(193) KUB 44.4 rev. 22–24 + KBo 13.241 rev. 10–12, CTH 767.7 (LNS), Beckman 1983: 178

EME.HI.A EME.HI.A kuwapi=wa pa[i]tte[ni] ^{NA4}piruni ⸢***pal-hu-na*** pāiweni A GAM AG NI *ANA* ^{NA4}ZÚ ⸢duwarnuma[nzi p]āiweni UR.MAH GIŠ-ruanzi KI.MIN UR.BAR.RA ⸢***pa-tal-ha-ú-na*** KI.MIN ⸢***za-a*[*m-m*]*a-an-ti*** DUMU.NITA ***la-la-u-na*** KI.MIN

‘Языки, языки, куда вы идете? Мы идем **расколоть**[?] утес … мы идем сломать обсидиан, мы идем **победить**[?] льва, мы идем **сковать**[?] волка, мы идем **забрать** ***околдованного*** мальчика’.

Черновой характер одностолбцовой таблички KUB 44.4 ясен из того факта, что ее оборотная сторона записана сверху вниз, а текст CTH 767.7 занимает верхнюю и нижнюю часть обратной стороны, будучи прерван тремя строчками, относящимися к лицевому тексту (CTH 520). Эти эпиграфические факты коррелируют с многочисленными писцовыми ошибками и с огромным числом лувийских гостевых слов, большинство из которых сопровождаются глоссовыми клиньями. Рассматриваемое заклинание содержит равное число хеттских и лувийских лексем (последние помечены жирным шрифтом). Оно контрастирует со сходными по теме заклинаниями, зафиксированными в другом ритуале, которые полностью приспособлены к нормам хеттской морфологии.

(194) KUB 12.62 obv. 10–12, CTH 338 (NS), Beckman 1983: 192

ʿEMEʾ-as EN-as kuwapi pāsi KASKAL-si karipuwan[zi pāimi]. UR.MAH tarwauwanzi pāimi alili waršuwanzi pāimi DUMU.<LÚ>.U_{19}.LU lalauwanzi pāimi

‘Язык, господин, куда ты идешь? Я иду сожрать дорогу, я иду победить[?] льва, я иду схватить птицу *alili*-, я иду забрать человека’.

(195) KUB 12.62 rev. 3–4, CTH 338 (NS), Beckman 1983: 192
EME EN-as kuwapi pāsi HUR.SAG-i arauwanzi pāimi hāriya appanna pāimi KASKAL-ši karipuwanzi pāimi
‘Язык, господин, куда ты идешь? Я иду задержать горы, я иду захватить долины, я иду сожрать дороги’.

Данная ситуация может быть сопоставлена с чередованием между хеттскими и лувийскими заклинаниями внутри ритуалистической традиции Киццувадны (см. [Laroche 1959: 147–150] по поводу CTH 760). Имеются все основания считать, что в последнем случае лувийские заклинания восходят к устному фольклору носителей лувийского языка, а их хеттские адаптации отражают языковую манипуляцию со стороны писцов. Следуя той же логике, можно предположить, что CTH 767.7 был записан со слов носителя лувийского языка, пытавшегося говорить на ломаном хеттском языке, в то время как CTH 338 является хеттским артефактом, содержащим адаптацию элементов лувийского фольклора. В качестве альтернативы можно считать CTH 767.7 первым черновым вариантом перевода с лувийского на хеттский, а CTH 338 — хорошо отредактированной версией подобного перевода. Отсюда, разумеется, не следует, что CTH 767.7 нужно считать прямым предшественником CTH 338, поскольку сходные заклинания могли быть записаны несколько раз при различных обстоятельствах или даже адаптированы для хеттской аудитории еще до письменной фиксации. Однако не видно причин, по которым заклинательница, свободно владеющая хеттским языком, стала бы наполнять хеттское заклинание таким количеством лувийских гостевых слов[464].

[464] Другая трактовка частого употребления лувийских гостевых слов в заклинаниях Питтеи содержится в работе [Bachvarova 2013]. Согласно мнению Бачваровой, Питтеи осуществляла постоянный и сознательный отбор лувийских форм с целью создания аллитераций и других поэтических фигур. В частности, в примере (193) лувийский инфинитив *lalauna* ‘забрать’ используется для аллитерации с хетт. *lales* ‘языки’. Однако первоначальными аллитерирующими формами, до перевода заклинания на хеттский, были лув. *lalauna* и лув. *lalinzi* ‘языки’. Таким образом, представляется возможным отделить вопрос поэтики оригинальных лувийских заклинаний от проблемы смешения кодов в его последующих редакциях. О роли аллитерации в лувийских заклинаниях см. также [Francia 2014].

Постепенный процесс перевода лувийских отрывков на хеттский язык может быть подтвержден с помощью приведенного ниже примера, содержащего заклинание против болезни, которое следовало произносить *lūli* ‘по-лувийски’[465]. Ранний компилятор, возможно, записал заклинание на языке оригинала, для того чтобы сохранить его действенность. Однако последующий редактор перевел его текст на хеттский, оставив пометку *lūli* либо по недосмотру, либо в надежде на то, что данное заклинание переведут назад на лувийский при его устном исполнении. Тем не менее он не смог записать по-хеттски сложное слово *wasummaniyaulinzi* и механически перенес его из лувийской версии.

(196) KBo 12.100 i 3–7, CTH 765.3 (LNS), Laroche 1973: 181
[n]=an lūli kisan hūkkiskizzi [M]āla=kan ÍD-i MUŠ.HI.A *IŠ-TU*
KUN.HI.A-*ŠUNU* hamenkantat [MU]NUS.MEŠ
wa-šu-um-ma-ni-ya-ú-li-en-zi anda ^{SÍG}dūtiya hamengantat *ATHUTIM*
anda ^{TÚG}seknus hamengantat
‘(Он/она) так начинает заклинать по-лувийски: “В реке Евфрат змеи связаны хвостами, женщины *wasummaniyauli-* привязаны к (шерстяному изделию) *tudi-*, побратимы связаны накидкой[?]”’.

Т. ван ден Хаут обратил мое внимание на еще один вероятный пример некомпетентного смешения кодов в прямой речи, вставленной в Ритуал Туннавии (CTH 409). В работе [HEG, T: 365–366] обсуждаются чередующиеся словосочетания KUB 7.53 ii 13 *ti-ya-ni-eš-* ⌜*šu*⌝*-i e-la-ni-eš-ki-mi* и KUB 7.53 ii 17 *ti-ya-ni-eš-ki-mi e-la-ni-eš-ki-mi*, указывающие на некий магический акт (чтение *-šu-i* подтверждается благодаря копии KUB 39.65). Отмечается, что в первом случае лувийское глагольное окончание 1 ед. *-wi* располагается рядом с хеттским глагольным окончанием 1 ед. *-mi*, а во втором случае обе формы являются хеттскими. Лувийское заклинание KUB

[465] Вопреки [CHD, L-N: 73b], я не убежден в том, что написание *lu-ú-li* должно считаться ошибкой писца (вместо ожидаемого *lu-ú-i-li*). Исконная синкопа в данном наречии, по моему мнению, также возможна. Ср. чередующиеся основы *Lu-ú-i-ya*/*Lu-ya* в версии Хеттских законов на древнехеттском пошибе [Hoffner 1997: 355].

12.58 i 34–35, вставленное в ритуал, подкрепляет впечатление о том, что Туннавия свободно владела лувийским языком. Представляется, что Туннавия (или лицо, ответственное за компиляцию ее ритуала) по невнимательности вставила лувийскую форму в хеттское заклинание, однако эта ошибка была исправлена при первой же возможности.

Таким образом, некомпетентное смешение кодов действительно имело место в новохеттской литературной культуре. Сомнительно, однако, что оно может объяснять все или даже большинство случаев употребления лувийских гостевых слов в новохеттских текстах. Кажется невозможным выделить корпус оригинальных новохеттских текстов, который характеризовался бы полным отсутствием гостевых слов. Если считать все гостевые слова результатом языковой некомпетентности, получается, что элиты Хаттусы в имперский период утратили способность порождать связный дискурс на хеттском языке. Поскольку хеттский язык оставался культурно доминирующим в Хаттусе, наиболее привилегированная часть хеттского общества отказалась бы от него в последнюю очередь. Следует ли тогда считать, что в XIII в. хеттский язык был всего лишь языком традиции, который усваивался для формальных целей в качестве L2, а не родным языком для какой-то группы населения Хаттусы?

Лингвистические факты не подтверждают подобной интерпретации. Как было показано выше, определенные нетривиальные фонетические и морфосинтаксические изменения в истории новохеттского говорят против гипотезы о нем как о языке, лишенном естественной передачи [ср. Melchert 2005: 258]. Тот факт, что хеттский и лувийский появляются рядом в писцовых глоссах к аккадским текстам, также не способствует принятию данной гипотезы. Она не является и логически необходимой. Чередование кодов не обязательно отражает несовершенное усвоение языка, и родной язык может быть сохранен как матричный язык в ситуации смешения кодов. Единственное необходимое языковое условие для такого поведения — это широкая распространенность двуязычия в определенном сообществе. Даже

полная билингва всегда будет передавать определенные значения более идиоматично, используя один из двух кодов. Когда по каким-либо причинам необходимо использовать другой код в качестве матричного, для передачи проблематичных концептов возможны три варианта: можно обратиться к гостевым словам и выражениям, к (псевдо)интегрированным заимствованиям или к парафразам. Выбор между этими тремя опциями будет зависеть от структурной совместимости двух языков, а также от социальной установки отдельных лиц и сообщества в целом.

Ограниченное прагматически обусловленное смешение кодов, или использование гостевых слов, является, по-видимому, нейтральным выбором в условиях двуязычия, по крайней мере в тех случаях, когда обе языковые идентичности оцениваются положительно[466]. Ассимилированные заимствования и парафразы обычно вступают в дело, если смешение кодов сдерживается лингвистическими или социальными факторами. Выдвигался тезис о том, что лингвистические ограничения на смешение кодов связаны с морфосинтаксической несовместимостью двух языков, хотя способ определения такой несовместимости остается дискуссионным. Данное утверждение, однако, не касается рассматриваемой здесь ситуации, поскольку хеттский и лувийский имеют одинаковый базовый порядок слов и весьма сходный инвентарь формально выражаемых грамматических категорий. Ясно, что в данном конкретном случае синтаксический анализ смешанного предложения не создает трудностей, так что отсутствие лингвистических ограничений на смешение кодов является предсказуемым результатом.

Социальные ограничения на чередование кодов лучше всего видны в тех случаях, когда билингвы рассматривают заявку определенной языковой

[466] Данная ситуация хорошо мне знакома по личному опыту жизни в США. Русские студенты и молодые специалисты, работающие в американских университетах, особенно те из них, кто занимается точными или естественными науками, часто используют английский в качестве гостевого языка, общаясь друг с другом по-русски. Смешение кодов обычно имеет место, когда коммуникация касается концептов, воспринимаемых как чуждые русской культуре или русскому опыту собеседников. Обращение к ассимилированным заимствованиям или парафразам в подобной ситуации может показаться комичным или вычурным.

идентичности в качестве одной из целей коммуникации. Например, образованные фламандцы, также владеющие английским и французским, часто говорят на английском языке с валлонами и видят в этом более подходящую стратегию нейтралитета, чем переключение между фламандским и французским языками. Те же люди склонны переходить на родной язык, отвечая на вопрос, который воспринимается ими как этнически вызывающий, даже если коммуникация происходит в двуязычном окружении [Winford 2003: 122, см. там же библиографию]. Подобное поведение должно исследоваться в контексте общей социолингвистической ситуации в Бельгии, где фламандский язык вплоть до начала XX в. имел меньше прав, чем французский, однако сейчас официально используется в тех же областях, что и французский язык.

Нет оснований полагать, что хеттские элиты боялись распространения лувийского языка. Как обсуждалось выше, лувийский язык занимал определенное место в государственном культе еще в период Древнего царства, а также использовался в дворцовой администрации в период раннего Нового царства. При этом в XIII в. до н. э. хеттский язык все еще ассоциировался с более высоким социальным статусом, о чем свидетельствуют случаи его несовершенного усвоения лувийскими писцами. Образование империи Хаттусы могло изменить количественное соотношение носителей хеттского языка и носителей лувийского языка, однако оно не привело к резкому сдвигу их престижного потенциала. Резкая смена лингвистической ситуации в современной Бельгии, Квебеке или Эстонии не представляется удачной параллелью для рассматриваемого здесь случая.

До сих пор я старался избегать вопроса о том, является ли смешение кодов в хеттских текстах «маркером солидарности». Не вызывает удивления стремление социолингвистов фокусироваться на тех случаях чередования кодов, которые требуют социолингвистического объяснения. Например, Саутворт [Southworth 1980: 139–140] с осторожностью сформулировал следующее правило, касающееся коммуникации в Южной Индии: “Если

этнический носитель языка X является участником беседы, тогда другие участники, знающие X, будут демонстрировать определенное структурное переключение на X. Не делать так — значит проявлять неуважение. Указанное правило, по-видимому, применимо вне зависимости от родственного статуса двух участников беседы". Из представленного описания следует, что переключение кодов является одним из видов вежливости. Другая модель обсуждается в работе [Myers-Scotton 1993: 117–125]. Во многих африканских странах имеются большие группы полностью двуязычных африканцев, владеющими бывшими колониальными языками, которые продолжают ассоциироваться с вертикальной социальной мобильностью. Постоянное смешение африканских и европейских языков развилось здесь в модель коммуникации внутри данных групп. Билингвы стремятся подчеркнуть обе позитивно оцениваемые языковые идентичности, что может рассматриваться как демонстрация социальной эксклюзивности. Однако в обоих случаях мы имеем дело с сознательным выбором языковой стратегии, которая не связана с содержанием коммуникации, а выражает солидарность между собеседниками. Такие случаи следует рассматривать как нечто сродни метафорическому переключению кодов.

Нельзя априори исключать, что хеттоязычные элиты обращались к определенным стратегиям, чтобы выразить действительную или мнимую солидарность с лувоязычными массами. Но мог ли кто-нибудь завоевать популярность с помощью вставки лувийских слов в хеттские документы, которые предназначались преимущественно для внутреннего пользования, например в отчеты о гаданиях? Если уж на то пошло, то соображения внутригрупповой солидарности могли бы потребовать отказа от переключения на лувийский, который в подобных условиях мог бы рассматриваться как индикатор плохого усвоения хеттского языка. С другой стороны, лингвистический анализ также не дает аргументов в пользу интерпретации смешения кодов для выражения солидарности. Иноязычные вкрапления должны встречаться достаточно часто, чтобы восприниматься

как маркеры солидарности. Лувийские существительные и глаголы, которые встречаются один раз в абзац или еще реже в новохеттских анналах и царских указах, явно не были способны выполнять такую функцию.

На основании вышеизложенного можно предположить, что смешение кодов, обнаруживаемое в большинстве новохеттских текстов, является естественным продуктом распространенного хетто-лувийского двуязычия в ситуации, когда обе языковые идентичности оценивались положительно, но при этом обладали разной степенью престижа. Выбор хеттского языка в качестве матричного отражал его социальное доминирование. В тех случаях, когда хеттский не был способен передать определенные семантические нюансы, использовался лувийский гостевой язык. Другими словами, это было смешение кодов, обусловленное коммуникативным удобством, а не солидарностью. Ниже я постараюсь показать, каким образом это общее предположение позволяет объяснить использование лувийских гостевых слов в примерах (190–192). Следует сразу оговориться, что предлагаемые ниже объяснения не имеют доказательного статуса, а являются лишь возможными сценариями смешения кодов в конкретных случаях, совместимыми с предложенной общей гипотезой.

Лувийский глагол *kappilazza-* ‘~ разозлиться’, использованный в примере (190), является когнатом посессивного прилагательного *ka-pi-la-li-* ‘враждебный’, встречающегося в позднелувийской иероглифической надписи TELL AHMAR 1, §24 [Hawkins 2000, I: 241]. Отталкиваясь от этого сравнения, можно реконструировать существительное **kappila-* ‘враг, недоброжелатель (vel sim.)’ и предположить, что лув. *kappilazza-* имело особую коннотацию ‘разгневаться на врага’ или ‘разозлиться и стать враждебным’. Данный семантический нюанс, безусловно, хорошо соответствует контексту (190), где гнев Суппилулиумы I приводит к военному походу против Египта. Возможно, Мурсили II посчитал, что обычный хеттский глагол *kartimmies-* ‘разозлиться’ не был достаточно

экспрессивным для данного контекста, и поэтому обратился к более экспрессивному лувийскому синониму[467].

Хеттская основа для передачи идеи ‘правления’ — это *maniyahh-*/*maniyahhai-* [CHD, L-N: 165–166, 168–169]. В примере (192) она используется вместе с лувийским эквивалентом *tabar-*. Лувийская основа, будучи прозрачным когнатом хеттского царского титула *tabarna-*/*labarna-*, должна была иметь благоприятные стилистические коннотации. Хаттусили III, взошедший на трон в результате государственного переворота, имел очевидные причины подчеркивать легитимность своего правления в публичном дискурсе. Лувийская основа *tabar-* лучше подходила для данной цели, чем его нейтральный хеттский эквивалент и, возможно, поэтому была выбрана для финитного глагола.

Лувийский глагол *kulani-* не имеет надежного хеттского эквивалента. Мелчерт [Melchert 1993: 106] глоссирует данное слово как ‘довести до (успешного) конца’. Контекст (191) описывает благоприятное действие, осуществляемое божеством по отношению к человеку, в то время как та же самая лексема, использованная в KBo II 7 rev. 22, явно обозначает ‘заканчивать, завершать’ [Carter 1962: 101]. Можно предположить, что в данном случае имеет место тип полисемии, известный из латинского *perficere* ‘заканчивать, совершать, доводить до совершенства’. Мне неизвестны хеттские глаголы, которые характеризовались бы тем же спектром значений, так что автор CTH 381, возможно, решил обратиться к лувийскому гостевому слову исключительно по семантическим соображениям. Как упоминалось выше в разделе 5.4.2, сохранение ⸜*kulanitta* в качестве маркированной формы в отредактированном тексте KUB 6.45 говорит о том, что главный писец рассматривал его как стилистически неуместное, однако не смог найти, чем его заменить.

[467] Мелчерт [Melchert 2005: 457] отмечает, что Мурсили II упоминает гнев своего отца Суппилулиумы I в цитате от первого лица как *nu=mu kartimmiyaz* [*kisat*] (KBo 14.12 iv 5). Возможно, Мурсили II или писец, ответственный за редактуру «Деяний Суппилулиумы», знал достаточно, чтобы не приписать смешение кодов этому царю.

Недостаток лингвистических исследований, посвященных прагматически обусловленному смешению кодов в полностью двуязычной среде, может отражать восприятие этого феномена как тривиального. Тем не менее данный тип лингвистического поведения должен рассматриваться со всей серьезностью в тех случаях, когда он служит основой для реконструкции двуязычия в определенном сообществе. В данном случае он свидетельствует о том, что правящие классы империи Хаттусы не только владели лувийской грамматикой, но и могли использовать лувийский язык для выражения тонких оттенков значений, которые, как им казалось, было трудно передать на хеттском языке.

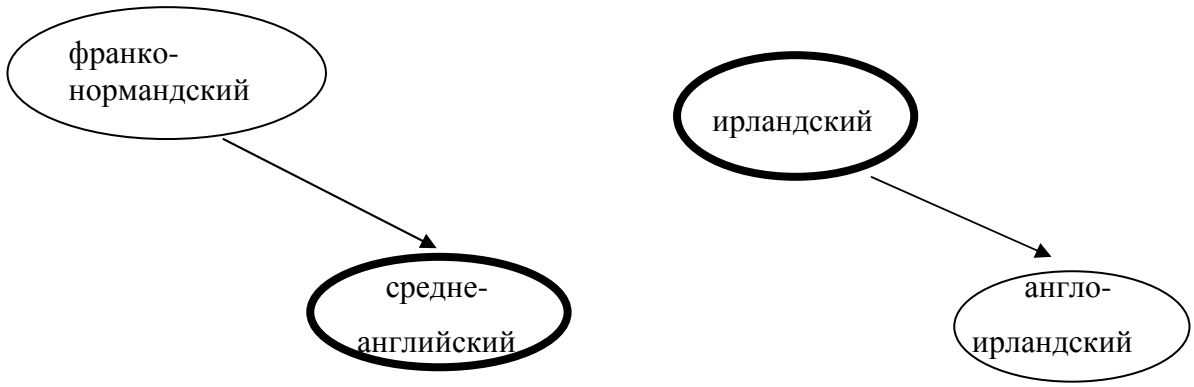
Заключение

Фундаментальной с типологической точки зрения является оппозиция между двумя типами «горизонтальной» передачи языкового материала: заимствованием и структурной интерференцией. Оба типа передачи предполагают, что их непосредственные агенты обладают определенной компетенцией как в области языка-донора, так и в области воспринимающего языка. В случае заимствования, однако, воспринимающий язык, как правило, является лингвистически доминирующим (наиболее часто употребляемым или наиболее понятным) для агентов передачи, а в случае интерференции то же самое верно в отношении языка-донора. Поэтому заимствование обычно затрагивает наименее стабильные компоненты языковой системы, а интерференция, напротив, включает ее наиболее стабильных компоненты [van Coetsem 2000: 60, 62].

Для иллюстрации данной оппозиции можно привести два хрестоматийных примера. Контакты между англосаксами и норманнскими завоевателями в средневековой Англии привели к проникновению большого числа франко-нормандских лексем в среднеанглийский язык, но не вызвали ощутимого структурного сближения между двумя языками. Напротив, контакты между ирландцами и британскими завоевателями в XVII–XIX вв. привели к появлению англо-ирландских диалектов, калькирующих ирландскую (кельтскую) фонологию и синтаксис, но содержащих относительно умеренное количество ирландских лексических заимствований. В обоих случаях агентами передачи являлись представители покоренного населения, пытавшиеся овладеть языком завоевателей, но в первом случае изменения затронули их лингвистически доминирующий язык и потому в основном касались культурной лексики, а во втором случае проникли в изучаемый ими язык и потому носили структурный характер. Различие между двумя языковыми ситуациями иллюстрируется в приведенной ниже

схеме, где овалы, выделенные жирным шрифтом, заключают в себе лингвистически доминирующие языки.

Рисунок 5. Заимствование и интерференция



Этой упрощенной гипотезе противоречат немногочисленные, но хорошо описанные случаи радикальных структурных изменений в языке при отсутствии языкового сдвига. Наибольший резонанс в научном мире вызвали примеры реструктуризации греческих диалектов Малой Азии под влиянием турецкого языка [Thomason, Kaufmann 1988: 215–22, см. там же библиографию]. Хотя обитателям греческих анклавов в центре Османской империи удалось сохранить свой родной язык, они должны были всегда пользоваться турецким, оказываясь за пределами родной общины. При такой ситуации, очевидно, большинство населения данных анклавов являлись билингвами, а для многих из них, занятых в сфере торговли, турецкий язык был лингвистически доминирующим. Несколько веков стабильного многоязычия привели не только лексическим заимствованиям, но и к наложению структурных особенностей турецкого языка на местные разновидности греческого. В частности, греческие диалекты Каппадокии развили агглютинативное именное склонение и базовый порядок слов SOV.

Описан также ряд случаев лексической передачи в ситуации языкового сдвига. Например, пигмейские племена, проживающие в Центральноафриканской республике и Конго, подверглись ассимиляции со стороны африканских языков, относящихся к различным группам, но их

языки бака и яка сохранили большое количество общих реликтовых лексем [Duke 2001, ср. Kassian 2014: 15]. Диалект малол австронезийского языка сиссано, распространенного в Папуа — Новой Гвинее, содержит слова для ‘собаки’ и ‘кокосового ореха’, неизвестные другим диалектам сиссано. Согласно местной устной традиции, носители диалекта малол являются потомками носителей папуасского языка оне, бежавших из своего селения во время междоусобной распри и поселившихся среди австронезийцев [Ross 1991: 124]. Как носители малол, так и носители ака, вероятно, сохранили реликтовую лексику как символ самоидентификации, но с синхронной точки зрения ее не отличить от обычных заимствований.

Усовершенствованный набор соответствий, касающийся вариантов языковых контактов, их причин и последствий, представлен в Таблице 51 (адаптировано из [Ross 1991: 127]).

Таблица 51. Типы передачи при языковых контактах

	Заимствование		Интерференция	
доминирующий язык билингв	воспринимающий язык		язык-донор	
тип	I	II	I	II
агенты передачи	носители воспринимающего языка	носители языка-донора	носители языка-донора	носители воспринимающего языка
причина передачи	престиж	самоидентификация	несовершенное овладение языком	упрощение коммуникации
осложняющий фактор	самоидентификация			самоидентификация
объект передачи	лексемы, морфемы	лексемы	фонология, морфосинтаксис	лексемы, морфосинтаксис
примеры	франко-нормандский > ср.-английский	«пигмейский» > ака	ирландский > англо-ирландский	турецкий > каппадокийский греческий

Агентами передачи лувийской лексики в начале II тыс. до н. э. выступали носители хеттского языка, изучавшие лувийский как региональный язык престижа (4.4). Таким образом, здесь наблюдается классический случай заимствования I. Хотя заимствование лувийских лексем в хеттский продолжалось и в последующие периоды, неясно, до какой степени оно продолжало оставаться основным механизмом лексического взаимодействия между двумя языками. Следует учитывать, что многие адаптированные заимствования, зафиксированные впервые в средне- и новохеттском, могли в действительности проникнуть в хеттский язык в более древний период, но не найти отражение в ограниченном корпусе древнехеттских письменных памятников. Качественно новым феноменом в области лексических контактов, слабо отраженным в среднехеттском, но повсеместным в новохеттских текстах, стало появление лувийской гостевой лексики. Смешение кодов внутри клаузы, в отличие от заимствований, возможно лишь в ситуации повсеместного двуязычия, и поэтому новохеттский нельзя рассматривать как лингвистически доминирующий язык Хаттусы в XIII в. до н. э.

Филологический анализ, скорее, приводит к противоположным выводам. Среди немногих примеров смешения кодов внутри клаузы, известных из среднехеттских текстов, более половины принадлежат сочинениям из Киццувадны, и только один гостевой лувизм (*akkuriyai*) встречается в тексте, заведомо составленном в дворцовой канцелярии Хаттусы [van den Hout 2006: 230]. Если следовать традиционной точке зрения, согласно которой лувийское население Киццувадны преобладало над хеттским, приходится предположить, что первыми агентами смешения кодов новохеттского типа были лувийские писцы. Как указывалось в разделе 5.4.4, отдельные примеры смешения кодов в контексте несовершенного овладения хеттским языком также отмечаются на чисто филологических основаниях.

Таким образом, классический сценарий заимствования I не применим к лексическим контактам между хеттским и лувийским языками в XIII в. до н. э. Скорее, можно говорить о нейтрализации противопоставления между заимствованиями I и II в условиях полного двуязычия. Следовательно, нельзя предполагать, что лувийский язык пользовался особым престижем в данный период, хотя вполне вероятно, что господствующие классы империи Хаттусы в целом положительно воспринимали хетто-лувийское двуязычие. Что касается отношения к смешению кодов, оно определялось не националистическими, а кастовыми соображениями. Профессиональные писцы проявляли здесь умеренный пуризм (5.4.3), тогда как другие чиновники готовы были мириться со смешением языков ради удобства коммуникации (5.4.4).

Грамматическую адаптацию доисторического периода, описанную в третьей главе, едва ли следует считать прототипическим примером структурной интерференции в силу ее изолированного характера. Хотя ее, несомненно, можно использовать для доказательства географической смежности хеттского и лувийского ареалов в рассматриваемый период, вполне вероятно, что она произошла в хеттском на границе двух ареалов и распространилась далее внутри языка посредством лексической диффузии. Необходимым условием для проникновения лувийской возвратной клитики в хеттский была не особая лингвистическая ситуация, а, скорее, генетическая близость двух языков (3.4).

Напротив, большинство морфосинтаксических инноваций средне- и новохеттского доказательно или предположительно представляют собой результаты структурной интерференции с лувийским языком (4.5), (5.3). Многие из них, однако, являются слишком нетривиальными, чтобы рассматриваться как изменения в «мертвом» языке при «живом» лувийском. В частности, это относится к перераспределению новохеттских окончаний *-es* и *-us* в именительном и винительном падежах множественного числа общего рода (5.3.2), а также к лексикализованной редупликации местоименных

клитик (5.3.5). Использование как хеттской, так и лувийской акронимической деривации при создании анатолийских иероглифов подводит к тому же выводу (4.9). С другой стороны, дальнейшая история анатолийских языков позволяет отмести гипотезу о массовом сдвиге с лувийского на хеттский язык. Таким образом, описанные инновации скорее следует рассматривать в контексте сохранения языкового баланса, то есть как примеры интерференции II, а не интерференции I. Отсутствие прямых эффектов интерференции в стандартной новохеттской фонологии хорошо согласуется с общей типологией объектов передачи при интерференции II.

Вместе с тем, существуют аргументы в пользу того, что интерференция I также играла определенную роль в развитии письменной формы новохеттского языка. Некоторые нестандартные черты новохеттских текстов и среднехеттских текстов из Киццувадны, такие как распространение основ с *i*-мутацией (5.3.1) и винительного падежа множественного числа на *-(y)as* (5.3.4), могут быть наиболее просто объяснены как результат плохого знания хеттского языка лувийскими писцами и заклинателями. С другой стороны, ряд гиперкоррекций в новохеттских текстах также отражает неуверенность писцов в языковой норме. Здесь следует прежде всего отметить использование местоимения *uk* ‘я’ в значении ‘меня’ (5.3.3) и диффузию гласной /e/ в лексемах с этимологическим /i/ (5.2.5).

Я постарался разрешить этот парадокс посредством двухступенчатого анализа. Несовершенное овладение хеттским языком лувийцами, желавшими улучшить свой социальный статус, приводило к интерференции I. Выборочная адаптация особенностей несовершенно усвоенного хеттского языка носителями нормативного хеттского попадает под определение интерференции II. Основная проблема данного анализа — это необходимость постулировать те черты хеттского, усвоенного как второй язык, которые не находят выражения в письменных текстах, например последовательную субституцию /i/ вместо /e/. Эта проблема, однако, не является фатальной для предложенной социолингвистической интерпретации. Фонологическая

интерференция, или попросту «акцент», представляет собой наиболее негативный стереотип плохого знания языка. Лувийцы, подвизавшиеся при дворе Хаттусы, могли допускать ошибки в хеттском склонении, но лувийский акцент, вероятно, рассматривался как нечто несовместимое с продвижением по административной лестнице. В качестве побочного эффекта, стигматизация фонетической интерференции привела к распространению гиперкоррекции при освоении хеттской звуковой системы.

Комбинацию интерференции I и интерференции II, вероятно, следует постулировать в большинстве случаев языкового сдвига, где исторические лингвисты обычно оперируют интерференцией I. Среди носителей сегодняшних англо-ирландских диалектов есть не только ассимилированные кельты, но и потомки солдат Кромвеля. Сходным образом, на эфиосемитских языках говорят не только ассимилированные кушиты, но и потомки семитов, навязавших им свой язык. Продуктами языкового сдвига, в которых интерференция II не играла существенной роли, являются, пожалуй, лишь «радикальные» креольские языки [Беликов 2006]. Напротив, такие продукты европейской колониальной экспансии, как африкаанс или бразильский португальский, известные в англоязычной литературе как *partially restructured vernaculars* [Holm 2004], сложились в результате наложения интерференции II на интерференцию I, как это произошло и с новохеттским языком. Это, кстати, объясняет, почему почти в большинстве случаев, когда постулируется языковая интерференция, дело не обходится и без лексических заимствований, которые, с точки зрения теории языковых контактов, должны быть более характерны для интерференции II. Сложно представить себе носителей языка A, контактирующих по модели интерференции II с носителями языка B, несовершенно усвоившими язык A, но полностью изолированных от носителей языка B, еще не перешедших на язык A.

Основным отличием социолингвистической ситуации в империи Хаттусы является двунаправленный характер языкового сдвига. Анализ

письменных источников позволяет воссоздать картину изучения хеттского языка лувийцами, но именно потомки хеттов перешли в конечном итоге на лувийский язык. Причины изучения хеттского и лувийского как второго языка в Хаттусе были, несомненно, различными. Лувийцы овладевали хеттским языком, чтобы повысить свой социальный статус. Напротив, носители хеттского языка овладевали лувийским языком как вторым, поскольку последний доминировал в межэтническом бытовом общении, и, возможно, его изучение проходило неосознанно, еще в детском возрасте. Только первый из этих двух процессов должен был привести к возникновению континуума несовершенно освоенных форм языка. Кроме того, большинство носителей лувийского языка не были интегрированы в государственные структуры империи и поэтому не имели стимулов для изучения хеттского. Эта масса населения могла впоследствии блокировать диффузию возможных структурных инноваций, привнесенных в диалекты лувийского ассимилированными хеттами.

Поскольку хетто-лувийское двуязычие было нормой среди правящих классов Хаттусы в XIII в. до н. э., приходится предположить, что хетты продолжали сохранять в этот период свой язык по соображениям этнической солидарности. Можно предположить далее, что, после того как двор должен был покинуть Хаттусу в начале XII в. до н. э., рассредоточение носителей хеттского языка в лувоязычной среде привело к завершению языкового сдвига в течение двух или трех поколений. Это, разумеется, не исключает теоретической возможности дальнейшего существования хеттских анклавов в изолированных регионах, где контакты с лувийцами могли быть ограничены. Однако до тех пор пока не обнаружены соответствующие письменные памятники, такая гипотеза не поддается научной проверке.

Литература

Александров, Б. Е. 2013. Хеттские «писцы» в свете новых исследований. *Вестник РГГУ*, 2013, №17: 102–127.

Баюн, Л. С. 2007. Этнокультурные контакты в древней Малой Азии: Фригия, Юго-Восточная Анатолия, Северная Месопотамия. *Вестник древней истории*, 2007, №4: 156–162.

Беликов, А. М. 2010. Об использовании письменности в Милете (ПМ 1а — ПЭ 3с). *Индоевропейское языкознание и классическая филология* XIV: 118–132.

Беликов, В. И., Крысин, Л. П. 2015. Социолингвистика. *Учебное пособие для студентов и аспирантов филологических факультетов университетов.* 2-е изд. Москва: Юрайт.

Беликов, В. И. 2006. Конвергентные процессы в лингвистике. Диссертация на соискание степени доктора филологических наук (защищена в виде научного доклада).

Бородай, С. Ю., Якубович, И. С. 2014. Корпусные методы дешифровки анатолийских иероглифов. *Journal of Language Relationship*, №11: 39–61.

Бурлак, С. А., Старостин С. А. 2005. Сравнительно-историческое языкознание. Москва: Academia.

Гамкрелидзе, Т. В., Иванов, В. В. 1984. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси: Издательство Тбилисского университета.

Гиндин, Л. А. 1991. Троянская война и Аххиява хеттских клинописных текстов. *Вестник древней истории*, 1991, № 3: 28–51.

Гиндин, Л. А., Цымбурский, В. Л. 1996. Гомер и история восточного Средиземноморья. Москва: Восточная литература.

Дунаевская, И. М. 1969. Язык хеттских иероглифов. Москва: Наука.

Дьяконов, И. М. К праистории армянского языка (о фактах, свидетельствах и логике). *Историко-философский журнал*, 1983, № 4: 149–178.

Зализняк, А. А. 2004. Древненовгородский диалект. 2-е изд. Москва: Языки славянской культуры.

_____2008. Древнерусские энклитики. Москва: Языки славянских культур.

Иванов, В. В. 2007. Труды по этимологии индоевропейских и древнепереднеазиатских языков. Т. 1. Индоевропейские корни в хеттском. Москва: Языки славянских культур.

_____2009. К исследованию отношений между языками. *Journal of Language Relationship*, №1: 1–12.

_____2014. К происхождению этнонима пруссов. Название *Purušḫanda* (княжество и город III–II тыс. до н. э. *Балто-славянские исследования*, XIX: 5–21.

Исаева, М. Г. 2013. Грамматические особенности кодовых переключений в англоязычных и русскоязычных журналах. *Фундаментальные исследования*, 2013, №11/4: 823–827.

Казанскене, В. П., Казанский, Н. Н. 1986. Предметно-понятийный словарь греческого языка: крито-микенский период. Ленинград: Наука.

Касьян, А. С. 2010. Лексические контакты хаттского языка. *Индоевропейское языкознание и классическая филология*, XIV: 445–475.

Касьян, А. С., Сидельцев, А. В. 2013. Хеттский язык. *Языки мира: Реликтовые индоевропейские языки Передней и Центральной Азии*. Ред. колл.: Коряков, Ю. Б., и др. Москва: Academia. Стр. 26–75.

Касьян, А. С., Якубович, И. С. 2013. Анатолийские языки. *Языки мира: Реликтовые индоевропейские языки Передней и Центральной Азии*. Ред. колл.: Коряков, Ю. Б., и др. Москва: Academia. Стр. 15–26.

Королев, А. А. 1976. Хетто-лувийские языки. *Языки Азии и Африки*, том 1. Москва: Главная редакция восточной литературы.

Красухин, К. Г. 2005. Очерки по истории индоевропейского синтаксиса. Москва: Наука.

Орешко, Р. Н. 2012. Иероглифическая лувийская надпись на бронзовой чаше из Анкары: Опыт эпиграфической и исторической реинтерпретации. *Вестник древней истории*, 2012, №2 (281): 3–28.

_____2013. Иероглифическая надпись царя Суппилулиумы (SÜDBURG): архаизация или Архаика? *Вестник древней истории*, 2013, №2 (284): 84–95.

Сафронов, А. В. 2012. Государства раннего железного века Палистин и (Ах)хиява в Северной Сирии и Киликии: еще раз об отражении миграций «народов моря» в греческой эпической традиции. *Индоевропейское языкознание и классическая филология*, XVI: 750–760.

Сидельцев, А. В. 2012. Выносы вправо с местоименной репризой в лувийском. *Индоевропейское языкознание и классическая филология*, XVI: 772–784.

Циммерлинг, А. В. 2012. Системы порядка слов в славянских языках. *Вопросы языкознания*, 2012, №5: 3–37.

Шеворошкин, В. В. 1967. Лидийский язык. Москва: Наука.

_____2012. Хиазмы и сходные структуры в милийских текстах. *Армянский гуманитарный вестник*, 2012, №4: 98–120.

_____2013. Милийский язык. *Языки мира: Реликтовые индоевропейские языки Передней и Центральной Азии*. Ред. колл.: Коряков, Ю.Б., и др. Москва: Academia. Стр. 154–166.

Шацков, А. В. 2011. Эргативный падеж в хеттском языке. *Acta Linguistica Petropolitana,* VII/1: 143–152.

Шелестин, В. Ю. 2012. Паритетные договоры царей Киццувадны. *Письменные памятники Востока*, №17: 156–182.

_____2014. Внешняя политика хеттского государства от Мурсили I до Муваталли I. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

Якубович, И. С. 2013a. Лувийский язык. *Языки мира: Реликтовые индоевропейские языки Передней и Центральной Азии*. Ред. колл.: Коряков, Ю.Б., и др. Москва: Academia. Стр.109–136.

_____2013b. Новое в согдийской этимологии. Москва: Языки славянской культуры.

_____2014. К происхождению рефлексивных клитик в анатолийских языках. *Journal of Language Relationship*, №12: 73–111.

Янковская, Н. Б. 1968. Клинописные тексты из Кюльтепе. Москва: Наука.

Adams, D. Q. 1987. Ἥρως and Ἥρᾱ: Of Men and Heroes in Greek and Indo-European. *Glotta* 65: 171–178.

Adams, J. N. 2013. Social Variation and the Latin Language. Cambridge University Press.

Adiego Lajara, I.-J. 2001. Lenición e acento en protoanatolico. *Anatolisch und Indogermanisch: Akten des Kolloquiums der Indogermanischen Gesellschaft. Pavia, 22–25 September 1998*. Ed. O. Carruba and W. Meid. Innsbruck: Institut der Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck. Pp. 11–18.

_____2007. The Carian Language. HdO 1/86. Leiden: Brill.

_____2010. Recent Developments in the Decipherment of Carian. *Hellenistic Karia: Proceedings of the First International Conference on Hellenistic Karia. Oxford, 29 June — 2 July 2006*. Ed. R. van Bremen and J.-M. Carbon. Bordeaux: Ausonius. Pp. 147–176.

Alp, S. 1968. Zylinder- und Stempelsiegel aus Karahöyük bei Konya. TTKY V/26. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

_____1991. Hethitische Briefe aus Maşat-Höyuk. TTKY VI/35. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

_____1993. Kārum-zeitliche Gussform und Siegel von Karahöyük. *Istanbuler Mitteilungen* 43: 185–195.

_____1997. Die Mehrheit der Einheimischen Bevölkerung in der Kārum-zeit in Kaneš-Nesa. *SMEA* 39(1): 35–48.

_____1998. Akkadian Names of Some Scribes in the Maşat-letters. XXXIV. *Uluslararası Assirioloji Kongresi: Kongreye sunulan bildirler*. Ed. H. Erkanal et al. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Pp. 47–61.

Anderson, G. D. S., Gurevich, O. 2005. Towards the typology of version: formal and functional perspectives. *Proceedings of the Annual Meeting of the Chicago Linguistic Society* 41/1: 1–15.

Anthony, D. W., Don Ringe. 2015. The Indo-European Homeland from Linguistic and Archaeological Perspectives. *Annual Review of Linguistics*, 2015, №1: 199–219.

Archi, A. 1979. Il dio Zawalli. Sul culto dei morti presso gli Ittiti. *Altorientalische Forschungen*, 6: 81–94.

_____2000. Nawar-tahe, king of Purušhanda. *N.A.B.U.* 2000/4: 67.

_____2015. How the Anitta text reached Hattusa. *Saeculum. Gedenkschrift für Heinrich Otten anlässlich seines 100. Geburtstags*. Ed. A. Müller-Karpe et al. StBoT 58. Wiesbaden: Harrassowitz. Pp. 1–13.

Aro, S. 2010. Luwians in Aleppo. *Ipamati kistamati para tumatimis: Luwian and Hittite studies presented to J. David Hawkins on the Occasion of his 70th birthday. Ed. I. Singer*. Tel-Aviv: Institute of Archaeology. Pp. 1–9.

Bachhuber, Ch. 2013. James Mellaart and the Luwians: A Culture (Pre)-history. *Luwian Identities: Culture, Language and Religion between Anatolia and the Aegean*. Ed. A. Mouton et al. Leiden: Brill. Pp. 279–304.

Bachvarova, M. 2013. CTH 767.7 — The Birth Ritual of Pittei: Its Occasion and the Use of Luwianisms. *Luwian Identities: Culture, Language and Religion between Anatolia and the Aegean*. Ed. A. Mouton et al. Leiden: Brill. Pp. 135–157.

Bádenas de la Peña, P. et al. 2004. Lenguas en Contacto: El testimonio escrito. Ed. P. Bádenas de la Peña et al. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas.

Barjamovic, G. 2008. The Geography of Trade: Assyrian Colonies in Anatolia c. 1925–1725 BC and the Study of Early International Networks of Exchange. *Anatolia and the Jazira during the Old Assyrian Period*. Ed. J. G. Dercksen. PIHANS 111. Leiden: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten. Pp. 87–100.

Bartoněk, A. 2002. Handbuch des mykenischen Griechisch. Heidelberg: Winter.

Bauer, A. 2014. Morphosyntax of the Noun Phrase in Hieroglyphic Luwian. BSIEL 12. Leiden: Brill.

Bawanypeck, D. 2005a. Die Rituale der Auguren. THeth. 25. Heidelberg: Winter.

_____2005b. Arzawäische Ritualpraktiken — Informationen aus Hattuša. *Motivation und Mechanismen des Kulturkontaktes in der späten Bronzezeit*. Ed. D. Prechel. Eothen 13. Florence: LoGisma. Pp. 1–18.

_____2013. 'Luwian' Religious Texts in the Archives of Hattusa. *Luwian Identities: Culture, Language and Religion between Anatolia and the Aegean*. Ed. A. Mouton et al. Leiden: Brill. Pp. 159–176.

Beal, R. H. 1986. The History of Kizzuwatna and the date of the Šunaššura treaty. *Orientalia* 55: 424–445.

_____2003. The Predecessors of Hattusili I. *Hittite Studies in Honor of Harry A. Hoffner Jr. on the Occasion of his 65th Birthday*. Ed. G. Beckman et al. Winona Lake, IN: Eisenbrauns. Pp. 13–35.

_____2004. Review of Bryce 2002. *JAOS* 124/1: 148–152.

Beckman, G. 1983. Hittite Birth Rituals (Second Revised Edition). StBoT 29. Wiesbaden: Harrassowitz.

_____1999. Hittite Diplomatic Texts. Second Edition. Atlanta, GA: Scholars Press.

_____2003. Gilgamesh in Hatti. *Hittite Studies in Honor of Harry A. Hoffner Jr. on the Occasion of his 65th Birthday*. Ed. G. Beckman et al. Winona Lake, IN: Eisenbrauns. Pp. 37–57.

Beekes, R. S. 2003a. Luwians and Lydians. *Kadmos* 42: 47–49.

_____2003b. The Origin of the Etruscans. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Mededelingen van de Afdeling Letterkunde (Nieuwe Reeks) 66/1. Amsterdam: Akademie van Wetenschappen.

_____2003c. The Origin of Apollo. *JANER* 3: 1–21.

Bilgiç, E. 1964. Kültepe hüyüğünde çıkan üç tablet. *Anadolu* 8: 125–143.

Blevins, J. 2004. Evolutionary Phonology. *The Emergence of Sound Patterns*. Cambridge University Press.

Boehmer, R. M., Güterbock, H. G. 1987. Glyptik aus dem Stadtgebiet von Boğazköy. BoHa 14. Berlin: Mann.

Boley, J. 1993. The Hittite Particle *-z/-za*. Innsbruck: Institut der Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck.

Börker-Klähn, J. 1995. Archäologische Anmerkungen zum Alter des Bild-Luwischen. *Atti del II Congresso Internazionale di Hittitologia.* Ed. O. Carruba et al. Studia Mediterranea 9. Pavia: Gianni Iuculano. Pp. 39–55.

Bossert, H. Th. 1944. Ein hethitisches Königssiegel. *Neue Beiträge zur Geschichte und Entzifferung der hethitischen Hieroglyphenschrift*. Berlin: Archäologisches Institut des Deutschen Reiches.

_____1954. Das hethitische Felsrelief bei Hanyeri (Gezbeli). *Orientalia* 23: 129–147.

Brixhe, C. 1976. Le dialecte grec de Pamphylie. Paris: Adrien-Maisonneuve.

_____2002. Achéens et Phrygiens en Asie Mineure. *Novalis Indogermanica: Festschrift für Günther Neumann zum 80. Geburtstag*. Ed. M. Fritz and S. Zeilfelder. Graz: Leykam. Pp. 49–73.

Brosch, C. 2014. Untersuchungen zur hethitischen Raumgrammatik. Berlin: de Gruyter.

Brough, J. 1954. The Language of the Buddhist Sacred Canon. *BSOAS* 16/2: 351–375.

Bryce, T. 1974. The Lukka Problem — and a Possible Solution. *JNES* 33/4: 395–404.

_____2002. Life and Society in the Hittite World. Oxford University Press.

_____2003. History. The Luwians. Ed. C. Melchert. HdO 1/68. Leiden: Brill. Pp. 27–127.

_____2005. The Kingdom of the Hittites. *New Edition*. Oxford University Press.

_____2006. The Trojans and their Neighbours. London and New York: Routledge.

_____2012. The World of Neo-Hittite Kingdoms: A Political and Military History. Oxford University Press.

_____2014. Hittites and Anatolian Ethnic Diversity. *A Companion to Ethnicity in Ancient Mediterranean*. Ed. J. McInerney. New York: Wiley. Pp. 127–141.

Buck, C. D. 1955. The Greek Dialects: Grammar, Selected Inscriptions, Glossary. Chicago, London: University of Chicago Press.

Burlak, S. 2013. Languages, DNA, relationship and contacts. *Journal of Language Relationship*, №9: 55–67.

Campbell, L. 2004. Historical Linguistics: an Introduction (second edition). Cambridge, MA: MIT Press.

Carruba, O. 1959. Lydisch und Lyder. *Quaderni dell'Istituto di Glottologia, Università di Bologna* IV: 383–408. Reprinted in Carruba 1997: 351–376.

_____1964. Hethitisch *-asta-*, *-(a)pa-* und die anderen Ortspartikeln. *Orientalia (Nova Series)* 33: 405–436. Reprinted in Carruba 1997: 133–166.

_____1969. Die satzeinleitenden Partikeln in den indogermanischen Sprachen Anatoliens. Roma: Ateneo.

_____1970a. Di nuove e vecchie particelle anatoliche. *SMEA* 12: 68–87.

_____1970b. Das Palaische: Texte, Grammatik, Lexikon. StBoT 10. Wiesbaden: Harrassowitz.

_____1972. Beiträge zum Palaischen. Istanbul: Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut in het Nabije Oosten.

_____1974a. Review of *Interpretation der hethitischen mediopassiven Verbalformen* by E. Neu (StBoT 5). *Oriens Antiquus* 13: 149–153.

_____1974b. Tahurwaili von Hatti und die hethitische Geschichte um 1500 v.Chr.G. *Anatolian Studies Presented to Hans Gustav Güterbock on the Occasion of his 65th Birthday*. Ed. K Bittel et al. PIHANS 35. Pp. 73–93.

_____1977. Beiträge zur mittelhethitischen Geschichte I. *SMEA* 18: 137–179.

_____1983. I sostrati dell'Anatolia. *Problemi di sostrato nelle lingue indoeuropee*. Ed. E. Campanile. Pisa: Giardini. Pp. 77–108. Reprinted in: O. Carruba. Analecta Philologica Anatolica. StMed 15. Pavia: Italian University Press. Pp. 277–304.

_____1992a. Die Endungen auf *-ti* des hethitischen Mediums. *SMEA* 29: 15–31.

_____1992b. Luwier in Kappadokien. *La circulation des biens, des personnes et des idées dans le Proche-Orient ancien.* Ed. D. Charpin and F. Joannès. Paris: Éditions Recherche sur les Civilisations. Pp. 251–257.

_____1996. Neues zur Frühgeschichte Lykiens. Fremde Zeiten: Festschrift für Jürgen Borchardt zum sechzigsten Geburtstag am 25. Februar 1996 dargebracht von Kollegen, Schülern und Freunden. Ed. F. Blakolmer et al. Vienna: Phoibos. Pp. 25–39.

_____1997. Analecta Linguistica Anatolica. StMed 11. Pavia: Gianni Iuculano.

_____1998. Geroglifico anatolico 1995: note conclusive alla giornata di studio. *Il Geroglifico Anatolico: sviluppi della ricerca a venti anni dalla sua "ridecifrazione"*. Ed. M. Marazzi. Napoli: Istituto Universitario Orientale. Pp. 267–283.

_____2011. Die Gliederung des Anatolischen und der erste indoeuropäische Name der Anatolier. *Empires after the Empire: Anatolia, Syria, and Assyria after Suppiluliuma II*. Ed. K. Strobel. Eothen 17. Florence: LoGisma. Pp. 309–329.

Carter, Ch. 1962. Hittite Cult Inventories. University of Chicago PhD Dissertation.

_____1979. The Hittite Writing of [⌊k] and [⌊g] and Related Matters. *JAOS* 99(1): 93–95.

Chang, W., Cathcart, Ch., Hall, D., Garrett, A. 2015. Ancestry-constrained phylogenetic analysis supports the Indo-European Steppe Hypothesis. *Language* 91/1: 194–244.

Christiansen, B. 2006. Die Ritualtradition der Ambazzi. *Eine philologische Bearbeitung und entstehungsgeschichtliche Analyse der Ritualtexte CTH 391, CTH 429, and CTH 463*. StBoT 48. Wiesbaden: Harrassowitz.

van Coetsem, F. 2000. A General and Unified Theory of the Transmission Process in Language Contact. Heidelberg: Winter.

Cohen, Y. 2002. Taboos and Prohibitions in Hittite Society: a Study of the Hittite Expression *natta āra* ('not permitted'). THeth 24. Heidelberg: Winter.

Contenau, G. 1919. Trente tablettes cappadociennes. Paris: P. Geuthner.

Cotticelli K. P, Rizza A. 2013. Reconstructing Indo-European categories: the reflexive and the middle in Hittite and in the Proto-Language. *Journal of Historical Linguistics* 3/1: 7–27.

Cowgill, W. 1965. Evidence in Greek. *Evidence for Laryngeals*. Ed. W. Winter. London: Mouton & Co. Pp. 142–180.

Dale, A. 2011. Alcaeus on the career of Myrsilos: Greeks, Lydians and Luwians at the East Aegean — West Anatolian Interface, *Journal of Hellenic Studies* 131: 15–24.

Dardano, P. 1997. L'aneddotto e il racconto in età antico-ittita: la cosidetta "Cronaca di Palazzo". Roma: Il Calamo.

_____2004. Il re, il grasso e l'argilla: per una propuesta di interpretazione di KBo 3.46+, Ro II 13'. *Šarnikzel: hethitologische Studien zum Gedanken an Emil Orgetorix Forrer*. Ed. D. Groddek and S. Rößle. Dresden: Technische Universität Dresden. Pp. 239–251.

_____2006. Die hethitischen Tontafelkataloge aus Hattuša (CTH 276–282). StBoT 47. Wiesbaden: Harrassowitz.

_____2012. Contatti tra lingue nell'Anatolia preclassica: I rapporti tra l'ittito e l'akkadico. *Studi italiani di linguistica teorica e applicata* 41/3: 393–409.

Darga, M, Starke, F. 2003. Eine Tonbulle mit hieroglyphen-luwischem Siegelabdruck aus Şarhöyük-Dorylaion. *Studia Troica* 13: 161–164.

von Dassow, E. 2004. Canaanite in Cuneiform. *JAOS* 124/4: 641–674.

_____2012. Gloss Marking and the Language of the Alalaḫ IV Texts. *Palaeography and Scribal Practices in Syro-Palestine and Anatolia in the Late Bronze Age*. Ed. E. Devecchi. PIHANS 119. Leiden: Nederlands Instituut vor het Nabije Oosten. Pp. 201–216.

Dawson, H. 2003. Defining the Outcome of Language Contact: Old English and Old Norse. *OSUWPL* 57: 40–57.
(https://linguistics.osu.edu/sites/linguistics.osu.edu/files/ osu_wpl_57.pdf: 07.07.2015).

Dercksen, J. G. 2004. Some elements of Old Anatolian Society in Kaniš. *Assyria and Beyond: Studies Presented to Mogens Trolle Larsen*. Ed. J. G. Dercksen. PIHANS 100. Instanbul: Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut in het Nabije Oosten. Pp. 137–177.

_____2007. On Anatolian Loanwords in Old Hittite Texts from Kültepe. *Zeitschrift für Assyriologie* 97/1: 26–46.

Dieleman, J. 2006. Abundance in the Margins: Multiplicity of Script in the Demotic Magical Papyri. *Margins of Writing, Origins of Cultures*. Ed. S. Sanders. Chicago: Oriental Institute. Pp. 67–81.

Donbaz, V. 1989a. Keilschrifttexte in den Antiken-Museen zu Stambul. ATU 2. Stuttgart: Steiner.

_____1989b. Some Remarkable Contractors of 1-B Period Kültepe Tablets. *Anatolia and the Ancient Near East: Studies in Honor of Tahsin Özgüç*. Ed K. Emre et al. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Pp. 75–98.

_____1993. Some Remarkable Contractors of 1-B Period Kültepe Tablets II. *Aspects of Art and Iconography: Anatolia and its Neighbors. Studies in Honor of Nimet Özgüç*. Ed. M. Mellink et al. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Pp. 131–154.

Duke, D. J. 2001. Aka as a contact language: sociolinguistic and grammatical evidence. University of Texas, Arlington, MA Thesis. (http://www.silcam.org/documents/ CompleteThesis-DDuke.pdf: 07.07.2015).

Dunkel, G. 2008. Luvian *-TAR* and Homeric T᾽ ̋AP. *Evidence and Counter-Evidence. Essays in Honour of Frederik Kortlandt. V. 1: Balto-Slavic and Indo-European Linguistics*. Ed. A. Lubotsky et al. Amsterdam: Rodopi. Pp. 137–149.

Durnford, S. P. B. 2008. Is *Sarpedon* a Bronze Age Anatolian personal name or a job description? *Anatolian Studies* 58: 103–113.

_____2010. How old was Ankara Silver Bowl when its inscriptions were added. *Anatolian Studies* 60: 51–70.

_____2013. Peoples and Maps: Nomenclature and Definitions. *Luwian Identities: Culture, Language and Religion between Anatolia and the Aegean*. Ed. A. Mouton et al. Leiden: Brill. Pp. 41–69.

Easton, D. F, Hawkins, J. D., Sheratt A. G., Sheratt E. S. 2002. Troy in recent perspective. *Anatolian Studies* 52: 75–110.

Edgerton, F. 1953. *Buddhist Hybrid Sanskrit: Grammar and Dictionary*. Vol. 1: Grammar; Vol. 2: Dictionary. New Haven: Yale University Press.

Edzard, D. O. 1989. Altassyrisch *nuwa'um*. *Anatolia and the Ancient Near East: Studies in Honor of Tahsin Özgüç*. Ed K. Emre et al. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Pp. 107–109.

Egetmeyer, M. 2010. Le dialecte grec ancient de Chypre. 2 volumes. Berlin: de Gruyter.

_____2012. Eine neue Münze mit lydischer Inschrift. *Kadmos* 51: 175–178.

Ehringhaus, H. 2005. *Götter, Herrscher, Inschriften. Die Felsreliefs der Hethitischen Grossreichzeit in der Türkei*. In collaboration with F. Starke. Mainz: von Zabern.

Eichner, H. 1974. Untersuchungen zur hethitischen Deklination (Diss. Teildrück). Erlangen.

_____1982. Zur hethitischen Etymologie. *Investigationes Philologicae et Comparativae. Gedenkschrift für Heinz Kronasser* (ed. E. Neu). Wiesbaden: Harrassowitz. Pp. 16–28.

_____2012. *Laudatio hostiae* und *laudatio victimae* in Palaischen. *Studia Anatolica in memoriam Erich Neu dicata*. Ed. R. Lebrun and J. de Vos. *Hethitica* 16: 39–58.

Eisser, G., Lewy, J. 1930. *Die altassyrischen Rechtsurkunden von Kültepe*. MVAG 33. Leipzig: J. C. Hinrichs.

Erbil, Y., Mouton, A. 2012. Water in Ancient Anatolian Religions: An Archaeological and Philological Inquiry of the Hittite Evidence. *JNES* 71/1: 53–74.

Ferguson, Ch. 1959. Diglossia. *Word* 15: 325–340.

Fischer, J. L. 1958. Social Influences on the Choice of a Linguistic Variant. *Word* 14: 47–46.

Forlanini, M. 1995. The Kings of Kanish. *Atti del II Congresso Internazionale di Hittitologia (Pavia, 28 giugno — 2 luglio 1993)*. Ed. O. Carruba et al. Pavia: Gianni Iuculano. Pp. 123–132.

_____2004a. Luhuzatija, Lawazantija e la localizzazione delle città di Kizzuwatna. *Šarnikzel: hethitologische Studien zum Gedanken an Emil Orgetorix Forrer*. Ed. D. Groddek and S. Rößle. Dresden: Technische Universität Dresden. Pp. 298–309.

_____2004b. Considerazioni sullo spostamento del centro del potere nel periodo della formazione dello stato hittita. *Antiquus Oriens. Mélanges offertes au Professeur René Lebrun*. Ed. M. Mazoyer and A. Casabonne. Paris: L'Harmattan. Vol. 1, pp. 249–269.

_____2007. The Offering List KBo 4.13 (I 17'-48') to the local gods of the kingdom, known as "sacrifice list", and the history of the formation of the early Hittite state and its initial growing beyond central Anatolia. *SMEA* 49: 259–279.

_____2010. An Attempt at Reconstructing Branches of the Hittite Royal Family of the Early Kingdom Period. *Pax Hethitica: Studies on the Hittites and their Neighbours in Honour of Itamar Singer*. Ed. Y. Cohen et al. StBoT 51. Wiesbaden: Harrassowitz. Pp. 115–135.

Forrer, E. 1921. Ausbeute aus den Boghazköy Inschriften. *MDOG* 19: 20–39.

Fortson, B. W. IV. 2004. Indo-European Language and Culture: an Introduction. Oxford: Blackwell.

Francia, R. 2014. Gli scongiuri e pronunciamenti magici in luvio: tentativi di analisi stilistica. *Scienze dell'Antichità* 20/1: 4–14.

Friedman, V. 2007. Balkanizing the Balkan sprachbund: A closer look at grammatical permeability and feature distribution. *Grammars in Contact: A Cross Linguitic Typology*. Ed. A. Aikhenvald and R.F.W. Dixon. Oxford University Press. Pp. 201–219.

Friedrich, J. 1960. Hethitisches Elementarbuch. I Teil. Kurzgefaßte Grammatik. 2nd ed. Heidelberg: Winter.

Friedrich, J., Kammenhuber A., Hoffman I. (eds.). 1975-. Hethitisches Wörterbuch. 2nd ed. Heidelberg: Winter.

Freu, J. 2010/11. Le vase d'argent du Musée des civilizations anatoliennes d'Ankara et la fin de l'Empire Hittite. *Talanta* XLII–XLIII: 185–192.

Frotscher, M. 2012. Die luwischen Entsprechungen der hethitischen Verben des Typs *dāi-/tii̯anzi* und ein neues Lautgesetz urindogermanisch **oi̯* > urluwisch **u̯e*". *International Journal of Diachronic Linguistics and Linguistic Reconstruction* 9: 137–194.

Furnée, E. J. 1972. *Die Wichtigsten Konsonantischen Erscheinungen der Vorgriechischen.* The Hague-Paris: Mouton.

Gander, M. 2010. *Die geographischen Beziehungen der Lukka-Länder*. THeth. 27. Heidelberg: Winter.

_____2012. Aḫḫiyawa — Ḫiyawa — Que. Gibt es Evidenz für die Anwesenheit von Griechen in Kilikien am Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit? *SMEA* 54: 281–309.

_____2014. Tlos, Oinoanda and the Hittite Invasion of the Lukka Lands. Some Thoughts on the History of Northwestern Lycia in the Late Bronze and Iron Ages. *Klio* 96/2: 369–415.

García T., Virgilio J. 2002. *Textos religiosos hititas*. Madrid: Trotta.

Garelli, P. 1963. *Les assyriens en Cappadoce*. Paris: A.Maisonneuve.

_____1964. Tablettes Cappadociennes de collections diverses (suite). *RA* 58/3: 111–136.

_____1965. Tablettes Cappadociennes de collections diverses (suite). *RA* 59/1: 19–48.

Garrett, A. 1990a. The Syntax of Anatolian Pronominal Clitics. Harvard University PhD dissertation.

_____1990b. The Origin of NP split ergativity. *Language* 66/2: 261–296.

_____1991. The Lycian Nasalized Preterite. *MSS* 52: 15–26.

_____1996. Wackernagel's Law and Unaccusativity in Hittite. *Approaching Second: Second Position Clitics and Related Phenomena* (ed. A. L. Halpern and A. W. Zwicky). Stanford: CSLI Publications. Pp. 85–133.

Garstang, J., Gurney, O. R. 1959. The Geography of the Hittite Empire. Ankara: British Institute of Archaeology.

Gasbarra, V., Pozza, A. 2012. Fenomeni di interferenza greco-anatolica nel II millennio A.C.: L'ittito come mediatore tra mondo indoeuropeo e mondo no-indo-europeo. *AIΩN* (N.S.) 1: 165–214.

Gelb, I. J. 1935. Inscriptions from Alişar and Vicinity. OIP 27. University of Chicago Press.

Gelb, I. J., Purves P. M., MacRae, A. A. 1943. Nuzi Personal Names. OIP 57. University of Chicago Press.

Gelb, I. J., Jakobsen, T., Landsberger, B., Oppenheim, A. L., Reiner, E., Civil, M., Roth, M. T. (eds.). 1956-. The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago. Chicago: Oriental Institute.

Gérard, R. 2004. Quelques remarques autour de **y* > lydien *d*'. *Res Antiquae* 1: 125–131.

_____2005. Phonétique et morphologie de la langue lydienne. Louvain-la-Neuve: Peeters.

van Gessel, Ben H. L. 1998. Onomasticon of the Hittite Pantheon. HdO 1/33. Leiden: Brill.

Giorgieri, M. 2000. Schizzo grammaticale della lingua hurrica. *Parola del Passato* 55: 170–277.

_____2001. Die hurritische Fassung des Ullikummi-Lieds. *Akten des IV. Internationalen Kongresses für Hethitologie (Würzburg, 4–8 Oktober 1999)*. Ed. G. Wilhelm. StBoT 45. Wiesbaden: Harrassowitz. Pp. 134–155.

_____2005. Bedeutung und Stellung der "Mitannischen" Kultur im Rahmen der Kulturgeschichte Vorderasiens. *Motivation und Mechanismen des Kulturkontaktes in der späten Bronzezeit*. Ed. D. Prechel. Eothen 13. Florence: LoGisma. Pp. 77–101.

Giusfredi, F. 2009. The problem of the Luwian title *tarwanis*. *Altorientalische Forschungen* 36/1: 140–145.

_____2010. Sources for a Socio-Economic History of the Neo-Hittite States. THeth 28. Heidelberg: Winter.

_____2012. The Akkadian Medical Text KUB 37.1. *Altorientalische Forschungen* 39/1: 49–63.

_____2013. Further Considerations on the Ankara Silver Bowl. *Time and History in the Ancient Near East: Proceedings of the 56th Rencontre Assyriologique Internationale at Barcelona*. Ed. L. Feliu et al. Winona Lake, IN: Eisenbrauns. Pp. 665–678.

Goedegebuure, P. 2003. Reference, Deixis and Focus in Hittite. The demonstratives ka- "this", apa- "that" and asi "yon". University of Amsterdam PhD dissertation.

_____2007. The Hieroglyphic Luwian Demonstrative Instrumentals *zin* and *apin*. *SMEA* 49: 319–334.

_____2008. Central Anatolian languages and language communities in the Colony Period: a Luwian-Hattian symbiosis and independent Hittites. *Anatolia and the Jazira during the Old Assyrian period*. Ed J. G. Dercksen. PIHANS 111. Instanbul: Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut in het Nabije Oosten. Pp. 137–180.

_____2010a. The Cuneiform Luwian Adverb *zanda* 'together, down'. *Acts of the VIIth International Congress of Hittitology (Çorum, August 25–31, 2008)*. Ed. A. Süel. Ankara: Anıt. Pp. 299–318.

_____2010b. Split-ergativity in Hittite. *ZA* 102: 270–303.

Goetze, A. 1925. Hattušiliš. Die Bericht über seine Thronbesteigung nebst den Paralleltexten. MVAG 29/2–3. Leipzig: J. C. Hinrichs.

_____1927. Madduwattaš. MVAG 32/1. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

_____1930. Neue Bruchstücke zum großen Text des Hattušiliš und den Paralleltexten. MVAG 34/2. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

_____1933a. Über die Partikeln *-za*, *-kan* und *-šan* der hethitischen Satzverbindung. *Archiv Orientální* 5: 1–38.

_____1933b. Die Annalen der Muršiliš. MVAG 38. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Gorbachov, Ya. 2008. Nine observations on the Old Phrygian inscription from Vezirhan. *Kadmos* 47: 91–108.

Gordon, E. I. 1969. The Meaning of the Ideogram ^{d}KASKAL.KUR = "Underground Water-course". *JCS* 21: 70–88.

Görke, S. 2013. Luwian Words in Hittite Festivals. *Luwian Identities: Culture, Language and Religion between Anatolia and the Aegean*. Ed. A. Mouton et al. Leiden: Brill. Pp. 125–34.

Greenberg, J. H. 1963. Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements. *Universals of Language*. Ed. G. Greenberg. London: MIT Press. Pp. 73–113.

Groddek, D. 2002. Hethitische Texte in Transkription: KBo 30. DBH 2. Dresden: Technische Universität Dresden.

Gül, Ş. 1990. Anadolu Mediniyetleri Müzesinde bulunan Kültepe tabletlerinden örnekler. *Anadolu Mediniyetleri Müzesi 1989 Yıllığı*. Ankara: Müze Eserleri Turistik Yayınları. Pp. 51–59.

Günbattı, C. 1997. Kültepe'den akadlı Sargon'a âit bir tablet. *Archivum Anatolicum* 3: 131–155.

_____2004. Two Treaty Texts Found at Kültepe. *Assyria and Beyond: Studies Presented to Mogens Trolle Larsen*. Ed. J. G. Dercksen. PIHANS 100. Instanbul: Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut in het Nabije Oosten. Pp. 249–268.

Gurney, O. R. 1997. The Annals of Hattusilis III. *Anatolian Studies* 47: 127–139.

Gusmani, R. 1964. Lydisches Wörterbuch. Heidelberg: Winter.

_____1969. Sul samekh lidio. *Athenaeum* 47: 136–143.

_____1971. Lydisch *-im* «Ich bin». *Die Sprache* 17/1: 1–7.

_____1982. Lydisches Wörterbuch: Ergänzungsband. Lieferung 2. Heidelberg: Winter.

_____1986. Lydisches Wörterbuch: Ergänzungsband. Lieferung 3. Heidelberg: Winter.

Güterbock, H. G. 1946. Kumarbi: Mythen von churritischen Kronos aus den hethitischen Fragmenten zusammengestellt, übersetzt und erklärt. Zürich — Neu York: Europa.

_____1956a. Notes on Luwian Studies. (*A propos* B. Rozenkranz's Book *Beiträge zur Erforschung des Luwischen*). *Orientalia* 25: 113–140.

_____1956b. The Deeds of Suppiluliuma as Told by his Son Mursili II. *JCS* 10: 41–68 & 74–130.

_____1956c. Review of *Die Welt der Hethiter* by Margarete Riemschneider. Stuttgart: G. Kilpper, 1954. *OLZ* (1956): 512–522.

_____1967. The Hittite conquest of Cyprus Reconsidered. *JNES* 26/2: 73–81.

_____1983. Noch einmal die formel *parnaššea šuwaizzi*. *Orientalia* 52: 73–80.

_____1986. Troy in Hittite Texts: Wilusa, Ahhiyawa, and Hittite History. *Troy and the Trojan War: a Symposium at Bryn Mawr College, October 1984*. Ed. M. J. Mellink. Bryn Mawr, PA: Bryn Mawr College. Pp. 33–44.

_____1998a. To drink a god. XXXIV. *Uluslararası Assirioloji Kongresi: Kongreye sunulan bildirler*. Ed. H. Erkanal et al. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Pp. 121–129.

_____1998b. Notes on Some Luwian Hieroglyphs. *Mír Curad: Studies in Honor of Calvert Watkins*. Ed. J. Jasanoff et al. Innsbruck: Institut der Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck. Pp. 201–204.

Güterbock H. G., Hoffner H., van den Hout, T. (eds.). 1989-. The Hittite Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago. Chicago: Oriental Institute.

Güterbock H. G., van den Hout, T. 1991. The Hittite Instruction for the Royal Bodyguard. Chicago: Oriental Institute.

Guy, G. R. 1990. The sociolinguistic types of language change. *Diachronica* 7/1: 47–67.

Haas, V. 1984. Die Serien *itkahi* und *itkalzi* des Azu-Priesters, Rituale für Tašmišarri und Tatuhepa sowie weitere Texte mit Bezug auf Tašmišarri. *ChS 1:1. Rome: Multigrafica*.

_____1994. Geschichte der hethitischen Religion. HdO 1/15. Leiden: Brill.

_____1998. Die hurritischen Ritualtermini in hethitischem Kontext. ChS 1:9. Rome: CNR-Istituto per gli Studi Micenei ed Egeo-Anatolici.

Haas, V., Thiel H. J. 1978. Die Beschwörungsrituale der Allaiturah(h)i und verwandte Texte. AOAT 31. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag.

Haas, V., Wilhelm G. 1974. Hurritische und Luwische Riten aus Kizzuwatna. AOATS 3. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag.

Hackett, A. 2004. Phoenician and Punic. *The Cambridge Encyclopedia of the World's Ancient Languages*. Ed. R. Woodard. Cambridge University Press. Pp. 365–385.

Hajnal, I. 2000. Der adjektivische Genitivausdruck der luwischen Sprachen (im Lichte neuerer Erkenntnis). *125 Jahre Indogermanistik in Graz. Festband anläßlich des 125jährigen Bestehens der Forschungsrichtung "Indogermanistik" an der Karl-Franzens-Universität Graz*. Ed. M. Ofitsch and Ch. Zinko. Graz: Leykam. Pp. 159–184.

_____2003. Troia aus sprachwissenschaftlicher Sicht. Die Struktur einer Argumentation. Innsbruck: Institut der Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck.

_____forthcoming. Graeco-Anatolian Contacts in the Mycenaean Period. To appear in *Comparative Indo-European Linguistics*. Ed. M. Fritz and J. Klein. Berlin: Mouton de Gruyter.

Hawkins, J. D. 1986. Writing in Anatolia: Imported and Indigenous Systems. *World Archaeology* 17/3: 363–374.

_____1992. The Inscriptions of the Kızıldağ and the Karadağ in the light of the Yalburt Inscription. *Hittite and other Anatolian and Near Eastern Studies in Honour of Sedat Alp*. Ed. E. Akurgal et al. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Pp. 260–275.

_____1995. The Hieroglyphic Inscription of the Sacred Pool Complex at Hattusa (SÜDBURG). StBoT, Beiheft 3. Wiesbaden: Harrassowitz.

_____1997. A Hieroglyphic Luwian Inscription on a Silver Bowl in the Museum of Anatolian Civilizations, Ankara. *Anadolu Medeniyetleri Müzesi. 1996 Yıllığı*: 7–22.

_____1998. Tarkasnawa King of Mira, 'Tarkondemos', Boğazköy sealings and Karabel. *Anatolian Studies*, 48: 1–31.

_____2000. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions. Volume I. Part I, II: Texts; Part III: Plates. Berlin-New York: W. de Gruyter.

_____2003. Scripts and Texts. *The Luwians*. Ed. C. Melchert. HdO 1/68. Leiden: Brill. Pp. 128–169.

_____2005a. A Hieroglyphic Luwian Inscription on a Silver Bowl (reprint of Hawkins 1997 with additions and corrections). *Studia Troica* 15: 193–204.

_____2005b. Commentaries on the Readings. Herbordt 2005: 248–313.

_____2009. The Arzawa Letters in Recent Perspective. *British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan*, 14: 73–83.

_____2013a. Luwians versus Hittites. *Luwian Identities: Culture, Language and Religion between Anatolia and the Aegean*. Ed. A. Mouton et al. Leiden: Brill. Pp. 26–40.

_____2013b. Review of Yakubovich 2010a. *Kadmos* 52/1: 1–18.

Hawkins J. D., Morpurgo-Davies, A. 1998. On Donkeys, Mules, and Tarkondemos. *Mír Curad: Studies in Honor of Calvert Watkins*. Ed. J. Jasanoff et al. Innsbruck: Institut der Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck. Pp. 243–260.

Hawkins, J. D., Morpurgo-Davies, A., Neumann, G. 1974. Hittite Hieroglyphs and Luwian: New Evidence for the Connection. *Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen (Philologisch-historische Klasse)* 6: 145–197.

Heath, J. 1998. Hermit Crabs: Formal Renewal of Morphology by Phonologically Mediated Affix Substitution. *Language* 74/4: 728–759.

Hecker, K. 1966. Die Keilschrifttexte der Universitätsbibliothek Giessen. Giessen: Universitätsbibliothek.

Hecker, K., Kryszat G., Matouš L. 1998. Kappadokische Keilschrifttafeln aus den Sammlungen der Karlsuniversität Prag. Prague: Univerzita Karlova.

Herda, A. 2013. Greek (and our) views on the Karians. *Luwian Identities: Culture, Language and Religion between Anatolia and the Aegean*. Ed. A. Mouton et al. Leiden: Brill. Pp. 421–506.

Heinhold-Kramer, S. 1977. Arzawa: Untersuchungen zu seiner Geschichte nach den hethitischen Quellen. THeth 8. Heidelberg: Winter.

Herbordt, S. 2005. Die Prinzen- und Beamtensiegel der hethitischen Grossreichszeit auf Tonbullen aus dem Nişantepe-Archiv in Hattusa. BoHa 19. Mainz: von Zabern.

Hoch, J. E. 1994. Semitic Words in Egyptian texts of the New Kingdom and Third Intermediate Period. Princeton University Press.

Hoffmann, I. 1984. Der Erlaß Telipinus. THeth 11. Heidelberg: Winter.

Hoffner, H. A. 1969. On the Use of Hittite *-za* in Nominal Sentences. *JNES* 28/4: 225–230.

_____1986. Studies in Hittite Grammar. *Kaniššuwar. A Tribute to Hans G. Güterbock on his Seventy-fifth Birthday (May 27, 1983)*. Ed. H. Hoffner and G. Beckman. Chicago: Oriental Institute. Pp. 83–94.

_____1997. The Laws of the Hittites: a Critical Edition. DMOA 23. Leiden: Brill.

_____1998. Hittite Myths: Second Edition. Atlanta, GA: Scholars Press.

_____2002. Some Thoughts on Merchants and Trade in the Hittite Kingdom. *Kulturgeschichten: Altorientalische Studien für Volkert Haas zum 65. Geburtstag*. Ed. Th. Richter et al. Saarbrücker Druckerei und Verlag. Pp. 179–189.

Hoffner, H., Melchert, H. C. 2002. A Practical Approach to Verbal Aspect in Hittite. *Anatolia Antica. Studi in memoria di Fiorella Imparati*. Ed. S. De Martino and F. Pecchioli Daddi. Florence: LoGisma. Pp. 377–390.

_____2008. A Grammar of the Hittite Language. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

Högemann, P. 2003. Das ionische Griechentum und seine altanatolische Umwelt in Spiegel Homers. *Die Griechen und der Vordere Orient. Beiträge zum Kultur- und Regionskontakt*

zwischen Griechenland und dem Vorderen Orient im 1. Jahrtausend v. Chr. Ed. M. Witte and S. Alkier. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Pp. 1–24.

Holm, J. 2004. Languages in Contact: the Partial Restructuring of Vernaculars. Cambridge University Press.

Hopper, P. J., Thomson, S. A. 1980. Transitivity in Grammar and Discourse. *Language* 56/2: 251–299.

van den Hout, T. 1984. Einige luwische Neutra auf *-sa*/*-za* in überwiegend junghethitischen Texten. *KZ* 97: 60–80.

_____1989. A Chronology of the Tarhuntassa Treaties. *JCS* 41: 100–114.

_____1995. Der Ulmitešub-Vertrag. Eine prosopographische Untersuchung. StBoT 38. Wiesbaden: Harrassowitz.

_____2002a. Self, Soul and Portrait in Hieroglyphic Luwian. *Silva Anatolica*. *Anatolian Studies Presented to Maciej Popko on the Occasion of his 65th Birthday* Ed. P. Taracha. Warsaw: Agade. Pp. 171–186.

_____2002b. Another View of Hittite Literature. *Anatolia Antica. Studi in Memoria di Fiorella Imparati*. Ed. S. de Martino and F. Pecchioli Daddi. Eothen 11. Florence: LoGisma. Pp. 857–878.

_____2003. Maeonien and Maddunašša: zur Frühgeschichte des Lydischen. *Licia e Lidia prima dell'ellenizzazione: atti del Convegno internationale (Roma, 11–12 ottobre 1999)*. Ed. M. Giorgieri et al. Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche. Pp. 301–310.

_____2004. Some thoughts on the composition known as Muršili's Aphasia (CTH 486). *Antiquus Oriens. Mélanges offertes au Professeur René Lebrun*. Ed. M. Mazoyer and A. Casabonne. Paris: L'Harmattan. Vol. 1, pp. 359–380.

_____2006. Institutions, Vernaculars, Publics: the Case of Second-Millenium Anatolia. *Margins of Writing, Origins of Cultures*. Ed. S. Sanders. Chicago: Oriental Institute. Pp. 217–256.

_____2007. Some observations on the tablet collection from Maşat Höyük. *SMEA* 49: 387–398.

_____2009. Reflections on the Origins and Development of the Hittite Tablet Collection in Hattuša and Their Consequences for the Rise of Hittite Literacy. *Central-North Anatolia in the Hittite Period: New Perspectives in Light of Recent Research*. Ed. F. Pecchioli-Daddi et al. Rome: Herder. Pp. 71–96.

Houwink ten Cate, P. H. J. 1965. The Luwian Population Groups of Lycia and Cilicia Aspera during the Hellenistic Period. *DMOA* 10. Leiden: Brill.

_____1966. A Fragment of the "Deeds of Suppiluliuma". *JNES* 25/1: 27–31.

_____1968. Muwattallis' Prayer to be Spoken in an Emergency: an Essay in Textual Criticism. *JNES* 27: 204–208.

_____1985. Sidelights on the Ahhiyawa question from Hittite Vassal and Royal Correspondence. *JEOL* 28: 28–79.

_____1992. The Bronze Tablet of Tudhaliyas IV and its Geographical and Historical Relations. *ZA* 82: 233–270.

Houwink ten Cate, P. H. J., Josephson, F. 1967. Muwattallis' Prayer to the Storm-God of Kummanni. *RHA* 25: 101–140.

de Hoz, J. 2004. De cómo los protogriegos crearon el griego новохет los pregriegos lo aprendieron. Bádenas de la Peña et al. 2004: 35–56.

Huehnergard, J. 1987. Ugaritic Vocabulary in Syllabic Transcription. HSS 32. Atlanta, GA: Scholars Press.

Hutter, M. 2003. Aspects of Luwian Religion. *The Luwians*. Ed. C. Melchert. HdO 1/68. Leiden: Brill. Pp. 210–280.

Huxley, G. L. 1961. Crete and the Luwians. Oxford: Vincent-Baxter Press.

Ichisar, M. 1981. Les archives cappadociennes du marchand Imdilum. Paris: Éditions A.D.P.F.

Ivanov, V. V. 2001. Southern Anatolian and Northern Anatolian. *Greater Anatolia and the Indo-Hittite Language Family*. Ed. R. Drews. Washington: Institute for the Study of Man. Pp. 131–183.

_____2008. Archaic Indo-European Names and Words in Old Assyrian Documents from Asia Minor (20^{th}–18^{th} centuries BC)". *Proceedings of the Nineteenth Annual UCLA Indo-European Conference.* Ed. K. Jones-Bley et al. Washington: Institute for the Study of Man. Pp. 219–237.

Izre'el, Sh. 1998. A New Dictionary of Northwest Semitic and the Amarna Glosses. *Past Links. Studies in the Languages and Cultures of the Ancient Near East*. Ed. Sh. Izre'el et al. IOS 18. Winona Lake, IN: Eisenbrauns. Pp. 421–429.

Jakob-Rost, L. 1972. Das Ritual der Malli aus Arzawa gegen Behexung (KUB 24.9+). THeth 2. Heidelberg: Winter.

Jasanoff , J. 2003. Hittite and the Indo-European verb. Oxford University Press.

_____2010. The Luvian "Case" in *-ša/-za*". *Ex Anatolia Lux: Anatolian and Indo-European studies in honor of H. C. Melchert on the occasion of his sixty-fifth birthday*. Ed. R. I. Kim et al. Ann Arbor: Beech Stave Press. Pp. 167–179.

Jasink, A. M., Marino M. 2007. The West-Anatolian Origins of the Que kingdom dynasty. *SMEA* 49: 407–426.

Jenniges, W. 1998. Les Lyciens dans l'Iliade : sur les traces de Pandaros. *Quaestiones Homericae: Acta Colloquii Namurcensis habiti diebus 7–9 mensis Septembris anni 1995*. Ed. L. Isebaert & R. Lebrun. Louvain-Namur: Peeters / Societé des études classiques. Pp. 119–147.

Josephson, F. 2003. The Hittite Reflexive Construction in a Typological Perspective. *Language in Time and Space. A Festschrift for Werner Winter on the occasion of his 80th Birthday*. Berlin-New York: Mouton de Gruyter. Pp. 211–232.

Justeson, J. S., Stephens, L. D. 1982. Nasal + Obstruent Clusters in Hittite. *JAOS* 101(3): 367–370.

Kalinka, E. 1901. Tituli Lyciae Lingua Lycia Conscripti. Vienna: Alfred Hoelder.

Kammenhuber, A. 1955. Zu den altanatolischen Sprachen: Luwisch und Paläisch. *OLZ* 50/8–9: 352–378.

_____1959. Das Palaische: Texte und Wortschatz. *RHA* 17: 1–92.

_____1961. Hippologia Hethitica. Wiesbaden: Harrassowitz.

_____1969. Hethitisch, Palaisch, Luwisch, und Hieroglyphen-luwisch. *Altkleinasiatische Sprachen*. HdO 2/1–2b. Leiden: Brill. Pp. 119–357.

Kassian, A. 2000. Two Middle Hittite Rituals Mentioning ^{f}Ziplantawija, Sister of the King ^{m}Tuthalija *II/I.* Moscow: Paleograph.

_____2002. Glossary of Verbal Forms and Derivatives from Published Old Hittite Texts. *Anatolian Languages* (ed. V. Shevoroshkin and P. J. Sidwell). Canberra: Association for the History of Language. Pp. 72–136.

_____2014. Lexical Matches between Sumerian and Hurro-Urartian: Possible Historical Scenarios. *Cuneiform Digital Library Journal* 2014: 4.

Kassian, A., Korolëv, A., Sidel'tsev, A. 2002. Hittite Funerary Ritual šalliš waštaiš. *AOAT* 288. Münster: Ugarit-Verlag.

Kassian, A., Yakubovich, I. 2007. Muršili II's Prayer to Telibinu. *Tabularia Hethaeorum. Hethitologische Beiträge Silvin Košak zum 65. Geburtstag*. Ed. D. Groddek and M. Zorman. Wiesbaden: Harrassowitz. Pp. 423–454.

Katz, J. 1998. Topics in Indo-European Personal Pronouns. Harvard University PhD dissertation.

_____2008. The epic adventures of an unknown particle. *Greek and Latin from an Indo-European Perspective*. Ed. C. George et al. Cambridge: Cambridge Philological Society. Pp. 65–79.

Kaufman, S. A. 2007. The Phoenician Inscription of the Incirli trilingual: a tentative reconstruction and translation. *Maarav* 14/2: 7–26.

Kazansky, N. N. 1997. Les noms mycéniens dans les textes hittites. *Emerita* 65: 189–193.

Kienast, B. 1984. Das altassyrische Kaufvertragsrecht. *ATU* 1. Wiesbaden: Franz Steiner.

Kimball, S. E. 1999. Hittite Historical Phonology. Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck.

Klengel, H. 1963. Der Schiedsspruch des Muršili II. Hinsichtlich Barga und seine Übereinkunft mit Duppi-Tešup von Amurru (KBo 3.3). *Orientalia* (n.s.) 32: 32–55.

_____1999. Geschichte des hethitischen Reiches. HdO 1/34. Leiden: Brill.

Klinger, J. 1996. Untersuchungen zur Rekonstruktion der hattischen Kultschicht. StBoT 37. Wiesbaden: Harrassowitz.

_____2003. Zur Paläographie akkadischsprachiger Texte aus Hattuša. *Hittite Studies in Honor of Harry A. Hoffner Jr. on the Occasion of his 65th Birthday*. Ed. G. Beckman et al. Winona Lake, IN: Eisenbrauns. Pp. 237–248.

Kloekhorst, A. 2006. Hittite *pai-/pi-* 'to give'. *Indogermanische Forschungen* 111: 110–119.

_____2008. Etymological Dictionary of the Hittite Inherited Lexicon. Leiden: Brill.

Kohlmeyer, K. 2000. Der Tempel des Wettergottes von Aleppo. Gerda Henkel Vorlesung. Münster: Rhema.

Krecher, J., Souček, V. 1971. Glossen. *Reallexikon der Assyriologie*. Berlin-New York: Walter de Gruyter, v.3. Pp. 431–440.

Kretschmer, P. 1896. Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache. Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht.

Kronasser, H. 1961. Fünf hethitische Rituale. *Die Sprache* 7: 140–167.

_____1966. Etymologie der hethitischen Sprache. Wiesbaden: Harrassowitz.

Kryszat, G. 2008. Herrscher, Kult und Kulttradition in Anatolien nach den Quellen aus den altassyrischen Handelskolonien — Teil 3/1: Grundlagen für eine neue Rekonstruktion der Geschichte Anatoliens und der assyrischen Handelskolonien in spätaltassyrischer Zeit. *Altorientalische Forschungen* 35/1: 156–189.

Kühne, C. 1974. Mit Glossenkeilen markierte fremde Wörter in akkadischen Ugarittexten. *Ugaritforschung* 6: 157–167.

Kühne, C., Otten, H. 1971. Der Šaušgamuwa-Vertrag. StBoT 16. Wiesbaden: Harrassowiz.

Kümmel, H. M. 1967. Erzatzrituale für den hethitischen König. StBoT 3. Wiesbaden: Harrassowitz.

Kuryłowicz, J. 1964. The Inflectional Categories of Indo-European. Heidelberg: Winter.

Labov, W. 1966. The Social Stratification of English in New York City. Washington, D.C: Center for Applied Linguistics.

_____1994. Principles of Linguistic Change. *Volume 1. Internal Factors*. Oxford: Blackwell.

Laroche, E. 1958. Comparaison du louvite et du lycien. *BSL* 53: 159–197.

_____1959. Dictionnare de la langue louvite. Paris: Adrien-Maisonneuve.

_____1960a. Comparaison du louvite et du lycien. *BSL* 55: 155–185.

_____1960b. Les hiéroglyphes hittites. Paris: Centre National de la Recherche Scientifique.

_____1961. Études de toponymie anatolienne. *RHA* 19: 57–98.

_____1966. Les noms des hittites. Paris: C. Klinksieck.

_____1967. Comparaison du louvite et du lycien. *BSL* 62: 46–66.

_____1970. NİŞANTAŞ. *Anatolica* 3: 93–98.

_____1971. Catalogue des texts hittites. Paris: Klincksieck.

_____1972. Linguistique asianique. *Minos* 11: 112–135.

_____1973. Fleuve et ordalie en Asie Mineure hittite. *Festschrift Heinrich Otten*. Ed. E. Neu and Ch. Rüster. Wiesbaden: Harrassowitz. Pp. 179–189.

_____1979. L'inscription lycienne. *Fouilles de Xanthos* 6: 49–127.

_____1981. Les noms des hittites: supplément. *Hethitica* 4: 3–58.

Larsen, M. T. 1967. Old Assyrian Caravan Procedures. PIHANS 22. Istanbul: Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut in het Nabije Oosten.

_____2002. The Aššur-Nādā Archive. PIHANS 96. Istanbul: Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut in het Nabije Oosten.

Latacz, J. 2004. Troy and Homer: Towards a Solution of an Old Mystery. Transl. K. Windle and R. Ireland. Oxford University Press.

Lebrun, R. 1977. Textes religieux hittites à la fin de l'empire. *Hethitica* 2: 93–153.

_____1980. Hymnes et prières hittites. Louvain-la-Neuve: Centre d'histoire des religions.

_____1996. Rituels de Muwalanni à Manuzziya = CTH 703. *Hethitica* 13: 39–64.

Lehrman, A. 1978. Essays in Anatolian Onomastics. *Names*, 26: 220–230.

Leland, Ch. G. 1962. Gypsy Sorcery and Fortune-telling. New York: University Books.

Lewy, J. 1937. Old Assyrian Documents from Asia Minor I. *Archives d'histoire du droit oriental* 1: 91–108.

Lipiński, E. 2004. Itineraria Phoenicia. *OLA* 127. Leuven: Peeters.

López-Ruiz, C. 2006. Oriental Elements in Hesiod and the Orphic Cosmogonies. *JANER* 6: 70–104.

Lubotsky, A. 1998. New Phrygian Metrics and the δεως ζεμελως formula. *Mír Curad: Studies in Honor of Calvert Watkins*. Ed. J. Jasanoff et al. Innsbruck: Institut der Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck. Pp. 413–421.

Macqueen, J. G. 1968. Geography and History in Western Asia Minor in the Second Millennium B.C.E. *Anatolian Studies*, 18: 169–185.

Mac Sweeney, N. 2010. Hittites and Arzawans: a view from western Anatolia. *Anatolian Studies* 60: 7–24.

Marangozis, J. 2003. A Short Grammar of Hieroglyphic Luwian. Munich: Lincom Europa.

Marazzi, M. 1990. Il Geroglifico Anatolico: Problemi di analisi e prospettive di ricerca. Rome: Università "La Sapienza".

_____1994. Ma gli ittiti scrivevano veramente su "legno"? *Miscellanea di studi linguistici in onore di Walter Belardi*. Ed. P. Cipriano et al. Rome: Calamo. Pp. 131–160.

Márquez Rowe, I. 1998. Notes on the Hurro-Akkadian of Alalah in the Mid-second Millennium B.C.E. *Past Links. Studies in the Languages and Cultures of the Ancient Near East*. Ed. Sh. Izre'el et al. IOS 18. Winona Lake, IN: Eisenbrauns. Pp. 63–78.

De Martino, S. 2003. Annali e Res Gestae antico ittiti. StMed 12. Italian University Press.

Mazoyer, M. 2003. Télipinu, le dieu au marécage. Essai sur les mythes fondateurs du royaume hittite. Paris: L'Harmattan.

McIntyre, L. L. 1986. Animate Plural in Neo-Hittite. University of North Carolina in Chapel Hill, MA thesis (unpublished).

Meier-Brügger, M. 2000. Indogermanische Sprachwissenschaft (7th, fully revised edition). Berlin: Walter de Gruyter.

Mellaart, J. 1981. Anatolia and the Indo-Europeans. *JIES* 9: 135–149.

_____1986. Some Reflections on the History and Geography of Western Anatolia in the Late Fourteenth and Thirteenth Century B.C. *Jahrbuch für Kleinasiatische Forschungen* 10: 215–230.

Melchert, H. C. 1977. Ablative and Instrumental in Hittite. Harvard University PhD dissertation.

_____1984a. Notes on Palaic. *KZ* 97: 22–41.

_____1984b. Studies in Hittite Historical Phonology. Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht.

_____1985. Hittite *imma* and Latin *immō*. *KZ* 98: 184–205.

_____1987. PIE velars in Luvian. *Studies in Memory of Warren Cowgill (1929–1985).* Ed. C. Watkins. Berlin-New York: Walter de Gruyter. Pp. 182–204.

_____1988a. "Thorn" and "Minus" in Hieroglyphic Luvian. *Anatolian Studies*, 38: 29–42.

_____1988b. Luvian Lexical Notes. *Historische Sprachforschung* 101: 211–243.

_____1991. The Lydian emphasizing and reflexive particle *-ś/is*. *Kadmos*, 30: 131–132.

_____1993. Cuneiform Luvian Lexicon. Chapel Hill: self-published.

_____1994. Anatolian Historical Phonology. Amsterdam-Atlanta: Rodopi.

_____1995. Neo-Hittite Nominal Inflection. *Atti del II Congresso Internazionale di Hittitologia*. Ed. O.Carruba, M. Giorgieri and C. Mora. StMed 9. Pavia: Gianni Iuculano. Pp. 269–274.

_____1998a. Once more Greek τολύπη. *Orpheus* 8: 47–51.

_____1998b. Two problems of Anatolian nominal derivation. *Compositiones Indogermanicae in memoriam Jochem Schindler*. Ed. H. Eichner and Chr. Luschützky. Prague: Enigma. Pp. 365–375.

_____2000. Aspects of the Cuneiform Luvian Nominal Inflection. *Studies on the Pre-Greek Languages in Memory of Charles Carter*. Ed. N. Arbeitman. Leuven: Peeters. Pp. 173–183.

_____2002. The God Santa in Lycia. *Silva Anatolica: Anatolian Studies Presented to Maciej Popko on the Occasion of His 65th Birthday*. Ed. P. Taracha. Warsaw: Agade, 2002. Pp. 245–251.

_____2003a. Prehistory. *The Luwians.* Ed. C. Melchert. HdO 1/68. Leiden: Brill. Pp. 8–26.

_____2003b. Language. *The Luwians*. Ed. C. Melchert. HdO 1/68. Leiden: Brill. Pp. 170–210.

_____2003c. Hittite Nominal Stems in *-anzan-*. *Indogermanisches Nomen: Derivation, Flexion und Ablaut. Akten der Arbeitstagung der Indogermanischen Gesellschaft (Freiburg, 19 bis 22 Seprember 2001).* Ed. E. Tichy et al. Bremen: Hempen. Pp. 129–139.

_____2004a. A Dictionary of the Lycian Language. Ann Arbor: Beech Stave Press.

_____2004b. Second Thoughts on **h* and **h_2* in Lydian. *Studia Anatolica et Varia. Mélanges offerts au Profeseur René Lebrun.* Ed. M. Mazoyer and A. Casabonne. Paris: L'Harmattan. Vol. 2, pp. 139–150.

_____2004c. A Luvian dedication. *Indo-European Perspectives: Studies in Honour of Anna Morpurgo Davies*. Ed. J. H. W. Penney. Oxford University Press. Pp. 370–379.

_____2005. The Problem of Luvian Influence on Hittite. *Sprachkontakt und Sprachwandel. Akten der XI. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft*, *17–23 September 2000, Halle an der Saale*. Ed. G. Meiser and O. Hackstein. Wiesbaden: Reichert. Pp. 445–459.

_____2006. Indo-European Verbal Art in Luvian. *Langue poétique indo-européenne*. Ed. G. Pinault and D. Petit. Leuven-Paris: Peeters. Pp. 291–298.

_____2007. Middle Hittite Revisited. *SMEA* 50: 525–531.

_____2008a. Greek *mólybdos* as a Loanword from Lydian. *Anatolian Interfaces: Hiitites*, *Greeks*, *and Their Neighbors in Ancient Anatolia.* B. J. Collins et al. Oxford: Oxbow. Pp. 153–157.

_____2008b. Problems in Hittite Pronominal Inflection. *Evidence and Counter-Evidence. Essays in Honour of Frederik Kortlandt. V. 1: Balto-Slavic and Indo-European Linguistics*. Ed. A. Lubotsky et al. Amsterdam: Rodopi. Pp. 367–375.

_____2010. Further Thoughts on Carian Nominal Inflection. *Hellenistic Karia: Proceedings of the First International Conference on Hellenistic Karia, Oxford, 29 June — 2 July 2006*. Ed. R. van Bremen and J.-M. Carbon. Talence: Ausonius. Pp. 177–186.

_____2011a. Enclitic Subject Pronouns in Hieroglyphic Luvian. *Aramazd (AJNES)* VI/2: 73–86.

_____2011b. Indo-Europeans. *The Oxford Handbook of Ancient Anatolia. 10,000–323 B.C.E.* Ed. S. Steadman and G. McMahon. Oxford University Press. Pp. 704–716.

_____2012a. Genitive Case and Possessive Adjective in Anatolian. *Per Roberto Gusmani. Linguistica storica e teorica: Studi in ricordo*. Ed. R. Bombi and A. Orioles. Udine: Forum. Pp. 273–286.

_____2012b. Luvo-Lycian Dorsal Stops revisited. *The Sound of Indo-European 2: Papers in Indo-European Phonetics, Phonemics, and Morphophonemics*. Ed. R. Sukač and O. Šefčik. Munich: Lincom Europa. Pp. 206–218.

_____2013a. Luvian Language in "Luvian" Rituals in Hattuša. *Beyond Hatti: A Tribute to Gary Beckman*. Ed. B.-J. Collins and P. Michalowski. Atlanta: Lockwood Press. Pp. 159–172.

_____2013b. Naming Practices in Second and First Millennium in Western Anatolia. *Personal Names in Ancient Anatolia*. Ed. R. Parker. Oxford University Press. Pp. 31–49.

_____2013c. Hittite and Hieroglyphic Luvian *arha* 'away': Common Inheritance or Borrowing. *Journal of Language Contact* 6: 300–312.

_____2015. Reciprocity and Commerce in Bronze and Iron Age Anatolia. *Tradition and Innovation in the Ancient Near East: Proceedings of the 57th Rencontre Assyriologique Internationale at Rome, 4–8 July 2011*. Ed. A. Archi. Winona Lake, IN: Eisenbrauns Pp. 409–416.

Mel'čuk, I. 2001. Communicative organization in natural language. *Studies in Language Companion Series* 57. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Meriggi, P. 1962. Hieroglyphisch-hethitisches Glossar. 2nd, fully revised edition. Wiesbaden: Harrassowitz.

_____1963. Anatolische Satzpartikeln. *RHA* 21: 1–33.

Michel, C. 2003. Old Assyrian Bibliography of Cuneiform Texts, Bullae, Seals and the Results of the Excavations at Aššur, Kültepe/Kaniš, Acemhöyük, Alişar and Boğazköy. PIHANS 97. Istanbul: Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut in het Nabije Oosten

Michel, C., Garrelli, P. 1997. Tablettes Paleo-Assyriennes de Kültepe. Paris: de Boccard.

van de Mieroop, M. 2000. Sargon of Agade and his Successors in Anatolia. *SMEA* 42/1: 133–159.

Miller, G. D. 2014. Ancient Greek Dialects and Early Authors: Introduction to the Dialect Mixture in Homer with Notes on Lyric and Herodotus. Berlin: de Gruyter.

Miller, J. 2001. Anum-Khirbi and his Kingdom. *Altorientalische Forschungen* 28: 65–101.

_____2004. Studies in the Origins, Development and Interpretation of the Kizzuwatna Rituals. StBoT 46. Wiesbaden: Harrassowitz, 2004.

_____2010a. Paskuwatti's ritual: Remedy for impotence or antidote to homosexuality. *JANER* 10/1: 83–89.

_____2010b. Some disputed passages in the Tawagalawa Letter. *Ipamati kistamati para tumatimis: Luwian and Hittite studies presented to J. David Hawkins on the Occasion of his 70th birthday. Ed. I. Singer*. Tel-Aviv: Institute of Archaeology. Pp. 159–169.

_____2013. Royal Hittite Instructions and Related Administrative Texts. Ed. M. Giorgieri. Atlanta: Society of Biblical Literature.

del Monte, G. F. 1981. Note su trattati fra Hattuša e Kizzuwatna. *Oriens Antiquus* 20: 203–221.

_____1986. Il trattato fra Muršili II di Hattuša e Niqmepa' di Ugarit. *OAI* 18. Rome: Istituto per l'oriente.

del Monte, G. F., Tischler J. 1978. Die Orts- und Gewässernamen der hethitischen Texte. *RGTC* VI. Wiesbaden: Reichert.

Mora, C. 1987. La glittica anatolica del II millennio A.C.: Classificazione tipologica. *Studia Mediterranea* 6. Pavia: Gianni Iuculano.

_____1991. Sull'origine della scrittura geroglifica anatolica. *Kadmos* 30: 1–28.

Morpurgo-Davies, A. 1980/81. The personal endings of the Hieroglyphic Luwian verb. *KZ* 94: 86–108.

_____1982/83. Dentals, Rhotacism and Verbal Endings in the Luwian Languages. *KZ* 96: 245–270.

_____1987. "To put" and "to stand" in the Luwian Languages. *Studies in Memory of Warren Cowgill (1929–1985).* Ed. C. Watkins. Berlin-New York: Walter de Gruyter. Pp. 205–228.

_____2011. Philology and linguistics: when data meet theory. Two cases studies. I: The case of Hieroglyphic Luwian. *TPhS* 109/3: 207–219.

Mountjoy, P. A. 1998. The East Aegean — West Anatolian Interface in the Late Bronze Age: Myceneans and the Kingdom of Ahhiyawa. *Anatolian Studies* 48: 33–67.

Mouton, A. 2002. Glyptique cappadocienne et hieroglyphes anatoliens. *SMEA* 44/1: 83–113.

_____2008. Un nouveau joint relatif au culte de Lallupiya-Ištanuwa. *ZA* 98: 251–261.

Mouton, A., Rutherford, I., Yakubovich, I. 2013. Introduction. *Luwian Identities: Culture, Language and Religion between Anatolia and the Aegean*. Ed. A. Mouton et al. Leiden: Brill. Pp. 1–21.

Mullen, A. 2013. Southern Gaul and the Mediterranean: multilingualism and Multiple Identities in the Iron Age and Roman Period. Cambrigde University Press.

Myers-Scotton, C. 1993. Social Motivation for Code-Switching. Oxford: Clarendon.

Neu, E. 1968. Das hethitische Mediopassiv und seine indogermanischen Grundlagen. StBoT 6. Wiesbaden: Harrassowitz.

_____1974. Der Anitta-Text. StBoT 18. Wiesbaden: Harrassowitz.

_____1979a. Zum sprachlichen Alter des Ḫukkana-Vertrages. *KZ* 93: 64–84.

_____1979b. Hethitisch *kurur* und *taksul* in syntaktischer Sicht. *Studia Mediterranea Pierro Meriggi dicata*. Ed. O. Carruba. Pavia: Aurora. Pp. 408–427.

_____1980. Althethitische Ritualtexte in Umschrift. StBoT 25. Wiesbaden: Harrassowitz.

_____1983. Glossar zu den althethitischen Ritualtexten. StBoT 26. Wiesbaden: Harrassowitz.

_____1988. Varia Hurritica. Sprachliche Beobachtungen an der huritisch-hethitischen Bilingue aus Hattuša. *Documentum Asiae Minoris Antiquae. Festschrift für Heinrich Otten zum 75. Geburtstag*. Ed. E. Neu and Ch. Rüster. Wiesbaden: Harrassowitz. Pp. 235–254.

_____1999. Altanatolien und das mykenische Pylos: Einige Überlegungen zum Nestorbecher des Ilias. *Archív Orientální* 67/4: 619–627.

Neumann, G. 1992. System und Aufbau der hethitischen Hieroglyphenschrift. *Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, philologisch-historische Klasse* (1992/4): 25–48.

_____1999. Wie haben die Troer im 13 Jahrhundert gesprochen? *Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft, Neue Folge* 23: 15–23.

_____2007. *Glo*ssar des Lykischen. DBH 21. Wiesbaden: Harrassowitz.

Niemeier, W.-D. 2008. Hattusas Beziehungen zu West-Kleinasien und dem mykenischen Griechenland (Ahhiyawa). *Hattuša-Boğazköy: Das Hethiterreich im Spannungsfeld des Alten Orients*. Ed. G. Wilhelm. Wiesbaden: Harrassowitz. Pp. 291–349.

Nikoloudis, S. 2008. Multiculturalism in the Mycenaean World. *Anatolian Interfaces: Hiitites*, *Greeks*, *and Their Neighbors in Ancient Anatolia*. B. J. Collins et al. Oxford: Oxbow. Pp. 45–56.

Oettinger, N. 1976. Die Militarischen Eide der Hethiter. StBoT 22. Wiesbaden: Harrassowitz.

_____1978. Die Gliederung des anatolischen Sprachgebietes. *KZ* 92: 74–92.

_____1979. Die Stammbildung des Hethitischen Verbums. Nürnberg: H. Karl.

_____1980. Review of Tischler 1977. *ZDMG* 130: 589–593.

_____1997. Der Partikel *-z* des Hethitischen (mit einem Exkurs zu den Medialformen auf *-t*, *-ti*). *Berthold Delbrück новохет la sintaxis indoeuropea hoy*. Ed. E. Crespo and J. L. García-Ramón. Madrid: Ediciones de la UAM / Wiesbaden: Reichert. Pp. 407–420.

_____2000. Heth. *udnē*, armen. *getin* "Land" und Lyk. *wedre/i-*. *Anusantatyai: Festschrift für Johanna Narten*. Ed. A. Hintze and E. Tichy. MSS, Beiheft 19. Pp. 180–187.

_____2002. Die griechische Psilose als Kontaktphänomen. *MSS* 62: 95–101.

_____2004. Entstehung von Mythos aus Ritual. Das Beispiel des hethitischen Textes CTH 390A. *Offizielle Religion, locale Kulte und individuelle Religiosität. Akten des religionswissenschaftlichen Symposiums "Kleinasien und angrenzende Gebiet vom Beginendes 2 bis zur Mitte des 1. Jahrtausends v. Chr." Bonn, 20–22 Februar 2003*. Ed. M. Hutter und S. Hutter-Braunsar. Münster: Ugarit-Verlag. Pp. 347–356.

_____2008. The Seer Mopsus (Muksas) as a Historical Figure. *Anatolian Interfaces: Hiitites*, *Greeks*, *and Their Neighbors in Ancient Anatolia*. Ed. B. J. Collins et al. Oxford: Oxbow. Pp. 63–66.

_____2010. Seevölker und Etrusker. *Pax Hethitica: Studies on the Hittites and their Neighbours in Honour of Itamar Singer*. Ed. Y. Cohen et al. StBoT 51. Wiesbaden: Harrassowitz. Pp. 233–246.

_____2011. Review of [Yakubovich 2010a]. *Kratylos* 56: 187–193.

_____2013/14. Die Indo-Hittite Hypothese aus heutiger Sicht. *MSS* 67/2: 149–176.

_____2014. Zum anatolischen und indogermanischen Kollektivum. *Studies on the Collective and Feminine in Indo-European from the Diachronic and Typological Perspective*. Ed. S. Neri and R. Schumann. *BSIEL* 11. Leiden: Brill. Pp. 307–315.

Oreshko, R. 2013a. Hieroglyphic inscriptions of Western Anatolia: Long arm of the Empire or vernavular traditions. *Luwian Identities: Culture, Language and Religion between Anatolia and the Aegean*. Ed. A. Mouton et al. Leiden: Brill. Pp. 343–420.

_____2013b. The Achaean Hides Caged in Yonder Beams: The Value of Hieroglyphic Luwian Sign *429 Reconsidered and a New Light on the Cilician Ahhiyawa. *Kadmos*, 52/1: 19–33

_____2014. The Strange Case of Dr. Frater and Mr. Dominus: a reconsideration of the evidence concerning Luwian *nani-*. *Proceedings of the Eighth International Congress of Hittitology, Warsaw, 5–9 September 2011*. Ed. P. Taracha and M. Kapelus. Warsaw: Agade. Pp. 616–633.

Oshiro, T. 1993. Notes on Hieroglyphic Luwian. *Orient* 29: 45–56.

Otten, H. 1953. Zur grammatikalischen und lexikalischen Bestimmung des Luwischen: Untersuchung der Luvili-Texte. Berlin: Akademie-Verlag.

_____1958a. Hethitische Totenrituale. Berlin: Akademie-Verlag.

_____1958b. Bemerkungen xu den hethitischen Instruktionen für die $^{\text{LÚ.MEŠ}}$SAG. *Archiv für Orientforschung* 18: 387–390.

_____1973a. Eine alhethitische Erzählung um die Stadt Zalpa. StBoT 17. Wiesbaden: Harrassowitz.

_____1973b. Das Ritual der Allī aus Arzawa. *ZA* 63: 76–82.

_____1981. Die Apologie Hattušiliš III. Das Bild der Überlieferung. StBoT 24. Wiesbaden: Harrassowitz.

_____1988. Die Bronzetafel aus Boğazköy. Ein Staatsvertrag Tuthalijas IV. StBoT, Beiheft 1. Wiesbaden: Harrassowitz.

_____2000. Ein Siegelabdruck Duthalijaš I. *Archäologischer Anzeiger* (2000): 375–376.

Palmer, L. R. 1965. Mycenaeans and Minoans (second edition). New York: A. Knopf.

_____1980. The Greek Language. London: Humanities Press.

Patri, S. 2009. Problèmes de phonologie louvite et d'isoglosses anatoliennes. *Historische Sprachforschung* 122: 67–95.

Payne, A. 2006. Multilingual Inscriptions and their Audiences: Cilicia and Lycia. *Margins of Writing, Origins of Cultures*. Ed. S. Sanders. Chicago: Oriental Institute. Pp. 121–136.

_____2008. Writing Systems and Identity. *Anatolian Interfaces: Hiitites*, *Greeks*, *and Their Neighbors in Ancient Anatolia*. Ed. B. J. Collins et al. Oxford: Oxbow. Pp. 117–122.

_____2010. Hieroglyphic Luwian*: An Introduction with Original Texts*. Second Edition. Wiesbaden: Harrassowitz.

Pecchioli Daddi, F. 1982. Mestieri, professioni e dignità in Anatolia ittita. Rome: Ateneo.

Pedersen, H. 1938. Hittitisch und die anderen indoeuropäischen Sprachen. Copenhagen: Munksgaard.

Pedley, J. G. 1972. Ancient Literary Sources on Sardis. Archaeological Exploration of Sardis 2. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Peschlow-Bindokat, A. 2002. Die Hethiter im Latmos. Eine hethitisch-luwische Hieroglyphen-Inschrift am Suratkaya (Beşparmak/Westtürkei). *Antike Welt* 33/2: 211–215.

Pintore, F. 1979. Tarwanis. *Studia Mediterranea Pietro Meriggi dicata.* Ed. O. Carruba. Pavia: Aurora. Pp. 473–494.

Poetto, M. 1993. L'iscrizione luvio-geroglifica di Yalburt. StMed 8. Pavia: Gianni Iuculano.

_____2010. Un nuovo verbo luvio-geroglifico: *zapa-* e la sua correlazione al luvio cuneiforme *zapp(a)-*. *Ex Anatolia Lux: Anatolian and Indo-European studies in honor of H. Craig Melchert on the occasion of his sixty-fifth birthday*. Ed. R. I. Kim et al. Ann Arbor: Beech Stave Press. Pp. 296–302.

Polvani, A. M. 2003. Hittite Fragments of the Atrahasīs myth. *Semitic and Assyriological Studies Presented to Pelio Fronzaroli.* Wiesbaden: Harrassowitz. Pp. 532–539.

Popko, M. 1984. Zum Luwischen word *tiu̯ariia*. *KZ* 97: 228–229.

_____2007. Althethitisch? Zu den Datierungsfragen in der Hethitologie. *Tabularia Hethaeorum. Hethitologische Beiträge Silvin Košak zum 65. Geburtstag*. Ed. D. Groddek and M. Zorman. Wiesbaden: Harrassowitz. Pp. 575–581.

Prechel, D. 2001. Abrakadabra oder Althurritisch: Betrachtungen zu einigen altbabylonischen Beschwörungstexten. *Kulturgeschichten: Altorientalische Studien für Volkert Haas zum 65. Geburtstag*. Ed. Th. Richter et al. Saarbrücker Druckerei und Verlag. Pp. 333–371.

Pruszinsky, R. 2003. *Die Personnennamen der Texte aus Emar*. *SCCNH* 13. Bethesda, MD: CDL Press.

Puhvel, J. 1980. Review of *HEG, Lieferung 2*. *Bibliotheca Orientalis* 37: 202–205.

_____1984-. Hittite Etymological Dictionary. Berlin: Mouton.

Richter, Th. 2003. Das 'Archiv des Idanda'. *MDOG* 135: 167–188.

_____2004. Die Ausbreitung der Hurriter bis zur altbabylonischen Zeit: eine kurze Zwischenbilanz. *Politische, wirtschaftliche, und kulturelle Entwicklung im Zeichen einer Jahrtausendende*. Ed. J.-W. Meyer and W. Sommerfeld. Saarbrücker Druckerei und Verlag. Pp. 263–311.

_____2012. Bibliographisches Glossar des Hurritischen. Wiesbaden: Harrassowitz.

Rieken, E. 1994. Der Wechsel *-a-/-i-* in der Stammbildung des hethitischen Nomens. *Historische Sprachforschung* 107: 42–53.

_____1996. Beiträge zur Anatolischen Sprachgeschichte. *Altorientalische Forschungen* 23: 289–297.

_____2000. Die Partikeln -a, -ia, -ma im Althethitischen und das Akkadogramm *Ù*. *125 Jahre Indogermanistik in Graz. Festband anläßlich des 125jährigen Bestehens der Forschungsrichtung "Indogermanistik" an der Karl-Franzens-Universität Graz*. Ed. M. Ofitsch and Ch. Zinko. Graz: Leykam. Pp. 411–419.

_____2001. Der hethitische *šar-tamhāri* text: archaisch oder archaisierend? *Akten des IV. Internazionalen Kongresses für Hethitologie. Würzburg, 4–8 Oktober 1999*. Ed. G. Wilhelm. StBoT 45. Wiesbaden: Harrassowitz. Pp. 576–585.

_____2004/05. Das Präteritum des Medio-Passivs im Hieroglyphen-Luwischen. *Historische Sprachforschung* 117(2): 179–188.

_____2005/06. Neues zum Ursprung der Anatolischen *i*-Mutation. *Historische Sprachforschung* 118(1): 48–74.

_____2006a. Zum hethitisch-luwischen Sprachkontact in historischer Zeit. *Altorientalische Forschungen* 33: 271–285.

_____2006b. Zur Etymologie von Luwisch *nūt*. $^{\text{GIŠ.HUR}}$*gul-za-at-ta-ra. Festschrift for Folke Josephson*. Ed. G. Carling. Göteborg: Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning. Pp. 284–297.

_____2007. Hieroglyphen-luwisch *i-zi-ia-*: ein Beitrag zur Rekonstruktion der indogermanischen Kulturgeschichte. *Darъ Slovesъny. Festschrift für Christoph Koch zum 65. Geburtstag*. Ed. W. Hock and M. Meier-Brügger. Munich: O. Sagner.

_____2009. Der Archaismus des Hethitischen: eine Bestandsaufnahme. *Incontri Linguistici* 32: 37: 52.

_____2013. Die Numeruskongruenz nach Kardinalzahlen im Hethitischen. *Indogermanische Forschungen* 118: 321–338.

_____2014. Sprachliche Merkmale religiöser Textorten im Hethitischen. *Die Welt des Orients* 44/2: 162–173.

Rieken, E., Yakubovich, I. 2010. The New Values of Luwian Signs L 319 and L 172. *Ipamati kistamati para tumatimis: Luwian and Hittite studies presented to J. David Hawkins on the Occasion of his 70th birthday. Ed. I. Singer*. Tel-Aviv: Institute of Archaeology. Pp. 199–219.

Riemschneider, K. K. 1958. Die hethitischen Landschenkurkunden. *MIO* 6/3: 321–381.

Rosenkranz, B. 1938. Die Stellung des Luwischen im Hatti-Reiche. *Indogermanische Forschungen* 56: 265–284.

_____1954. Luwisch und “anatolische” Sprachen. *Forschungen und Fortschritte* 28: 308–312.

Ross, M. D. 1991. Refining Guy’s Sociolinguistic Types of Language Change. *Diachronica* 8/1: 119–129.

Rost, L. 1956. Die außerhalb von Boğazköy gefundenen hethitischen Briefe. *MIO* 4: 328–350 (cf. Jakob-Rost, L.).

Rubio, G. 2006. Writing in another tongue: alloglottography in the Ancient Near East. *Margins of Writing, Origins of Cultures*. Ed. S. Sanders. Chicago: Oriental Institute. Pp. 32–66.

Rüster, Ch., Neu, E. 1989. Hethitisches Zeichenlexikon: Inventar und Interpretation der Keilschriftzeichen aus den Boğazköy-Texten. StBoT, Beiheft 2. Wiesbaden: Harrassowitz.

Rüster, Ch., Wilhelm, G. 2012. Landschenkurkunden hethitischer Könige. StBoT, Beiheft 4. Wiesbaden: Harrassowitz.

Salvini, M. 1994. Una lettera di Hattušili I relativa alla spedizione contro Hahhum. *SMEA* 34: 61–80.

Salvini, M., Wegner, I. 2004. Die mythologischen Texte. ChS I:6. Rome: CNR — Istituto di Studi sulle Civiltà dell'Egeo e del Vicino Oriente.

Sarı, D. 2013. The Cultural Development of Western Anatolia in the Third and Second Millennia BC and its Relationship with Migration Theories. *Luwian Identities: Culture, Language and Religion between Anatolia and the Aegean*. Ed. A. Mouton et al. Leiden: Brill. Pp. 305–328.

Schachner, A., Meriç, R. 2000. Ein Stempelsiegel des späten zweiten Jahrtausend v. Chr. aus Metropolis in Ionien. *SMEA* 42/1: 85–102.

Schmitz, Ph. 2009. Phoenician KRNTRYŠ, Archaic Greek ΚΟΡΥΝΤΗΡΙΟΣ and the Storm-god of Aleppo. *KUSATU* 10: 119–160.

Schniedewind, W. M. 2006. Aramaic, the Death of Written Hebrew, and Language Schift in the Persian Period. *Margins of Writing, Origins of Cultures*. Ed. S. Sanders. Chicago: Oriental Institute. Pp. 137–147.

von Schuler, E. 1967. Hethitische Dienstanweisungen für höhere Hof- und Staatsbeamte: ein Beitrag zum antiken Recht Kleinasiens. *AfO*, Beiheft 10. Osnabrück: Biblio-Verlag.

Schürr, D. 2002. Karische Parallelen zu zwei Arzawa-Namen. *Kadmos*, 41: 163–177.

_____2010a. Lykische Genitive. *Indogermanische Forschungen*, 115: 118–126.

_____2010b. Zu Vorgeschichte Lykiens: Städtenamen in hethitischen Quellen. *Klio* 92/1: 7–33.

Schwartz, Benjamin. 1938. On the 'Glossenkeil' in Hittite. *Archiv Orientální* 10: 65–78.

Sidel'tsev, A. 2002. Inverted word order in Middle Hittite. *Anatolian Languages.* Ed. V. Shevoroshkin and P. Sidwell. Canberra: Association for the History of Language. Pp. 138–188.

_____2011. Clitic Doubling: A New Syntactic Category in Hittite. *Altorientalische Forschungen*, 38/1: 81–91.

Sidel'tsev, A., Molina M., Belov A. 2015. *Syntax or Phonology? Proclitics, Enclitics, and Stress in Hittite. Journal of Linguistic Relationship* 13/1, 2015.

Simon, Z. 2006. Review of *The Luwians* (Ed. H. C. Melchert, Leiden: Brill, 2003). *Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae* 46: 313–322.

_____2009. Die ANKARA-Silberschale und das Ende des hethitische Reiches. *ZA* 99/2: 247–269.

_____2011. The Identification of Qode: Reconsidering the Evidence. *Egypt and the Near East: the cross-roads: Proceedings of an International Conference on the Relations between Egypt and the Near East in the Bronze Age*. Ed. J. Mynářová. Prague: Charles University. Pp. 249–270.

_____2012. Where is the Land of Sura of the Hieroglyphic Luwian Insription KARKAMIŠ A4b and Why Were Cappadocians Called Syrians by the Greeks. *Altorientalische Forschungen* 39/1: 167–180.

_____2014. Awarikus und Warikas: Zwei Könige von Hiyawa. *ZA* 104/1: 91–103.

Sims-Williams, N. 2000. Bactrian Documents from Northern Afghanistan I: Legal and Economic Documents. Oxford University Press.

Singer, I. 1981. Hittites and Hattians in Anatolia at the beginning of the Second Millennium B.C. *JIES* 9: 119–132.

_____1983. Western Anatolia in the Thirteenth Century B.C. according to the Hittite Sources. *Anatolian Studies*, 33: 205–217.

_____1996. Muwattalli's Prayer to the Assembly of Gods Through the Storm-God of Lightning (CTH 381). Atlanta: Scholars Press.

_____2002. Hittite Prayers. Atlanta, GA: Society of Biblical Literature.

_____2005. On Luwians and Hittites. *Bibliotheca Orientalis* 62: 430–451.

_____2006a. The Hittites and the Bible Revisited. *"I Will Speak the Riddles of Ancient Times": Archaeological and Historical Studies in Honor of Amihai Mazar on the Occasion of his Sixtieth Birthday.* Ed. A.M. Maier and P. de Miroschedji. Winona Lake, IN: Eisenbrauns. Pp. 723–756.

_____2006b. Ships Bound for Lukka: A New Interpretation of the Companion Letters RS 94.2530 and RS 94.2523. *Altorientalische Forschungen* 33/2: 242–262.

von Soden, W. 1995. Grundriss der akkadischen Grammatik. 3., ergänzte Auflage. In collaboration with W. R. Mayer. Rome: Pontifico Istituto Biblico.

Sommer, F. 2014. Schwartze Magie in Indoiranischen und ihr indogermanischer Hitergrund: altindisch *yātú-* und jungavestisch *yātu-*". *Munus amicitiae Norbert Oettinger a collegis et amicis dicatum.* Ed. H. C. Melchert et al. Ann-Arbor: Beech Stave Press. Pp. 315–330.

Souček, V. 1963. Ein neues hethitisches Ritual gegen die Pest. *MIO* 9: 164–174.

Sourouzian, H., Stadelmann, R. 2005. Die ältesten Erwähnungen von Ioniern und Danaern. *Antike Welt* 36(6): 79–83.

Southworth, F. C. 1980. Indian Bilingualism: Some Educational and Linguistic Implications. *Studies in Child Language and Multilingualism*. Ed. V. Teller and Sh. White. New York Academy of Sciences. Pp. 121–146.

Soysal, O. 2004. Hattischer Wortschatz in hethitischer Textüberlieferung. *HdO* 1/74. Leiden: Brill.

Starke, F. 1979. Zu den hethitischen und luwischen Verbalabstrakta auf *-šha-*. *KZ* 93: 247–261.

_____1980. Das Luwische Wort für 'Frau'. *KZ* 94: 74–86.

_____1981. Zur Deutung der Arzau≈a-Briefstelle VBoT I, 25–27. *Zeitschrift für Assyriologie* 71: 214–231.

_____1985. Die keilschrift-luwischen Texte in Umschrift. StBoT 30. Wiesbaden: Harrassowitz.

_____1990. Untersuchungen zur Stammbildung des keilschrift-luwischen Nomens. StBoT 31. Wiesbaden: Harrassowitz.

_____1997a. Troia im Kontext des historisch-politischen und sprachlichen Umfeldes Kleinasiens im 2. Jahrtausend. *Studia Troica* 7: 447–487.

_____1997b. Sprachen und Schriften in Karkamis. *Ana šadī Labnāni lū allik: Beiträge zu altorientalischen und mittelmeerischen Kulturen; Festschrift für Wolfgang Röllig*. Ed. B. Pongratz-Leisten et al. *AOAT* 247. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag. Pp. 380–395.

Stefanini, R. 1965. KBo IV.14 = VAT 13049. *Atti della Accademia Nazionale dei Lincei*. Series 8, Volume 20, pp. 39–79.

_____2002. Toward a Diachronic Reconstruction of the Linguistic Map of Ancient Anatolia. *Anatolia Antica. Studi in memoria di Fiorella Imparati*. Ed. S. de Martino and F. Pecchioli Daddi. Florence: LoGisma. Pp. 783–806.

Steiner, G. 1981. The Role of the Hittites in Ancient Anatolia. *JIES* 9: 150–173.

_____1998. "Grosskönige" in Anatolien von Labarna-Hattušili I bis zu den Achaimeniden. *Studi e testi*. Ed. S. de Martino and F. Imparati. Eothen 9. Florence: LoGisma. Pp. 151–181.

_____2007. The Case of Wiluša and Ahhiyawa. *Bibliotheca Orientalis* 54/5–6: 590–612.

Steiner, R. 1992. Northwest Semitic incantations in an Egyptian Medical Papyrus of the Fourteenth Century B.C.E. *JNES* 51/3: 191–200.

Strobel, K. 2011. The Crucial 12th Century BC: the 'Fall of Empires' Revisited. Empires after the Empire: Anatolia, Syria, and Assyria after Suppiluliuma II. Ed. K. Strobel. *Eothen* 17. Florence: LoGisma. Pp. 167–254.

Süel, A. 1998. Ortaköy-Šapinuwa Tabletlerinin Tarihlendirilimesi. *III Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirileri*. Ed. S. Alp and A. Süel. Ankara: Grafik, Teknik Hazırlık Uyum Ajans. Pp. 551–557.

_____2001. Ortaköy Tabletleri Işığında Batı Anadolu İle İlgili Bazı Konular Üzerine. *Akten des IV. Internationalen Kongresses für Hethitologie (Würzburg, 4–8 Oktober 1999)*. Ed. G. Wilhelm. StBoT 45. Wiesbaden: Harrassowitz. Pp. 670–678.

Symington, D. 1991. Late Bronze Age Writing Boards and Their Uses: Textual Evidence from Anatolia and Syria. *Anatolian Studies* 41: 111–123.

Szemerényi, O. 1969. Etyma Latina II (7–18). *Studi Linguistici in onore di Vittore Pisani*. Brescia: Paideia. V. 2, pp. 963–994.

_____1998. Hounded out of Academe…: The sad fate of a genius. *Studi di Storia e di Filologia Anatolica dedicati a Giovanni Pugliese Carratelli*. Ed. F. Imparati. Eothen 1. Firenze: ELITE. Pp. 257–289.

Tadmor, H. 1994. The Inscriptions of Tiglath-Pileser III, King of Assyria. Jerusalem: the Israel Academy of Sciences and Humanities.

Taggar-Cohen, A. 2006. Hittite Priesthood. *THeth* 26. Heidelberg: Winter.

Taracha, P. 2006. Mycenaeans in Anatolia and Ahhiyawa of Hittite Texts: a Reassessment. *Archeologia* 57: 143–149.

Teffeteller, A. 2011. Review of [Yakubovich 2010a]. *JAOS* 131/3: 456–459.

Tekoğlu, R., Lemaire, A. 2000. La Bilingue Royale Louvito-Phénicien de Çineköy. *Comptes Rendus de L'Académie des Inscriptions* 2000: 961–1006.

Thomason, S. G. 2001. Language Contact: an Introduction. Washington: Georgetown University Press.

Thomason, S. G., Kaufman, T. 1988. Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics. University of California Press.

Tischler, J. 1977-. Hethitisches etymologisches Glossar. Innsbruck: Institut der Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck.

Torri, G. 2009. Sargon, Anitta, and the Hittite Kings against Purusḫanda. *Altorientalische Forschungen* 36/1: 110–118.

Tropper, J. 1993. Die Inschriften von Zincirli. Münster: Ugarit-Verlag.

Trudgill, P. 1974. The Social Differentiation of English in Norwich. Cambridge University Press.

Ulshöfer, A. M. 1995. Die altassyrischen Privaturkunden. ATU 4. Stuttgart: Steiner.

Ünal, A. 1974. Hattušili III. Teil I: Hattušili bis zu seiner Thronbesteigung. V.1: Historischer Abriß. V. 2: Quellen und Indices. *THeth* 3. Heidelberg: Winter.

de Vaan, M. 2003. The Avestan Vowels. Amsterdam-New York: Rodopi.

Valério, M., Yakubovich, I. 2010. Semitic Word for Iron as Anatolian Loanword. *Исследования по лингвистике и семиотике: сборник статей к юбилею Вяч. Вс. Иванова*. Ed. T. M. Nikolaeva. Moscow: Languages of Slavonic Culture. Pp. 108–116.

Vanschoonwinkel, J. 1990. Mopsus: legends et réalité. *Hethitica* 10: 195–211.

Waal, W. 2011. They wrote on wood. The case for a hieroglyphic scribal tradition on wooden writing boards in Hittite Anatolia. *Anatolian Studies* 61: 21–34.

_____2012. Writing in Anatolia: The Origins of the Anatolian Hieroglyphs and the Introductions of the Cuneiform Script. *Altorientalische Forschungen* 39: 287–315.

Wardhaugh, R. 1998. An Introduction to Sociolinguistics (third edition). Oxford: Blackwell.

Watkins, C. 1978. A Palaic Carmen. *Linguistic and Literary Studies in Honor of Archibald A. Hill*. Ed. M. A. Jazayery et al. The Hague: Mouton. V. 3, pp. 305–314.

_____1986. The Language of the Trojans. *Troy and the Trojan War: a Symposium at Bryn Mawr College, October 1984*. Ed. M. J. Mellink. Bryn Mawr, PA: Bryn Mawr College. Pp. 45–62.

_____1995. How to Kill a Dragon: Aspects of Indo-European Poetics. Oxford University Press.

_____2001. An Indo-European Linguistic Area and its Characteristics: Ancient Anatolia. Areal Diffusion as a challenge to the Comparative Method? *Areal Diffusion and Genetic Inheritance*. Ed. A. Y. Aikhenvald and R. M. W. Dixon. Oxford University Press. Pp. 44–63.

_____2004. Hittite. *The Cambridge Encyclopedia of the World's Ancient Languages.* Ed. Roger D. Woodard. Cambridge University Press. Pp. 551–575.

_____2007. The Gloden Bowl: Thoughts on the New Sappho and its Asianic Background. *Classical Antiquity* 26/2: 305–325.

Weeden, M. 2011. Hittite Logograms and Hittite Scholarship. StBoT 54. Wiesbaden: Harrassowitz.

_____2013. Names on seals, names in texts: Who were these people? *Luwian Identities: Culture, Language and Religion between Anatolia and the Aegean*. Ed. A. Mouton et al. Leiden: Brill. Pp. 73–86.

Weeks, D. M. 1985. Hittite Vocabulary: an Anatolian appendix to Buck's "Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages". UCLA PhD dissertation.

Wegner, I. 1995. Hurritische Opferlisten aus hethitischen Festbeschreibungen. Texte für Ištar-Ša(w)uška. *ChS* I:3:1. Rome: Bonsignori.

Wilhelm, G. 1994. Medizinische Omina aus Hattuša in akkadischer Sprache. StBoT 36. Wiesbaden: Harrassowiz.

_____1996. L'état actuel et les perspectives des études hourrites. *Amurru 1. Mari, Ébla et les hourrites — dix ans de travaux: Première partie. Actes du colloque international (Paris, mai 1993)*. Ed. J.-M. Durand. Paris: Éditions Recherche sur les Civilisations. Pp. 175–187.

_____2006. Die hurritischsprachige Tafel Kp 05/226. *MDOG* 138: 233–236.

Widmer, P. 2004. Λυδία: Ein Toponym zwischen Orient und Okzident. *Historische Sprachforschung*, 117(2): 197–203.

_____2006. Mykenisch *ru-wa-ni-jo* 'Luwier'. *Kadmos*, 45: 82–84.

Winford, D. 2003. An Introduction to Contact Linguistics. Oxford: Blackwell.

Woudhuizen, F. 2006. The Earliest Cretan Scripts. Innsbruck: Institut für Sprachen und Literaturen der Universität Innsbruck.

Wright, R. 1982. Late Latin and early Romance. Liverpool: Francis Cairns.

Yakubovich, I. 2002a. Nugae Luvicae. *Anatolian Languages*. Ed. V. Shevoroshkin and P. Sidwell. Canberra: Association for the History of Language. Pp. 189–209.

_____2002b. Labyrinth for Tyrants. *Studia Linguarum 3 (Memoriae A.A. Korolëv dicata)*. Ed. A. S. Kassian and A. V. Sidel'tsev. Moscow: Languages of Slavonic Culture. Pp. 93–116.

_____2005a. Were Hittite Kings Divinely Anointed? *JANER* 5: 109–139.

_____2005b. Carian Monument. *Hṛdā mánasā. Сборник статей к 70-летию со дня рождения профессора Леонарда Георгиевича Герценберга*. Ed. N. Kazanskij. St. Petersburg: Nauka. Pp. 240–251.

_____2005c. Review of [Miller 2004]. *JIES* 33/3–4: 422–433.

_____2005/06. Lydian Etymological Notes. *Historische Sprachforschung* 119/1–2: 75–91.

_____2006a. Free-standing genitive and hypostasis in Hittite. *JNES* 65/1: 39–49.

_____2006b. Prehistoric Contacts between Hittite and Luwian: the Case of Reflexive Pronouns. *Proceedings of the Seventeenth Annual UCLA IE conference, Los-Angeles, October 27–28, 2005*. Ed. K. Jones-Bley et al. Washington, DC: Institute for the Study of Man. Pp. 77–106.

_____2008a. Luwian Migrations in Light of Linguistic Contacts. *Anatolian Interfaces: Hiitites*, *Greeks*, *and Their Neighbors in Ancient Anatolia*. Ed. B. J. Collins et al. Oxford: Oxbow. Pp. 123–134.

_____2008b. The Origin of Luwian possessive adjectives. *Proceedings of the Nineteenth Annual UCLA Indo-European Conference.* Ed. K. Jones-Bley et al. Washington: Institute for the Study of Man. Pp. 193–217.

_____2008c. Hittite-Luvian Bilingualism and the Origin of Anatolian Hieroglyphs. *Acta Linguistica Petropolitana* 4/1: 9–36.

_____2009a. The Luvian Enemy. *Kadmos*, 47/1–2: 1–19.

_____2009b. Anaptyxis in Hitt. **spand-* 'to libate': One More Case of Luvian Influence on New Hittite. *Индоевропейское языкознание и классическая филология XIII*: 545–557.

_____2010a. *Sociolinguistics of the Luvian Language*. *BSIEL* 2. Leiden: Brill.

_____2010b. Hittite *aniye/a-* 'to do'. *Ex Anatolia Lux: Anatolian and Indo-European studies in honor of H. Craig Melchert on the occasion of his sixty-fifth birthday*. Ed. R. I. Kim et al. Ann Arbor: Beech Stave Press. Pp. 375–384.

_____2010c. Morphological Negation in Urartian. *Aramazd (AJNES)* 5/1: 141–165.

_____2010d. Review of [Hoffner, Melchert 2008]. *Bibliotheca Orientalis* 67/1–2 (2010): 147–154.

_____2011. Luwian and the Luwians. *Oxford Handbook of Ancient Anatolia.* Ed. Sh. Steadman and G. McMahon. Oxford University Prep. 534–547.

_____2012. The Reading of Luwian *ARHA* and Related Problems. *Altorientalische Forschungen* 39/2 (2012): 321–339.

_____2013a. Anatolian Names in *-wiya* and the Structure of Empire Luwian Onomastics. *Luwian Identities: Culture, Language and Religion between Anatolia and the Aegean*. Ed. A. Mouton et al. Leiden: Brill. Pp. 87–123.

_____2013b. Review of Robert Fischer. Die Aḫḫijawa-Frage (mit einer kommentierten Biblographie). *Kratylos* 58 (2013): 185–192.

_____2013c. The Degree of Comparison in Luwian. *Indogermanische Forschungen* 118: 155–168.

_____2013/14. The Luwian Deity Kwanza. *Aramazd (AJNES)*: 8/1–2: 282–97.

_____2014. From Lower Land to Cappadocia. *Extraction and Control: Studies in Honor of Matthew W. Stolper*. Ed. M. Kozuh et al. Chicago: Oriental Institute. Pp. 347–352.

Yoshida, K. 1990. The Hittite Medio-passive endings in *-ri.* Berlin-New York: Walter de Gruyter.

_____1998. Hittite verbs in *-Vzi*. *Acts of the III International Congress of Hittitology.* Ed. S. Alp. Ankara: Grafik, Teknik Hazırlık Uyum Ajans. Pp. 605–614.

_____2001. Hittite *nu-za* and Related Spellings. *Akten des IV. Internationalen Kongresses für Hethitologie, Würzburg, 4–8 Oktober 1999.* Ed. G. Wilhelm. StBoT 45. Wiesbaden: Harrassowitz. Pp. 721–729.

_____2010. Observations on the Prehistory of Hittite *i̯e/a-* verbs. *Ex Anatolia Lux: Anatolian and Indo-European studies in honor of H. Craig Melchert on the occasion of his sixty-fifth birthday*. Ed. R. I. Kim et al. Ann Arbor: Beech Stave Press. Pp. 385–393.

_____2012. Notes on Cuneiform Luwian Verbs in *-*ye/o-*". *The Indo-European Verb: Proceedings of the Conference of the Society of Indo-European Studies, Los Angeles, 13–15 September 2010*. Ed. H. C. Melchert. Wiesbaden: Reichert. Pp. 343–351.

Younger, K. L. Jr. 2014. The Scripts of North Syria in the Early First Millennium: The Inscription of Yariri (KARKAMIŠ A15b) Once Again. *Bible et Proche Orient: Volume d'hommages pour André Lemaire*. Ed. J.-M. Durand and J. Elayi. Paris: Gabalda. Pp. 169–183.

Zehnder, T. 2010. Die hethitischen Frauennamen: Katalog und Interpretation. *DBH* 29. Dresden: Technische Universität.

Zgusta, L. 1964. Kleinasiatische Personennamen. Prag: Tschechoslowakische Akademie der Wissenschaften.

Zorman, M. 2007. Sprachtabu als Motiv der Verwendung von Glossenkeilen. I: Wörter von A bis I. *Tabularia Hethaeorum. Hethitologische Beiträge Silvin Košak zum 65. Geburtstag*. Ed. D. Groddek and M. Zorman. Wiesbaden: Harrassowitz. Pp. 753–769.